ТЕОРИЯ МЕТАФОРЫ

ТЕОРИЯ МЕТАФОРЫ





ТЕОРИЯ МЕТАФОРЫ

ТЕОРИЯ

Э. Кассирер
Р. Якобсон
А. Ричардс
М. Блэк
Дж. Серль
А. Вежбицка
А. Ортони
Дж. Лакофф
Н. Гудмен
и др.

МЕТАФОРЫ

Вступительная статья и составление
Н. Д. АРУТЮНОВОЙ
Переводы под редакцией
Н. Д. АРУТЮНОВОЙ и М. А. ЖУРИНСКОЙ



МОСКВА
"ПРОГРЕСС"
1990

ББК 81
Т33

Рецензенты:
член-корреспондент АН СССР Ю. С. Степанов
и доктор философских наук В. В. Петров

Перевод с английского, французского, немецкого, испанского
и польского языков

Т 33 Теория метафоры: Сборник: Пер. с анг., фр., нем., исп., польск. яз./Вступ. ст. и сост. Н. Д. Арутюновой; Общ. ред. Н. Д. Арутюновой и М. А. Журинской. — М.: Прогресс, 1990. — 512 с.

В сборник включены статьи и главы из книг крупнейших современных филологов, философов и логиков (Э. Кассирера, Х. Ортеги-и-Гассета, А. Ричардса, Дж. Серля, Р. Якобсона, М. Блэка, Дж. Миллера, А. Вежбицкой и др.), содержащие анализ метафорического значения слова в повседневной речи, в языке науки и художественной литературы. Феномен метафоры рассмотрен в логико-философском, лингвистическом, когнитивном и стилистическом аспектах. В книге даны основные теоретические концепции метафоры.

Рекомендуется широкому кругу филологов, философов, логиков и психологов.

Т $\frac{4602000000-320}{006(01)-90}$ 31—90 ББК 81

Редакция литературы по гуманитарным наукам

ISBN 5—01—001599—4

МЕТАФОРА И ДИСКУРС

Метафора гораздо умней, чем ее создатель, и таковыми являются многие вещи. Все имеет свои глубины.

Лихтенберг

Недостаточность логики в обыденном языке восполняется использованием метафор. Логичность и метафоричность текста — это два дополняющих друг друга его проявления.

В. В. Налимов

Тайна метафоры привлекала к себе крупнейших мыслителей — от Аристотеля до Руссо и Гегеля и далее до Э. Кассирера, Х. Ортеги-и-Гассета и многих других. О метафоре написано множество работ. О ней высказывались не только ученые, но и сами ее творцы — писатели, поэты, художники, кинематографисты. Нет критика, который не имел бы собственного мнения о природе и эстетической ценности метафоры. Изучение метафоры традиционно, но было бы неверно думать, что оно поддерживается только силой традиции. Напротив, оно становится все более интенсивным и быстро расширяется, захватывая разные области знания — философию, логику, психологию, психоанализ, герменевтику, литературоведение, литературную критику, теорию изящных искусств, семиотику, риторику, лингвистическую философию, разные школы лингвистики. Интерес к метафоре способствовал взаимодействию названных направлений научной мысли, их идейной консолидации, следствием которой стало формирование когнитивной науки, занятой исследованием разных сторон человеческого сознания. «В ее основе — предположение о том, что человеческие когнитивные структуры (восприятие, язык, мышление, память, действие) неразрывно связаны между собой в рамках одной общей задачи — осуществления процессов усвоения, переработки и трансформации знания, которые, собственно, и определяют сущность человеческого разума»[1].

В последние десятилетия центр тяжести в изучении метафоры переместился из филологии (риторики, стилистики, литературной критики), в которой превалировали анализ и оценка поэтической метафоры, в область изучения практической речи и в те сферы, которые обращены к мышлению, познанию и сознанию, к кон-

---

[1] Петров В. В. Язык и логическая теория: в поисках новой парадигмы. — «Вопросы языкознания», 1988, № 2, с. 41. См. также сб.: Новое в зарубежной лингвистике, вып. XXIII: Когнитивные аспекты языка. М., 1988.

цептуальным системам и, наконец, к моделированию искусственного интеллекта[2]. В метафоре стали видеть ключ к пониманию основ мышления и процессов создания не только национально-специфического видения мира, но и его универсального образа. Метафора тем самым укрепила связь с логикой, с одной стороны, и мифологией — с другой.

Рост теоретического интереса к метафоре был стимулирован увеличением ее присутствия в различных видах текстов, начиная с поэтической речи и публицистики и кончая языками разных отраслей научного знания. Естественно, что экспансия метафоры в разные виды дискурса не прошла незамеченной. Искусствоведы, философы и психологи, науковеды и лингвисты обратились к проблеме метафоры с возросшим интересом. Вынесенный метафоре «вотум доверия» вызвал существенное расширение «материальной базы» ее изучения: появились исследования метафоры в различных терминологических системах, в детской речи и дидактической литературе, в разных видах масс-медиа, в языке рекламы, в наименованиях товаров, в заголовках, в спорте, в речи афатиков и даже в речи глухонемых[3].

Распространение метафоры в многочисленных жанрах художественной, повседневной и научной речи заставляло авторов обращать внимание не столько на эстетическую ценность метафоры, сколько на предоставляемые ею утилитарные преимущества. Р. Хофман — автор ряда исследований о метафоре — писал: «Метафора исключительно практична. ... Она может быть применена в качестве орудия описания и объяснения в любой сфере: в психотерапевтических беседах и в разговорах между пилотами авиалиний, в ритуальных танцах и в языке программирования, в художественном воспитании и в квантовой механике. Метафора, где бы она нам ни встретилась, всегда обогащает понимание человеческих действий, знаний и языка»[4]. Создавалось мнение о всемогуществе, вседприсутствии[5] и вседозволенности метафоры, которое, наряду с отмеченным выше положительным эффектом,

---

[2] Ср. библиографию работ о метафоре У. Шиблса (Shibles W. Metaphor: An annotated bibliography and history. Whitewater —Wisconsin, 1971), состоящую почти целиком из филологических исследований, с достаточно полной библиографией, помещенной в сб. Theorie der Metapher (hrsg. von A. Haverkamp. Darmstadt, 1983), в которой доля литературно-критических работ невелика.

[3] См. статьи в сборниках: Метафора в языке и тексте. М., 1988; Metaphor and thought. Cambridge, 1979; Metaphor: problems and perspectives. Brighton, 1982; The ubiquity of metaphor: metaphor in language and thought. Amsterdam — Philadelphia, 1985.

[4] Hoffman R. Some implications of metaphor for philosophy and psychology of science. — In: The ubiquity of metaphor. Amsterdam, 1985, p. 327.

[5] Так именно и был назван сборник, из которого взято высказывание Р. Хофмана (см. выше, сн. 4).

имело и некоторые отрицательные следствия. Представление о вездесущности метафоры отодвигало на задний план проблему ограничений на ее употребление в разных видах дискурса. Это привело к размыванию границ самого концепта метафоры: метафорой стали называть любой способ косвенного и образного выражения смысла, бытующий в художественном тексте и в изобразительных искусствах — живописи, кинематографе, театре. Меньше стали обращать внимание и на различие между метафорой, используемой в качестве номинативного приема, и собственно метафорой, сдваивающей представление о разных классах объектов. Метафора как техника и метафора как идеология во многих исследованиях анализируются совместно.

Ниже будет рассмотрено положение метафоры в практической (обыденной и деловой), научной и художественной речи (разд. 1—3), ее место среди семиотических концептов (разд. 4) и в системе тропов (разд. 5—7).

1

При обращении к практической речи бросается в глаза не всеприсутствие метафоры, а ее неуместность, неудобство и даже недопустимость в целом ряде функциональных стилей. Так, несмотря на семантическую емкость метафоры, ей нет места в языке телеграмм, текст которых сжимается отнюдь не за счет метафоризации. Между тем в так называемом «телеграфном стиле» художественной прозы она появляется, и нередко.

Не прибегают к метафоре в разных видах делового дискурса: в законах и военных приказах, в уставах, запретах и резолюциях, постановлениях, указах и наказах, всевозможных требованиях, правилах поведения и безопасности, в циркулярах, в инструкциях и медицинских рекомендациях, программах и планах, в судопроизводстве (приговорах и частных определениях), экспертных заключениях, аннотациях, патентах и анкетах, завещаниях, присягах и обещаниях, в предостережениях и предупреждениях, в ультиматумах, предложениях, просьбах — словом, во всем, что должно неукоснительно соблюдаться, выполняться и контролироваться, а следовательно, подлежит точному и однозначному пониманию. Приведенный перечень показывает, что метафора несовместима с прескриптивной и комиссивной (относящейся к обязательствам) функциями речи. Естественно, что метафора редко встречается и в вопросах, представляющих собой требование о предписании (типа «Как пользоваться этим инструментом?»), а также в вопросах, имеющих своей целью получение точной информации.

Прескрипции и комиссивные акты соотносятся с действием и воздействием. Они предполагают не только выполнимость и выполнение, но и возможность определить меру отступления от предписания и меру ответственности за отступление. Метафора

этому препятствует. Однако, как только центр тяжести переносится на эмоциональное воздействие, запрет на метафору снимается. Так, когда в обыденной речи ультиматум вырождается в угрозу, имеющую своей целью устрашение, он может быть выражен метафорически. Вспомним также, как тщетно боролся председатель суда с потоком метафор в речи адвоката миссис Бардль в «Пиквикском клубе». Адвокат стремился воздействовать на воображение присяжных через воображение на их эмоции, через эмоции — на решение суда, а через него — на последующие реальные ситуации. В эмоциональном нажиме на адресата заинтересован не только писатель, публицист и общественный деятель, но и любой член социума. Общность цели естественно порождает и общность используемых языковых приемов. Сфера выражения эмоций и эмоционального давления вносит в обыденную речь элемент артистизма, а вместе с ним и метафору[6].

Метафора часто содержит точную и яркую характеристику лица. Это — приговор[7], но не судебный. Метафора не проникает ни в досье, ни в анкету. В графе об особых приметах Собакевича не может быть поставлено «медведь» — метафорическое «вместилище» его особых примет. Но для актера, исполняющего роль Собакевича, эта метафора важна: инструкция для создания художественного образа может быть образной. Метафора эффективна и в словесном портрете разыскиваемого лица. Ведь узнавание производится не только по родинкам и татуировкам, но и по хранимому в памяти образу. Это искусство. Метафора, если она удачна, помогает воспроизвести образ, не данный в опыте.

Интуитивное чувство сходства играет огромную роль в практическом мышлении, определяющем поведение человека, и оно не может не отразиться в повседневной речи. В этом заключен неизбежный и неиссякаемый источник метафоры «в быту». В практике жизни образное мышление весьма существенно. Человек способен не только идентифицировать индивидные объекты (в частности, узнавать людей), не только устанавливать сходство между областями, воспринимаемыми разными органами чувств (ср. явление синестезии: *твердый металл* и *твердый звук*, *теплый воздух* и *теплый тон*), но также улавливать общность между конкретными и абстрактными объектами, материей и духом (ср.: *вода течет*, *жизнь течет*, *время течет*, *мысли текут* и

---

[6] Телия В. Н. Метафора как модель смыслопроизводства и ее экспрессивно-оценочная функция. — В кн.: Метафора в яыке и тексте. М., 1988.

[7] Так именно ее и воспринимают. Никакие ссылки на «классификационную ошибку» не ослабляют силы метафоры. Иван Иванович Перерепенко, когда его назвали «гусаком», тщетно ссылался на свое дворянство, зафиксированное в метрической книге, между тем как гусак «не может быть записан в метрической книге, ибо гусак есть не человек, а птица» (Гоголь). Бранные и оскорбительные слова (*негодяй*, *дурак* и пр.) не пристают к человеку так прочно, как метафорический образ: то, что сам Иван Иванович назвал своего друга *дурнем*, было тотчас забыто.

т. п.). В этих последних случаях говорят о том, что человек не столько открывает сходство, сколько создает его.

Особенности сенсорных механизмов и их взаимодействие с психикой позволяют человеку сопоставлять несопоставимое и соизмерять несоизмеримое. Это устройство действует постоянно, порождая метафору в любых видах дискурса. Попадая в оборот повседневной речи, метафора быстро стирается и на общих правах входит в словарный состав языка. Но употребление появляющихся живых метафор наталкивается на ограничения, налагаемые функционально-стилевыми и коммуникативными характеристиками дискурса, о которых шла речь выше. Однако не только они пресекают метафору. Метафора, вообще говоря, плохо согласуется с теми функциями, которые выполняют в практической речи основные компоненты предложения — его субъект и предикат.

В обыденной речи метафора не находит себе пристанища ни в одной из этих функций. Сама ее сущность не отвечает назначению основных компонентов предложения. Для идентифицирующей функции, выполняемой субъектом (шире — конкретно-референтными членами предложения), метафора слишком произвольна, она не может с полной определенностью указывать на предмет речи. Этой цели служат имена собственные и дейктические средства языка. Для предиката, предназначенного для введения новой информации, метафора слишком туманна, семантически диффузна. Кажущаяся конкретность метафоры не превращает ее в наглядное пособие языка.

Рано или поздно практическая речь убивает метафору. Ее образность плохо согласуется с функциями основных компонентов предложения. Ее неоднозначность несовместима с коммуникативными целями основных речевых актов — информативным запросом и сообщением информации, прескрипцией и взятием обязательств.

Метафора не нужна практической речи, но она ей в то же время необходима. Она не нужна как идеология, но она необходима как техника. Всякое обновление, всякое развитие начинается с творческого акта. Это верно и по отношению к жизни и по отношению к языку. Акт метафорического творчества лежит в основе многих семантических процессов — развития синонимических средств, появления новых значений и их нюансов, создания полисемии, развития систем терминологии и эмоционально-экспрессивной лексики. Без метафоры не существовало бы лексики «невидимых миров» (внутренней жизни человека), зоны вторичных предикатов, то есть предикатов, характеризующих абстрактные понятия. Без нее не возникли бы ни предикаты широкой сочетаемости (ср., например, употребление глаголов движения), ни предикаты тонкой семантики[8]. Метафора выводит

---

[8] Ср. высказывание Ю. С. Степанова: «Метафора — фундаментальное свой-

наружу один из парадоксов жизни, состоящий в том, что ближайшая цель того или другого действия (и в особенности творческого акта) нередко бывает обратна его далеким результатам: стремясь к частному и единичному, изысканному и образному, метафора может дать языку только стертое и безликое, общее и общедоступное. Создавая образ и апеллируя к воображению, метафора порождает смысл, воспринимаемый разумом.

Естественный язык умеет извлекать значение из образа. Итогом процесса метафоризации, в конечном счете изживающим метафору, являются категории языковой семантики. Изучение метафоры позволяет увидеть то сырье, из которого делается значение слова. Рассматриваемый в перспективе механизм действия метафоры ведет к конвенционализации смысла. Этим определяется роль метафоры в развитии техники смыслообразования, которая включает ее в круг интересов лингвистики.

2

Рассмотрим теперь положение метафоры в научном дискурсе. Отношение к употреблению метафоры в научной терминологии и теоретическом тексте менялось в зависимости от многих факторов — от общего контекста научной и культурной жизни общества, от философских воззрений разных авторов, от оценки научной методологии, в частности, роли, отводимой в ней интуиции и аналогическому мышлению, от характера научной области, от взглядов на язык, его сущность и предназначение, наконец, от понимания природы самой метафоры[9].

Естественно, что пафос резкого размежевания рациональной и эстетической деятельности человека, науки и искусства, стремление противопоставить строгое знание мифу и религии, гносеологию — вере всегда оборачивались против использования метафоры в языке науки.

Особенно отрицательно относились к метафоре английские философы-рационалисты.

Так, Т. Гоббс, считая, что речь служит в первую очередь для выражения мысли и передачи знания и что для выполнения этой функции пригодны только слова, употребленные в их прямом смысле, ибо только буквальное значение поддается верификации, видел в метафоре, равно как и в переносных значениях

ство языка, не менее фундаментальное, чем, например, оппозиция элементов языка. Посредством метафоры говорящий... вычленяет... из тесного круга, прилегающего к его телу и совпадающего с моментом его речи, другие миры» (Степанов Ю. С. В трехмерном пространстве языка. М., 1985, с. 229).

[9] Обзор работ о функциях метафоры в научном дискурсе см.: Гусев С. С. Наука и метафора. Л., 1984. См. также: Петров В. В. Научные метафоры: природа и механизм функционирования. — В кн.: Философские основания научной теории. Новосибирск, 1985; Hoffman R. R. Metaphor in science. — In.: Cognition and figurative language. Hillsdale, 1980.

вообще, препятствие к выполнению этого главного назначения языка[10]. Он писал: «Свет человеческого ума — это вразумительные слова, предварительно очищенные от всякой двусмысленности точными дефинициями. Рассуждение есть *шаг*, рост знания — *путь*, а благоденствие человеческого рода — *цель*. Метафоры же и двусмысленные слова, напротив, суть что-то вроде ignes fatui (блуждающих огней), и рассуждать при их помощи — значит бродить среди бесчисленных нелепостей, результат же, к которому они приводят, есть разногласие и возмущение или презрение»[11].

Дж. Локк в своей инвективе против несовершенств языка также осудил образное употребление слов, которое «имеет в виду лишь внушать ложные идеи, возбуждать страсти и тем самым вводить в заблуждение рассудок и, следовательно, на деле есть чистый обман. ... И напрасно жаловаться на искусство обмана, если люди находят удовольствие в том, чтобы быть обманутыми»[12]. Склонность человека к метафоре представлялась Локку противоестественной.

Приведенные оценки исходят из того, что метафора — это один из способов выражения значения, существующий наряду с употреблением слов в их прямом и точном смысле, но гораздо менее удобный и эффективный. На этом тезисе сходились мыслители, придерживающиеся рационалистических, позитивистских и прагматических взглядов, сторонники философии логического анализа, эмпирицисты и логические позитивисты. В рамках названных направлений метафора считалась недопустимой в научных сочинениях и «совершение метафоры» приравнивалось к совершению преступления (ср. англ. to commit a metaphor по аналогии с to commit a crime).

Философы и ученые романтического склада, искавшие истоки языка в эмоциональных и поэтических импульсах человека, напротив, считали метафору фатальной неизбежностью, единственным способом не только выражения мысли, но и самого мышления. Особенно категоричны и последовательны в этом отношении высказывания Ф. Ницше, на которых мы остановимся более подробно. Ницше писал: «“Вещь в себе” (ею была бы именно чистая, беспоследственная истина) совершенно недостижима... для творца языка и в его глазах совершенно не заслуживает того, чтобы ее искать. Он обозначает только отношения вещей к людям и для выражения их пользуется самыми смелыми метафорами. Возбуждение нерва становится изображением! Первая метафора. Изображение становится звуком! Вторая метафора. И каждый раз полный прыжок в совершенно другую и чуждую область... Мы думаем, что знаем кое-что о самих вещах, когда говорим о деревьях, красках, снеге и цветах; на самом же деле мы обладаем лишь

---

[10] Гоббс Т. Левиафан. М., 1936, с. 62.
[11] Там же, с. 63.
[12] Локк Дж. Соч. в 3-х тт., т. 1. М., 1985, с. 567.

метафорами вещей, которые совершенно не соответствуют их первоначальным сущностям»[13].

Картина мира, выстроенная из заведомо антропоморфных понятий, не может быть ничем иным, как «умноженным отпечатком одного первообраза — человека» (с. 400). Понятие, не изжившее метафоры, не поддается верификации[14]. Путь к истине заказан. «Что такое истина? Движущаяся толпа метафор, метонимий, антропоморфизмов, — короче, сумма человеческих отношений...; истины — иллюзии, о которых позабыли, что они таковы, метафоры, которые уже истрепались и стали чувственно бессильными» (с. 398).

Между субъектом и объектом, следовательно, возможно только эстетическое отношение, выражаемое метафорой (с. 401). Поэтому побуждение человека к созданию метафор неискоренимо. Оно ищет для своей реализации все новые возможности и находит их в мифе и искусстве (с. 404).

Здесь действует одновременно инстинкт разрушения и импульс к созиданию. Человек ломает «огромное строение понятий». Он «разбрасывает обломки, иронически собирает их вновь, соединяя по парам наиболее чуждое и разделяя наиболее родственное; этим он показывает, ...что им руководят не понятия, а интуиция» (с. 405).

Таким образом, Ницше считает, что познание в принципе метафорично, имеет эстетическую природу и не оперирует понятием верифицируемости.

Если рационализм исторгал метафору как неадекватную и необязательную форму выражения истины, то философский иррационализм стремился отдать все царство познания метафоре, изгнав из него истину.

Разные версии и рефлексы такого подхода к роли метафоры в познании встречаются во всех философских концепциях, которые отмечены печатью субъективизма, антропоцентричности, интуитивизма, интереса к мифо-поэтическому мышлению и национальным картинам мира.

Х. Ортега-и-Гассет, статья которого помещена в настоящем сборнике, полагал, что метафора — это едва ли не единственный способ уловить и содержательно определить объекты высокой степени абстракции. Позднее стали говорить о том, что метафора открывает «эпистемический доступ» к понятию[15]. Рассмотрев метафорические модели сознания, Ортега-и-Гассет писал: «От

---

[13] Ницше Ф. Об истине и лжи во внеправственном смысле (1873). — Ницше Ф. Полн. собр. соч., т. 1. М., 1912, с. 396 (далее указываются стр. по этому изданию).

[14] Ср. следующее высказывание Ницше: «...Понятие, сухое и восьмиугольное, как игральная кость, и такое же передвижное, как она, все же является лишь остатком метафоры» (с. 399).

[15] Boyd R. Metaphor and theory change. — In: Metaphor and thought. Cambridge, 1979.

наших представлений о сознании зависит наша концепция мира, а она в свою очередь предопределяет нашу мораль, нашу политику, наше искусство. Получается, что все огромное здание Вселенной, преисполненное жизни, покоится на крохотном и воздушном тельце метафоры» (наст. сб., с. 77).

В те же годы было положено начало другой важной для современных когнитивных штудий линии развития мысли. Э. Кассирер начал публикацию цикла исследований о символических формах в человеческой культуре[16]. В небольшой книге «Язык и миф», предварившей издание этого труда, Кассирер в сжатой форме изложил основные положения своей концепции. Завершающая глава этой книги «Сила метафоры» включена в настоящий сборник.

Э. Кассирер расширил область теории знания за счет исследования дологического мышления, отложившегося в языке, мифологии, религии, искусстве. Кассирер исходил из мысли о целостности человеческого сознания, объединяющего различные виды ментальной деятельности, и из необходимости сопряженного изучения как их генезиса, так и общей структуры. Эпистемические исследования должны, по мысли Кассирера, начинаться не с анализа форм знания, а с поисков первичных, доисторических форм зарождения представлений человека о мире, не базирующихся на категориях рассудка. В языке выражены, полагал Кассирер, как логические, так и мифологические формы мышления. Рефлексы мифологических представлений о мире он искал в метафоре, понимаемой им очень широко (Кассирер включал в это понятие также метонимию и синекдоху).

Символика, которую мы находим в языке, мифологии, искусстве, религии, логике, математике и т. п., открывает исследователю доступ к сознанию. Способность к символической репрезентации содержательных категорий составляет уникальное свойство человека, противопоставляющее его животным. В фокусе внимания Кассирера находится homo symbolicus.

В отличие от Ницше, Кассирер не сводил к метафоре все способы мышления. Он различал два вида ментальной деятельности: метафорическое (мифо-поэтическое) и дискурсивно-логическое мышление. Дискурсивно-логический путь к концепту состоит в ряде постепенных переходов от частного случая ко все более широким классам. Приняв в качестве отправной точки какое-либо эмпирическое свойство предмета, мысль пробегает по всей области бытия (отсюда термин «дискурсивное мышление»), пока искомый концепт не достигнет определенности. Именно так формируются понятия естественных наук. Их цель — превратить «рапсодию ощущений» в свод законов.

В противоположность дискурсивному мышлению метафорическое «освоение мира» (т.е. мифологическое и языковое, Кас-

---

[16] Cassirer E. Die Philosophie der Symbolischen Formen. Bd. 1—3. Berlin, 1923—1929.

сирер рассматривает их совместно) имеет обратную направленность: оно сводит концепт в точку, единый фокус. Если дискурсивное мышление экстенсивно, то мифологическая и языковая концептуализация действительности интенсивны; если для первого характерен количественный параметр, то для двух других — качественный.

В итоге вотум недоверия метафоре и всему человеческому познанию, вынесенный Ницше, обернулся надеждой на ее эвристические возможности, суггестивность. Из тезиса о внедренности метафоры в мышление была выведена новая оценка ее познавательной функции. Было обращено внимание на моделирующую роль метафоры: метафора не только формирует представление об объекте, она также предопределяет способ и стиль мышления о нем. Особая роль в этом принадлежит ключевым метафорам, задающим аналогии и ассоциации между разными системами понятий и порождающими более частные метафоры. Ключевые (базисные) метафоры, которые ранее привлекали к себе внимание преимущественно этнографов и культурологов, изучающих национально-специфические образы мира, в последние десятилетия вошли в круг пристального интереса специалистов по психологии мышления и методологии науки. Существенный вклад в разработку этой проблематики внесли работы М. Джонсона и Дж. Лакоффа. Начальные главы из их книги «Метафоры, которыми мы живем» включены в настоящий сборник.

М. Минский — автор теории фреймов (сценариев, в контексте которых изучаются предметные и событийные объекты) — вводит в свою систему также аналогии, основанные на ключевой метафоре. Он пишет: «Такие аналогии порою дают нам возможность увидеть какой-либо предмет или идею как бы «в свете» другого предмета или идеи, что позволяет применить знание и опыт, приобретенные в одной области, для решения проблем в другой области. Именно таким образом осуществляется распространение знаний от одной научной парадигмы к другой. Так, мы все более и более привыкаем рассматривать газы и жидкости как совокупности частиц, частицы — как волны, а волны — как поверхности расширяющихся сфер»[17]. Метафора, по Минскому, способствует образованию непредсказуемых межфреймовых связей, обладающих большой эвристической силой.

Итак, ключевые метафоры прилагают образ одного фрагмента действительности к другому ее фрагменту. Они обеспечивают его концептуализацию по аналогии с уже сложившейся системой понятий. Со времен Маркса стало принято представлять себе общество как некоторое здание, строение (Aufbau)[18]. Эта метафора позволяет выделять в обществе базис (фундамент), различ-

---

[17] Минский М. Остроумие и логика когнитивного бессознательного. — В сб.: Новое в зарубежной лингвистике, вып. XXIII, с. 291—292.

[18] Althusser L. Lire le Capital. Paris, 1968.

ные структуры (инфраструктуры, надстройки), несущие опоры, блоки, иерархические лестницы. Об обществе говорят в терминах *строительства*, *воздвижения* и *разрушения*, а коренные изменения в социуме интерпретируются как его перестройка.

Ассоциация общества со зданием, домом, который человек строит, чтобы в нем жить, присутствует не только в социологии и экономике, но и в обыденном сознании. В 1937 г. Б. Пастернак сказал А. С. Эфрон: «Как все-таки ужасно прожить целую жизнь и вдруг увидеть, что в твоем доме нет крыши, которая бы защитила тебя от злой стихии». Дочь Цветаевой на это ответила: «Крыша прохудилась, это правда, но разве не важнее, что фундамент нашего дома крепкий и добротный?»[19]

Лингвистам хорошо известны метафоры, дающие ключ к пониманию природы языка и его единиц: биологическая концепция языка делала естественным его уподобление живому и развивающемуся организму, который рождается и умирает (ср. живые и мертвые языки); компаративисты предложили метафоры языковых семей и языкового родства (*праязык* возник по аналогии с *прародителем*); для структурного языкознания была ключевой метафора уровневой структуры; для генеративистов — метафора языка как порождающего устройства. Смена научной парадигмы всегда сопровождается сменой ключевой метафоры, вводящей новую область уподоблений, новую аналогию.

Подведем короткий итог первым двум разделам. Метафора дисгармонирует со многими параметрами как практического, так и научного дискурса. Вместе с тем ею пользуются и в быту, и в науке. Метафора согласуется с экспрессивно-эмоциональной функцией практической речи. Однако более важен другой ее источник: метафора отвечает способности человека улавливать и создавать сходство между очень разными индивидами и классами объектов. Эта способность играет громадную роль как в практическом, так и в теоретическом мышлении. «Нет ничего более фундаментального для мышления и языка, — писал У. О. Куайн, — чем наше ощущение подобия»[20]. Это ощущение является общим для практического и научного дискурса стимулом к порождению метафор. В обоих случаях метафора знаменует собой лишь начало мыслительного процесса. Сравнение ни там, ни тут не может быть самоцелью. Волновая теория света создавалась не для того, чтобы уподобить свет волне. Дав толчок развитию мысли, метафора угасает. Она орудие, а не продукт научного поиска. Точно так же и в практической речи, дав толчок семантическому процессу, метафора постепенно стирается и в конце концов утрачивает образ, на смену которому приходит понятие (значение слова).

---

[19] Кудрова И. Последние годы чужбины. — «Новый мир», 1989, № 3, с. 228.

[20] Quine W. O. Natural kinds. — In: Naming, necessity, and natural kinds. Ithaca — London, 1977, p. 157.

Поэтическая (образная) мысль ограничена начальной стадией познания. Между тем в искусстве создание образа, в том числе и метафорического, венчает творческий процесс. Художественная мысль не отталкивается от образа, а устремляется к нему. Метафора — это и орудие, и плод поэтической мысли. Она соответствует художественному тексту своей сутью и статью.

3

Если присутствие метафоры в практической речи наталкивается на существенные ограничения, налагаемые коммуникативными целями и видами дискурса, а проникновение метафоры в научный текст может вызвать достаточно обоснованные протесты, то употребление метафоры в художественном произведении всегда ощущалось как естественное и законное. Метафора органически связана с поэтическим видением мира. Само определение поэзии иногда дается через апелляцию к метафоре. Когда Ф. Гарсиа Лорку спросили о существе поэзии, он вспомнил своего друга и сказал, что в применении к нему поэзия выразилась бы словами «раненый олень». В свойствах метафоры ищут признаки поэтической речи.

Поэтическое творчество того или иного автора нередко определяется через характерные для него метафоры, и поэты понимают и принимают такие определения. Н. Вильмонт, например, искал ключ к поэзии Б. Пастернака в его панметафористике[21], и поэт откликнулся на эту характеристику следующими словами: «Мне показалось странным ...то, как это я, столь фатально связанный особенностями и судьбами с метафорой, так ни разу не прошелся вверх по ее течению, о каковом верхе говорит любая ее струя силою своего движущегося существования»[22]. Другим примером могут послужить проницательные работы Р. О. Якобсона о Маяковском, в частности наблюдения над его восприятием мира сквозь метафорику игры, обозначившуюся уже в стихотворном дебюте Маяковского и выросшую в стихах «Про это» в jeu suprême[23].

---

[21] Н. Вильмонт так раскрывает это понятие: «В отличие от метафористики, знакомой нам из поэзии прошлого, я определял метафористику Пастернака как панметафористику, в которой синтезируются и метафористика Шекспира, и динамизм Гёте, и метафорическая емкость Ленау... и «пейзажи души», и «исторические видения» Верлена, и идущий от Гёте пантеизм Тютчева, и игра Пушкина на смысловых оттенках одного слова» (Вильмонт Н. Борис Пастернак (Воспоминания и мысли). — «Новый мир», 1987, № 6, с. 201). Аналогичный подход к поэзии О. Мандельштама и Б. Пастернака см.: Левин Ю. И. Структура русской метафоры. — В сб.: Труды по знаковым системам, вып. II. Тарту. 1965; он же: Русская метафора: синтез, семантика, трансформация. — В сб.: Труды по знаковым системам, вып. IV. Тарту, 1969.

[22] «Новый мир», 1987, № 6, с. 202.

[23] Jakobson R. Selected Writings, vol. V. The Hague — Paris — N. Y., 1979, p. 358.

С чем связано тяготение поэзии к метафоре? С тем прежде всего, что поэт отталкивается от обыденного взгляда на мир, он не мыслит в терминах широких классов. Гарсиа Лорка, для которого характерна рефлексия над позицией поэта и поэтическим творчеством, писал: «Все, что угодно, — лишь бы не смотреть неподвижно в одно и то же окно на одну и ту же картину. Светоч поэта — противоборство»[24]. Он освещает ему кратчайший путь к истине: «Когда прибегают к старому слову, то оно часто устремляется по каналу рассудка, вырытому букварем, метафора же прорывает себе новый канал, а порой пробивается напролом»[25].

Если взглянуть на поэтическое произведение сквозь призму диалога, то ему будет соответствовать не инициальная реплика, признаваемая обычно диалогическим «лидером», а ответ, реакция, отклик, часто отклик-возражение. Вполне естественно видеть в начале стихотворения «да» и особенно «нет»: *Да, я знаю, я вам не пара, / Я пришел из другой страны* (Н. Гумилев); *Да, этот храм и дивен и печален* (Он же); *Нет, не тебя так пылко я люблю...* (М. Лермонтов); *Нет, ты не прав, я не собой пленен...* (В. Ходасевич); *Нет, и не под чуждым небосводом, / И не под защитой чуждых крыл...* (А. Ахматова).

Не случайно поэзия часто начинается с отрицания, за которым следует противопоставление. Тому, кроме уже приведенных, есть много хрестоматийных примеров: *Нет, не агат в глазах у ней, / Но все сокровища Востока / Не стоят сладостных лучей / Ее полуденного ока* (Пушкин); *Нет, я не Байрон, я другой, / Еще неведомый избранник...* (Лермонтов); *Не то, что мните вы, природа: / Не слепок, не бездушный лик — / В ней есть душа, в ней есть свобода, / В ней есть любовь, в ней есть язык...* (Тютчев).

Именно по этому столь органически присущему поэзии принципу построена метафора. В ней заключено имплицитное противопоставление обыденного видения мира, соответствующего классифицирующим (таксономическим) предикатам, необычному, вскрывающему индивидную сущность предмета[26]. Метафора отвергает принадлежность объекта к тому классу, в который он на самом деле входит, и утверждает включенность его в категорию, к которой он не может быть отнесен на рациональном основании. Метафора — это вызов природе. Источник метафоры — созна-

---

[24] Гарсиа Лорка Ф. Избр. произв. в 2-х тт., т. 1. М., 1986, с. 412.

[25] Лихтенберг Г. К. Афоризмы. М., 1964, с. 122.

[26] Не случайно направление современной авангардистской поэзии, для которого особенно характерно противостояние нормативной картине мира, называет себя метаметафористским, видя именно в метафоре возможность выразить свое неприятие общепринятого. Метафора для адептов этой школы — это «фантом протеста против так называемой правды жизни в смысле ее унылой очевидности, бескрылой чехарды бытописательства» («Литературная газета», 1988, № 29).

тельная ошибка в таксономии объектов. Метафора работает на категориальном сдвиге. Это отмечалось многими авторами: см. в настоящем сборнике статьи Х. Ортеги-и-Гассета (с. 74) и П. Рикёра (с. 441). Метафора не только и не столько сокращенное сравнение, как ее квалифицировали со времен Аристотеля, сколько сокращенное противопоставление. Из нее исключен содержащий отрицание термин. Однако без обращения к отрицаемой таксономии метафора не может получить адекватной интерпретации. Это хорошо показано А. Вежбицкой (см. ее статью в наст. сб.). На это обращали внимание и другие авторы, в частности Ортега-и-Гассет (см. наст. сб., с. 74).

Сокращенное в метафоре противопоставление может быть восстановлено. Оно и в самом деле нередко присутствует в метафорических высказываниях: *Утешенье, а не коляска* (Гоголь); *Едешь, бывало, перед эскадроном; под тобой чорт, а не лошадь* (Л. Толстой); *Господи, это же не человек, а — дурная погода* (М. Горький).

В метафоре заключена и ложь и истина, и «нет» и «да». Она отражает противоречивость впечатлений, ощущений и чувств[27]. В этом состоит еще один мотив ее привлекательности для поэзии. Метафора умеет извлекать правду из лжи, превращать заведомо ложное высказывание если не в истинное (его трудно верифицировать), то в верное. Ложь и правда метафоры устанавливаются относительно разных миров: ложь — относительно обезличенной, превращенной в общее достояние действительности, организованной таксономической иерархией; правда — относительно мира индивидов (индивидуальных обликов и индивидных сущностей), воспринимаемого индивидуальным человеческим сознанием. В метафоре противопоставлены объективная, отстраненная от человека действительность и мир человека, разрушающего иерархию классов, способного не только улавливать, но и создавать сходство между предметами.

Итак, в метафорическом высказывании можно видеть сокращенное сравнение, но в нем можно видеть и сокращенное противопоставление. В первом случае подчеркивается роль аналогического принципа в формировании мысли, во втором акцент переносится на то, что метафора выбирает самый короткий и нетривиальный путь к истине, отказываясь от обыденной таксономии. Вместо нее метафора предлагает новое распределение пред-

---

[27] Ср. следующее высказывание Р. Музиля: «Метафора содержит правду и неправду, для чувства неразрывно друг с другом связанные. Если взять метафору такой, какова она есть, и придать ей по образцу реальности доступную чувствам форму, получатся сон и искусство, но между ними и реальной, полной жизнью стоит стеклянная стена. Если подойти к метафоре рационалистически и отделить несовпадающее от точно совпадающего, получатся правда и знание, но чувство окажется уничтоженным... Отделив в метафоре все, что, вероятно, могло бы быть правдой, от просто словесной пены, правды обычно приобретают немножко, а всю ценность метафоры сводят на нет» (М у з и л ь Р. Человек без свойств. М., 1984, т. I, с. 653).

метов по категориям и тут же от него отказывается. Она вообще не стремится к классификации. Сам таксономический принцип для нее неприемлем.

Субстантивная метафора, будучи по форме таксономической, осуществляет акт характеризующей предикации: «материя» исчезает, остаются воплощенные в образе признаки. Метафора учит не только извлекать правду из лжи, она учит также извлекать признаки из предмета, превращать мир предметов в мир смыслов. Когда говорят «Ваня (не мальчик, а) настоящая обезьянка», не имеют в виду ни расширить класс обезьянок за счет включения в него одного мальчика, ни сузить класс мальчиков, изъяв из него Ваню. Метафора имеет своей целью выделить у Вани некоторое свойство, общее у него с обезьянками.

Субстантивная метафора дает характеристику предмета, но в то же время она не совсем оторвалась и от таксономического принципа мышления, предполагающего, что объект может быть включен только в один узкий класс (в идеале таксономия строится как последовательное включение более узких категорий в более широкие), тогда как характеризация предмета имплицирует множественность, то есть выделение неограниченного набора свойств. Метафора стремится соблюдать принцип единичности. Выводя наружу сущность предмета, метафора избегает плюрализма. Хорошая метафора объемлет совокупность сущностных характеристик объекта и не нуждается в дополнении. Для таких метафор более естествен «спор», чем конъюнкция, выстраивающая метафоры в шеренгу, например: *И я знаю теперь, чего не знала тогда: что я не скала, а река, и люди обманываются во мне, думая, что я скала. Или это я сама обманываю людей и притворяюсь, что я скала, когда я река?* (Н. Берберова, «Курсив мой»). Выбор Метафоры из числа метафор отвечает поиску сущности. Разумеется, «правило единичности» не является жестким. Конвенционализация, употребление в эмоциональной речи и другие условия могут снять это требование.

Метафора в ее наиболее очевидной форме — это транспозиция идентифицирующей (дескриптивной и семантически диффузной) лексики, предназначенной для указания на предмет речи, в сферу предикатов, предназначенных для указания на его признаки и свойства[28].

Классическая метафора — это вторжение синтеза в зону анализа, представления (образа) в зону понятия, воображения в зону интеллекта, единичного в зону общего, индивидуальности в страну классов.

Здесь опять же действует принцип сдвига, транспозиции — один из основных ресурсов поэтической речи. В данном случае

---

[28] Подробнее об этих семантических типах см.: Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл. М., 1976, гл. 6.

имеет место нарушение соответствия между лексическим типом слова и выполняемой им синтаксической функцией.

Вернемся, однако, к метафорическому контрасту. Чем дальше отстоят друг от друга противополагаемые разряды объектов, тем ярче «метафорический сюрприз» от их контакта. Соположение далекого (создание сходства) — один из важных принципов построения художественной речи и еще одна причина родства метафоры с поэзией. Псевдоидентификация в пределах одного класса не создает метафоры. Назвать толстяка Фальстафом, а ревнивца Отелло не значит прибегнуть к метафоре.

Для метафоры, таким образом, характерно установление далеких связей. В какой мере случайны эти далекие отношения? Они случайны в том смысле, что прямо обусловлены индивидуальным опытом и субъективным сознанием автора. Произвол в выборе метафоры — недвусмысленное свидетельство ее поэтической природы, ведь поэзия — это царство случайного, неожиданного, непредсказуемого. Ю. Н. Тынянов писал, имея в виду метафору Пастернака: «Случайность оказывается более сильной связью, чем самая тесная логическая связь»[29]. Однако метафора и здесь знакома с ограничениями: устанавливаемые ею отношения не выходят за пределы чувственно воспринимаемой реальности, иначе она бы утратила главное из своих свойств — образность (ср. приводимое ниже высказывание Ф. Гарсиа Лорки).

Мы стремились в общих чертах показать, что метафора является органическим компонентом художественного (поэтического) текста и ее употребление в других видах дискурса связано с тем, что и в них необходимо присутствуют элементы поэтического мышления и образного видения мира.

Метафору роднят с поэтическим дискурсом следующие черты: 1) слияние в ней образа и смысла, 2) контраст с тривиальной таксономией объектов, 3) категориальный сдвиг, 4) актуализация «случайных связей», 5) несводимость к буквальной перефразе, 6) синтетичность, диффузность значения, 7) допущение разных интерпретаций, 8) отсутствие или необязательность мотивации, 9) апелляция к воображению, а не знанию, 10) выбор кратчайшего пути к сущности объекта.

Метафора расцветает на почве поэзии, но ею не исчерпывается поэзия. Гарсиа Лорка, однажды объяснивший существо поэзии через метафорический образ (см. выше), в одной из своих наиболее проницательных лекций «О воображении и вдохновении»

---

[29] Тынянов Ю. Н. Промежуток. — В кн.: Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977, с. 185. Ср. также у Р. Музиля: «Метафора — эта та связь представлений, что царит во сне, та скользящая логика души, которой соответствует родство вещей в догадках искусства и религии..., все разнообразные отношения человека с самим собой и природой, которые чисто объективными еще не стали, да и никогда, наверно, не станут, нельзя понять иначе как с помощью метафор» («Человек без свойств», т. I, с. 666).

(ее текст сохранился не полностью) говорил: «Для меня вооб ражение — синоним способности к открытиям... Подлинная дочь воображения — метафора, рожденная мгновенной вспышкой интуиции, озаренная долгой тревогой предчувствия... Воображение поэтическое странствует и преображает вещи, наполняет их особым, сугубо своим смыслом и выявляет связи, которые даже не подозревались, но всегда, всегда, всегда оно явно и неизбежно оперирует явлениями действительности...; оно никогда не могло погрузить руки в пылающий жар алогизма и безрассудности, где рождается вольное и ничем не скованное вдохновение. Воображение — это первая ступень и основание всей поэзии»[30].

Связь метафоры с поэтическим воображением, с фантазией, ее образность, открыли возможность говорить о метафоре в современной живописи, театре и кино, техника которых развилась в сторону использования косвенных выразительных средств, символики.

Точно так же, как Н. Вильмонт искал существо художественного метода Пастернака в панметафоризме (см. выше), некоторые искусствоведы видят ключ к разгадке поэтики М. Шагала в том, что он — мастер изобразительной метафоры. Однако в знаменитых шагаловских иллюстрациях к «Мертвым душам» (их 96) мы не обнаружим ни одной из гоголевских метафор. Словесная метафора не просится на бумагу. Собакевич может быть назван медведем, и в таком его обозначении сконцентрирована сущность этого персонажа, но он не может быть изображен в облике медведя. И наоборот: хотя среди шагаловских иллюстраций есть изображение тройки, оно не воспринимается ни как метафора России, ни как метафора фантасмагории.

Касаясь буквализма в передаче на экране «одной из главных тайн художественного слова — метафоры» и отмечая «необходимость найти на кинематографическом языке свою метафору», Г. Товстоногов пишет далее: «Разве может, скажем, гоголевская «птица-тройка» быть воссоздана на экране показом быстро едущей тачки, запряженной тремя лошадьми? А ведь здесь кульминация, квинтэссенция «Мертвых душ», которые не зря же были названы поэмой! Необходимо, на мой взгляд, взяв за основу главную особенность гоголевского мира — фантасмагорию, — подвести к тому, чтобы из обычного движения вдруг выросло нечто космическое, глобальное... Иначе говоря, важно передать ощущение невозможной, нереальной и в то же время очень реальной

---

[30] Гарсиа Лорка Ф. Указ соч., с. 410—411. Ср. также следующее высказывание А. Межирова: «К метафоре относился я всегда с маниакальной подозрительностью, зная о том, что на вершинах поэзии метафор почти нет, что метафоры слишком часто уводят от слова к представлению, мерцают неверным светом, влекут к прозе, тогда как поэзия — установление вековой молчаливой работы духа и разума» («Такая мода». — «Литературная газета». 1985, № 39).

тройки» («Лермонтовский демон кисти Врубеля». — «Литературная газета», 1985, № 1).

Перенос метафоры на почву изобразительных искусств ведет к существенному видоизменению этого понятия. «Изобразительная метафора» глубоко отлична от метафоры словесной. Она не порождает ни новых смыслов, ни новых смысловых нюансов, она не выходит за пределы своего контекста и не стабилизируется в языке живописи или кино, у нее нет перспектив для жизни вне того произведения искусства, в которое она входит. Сам механизм создания изобразительной метафоры глубоко отличен от механизма словесной метафоры, непременным условием действия которого является принадлежность к разным категориям двух ее субъектов (денотатов) — основного (того, который характеризуется метафорой) и вспомогательного (того, который имплицирован ее прямым значением). Изобразительная метафора лишена двусубъектности. Это не более чем образ, приобретающий в том или другом художественном контексте символическую (ключевую) значимость, более широкий, обобщающий смысл. Так, когда пишут, что бронированный автомобиль министра с наглухо захлопнувшимися дверцами (в итальянском фильме «Шутка») есть метафора обреченности, то речь идет просто о расширительном прочтении эпизода. В этом случае более уместно говорить о киносимволике или о символическом истолковании текста, о символической модальности в интерпретации произведений искусства в духе идей Умберто Эко[31] или в духе анализа поэтических текстов Р. Якобсоном и опоязовцами, стремившимися к выделению в творчестве поэта индивидуальной символики — ключевых образов и эпизодов. Такого рода метод одинаково пригоден в интерпретации искусств словесных и изобразительных. Речь идет об образе-обобщении, метафора же, напротив, — это образ-индивидуализация.

4

Хотя в применении к изобразительным искусствам излишне говорить о метафоре, само обращение к этой теме небесполезно. Оно подводит к вопросу о месте метафоры в ряду других семиотических концептов, в частности о ее отношении к символу.

В основе метафоры и символа лежит образ[32]. Образ — источник основных семиотических понятий, структура которых создается взаимодействием (органическим или конвенциональным) принципиально разных планов — плана выражения (означающего) и плана содержания (означаемого). И метафора и символ

---

[31] Eco U. La struttura assente. Milano 1968; Idem. Semiotics and the philosophy of language. London, 1984.

[32] О концепте образа см. подробнее: Арутюнова Н. Д. От образа к знаку. — В кн.: Мышление, когнитивные науки, искусственный интеллект. М., 1988.

часто определяются через апелляцию к образу[33]. Многие критики недифференцированно говорят о метафорике и символике в индивидуальном стиле того или другого поэта. Можно встретить синонимическое употребление выражений метафорический образ и символический образ. Действительно, концепты метафоры и символа пересекаются. Их близость, основанная на ряде разделяемых признаков, усилена общей тенденцией литературной критики к расширительному употреблению терминов. Между тем, с точки зрения своего положения в иерархии семиотических концептов, метафора и символ не могут быть отождествлены.

Восходя к одному источнику — понятию образа, метафора и символ унаследовали от него ряд общих черт, отличающих их от центрального семиотического концепта — знака. Как и образ, метафора и символ возникают стихийно в процессе художественного освоения мира. Они относительно независимы от воли человека. Их значение нельзя считать полностью сформированным. И метафора и символ являются объектом скорее интерпретации, чем понимания.

Именно это свойство не позволяет им служить орудием коммуникации: ни символами, ни метафорами не передают сообщений. Ими нельзя отдать приказ или взять на себя обязательство. Они безадресатны. Это отличает их от знака. Знаком можно осуществить адресованный речевой акт: поздороваться и попрощаться, пригласить войти или выдворить вон, пригрозить или предостеречь. Ни символ, ни метафора не могут войти в те контексты, в которых имя знак эквивалентно высказыванию, включающему коммуникативную цель (иллокутивную силу). Концепт знака связан с прагматикой речи. Знак — орудие в руках человека. При помощи знаков общаются и регулируют межличностные отношения. Метафора и символ не инструментальны, как не инструментален образ.

Отправляясь от образа, метафора и символ «ведут» его в разных направлениях. В основе метафоры лежит категориальный сдвиг (см. выше), заглушающий ее образность. В свою очередь этому способствует предикатная позиция, выдвигающая на первый план семантический, а не референтный аспект слова. Поэтому метафора делает ставку на значение, которое постепенно приобретает отчетливость и может войти в лексический фонд языка. В символе, для которого не характерно употребление в предикате, напротив, стабилизируется форма. Она становится проще и четче. Ее легко узнать. Метафора не просится на бумагу. Символ тяготеет к графическому изображению. Не случайно словник словаря символов, замысленного П. А. Флоренским, состоит из

---

[33] См. определения символа разными авторами, приведенные в кн.: Лосев А. Ф. Проблема символа в реалистическом искусстве. М., 1970.

названий геометрических фигур, а единственная статья, написанная им для этого словаря, посвящена точке[34].

В метафоре сохраняется целостность образа, который может отойти на задний план, но не распасться. Символ ведет себя иначе. Вследствие общей тенденции к упрощению означающего символическую значимость может получить отдельный признак образа — его цвет, форма, положение в пространстве. Распадение образа на символические элементы дает возможность его прочтения. Образ превращается в «текст». Хотя символы (как и метафоры) взаимонезависимы, они допускают консолидацию в систему. Цветовая символика может образовать свой «язык» (код). В этом случае интерпретация символов приближается к их пониманию, основанному на знании кода. Такая ситуация характерна для иконописи (шире, ритуальной символики).

Схематизация означающего в символе делает его связь со значением менее органичной. Это кардинально отличает символ от метафоры, в которой отношения между образом и его осмыслением никогда не достигают полной конвенционализации.

Развитие метафоры в сторону фиксации смысла, выполняющего характеризующую функцию, предопределяет ее тяготение к позиции предиката. Разумеется, в языке поэзии, в котором все позиции семантически насыщены и к которому не предъявляется требование эксплицитности, метафора не имеет строгих позиционных ограничений. Она может вводиться в текст в своей вторичной функции, то есть в функции именования. В обыденной речи, однако, такое ее использование может помешать пониманию сообщения: — *Ну, а что, медведь наш сидит?* — *Кто это, Яков Петрович?* — *Ну медведь-то, будто не знаете, кого медведем зовут?* (Достоевский). Референция метафоры осуществляется обычно через установление ее анафорической связи с прямой номинацией предмета.

Символ, в отличие от метафоры, упрочив свое означающее, выполняет дейктическую, а не характеризующую функцию. Символы не могут занять позиции предиката. Они указывают на некоторый смысл, но не применяют его для характеризации другого («постороннего») объекта. Им не свойственна двусубъектность метафоры.

Из этого различия вытекает и расхождение в типичных для символа и метафоры значениях. Метафора не знает семантических ограничений. Выполняя в предложении характеризующую функцию, метафора может получить любое признаковое значение, начиная с образного (пока она сохраняет живую семантическую двуплановость) и кончая значением широкой сферы сочетаемости.

---

[34] См.: Некрасова Е. А. Неосуществленный замысел 1920-х годов создания "Symbolarium'a" (словаря символов) и его первый выпуск «Точка». — В кн.: Памятники культуры. Новые открытия — 1982. Л., 1984.

Вместе с тем метафору обычно относят к конкретному субъекту, и это удерживает ее в пределах значений, прямо или косвенно связанных с действительностью. Символ, напротив, легко преодолевает «земное тяготение». Он стремится обозначить вечное и ускользающее, то, что в учениях с мистическими тенденциями (например, в даоизме) считается подлинной реальностью, не поддающейся концептуализации. «Великая душа и великая память мира — Anima Mundi — может быть названа (evoked) только символами» (У. Йитс). Поэтому символ часто имеет неотчетливые трансцендентные смыслы. «В символе есть сокрытие и откровение, молчание и речь» (Т. Карлейль). Именно символ выражает «ощущение запредельности» (the sense of beyond). У метафоры другая, более «земная» задача. Она призвана создать такой образ объекта, который бы вскрыл его латентную сущность. Метафора углубляет понимание реальности, символ уводит за ее пределы.

Метафора выражает языковые значения, заключенные в образную оболочку (vehicle, по Ричардсу), символ — общие идеи. Поэтому символы не могут обозначать случайного[35], и разговор об общих идеях, выраженных в искусстве и его образах, почти автоматически трансформирует эти последние в символы. Так, обсуждая идейное содержание «Преступления и наказания», И. Анненский переводит всех персонажей романа в категорию символов. Он пишет: «Маляр — это высший символ страданий», «Порфирий — это символ того своеобразного счастия, которое требует игры с человеческой мукой»[36].

К контексте искусства есть и другой способ трансформации образа в символ. Речь в этом случае идет о выделении в произведении ключевого образа или ключевой метафоры; ср. в эссе В. В. Набокова о Гоголе: «Шляпная коробка, которую городничий надевает на голову, когда, облачившись в роскошный мундир, в рассеянности спешит навстречу грозному призраку, — чисто гоголевский символ обманного мира». В таком употреблении прослеживается еще одно различие между метафорой и символом. Если метафора развивается в сторону семантического обеднения и вместе с тем большей определенности, то символ, концентрируя в себе идейный смысл целого произведения, напротив, расширяет свое содержание, но в то же время не делает его вполне определенным. Символ обогащает образ метонимической способностью представлять частью целое.

Наряду с уже указанными существует еще одно — причем фундаментальное — различие между метафорой и символом. Если переход от образа к метафоре вызван семантическими (то есть внутриязыковыми) нуждами и заботами, то переход к символу

---

[35] См.: Степанов Ю. С. Указ. соч., с. 72.

[36] Анненский И. Ф. Искусство мысли. Достоевский в художественной идеологии. — В кн.: Анненский И. Ф. Избранное. М., 1987, с. 410, 415.

чаще всего определяется факторами экстралингвистического порядка. Это касается как окказиональных, так и устойчивых символов. Образ становится символом в силу приобретаемой им функции в жизни лица (личный символ), в жизни социума, государства, религиозной или культурной общности, идейного содружества, рода, наконец, в жизни всего человечества (ср. архетипические символы). В этом последнем случае символ сближается с базисной метафорой, или диафорой, апеллирующей к интуиции (по Уилрайту, см. его статью в наст. сборнике). Становясь символом, образ входит в личную или социальную сферу. Можно быть (или стать) символом «для кого-нибудь»; например: *Образ иллюзорного мира китайских теней сделался для Карамзина неким философским символом* (Ю. М. Лотман). Метафора, сколь бы субъективна она ни была, не может сделаться метафорой «для кого-нибудь». Она не принадлежит ни к какой личной или социальной сфере. Символ входит в личную сферу, но он не творится личностью. Если образы *складываются*, то символами *становятся*, до символа *возвышаются*, *поднимаются*, *вырастают*, *разрастаются*. Такое словоупотребление, типичное для имени *символ*, показывает, что символ выполняет в жизни человека далеко не ординарную функцию. Возвышаясь, он приобретает власть над человеком, диктуя выбор жизненных путей и моделей поведения. Не случайно говорят о *символах царской власти*. Не случайно также, что сообщества людей отмечаются социальной символикой, назначение которой объединять и направлять усилия коллектива[37]. Однако смысловая интерпретация государственной, племенной и национальной символики может быть весьма туманной и даже нестабильной: «властность» символа обедняет его смысл.

Итак, образ психологичен, метафора семантична, символика императивна, знак коммуникативен.

5

Характеристика родства метафоры с поэтической речью не была бы полной, если бы мы коротко не коснулись вопроса о месте метафоры в ряду других тропов, и прежде всего тех из них, с которыми она находится в непосредственных системных отношениях. К их числу принадлежат сравнение, метаморфоза и метонимия. За основу сопоставления нами берутся эталонные ситуации, в которых наиболее отчетливо проявляются свойства каждого тропа.

Близость к метафоре образного сравнения не вызывает сомнений. Исключение из сравнения компаративной связки *как (подобно, точно, словно, будто, как будто)* или предикативов *подобен*,

---

[37] Обзор литературы по этой теме см.: Firth R. Symbols public and private. London, 1973.

сходен, похож, напоминает[38] часто считается основным приемом создания метафоры. Этот ход имеет своим следствием существенное изменение синтаксической структуры. Предложение подобия преобразуется в предложение тождества, точнее, таксономической предикации: *Эта девочка похожа на куклу* → *Эта девочка как кукла* → *Эта девочка — настоящая кукла.* Поэтому формальные и семантические различия между образным сравнением и метафорой в большой мере связаны с различием этих двух видов логических отношений.

Для сравнения характерна свобода в сочетаемости с предикатами разных значений, указывающими на те действия, состояния и аспекты объекта, которые стимулировали уподобление: *...И мщенье бурное падет / В душе, моленьем усмиренной: / Так на долине тает лед, / Лучом полудня пораженный* (Пушкин); *Высоко в небе облачко серело, / Как беличья распластанная шкурка* (А. Ахматова); *Я слышу: легкий трепетный смычок, / Как от предсмертной боли бьется* (А. Ахматова).

Субстантивная метафора лишена синтаксической подвижности. Она не принимает ни аспектизирующих, ни уточняющих, ни интенсифицирующих, ни обстоятельственных модификаторов. Она вводится связкой; ср.: *Этот мальчик своей неуклюжестью и неповоротливостью, своей медленной и слегка косолапой походкой сильно напоминал в эту минуту маленького лохматого медвежонка, только что вышедшего из берлоги на яркий солнечный свет* и *Этот мальчик — настоящий медвежонок.*

Метафора лаконична. Она легко входит в «тесноту стихотворного ряда» (по Ю. Н. Тынянову). Она избегает модификаторов, объяснений и обоснований. Метафора сокращает речь, сравнение ее распространяет. Эти тропы отвечают разным тенденциям поэтического языка.

Переход в разряд предложений таксономической предикации предопределяет смысловую специфику метафоры: если сравнение указывает на подобие одного объекта другому, независимо от того, является оно постоянным или преходящим, действительным или кажущимся, ограниченным одним аспектом или глобальным, то метафора выражает устойчивое подобие, раскрывающее сущность предмета, и в конечном счете его постоянный признак. Поэтому метафорические высказывания не допускают обстоятельств времени и места. Не говорят **Вы сейчас медведь* или **На той неделе он был в лесу заяц.* Напротив, ограничение временны́м отрезком или определенным эпизодом очень характерно для сравнения: *В ту минуту он был похож на разъяренного тигра.* Подобие может быть иллюзорным. Это то, что п о к а з а л о с ь. Метафора — это то, что е с т ь. Спор о сходстве — это спор о

---

[38] См. статью Миллера в наст. сборнике, а также: Т у р о в с к и й В. В. *Как, похож, напоминать*, творительный сравнения: толкования для группы квазисинонимов. — В сб.: Референция и проблемы текстообразования. М., 1988.

впечатлениях. Спор о выборе метафоры — это спор об истинной сущности предмета. Можно сказать *Сегодня она показалась мне похожей на птицу*, но едва ли скажут *Мне кажется, она птица* или *Я думаю, что Собакевич — медведь.* Поэтому можно быть одновременно похожим на разные объекты, но для метафор конъюнкция не характерна.

Особенно категорически не допускает метафора указания на то свойство, которое дало повод для уподобления: **Своей косолапостью Собакевич был медведь.* Метафора сама занимает то синтаксическое место, которое предназначено для экспликации основания сравнения, а именно позицию предиката: *Собакевич неуклюж, тяжеловесен и косолап как медведь → Собакевич настоящий медведь.*

В семантическом механизме метафоры участвуют четыре компонента, лишь частично представленные в ее поверхностной структуре: основной и вспомогательный субъекты метафоры, по М. Блэку (см. его статью в наст. сборнике), и некоторые свойства каждого из них.

В образной субстантивной метафоре синтезирован термин сравнения (вспомогательный субъект), его признак (или признаки), а также свойство основного субъекта — искомое, то, ради чего говорящий прибегает к метафоре. Оно формируется пересечением признаков двух субъектов. Когда метафора меркнет, выживает только «искомое»: оно становится новым значением утратившего образные ассоциации слова.

В предикатной метафоре не обозначен класс вспомогательного субъекта, его имплицирует признаковое слово. Оно же подсказывает и «искомое» — признак основного субъекта. Когда слова называют колкими, то прилагательное *колкий* указывает и на вспомогательный субъект (им является колющее оружие), и на искомый признак слов: им является способность вызывать в душе человека эффект, подобный тому, который производит вонзающееся в живое тело острие.

Наконец, мы можем осознать лаконизм метафоры, ее «сокращенность». Сокращая «знак сравнения» (компаративную связку), метафора вместе с ним отбрасывает и основание сравнения. Если в классическом случае сравнение трехчленно (А сходно с В по признаку С), то метафора в норме двухчленна (А есть В).

Вместе с основанием сравнения метафора отказывается и от всех модификаторов. Метафора образна, но она не описывает частностей. Вместе с модификаторами она отстраняет от себя и всевозможные разъяснения. Метафора — это приговор без судебного разбирательства, вывод без мотивировки. Она семантически насыщена, но не эксплицитна. Если мы вспомним, что метафора — это еще и противопоставление, из которого исключен первый термин, то сможем вполне оценить, в какой мере она основана на отказе и выборе — двух основных принципах поэтического слова, в котором отказ от мотивировок, объяснений,

распространителей, развертывания «фона» (тривиальных истин) и т. п. может быть компенсирован только единственностью и точностью выбора. Метафора центростремительна, но есть в ней и центробежные силы, реализующиеся через семантическую иррадиацию (см. ниже).

6

Метафора может быть противопоставлена не только сравнению, но и метаморфозе, если позволено в этом явлении видеть качественно иную фигуру речи. О необходимости различения метафоры и метаморфозы писал В. В. Виноградов: «В метафоре нет никакого оттенка мысли о превращении предмета. Наоборот, "двуплановость", сознание лишь словесного приравнивания одного "предмета" другому — резко отличному — неотъемлемая принадлежность метафоры. Вследствие этого следует обособлять от метафор и сравнений в собственном смысле тот приглагольный творительный падеж, который является семантическим привеском к предикату (с его объектами), средством его оживления, раскрытия его образного фона»[39]. Комментируя ахматовские строки: *Еще недавно ласточкой свободной / Свершала ты свой утренний полет; Я к нему влетаю только песней / И ласкаюсь утренним лучом* — и другие подобные, Виноградов замечает: «Во всех этих случаях ... имеем дело не с чисто словесными метафорами, а с отголосками "мифологического мышления". Все эти "превращения" созерцаются героиней как реальность. Стало быть, здесь дело не в языковых метаморфозах, а в способе восприятия мира»[40].

В самом деле, метафора, будучи средством характеризации объекта, всегда сохраняет ориентированность на него. В ней «выживает» в своей предметности определяемое (основной субъект метафоры), а термин сравнения (вспомогательный субъект) преобразуется в конечном счете в признаковое значение. Напротив, в творительном метаморфозы как бы исчезает основной субъект, а сохраняется его «оборотень». Не случайно творительный предикативный является обязательным падежом после глаголов *казаться*, *притворяться*, *представляться*, *видеться*, *оборачиваться*, *являться* и т.п. Метаморфоза именно «показывает», демонстрирует «превращенный» мир: *Серой белкой прыгну на ольху, / Ласочкой пугливой пробегу, / Лебедью тебя я стану звать* (А. Ахматова), *Зачем притворяешься ты / То ветром, то камнем, то птицей?* (А. Ахматова). Метаморфоза — это эпизод, сцена, явление; метафора пронизывает собой все развитие сюжета (см. ниже).

Проникновение в область семантики свойственно метафоре, но не характерно для метаморфозы, которая, указывая на «частное

---

[39] Виноградов В. В. О поэзии Анны Ахматовой. — Цит. по кн.: Виноградов В. В. Поэтика русской литературы. М., 1976, с. 411.
[40] Там же, с. 411—412.

совпадение субстанций»[41], не отлагается в языке в виде особого способа преобразования и порождения значений. Однако и метаморфоза имеет выход в семантику, который открывает перед ней связь с действием субъекта (ср. *бежать рысью*, *лететь стрелою*, *идти гуськом*, *течь рекою)*. Как только создается такое сцепление, имя адвербиализуется, приобретая новый смысл. В этом случае говорят о метафоре, а не о метаморфозе.

На «перекрестке» метафоры и метаморфозы возникает автометафора — метафорическая самоидентификация поэта, проливающая некоторый свет на психологию творчества.

Выше подчеркивалось, что метафора выделяет сущностный, а следовательно, и постоянный признак объекта, между тем как сравнение и особенно метаморфоза обращают внимание скорее на преходящее подобие или эпизодическое «превращение». Поэту, однако, свойственна множественность образов. Эгоцентризм сочетается в нем с метаморфозами Эго; ср. у Н. М. Карамзина: *Скажи, кто образы Протеевы исчислил? / Таков питомец муз и был и будет ввек* («Протей, или Несогласия стихотворца»). Служитель муз ощущает множественность своей личности. Поэтому одна автометафора может сменять другую: *Ищи меня в сквозном весеннем свете. / Я весь — как взмах неощутимых крыл, / Я звук, я вздох, я зайчик на паркете. / Я легче зайчика: он — вот, он есть, я был* (В. Ходасевич). Однако и здесь прямая конъюнкция метафор избегается.

Автометафора, по-видимому, рождается из непосредственного ощущения. И. Ф. Стравинский, характеризуя творчество как физиологический процесс, сказал в одном из интервью, что чувствует себя, когда пишет, то свиньей, ищущей трюфелей, то устрицей, делающей жемчуг. Здесь, пожалуй, мы сталкиваемся скорее с метаморфозами, чем с метафорами.

Вместе с тем поэт нередко выделяет то главное свойство или состояние, которое отвечает его природе. В этом случае автометафора пронизывает собой все стихотворение; ср. у Блока: *Зеленею, таинственный клен, / Неизменно склоненный к тебе. / Теплый ветер пройдет по листам, / Задрожат от молитвы стволы...* Или у современных поэтов: *Я — куст из роз и незабудок сразу, / Как будто мне привил садовник дикий / Тяжелую цветочную проказу. / Я буду фиолетовой и красной, / Багровой, желтой, черной, золотой, / Я буду в облаке жужжащем и опасном / Шмелей и ос заветный водопой. / Когда ж я отцвету, О Боже, Боже, / Какой останется искусанный комок, / Остывшая и с лопнувшею кожей — / Отцветший полумертвый зверь-цветок* (Е. Шварц); ср. также развернутую контрметафору в стихотворении А. Горнона «Краб»: *Я краб, я граб, / Я крепок, смел и груб. — / Не зверь-цветок, / Не рыбка золотая, / Я вскормлен морем,*

[41] Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. М., 1958, особенно с. 485.

вписываюсь в грунт, / Весь век тружусь, / Клещей не покладая... (два последних примера взяты из сборника «Круг». Л., 1985).

7

Нам остается коротко остановиться на отношении метафоры к метонимии, различие между которыми было блестяще показано Р. Якобсоном, связавшим его с различиями в поведении афатиков с нарушениями механизмов синтагматической и парадигматической организации речи (см. его работу в наст. сборнике).

Если отношения между сравнением, метафорой и метаморфозой, занимающими в предложении предикатную позицию, могут быть охарактеризованы как парадигматические, то метафора и метонимия позиционно распределены и находятся между собой в синтагматических отношениях. Метонимия тяготеет к позиции субъекта и других референтных членов предложения. Она не может быть употреблена в предикате. Метафора, напротив, в своей первичной функции прочно связана с позицией предиката. Такое распределение вытекает из природы каждого тропа. Метонимия обращает внимание на индивидуализирующую черту, позволяя адресату речи идентифицировать объект, выделить его из области наблюдаемого, отличить от других соприсутствующих с ним предметов, метафора же дает сущностную характеристику объекта. Например: *Читали про конференцию по разоружению? — обращался один пикейный жилет к другому пикейному жилету. — Выступление графа Бернстрофа? — Бернстроф — это голова... — отвечал спрошенный жилет... — Что вы скажете насчет Сноудена? — Я скажу вам откровенно, — отвечала панама, — Сноудену пальца в рот не клади... Пикейные жилеты поднимали плечи* (И. Ильф и Е. Петров). В приведенном фрагменте метонимии *(пикейные жилеты, жилет, панама)* употреблены в идентифицирующей позиции субъекта, а метафора *(голова)*, напротив, стоит в предикате. Можно сказать *Вон та голова — это голова* или *Эта шляпа — ужасная шляпа*, где имена *голова* и *шляпа* получают в субъекте метонимическое (идентифицирующее) прочтение, а в предикате — метафорическое.

Приведенный выше фрагмент показывает, что метонимия и метафора различаются также закономерностями семантической сочетаемости. Метонимия призвана идентифицировать целое по характерной для него части. Поэтому логично, что она получает определения, относящиеся к этой детали, а не к целому. Определения в сочетаниях *старая (высокая, рыжая) шляпа* могут быть отнесены только к шляпе. Между тем предикат и производные от него определения согласуются с «целым», то есть референтом метонимии: *Шляпа зевнула (сгорбилась), Пикейные жилеты поднимали плечи.*

Иначе обстоит дело с метафорой. Живая метафора стремится

к иррадиации, семантическому развертыванию: *...И ночь, когда голубку нашу / Ты, старый коршун, заклевал* (Пушкин) (см. также примеры выше). Развертывание метафоры, то есть осуществление семантического согласования сквозь все предложение (или даже через весь стихотворный текст), превращает метафору в образ (как особый художественный прием)[42]. Когда метафора попадает в позицию субъекта, она допускает обратную ситуацию сравнительно с метонимией. Определение метафоры может характеризовать ее реальный денотат, а сказуемое согласуется с фиктивным денотатом (вспомогательным субъектом) метафоры: *Эта разнаряженная змея не преминет кого-нибудь ужалить.* Метонимия *старая шляпа* может быть отнесена к человеку любого возраста; метафора *старая шляпа* — только к старику.

Обращение, реализующее две функции — характеризации адресата и его идентификации как получателя речи — принимает как метафору, так и метонимию. В первом случае оно приближается к назывному предложению: *Отсаживай, что ли, нижегородская ворона! — кричал чужой кучер* (Гоголь). Во втором случае — к идентифицирующему (субъектному) имени: *Эй, борода! а как проехать отсюда к Плюшкину?* (Гоголь). Вне контекста неоднозначные вокативы допускают двоякую интерпретацию: *Эй ты, шляпа!* будет скорее понято как метонимия, а *Эх ты, шляпа!* — как метафора.

Резюмируем сказанное. Метафора выполняет в предложении характеризующую функцию и ориентирована преимущественно на позицию предиката. Характеризующая функция осуществляется через значение слова. Метонимия выполняет в предложении идентифицирующую функцию и ориентирована на позицию субъекта и других актантов. Идентифицирующая функция осуществляется через референцию имени. Поэтому метафора — это прежде всего сдвиг в значении, метонимия — сдвиг в референции. Рассматриваемые в синтагматическом аспекте, метафора и метонимия — они могут соприсутствовать в предложении — находятся между собой в отношении контраста. Рассматриваемая в парадигматическом плане, метафора противопоставлена сравнению и метаморфозе по признакам наличия / отсутствия идентификации объектов и постоянного / преходящего характера обозначаемого признака.

Н. Д. Арутюнова

---

[42] Гегель. Лекции по эстетике. — Гегель. Соч., т. XII, М. 1938, с. 416—418.

ЭРНСТ КАССИРЕР

СИЛА МЕТАФОРЫ

Приводимые ранее рассуждения показали нам, насколько тесно переплетены между собой мифологическое мышление и мышление языковое; они продемонстрировали, что структура мифологического и языкового мира в значительной степени определяется одинаковыми духовными представлениями. Однако до сих пор оставался без внимания основной мотив, на который, кажется, указывают эти отношения и который помогает понять их суть и происхождение. То, что миф и язык подчиняются одинаковым или аналогичным законам духовного развития, может быть полностью осознано лишь в том случае, если удается обнаружить общие корни, из которых они оба выросли. Общность результатов и порождаемых ими форм свидетельствует в конечном счете и здесь о единстве функций и общих принципов. Для того чтобы распознать эти функции как таковые и сделать выводы, мы должны проследить пути развития мифа и языка не проспективно, а ретроспективно — нам надо вернуться к точке, откуда берут начало обе расходящиеся линии. И эту точку можно найти, потому что, как бы ни различались по содержанию миф и язык, им обоим, оказывается, свойственна одна и та же концептуальная форма. Эту форму можно кратко обозначить как метафорическое мышление: мы должны исходить из сущности и смысла метафоры, если хотим понять, с одной стороны, единство и, с другой стороны, различие мифологического и языкового мира.

Часто подчеркивается, что именно метафора создает духовную связь между языком и мифом, но в рассмотрении самого этого процесса и того направления, в котором он протекает, теории сильно расходятся. Происхождение метафоры ищут то в создании языка, то в мифологической фантазии; иногда имеется в виду слово, которое благодаря своей изначальной метафоричности должно порождать и постоянно питать миф, иногда, наоборот, именно метафоричность слов считается лишь наследием, которое язык получил от мифа и которое он дает ему как бы в

Ernst Cassirer. Die Kraft der Metapher. Глава VI из книги: Sprache und Mythe. Leipzig—Berlin, 1925, S. 68—80.

долг. В своей работе о происхождении языка Гердер подчеркивал этот первоначально мифологический характер всех словесных и языковых понятий: «Поскольку вся природа звучит, для обладающего чувствами человека нет ничего более естественного, чем то, что она живет, говорит, действует. Дикарь видит высокое дерево с его великолепной кроной и восхищается: крона шумит! Это ткет божество! Дикарь падает ниц и молится! Посмотрите на историю человека, обладающего чувствами, на эту темную полосу, где nomina образуются из verbis, — и на легчайший шаг к абстракции. У дикарей Северной Америки, например, еще все одушевлено: каждая вещь имеет свой дух, а о том, что так же было у греков и восточных народов, свидетельствуют их древнейший словарь и грамматика — ведь они, как и вся природа, подлинны для исследователя — пантеон, царство одушевленных, действующих существ... Будущий ураган и приятный Зефир, прозрачный источник и могучий океан — вся их мифология в сокровищнице глаголов (verbis) и имен (nominibus) древних языков, и древнейший словарь был таким звучащим пантеоном»[1]. Романтики следовали по пути, указанному Гердером; Шеллинг также видит в языке «поблекшую мифологию»; язык в абстрактных и формальных противопоставлениях сохраняет то, что для мифологии различается еще живо и конкретно[2]. Противоположный путь избрала «сравнительная мифология», созданная во второй половине XIX в. прежде всего Адальбертом Куном и Максом Мюллером. Поскольку в ней сравнение мифов методически опиралось на результаты сравнения языков, то напрашивался вывод и о первичности языка по отношению к мифу при образовании понятий. В соответствии с этим мифология рассматривалась как продукт языка. «Базисная метафора», лежащая в основе любого мифотворчества, считалась собственно языковым явлением, подлежащим исследованию и интерпретации. Идентичность или сходное звучание языковых обозначений открывали путь для мифологической фантазии. «Человек независимо от его желания был вынужден говорить метафорически, и вовсе не потому, что не мог обуздать своей поэтической фантазии, а скорее потому, что должен был напрячь ее до крайней степени, чтобы найти выражение для все возрастающих потребностей своего духа. Под метафорой больше не нужно было понимать осознанную деятельность поэта, умышленный перенос слова с одного объекта на другой. Такова современная индивидуальная метафора; она создается фантазией, тогда как древняя метафора гораздо чаще была следствием необходимости и в большинстве случаев обязана своим происхождением не столько переносу слова с одного понятия на другое, сколько более точному определению понятия, соответствующего старому имени». То, что мы обычно называем мифологией, таким образом, является лишь слабым отзвуком того, что некогда образовывало совершенное царство мысли и языка. «Никогда не

понять мифологии, не усвоив, что то, что мы называем антропоморфизмом, персонификацией или одушевленностью, было необходимо для роста нашего языка и сознания. Было невозможно освоить внешний мир, познать и осмыслить его, постигнуть и назвать его реалии без этой базисной метафоры, этой универсальной мифологии, этого вдувания нашего собственного духа в хаос предметов и воссоздания его по нашему образу. Началом этого второго творения духа было слово, и мы можем дополнить истину, сказав, что все делалось посредством этого слова, то есть называлось и познавалось, и что без него ничего нельзя было бы сделать из того, что сделано»[3].

Прежде чем попытаться занять определенную позицию в противоборстве теорий, в споре о временнóм и духовном первенстве языка перед мифологией или мифа перед языком, необходимо четче определить и отграничить ключевое понятие самой метафоры. Можно представить себе метафору как сознательный перенос названия одного представления в другую сферу — на другое представление, подобное какой-либо чертой первому или предполагающее какие-либо косвенные с ним «аналогии». В этом случае речь идет о метафоре как о подлинном «переносе»: оба значения вполне определенны и самостоятельны, и между ними, как между terminus a quo и terminus ad quem, осуществляется движение представлений или понятий, приводящее к тому, чтобы превратить одно в другое и заменить одно другим в плане выражения. Если попытаться проникнуть в причины такой замены и объяснить необыкновенно богатое и разнообразное употребление, характерное для этого вида метафоры, то есть намеренного отождествления двух различно воспринимаемых и различно задуманных содержаний, то при этом мы вернемся к основному способу мифологического мышления и переживания. В своем эволюционно-психологическом исследовании происхождения метафоры Вернер в высшей степени убедительно показал, что в этом виде метафоры, в замене одного понятия другим, решающую роль играют вполне определенные мотивы, коренящиеся в магическом мировоззрении, особенно некоторые типы табуирования слов и имен[4]. Но это употребление метафоры явно предполагает, что и языковое содержание отдельных элементов, и языковые корреляты этого содержания задаются в качестве уже известных величин: лишь после того, как элементы определяются и фиксируются в языке, они могут взаимозаменяться. От этой перестановки и замены, которая включает словарный запас языка как уже готовый материал, следует отличать действительно «базисную» метафору, которая сама по себе является условием создания языка, так же как и мифологических понятий. По сути дела, уже простейшее языковое выражение требует преобразования определенного мировоззренческого или эмоционального содержания в звук, то есть во враждебного этому содержанию и даже несовместимого с ним

посредника; так же и простейший мифологический образ возникает лишь в силу трансформации, посредством которой впечатление из сферы обычного, повседневного и профанического повышается в ранг «священного», мифологически и религиозно «значимого». Здесь имеет место не только перенос, но и настоящее преобразование в другой род (μετάβαδις εἰς ἀλλογένος); при этом происходит не переход в уже существующий разряд, а создание нового разряда. Каждая ли из этих двух форм метафор вызывает к жизни другую? Заложено ли метафорическое выражение языка в мифологическом расположении духа, или, наоборот, расположение духа может формироваться и развиваться на основе языка? Предшествующие рассуждения показывают беспредметность такого вопроса. Здесь, очевидно, речь может идти не об эмпирическом установлении временно́го «раньше» или «позже», а лишь об идеальном отношении, при котором языковая форма соотносится с мифологической, о том, каким образом одна вторгается в другую и обусловливает ее содержание. Эта обусловленность опять же может рассматриваться только как взаимная. Язык и миф с самого начала находятся в неразрывной связи, из которой постепенно они вычленяются как самостоятельные элементы. Они являются различными побегами одной и той же ветви символического формообразования, происходящими от одного и того же акта духовной обработки, концентрации и возвышения простого представления. В звуках языка, так же как и в первичных мифологических образах, находит завершение одинаковый внутренний процесс: и те и другие снимают внутреннее напряжение, выражают душевные переживания в объективированных формах и фигурах. «Не при помощи произвольного акта, — подчеркивает Узенер, — присваивается предмету имя. Звуковой комплекс — это не наугад выбранная монета, служащая знаком определенной ценности. Духовное возбуждение, вызванное столкновением с объектами внешнего мира, является одновременно как средством, так и поводом номинации. «Я» получает чувственные впечатления от столкновения с «не-я», и наиболее ярко выраженные из них сами находят себе выражение в звуках: они составляют основу наименований, которыми пользуется говорящий народ»[5]. Этот генезис наименований, как мы видим, буквально соответствует генезису «моментальных богов». Вот так раскрывается смысл языковой и мифологической «метафоры», а также объясняется присутствующая в них духовная сила. Их происхождение едино: его следует искать в «интенсификации», концентрации чувственного опыта, лежащего в основе как языкового, так и религиозно-мифологического символизма.

Вернемся к противопоставлению двух способов образования понятий — логически-дискурсивного и лингво-мифологического. Они действительно имеют различную направленность и приходят к разным результатам. Понятия логически-дискур-

сивные берут свое начало в индивидуальном восприятии, которое, углубляясь и вступая во все новые отношения, выходит за пределы первоначальных границ. В этом можно видеть интеллектуальный процесс синтетической дополнительности, объединения отдельного и общего, с последующим растворением отдельного в общем. Но при таком отношении к общему отдельное не теряет своей конкретной определенности и своих очертаний. Оно присоединяется к совокупности явлений, в то же время противостоя целому как единичное и отдельное. Все более тесное взаимодействие, связывающее одно отдельное восприятие с другим, не означает их слияния. Отдельный «экземпляр» определенного вида сохраняется; в этом взаимодействии сам вид «охватывается» более высоким родом: но это вместе с тем означает, что вид и род остаются отделенными друг от друга и не совпадают. Проще и точнее всего это главное отношение выражается известной схемой, используемой в логике при описании иерархии понятий, образующих виды и роды. Логическое определение можно представить здесь в виде геометрического определения: каждое понятие обладает принадлежащей ему «сферой», отграничивающей его от других понятийных областей. Эти сферы могут многообразно перекрываться и пересекаться друг с другом, и тем не менее каждая из них занимает строго определенное место в понятийном пространстве. В этой сфере понятие сохраняется и при синтетической взаимодополнительности: новые отношения, в которые оно вступает, не ведут к размыванию границ, а, наоборот, способствуют его более четкому узнаванию и вычленению.

Если мы теперь сравним описанный логический способ образования видовых и родовых понятий с первобытными формами языковых и мифологических представлений, то заметим, что здесь обнаруживаются различные *тенденции* мышления. В одном случае речь идет о концентрическом расширении круга представлений и понятий; между тем как во втором случае мы сталкиваемся с противоположным явлением: представление не расширяется, а спрессовывается, сводится в одну точку. В этом процессе отфильтровывается некая сущность, некий экстракт, который и выводится в «значение». Весь свет концентрируется в *одной* точке, в фокусе значения, в то время как все, лежащее за пределами фокуса языкового и мифологического понятия, как бы остается невидимым. Оно оказывается «незамеченным», поскольку (или пока) не наделяется языковым или мифологическим «признаком». В понятийном простанстве логики господствует ровный, в известной мере диффузный свет — и чем дальше продвигается логический анализ, тем шире этот равномерный свет распространяется. В понятийном пространстве мифа и языка, однако, соседствуют места, излучающие интенсивный свет и окутанные тьмой. Содержание отдельных восприятий превращается в языковые и мифологические силовые центры, средоточие «значимости», в то время как другие понятия остаются за поро-

гом значения. Тот факт, что первичные мифологические и языковые понятия образуют точечные единства, объясняет невозможность дальнейших количественных различий. Логическое исследование должно тщательно принимать во внимание квантитативные отношения понятий: в конце концов, классическая «силлогистика» представляет собой не что иное, как систематизацию понятий по различию в объеме и иерархическом месте. В мифологическом и языковом понятии речь идет не об экстенсивности, а скорее об интенсивности, то есть не о количестве, а о качестве. Количество оказывается лишь случайным моментом, относительно безразличным и несущественным отличием. При объединении двух логических понятий на более высоком уровне каждое из них — видовое понятие и его genus proximum — сохраняет дистинктивные черты. В языковом и прежде всего в мифологическом мышлении преобладает прямо противоположная тенденция. Здесь господствует закон, который как раз можно было бы назвать законом нивелирования и растворения специфических отличий. Каждая часть эквивалентна целому, каждый экземпляр — виду или роду как таковому. Каждая часть не только репрезентирует целое, а индивид или вид — род, но они ими и являются; они представляют не только их опосредованное отражение, но и непосредственно вбирают в себя силу целого, его значение и действенность. Здесь стоит вспомнить основополагающий принцип как языковой, так и мифологической «метафоры», формулируемый обычно как pars pro toto. Как известно, этому основному принципу подчиняется и им пронизано все магическое мышление. Тот, кто управляет какой-либо частью целого, получает в магическом смысле власть над целым. Каким значением обладает часть в структуре целого, как она связана с другими чертами, какую функцию она выполняет в нем, при этом относительно безразлично; достаточно того, что она ему принадлежит или принадлежала, что находилась с ним в той или иной, пусть даже случайной, связи, для того чтобы гарантировать ей полную магическую силу и значимость. Чтобы обеспечить себе магическое господство над телом человека, достаточно, например, завладеть его обрезанными ногтями или волосами, слюной или экскрементами; такую же роль играет тень человека, его след или отражение в зеркале. Еще у пифагорейцев существовало предписание тщательно поправить постель после вставания, с тем чтобы оставшийся там отпечаток тела не мог быть использован во вред человеку[6]. Большинство форм «магии по аналогии» исходит из того же основного принципа, но при этом они указывают, что имеется в виду не просто аналогия, а реальная идентичность. Когда дождь призывается с помощью распрыскивания воды или когда он прогоняется выливанием воды на кучу раскаленных камней, на которых она, шипя, испаряется[7], обе церемонии получают свой собственно магический «смысл» благодаря тому, что дождь не

только образно представляется, но и реально воспринимается в каждой капле воды. Дождь как мифологическая сила, «демон» дождя содержится в выливаемой или испаряющейся воде и в ней непосредственно доступен магическому воздействию. В таком же отношении, как целое и его части, находятся род и виды, вид и экземпляры. И здесь формы полностью перетекают друг в друга: вид или род не только представлен индивидом, но они наличествуют и живут в нем. Когда, например, в тотемической модели мира группа или клан делится по тотемическому принципу и отдельные индивиды называют себя по тотемным животным или растениям, речь идет не о произвольном разграничении при помощи конвенционального языкового или мифологического «знака», а о реальной общности существ[8]. Род, где бы он вообще ни появлялся и ни обнаруживался, всегда представлен как целое и как целое оказывается действенным. В каждом снопе на поле живет и действует божество или демон роста растений. До сих пор повсеместно распространен древний народный обычай, который предписывает при сборе урожая оставлять последний сноп: в нем концентрируется сила божества плодородия, из которой должен вырасти урожай следующего года[9]. В Мексике и у индейцев кора считается, что в каждом початке маиса, в каждом его зерне всецело воплощено божество маиса. Мексиканская богиня маиса Chicome coatl в виде юной девушки представляет зеленый стебель, а старой женщины — урожай маиса; она воплощена также в каждом отдельном зерне и каждом особом блюде. У индейцев кора аналогичным образом многие боги представляют определенные виды цветов, но к ним обращаются как к отдельному цветку; то же относится и ко всем животным-демонам: цикаде, сверчку, кузнечику, броненосцу[10]. Древняя риторика приводит в качестве основного вида метафоры замену рода видом, целого частью или наоборот, и при этом заметно, насколько эта форма метафоры непосредственно происходит из духовной сущности мифа. Но одновременно обнаруживается, что в самом мифе речь идет о чем-то совершенно отличном и гораздо большем, чем простая «замена», чем риторико-языковая фигура; то, что кажется при нашей позднейшей рефлексии простым переносом, является для него подлинной и непосредственной идентичностью[11]. Эта основная черта мифологической метафоры позволяет точнее определить и понять смысл и действие того, что обычно называют метафорической функцией языка. Уже Квинтилиан указывал, что эта функция — не часть языка, что она пронизывает всю человеческую речь как целое. Если верно, что метафору в общем смысле следует рассматривать не как определенное явление речи, а как одно из конститутивных условий существования языка, то для ее понимания нужно вновь вернуться к основной форме образования понятий в языке. В итоге они возникают из акта концентрации, компрессии чувственного опыта, создающего необходимые предпосылки для фор-

мирования каждого языкового понятия. Допустим, что эта концентрация реализуется в различных содержаниях и разными способами, так что в двух перцептивных комплексах один и тот же момент выделяется как «существенный», внутренне значимый и смыслообразующий, тогда между этими комплексами возникает зависимость и такая тесная связь, какую только вообще может создать язык. Ибо то, что не названо, вообще не существует в языке, а все, одинаково названное, кажется абсолютно одинаковым. Одинаковость закрепленных в слове признаков заставляет отступить в тень прочие аспекты представлений и в итоге приводит к их исчезновению. И здесь часть замещает целое, становится и является целым. Согласно принципу «эквивалентности», язык трактует одинаково содержания, кажущиеся в высшей степени различными с точки зрения нашего непосредственного чувственного восприятия или нашей логической классификации, так что каждое высказывание, действительное для одного содержания, может быть распространено и перенесено на другое. Характеризуя комплексно-магическое мышление, Пройс отмечает: «Когда индейцы кора вопреки здравому смыслу причисляют бабочек к птицам, в их глазах все различаемые ими признаки объекта предстают в ином свете и соотносятся друг с другом совсем по-иному, чем у нас на основе научно-аналитических взглядов»[12]. Но видимая нелепость тех или иных сопоставлений тотчас же исчезает, если принять во внимание, что все первичные понятия такого рода могут появиться лишь благодаря путеводной нити языка. Предположим, что в обозначении и тем самым в языковом понятии птицы в качестве решающего и существенного выделяется признак «полета», тогда на основании этого критерия бабочка действительно относится к птицам. Наши языки и теперь создают классификации, противоречащие научно-эмпирическим видовым и родовым понятиям, например в германских языках используется обозначение бабочки как «масляной птицы» (Buttervogel) или «масляной мухи» (нидер. botervlieg, англ. butterfly). В то же время бросается в глаза, как такие языковые «метафоры» снова влияют на образование мифологических метафор и опять оказываются для них плодотворными. Каждый характерный признак, дающий импульс для образования понятия и обозначения, служит в то же время объединению соответствующих предметов. Если образ молнии в зеркале языка «змеевиден», это значит, что молния стала змеей; когда солнце называют «летящим по небу», тем самым оно представляется в виде стрелы или птицы; так, например, в египетском пантеоне бог солнца изображается с головой сокола. Здесь нет просто «абстрактных» обозначений, каждое слово сразу же превращается в конкретный мифологический образ, в бога или демона. Каждое еще неясное впечатление, если оно отложилось в языке, может стимулировать создание образа бога и его номинации. В приводимом Узенером списке

литовских теофорных имен наряду с богом снега — Сверкающим (Blizgulis) приводится бог скота — Ревущий (Baubis), пчелиный бог — Жужжащий (Birbullis) и бог землетрясения — Колотящий (Drebkulys)[13]. Как только бог скота принял образ Ревущего, его должны были узнавать в самых различных явлениях, его должны были слышать и в рычании льва, и в грохоте бури, и в шуме океана. Снова и снова в этом смысле миф оживает и обогащается благодаря языку, а язык — благодаря мифу. В этом постоянном взаимодействии и взаимном проникновении подтверждается единство духовного начала, из которого они оба происходят, различными выражениями и ступенями которого они являются.

И все же при дальнейшем развитии духа эта столь тесная и, как кажется, необходимая связь начинает ослабевать и разрываться. Ведь язык не принадлежит исключительно царству мифа, в нем с самых его истоков действует другая сила — сила логоса. Здесь невозможно проследить далее, как эта сила постепенно крепнет, как она пробивает себе путь в языке и посредством языка. В ходе развития языка слово все более и более становится лишь знаком понятия. Параллельно с процессом отделения и высвобождения этой силы происходит и другой процесс. Искусство, как и язык, тесно переплетается в своих истоках с мифом. Миф, язык и искусство восходят к конкретному нерасчлененному единству, лишь постепенно распадающемуся на три самостоятельных вида духовного творчества. То же самое мифологическое одушевление и тот же мифологический гипостазис, которые испытывает слово, переживают также образы и формы искусства. В магической модели мира наряду со словесной всегда представлена магия образов[14]. И картина приобретает чисто изобразительную, эстетическую функцию, лишь прорывая магический, с точки зрения мифологического сознания, круг, в результате чего в ней вместо магико-мифологического образа узнают оригинальную форму художественного выражения. Но когда язык, как и искусство, отрывается от общей с мифом родины, он воссоздает идеальное, духовное единство искусства и мифа на новой основе. Если язык должен стать инструментом мышления, сформироваться для выражения понятий и суждений, то это преобразование может осуществляться только ценой отказа от полноты непосредственного опыта. В конце концов от свойственного ему первоначального конкретного концептуального и эмоционального содержания, от его живого тела остается лишь скелет. Однако есть одна область духа, где слово не только сохраняет свою изначальную изобразительную силу, но и постоянно обновляет ее, сохраняя в известной мере свою устойчивую палингенезию, свое эмоциональное и духовное возрождение. Этот процесс происходит тогда, когда слово создается с целью художественного выражения. Здесь оно снова обретает полноту жизни: но это уже эстетически свободная жизнь, не связанная

мифом. Из всех видов поэзии именно лирика яснее всего отражает это идеальное развитие. Ведь не только истоки лирики коренятся в определенных магико-религиозных мотивах, но и сама лирика прямо поддерживает связь с мифом в своих возвышенных и чистых творениях. В творчестве величайших лириков, таких, как Гёльдерлин или Китс, мифологический взгляд на мир вновь возрождается во всей своей интенсивности и силе. Но «предметность» уже не тяготеет над ним. Дух живет и правит в слове и в мифологическом образе, не подчиняясь ни одному из них. То, что выражается в поэзии, не является ни мифологическим миром богов и демонов, ни логической истиной абстрактных определений и отношений. Мир поэзии отличен от них: это мир иллюзии и фантазии, и только в нем находит выражение и тем самым приобретает полную и конкретную актуализованность чистое чувство. Слово и мифологический образ, которые сначала противостояли духу как грубые реальные силы, отбросили от себя всю действительность и действенность: они представляют собой только легчайший эфир, в котором свободно и беспрепятственно движется дух. Это освобождение осуществляется не благодаря тому, что дух отбрасывает чувственную оболочку слова и образа, а потому, что он использует их как свой орган, видит в них то, чем они являются в действительности, — формы самораскрытия.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Herder J. G. Über den Ursprung der Sprache. — Sämtliche Werke, Bd. 1—33. Hrsg. von B. Suphan. Berlin, 1877—1913, Bd. V, S. 53 и сл.

[2] Schelling F. W. J. Einleitung in die Philosophie der Mythologie. — Sämtliche Werke, Abt. 2: Bd. 1—4, Stuttgardt—Augsburg, 1856—1861, Bd. I, S. 52.

[3] Müller M. Das Denken im Lichte der Sprache. Leipzig, 1888, S. 304 и сл., особенно S. 443 и сл. См. также: Max Müller. Lectures on the science of language, vol. II. London, 1873, p. 368 и сл.

[4] Werner H. Die Ursprünge der Metapher. Leipzig, 1919, особ. Kap. 3; S. 74 и сл.

[5] Usener H. Göternamen. Versuch einer Lehre von der religiösen Begriffsbildung. Bonn, 1896, S. 3.

[6] Jamblich Ch. Protreptichos. p. 108, 3. — Цит. по: Deubner T. Magie und Religion. Freiburg, 1922, S. 8.

[7] См.: Parkinson O. Dreißig Jahre in der Südsee, S. 7. — Цит. по: Werner U. Ursprünge der Metapher, с. 56.

[8] Ср. мою работу: Die Begriffsform im mythischen Denken. Leipzig, 1922, S. 16 и сл.

[9] См.: Mannhardt J. W. Wald und Feldkulte. Berlin, 1904/1905, S. 212 и сл.

[10] См.: Preuß K. T. — In: Globus, t. 87, S. 381; ср. "Die Nayarit-Expedition", I, S. XLVII и сл.

[11] Это тем более существенно, что для мифологическо-магического мышления невозможно простое изображение, каждый образ воплощает «суть» вещи, то есть ее демона или ее «душу». Ср., например: Budge E. A. W. Egyptian Magic. London, 1900, p. 65. «Выше говорилось, что

имя или эмблема либо изображение бога или демона может стать амулетом, наделенным силой для защиты того, кто его носит, и что такая сила действует до тех пор, пока существует материал, из которого они сделаны, если имя, эмблема или изображение не стерлись. Но египтяне сделали шаг вперед, поверив в возможность передачи фигуре мужчины, женщины или животного души того существа, которое эта фигура представляет, со всеми его качествами и атрибутами. Статуя бога в храме содержала в себе дух соответствующего бога, и с незапамятных времен египтяне верили, что в любой статуе и фигуре заключен «дух». Подобная вера и сегодня жива у «примитивных» народов. Ср., например: Hetherwick B. Some animistic beliefs among the Yaos of British Central Africa. — "Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland», vol. XXXII, 1922. Автор пишет: «Фотокамера вселяла сначала страх, и, когда ее направляли на группу туземцев, они с криками ужаса рассыпались во всех направлениях... В их представлениях lisoka 'душа' была соединена с chiwilili 'изображением', и перенесение ее на фотопластинку влекло бы за собой болезнь или смерть тела, лишенного тени» (с. 89 и сл.).

[12] Preuß K. T. Die geistige Kultur der Naturvölker. Leipzig, 1914, S. 10.

[13] Usener H. Op. cit., S. 85 и сл., 114.

[14] Подробнее см.: Cassirer E. Philosophie der symbolischen Formen, Bd. 1—3. Berlin. 1923—1929, Bd. 2, S. 54 и сл.

АЙВОР А. РИЧАРДС

ФИЛОСОФИЯ РИТОРИКИ

МЕТАФОРА

Не кто иной, как сам Аристотель, написал в своей «Поэтике»: «...Важнее всего — быть искусным в метафорах». И продолжил: «Только этого нельзя перенять от другого; это — признак таланта, потому что слагать хорошие метафоры — значит подмечать сходство» (1495 а)*. Я не знаю, какую роль сыграло это замечание в развитии теории метафоры и ему ли мы обязаны тем, что принимаем эти мысли как согласные со здравым смыслом. Но подвергнем на секунду это замечание сомнению — и мы сможем обнаружить, если займем критическую позицию, наличие трех порочных посылок, со времен Аристотеля мешавших тому, чтобы изучение этого великого искусства заняло надлежащее место в нашей науке и пошло — и в теории и в практике — по нужному пути.

Первая из этих сходных посылок — утверждение, что умение «подмечать сходство» — это дар, которым обладают отнюдь не все люди. Но ведь все мы живем и говорим только благодаря нашей способности подмечать сходство. Без этой способности мы давно бы погибли. Хотя некоторые люди подмечают сходство предметов лучше, нежели другие, это различие только в степени, и оно так же, как другие различия между людьми, может быть уменьшено правильным обучением. Вторая посылка противоречий сказанному нами гласит, что, хотя всему остальному можно научиться, искусство владения метафорой нельзя передать дру-

---

Ivor A. Richards. The Philosophy of Rhetoric. New York, Oxford University Press, 1950: Главы V и VI. Перевод дан с небольшими сокращениями, сделанными преимущественно за счет повторений.

* Перевод В. Г. Аппельрота; цитируется по изд.: Аристотель. Об искусстве поэзии. М., 1957. Ср. перевод, сделанный М. Л. Гаспаровым: «Важно бывает уместно пользоваться всеми вышесказанными [приемами], а также словами сложными или редкими, но важнее всего — переносными: ибо только это нельзя перенять у другого, это признак [лишь] собственного дарования — в самом деле [чтобы хорошо переносить значения, нужно уметь] подмечать сходное [в предметах]. — В кн.: Аристотель. Соч. в 4-х тт., т. IV. М., 1983. — *Прим. перев.*

гому человеку. Я не знаю, насколько серьезно утверждал это Аристотель и какие другие умения, которым можно обучать, он имел в виду. Но если проанализировать то, как все мы — пусть в ограниченной степени — овладеваем искусством метафоры, мы увидим, что проводимое Аристотелем противопоставление необоснованно. Каждый из нас овладевает искусством метафоры так же, как мы обучаемся всему остальному, что делает нас людьми. Мы получаем эти знания от других людей посредством языка, которым мы овладеваем, языка, помогающего нам исключительно благодаря метафоре, которой он учит. И тут мы наталкиваемся на третью, самую вредоносную из посылок, согласно которой метафора — это нечто особенное и исключительное в использовании языка, отклонение от его нормальных механизмов, а не вездесущий принцип его естественного функционирования.

На протяжении истории риторики метафора рассматривалась как нечто вроде удачной уловки, основанной на гибкости слов; как нечто уместное лишь в некоторых случаях и требующее особого искусства и осторожности. Короче говоря, к метафоре относились как к украшению и безделушке, как к некоторому дополнительному механизму языка, но не как к его основной форме. Иногда, правда, писатели решались пойти дальше в своих рассуждениях. Только что я сделал утверждение, являющееся отголоском высказывания Шелли о том, что «язык в самой своей жизненной основе метафоричен. Это значит, что он делает явными до сих пор не обнаруживавшиеся связи вещей и закрепляет их восприятие, пока с течением времени слова, которые отражают эти связи, не становятся знаками групп или классов идей вместо того, чтобы воспроизводить их целостности; и затем, если не появляются новые поэты, способные воссоздать распавшиеся ассоциации, язык перестает служить высоким целям человеческого общения». Но это высказывание — исключение, и специалисты в области риторики до сих пор не оценили его импликаций. В целом и философы оказались не лучше, хотя историки языка давно учили, что не существует такого слова или описания интеллектуальных операций, которые не восходили бы к метафоре, основанной на описании какого-либо физического действия. Только Иеремия Бентам, последователь Бэкона и Гоббса, настаивал, пользуясь своим методом архетипизации и фразеоплерозиса, на необходимости сделать вывод о том, что разум и все его действия — фикция. Он оставил Кольриджу, Брэдли и Файхингеру возможность сделать следующий вывод о том, что вещество и все его превращения, а также все производные объекты наблюдения тоже являются видимостями разных уровней.

Я позволил себе на несколько минут углубиться в дебри, в которые может увлечь метафора, потому что страх перед этими дебрями был, возможно, одной из причин отказа от ее изучения или ограничения исследований весьма поверхностными пробле-

мами. Но мы не можем рассматривать даже эти поверхностные проблемы, пока не изучим породившие их глубины речевого взаимодействия.

То, что метафора — вездесущий принцип языка, подтверждается простым наблюдением. В обычной связной речи мы не встретим и трех предложений подряд, в которых не было бы метафоры. Даже в строгом языке точных наук можно обойтись без метафоры лишь ценой больших усилий. В различных отраслях знания: в эстетике, политике, социологии, этике, психологии, теории языка и. д. — наши основные трудности связаны с выяснением того, как мы используем метафору и как наши по видимости устойчивые слова изменяют свои значения. Особенно это касается философии: здесь нам и шага не сделать без постоянной мысли о том, что и мы, и наши слушатели, возможно, употребляем метафоры и, чтобы избежать их, надо сперва их обнаружить. Чем абстрактнее и строже философия, тем вернее это утверждение. Чем абстрактнее становится философия, тем чаще прибегаем мы к метафоре, провозглашая в то же время, что не опираемся на нее. Метафоры, которых мы избегаем, направляют наше мышление точно так же, как и те, которые мы употребляем. Так, должно быть, обстоит дело с каждым высказыванием: труднее осознать то, что в нем выражено, чем то, чего в нем нет. Что же касается философии, для которой сказанное — почти правило, я согласен с Брэдли, считающим, что наши попытки обойтись без метафоры — чистый блеф, который легко обнаружить. Но эту истину проще провозгласить, чем усвоить со всеми вытекающими из нее последствиями.

С теоретической точки зрения положение о том, что метафора пронизывает всю речь, следует принять. (...) Слово является заместителем (или средством передачи) не отдельного впечатления, полученного в прошлом, но сочетания общих характеристик. Это утверждение и есть общая формулировка принципа образования метафоры. Попросту говоря, когда мы используем метафору, у нас присутствуют две мысли о двух различных вещах, причем эти мысли взаимодействуют между собой внутри одного-единственного слова или выражения, чье значение как раз и есть результат этого взаимодействия.

«Метафорическое выражение, — писал доктор Джонсон, — когда оно употреблено уместно, придает стилю достоинство, ибо предоставляет нам две мысли вместо одной». Как видите, он придерживался традиционной ограниченной точки зрения на метафору. Что касается достоинства стиля, благодаря которому вы получаете две мысли вместо одной, то оно зависит от того, как взаимодействуют эти две мысли, или же от того, что они, вместе взятые, дают нам. Конечно, присматриваясь к метафорическим выражениям, мы обнаруживаем, что типы взаимодействия сосуществующих мыслей, как я назову их, бесконечно разнообразны, как и типы взаимодействия между различными

отсутствующими частями или аспектами разных контекстуальных значений слова. На практике мы умеем прекрасно различать эти разные типы взаимодействия, хотя наше умение неодинаково. К примеру, елизаветинцы умели пользоваться метафорой гораздо лучше нас. Благодаря этому стало возможно появление Шекспира. XVIII в., заняв оборонительную позицию, свел использование метафоры только к нескольким типам. Ранний XIX в. восстал против этого и создал новые типы метафор. Поздний XIX в. и последующий период постепенно освобождались от этих схем. Вероятно, было бы интересно переформулировать в этих терминах противопоставление классицизма и романтизма. Но для этого нужна более развитая теория метафоры.

Традиционная теория выделяла только несколько способов образования метафоры и ограничивала применение термина «метафора» также только некоторыми из возможных случаев. Поэтому она заставляла рассматривать метафору только как языковое средство, как результат замены слов или контекстных сдвигов, в то время как в основе метафоры лежит заимствование и взаимодействие идей (thoughts) и смена контекста. Метафорична сама мысль, она развивается через сравнение, и отсюда возникают метафоры в языке. Об этом важно помнить, если мы хотим совершенствовать теорию метафоры. Нашим методом должно стать пристальное наблюдение над умением мыслить, что нам уже известно. Мы должны описать это умение так, чтобы оно могло стать предметом научного обсуждения.

И здесь мы обнаруживаем, что все существенные проблемы истории и теории литературы приобретают для нас новый интерес и более непосредственно связываются с нуждами человека. Задаваясь вопросом о том, как работает язык, мы одновременно задаем вопрос и о том, как мы мыслим и чувствуем, как протекают все остальные типы деятельности человеческого сознания, как нам следует жить и как владение метафорой — это величайшее из искусств только потому, что это владение жизнью (a command of life), — может быть, невзирая на высказывание Аристотеля, «передано другому». Но для того, чтобы преуспеть в этом, следует помнить, что, как сказал Гоббс, цель любых теоретических спекуляций — это совершение какого-либо поступка или действия и, как сказал Кант, что мы никак не можем требовать подчинения практического разума спекулятивному, переворачивая таким образом естественный порядок вещей, поскольку любая цель является практической и даже цель спекулятивного мышления условна и приобретает завершение только в своем практическом применении. Поскольку корни нашей теории также в практике, ее плодами должно быть наше возросшее умение. «Я — ребенок, — как сказал бы ученый-софист, — отец которого — его сын; я — вино, виноградник которого — кувшин, содержащий его», подводя итог таким образом всему процессу медитации и не забывая, чему он посвящен.

Все сказанное до сих пор — это лишь введение или подготовка к теории метафоры, которой следует отвести более важное место, чем то, которое она занимала в традиционной риторике. Пора опуститься с высот отвлеченных рассуждений на землю и перейти от владения метафорой к эксплицитному научному знанию о ней. Первым нашим шагом будет введение двух рабочих терминов для различения тех компонентов, которые доктор Джонсон назвал двумя идеями и которые выделимы даже в самой простой метафоре. Один из них я хотел бы назвать «содержанием» (tenor), а другой — «оболочкой» (vehicle)*. Один из множества странных фактов, касающихся изучения данной темы, — это отсутствие устоявшейся терминологии для обозначения двух составных частей метафоры. Если мы хотим избежать путаницы в нашем исследовании, такая терминология крайне необходима. Дело в том, что наша главная задача — сопоставить отношения, в которые в разных случаях вступают друг с другом два компонента метафоры; и если мы с самого начала не знаем, о каком из двух компонентов идет речь, то сразу сбиваемся с пути. В настоящее время в нашем распоряжении есть только неуклюжие описательные конструкции, с помощью которых мы пытаемся разграничивать эти компоненты метафоры, а именно: «Исходная и заимствованная идея»; «то, что говорится и что на самом деле имеется в виду», и «то, с чем сравнивается»; «идея, лежащая в основе», и «воображаемый объект», «главный предмет» и «то, что он напоминает»; или еще более сбивающие с толку термины: просто «значение» и «метафора» или «идея» и ее «образ». Легко заметить, насколько запутывают эти термины, и наш опыт анализа метафоры полностью подтверждает самые худшие ожидания. Слово «метафора» необходимо нам для обозначения всей единицы, состоящей из двух частей; поэтому использовать термин «метафора» для обозначения какой-либо одной из них столь же неразумно, как использовать слово «значение» иногда для обозначения функции всей двухкомпонентной единицы, а иногда только для обозначения одного ее компонента — «содержания», как я называю его, то есть подразумеваемой идеи или того, что, собственно, обозначается «оболочкой» или фигурой речи. Поэтому неудивительно, что, если мы пытаемся детально анализировать метафору с помощью традиционных расплывчатых терминов, у нас время от времени возникает такое же ощущение, которое может появиться при устном извлечении квадратных корней. Можно провести и более точное сравнение: такое ощущение

* Английское слово vehicle обладает развитой полисемией и может переводиться на русский язык как *транспортное средство*, *проводник*, *носитель*, *средство передачи* и т. п. Нам представляется, что в контексте данной статьи наиболее уместен и близок вкладываемому автором в это слово смыслу такой его русский эквивалент, как *оболочка* (поэт.), хотя при таком переводе теряется заключенная в слове vehicle идея перемещения. Иногда это слово переводится и как *образ*. — *Прим. перев.*

вызывали бы самые элементарные арифметические действия, если бы мы использовали слово «двенадцать» (12) иногда для обозначения числа «один» (1), иногда для числа «два» (2), а иногда для числа «двадцать один» (21) и при этом должны были бы каким-то образом запоминать или видеть, не прибегая к специальным записям, как мы использовали число 12 в различных местах наших вычислений. Все известные нам термины — «значение», «выражение», «метафора», «сравнение», «субъект», «фигура речи», «образ» — используются именно так, и, осознавая это, мы частично объясняем причину плачевного состояния исследований метафоры. Может быть, стоит подумать над тем, почему специалисты в области риторики до сих пор не исправили этот дефект своей терминологии. Что касается меня, я не могу дать удовлетворительного ответа на этот вопрос. Лучший лектор из всех, кого я когда-либо слышал, Дж. Э. Мур однажды заметил: «Объяснить, почему мы употребляем одно и то же обозначение для выражения столь различных значений, выше моих сил. Мне кажется чрезвычайно любопытным, что язык развивался так, как будто бы он был создан специально для того, чтобы вводить философов в заблуждение; и я не знаю, почему это должно было произойти».

Слова «фигура речи» и «образ» особенно запутывают нас. Иногда каждое из этих слов обозначает двухкомпонентную единицу в целом; иногда только один ее компонент («оболочку»), противопоставленный другому. Но, помимо того, употребление этих терминов создает впечатление, что и в риторике образ — это отражение или воскрешение какого-то чувственного восприятия, и поэтому специалисты в этой области считают, что фигура речи, образ или образное сравнение имеют некоторое отношение к присутствию в сознании зрительных или слуховых образов. На самом деле ничего подобного нет. Образы такого рода не имеют отношения к метафоре. В своей первой лекции я уже привел один пример вредного влияния этого заблуждения — таким примером послужило нелепое предложение лорда Кеймса строить некий образ на основе павлиньего пера, фигурировавшего в тексте Шекспира. За лордом Кеймсом по неверному пути пошли целые школы риторики и литературоведения. Печальным примером пагубности этого влияния служит трактат Лессинга о связях разных родов искусства. Мы не можем с полной уверенностью утверждать, что функционирование фигур речи никак не соотносится с образами, которые, воспроизводя или отражая чувственное восприятие, могут служить основой для понимания слов читателем или выбора их писателем. В особых случаях у читателей возникают образы — это проблема индивидуальной психологии. Но с помощью слов можно делать что угодно и не обращаясь к образам, и мы не должны включать тезис об их обязательном наличии в нашу общую теорию.

Я могу проиллюстрировать одновременно и целесообразность употребления таких рабочих терминов, как «содержание» и «обо-

лочка», и вредное влияние положения о роли образов, приведя другую цитату из книги «Основания критики» лорда Кеймса (гл. 20, часть 6). Даже по тому, как трудно понять, что хочет сказать автор, вы сможете судить о том, сколь необходима строгая и хорошо разработанная техника исследования метафоры. Нет сомнения в ошибочности точки зрения лорда Кеймса; но раньше чем мы убедимся в ее ошибочности, мы должны узнать, в чем она заключается. Прежде всего я хочу обратить ваше внимание на то, каким неуклюжим, неясным языком он излагает свою точку зрения. Формулируя правило «построения метафоры», он пишет: «В-четвертых, благодаря тому, что сравнение... скрыто в метафоре, так как главный субъект отождествляют с предметом, который он только напоминает, создается возможность описать его (то есть главный субъект) в терминах, избранных строго или буквально в соответствии с его воображаемой природой».

В предложенных выше терминах можно охарактеризовать «содержание», описывая «оболочку». Лорд Кеймс продолжает: «Отсюда следует еще одно правило: создавая метафору, писатель должен использовать только такие слова, которые в буквальном смысле применимы к воображаемой природе субъекта метафоры». Иными словами, он не должен прибегать еще к каким-либо метафорам, описывая «оболочку». «Следует, — пишет он, — тщательно избегать употребления образных средств, потому что такие сложные фигуры речи, чтобы поместить свой главный субъект в сильное поле света, окутывают его дымкой; и хорошо, если читатель, не будучи смущен перед таким нагромождением, решится терпеливо извлечь простой смысл, независимо от выражающих его фигур речи».

Я призываю вас задуматься над этим примером, поскольку, с моей точки зрения, он ясно демонстрирует основные причины неплодотворности традиционных исследований метафоры. И заметьте, прежде всего, как в этом примере проявляется убеждение, характерное для XVIII в., в том, что фигуры речи — это просто красоты или внешние украшения и что единственно важно — чистое значение, «содержание», которое «независимо от выражающих его фигур речи» должно быть извлечено терпеливым читателем.

Первое возражение современной теории заключается в том, что во всех очень важных случаях использования метафоры значение (которое не тождественно «содержанию») является результатом одновременного сосуществования «оболочки» и «содержания» и не может возникнуть без их взаимодействия. Кроме того, «оболочка» не является, как правило, просто украшением «содержания», которое остается неизменным: «оболочка» и «содержание» дают в своем взаимодействии значение более богатое, чем каждый из этих компонентов, взятый в отдельности. Далее, современная теория метафоры утверждает, что относительная важность ролей «оболочки» и «содержания» в создании значения

разных типов метафоры различна. На одном полюсе «оболочка» может стать простым украшением или сыграть роль оттенка «содержания»; на другом полюсе «содержание» является просто поводом для введения «оболочки», а не главным субъектом метафоры. И та степень, в которой «содержание» считается «той самой вещью, на которую оно только похоже», тоже может быть самой разной.

Давайте еще немного поразмышляем над утверждением лорда Кеймса. Как обстоит дело с формулируемым им правилом, согласно которому следует избегать нагромождения метафоры на метафору? Каков будет результат серьезного отношения к этому правилу? Если мы примем его и будем ему следовать, его действие окажется разрушительным для большей части письменной и устной речи. Оно не учитывает — пользуясь удобным предлогом, что они мертвы — наиболее регулярные, устойчивые метафоры, пронизывающие всю нашу речь. Оно сделает Шекспира, по-видимому, самым слабым автором, который когда-либо брал в руки перо; и оно упрямо не хочет видеть одну из самых важных черт нашей речи, проявляющуюся в ней ежеминутно. Обратимся снова к предложению, написанному лордом Кеймсом: «такие сложные построения вместо того, чтобы поместить свой субъект в сильное поле света, окутывают его дымкой». Что такое это «сильное поле света»? Свет — это «оболочка», и он описывается без малейшего затруднения с помощью вторичной метафоры — слова в переносном значении. Но вы можете возразить: «Нет! Применительно к свету «сильный» не является словом в переносном значении. Оно так же буквально описывает свет, как человека или лошадь. Оно выражает не две идеи, а одну. Оно «приспособилось» или стало мертвым и больше не является метафорой». Но какими бы безнадежно мертвыми ни казались эти метафоры, мы можем легко воскресить их, и, если Кеймс был прав, воскресить их значило бы рисковать окутать «содержание» дымкой, в то время как ничего похожего не происходит. Это излюбленное разграничение мертвых и живых метафор (само по себе представляющее двойную метафору) очень часто препятствовало работе мышления и постижению объекта исследования. Чтобы серьезно им пользоваться, необходимо кардинально пересмотреть его.

На самом деле мы в гораздо большей степени искушены в обращении со сложными метафорами, чем нам позволяет Кеймс. Он приводит пример нарушения сформулированного им правила, — пример, который стоит рассмотреть только для того, чтобы продемонстрировать, как легко теория может парализовать нормальную способность человека к восприятию метафоры. Кеймс приводит следующие две строки:

A stubborn and unconquerable flame
Creeps in his veins and drinks the streams of life.

[*букв.:* Упрямое и неодолимое пламя
Ползет по его жилам и пьет соки жизни.]

«Давайте проанализируем это выражение, — пишет он. — Я согласен, что лихорадку можно представить как пламя, хотя нужно сделать более чем один шаг, чтобы усмотреть их сходство». Я со своей стороны придерживался бы противоположной точки зрения: мне кажется, что трудно найти более простой перенос, поскольку и лихорадка, и огонь связаны с повышением температуры. Но Кеймс продолжает, показывая, какие именно это шаги: «Лихорадка, при которой повышается температура, напоминает пожар, и не нужно делать больших усилий для того, чтобы представить лихорадку в виде пожара. Опять-таки, при помощи фигуры речи пламя может заменить пожар, поскольку они обычно воспринимаются как единое целое; поэтому лихорадка может быть названа пламенем. Но теперь, когда лихорадка названа пламенем, ее проявления должны быть описаны словом, сочетающимся в своих прямых значениях со словом «пламя». Это правило не соблюдено здесь, поскольку пламя способно пить только в переносном, а не в прямом значении».

Прекрасно! Но кто при этом испытывает трудности в понимании этих строк? Взаимодействию «содержания» и «оболочки» никак не мешает появление второй «оболочки».

Я воспользовался этим примером пустого педантизма главным образом ради того, чтобы вы привыкли к моему употреблению этих рабочих терминов, но отчасти и для того, чтобы поддержать утверждение, что даже лучшие из традиционных исследований метафоры — не более чем набор осторожных намеков, предназначенных для примерных учеников, — намеков, маскирующихся под основополагающую теорию языка. Лорд Кеймс не проявляет ни исключительной ограниченности, ни крайней тупости в своем анализе. Вы столкнетесь с подобными же явлениями у Джонсона, когда он анализирует Каули и Донна, у Монбоддо, Хэрриса, Уизерса и Кэмпбелла, то есть у всех крупных теоретиков риторики XVIII в.

До Кольриджа мы не встретим правильной постановки этих главных проблем языка. Но теория Кольриджа даже не была завершена. И после Кольриджа, несмотря на открытые им возможности исследования метафоры, к сожалению, наблюдается спад интереса к этим проблемам. XVIII в. ставил их неправильно и использовал для их исследования непригодные приемы, но он по крайней мере осознавал важность этих проблем и огромный объем работ, который предстоит будущим исследователям. Хотя может создаться впечатление, что я с иронией отношусь к отдельным местам «Оснований критики» лорда Кеймса, и хотя обилие подобных мест делает его сочинение увлекательным чтением, это тем не менее очень ценная и поучительная книга, позволяющая составить представление не только о том, чего следует избе-

гать, но и о проблемах, которые следует поставить, поместить в новый контекст и развивать дальше. Перелистывая страницы этой книги, вы вновь и вновь сталкиваетесь с проблемами, которые, несмотря на неудовлетворительную трактовку, не может обойти глубокое лингвистическое исследование. Одна из этих проблем послужит мне поводом для того, чтобы сделать несколько предостережений или поучений, в которых нуждается любое серьезное исследование метафоры. Кеймс цитирует строку из «Отелло»:

Steep'd me in poverty to the very lips
[*букв:* Погрузил меня в нужду до самых губ*]

и комментирует ее следующим образом: «Сходства здесь слишком мало, чтобы метафора была приемлемой (agreable). Бедность представлена в виде жидкости, которую она совсем не напоминает». Давайте проанализируем весь монолог Отелло. Мы придем к выводу, что объяснить или оправдать употребление в нем слова «утопил» совсем не легко. Как вы помните, это слово появляется, когда Отелло впервые упрекает Дездемону в неверности:

Had it pleas'd heaven
To try me with affliction, had he rain'd
All kind of sores, and shames on my bare head,
Steep'd me in poverty to the very lips,
Given to captivity me and my utmost hopes,
I should have found in some part of my soul
A drop of patience; but alas! to make me
The fixed figure for the time of scorn
To point his slow and moving finger at;
Yet could I bear that too; well, very well.
The fountain from which my current runs,
Or else dries up; to be discarded thence!
Or keep it as a cistern for foul toads
To knot and gender in!

[Пускай я чем-то бога прогневил.
Над непокрытой головой моею
Он мог излить несчастье и позор,
По горло утопить меня в лишеньях,
Сгноить в бездействии. Средь этих мук,
Мне верится, в углу душевном где-то
Я б силы почерпнул все это снесть.
Иное дело — быть живой мишенью
Насмешек, чтоб кругом смотрели все
И каждый тыкал пальцем. Но и это
Я вынес бы. И это. Без труда.
Но потерять сокровищницу сердца,
Куда сносил я все, чем был богат...
Но увидать, что отведен источник
Всего, чем был я жив, пока был жив...

* Ср. перевод Б. Пастернака: «Он мог... по горло утопить меня в лишеньях». — *Прим. перев.*

Но знать, что стал он лужею, трясиной
Со скопищем кишмя кишащих жаб...*]

Что мы должны сказать об этом слове to steep 'утопить, погрузить', как ответить Кеймсу? Его утверждение о том, что «сходства здесь слишком мало, чтобы метафора была приемлемой», на деле оказывается очень мягким. Здесь не может быть речи о недостатке сходства — наоборот, здесь налицо слишком большое различие, слишком резкое противопоставление, так как «лишения» («содержание» метафоры) — это состояние обездоленности, истощенности, а «оболочка» метафоры — море или чан, в который должен быть погружен Отелло, представляют собой воплощение избытка. В бедности все расходуется без дохода; а если бы мы были «утоплены по горло», мы должны были бы бороться с избытком жидкости**. Вы заметили, что на протяжении всего монолога снова и снова возникают образы жидкости: had he rain'd (он мог изложить), a drop of patience (капля терпенья), the fountain from which my current runs, or else dries up (отведен источник). Но ни один из этих образов не помогает объяснить употребление слова to steep, а такой образ, как «капля терпенья», еще усиливает тот диссонанс и смешение, которые вносятся словом to steep. Я сам не могу найти никакого оправдания употреблению этого слова, кроме одного, которое представляется, правда, вполне убедительным. Как обычно происходит в драме трагедии, Отелло в смятении, его слова порождены «ужасом и яростью»; ослепленный гневом, он обвиняет Дездемону; мгновенно наступившее безумие заставляет его произнести эти слова, его преследуют бессвязные образы. Мы можем сказать, что Отелло действительно тонет в этом потоке и сознает это.

На основании данного примера мне хотелось бы сделать следующие выводы. Во-первых, не заметить функции слова — не значит доказать, что слово ее лишено. Во-вторых, видеть, какую функцию должно выполнять слово, — не значит доказать, что оно ее выполняет. Мне кажется, что стоит подчеркнуть значение этих выводов, так как, занимаясь любым детальным исследованием метафоры, мы рискуем оказаться слишком педантичными или слишком уверенными в своей правоте. Критическое исследование метафоры с учетом этих опасностей — вот в чем сейчас нуждается литературоведение.

Вернемся к Кеймсу. Из его положения о том, что, если «сходства слишком мало, метафора может быть не воспринята» (заметьте забавный постулат, лежащий в основе этого утверждения: писатель должен стремиться быть воспринятым), следует, что

* Перевод Б. Пастернака. — *Прим. перев.*

** Ср. аналогичную метафору: And steep my senses in forgetfulness (и чувства в забытье не погружаешь) (У. Шекспир. Король Генрих IV, ч. II, акт 3, сц. 1; перев. Б. Пастернака). — *Прим. перев.*

«содержание» и «оболочка» должны быть связаны между собой сходством и что их взаимодействие имеет место благодаря этому сходству и через него. И все же сам Кеймс в другом месте пишет с гордостью (и ему есть чем гордиться) о фигурах речи, которые зависят не от сходства, но от некоторого другого соотношения «содержания» и «оболочки». Он пишет, что его предшественники не заметили эту фигуру и что ее следует отличать от прочих фигур речи, поскольку она строится на других принципах.

Giddy brink 'головокружительный обрыв', jovial wine 'веселящее вино', daring wound *букв.* 'смелая рана'* — вот примеры этой фигуры речи. Мы видим, что здесь употреблены прилагательные, которые не могут характеризовать сочетающиеся с ними существительные: обрыв, например, нельзя назвать головокружительным ни в прямом, ни в переносном смысле, поскольку это слово не называет никакие его свойства или атрибуты. Анализируя это предложение более внимательно, мы обнаруживаем, что обрыв может быть назван головокружительным по ощущению, возникающему у тех, кто стоит на нем. Как, спрашивает он, мы должны трактовать эту фигуру речи, которая лежит в основании мысли (lies in the thought) (я не уверен в том, что он имеет в виду здесь под словом lies**. Я думаю, что он хочет сказать «лежит в основании мысли» или «находит свое объяснение в мысли», но не «передает ложную идею»), и с каким принципом соотнести ее? Обладает ли поэт правом менять природу вещей и по своей прихоти наделять субъект атрибутами, которые не принадлежат ему? Большая часть современных исследователей скажет: «Конечно, у поэтов есть такое право». Но Кеймс избирает другой путь. Он обращается к принципу ассоциации по смежности. «Нам часто представляются случаи убедиться, что ум скользит легко и радостно по ряду связанных между собой предметов, и, если эти предметы связаны тесно, ум склонен переносить хорошие или плохие свойства с одного предмета на другой, в особенности в тех случаях, когда эти свойства его вдохновляют». Затем Кеймс перечисляет восемь типов таких связей по смежности, вдохновляющих ум, как мне кажется, не отдавая себе отчета, насколько этим новым принципом он расширил теорию метафорического взаимодействия. Как только мы начинаем «внимательно анализировать» взаимодействие слов, основанное не на с х о д с т в е между «содержанием» и «оболочкой», но на других типах связей, включая различия, некоторые из самых распространенных и упрощенных положений теории метафоры как сравнения сразу отпадают.

Но обратимся еще раз к примеру «головокружительный об-

---

* Имеется в виду рана, нанесенная смелым воином. Здесь и в двух предыдущих примерах использован распространенный в английском языке прием переноса эпитета. — *Прим. перев.*

** Форма lies (как и соответствующий ей инфинитив to lie) имеет два значения: 1) 'лежит', 2) 'лжет'. — *Прим. перев.*

рыв». Прав ли Кеймс, утверждая, что слово «головокружительный» применительно к слову «обрыв» не может обозначать какие-либо свойства или атрибуты последнего? Прав ли он, интерпретируя «головокружительный» как «вызывающий головокружение», — обрыв называют головокружительным, так как он вызывает головокружение у тех, кто стоит на его краю? Может быть, дело в том, что в момент головокружения сам обрыв воспринимается как качающийся? Когда человек пошатывается от головокружения, мир вокруг него тоже кружится, и обрыв не только является причиной головокружения, но и сам как бы кружится; кажется, что он сам покачивается от головокружения и кружится с ужасающей скоростью. Движения глазных яблок во время головокружения передаются всему окружающему миру, включая обрыв. Воспринимаемый таким, как о нем пишет поэт, обрыв действительно сам обретает кружение. Если это так, мы можем на секунду усомниться, присутствует ли здесь вообще метафора — пока мы не замечаем, как это кружение, охватывающее весь мир, когда у нас кружится голова, распространяется на него вследствие процесса, который сам по себе глубоко метафоричен. Наши глаза судорожно вращаются, но кружащимся кажется мир вокруг нас. Так обстоит дело с большей частью или в конечном счете со всеми нашими ощущениями. Наш мир — это проецируемый мир, пронизанный чертами, заимствованными из нашей собственной жизни. «Мы получаем только то, что мы даем». Метафорические процессы в языке, взаимообмен между значениями слов, который мы наблюдаем, изучая эксплицитные метафоры, накладываются на воспринимаемый нами мир, сам по себе также являющийся продуктом более ранней или непредумышленной метафоры; и мы не сможем правильно анализировать метафору, если забудем об этом. Вот почему, если мы хотим пойти в теории метафоры дальше, чем это было сделано в XVIII в., мы должны располагать какой-либо общей теоремой значения. И поскольку наиболее глубоко и ясно осознал эту необходимость Кольридж, своей теорией воображения сделавший максимум возможного, чтобы создать ее, я думаю, что удачным завершением моей лекции будет отрывок из приложения *C* к книге «Советы государственному деятелю», в которой Кольридж излагает эту теорию в символической форме.

По Кольриджу, символ почти прозрачен, сквозь него просвечивает «целое, которое он возвещает, существуя при этом как живая часть того единства, представителем коего он выступает». И здесь Кольридж обращается к царству растений или любому отдельно взятому растению как к объекту размышления, через который и в котором можно наблюдать универсальный характер воображения — универсальный характер того обмена метафорами, благодаря которому жизнь каждого организма и мир, в котором этот организм существует, развиваются нераздельно. Следуя за ходом этих рассуждений, мы скорее придем,

как я полагаю, к идее Кольриджа о том, как развивается воображение, легче и с меньшими издержками, чем следуя любым иным путем. Ибо если здесь, в понимании Кольриджа, растение выступает как символ всякого развития, то этот отрывок тоже представляет собой символ, сквозь который видна игра воображения.

Кольридж говорит о книге Природы, которая «во все времена является музыкою умов благородных и праведных, поэзией всей натуры человека и предназначена для того, чтобы читать ее также в переносном смысле и находить в ней соответствия и символы из мира духовного.

Сейчас, когда мой взгляд обращен к цветущей лужайке, передо мною раскрывается одна из самых умиротворяющих глав этой книги, — глава, в которой нет ни одного слова скорби, ни одного знака греха или страдания. Ибо не могу я видеть творения растительного мира и размышлять о них, не испытывая чувства, подобного тому, которое испытываем мы, взирая на младенца, спящего, насытившись, у груди матери своей и улыбающегося в неведомом нам сне переживаниям, неясным, но счастливым. Такое же наслаждение, тихое и нежное, овладевает мною сейчас, но равная ему по силе щемящая грусть и такой же еле слышный укор противостоят этому наслаждению и гонят его куда-то вглубь, и смущено оно столь же сильным порывом устремления. И кажется, будто душа обращается к самой себе со словами: Вот какою *ты* была, прежде чем пасть! И такою ты должна стать снова, дабы существо твое могло быть пронизано высшею силою, чтобы одновременно была ты скрыта и озарена собственной прозрачностью так же, как все случайное и несущественное в этом спокойном и гармоничном объекте, который я созерцаю, подчинено жизни и свету природы, лучащемуся в нем; так же, как власть Господня, что превыше всего, любовь и мудрость наполняют природу и лучатся в ней! Тем, что есть растение, не собою сотворенное, — вот чем должна ты стать! Молитвою и неустанно бдящим и смиренным духом должна ты слиться наконец с оберегающей и помогающей благодатью Господней, чтобы сотворить себя в том свете сознания, который не воспламеняет, и с тем знанием, которое не мнит о себе.

Но более того... мне чудится, что усматриваю я в этих мирных предметах, которые созерцаю, нечто большее, чем произвольно избранный мною пример, нечто большее, чем простую фигуру сравнения, являющуюся плодом моей собственной фантазии. Я ощущаю священный трепет — как если бы предстала пред взором моим сила такая же, как сила разума, — та же сила, но в более низком воплощении, — то есть символ, заключенный в самой природе вещей. Тот же трепет испытываю я, когда взираю на какое-нибудь дерево или цветок и когда размышляю обо всем растительном мире как об одном из величественных органов существования природы. Смотрите! — с восходом солнца этот

орган начинает свою зримую жизнь и вступает в явленное нам единение со всеми стихиями, одновременно уподобляя их себе и друг другу. В один и тот же момент он пускает вглубь корни и раскрывает листья, поглощает и выдыхает, источает свежесть и тонкое благоухание, отдавая живительный дух — и пищу, и свет — атмосфере, которая питает Его. Смотрите! — его касается свет, и он возвращает воздух, который сродни свету; в одном и том же ритме свершает свой собственный тайный рост и останавливается, чтобы закрепить то, чего ему удалось достигнуть. Смотрите! — поддерживая непрерывное животворящее движение частей целого, пребывающего в состоянии глубочайшего покоя, он становится зримым *организмусом* всей бессловесной или примитивной жизни природы, и поэтому, соединяясь с одной крайностью, становится символом другой, — естественным символом высшей жизни разума».

То, что Кольридж говорит здесь о «явленном нам единении», может быть справедливо применимо и к слову — в свободной метафорической речи. «Разве слова, — вопрошал Кольридж еще за девятнадцать лет до написания этой книги, — разве слова не части и не ступени роста растения?»

ВЛАДЕНИЕ МЕТАФОРОЙ

В предыдущей лекции я уделил много внимания теории метафоры лорда Кеймса, потому что его работа лучше, чем работы каких-либо других известных мне исследователей, демонстрирует ограниченность традиционной трактовки метафоры и показывает, что этой ограниченности можно избежать. Спад исследований типов метафоры в конце XIX в. объясняется, по-моему, общим ощущением того, что существующие методы исследования непродуктивны и что тогда для нового подхода к метафоре еще не пришло время. Я и сейчас не уверен в том, что это время пришло, несмотря на все, что было сделано в этом направлении Кольриджем и Бентамом. Вполне возможно, что новая попытка исследования метафоры опять приведет к искусственным и произвольным построениям. Если это так, раскрытие их характера может быть еще одним шагом вперед. Занимаясь метафорой, лучше сделать ошибку, которая может быть обнаружена, чем не сделать ничего; лучше получить еще одно описание того, как работает метафора (или как развивается мысль), чем не иметь никакого. Конечно, всегда следует помнить, что наше описание не обязательно соответствует реальному положению вещей, то есть мы не смешиваем наши теории с владением метафорой или аппарат описания с тем, что он описывает. Это постоянная ошибка, которую допускали все концепции XVIII в., и нужно постоянно быть начеку, чтобы не допустить ее. Это — явление, которое Уильям Джемс назвал «заблуждением психолога», имея в виду те случаи, когда теория, как бы хороша она ни была, отождест-

вляется с описываемым ею процессом. Как сказал Бриджес в «Завете красоты»: «...как если бы запутанные построения логики являлись изначальным условием Бытия, сущностью вещей; и человек в своем утомительном пути от полного неведения к осознанному неведению принял бы свои спотыкающиеся ноги за главный орган жизни».

Наше владение метафорой и мышлением — удивительное и непостижимое искусство; осознание этого искусства — нечто совсем другое: неполное, искаженное, ошибочное, упрощающее. Задача теории метафоры — не в том, чтобы вытеснить практику или же сообщить нам, как делать то, что мы не можем делать, но в том, чтобы защитить наше естественное умение от влияния на него упрощенных взглядов и, главное, помочь передаче этого искусства — владения метафорой — от человека к человеку. И успех в этой области — в переходе от владения метафорой к наблюдению над ее употреблением — достигается главным образом за счет того, что мы учимся на наших ошибках. (...)

Разрешите мне теперь привести пример простейшей, всем знакомой метафоры *ножка стола*. Мы называем эту метафору мертвой, но она очень легко оживает. Чем отличается она от использования слова в прямом или буквальном значении в таком, например, выражении, как *нога лошади**? Очевидное различие состоит в том, что ножка стола обладает лишь несколькими признаками из числа тех, которыми наделена нога лошади. Ножки стола не ходят, они только поддерживают его. В подобных случаях мы называем общие признаки основой метафоры. В приведенном примере мы легко находим основу метафоры, но очень часто это оказывается невозможным. Метафора способна прекрасно работать и тогда, когда мы не можем судить о том, к а к она работает или что лежит в основе переноса. Рассмотрим несколько метафор, использующихся как оскорбительные или же ласкательные слова. Если, например, мы называем кого-нибудь свиньей или уточкой**, бессмысленно искать в основе метафоры какое-либо реальное сходство человека со свиньей или уткой. Называя женщину уточкой, мы не имеем в виду наличие у нее клюва или перепончатых лапок и не предполагаем, что она вкусна. Основа переноса гораздо сложнее. Оксфордский словарь английского языка подсказывает, что́ может быть этой основой, толкуя слово «утка» в данном значении как «очаровательное или приятное существо». В очень огрубленном виде эту основу можно представить примерно так: чувство нежности и умиления, которое можно испытывать по отношению к уткам, испытывается и по отношению к человеку.

Таким образом, следует разграничивать метафоры, которые

---

* В английском языке, в отличие от русского, вместо двух слов *ножка* и *нога* есть лишь одно слово leg. — *Прим. перев.*

** Ср. русск. *цыпочка*. — *Прим. перев.*

строятся на основе прямого сходства между двумя объектами, и метафоры, строящиеся на основе общего отношения, испытываемого (иногда по чистой случайности или же по ряду причин) нами к обоим объектам. Это разграничение не является окончательным и бесспорным. В каком-то смысле общей характеристикой обоих объектов является то, что они оба нам нравятся, хотя в то же самое время мы можем легко согласиться, что между ними нет ни малейшего сходства. Если я люблю табак и логику, трудно найти какой-нибудь признак, который являлся бы для них общим. Такое разграничение хотя и не слишком глубоко, однако оно в какой-то мере позволяет нам попасть в одну из самых опасных ловушек исследования — уверовать в то, что если мы не знаем, как работает метафора, то значит, она не работает.

Вернемся снова к примеру со словом *нога*. Мы замечаем, что даже здесь границу между буквальным и метафорическим употреблением слова нельзя считать полностью стабильной или постоянной. В каких случаях это слово используется буквально? У лошади есть ноги в буквальном смысле этого слова, так же, как и у паука. Но что сказать о шимпанзе? Сколько у него ног — две или четыре? А морская звезда? Что у нее — руки, ноги или не то и не другое? А если у человека деревянная нога, что имеется в виду — нога в метафорическом или в буквальном смысле? Можно ответить, что здесь сочетаются оба смысла. С одной точки зрения, слово *нога* используется в буквальном смысле, а с другой — в метафорическом. Слово может одновременно выступать в своем прямом и метафорическом значениях, так же как на основе этого слова может быть одновременно создано несколько метафор или же в одном значении сливаться несколько. Этот тезис представляется нам крайне важным, поскольку очень часто неверные теории возникают из-за убеждения в том, что, если слово функционирует каким-то одним образом, оно не может в то же самое время функционировать по-другому и иметь одновременно разные значения.

Поэтому, как правило, совсем не легко определить, используется слово в прямом или метафорическом значении. Мы можем условно решить эту проблему, анализируя в каждом отдельном случае, передает ли слово одну или две идеи; или же — в предложенных мною в предыдущей лекции терминах — объединяет ли слово «содержание» и «оболочку», которые взаимодействуют в общем значении[1]. Если мы не можем разграничить «содержание» и «оболочку», мы будем условно считать, что слово употребляется в буквальном значении; если же возможно различить хотя бы два взаимодействующих друг с другом употребления, мы имеем дело с метафорой.

---

[1] Это требует определенных презумпций (assumptions) относительно выбора аспекта и формирования представления, анализ которых понадобится нам в дальнейшем.

Например, когда Гамлет говорит: «Что должны делать такие создания, как я, ползающие между землей и небом?» — или когда Свифт вкладывает в уста короля Бробдингнега следующие слова, обращенные к Гулливеру: «Большинство ваших соотечественников есть порода маленьких отвратительных гадов, самых зловредных из всех, какие когда-либо ползали по земной поверхности», — как понимать слова «ползающие» и «ползать» — буквально или метафорически?

Я считаю, что они используются метафорически. Гамлет или какой-нибудь другой человек могут ползти в буквальном смысле — как это иногда делают дети или охотники, выслеживающие крупного зверя; но в обоих отрывках содержится явное указание на других ползающих существ — на движения отвратительных насекомых или гадов, и это указание создает «оболочку», в то время как Гамлет или человек вообще и его поведение составляют «содержание» метафоры. Такой эксперимент демонстрирует, что большая часть свободной или непринужденной речи метафорична. Употребление слов в буквальном смысле редко встречается за пределами точных наук. Мы же под влиянием теории, приписывающей каждому употреблению слова одно-единственное фиксированное значение, думаем, что слова в буквальном значении употребляются чаще, чем на самом деле. Именно поэтому столько времени в моих лекциях было отведено развенчанию этой теории.

Давайте рассмотрим теперь несколько типов связей между «содержанием» и «оболочкой». Уместно начать с положения, которое вы встретите в любой работе: метафора обязательно включает сравнение. Но что такое сравнение? Под сравнением могут подразумеваться различные вещи: объединение двух объектов для того, чтобы они могли функционировать вместе; изучение двух объектов с целью увидеть их сходства и различия; возможно, сравнение — это привлечение внимания к сходству объектов или способ обратить внимание на какие-то характеристики одного предмета через указание на другой, соседствующий с ним. Поскольку под сравнением мы подразумеваем столь разные понятия, мы получаем и разные понятия метафоры. Если мы имеем в виду привлечение внимания к сходству предметов, мы получаем теорию метафоры, господствующую в XVIII в. Например, доктор Джонсон отзывается о стихотворных строках Денема, посвященных Темзе, так хвалебно, поскольку Денем проницательно и тонко раскрыл сходство реки и сознания поэта. Вот эти строки:

O, could I flow like thee, and make thy stream
My great exemplar as it is my theme!
Though deep, yet clear; though gentle, yet not dull;
Strong without rage; without o'erflowing, full.

[*букв.:* О если бы я мог течь, как ты, и твой поток,
ставший моей темой, стал бы моим великим образцом.

Глубокая, но прозрачная; спокойная, но не медлительная;
Сильная без ярости; полноводная, но не выходящая из берегов.]

Мы можем считать, что поток поэтического сознания здесь «содержание», а река — «оболочка» метафоры; при этом в качестве упражнения по анализу текста стоит отметить, что в двух последних строчках позиции «содержания» и «оболочки» постоянно меняются относительно друг друга, и меняется направление перехода от одного к другому. «Глубокая, но прозрачная» — эти слова в своем буквальном значении описывают «оболочку», реку, и в то же время в своем производном, или метафорическом, значении — это 'сознание'. «Спокойная, но не медлительная» — «спокойная», безусловно, в своем буквальном значении описывает сознание, «содержание», а в производном значении — реку, то есть направление перехода обратно предшествующему; но слово «медлительная», я думаю, вновь указывает на переход от описания реки к описанию сознания. «Сильная без ярости», в моем понимании, — это, безусловно, переход от описания сознания к описанию реки, а «полноводная, но не выходящая из берегов» — еще один переход от реки к сознанию. Ответом на поставленные нами вопросы является, конечно, не происхождение этих слов, но то, как мы их воспринимаем. (...)

«Сходство (между «содержанием» и «оболочкой») так проницательно и тонко раскрыто» — вот типичное для XVIII в. понимание сравнения, обеспечиваемого метафорой: указания точек схождения, тщательное раскрытие сходства. Но на самом деле эта теория не может объяснить воздействие этих строк. Чем более детально и внимательно мы анализируем значения и скрытые смыслы слов «глубокий», «ясный», «спокойный», «сильный» и «полный» в их применении к потоку и к сознанию, тем менее важной оказывается роль, которую играет сходство между «оболочкой» и «содержанием», и тем в большей степени «оболочка», то есть река, кажется предлогом для того, чтобы сказать о сознании что-нибудь такое, что не может быть сказано о реке. Возьмем слово «глубокий». Если имеется в виду река, основные ассоциации, связанные с этим словом, — «трудно преодолимая, опасная, судоходная» и, может быть, «подходящая для плаванья». Если же это слово относится к сознанию, оно ассоциируется с представлениями о «загадочном, насыщенном событиями, мощном и богатом знаниями, нелегко объяснимом, действующем в силу серьезных и важных причин». То, что сообщается в этих строках о сознании, не является производным от образа реки. Но и река — это не просто предлог для разговора о сознании, не украшение, не позолоченная пилюля, содержащая мораль. «Оболочка» определяет ту форму, в которую облекается «содержание». Это становится ясным мгновенно, стоит лишь заменить реку, скажем, чашкой чая!

Глубокая, но прозрачная, спокойная, но не медлительная; сильная без ярости; полноводная, но не выходящая из берегов.

Сравнение как выявление сходства не полностью определяет понимание метафоры, хотя такая концепция и господствует в работах XVIII в., в которых «содержание» также рассматривается как самый важный компонент метафоры. Обратное понимание сравнения как простого соположения двух предметов с целью посмотреть, что из этого выйдет, — модное отклонение от общей для того времени концепции, когда крайний случай принимается за норму. Вот эта теория в очень сокращенном и огрубленном виде. Андре Бретон, лидер французских сюрреалистов, излагает ее очень ясно:

«Сравнить два предмета, предельно далеких друг от друга, или как-нибудь иначе свести их в неожиданном и поражающем воображение единстве остается высочайшей и дерзновенной целью, достичь которую может только поэзия» («Сообщающиеся сосуды»).

«Свести их в неожиданном и поражающем воображение единстве» — вот что характеризуется как высочайшая и дерзновенная цель поэзии! Эта теория заслуживает тщательного анализа. Так же, как Макс Истмен упорно утверждает в "The Literary Mind", что функция метафоры состоит в «установлении мнимых тождеств (impracticable indentifications)», А. Бретон не размышляет над тем, какой предмет должен сочетаться с каким, если они достаточно удалены друг от друга. Кроме того, он не проводит границы между совершенно различными эффектами, производимыми такими сочетаниями. Эта позиция противоположна позиции Джонсона: в то время как Джонсон возражал против сравнений слишком далеких друг от друга (как у Каули) предметов, здесь удаленность признается достоинством. Истмен, как и Бретон, равнодушен к эффекту, создаваемому столкновением несопоставимых предметов. С его точки зрения, поэт «передает ощущения, не всегда доступные для понимания», и для этого, пишет Истмен, поэт «должен вызвать реакцию и в то же время задержать ее, вызывая напряжение нашей нервной системы, достаточное и верно рассчитанное для того, чтобы осознать, что мы переживаем нечто, — но что именно, не имеет значения» ("The Literary Mind", p. 205). «Что именно, не имеет значения.» Эти слова звучат поистине героически. Свяжите человека и подойдите к нему с раскаленной докрасна кочергой; вызвав соответствующую реакцию, вы продлеваете ее так, чтобы человек осознал, что он переживает нечто. Подобные мысли очень характерны для большой части современной литературной теории и практики, а не только для сюрреалистического культа искусственной паранойи. Источником этого, мне кажется, является упрощенная концепция функционирования метафоры.

Попытаемся теперь детально рассмотреть, что происходит в нашем сознании, когда мы объединяем — неожиданно и впечатляюще — два предмета, относящихся к двум весьма отличным друг от друга сферам опыта. Помимо общего смятения и напря-

жения чувств, мы достигаем самого важного — усилия сознания, чтобы соотнести эти предметы друг с другом. Функция сознания — связывать; оно работает, только связывая, и может связать любые два предмета неисчислимым множеством разных способов. Какой именно способ будет избран, определяется отношением к некоторому большому целому или к цели, и хотя мы далеко не всегда можем обнаружить эту модель, сознание никогда не действует бесцельно. В процессе любой интерпретации мы устанавливаем связи, и именно свобода установления этих связей, возникающая благодаря отсутствию эксплицитно выраженных промежуточных шагов, является основным источником воздействия поэзии. Эмпсон в своей книге «Семь типов неоднозначности» пишет: «Утверждения делаются так, как если бы они были связаны между собой, и читатель вынужден сам анализировать эти связи. Ему приходится искать причину, по которой были избраны именно эти утверждения; он изобретает ряд таких причин и выстраивает их в своем сознании. Это очень важная особенность поэтического употребления языка». Я бы сказал, что читатель пробует установить различные связи, и это экспериментирование с самыми простыми и самыми сложными, самыми очевидными и самыми потаенными сочетаниями является тем движением, которое придает значение вечно меняющемуся языку.

Если два соположенных предмета отличаются друг от друга в большей степени, чем другие пары предметов, возникшее напряжение, естественно, усиливается. Это напряжение подобно напряжению согнутого лука — источника энергии полета стрелы, но нельзя смешивать энергию лука с точностью полета стрелы, а напряжение — с целью. И постоянные промахи — это то, от чего мы устаем — и вправе устать. Но, как нам уже известно, то, что казалось невозможной связью, «мнимым тождеством», мгновенно превращается в естественное и сильнодействующее сочетание, если остальной текст дает нужную подсказку. (...)

Современные сторонники той упрощенной теории метафоры, согласно которой нужно «столкнуть предметы вместе — все равно, какие», воодушевлены побочными результатами процесса интерпретации и пренебрегают самыми важными положениями литературоведения. И все же из анализа этих крайних концепций следует одно важное положение. Мы не должны следовать за теоретиками XVIII в. и считать, что взаимодействие «содержания» и «оболочки» ограничено чертами сходства соответствующих объектов. Различия также важны. Когда Гамлет употребляет слово «ползающий», сила метафоры проистекает не только из ассоциации с ползучими гадами, которую это слово привносит в текст, но в равной мере из различий, которые противостоят сходству и контролируют его влияние. Здесь подразумевается, что человек не должен так ползать. Таким образом, мнение о том, что результатом метафоры является отождествление предметов, почти всегда неверно и приносит вред. В целом существует

лишь несколько метафор, у которых различие между сопоставляемыми объектами играет меньшую роль, чем сходство. Обычно сходство является наиболее очевидной основой переноса, но своеобразные модификации «содержания», которые возникают благодаря «оболочке», являются в гораздо большей степени результатом различий между объектами, чем сходства между ними.

Из этого положения, по моему мнению, проистекают очень важные следствия для практики и теории литературы. (...) Один из наиболее крупных современных литературоведов, Т. Хьюм, пишет, что свободный язык поэзии, в отличие от языка прозы, является языком не точных приборов, а конкретных образцов. Это язык интуиции, который передает ощущения чувственно. Он всегда стремится захватить вас и заставить постоянно видеть реальные предметы, не давая вам ускользнуть в мир абстракций. (...)

Слова не могут и не должны пытаться «передать ощущения чувственно»; у них есть гораздо более важные функции. Далекий от того, чтобы быть адекватным средством для выражения интуиции, неполный эквивалент (substitute) реального опыта, язык в своем правильном использовании совершенен и способен сделать то, что неспособна сделать интуиция сама по себе. Слова — это точки пересечения разных видов опыта, никогда не сочетающихся друг с другом в сфере знаний или ощущений. Они — воплощение и орудие того развития, которое является постоянной целью разума, стремящегося к упорядочиванию. Вот почему люди располагают языком. Это не просто сигнальная система. Это орудие всего развития человечества, всего того, в чем люди превосходят животных.

Поэтому считать, что язык функционирует только для передачи тех ощущений, которые испытывает человек, — значит инвертировать весь процесс. Это значит не замечать того важного, что содержится в словах Малларме, утверждающего, что поэт пишет не мыслями (или, как мы можем добавить, идеями, убеждениями, желаниями, ощущениями), но словами. «Разве слова, — вопрошал Кольридж, — не части и не ступени роста растений? И каков закон их роста?» «Формулируя нечто вроде такого закона, — писал он, — я осмелюсь разрушить традиционное противопоставление Слов и Вещей: как бы возвышая Слова до уровня Вещей, в том числе до уровня живых существ». Именно так следует поступать, чтобы сделать исследования метафоры плодотворными. Хьюм и школьные учителя, считая язык лишь стимулом для возникновения зрительных образов, забывают о его сущности. Они считают, что образ составляет значение слова; скорее, все обстоит наоборот, и именно слово содержит то значение, которого не хватает образу и его первоначальному восприятию. (...) Слова не являются средством копирования жизни. Их истинная функция — воспроизводя жизнь, упорядочивать ее.

Распространенная ошибка замещения отношения между «содержанием» и «оболочкой» отношением между вместе взятыми «содержанием» и «оболочкой», с одной стороны, и их значением — с другой, имеет последствия, выходящие за пределы литературы и литературной критики. Эти ошибки возникают во всех сферах, где человек сталкивается с важными для него проблемами. Возьмем, к примеру, вопрос веры. Обязаны ли мы верить какому-либо утверждению, если мы понимаем его полностью? Сообщает ли нам «Божественная комедия» или Библия нечто такое, что следует принимать за истину, если мы читаем эти тексты правильно? Нельзя дать удовлетворительный ответ на этот вопрос, не уяснив полностью, каким образом метафорические высказывания могут сообщать нам что-либо. Элиот как-то сказал о «Божественной комедии», что все это произведение — огромная метафора. Это так. А если это так, то во что мы должны верить? В то, что выражает «содержание», или в то, что выражает «оболочка», или же в то, что выражают они, вместе взятые? Или же мы должны верить в то, что «содержание» и «оболочка» связаны каким-то определенным образом? Или же требуемая вера представляет собой не более чем готовность чувствовать, желать и жить в соответствии с результирующим значением в той степени, в какой мы его понимаем? Или, вернее, в той степени, в какой это значение руководит нами и контролирует нас? Мы привыкли разграничивать буквальное и метафорическое, или анагогическое, понимание высказывания, но даже в самых простых случаях следует учитывать возможность четырех, а не двух типов интерпретации высказывания. В каждом отдельном случае тип веры будет различным. Мы можем вычленить «содержание» метафоры и верить, что это и есть значение высказывания; можем вычленить «оболочку»; или же, объединив «содержание» и «оболочку», решать, приемлемы или неприемлемы высказывания о наличии между ними связи; наконец, мы можем принимать или отвергать то направление, которое задают нашей жизни «содержание» и «оболочка», вместе взятые. Нам не нужно обращаться к Александрийской школе ранней интерпретации христианства или же к герменевтическим школам других религий, чтобы найти примеры, доказывающие, какими серьезными могут быть последствия веры в правильность такого выбора. Это показывает, что есть различные возможности понимания любого метафорического высказывания.

Мы давно мечтаем о том времени, когда психология даст нам множество сведений о нашем сознании, чтобы мы наконец могли с уверенностью судить о том, как и в каком смысле нами употребляются те или иные слова. Мы также мечтаем о том времени, когда риторика достигнет такого уровня развития, чтобы можно было судить о том, как функционирует наше сознание. Мне кажется скромным и вместе с тем целесообразным желание объединить эти мечты. Хочется надеяться, что тщательное изучение

проблем риторики может не только обнаружить причины и типы неверного понимания слов, но и вскрыть более глубокие и опасные ошибки, а также указать пути их исправления. Поскольку частные случаи неверного понимания, встречающиеся в повседневном употреблении языка, в миниатюре моделируют гораздо более серьезные ошибки, мешающие нормальному развитию личности, то изучение этих частных мелких случаев поможет нам избежать катастрофических заблуждений. На это надеялся Платон, так же считал Спиноза, когда утверждал, что у всех наук в конечном счете имеется единая цель. Важнее всего, полагал Спиноза, найти метод, делающий разум здравым и очищающий его так, чтобы он мог успешно и верно воспринимать все сущее. Эти лекции, начатые мною с утверждения, что изучение риторики должно быть в определенном смысле философским, я хотел бы закончить отрывком из диалога «Тимей», где Платон говорит об этой надежде в мифологической форме:

«Поскольку же день и ночь, круговорот месяцев и годов, равноденствия и солнцестояния зримы, глаза открыли нам число, дали понятие о времени и побудили исследовать Вселенную, а из этого возникло то, что называется философией и лучше чего не было и не будет подарка смертному роду от божества». Если мы неверно поймем эти слова Платона, они могут показаться горьким упреком богам. Но Платон имел в виду другое. Он продолжает: «О голосе и слухе до́лжно сказать то же самое — они дарованы богами по тем же причинам и с такой же целью. Ради этой цели устроена речь: она сильно способствует ее осуществлению; так и в музыке: все, что с помощью звука приносит пользу слуху, даровано ради гармонии. Между тем, гармонию, пути которой сродни круговращениям души, Музы даровали каждому рассудительному своему почитателю не для бессмысленного удовольствия — хотя в нем и видят нынче толк, — но как средство против разлада в круговращении души, долженствующее привести ее к строю и согласованности с самой собой...»*

* Перевод С. С. Аверинцева. — *Прим. перев.*

ХОСЕ ОРТЕГА-И-ГАССЕТ

ДВЕ ВЕЛИКИЕ МЕТАФОРЫ

К двухсотлетию со дня рождения Канта

Когда писатель порицает употребление метафор в философии, он этим только обнаруживает, что не знает ни что такое философия, ни что такое метафора. Ни одному философу не пришло бы в голову осудить метафору[1]. Метафора — необходимое орудие мышления, форма научной мысли. Конечно, может статься, что ученый ошибочно примет метафору или иной косвенный способ выражения значения за мысль, выраженную прямо. Такие ошибки, разумеется, следует порицать и исправлять точно так же, как ошибки в расчете, сделанные физиком. Никто же не станет утверждать при этом, что физика не должна пользоваться математикой. Ошибка в применении метода не может быть аргументом против самого метода. Поэзия — это метафора; наука лишь прибегает к метафоре, не более того, но и не менее.

Отрицание научной метафоры подобно неприятию так называемых «споров о словах» ("cuestiones de palabras"). Поверхностные умы склонны считать всякую дискуссию спором о словах. Однако же настоящий спор о словах встречается очень редко. Строго говоря, о словах могут спорить только языковеды. Для прочих людей слово — это не просто единица лексикона, но прежде всего то значение, которое с ней ассоциируется. Разговор о словах — это разговор о значениях, то есть о понятиях, если говорить языком традиционной логики. А поскольку значение есть не что иное, как интенция, направленность нашей мысли на объект, споры о словах на самом деле есть споры из-за вещей.

Случается, что разница между двумя значениями или понятиями — и тем самым между двумя вещами — очень мала и поэтому не представляет интереса для человека с грубым или

José Ortega-y-Gasset. Las dos grandes metáforas. — In: Ortega-y-Gasset J. Obras Completas. Tomo II, Madrid, 1966, p. 387—400.

[1] Следует заметить, что, когда Аристотель делал такой упрек Платону, он выступал, собственно, не против его метафор. Он лишь обращал внимание на то, что некоторые платоновские понятия (такие, как, например, participación 'участие'), которым Платон придавал строгий смысл, на самом деле не более чем метафоры.

практическим умом, и он отыгрывается на своем собеседнике, обвиняя его в жонглировании словами. Для людей с ущербным зрением все кошки серы. Но есть люди, которым доставляет высшее наслаждение открывать мельчайшие различия между объектами. Никогда не переведутся изощренные умы, натренированные в «спорах о словах», и именно к ним мы обратимся всякий раз, когда нам захочется услышать интересные мысли.

Ум, неспособный к абстрактным размышлениям, не сумеет отличить метафору от метафорической мысли. Он поймет в прямом смысле косвенную форму выражения и станет вменять в вину автору то, в чем виноват он сам. Философская мысль, как никакая другая, постоянно и почти незаметно переходит от прямого смысла к косвенному; она не ограничена какой-нибудь одной из этих областей. Кьеркегор как-то привел следующий пример. В цирке вспыхнул пожар. Вблизи импресарио оказался клоун, и тот поручил ему объявить публике о пожаре. Но зрители, получив это трагическое известие из уст клоуна, приняли его за шутку и не покинули своих мест. Пожар распространился, и публика погибла, став жертвой своего неумения переключиться с шутки на сказанное всерьез.

Метафора имеет в науке два разных употребления. Когда ученый открывает дотоле неизвестное явление, то есть когда он создает новое понятие, он должен его назвать. Поскольку совершенно новое слово ничего не говорило бы носителям языка, он вынужден пользоваться существующим лексиконом, в котором за каждым словом уже закреплено значение. Чтобы быть понятым, ученый выбирает такое слово, значение которого способно навести на новое понятие. Термин приобретает новое значение через посредство и при помощи старого, которое за ним сохраняется. Это и есть метафора. Когда психолог обнаруживает, что наши представления взаимодействуют между собой, он говорит, что они ассоциируются, то есть ведут себя подобно тому, как ведут себя люди в социуме (обществе). В свою очередь, тот, кто первым назвал собрание людей социумом, придал новый смысл этому слову, ведущему свое начало от лат. глагола sequor 'следую': исп. socio 'член общества' сперва означало «последователь». Это любопытное историческое обстоятельство подтверждает теорию происхождения общества, изложенную в моем сочинении «Бесхребетная Испания» («España invertebrada»). Платон пришел к убеждению, что подлинная реальность не тождественна наблюдаемому нами изменчивому миру, подлинная реальность, неизменная и невидимая, состоит из совершенных форм, таких, как «абсолютная белизна» или «высшая справедливость». Чтобы обозначить эти недоступные чувствам, умопостигаемые понятия, Платон извлек из обыденного языка слово ἰδέα 'идея', желая самим этим словом указать, что ум обладает более совершенным зрением, чем глаза.

Если мы захотели бы немного углубиться в начатую тему,

то нам пришлось бы, возможно, отказаться от термина «метафора», который способен ввести в заблуждение. Метафора — это перенос названия. Но существует множество видов переносов названий, в основе которых не лежит то, что мы обычно понимаем под метафорой. Вот несколько характерных в том или другом отношении примеров.

Слово *монета* обозначает единый торговый эквивалент, отчеканенный в металле. Но первоначально это слово значило «та, которая увещевает, предупреждает и предостерегает». Это — обозначение Юноны. В Риме был храм Юноны Предостерегающей (Juno Moneta), а рядом с ним находился монетный двор. На то, что в нем чеканилось, был перенесен эпитет Юноны — *предостерегающая* (moneta)*. Теперь, когда мы произносим слово *монета*, мы уже не думаем о гордой богине.

Слово *кандидат* первоначально относилось к человеку, облаченному в белые одежды. Когда гражданин Рима избирался на какую-нибудь муниципальную должность, он представал перед своими избирателями в белом одеянии. Сейчас кандидатом мы называем любого претендента на должность, независимо от цвета его одежд. Более того: избирательный ритуал в наше время отдает предпочтение черному костюму.

Французское выражение se mettre en grève означает ‘объявить забастовку’. Откуда у grève такое значение? Обычно это неизвестно тому, кто пользуется этим словом. Ему это и не нужно знать. Для него — это прямое обозначение. Слово grève первоначально означало во французском языке ‘песчаный берег’. Парижский муниципалитет был построен на берегу реки. Перед ним расстилался песчаный берег — grève, а муниципальная площадь была названа Гревской. Сюда стекались бродяги; потом тут стали собираться безработные, здесь происходил их найм. Выражение faire grève стало означать ‘быть без работы’. Теперь его применяют к намеренному прекращению работы. История этого выражения была реконструирована филологами; она не возникает в сознании рабочих, им пользующихся.

Все это примеры переноса названия, не основанного на метафоре. Слово просто утрачивает одно значение и получает другое.

Когда мы говорим el fondo del alma ‘глубина души’ (букв. дно души’), мы имеем в виду некоторый духовный феномен, не

---

* Moneta — причастие от лат. глагола monere ‘напоминать, увещевать, убеждать’. Римляне считали Юнону богиней, дающей хорошие советы. Во время одного из землетрясений из ее храма на Капитолии слышен был голос, требовавший, чтобы римляне принесли в жертву Юноне свинью; в другой раз во время войны с Пирром при безденежье Юнону спросили, как помочь делу, и она посоветовала вести войну справедливо, и тогда будут деньги (именно с этим эпизодом связывают появление у слова moneta значения ‘деньги’); см.: Реальный словарь классических древностей (по Любкеру). С.-Пб., 1885. — *Прим. перев.*

имеющий ничего общего с пространством и лишенный физических характеристик, таких, например, как поверхность и дно.

Обозначая словом fondo 'дно' некоторую часть души, мы отдаем себе отчет в том, что используем его не в прямом смысле, но в то же время понимаем, что нужный нам косвенный смысл произведен от прямого. Напротив, такое слово, как *красное*, прямо обозначает соответствующий цвет. Когда мы утверждаем, что у души есть «дно», мы относим это слово сначала к дну какого-нибудь сосуда, например, бочки, потом как бы «очищаем» это значение от указания на физические параметры и относим его к психике. Для метафоры необходимо, чтобы мы осознавали ее двойственность. Мы используем имя не по его прямому назначению и отдаем себе в этом отчет.

Но если мы знаем об этом, зачем мы это делаем? Почему бы нам не предпочесть прямое обозначение и не употреблять слова в их собственном смысле? Если бы el fondo del alma 'глубина души' так же ясно воспринималось нашим взором, как, например, красный цвет, мы, несомненно, пользовались бы для ее обозначения прямым и только ему принадлежащим наименованием. Но все дело в том, что интересующий нас психический объект не только трудно назвать, о нем даже трудно помыслить. Он ускользает от нас; мысль не может его уловить. Тут мы начинаем замечать, что метафора служит не только наименованию, но и мышлению. В этом заключена вторая — более глубокая и существенная — функция метафоры в познании. Метафора нужна нам не только для того, чтобы, благодаря полученному наименованию, сделать нашу мысль доступной для других людей; она необходима нам самим для того, чтобы объект стал доступен нашей мысли. Метафора не только средство выражения, метафора еще и важное орудие мышления. Попытаемся разобраться в причинах этого. Джон Стюарт Милль писал, что если бы все влажные предметы были в то же время холодными, то есть два этих свойства никогда не проявлялись бы отдельно друг от друга, то мы, возможно, принимали бы их за одно свойство. Если бы в мире существовали только синие предметы, то нам было бы очень трудно получить ясное представление об этом цвете. Собака лучше чует движущийся предмет, так как сила его запаха при движении колеблется. Точно так же восприятие и мышление лучше улавливают изменчивое, чем постоянное. Те, кто живет рядом с водопадом, не слышат его шума. Однако, если он прекратится, они услышат неслышное: тишину.

Вот почему Аристотель определяет ощущение как способность воспринимать различия. Мы улавливаем разное и изменчивое и не замечаем одинакового и постоянного. Совершенно в кантианском духе Гёте утверждает, что, как это ни парадоксально, предметы есть не что иное, как те различия, которые мы им приписываем. Сама по себе тишина ничто, она обретает для нас реальность благодаря своему отличию от шума. Когда смолкает все вокруг

и нас вдруг окружает безмолвие, мы чувствуем беспокойство, как будто кто-то суровый навис над нами и наблюдает.

Таким образом, не все объекты легко доступны для нашего мышления, не обо всем мы можем составить отдельное, ясное и четкое представление. Наш дух вынужден поэтому обращаться к легко доступным объектам, чтобы, приняв их за отправную точку, составить себе понятие об объектах сложных и трудно уловимых.

Итак, метафора служит тем орудием мысли, при помощи которого нам удается достигнуть самых отдаленных участков нашего концептуального поля. Объекты, к нам близкие, легко постигаемые, открывают мысли доступ к далеким и ускользающим от нас понятиям. Метафора удлиняет «руку» интеллекта; ее роль в логике может быть уподоблена удочке или винтовке.

Из этого, впрочем, не следует, что она раздвигает границы мыслимого. Отнюдь нет. Она лишь обеспечивает доступ к тому, что смутно виднеется на его дальних рубежах. Без метафоры на нашем ментальном горизонте образовалась бы целинная зона, формально подпадающая под юрисдикцию нашей мысли, но фактически неосвоенная и невозделанная.

Метафора лежит в основании поэзии, и ее поэтическая функция хорошо изучена. В науке роль метафоры вспомогательна. К научной и поэтической метафоре обычно подходили с одинаковых позиций. Так, в эстетике метафору рассматривали только как чарующую вспышку, вдруг озарившую своим светом прекрасное. Поэтому к ней не применяли понятий истины и не считали ее орудием познания действительности. Это не позволяло заметить, что поэзии не чужды исследовательские цели и она способна открывать столь же позитивные факты, как те, которые открывает наука.

В стихотворении «Сильва городу Логронье»* Лопе де Вега так описывает сад:

Verás bañarse el aire en varias fuentes
Cuyos resortes siempre diferentes,
Siempre parecen unos
Que en lanzas de cristal hieren el cielo...
[Ты увидишь, как плещется ветерок
В струях фонтанов, которые
В несметном своем единстве
Хрустальными копьями вонзаются в небо...]

Лопе де Вега представляет себе струи фонтана в виде хрустальных копий. Очевидно, что струи не могут быть копьями. Но то, что они названы поэтом именно так, поражает воображение и доставляет эстетическое удовольствие.

---

* Сильва — стихотворная форма, представляющая собой свободную комбинацию одиннадцати- и семисложников с консонантной рифмой; см.: D o m í n g u e z C a p a r r o z J. Diccionario de métrica española. Madrid, 1985. — *Прим. перев.*

Поэзия приветствует то, что наука отвергает. Поэзия и наука — враги, но каждый из них по-своему прав.

Поэзия ценит в метафоре то, что осуждает наука. Струя и копье — конкретные объекты. Конкретен всякий предмет, который можно воспринимать отдельно от других предметов. Напротив, абстрактный объект воспринимается только в сопряжении с какими-либо другими объектами. Цвет представляет собой абстрактный объект, так как мы воспринимаем его совместно с поверхностью той или другой формы, того или другого размера. И наоборот, поверхность не может быть воспринята отдельно от цвета. Поверхность и цвет обречены на сосуществование. Они различны, но нераздельны. Наш ум делает усилие, чтобы провести между ними грань. Мы называем это усилие абстрагированием. Мы абстрагируемся от одного из этих объектов, чтобы достичь виртуальной изоляции другого и тем самым определить его отличительные признаки.

В состав конкретных объектов входят абстракции. Так, хрустальное копье имеет наряду с другими компонентами форму и цвет; оно таит в себе, кроме того, динамическую силу, сообщаемую ему толчком руки и способную наносить раны. Сходным образом, в струе фонтана могут быть выделены форма, цвет и возникающая под напором динамическая сила, способная взметнуть ее вверх.

Струя и копье, если их воспринимать целостно, обнаруживают больше различий, чем сходств. Но если ограничиться только упомянутыми тремя абстрактными элементами, то окажется, что они тождественны. Форма, цвет и динамичность в них одинаковы. Это утверждение согласуется с научным подходом, оно констатирует реальный факт: частичную идентичность струи и копья.

Небесное тело и число далеко не одно и то же. Однако же, когда Ньютон сформулировал закон всемирного тяготения, определив, что сила тяготения прямо пропорциональна массе тел и обратно пропорциональна квадрату разделяющего их расстояния, он открыл некоторое частичное и абстрактное тождество, существующее между небесными светилами и определенным рядом чисел. Отношение между первыми подобно отношению между вторыми. Если бы какой-нибудь пифагореец, опираясь на эту аналогию, заключил, что «светила есть числа», он бы внес в формулировку Ньютона как раз то, что Лопе де Вега прибавил к утверждению частичного, но вполне реального тождества хрустального копья и струи фонтана. Научный закон ограничивается констатацией тождества абстрактных компонентов двух объектов; поэтическая метафора утверждает полную идентичность двух конкретных вещей.

Все это показывает, что научное мышление более или менее сходно с поэтическим. Различие между ними состоит не столько в характере мыслительных операций, сколько в их режиме и целях. Сказанное может быть отнесено и к метафорическому

мышлению. Оно встречается повсюду, но цель его в науке отлична от его поэтического предназначения. В поэзии метафора на основе частичного сходства двух объектов делает ложное утверждение об их полном тождестве. Именно это преувеличение, нарушающее границы истины, и придает ей поэтическую силу. Красота метафоры начинает сиять тогда, когда кончается ее истинность. Но и наоборот, не может существовать поэтической метафоры, которая бы не открывала реальной общности. Проанализируйте любую метафору, и вы обнаружите в ней присутствие очень ясного позитивного, мы бы даже сказали, научного, тождества абстрактных компонентов в рамках двух объектов.

Наука инвертирует пользование метафорой. Она начинает с полного отождествления двух объектов, заведомо различных, чтобы прийти к утверждению их частичного тождества, которое и будет признано истинным. Так, психолог, ведущий разговор о el fondo del alma, прекрасно знает, что душа — это не сосуд, имеющий дно. Но он дает нам понять, что существует некоторая психическая составляющая, которая в структуре души выполняет ту же роль, что дно — в сосуде. В противовес поэзии научная метафора развивается от более сильного утверждения к более слабому, от большего к меньшему. Она сначала утверждает полное тождество, затем его отрицает, сохраняя утверждение в силе только для некоторой части объекта. Любопытно отметить, что на очень ранних стадиях развития мышления словесное выражение метафоры обнажало эту двойную операцию — сначала утверждение, а затем отрицание. Когда ведический поэт хочет сказать «твердый, как скала» он выражается так: Sa parvato na acyutas (лат. ille firmus non rupes) 'твердый, но не скала'. Точно так же, песнопение Богу характеризуется певцом как «сладкое, но не блюдо»; ср. также «ревет, но не бык» (о потоке), «добр, но не отец» (о царе).

В герое есть некоторое духовное свойство, которое в соединении с другими его свойствами создает его целостный и вполне конкретный образ. Нужно сделать большое усилие, чтобы выделить это его свойство и думать о нем как о таковом. С этой целью мы можем вместе с ведическим поэтом сравнить его со скалой. Твердость скалы нам хорошо знакома и привычна; в этом понятии мы находим нечто общее с духовным свойством героя. Мы как бы сплавляем героя и скалу, а вслед за этим, оставив у героя признак твердости, изымаем из его образа все прочие свойства скалы.

Чтобы некоторое свойство могло стать отдельным предметом мысли, необходим знак, который бы зафиксировал результат абстрагирующего усилия, материализовал бы его и обеспечил удобной нишей. Имена, письменные знаки закрепляют абстрактные объекты, полученные в результате расчленения конкретных понятий. Если объект мысли очень необычен, мы опираемся на привычные знаки и, сочетая их, очерчиваем его контуры.

Наше письмо практичней китайского, поскольку оно основывается на чисто механическом принципе. В нем для каждого звука есть свой знак; но поскольку он сам по себе ничего не означает, наше письмо не значимо. Китайская письменность непосредственно обозначает понятия. Она более прямо отражает течение мысли. Писать или читать по-китайски — значит думать. Китайские иероглифы более точно, чем наши орфографические знаки, воспроизводят мыслительный процесс. Так, не найдя знака для обозначения печали, китаец соединил две идеограммы, одна из которых обозначала «осень», а другая — «сердце». Печаль была зафиксирована как «осень сердца». Не так уж много лет назад китайцы оказались перед необходимостью как-то обозначить новое для них понятие республики. В продолжение пятидесяти веков в Китае царила патриархальная монархия. Незнакомое там понятие республики пришлось обозначить комбинацией разных иероглифов: так возникло сочетание иероглифов, означающих «общее-согласие-государство». Понятие республики было осмыслено китайцами как нежесткое правление, опирающееся на всеобщее согласие.

Метафора представляет собой нечто вроде такого рода сочетаний идеограмм, позволяющих нам обособить труднодоступные для мысли абстрактные объекты и придать им самостоятельность. Поэтому она становится все более необходима по мере того, как наша мысль отдаляется от конкретных предметов обыденной жизни.

Не следует забывать, что человеческий ум формировался в процессе постепенного удовлетворения биологических нужд человека. Сначала он овладевает окружающими человека конкретными предметами, составляя о них представления. Они и образуют наиболее древний слой нашего сознания. Вызываемые ими интеллектуальные реакции хорошо отработаны. Когда наступает умственная усталость, мы отдыхаем, обращаясь мыслью к конкретным предметам. Чтобы выделить из живого организма его психический компонент, требуется сделать немалое усилие, прибегнув к еще непривычной абстракции. Философ и психолог должны быть хорошо натренированы в наблюдениях за психическими феноменами. Как бы мы ни назвали совокупность тех явлений, которые образуют сознание — дух или психика, — очевидно, что они существуют в единстве с нашим телом, и попытки их изолировать обычно приводили к материализации духа. Тысячи раз человек силился обособить то интимное психическое содержание, которое он ощущал в себе самом, предполагая при этом, что оно присутствует и внутри других живых существ. Образование личных местоимений повествует нам об истории этих усилий и обнаруживает, как формировалась идея «я» путем постепенного перехода от внешних атрибутов к внутренним. Вместо «я» сначала говорили «мое тело», «моя плоть», «мое сердце», «моя грудь». И теперь еще, произнося «я» эмфатически,

мы одновременно прикладываем руку к груди, и в этом жесте можно усматривать древнее «телесное» представление о «я». Человек начинает познавать себя через свои принадлежности. Притяжательные местоимения предшествовали личным: «мое» сформировалось раньше, чем «я». Позднее акцент перемещается с «наших» принадлежностей на нашу социальную личность, на нас самих. Наш социальный образ, человек в обществе, создаваемый наиболее периферийными чертами личности, становится представителем «я». В японском языке нет местоимений первого и второго лица ед. числа. Говорящий называет себя одним из следующих способов: «ничтожество», «глупец», а взамен местоимения второго лица он скажет «почтенное тело», «высочество» и т. п. Он говорит о себе в третьем лице, как об объекте, пребывающем во внешнем мире. Этикет устанавливает в каждой ситуации, кто из этих как бы внешних объектов должен быть обозначен как «Ничтожество», а кто — как «Почтенное тело». В языке североамериканских индейцев хупа местоимение третьего лица ед. числа варьируется в зависимости от того, относят ли его к ребенку или старику. Следует также сказать, что обращения типа *ваше высочество*, *ваше величество*, *ваше преосвященство* и т. п. предшествовали местоимениям «я» и «ты».

Неудивительно, что лексика располагает малым количеством слов, которые с самого начала обозначали феномены психики. Почти вся современная психологическая терминология — это чистая метафора: слова с конкретным значением были приспособлены к тому, чтобы обозначать явления психологического порядка.

Но та внутренняя сущность, которую мы стремимся представить обособленно от нашего тела, еще относительно конкретна. Есть куда более абстрактные и туманные объекты, для формирования которых метафора в высокой степени необходима.

Чтобы составить себе отчетливое понятие об объекте, его необходимо мысленно изолировать, отделить от окружения. Нам легче поэтому воспринимать изменчивое, чем постоянное. Изменение реорганизует отношения между компонентами, которые начинают выступать в других комбинациях. Влажное сочетается то с холодом, то с теплом. Когда объект выпадает из прежних комбинаций, остается пустое место определенной формы, напоминающее место от недостающей в мозаике детали.

В итоге оказывается, что трудности в постижении объекта растут пропорционально количеству комбинаций, в которые он может входить: чем больше комбинаций допускает объект, тем труднее его выделить и постигнуть. Его постоянное присутствие притупляет наше восприятие.

Представим себе объект, который неизменно входит в состав всех других объектов, он их постоянная часть, их вечный ингредиент, нечто вроде красной нити, которой отмечены все телеграммы английского Королевского флота. Такой вездесущий,

универсальный, неустранимый и неизбежный объект существует. Это — сознание.

Мы не можем говорить о том, чего нет в нашем сознании. Любые два объекта, казалось бы не имеющие между собой ничего общего, одинаково отмечены тем, что соприсутствуют в сознании одного субъекта. Легко понять, сколь трудно охватить, описать и определить этот универсальный, повсеместный и неизбывный феномен — сознание. Только благодаря сознанию мы способны отдавать себе отчет в существовании других предметов. Сознание создает этот акт и само создается им. Оно есть неизбежный привесок ко всему, что мы воспринимаем и о чем думаем, однообразный и неустранимый, неотлучный спутник всех прочих предметов и явлений. Благодаря тому, что влажность соединяется то с холодом, то с теплом, нам удалось разделить эти свойства. Но как нам определить, что такое сознание, если оно присутствует во всем, что мы воспринимаем? Это как раз тот случай, когда совершенно невозможно обойтись без метафоры.

Универсальное отношение между субъектом и объектом — отношение осознавания — можно постигнуть, только уподобив его какому-нибудь другому отношению между объектами. В результате такого уподобления мы получим метафору. Интерпретируя универсальное явление через более для нас доступное частное отношение, мы не должны забывать, что оперируем всего лишь научной метафорой. Мы не должны устанавливать между этими разными объектами отношение тождества так, как это делается в поэзии. Опасность отождествления здесь очень велика. Ибо от наших представлений о сознании зависит наша концепция мира, а от нее в свою очередь зависит наша мораль, наша политика, наше искусство. Получается, что все огромное здание Вселенной, преисполненной жизни, покоится на крохотном и воздушном тельце метафоры.

Действительно, человеческая мысль двух величайших исторических эпох — Древнего мира, перешедшего в Средневековье, и Нового времени, начатого Возрождением, — питалась двумя уподоблениями, Эсхил сказал бы — тенью двух слов. Эти две великие философские метафоры ничтожны с поэтической точки зрения. Их с презрением отбросил бы даже заурядный поэт.

Как понимал древний человек тот поразительный факт, что окружающие предметы имеют бесчисленное множество самых различных обликов? Разъясним суть проблемы. Мы смотрим на горный хребет Гуадаррамы. Высота его — около двух тысяч метров. Горы сложены из гранита и имеют голубоватый и лиловый цвет. Наше сознание лишено этих параметров: оно не имеет ни протяженности, ни цвета, ни твердости. Таким образом, свойства объекта и субъекта не совпадают, они отталкивают друг друга, между ними не может возникнуть никаких отношений,

если не считать отношения взаимоисключенности. Между тем, в момент восприятия объект и субъект входят между собой в положительное взаимодействие; более того, они как бы сливаются воедино. Существование такого феномена, как сознание, приводит нас к выводу, что два абсолютно различных термина отношений могут образовывать тождество. В этом заключено противоречие. Оно порождает проблему. Перед лицом такого противоречия наш ум теряется. Он мечется от утверждения, что *A* есть *B*, к утверждению, что *A* не есть *B*, и обратно, и так без конца. Эти колебания утомляют ум, лишают его покоя и равновесия. Чтобы выйти из заколдованного круга, ум стремится преодолеть противоречие, то есть разрешить проблему. Что сказать о палке, опущенной в воду, — прямая она или нет? Быть или не быть: в этом состоит вся проблема. «Быть или не быть: вот в чем вопрос».

И этот вопрос имеет, так сказать, два яруса. Тот факт, что мы осознаем, воспринимаем объект, с несомненностью свидетельствует о том, что этот объект (в нашем случае гора) «находится» в нас. Но каким же образом может войти гора высотой в 2 тыс. метров в сознание, которое вообще не есть пространство? Вопрос первого порядка состоит в том, чтобы объяснить, как могут объекты находиться в сознании.

Вопрос второго порядка требует объяснить механизм, причины и условия вхождения объектов в сознание. Эти стороны проблемы следует разделить. Ни Древний, ни Новый мир этого не делали. Они смешивали описание самого феномена и его объяснение. Если кто-нибудь нас спросит: «Что за человек Хуан?», мы, прежде чем отвечать, захотим выяснить, а кто такой этот Хуан. Прежде чем рассуждать о причинах происходящего в Испании, желательно выяснить, что же собственно происходит.

Для человека древности отношения между субъектом и воспринимаемым им объектом аналогичны отношениям между двумя физическими предметами, один из которых при соприкосновении с другим оставляет на нем свой отпечаток. Метафора печати, оставляющей на восковой поверхности свой деликатный оттиск, укоренилась в сознании эллинов и определила на многие века развитие философских идей. Уже в «Теэтете» Платона говорится о ἐκμαγεῖον [ekmageion], то есть восковой дощечке, на которой писец воспроизводит стилом начертания букв. И этот образ, повторенный Аристотелем в трактате «О душе» (кн. III, гл. IV), дает о себе знать на протяжении всех средних веков. Мы сталкиваемся с ним и в Париже и в Оксфорде, в Саламанке и в Падуе; на протяжении многих веков учителя запечатлевают его в юношеских умах.

В соответствии с этой интерпретацией, субъект и объект — это два физических предмета. Оба они существуют и пребывают в мире независимо один от другого и лишь иногда вступают между собой в случайные контакты. Объект существует до того, как

мы его видим; он продолжает существовать и тогда, когда выходит из поля нашего зрения; сознание также остается сознанием даже тогда, когда в нем нет мыслей и когда оно ничего не воспринимает. Если же сознание и объект приходят в соприкосновение, этот последний оставляет в нем свой отпечаток. Осознание — это оттиск.

Согласно изложенному учению, отношения между субъектом и объектом есть факт реальности, они столь же реальны, как, например, столкновение двух физических тел. Поэтому его принято называть реализмом. Оба термина отношений одинаково реальны — объект и сознание, столь же реально и само отношение. На первый взгляд, в этом учении нет никакой предвзятости в определении статуса субъекта и объекта. Но при ближайшем рассмотрении мы замечаем, что роль субъекта ущемлена. Согласиться с тем, что материальный объект может оставлять свой отпечаток на нематериальном, — значит уравнять их природу, то есть принять всерьез аналогию с воском и печатью.

Таково зерно, из которого произрастает мировоззрение древнего человека. Для него «быть» значит пребывать среди множества других вещей, которые, громоздясь друг на друга, выстраивают грандиозное здание Вселенной. Субъект — не более чем один из этого множества предметов, он погружен, по выражению Данте, в «море бытия». Его сознание — это маленькое зеркало, в котором отражены очертания сущего. В античном представлении о мире «Я» не играет большой роли. Греки вообще не пользовались этим словом в своих философских сочинениях. Платон предпочитал говорить «мы», надеясь, что единение породит силу. И грек, и римлянин искали нормы поведения, этический закон в соответствии человека космосу. Стоики, унаследовавшие классическую традицию, учили жить «в согласии с природой», быть, как она, цельными и невозмутимыми. «Я», вытянутая вперед рука слепца (Аристотель прямо сравнивает душу с рукой), ощупывает пути Вселенной, прокладывая тропинки для своего продвижения.

Возрождение, которое не было возвратом к античности, как многие утверждают понаслышке, преодолело это учение. Оно инвертировало отношения между субъектом и объектом.

Образ покрытой воском дощечки несовместим с возрожденческим представлением о сознании. Когда печать оставляет свой оттиск на восковой поверхности, в поле нашего зрения одновременно находятся два объекта — печать и ее оттиск, и мы можем их сравнить. Между тем, когда мы видим горный хребет Гуадаррамы, существует только то впечатление, которое он на нас производит, но не сам предмет. В этом смысле галлюцинация не отличается от нормального восприятия. Поэтому рискованно утверждать, что объекты существуют вне нашего сознания и отдельно от него. Мы получаем сведения об их существовании

только тогда, когда они так или иначе присутствуют в нашем сознании: когда мы их видим, представляем себе или думаем о них. Другими словами: нельзя оспорить тот факт, что предметы в каком-то смысле находятся внутри нас, но остается всегда сомнительным и проблематичным их существование вне нас.

Нелепо, поэтому, прояснять неоспоримый факт сомнительным предположением. Можно считать безусловно достоверным только существование того, что присутствует в нашем сознании. Вещи как реальность умирают, чтобы возродиться в виде мыслей. Но «мысли» — это не более чем состояния субъекта, состояния «Я», de moi même, qui ne suis qu'une chose qui pense (фр. 'меня самого, который есть вещь мыслящая')*. С этой точки зрения сознание должно получить интерпретацию, противоположную античной. На смену метафоре печати и восковой дощечки приходит метафора сосуда и его содержимого. Объекты не попадают в сознание извне, они содержатся в нем самом; это — идеи. Новое учение называется идеализмом.

Строго говоря, сознание, то есть осознавание, это — родовое понятие. Существует много видов осознавания. Так, видеть или слышать, то есть воспринимать, далеко не то же, что воображать или просто думать о чем-либо. Античная философия наибольшее значение придает чувственному восприятию, в процессе которого объект, приближаясь к субъекту, оставляет на нем свой отпечаток. Новое время, напротив, сосредоточено на воображении. В его концепции не объекты движутся в направлении к субъекту, а субъект сам их в себе возбуждает. Стоит только захотеть — и мы извлечем из небытия кентавра, который галопом, пустив хвост и гриву по весеннему ветру, помчится через изумрудные луга за неуловимыми тенями белых нимф. Воображение создает и уничтожает объекты, составляет их из деталей и рассыпает на части. Раз содержание сознания не может входить в него извне — в самом деле, как может влезть в меня гора? — оно должно зарождаться в самом субъекте. Таким образом, сознание есть творчество.

Для Нового времени характерно отдавать предпочтение именно творческой способности человека. Гёте присуждает пальму первенства «беспокойной и вечно юной дочери Юпитера — Фантазии». Лейбниц свел действительность к монаде, обладающей только одним свойством — способностью к репрезентации. Вся система Канта вертится вокруг оси, создаваемой предрасположенностью человека к воображению (Einbildungskraft). Шопенгауэр поведал нам, что мир — это то, что мы представляем, — фантасмагорический занавес, сотканный из образов, отброшен-

---

* Автор приводит слова Р. Декарта, взятые из его «Метафизических размышлений»: «Я — вещь мыслящая, то есть сомневающаяся, утверждающая, отрицающая, знающая весьма немногое и многое не знающая, любящая, ненавидящая, желающая, нежелающая, представляющая и чувствующая» (Декарт Р. Избр. произведения. М., 1950, с. 352). — *Прим. перев.*

ных на него из космических глубин. И молодой Ницше не смог объяснить мир иначе как игрой скучающего божества. «Мир — это сон и дым в глазах вечно неудовлетворенного».

Итак, фортуна вдруг обернулась к «Я» своим лицом. Как в восточных сказках, нищий проснулся принцем. Лейбниц осмелился назвать человека маленьким богом. Кант сделал «Я» высшим законодателем Природы. А Фихте, с его склонностью к крайностям, возвестил, что «Я — это все».

ФИЛИПП УИЛРАЙТ

МЕТАФОРА И РЕАЛЬНОСТЬ

ДВА ВИДА МЕТАФОРЫ

Считая метафору элементом Т-языка* (при таком подходе лучше всего раскрываются некоторые аспекты ее природы), попытаемся выяснить, что представляет собой метафора. Наша задача, как и задача любого серьезного определения, состоит в том, чтобы как можно эффективнее провести семантические линии, отражающие все сходства и различия. «Режь по швам», — советовали Платон и Чжуан-цзы[1]. Иными словами, всякое определение должно отвечать какой-то естественной области предмета, а не быть произвольным или полученным в результате чистой условности. Что же в таком случае является естественной областью, за которой стоило бы закрепить термин «метафора»?

Прежде всего, рассуждая от противного, отметим, что мы будем в значительной степени игнорировать знакомое грамматистам разграничение между метафорой и сравнением[2]. Грамматические подходы не слишком относятся к существу дела. Сравним для примера строку Бернса O my love is like a red, red rose ‘О моя любовь, [она] словно красная, красная роза’, представляющую собою с грамматической точки зрения сравнение с сокращенным утверждением Love is a red rose ‘Любовь — это красная роза’, которое с грамматической точки зрения является метафорой; вероятно, мы согласимся, что в первом случае больше метафорической жизненной силы, нежели во втором. Хотя часто кажется, что метафорическое сопоставление может быть более действенным при отсутствии эксплицитного употребления таких слов, как like ‘словно’, это не совсем так. Анализ существа метафоры связан не с правилами грамматических форм, а скорее с качеством семантических преобразований, которые

Philip Wheelwright. Metaphor and Reality. — Ch. IV: «Two Ways of Metaphor”; Ch. VI: “The Archetypal symbol”. Indiana University Press, Bloomington — London, 1967, p. 70—91, 111—128.

* Т-язык (tensive language), или «язык, создающий напряжение», — ключевое понятие общей теории метафоры, развиваемой Ф. Уилрайтом. Свойствам Т-языка посвящена одна из глав книги Уилрайта «Метафора и реальность» (см. выше, отсылочную сноску). — *Прим. перев.*

ей свойственны. Уоллес Стивенс, пользуясь несколько другим языком, говорит о «символическом языке метаморфозы»[3]. Целью такой метаморфозы, по его словам, является усиление чувства реальности. Едва ли можно сомневаться в том, что сравнение в строке Бернса служит для усиления чувства реальности в большей мере, чем поверхностная метафора, получающаяся в результате сокращения.

Следует заняться поисками более адекватного и эффективного способа понимания того, что представляет собою метафора, и, конечно, мы не обнаружим ничего столь же простого и практичного, как грамматическое разграничение. Ключ к решению задачи подсказывается уже упомянутым понятием метаморфозы. Что действительно важно в метафоре, так это духовная глубина, на которую объекты внешнего мира, реального или вымышленного, перемещаются при помощи холодного жара воображения. Процесс перемещения, который в этом случае имеет место, может быть описан как семантическое движение; представление о таком движении скрыто в самом слове «метафора», поскольку движение (phora), включенное в значение этого слова, есть именно семантическое движение — тот происходящий в воображении двойной акт распространения и соединения, который обозначает существо метафорического процесса. Распространение и соединение, представляющие собою два главных элемента метафорической деятельности, наиболее действенны в сочетании; возможно, на самом деле они всегда в той или иной степени соединены друг с другом, по крайней мере в неявном виде. Но чтобы понять роль каждого из них, их можно рассматривать по отдельности и дать им отличные друг от друга названия — «эпифора» и «диафора», — первое из которых обозначает распространение и расширение значения посредством сравнения, а второе — порождение нового значения при помощи соположения и синтеза.

Эпифора. Сам термин «эпифора» заимствован у Аристотеля, который писал в «Поэтике», что метафора представляет собою «перенесение» (epiphora) имени с объекта, обозначенного этим именем, на некоторый другой объект[4]. Эпифорическая метафора исходит из обычного значения слова; затем она относит данное слово к чему-то еще на основе сравнения с более знакомым объектом и для того, чтобы указать на это сравнение. Семантическое «движение» (phora) здесь, как правило, происходит от более конкретного и легко схватываемого образа к тому (epi), что, возможно, является более неопределенным, более сомнительным или более странным. «Жизнь есть сон»*: здесь представление о жизни, составляющее подлинное содержание (tenor) предложения, является относительно неопределенным и неясным; тогда

* Название пьесы Кальдерона. — *Прим. перев.*

как сон есть нечто, о чем (и о пробуждении от чего) всякий имеет воспоминания. Соответственно сон может быть представлен как семантическая оболочка (vehicle) для тех в чем-то сходных с ним аспектов жизни, к которым говорящий хочет привлечь внимание. Аналогичным образом построены выражения "God the Father" ('Бог Отец'); "the milk of human kindness"* (*букв.* 'молоко людской доброты', т. е. 'добросердечие'); "his bark is worse than his bite" (*букв.* 'его лай хуже его укуса', т. е. 'он больше бранится, чем сердится') и т. д.; бесконечное число таких примеров эпифорической метафоры, или эпифоры, сразу же приходит на ум.

Поскольку существенный признак эпифоры — то есть метафоры в терминологии Аристотеля — состоит в том, чтобы выражать сходство между чем-то относительно хорошо известным или непосредственно известным (семантической оболочкой) и чем-то таким, что хотя и имеет еще более важное значение, но менее известно или осознается более смутно (подлинное семантическое содержание), и поскольку она должна осуществлять это посредством слов, то из этого следует, что эпифора предполагает наличие некоего посредника образа или концепта, которые могут легко быть поняты, будучи обозначенными посредством соответствующего слова или словосочетания. Короче говоря, должна существовать исходная, «буквальная» основа для последующих операций. Когда Эдгар в «Короле Лире» говорит: "Ripeness is all" (*букв.* 'Зрелость — это все')**, он использует слово, которое при буквальном понимании относится к хорошо известному состоянию садов и фруктов; но он использует его в качестве оболочки для душевного состояния, которое труднее описать на буквальном языке, но которое, очевидно, соединяет представление о зрелости и о готовности (ср. аналогичное замечание в «Гамлете»: "Readiness is all" (*букв.* 'Готовность — это все')***. Это очевидный пример семантического переноса. Поскольку из двух элементов метафоры перенос, возможно, в большей степени бросается в глаза, выглядит оправданным определение, подобное определению, предложенному Паулем Хенле: «Знак является метафорическим, если он употреблен с референцией к объекту, который он не обозначает при буквальном употреблении, но который обладает некоторыми признаками, присущими объекту, который должен был бы быть буквальным денотатом этого знака»[5]. Это и есть определение Аристотеля, выраженное при помощи современной научной терминологии; показательно, что в начале

---

* Ср. использование этого выражения в «Макбете» (акт I, сц. 5). — *Прим. перев.*

** Ср. в переводе Б. Пастернака: «Но надо лишь всегда быть наготове». — *Прим. перев.*

*** В переводе Б. Пастернака: «Самое главное — быть всегда наготове». Здесь, как и в предыдущем случае, речь идет о необходимости быть постоянно готовым к смерти. — *Прим. перев.*

всякой метафорической деятельности оно предполагает непременное наличие буквального значения, стандартного употребления, из которого выводятся сравнения. И это так и есть — постольку, поскольку метафора функционирует эпифорически.

Но несмотря на то, что эпифора действительно предусматривает сравнение в качестве своей главной части и поэтому предполагает какое-то сходство между оболочкой и подлинным содержанием, из этого не следует ни того, чтобы указанное сходство непременно было самоочевидным, ни того, чтобы сопоставление производилось в явном виде. Очевидное для всех сходство не дало бы никакого энергетического напряжения; голая констатация сопоставления не есть эпифора. Лучшие эпифоры отличаются свежестью; они ненавязчиво привлекают внимание к сходствам, которые не так легко заметить; они содержат, по слову Аристотеля, «интуитивное восприятие сходств несходных вещей». Напряженной вибрации можно достичь, только удачно выбрав несходные объекты, так что сопоставление происходит как потрясение, которое, однако, есть потрясение узнавания.

A touch of cold in the autumn night
I walked abroad
And sew the round moon lean over a hedge,
Like a red-faced farmer.
I did not stop to talk, but nodded;
And round about were the wistful stars
With white faces like town children.
T. E. Hulme, "Autumn"

[Прохладной летней ночью
Я прогуливался
И увидел, что круглая луна склонилась
над изгородью,
Как краснолицый фермер.
Я не остановился, чтобы вступить с ней в беседу,
а лишь кивнул ей;
А вокруг были тоскующие звезды
С белыми лицами, как у городских детей.
Т. Э. Хьюм, "Осень"*]

All cries are thin and terse;
The field has droned the summer's final mass;
A cricket like a dwindling hearse
Crawls from the dry grass.
Richard Wilbur, "Exeunt"

[Все крики неярки и кратки;
Поле гудит последней мессой лета;

* Ср. перевод И. Романовича:

Осенний вечер стал прохладней;
Я вышел погулять.
Румяная луна стояла у плетня,
Как краснорожий фермер;
С ней говорить не стал я, только поклонился.
Кругом толпились щупленькие звезды,
Похожие на городских детей. — *Прим. перев.*

Сверчок, как маленький катафалк,
Выползает из сухой травы.

Ричард Уилбер, "Exeunt"*]

Вот мое имя смердит
Хуже, чем пахнут трупы птиц
В летние дни, когда небо источает жар.
Вот мое имя смердит
Хуже, чем пахнут рыбаки
И берега заводей, где они рыбачили**.

Неизвестный египетский автор,
ок. 1800 г. до н.э.[6]

Возможности эпифорического развития в исполнении одаренного большим воображением поэта многообразны, и попытки все их перечислить были бы тщетными. Цель критического разбора состоит не в том, чтобы поставить пределы способностям и открытиям творческого разума, а в том, чтобы отметить и не слишком самоуверенно истолковать их результаты. Одним из видов эпифорической деятельности, часто весьма изощренным, является вложенная эпифора, — эпифора внутри эпифоры, а иногда внутри нее и еще одна эпифора. У Шекспира встречаем целый ряд таких вложений, как, например, в сонете 65:

O how shall summer's honey breath hold out
Against the wrackful siege of battering days...

[О как сохранится медовое дыхание лета
Под воздействием разрушительной осады все сокрушающих
дней...***]

Молодость здесь эпифорически описана как лето, а лето в свою очередь — как медовое дыхание. Словосочетание «медовое дыхание» может быть в свою очередь подвергнуто анализу, поскольку в нем мед представляет собой оболочку, которая эпифорически описывает дыхание как свое содержание. Здесь семантическая стрелка по очереди указывает от меда к дыханию, от дыхания к лету, от лета к молодости. Естественно, поэтичность данной строки разрушается в результате такого анализа, поскольку в поэзии связь частей органична, и она выглядит совсем по-дру-

---

* Exeunt (*лат.*) означает *Уходят* (ремарка в пьесе). — *Прим. перев.*

** Ср. перевод В. Потаповой:

Видишь, имя мое ненавистно
И зловонно, как птичий помет
В летний полдень, когда пылает небо.
Видишь, имя мое ненавистно
И зловонно, как рыбьи отбросы
После ловли под небом раскаленным. — *Прим. перев.*

*** Ср. перевод С. Я. Маршака:

Как сохранить дыханье розы алой,
Когда осада тяжкая времен
Незыблемые сокрушает скалы... — *Прим. перев.*

гому, находясь на операционном столе. Однако тройное эпифорическое отношение налицо, делает свое дело, даже если основная часть соответствующего процесса протекает за горизонтом сознания.

К эпифорической жизненности может кое-что добавить синестезия, поскольку сопоставление ощущения одного типа с тем, что поступает от другого органа чувств, побуждает читателя к одновременному созерцательному размышлению в соответствии сразу с обоими путями восприятия. Конечно, некоторые случаи использования синестезии зависят, по-видимому, от в высшей степени индивидуальных рядов ассоциаций, как в строчках Рембо:

А — черное, И — красное, О — голубое,
Е — жгуче-белое, а в У — зеленый цвет.
Я расскажу вам все!

(Перевод К. К. Тхоржевского)

Сопоставления здесь столь изысканны и индивидуальны, что, хотя метафора может быть в большой степени эпифорической для поэта, она едва ли не является только диафорической для большинства читателей. Бывают, однако, и другие примеры синестезии, обращенные к интерсенсорным ассоциациям, более широко разделяемым людьми на основе их собственного опыта. Нет ничего трудного в том, чтобы понять значение таких синестетических метафор, как «теплый прием» и «горький упрек». Столь же быстро читатель готов воспринять различие между человеком с «голосом как промокательная бумага», человеком, голос которого «словно пуговки-глаза гремучей змеи», и героиней, о которой мексиканский писатель-романист пишет: «Ее голос был подобен голубым лепесткам, медленно падающим вниз с дерева джакаранды».

Вообще эпифора, вероятно, более жизненна — то есть более значима и более действенна, — когда она явным образом связана с большим поэтическим пространством, будь то часть произведения или целиком все стихотворение, в котором она встретилась.

The force that the green fuse drives the flower
Drives my green age; that blasts the roots of trees
Is my destroyer.
And I am dumb to tell the crooked rose
My youth is bent by the same wintry fever.

[Та же сила, что толкает цветок сквозь зеленый ствол,
Толкает и мой зеленый возраст; та, что подрывает корни деревьев,
Разрушает и меня.
И у меня нет слов, чтобы сказать искривленной розе,
Что мою юность согнула та же зимняя лихорадка].

В этом отрывке из Дилана Томаса единая эпифорическая тема выдерживается на протяжении пяти строк, придавая значи-

мость и направленность, а тем самым надлежащую силу таким индивидуальным эпифорам, как «зеленый возраст» или «зимняя лихорадка». Использование в чем-то сходной темы можно найти в строчках древнего ацтекского поэта:

Как трава обновляется весною,
Так и мы тоже принимаем новые формы.
Наше сердце пускает зеленые побеги,
Из нашего тела растут цветы.
Затем и то, и другое увядает.

Более резко логика эпифорического развития выступает в тройном сравнении Йитса:

Shakespeare's fish swam the sea, far away from land;
Romantic fish swam in nets coming to the hand;
What are all these lie gasping on the strand?[7]

[Шекспировская рыба плавала в море вдали от берега;
Романтическая рыба заплывала в расставленные сети;
Что же сказать о рыбах, задыхающихся на берегу?]

Диафора. Другой дополняющий тип семантического движения, связанного с метафорой, может быть назван диафорой. Здесь имеет место «движение» (phora) «через» (dia) те или иные элементы опыта (реального или воображаемого) по новому пути, так что новое значение возникает в результате простого соположения. Для начала можно рассмотреть достаточно тривиальный пример. В забытом ныне небольшом журнале тридцатых годов левый поэт выразил свое явно отрицательное отношение к Америке, опубликовав стихотворение, в котором содержались следующие строчки:

My country 'tis of thee
Sweet land of liberty
Higgledy-piggledy my black hen*.

[Моя страна, это о тебе,
Прекрасная страна свободы,
Шаляй-валяй моя черная курочка.]

Оставив в стороне вопросы поэтического достоинства и вкуса, отметим, что только с помощью данного соединения элементов автору удается выразить то, что не выражает по отдельности ни одна из частей. Его намерением было, очевидно, высказать антипатриотическую декларацию, но понятно, что нет ничего антипатриотического ни в отдельно взятых первых двух строчках, ни в третьей строчке самой по себе. Антипатриотическое чувство выражено исключительно при помощи их соединения. Диафору в наиболее чистом виде, несомненно, следует искать в неконкретной музыке и в крайних образцах абстрактной живо-

* Первые две строки представляют собой цитату из стихотворения Сэмюэля Фрэнсиса Смита «Америка»; последняя строка — из детского стишка. — *Прим. перев.*

писи; поскольку там, где налицо какая-либо имитация или подражание, будь то подражание природе или искусству предшественников или же имитация какой-либо доступной пониманию идеи, всегда есть элемент эпифоры. Покойная Гертруда Стайн явно стремилась приблизиться, насколько это возможно, к чистой диафоре в таких словосочетаниях, как «Сюзи, в честь которой произносится тост, — мое мороженое» и «Тишина, полная растрата пустынной ложки, полная растрата любого маленького бритья...». Можно процитировать наугад любое из многотомных сочинений мисс Стайн. Но, конечно, такая вербальная диафора никогда не может быть столь чистой, как диафора в музыке. Слова имеют скрытые смыслы, и хотя бы некоторые фрагменты этих смыслов находят отклик у читателя. Никто не может отрицать, однако, что мисс Стайн приложила максимум усилий, чтобы сделать их лишенными смысла; и полезно заметить, что, изобретая такие диафорические словесные узоры, она полагала, что сводит поэзию к музыке. В самом деле, наиболее удачное воплощение ее словесные игры нашли в реально имевшем место музыкальном спектакле; тот, кто видел в 1934 г. памятную нью-йоркскую постановку «Четверо святых в трех действиях», запомнил фразы «Которое есть некое вскоре» и «Голуби на травяном увы» не как отвлеченные образцы бессмыслицы, а как элементы, составляющие диафорическое единство с богатым лирическим контральто, исполнявшим первую фразу, и тенорами, певшими вторую, с привязчивыми мелодиями Виргилия Томпсона, со сдержанными манерами темнокожих певцов, с пастельными тонами декораций из папье-маше на заднем плане.

Почти невозможно найти хорошие примеры чистой диафоры, которые не были бы тривиальными, поскольку диафора работает лишь в сочетании, а не изолированно. Контраст, взятый сам по себе, представляет непосредственный интерес лишь с точки зрения живописи или музыки; как только контраст рассматривается в более широком контексте, появляется элемент эпифоры. Строки из стихотворения Эзры Паунда «На станции метро» содержат прежде всего диафору:

The apparition of these in the crowd;
Petals on a wet, black bough.[8]

[Появление этих лиц в толпе;
Лепестки на влажном, черном суку.]

На первый взгляд, эти два образа предлагают нам не более чем останавливающий на себе внимание контраст. Связь между ними — это связь презентации, а не репрезентации. Сходство, которое читатель, возможно, найдет (или будет считать, что нашел) между членами сравнения, не столько априорное, сколько (пользуясь терминологией Хенле) индуцированное. Или, как сказал бы Уильям Джемс, соединение понятий здесь основано

не на сходстве, а на эмоциональном соответствии. Все это, несомненно, разумный способ восприятия этого двустишия. И все же, хотя образный строй этого двустишия представляет собою явную диафору, быть может, он содержит еще и некоторый оттенок эпифоры? Зрительное восприятие цвета и фактуры внешнего мира действительно изменяется, и, возможно, некоторые читатели будут склонны усмотреть слабую степень априорного сходства сопоставляемых вещей. Можно утверждать, что соположение содержит легкий намек, слабый и едва уловимый, на предлагаемое сравнение. Больше того, как диафорический, так и эпифорический элементы обогащаются, когда данное стихотворение из двух строк рассматривается в контексте других стихотворений, которые Паунд расположил по соседству. Образ лепестков был уже введен в непосредственно предшествующем стихотворении из трех строк, но в совершенно ином окружении; вместо современной толпы в метро поэт изображает неторопливую жизнь Древнего Китая, рисуя оранжевые лепестки роз и пятна желто-коричневой глины, налипшие на каменные стены фонтана. Даже в более широком контексте сохраняется основное впечатление диафоры; но здесь может также возникать едва заметный намек на контраст между двумя состояниями человечества; и в той мере, в какой это так, здесь будет также малая толика эпифоры.

Если принять сделанные оговорки и не настаивать на том, что диафоры должны быть полностью свободны от примеси эпифоры, то можно не сомневаться в значительной и существенной роли, которую диафора играет в поэзии, — простая презентация различных деталей в новой аранжировке. «Да, конечно, — может возразить консервативно настроенный критик, — я допускаю, что это важный процесс, но почему его надо называть метафорой? Что достигается распространением традиционного представления о метафоре на простое презентационное соположение?» На это есть два ответа. Первый, мой собственный, был уже указан в начале главы; он диктуется необходимостью рассматривать два процесса, эпифорический и диафорический, как тесно связанные аспекты поэтического языка, которые, взаимодействуя, усиливают эффективность любой хорошей метафоры. Второй, косвенный, ответ состоит в апелляции к независимо сделанным наблюдениям различных исследователей поэзии, которые всегда подчеркивают роль диафорического элемента в метафоре, какой бы терминологией они при этом ни пользовались.

Нортроп Фрай, например, в своем глубоком исследовании «Анатомия критики», утверждает, что метафора «в своей исходной форме» есть «простое соположение»; он замечает, что «Эзра Паунд, объясняя этот аспект метафоры, использует в целях иллюстраций китайскую идиограмму, выражающую сложный образ, который соединяет вместе группу элементов без предикации». Он добавляет, что предикация относится к «утверждению и к опи-

сательному значению», а не к поэзии как таковой. Кольридж изобрел термин «эземпластический» [соединяющий, содействующий сплочению] для обозначения того же самого рода поэтической деятельности, а именно деятельности, состоящей в том, чтобы поместить различные детали в новую перспективу; для поэта характерна, говорит он, способность «излучать атмосферу и дух единства, который все приводит в гармонию и (как бы) сплавляет все со всем», — способность, которая обнаруживает себя в равновесии и примирении противоположных и несогласованных качеств. Возможно, Шелли подходит близко к этому, когда он говорит, что метафорический язык обнаруживает «ранее не постигнутые связи вещей». Т. С. Элиот в известном отрывке говорит не о том, как обнаруживается диафора, а о психологическом процессе, предшествующем ее созданию и участвующем в нем. Комментируя «кажущуюся несоразмерность и несвязанность вещей», так часто встречающуюся в поэзии, Элиот замечает: «Когда ум поэта полностью готов к работе, он последовательно сплавляет несоизмеримые впечатления; опыт обычного человека хаотичен, нерегулярен, фрагментарен. Такой человек влюбляется или читает Спинозу; и эти два переживания не имеют ничего общего друг с другом, или со стрекотанием пишущей машинки, или с запахом стряпни; в сознании поэта эти впечатления уже образуют новые комплексы»[9].

Наряду с такими свидетельствами, как только что приведенные, полезно сопоставить некоторые из определений метафоры, предложенных Э. Джорданом:

«Метафора, таким образом, представляет собою ... словесную формулировку реальности, которая заключена в многообразии, воспринимаемом как сложная совокупность свойств».

«[Метафора есть] утверждение индивидуальности; утверждение, посредством которого комплекс реальных качеств становится индивидом или утверждает себя как реальность».

«[Метафора есть] вербальная структура, которая в силу своей формы утверждает реальность объекта. Форма здесь, как и везде, представляет собою систему взаимосвязанных признаков, которая превращает совокупность своих элементов в гармоническое целое. Это целое и есть объект, существование которого утверждает метафоры».

«Идея о том, что метафора выражает сходство или различие, есть, быть может, результат нечеткого представления, что метафора всегда предполагает разнообразие свойств описываемой ею действительности, но эта идея, как представляется, недооценивает тот факт, что существенное значение разнообразия состоит не столько в качественных различиях, сколько в качественном

многообразии и непременном присутствии неограниченного количества частных свойств, доступных для обобщения»[10].

В некоторых случаях диафорический синтез скрепляется и как бы символизируется господствующим образом. Такой образ может выбираться произвольно, на основе личного впечатления поэта, ощущающего некоторое скрытое или потенциальное соответствие, или же может иметь более общую значимость. Раннее стихотворение Уоллеса Стивенса «Тринадцать способов смотреть на дрозда» представляет собою пример первого типа; его тринадцать строф связаны диафорически путем простого сопположения, и присутствие дрозда в каждой из них обеспечивает подобие единства, которое является чисто презентационным, без какой-либо ощутимой эпифорической значимости.

I
Among twenty snowy mountains
The only moving thing
Was the eye of the blackbird.

II
I was of three minds
Like a tree
In which there are three blackbirds.

III
The blackbird whirled in the autumn winds.
It was a small of the pantomime.

IV
A man and a woman
Are one.
A man and a woman and a blackbird
Are one.

V
I do not know which to prefer,
The beauty of inflections
Or the beauty of innuendoes,
The blackbird whistling
Or just after.

XIII
It was evening all afternoon.
It was snowing
And it was going to snow.
The blackbird sat
In the cedar limbs[11].

[I
Среди двадцати снежных вершин
Единственным, что двигалось,
Был глаз дрозда.

II
Я был о трех умах,
Подобно дереву,
На котором сидят три дрозда.

III
Дрозд кружился в осенних ветрах.
Это была частица пантомимы.

IV

Мужчина и женщина
Суть одно.
Мужчина и женщина и дрозд
Суть одно.

V

Я не знаю, что предпочесть:
Красоту изгибов,
Или красоту намеков,
Или свист дрозда,
Или просто потом.

XIII

Все время после полудня был вечер.
Шел снег
И собирался идти снег.
Дрозд сидел
На ветвях кедра.]

С другой стороны, когда образ, господствующий над диафорой, имеет некоторую узнаваемую значимость, — как, например, элиотовские господствующие образы Бесплодной Земли, Розового Сада и Неподвижной Точки, — тем самым вводится элемент эпифоры. Каждый из этих трех образов появляется в стихах уже со своими значениями и общепринятыми ассоциациями; намекая на них, образ работает эпифорически. Поэма «Бесплодная Земля» в целом действует на читателя прежде всего при помощи зачастую неожиданного синтеза различных образов и ситуаций; в этом смысле она диафорична. Но его господствующий образ (объявленный в заглавии) и многие из второстепенных образов (например, Тирезий, Лжеклеопатра, сидящая за туалетным столиком, голос грома и т. д.) действуют также и эпифорически.

Существенные потенции диафоры лежат в том очевидном онтологическом факте, что из каких-то комбинаций прежде не сочетавшихся элементов могут развиться, то есть попросту родиться, новые свойства и новые значения. Если возможно вообразить состояние вселенной, которое имело место, скажем, триллион лет назад, до того как атомы водорода и кислорода соединились, то можно смело полагать, что в то время не было воды. Позднее, с течением времени наступил момент, когда вода появилась, — именно тогда, когда эти два необходимых элемента наконец соединились при соответствующих температурных условиях и соответствующем давлении. Подобным же образом новые явления возникают и в области значения. Как в природе новые свойства рождаются в результате новых способов соединения элементов, так и в поэзии новые смыслы рождаются в результате соположения ранее несоединимых слов и образов. Такой диафорический синтез — необходимый фактор существования поэзии. Однако более интересны случаи, когда он действует совместно с другими факторами.

Эпифора и диафора в соединении. Обычно наиболее интересными и эффективными примерами метафор служат те, в которых так или иначе соединяются эпифорические и диафорические факторы. Разнообразие способов соединения ограничено только тем, насколько богатым оказывается поэтическое воображение, и следующие ниже примеры отражают лишь некоторые из многих возможностей.

«Падение Рима» Одена служит особенно ясным примером разделения труда между этими двумя факторами. За исключением последней строфы, все стихотворение построено главным образом на эпифоре: тема падения Рима безошибочно воспринимается как косвенное описание современного состояния цивилизации. Но в самом конце происходит резкий скачок, и в последней строфе без каких-либо объяснений делается следующее простое сопоставление:

Altogether elsewhere, vast
Herds of reindeer move across
Miles and miles of golden moss,
Silently and very fast[12].

[В целом еще где-нибудь обширные
Стада северных оленей передвигаются
Миля за милей по золотистому мху
Молча и очень быстро.]

Диафорический характер этой внезапной перемены декорации становится еще более очевидным, если мы попытаемся в виде эксперимента вставить слово but 'но' в начало первой строки. Обратите внимание, как в результате этого небольшого добавления ослабляется поэтическая сила. Ведь в то время как в версии Одена это четверостишие появляется в виде диафоры, достигая своей цели путем простого соположения, в воображаемой модификации смысл представлен едва ли не в обнаженном виде. Контраст теперь утверждается явным образом, тогда как раньше это была всего лишь презентация; в результате контраст в значительной степени утрачивает диафорический характер, приобретая характер эпифорический. Ибо в этой новой версии слишком подчеркивается то обстоятельство, что эти далекие олени выступают как знак чего-то еще — некоторого возможного состояния человечества, существенно отличного от того, с чем ассоциируется падение Рима. В версии Одена эпифорический оттенок, более легкий и более тонкий, порождается исключительно самой диафорой, а не при помощи какого-либо специального вербального или наглядно-образного средства.

Более частый тип соединения представляет собою группу разнообразных эпифор, служащих оболочками для единого содержания, тогда как диафора состоит в ранее не встречавшихся соположениях нескольких образов-посредников, как в следующем образчике древней философской поэзии из текстов Египетских пирамид:

В моих глазах сегодня смерть:
Как в больном человеке, начинающем оправляться
От тяжелого недуга.

В моих глазах сегодня смерть:
Как запах мирры,
Как сидение под парусом лодки ветреным днем.

В моих глазах сегодня смерть:
Как проторенная тропа,
По которой возвращаются мужчины с войны.

В моих глазах сегодня смерть:
Как снятие покрова с неба,
В котором человек достигает того, о чем он ранее не имел
представления.

В моих глазах сегодня смерть:
Как желание человека увидеть свой дом
После долгих лет, проведенных в плену[13]*.

Аналогичный метод используется в древних философских сочинениях, как, например, в «Упанишадах», когда диафорическая последовательность эпифорически ориентированных образов подается как средство понудить ум размышлять о Брахме через множество подходов, каждый из которых недостаточен сам по себе. Неизбежная обреченность попыток выразить истину в конечной инстанции, используя одну эпифору за другой, сама по себе поучительна, как бы говорят нам индусские гуру. Подобным образом в следующем отрывке из китайской поэмы «Дао дэ цзин» (гл. 11) встречаем диафорическое соположение отдельных эпифор, изображающих разные углы зрения, под которыми рассматривается скрытая, но всегда находящаяся в центре внимания реальность.

Мы соединяем тридцать спиц и называем это колесом;
Но это происходит в пространстве, где ничто не говорит
о полезности колеса.

---

* Ср. перевод В. Потаповой:

Мне смерть представляется ныне
Исцеленьем больного,
Исходом из плена страданья.

Мне смерть представляется ныне
Благовонною миррой,
Сиденьем в тени папируса, полного ветром.

Мне смерть представляется ныне
Торной дорогой,
Возвращеньем домой из похода.

Мне смерть представляется ныне
Небес проясненьем,
Постижением истины скрытой.

Мне смерть представляется ныне
Домом родным
После долгих лет заточенья. — *Прим. перев.*

Мы придаем форму глине, чтобы создать сосуд;
Но это происходит в пространстве, где ничто не говорит
о полезности сосуда.
Мы пробиваем двери и окна, чтобы сделать дом;
И это в тех пространствах, где ничто не говорит
о пользе дома.
Итак, совершенно подобно тому, как мы извлекаем пользу
из того, что есть, нам следует признавать полезность того,
чего нет.

Заключительная строка выглядит здесь как избыточное истолкование; проворному уму предшествующие три образа могли бы и сами по себе сказать больше благодаря общей суггестивности, не требующей педантичного разъяснения. Очевидно, роль этой растолковывающей строки во многом подобна той роли, которую играло бы предполагаемое «но» в четверостишии Одена; в обоих случаях ощущается назойливость, мешающая согласованному взаимодействию эпифоры и диафоры.

Иногда эпифорический или диафорический характер отрывка претерпевает сдвиг в зависимости от меняющегося поэтического контекста. То, что выглядит как диафора при изолированном рассмотрении, может оказаться эпифорой в контексте стихотворения, рассматриваемого как целое, и обратный сдвиг также возможен.

Первый тип сдвига можно иллюстрировать следующим примером образного текста:

Are the halls of heaven broken up
That you flake down on me
Feathered strips of marble?

[Хляби ли разверзлись небесные,
Что вы обрушиваетесь на меня,
Крылатые кусочки мрамора?]

Сопoложение этих образов само по себе производит впечатление диафоры: они ни демонстрируют, ни требуют какого-либо оправдания, лежащего вне их самих. Но посмотрите, что происходит с ними, когда они располагаются под заголовком, которым снабдил их писатель Ричард Олдингтон: The Fawn Sees Snow for the First Time [‘Молодой олень видит снег первый раз в жизни’][14].

Иллюстрацией обратного соотношения может служить двустишие из «Погони» Роберта Пенна Уоррена:

In Florida consider the flamingo
Its color passion but its neck a question[15].

[Во Флориде обратите внимание на фламинго,
Его цвет — страсть, но его шея — вопрос.]

Живая ирония этих двух эпифор сразу же бросается в глаза. «Его цвет — страсть» — это непривычная инверсия привычной эпи-

форы. Достаточно обычно, говоря о страсти, упоминать красный или пурпурный цвет, играющий роль оболочки. Здесь неожиданная встряска достигается тем, что речь идет о цвете, который теперь становится подлинным содержанием, тогда как страсть (какой бы смысл ни имело это слово для того или иного читателя) играет уже роль оболочки. «Его шея—вопрос» обладает веселой многозначностью. Здесь есть не только очевидный, зрительный образ, уподобляющий шею фламинго знаку вопроса, сходному с ней по форме; здесь есть также более умозрительный смысл, имеющий в виду загадку принадлежности столь странной шеи птице такого страстного цвета. С другой стороны, вся эта точно подогнанная эпифорическая комбинация становится диафорой в более широком контексте стихотворения, когда она неожиданно, без всяких комментариев, появляется в четвертой строфе в мизансцене с совсем другими образами — «горбун на углу, с каучуком и шнурками для ботинок», за которой следуют эпизоды с драматическими эффектами в клинике у доктора.

В наиболее искусных примерах метафоры между эпифорическими и диафорическими элементами, пожалуй, нет четкой границы, оба они действуют в неразрывной связи как гармонирующие друг с другом и дополняющие друг друга факторы:

Моя незрелая юность,
Когда я был зелен в своих суждениях.
В обрамлении светлых волос
Вино жизни иссякло, и только осадок
Остался в погребке, чтобы им хвастаться.
Мы томились в камерах моря
Увитые красными и коричневыми водорослями морских дев.
Ты — блаженная душа; а я прикован
К огненному колесу, так что мои собственные слезы
Жгут, подобно расплавленному свинцу.

Или когда-нибудь серебряный шнурок да развяжется, или золотая чаша да будет разбита, или кувшин да будет разбит у фонтана, или круг у колодца...

О том, что в каждом из этих примеров есть эпифора, свидетельствует ощущение подспудной способности слов обозначать нечто большее, чем то, что они буквально говорят. Что здесь есть также диафора, видно из того, что каждое высказывание обладает свойством почти полной непереводимости*. Каждая хорошая метафора оставляет за адресатом право понимать ее, как тому заблагорассудится; такая установка характерна, вообще говоря, для диафоры; двусмысленное указание свойственно невидимому персту эпифоры. Роль эпифоры сводится к тому, чтобы намекать на значение, творческая роль диафоры в том, чтобы вызывать к жизни нечто новое. Серьезная метафора отвечает обоим этим требованиям.

* Указанное свойство разбираемых примеров в ряде случаев вынуждало выбирать при переводе лишь одно из нескольких возможных осмыслений. — *Прим. перев.*

АРХЕТИПИЧЕСКИЙ СИМВОЛ

Пятый класс символов, архетипический, состоит из символов, которые несут одно и то же или очень сходные значения для большей части, если не для всего человечества. Можно легко обнаружить тот факт, что некоторые символы, такие, как «небесный отец и земная мать», «свет», «кровь», «верх—низ», «ось колеса» и др., появляются вновь и вновь в столь отдаленных в пространстве и времени культурах, что какое-либо историческое влияние или причинная связь между ними были бы невероятными. Почему встречаются такие не связанные между собой одинаковые явления? Во многих случаях найти причину совсем несложно. Несмотря на значительное разнообразие человеческих обществ, их способов мышления и их реакций, как в физическом, так и в основном психическом строении человека есть определенное естественное сходство. Все люди подвержены физическому закону тяготения, и поэтому идти вверх обычно более трудно, чем вниз; это делает естественной ассоциацию идеи восхождения вверх с идеей достижения, а также ассоциацию различных образов, коннотирующих высоту или подъем, с идеей превосходства, а нередко и привилегированного положения и власти. Всякий поэтому найдет естественным выражение «пробиваться наверх», но не «пробиваться вниз». Король господствует «над» своими подданными, а не «под ними»*. Мы «берем верх над» обстоятельствами и торжествуем «над» (а не «под») соблазнами. Различные образы, связанные в опыте с идеей «верха», такие, как летящая птица, стрела, пущенная в воздух, звезда, гора, каменный столп, растущее дерево, величественная цитадель, стали обозначать (каковы бы ни были другие значения, которые могут быть приписаны тому или другому из соответствующих выражений) нечто, достойное вожделения, предмет устремления, то есть в некотором смысле Благо. Низ в одном из двух характерных для этого слова типов контекстов связан с противоположными коннотациями. Мы «низко падаем», поддаваясь дурным привычкам, или оказываемся «на дне», становясь банкротами, пороки или нищета не «возвышают» нас. Образ Бездны в религиозной символике, связанный с представлением о крутом обрыве, подкрепляется глубоко лежащим в человеке страхом падения, внезапной утраты точки опоры (как это может быть эмпирически обнаружено при наблюдении над детьми). Отсюда вероятность связи понятия «низ» с идеями пустоты и хаоса. В более значительных образцах символического творчества — в частности, таких, которые оказывали на человека наибольшее религиозное и художественное воздействие, — «верх» и «низ» не выступают в чистом виде, но всегда сливаются с другими родственными идеями и образами:

---

* Ср. *насмехаться над, издеваться над, верховодить* и мн. др. — *Прим. перев.*

с опаляющим светом божественной мудрости, с одной стороны, и с хаотической тьмой муки, утраты и наказания — с другой.

Но с понятием низа ассоциируется еще и второе символическое значение, оставившее меньше следов во фразеологии разговорного языка, но сыгравшее гораздо более значительную роль в миропоэтическом творчестве. Ибо «внизу» указывает на щедрое лоно земли — праматери и кормилицы всего живого. Контраст «верх—низ», когда он принимает более конкретную форму, относясь соответственно к небу и земле, легко поддается олицетворению и тем самым стремится стать тем, что в последующих главах будет определено как «мифоид».

Архетипический символ «кровь» имеет парадоксальную природу и создает более значительное, чем обычно, напряжение. Его полный семантический спектр включает элементы, связанные как с добром, так и со злом, причем первый — достаточно ясный, а второй — относительно темный, но из-за этого еще более зловещий. Понятно, что позитивная часть значения «кровь» должна коннотировать жизнь, отсюда и всякого рода могущество, включая и физическую силу и титулы, получаемые по наследству, понятно и то, что с незапамятных времен люди использовали красящие вещества красного цвета, чтобы волшебным образом придать вещам силу. Однако в большинстве кровь связана и с более зловещим смыслом, это делает ее неким табу — то есть превращает ее в нечто такое, что требует почтительности, с чем можно иметь дело лишь в исключительных случаях и что не допускает бесцеремонного обращения. Наиболее очевидно то, что, поскольку кровопролитие часто связано со смертью, кровь становится (объявляется ли это специально или нет) символом смерти. Кровь также связывается с потерей невинности и с менструальным циклом у женщин — событиями, упоминание которых табуировано в первобытных культурах. Кроме того, по естественной логике, кровь ассоциируется в сознании с той страшной карой, которую навлекает на себя нарушивший клятву: ведь один из довольно распространенных обычаев при даче клятвы состоит в том, что договаривающиеся стороны смешивают свою кровь в знак того, что отныне они становятся братьями, — символический акт, который, учитывая представление нерушимой братской верности, обеспечивает надежность клятвы; таким образом, нарушить клятву — значит запятнать общую кровь.

Поскольку кровь связывается с такими моментами жизни племени, как смерть, рождение, половая зрелость, физическая сторона брака, война, а также и с такими более общими понятиями, как здоровье и сила, она соотносится почти с тем же кругом основных понятий и ритуалов, которые ван Геннеп назвал «обрядами превращения» (rites de passage)[16]. Согласно хорошо документированной теории ван Геннепа, всякое значительное событие в жизни племени или индивида (в те времена, когда эти два аспекта четко не разграничивались) рассматривается как

переход от одного состояния бытия к другому, как момент, когда человек умирает и одновременно вновь рождается в новом качестве. Такие переходные события в жизни племени должны окружаться соответствующими церемониями; такие церемонии являются одновременно магическими (в той мере, в какой они помогают событию, способствуя его завершению) и подражательными (в той мере, в какой они просто воспроизводят в человеческих терминах — при помощи танца, песни и образа — то, чем событие является по своей природе). Магия и подражание на самом деле неразделимы в первобытной культуре, но именно подражание, имеет непосредственное значение для понимания символов.

Образы и артефакты, связанные с переходными событиями, характеризуются значительным разнообразием; однако нередко за различиями можно обнаружить функциональное сходство. Курение трубки, фаллос и вспахивание поля — это, на первый взгляд, существенно различные образы-идеи; однако все они по разным причинам обнаруживают тенденцию стать символической оболочкой, указывающей на основные переходные события. Так, у североамериканских индейцев, среди которых был распространен обычай курения трубки, это занятие могло одновременно связываться с переходом от мира к войне и от войны к миру, от жизни к смерти и (в случае рождения ребенка) от смерти к жизни, от болезни к выздоровлению, от засухи к дождю и от посева к урожаю. Фаллос также, являясь, впрочем, более универсальным символом, чем курение трубки, может соотноситься практически с тем же самым кругом значений. Его отношение к крови, потенции, воспроизводству потомства и смерти не нуждается в подробных комментариях. Его отношение к растительности и выращиванию урожая подкрепляется широко распространенной готовностью видеть связь между соитием и двойным актом вспахивания и засевания поля. Макс Мюллер доказал филологическую родственность корней ar- в arable* и er- в eros**, в которой он видит один из многих примеров того, как древняя естественная метафора вживается в ткань языка и впоследствии утрачивает свое образное звучание. Отдельные свидетельства, подтверждающие эту мысль, можно найти в античной литературе. Креонт в «Антигоне» Софокла, объявляя, что его сын Гемон не может взять в жены осужденную на смерть Антигону, цинически замечает: «Есть и другие поля, где он может пахать своим плугом». Тысячелетием раньше в Египте мудрый Птах-Хотеп дал следующий знаменитый совет мужьям: «Относитесь к своей жене с должной заботой. Она плодородное поле, которое ее господин должен возделывать»[17].

Из всех архетипических символов, вероятно, нет более широко

* Arable от лат. arabilis 'пахотный, годный к пашне'. — *Прим. перев.*
** Eros (греч.) 'любовь'. — *Прим. перев.*

распространенного и более непосредственно постигаемого, чем «свет», символизирующий определенные умственные и душевные качества. Даже в нашем современном повседневном языке к явлениям ментальной сферы относятся многие слова и выражения, возникшие из ранних «световых» метафор: *прояснить*, *осветить*, *иллюстрировать*, *ясный*, *яркий* и т. д. В целом все эти слова перестали функционировать как активные метафоры и утратили какое-либо напряжение, превратившись в расхожую монету; бывает, однако, так, что более эксплицитные выражения, вроде *пролить свет на что-л.*, сохраняют свою метафорическую природу для тех, кто употребляет их сознательно.

Самый ранний из известных примеров светового символа встречается в древней Месопотамии в конце третьего тысячелетия до н. э. Примерно сорок — сорок пять столетий тому назад в Сиппаре, в плодородной долине между Тигром и Евфратом, была прославленная школа, самая древняя из всех когда-либо засвидетельствованных. Сюда со всей Месопотамии, а возможно, и из прилегающих областей, собирались желающие учиться молодые люди. Раскопки показали, что они сидели на грубых каменных скамьях без спинки; по тому, что мы знаем об этой древней культуре, можно судить, что их занятия состояли главным образом в обучении искусству клинописи, медицине, включавшей и магию, астрономии, которая была неотделима от астрологии, мифологии и теогоническим учениям, относящимся к их сложному и часто запутанному пантеону. Незадолго перед второй мировой войной оксфордская археологическая экспедиция обнаружила камень, на котором еще можно было различить древние письмена, служивший, по мнению археологов, перемычкой основного дверного проема школы. Студента, который приближался к входу в здание, приветствовали слова: «Да сияет подобно солнцу тот, кто пребывает в месте учения!»[18]

Можно отметить три особенности света, наводящие по аналогии на мысль о некоторых важных свойствах разума и духа, для которых аналогия со светом сразу приходит на ум как символ. Прежде всего и наиболее очевидным образом свет является условием видимости, он ясно очерчивает контуры, исчезающие в темноте. Сделав легкий и естественный метафорический шаг, мы можем перейти от этого наблюдаемого действия света в физическом мире, состоящего в прояснении пространственных границ и форм, к действию разума, устанавливающего границы и формы идей в интеллектуальных конфигурациях. Таким образом, свет легко становится знаком конфигурации идей — то есть знаком разума в его наиболее характерной форме.

В мифопоэтические времена, однако, свет не является сущностью, связанной исключительно со зрением. Современные бытовые приборы столь успешно помогли нам разделять свет и тепло, что мы склонны забывать, насколько естественной была связь между этими двумя явлениями в древние времена и насколько

естественно поэтому было думать о них как о двух аспектах одной и той же сущности, воспринимая и то и другое как проявление этой сущности. Даже в холодный зимний день человеческий организм мог ощущать тепло солнца. Таким образом, и в тех контекстах, в которых свет играл роль символа интеллектуальной ясности, он также имел тенденцию быть носителем определенных коннотаций, связанных с огнем. Связь с согревающей силой огня — одна из важных коннотаций для истории символизма. Как огонь, сияющий светом, согревает тело, так и интеллектуальный свет не только является нашим наставником, но и стимулирует разум и дух. Можно легко представить, что концепция интеллектуального света, как он понимался в давние времена, включала в себя пыл восторга не только в качестве необязательного добавления к его значению, но и в качестве естественного и неотделимого аспекта.

Наконец, отметим еще одно свойство огня, которое всегда будоражило людское воображение и не поддавалось рациональному объяснению: его кажущаяся способность к самопроизвольному зарождению и быстрому самовоспроизведению. С древнейших времен люди замечали с благоговейным ужасом, что огонь может возникать в результате внезапного воспламенения и что его размер и интенсивность могут увеличиваться с драматической быстротой. Более управляемым образом пламя могло быть размножено от факела к факелу и от очага к очагу. Это наводило на мысль о символической «заразительной» способности интеллекта передавать другому интеллекту свой свет и жар, иными словами, свою мудрость и свое воодушевление.

Наряду с этими тремя главными свойствами огня, составляющими материальную основу его символической ценности, с ним связывается и еще одна важная особенность. В древние времена существовала широко распространенная, хотя и не универсальная ассоциация огня с идеей верха. Огонь склонен взлетать кверху; больше того, источником земного огня и света является в конечном счете солнце, которое каждый день находится над нами высоко в ясном небе. Верх, как уже было отмечено, имеет преимущественно положительные символические коннотации; отсюда и огонь обычно также коннотирует добро, когда связывается с идеей направленности вверх. В мифологии боги света, а в дальнейших монотеистических продолжениях Бог Света, обычно обитают на сияющем небе или же на священной горе, озаряемой лучами солнца. Внизу лежит темное чрево Матери-Земли; последняя, хотя и находится в некоторой символической оппозиции по отношению к небу, не противопоставлена ему аксиологически, поскольку естественные коннотации Матери-Земли включают не только мертвые тела и привидения, но также и возможности зарождения и поддержания новой жизни. В мифологии противоположным членом символического отношения нередко оказывается совсем не то, что мы бы ожидали, исходя из законов логики.

Таким образом, становится понятным, почему к древним божествам света, таким, как Ахурамазда в зороастрийском Иране, или огня, как Агни в ведийской и индуистской мифологии, или вообще к богам, живущим «там наверху» в сияющем небе, обычно относились и, соответственно, обращались как к обладателям и источникам знания, особенно морального знания. Ахурамазда не только могущественный господин (ahura) и сияющий (mazda), но также и мудрый*, как об этом свидетельствуют многие гимны Авесты. К Агни, «богатство которого свет» и который является богом, особенно тесно связанным с домашним очагом, часто обращаются в Ригведе как к «знающему» и «мудрому». В различных древних религиях можно найти много подобных примеров; близкие представления оказали то или иное влияние и на словарь, используемый современными религиями. Тем не менее полезно избегать слишком напрашивающихся обобщений; следует иметь в виду, что, хотя тот или другой бог света действительно, как правило, имеет тенденцию быть также и богом знания, различные пути развития мифов о богах могут приостанавливать и модифицировать эту тенденцию. Так, в Индии ведийского периода Дьяус, бог ясного неба, как будто вовсе не выделяется умственными и душевными качествами, тогда как Варуна, бог космоса и ночного неба, обладает этими качествами. Ибо нравственная мудрость Варуны, его способность проникать взглядом в сердца грешников связывается с тем, что его почитатели могут созерцать его ночью, когда он смотрит вниз тысячью своих огненных глаз.

Еще одна характерная черта света, которая приобрела символическое значение, состоит в том, что чрезмерно яркий свет нередко производит ослепляющий эффект, особенно на слабые глаза, и поэтому начинает ассоциироваться с тьмой. Хотя вечность и предстает в поэзии Генри Вогана как «огромный круг чистого и бесконечного света», но поэт изображает мистерию встречи с Божеством как «глубокую и ослепительную тьму». В Писании также встречается та же самая тема чрезмерно яркого света, порождающего тьму. Хотя псалмопевец и обращается к Богу как к тому, кто одевается «светом как ризою», но он также описывает Его как того, кто «мрак сделал покровом Своим». Эти противоположные представления в какой-то степени логически примиряются в отрывке из Послания к Тимофею, в котором Павел описывает Бога как обитающего «в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может»**.

* Ср. русск. *мудрый*, этимологически родственное др.-перс. mazda. — *Прим. перев.*

** См. Пс. 103, 2; 17, 12; 1-е Тим. 6, 16. В целом в христианской традиции Господь устойчиво связывается со светом; однако понимание, в соответствии с которым в сиянии дня можно встретить лишь сатану (само имя которого — Люцифер — значит 'светоносный'), а Бога следует искать во мраке, также встречается (ср. у Рильке: Gott... du bist so dunkel 'Боже... ты так темен'). — *Прим. перев.*

Свет для тех, кто неспособен узреть его, все равно что тьма.

Мысль, что свет и тьма представляют собою взаимодополняющие и неотделимые друг от друга части мирового Целого, часто встречается (хотя нередко и без каких-либо иерархических импликаций) во многих религиях мира. В музее г. Оахаки хранится знаменитый медальон древних сапотеков, извлеченный из гробницы в Монте-Альбане. Он имеет форму небольшого диска, наполовину из золота, наполовину из серебра, с удивительно прямой и тонкой линией, которая делит диск пополам на два полукруга. Традиционный китайский символ инь и ян также предстает в виде диска, разделенного на две равные половины, но в качестве разделяющей линии здесь выступает змееобразная кривая (перевернутое S), и подсказываемая антитеза имеет и ряд смежных коннотаций, главные из которых могут быть обозначены на языке такими парами, как *светлый — темный*, *мужской — женский*, *жизнь — смерть* и *знание — незнание*. Трубка мира у индейцев прерий могла быть также трубкой войны, в зависимости от тех обстоятельств, в которых она ритуально выкуривалась; ведь клубы табачного дыма, ассоциируемые иконическим образом с облаками, а отсюда, с дождем, а отсюда с ростом растений и с изобилием, могут также внушить мысль о мрачных тучах, закрывающих солнце, и тем самым о суровой угрозе войны. Эти несколько парадоксов имеют между собой очевидное сходство, и в общей истории символов антитеза «свет—тьма» нередко является естественным символическим представителем других антитез.

Образ света, таким образом, исключительно подходит для роли основного имажистского символа разума: с в е т — это семантическая оболочка, а р а з у м — подлинное содержание. Органическая связь между ними выражена в древней зороастрийской поговорке, сохраненной для нас Порфирием: «Тело Ахурамазды — свет, его душа — ум». Разум есть нечто трудноуловимое и неоднозначное, и едва ли когда-нибудь будет найден адекватный метод анализа, который приведет к полному постижению его природы. Но по крайней мере одно необходимо присущее разуму свойство нам известно — его способность к разграничению. Идет ли речь об активной деятельности или о спокойном размышлении, разграничительная способность остается фундаментальной характеристикой разума, и именно эту способность *свет* символизирует прежде всего.

Когда Гаты в «Авесте», обращаясь к Божеству, называют его Ахурамазда, «Господь Свет», они создают сложный образ, сам по себе достаточно распространенный для того, чтобы считаться архетипическим. Могущественный владыка земной или небесный, естественно, погружен в свет; и обратно, свет достоин поклонения и подчинения. В слове glory ‘слава; триумф; сияние’ зафиксирована готовность древних связывать эти две идеи власти и света. Считается, что и лат. gloria и греч. doxa из Септуагинты представляют собой перевод древнееврейского слова, означавшего

«интенсивный свет». Соответственно английское слово glory не только коннотирует, подобно прилагательному glorious, высокое происхождение, но и обозначает в иконографическом контексте излучение сияния, окружающего группу религиозных персонажей — в отличие от нимба, окружающего одиночную фигуру на иконе. Свет и слава, или свет и власть, всегда стремились к объединению.

Свет и власть —это два образа-понятия, знакомые из опыта, которые являются элементами сложного архетипического образа-понятия Божества. «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы»*. Это положение Писания — одно из многих христианских утверждений, отражающих представление о свете как о символе божественности. В богословии образ-понятие света развился в абстрактную идею всеведения, а образ-понятие власти — в абстрактную идею всемогущества. Хотя идеи всеведения и всемогущества непостижимы с точки зрения человека и, возможно, внутренне противоречивы со строго логической точки зрения, это не уменьшает их символическую значимость. Мифологические понятия света и власти и богословские понятия всеведения и всемогущества выполняют примерно сходные семантические функции.

В мифологические времена идея власти была ближе к идее отцовства, чем сегодня, и концепция Бога-отца, хотя и не универсальна, распространена очень широко. Зевс был отцом многочисленных потомков, в большинстве случаев внебрачных, и, в общем, его поведение как архетипического родителя вполне подтверждало учтивое замечание Аристотеля: «Было бы весьма странно, если бы кто-нибудь любил Зевса». Тем не менее во многих частях Греции были храмы, посвященные Зевсу, и были такие, кто ему поклонялся. Более того, филологические данные свидетельствуют о том, что именно его отцовство почиталось достойным поклонения. Так, имеются доантичные указания на то, что вокативная форма Zeu peter (Отец Зевс, параллельно лат. Ju-piter и санскр. Dyau-piter) употреблялась в роли прямого обращения. Концепция Бога как строгого, но любящего отца в христианском смысле не была принята настолько широко, чтобы рассматривать ее как архетипическую; но отцовство в том или другом понимании, не обязательно имплицирующем высокие моральные качества или привлекательность, представляет собой архетипический религиозный символ.

Существует достаточно общая связь этой группы символов с другим архетипическим символом — Словом. Человек по своей природе и говорящий, и тот, к кому обращена речь; по мере того как увеличивается его склонность к рефлексии, диалог становится внутренним и не произносимым вслух, но от этого не менее реальным. Всякий человек, обладающий нравственным чувством, постоянно ощущает себя чьим-то адресатом — не в

---

* Цитата из Нового Завета (1-е Иоан. 1, 5). — *Прим. перев.*

том смысле, что он галлюцинирует, а в том смысле, что он внимает некоему тайному беззвучному голосу, воспринимаемому внутренним ухом. Это нечто, лежащее вне желаний, способное иногда подавить или же возбудить желание. Так, слово (Логос) имеет тенденцию стать слуховым образом, символизирующим правильность, Должное, что придает смысл суждениям морали. На первобытном уровне божественные предначертания символизируются в определенных физических звуках: таким символом часто служит порывистый ветер, а так называемый бык-ревун (трещотка, имитирующая завывание ветра) используется в некоторых индейских племенах Северной Америки и у других народов для изображения голоса призываемых и воодушевляемых им сверхъестественных сил. Часто раскат грома воспринимается естественным образом как звуковое воплощение и репрезентация божественного указания. По мере того как религии развиваются в сторону большей духовности, внешние шумы перестают играть важную роль, но слуховой образ-символ Логоса сохраняется, как об этом свидетельствует такое выражение, как «голос совести», или такое слово, как «призвание» [англ. vocation от лат. vox 'голос'].

Универсальная притягательность воды как архетипического символа связана с ее очистительной силой в соединении со свойством поддержания жизни. Тем самым вода начинает символизировать как очищение, так и начало новой жизни, и в христианском таинстве крещения обе эти идеи объединяются: используемая в этом обряде вода символически очищает от первородного греха и одновременно символизирует вступление крещаемого в новую духовную жизнь. Последний аспект особенно суггестируют такие выражения, как «вода живая» из беседы Иисуса с самарянкой у колодца (Евангелие от Иоанна, гл. IV), или эпизод из неканонического Евангелия от Евреев, в котором Святой Дух нисходит не в виде голубя, а в виде фонтана воды. За пределами христианства можно найти неограниченное число аналогичных примеров символики, связанной с водой.

Среди всех значительных архетипических символов едва ли не самым совершенным в философском отношении является «Круг» с его наиболее частой образной конкретизацией в виде «Колеса». С древнейших исторических времен круг повсеместно признается самой совершенной из фигур, как из-за своей формальной простоты, так и по причинам, изложенным в афоризме Гераклита: «В круге начало и конец совпадают»[19]. Когда круг конкретизируется как колесо, появляются два дополнительных свойства: колесо имеет спицы и вращается. Спицы колеса воспринимаются как иконический символ солнечных лучей; причем и спицы, и лучи символизируют созидательную силу, которая исходит из некоторого единого дарующего жизнь источника и воздействует на все в мире. Что касается вращения колеса, то оно имеет ту особенность, что, когда ось зафиксирована, движение спиц и обода

оказывается равномерным, — особенность, которая без труда становится символическим обозначением того закона человеческой жизни, согласно которому найти в своей душе незыблемый стержень — значит навести устойчивый порядок в своих ощущениях и действиях.

Подобно многим другим архетипическим символам, колесо потенциально амбивалентно. Оно может иметь положительную либо отрицательную значимость или иногда и ту и другую. Что касается отрицательной стороны, то на Западе колесо может символизировать рискованную игру судьбы, а на Востоке — непрекращающийся цикл умираний и возрождений, от которого тщетно искать избавления. Йога для индусов есть школа терпеливого овладения искусством делания и неделания, которое готовит человека к такому избавлению. Что до положительной стороны, то в индуистской традиции колесо, помимо символического значения, связано с дхармой, или божественным законом. В буддистской иконографии широко используется «Колесо Закона», и, согласно широко распространенной легенде, Будда совершил поворот «колеса дхармы», произнеся свою первую проповедь после того, как достиг духовного просветления под деревом бодхи (так называемую «Проповедь в Парке Оленя»). В соответствии с традиционным ритуалом китайского буддизма колесо колесницы привязывалось к столбу и его поворот направо должен был изображать солнце на его орбите и символизировать путь мирового Дао. В Тибете совершенство и справедливость мирового закона символизировались при помощи такого простого жеста, как соединение большого и среднего пальца. Тибетское молитвенное колесо имело первоначально тот же смысл (возможно, сохраняющийся для посвященных и до сего времени) вопреки тому, что позднее оно стало использоваться в чисто магических целях[20].

Особое развитие символического использования колеса обнаруживается в буддистском обычае символически обозначать чистоту неподвижного центра при помощи цветка лотоса. Колесо часто изображается имеющим лотос на конце оси, и обратно, лотос часто рисуется с исходящими от него лучами света. В действительности цветок лотоса имеет два характерных свойства, которые особенно поражали восточное воображение, — чистота его незамысловатой красоты и тайна его рождения водой. Буддизм учит, что подобно тому, как цветок лотоса возникает из темных глубин озера, чтобы явить свою красоту, и как солнце поднимается во тьме и посылает свои лучи, так и Будда исходит из «темного чрева бытия», чтобы, явив истину, рассеять тьму иллюзий (maya). В Индии колесо иногда помещается на вершину столба, играя роль иконического знака, изображающего лотос на стебле в полном цвету. Основная идея широко почитаемого памятника махаянического буддизма «Лотос истинного закона» состоит в признании непреложности божественного закона и

многообразия способов его выражения и преподавания — незыблемый центр и множество спиц или лучей божественного солнца-колеса[21].

Приведенные выше примеры символов достаточно хорошо известны; здесь ставилась цель рассмотреть их как продолжение и фиксацию метафорической деятельности. Мышление не может в сколько-нибудь значительной степени обходиться без языка, а язык без метафорической деятельности, явной или скрытой; превращение тех или иных метафор в создающие напряжение символы — естественная фаза описанного процесса. Если любой конкретный символ — Крест, Флаг, или Божественный Отец, или акт коленопреклонения — может быть подвергнут скептическому рассмотрению и быть отвергнут как затасканный, или как ненужный, или как связанный с одиозными идеями и установками, то отвергнуть все символы значило бы в конечном счете отвергнуть самые язык и мышление. Когда стремящийся к прямому способу выражения мыслитель делает попытку избавиться от символического и метафорического образа мысли, единственное, на что он может на самом деле надеяться, — это ограничиться теми символами и окаменевшими метафорами, которые уже стали привычными стереотипами повседневной жизни. Человек не выбирает между символическим и несимволическим мышлением, он может либо свести свои мысли и чувства к расхожим смыслам, обозначаемым при помощи конвенциональных символов, либо научиться мыслить так, чтобы создавать более живое напряжение. «Бог, говорящий устами дельфийского оракула, — по словам Гераклита, — не сообщает и не утаивает, он подает знаки». Символы Т-языка могут намекать на объекты такой природы, что при использовании прямолинейных методов неизбежно игнорируются или же искажаются. Поскольку действительность является текучей и более или менее парадоксальной, стальные сети не лучшее средство, чтобы черпать из нее.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Chuang Tzu. Mystic, Moralist and Social Reformer. Translated from the Chinese by H. A. Giles. Shangai, 1926, ch. III.

[2] Ср.: The Burning Fountain. Indiana Univ. Press, 1954, p. 93—94, 106—112.

[3] Понимание, в соответствии с которым Стивенс отождествляет метафору с метаморфозой, получило развитие в его кн.: Stevens W. The Necessary Angel. Knopf, 1951 (особ. на с. 117—118): «Поэзия... большей частью возникает едва ли не как результат использования фигур речи, или, что то же самое, как результат воздействия одного воображения на другое через посредство метафоры. Отождествление метафоры и метаморфозы — это просто сокращенный способ выражения данного утверждения». Дальнейшее развитие темы метаморфозы как элемента, составляющего существо всякой поэзии, и как метода, сознательно используемого в значительной части современной поэзии, содержится в кн.: Quinn M. Bernetta. The Metamorphic Tradition in Modern Poetry. Rutgers Univ. Press, 1955.

[4] См.: Аристотель. Поэтика, гл. 21, 22; Риторика, кн. 3, гл. 2, 4, 9, 11.

[5] Henle P. Metaphor. — In: "Language, Thought and Culture", ed. by P. Henle. Univ. of Michigan Press, 1958, ch. VII.

[6] Hulme T. E. Autumn. Цитируется по кн.: "Canzoni and Ripostes of Ezra Pound / whereon are appended the complete poetical works of T. E. Hulme. London, 1913; Wilbur R. Things of This World. Harcourt, Brace, 1956. Египетские стихи были мною найдены вместе с цитированными ниже, см. примеч. 13.

[7] The Collected Poems of Dylan Thomas. New Directions, 1939, 1953. Стихотворение ацтекского поэта опубликовано в кн.: Richardson I. Fireflies in the Night. — In: "A Study of Ancient Mexican Poetry and Symbolism". Faber and Faber, 1959, p. 18; стихотворение Йитса цитируется по изд.: The Collected Poems of W. B. Yeats. Macmillan, amplified edition, 1950.

[8] "In a Station in the Metro". Цитируется по кн.: Pound E. Selected Poems, ed. by T. S. Eliot. Faber and Gwyer, 1928, p. 89. Стихотворение из двух строчек должно прочитываться в контексте, задаваемом полностью отличными предшествующим и последующим стихотворением.

[9] Eliot T. S. The Metaphysical Poets. — In: Eliot T. S. Selected Essays, 1917—1923. Harcourt, Brace, 1932, p. 247.

[10] Jordan E. Essays in Criticism. Univ. Chicago Press, 1952, p. 113, 117, 124; ср. на с. 216: «Поэтому метафора представляет собой конституирующий элемент стихотворения, и она выполняет эту роль благодаря свойствам, появляющимся у ее компонентов через посредство связей, которые она устанавливает между ними».

[11] Stevens W. Thirteen Ways of Looking at a Blackbird. Цитируется по кн.: The Collected Poems of Wallace Stevens. Knopf, 1957.

[12] Auden W. H. The Fall of Rome. Цитируется по кн.: Nones. Random House, 1951, p. 32—33.

[13] Англ. перевод см. в кн.: Erman A. The Literature of the Ancient Egyptians, translated by A. M. Blackman. Methuen, 1927, p. 1—10. Другой англ. перевод см. в кн.: Mayer J., Prideaux T. Never to Die The Egyptians in their Own Words (Viking, 1938), p. 69—71.

[14] The Poems of Richard Aldington. Doubleday, Doran, 1928, 1934.

[15] Warren R. P. Pursuit. Цитируется по кн.: Selected Poems, 1923—1943. Harcourt, Brace, 1944.

[16] Van Gennep A. The Rites of Passage. University of Chicago Press, 1960.

[17] Mayer P. Never to Die. The Egyptians in their Own Words. Viking, 1938.

[18] Driver G. R. Semitic Writing from Pictograph to Alfabet. London, 1948.

[19] Буквальный перевод изречения Гераклита: «В круге начало и конец принадлежит всему». Но слово ξυνός, помимо значения 'принадлежащий всему', несет оттенок ξυν νῷ' 'обладающий здравым смыслом'.

[20] См.: Soothill W. E. The Three Religions of China. Oxford Univ. Press, 1923. В этой книге ламаистское молитвенное колесо рассматривается как «гротескная форма возвышенного представления Будды о Колесе Закона, катящемся вперед и подобно солнцу освещающем мир»; см.: Williams Ch. A. S. Outlines of Chinese Symbolism. Peiping, 1931: «Вращение колеса закона, вероятно, связывалось с ведийским обрядом поклонения солнцу, в котором колесо колесницы прикреплялось к столбу и вращалось вправо, то есть в том же направлении, что и Универсальный Закон, управляющий движением солнца». Ср.: Dale Saunders E. Mudra. Bollingen Series XLVIII. Pantheon Books, 1958.

[21] Eliot Ch. Hinduism and Buddhism. London, 1921 (Vol. II, p. 52; Vol. III, p. 438); Hari Singh Gour. The Spirit of Buddhism. London, 1929, p. 166; Hackmann H. Buddhism as a Religion. London, 1910, p. 194; Burlingame E. W. Buddhist Parables. Yale Univ. Press, 1922; Williams Ch. A. S. Encyclopaedia of Chinese Symbols and Art Motives. New York, Julian Press, 1960 (entries "Lotus" and "Wheel of the Law").

РОМАН ЯКОБСОН

ДВА АСПЕКТА ЯЗЫКА И ДВА ТИПА АФАТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ

I

АФАЗИЯ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Если афазия, как следует из самого термина, есть речевое расстройство, то любое описание и классификация афатических синдромов должны начинаться с постановки вопроса о том, какие именно языковые аспекты нарушаются при разнообразных нарушениях подобного рода. Данная проблема, поставленная очень давно Хьюлингсом Джексоном [17], не может быть решена без участия профессиональных лингвистов, компетентных в вопросах строения и функционирования языка. Для адекватного исследования любого нарушения коммуникации мы должны прежде всего понять природу и структуру того конкретного блока коммуникации, который прекратил функционировать. Лингвистику интересует язык во всех аспектах — в нормальном функционировании, в латентном состоянии (language in drift) [31], в стадии возникновения и в стадии распада.

В настоящее время психопатологи придают огромное значение лингвистическим проблемам, встающим при изучении языковых нарушений[1]; некоторые из этих вопросов были затронуты в лучших недавних трудах, посвященных афазии [25]; [10]; [28]. И все же в большинстве случаев настоятельная необходимость участия лингвистов в исследовании афазии все еще игнорируется. Так, автор одной новой книги, которая в значительной степени посвящена сложным и запутанным проблемам детской афазии, ратует за взаимодействие разнообразных научных дисциплин и призывает к взаимному сотрудничеству отоларингологов, педиатров, аудиологов, психиатров и педагогов, однако наука о языке при этом обходится молчанием, как будто расст-

---

R. O. Jakobson. Two aspects of language and two types of aphasic disturbances. Впервые опубликовано в книге: Halle M., Jakobson R. Fundamentals of Language. — "Janua Linguarum", Mouton Publishers', — Gravenhage, 1956, p. 55—82. Перепечатано в собрании трудов Р.Якобсона: Jakobson R. Selected Writings, vol. 2. Word and Language. The Hague — Paris, Mouton Publishers, 1971, p. 239—259.

ройства речевого восприятия вовсе не имеют никакого отношения к языку [27]. Это упущение тем более прискорбно, что автор книги — директор Клиники детской аудиологии и афазии при Северо-Западном университете (шт. Иллинойс), где из лингвистов работает Вернер Ф. Леопольд — безусловно, лучший американский специалист по детской речи.

Лингвисты также несут ответственность за задержку в проведении объединенных исследований афазии. Ничего сравнимого с детальными лингвистическими наблюдениями над языком детей, проведенными в разных странах мира, не предпринималось в отношении афатиков; не было и попыток осмысления и систематизации с точки зрения лингвистики множества клинических данных по разным типам афазии. Такое положение дел представляется тем более удивительным, что, с одной стороны, поразительные достижения структурной лингвистики предоставляют исследователю эффективные инструменты и методы для изучения речевых расстройств, а, с другой стороны, распад речевых моделей по типу афазии может открыть лингвисту общие законы языка в новом освещении.

Применение чисто лингвистических критериев к интерпретации и классификации фактов афазии может внести существенный вклад в науку о языке и языковых отклонениях, если лингвисты сохранят при обращении с психологическими и неврологическими данными всю точность и осторожность, присущие им в их традиционной области. Прежде всего, они должны быть знакомы со специальными терминами и приемами отраслей медицины, связанных с афазией; далее, им следует подвергать клинические истории болезни тщательному лингвистическому анализу и, наконец, самим поработать с пациентами-афатиками для того, чтобы непосредственно наблюдать картину заболеваний, а не заниматься исключительно интерпретациями готовых отчетов, составленных и осмысленных с совсем иных позиций.

Существует некоторый уровень афатических явлений, относительно которого в течение последних двадцати лет было достигнуто удивительное единогласие между теми психиатрами и лингвистами, которые занимались этой проблематикой, — именно распадение фонологической системы (sound pattern)[2]. Это нарушение обнаруживает четкую регулярность в своем развитии. Афатическое расстройство оказывается как бы зеркалом усвоения ребенком звуков речи, оно ретроспективно выявляет развитие ребенка. Более того, сравнение детского языка и случаев афазии дает нам возможность устанавливать некоторые импликативные законы. Подобный поиск порядка усвоений и потерь и общих импликативных законов не может ограничиваться фонологической структурой, а должен быть распространен и на грамматическую систему. В этом направлении были осуществлены лишь немногочисленные пробные шаги, но такие попытки, безусловно, заслуживают продолжения[3].

II

ДВОЙСТВЕННАЯ ПРИРОДА ЯЗЫКА

Речь предполагает о т б о р определенных языковых единиц и их к о м б и н и р о в а н и е в языковые единицы более высокой степени сложности. На лексическом уровне это совершенно очевидно: говорящий выбирает слова и комбинирует их в предложения в соответствии с синтаксической системой используемого языка; предложения в свою очередь объединяются в высказывания. Однако говорящий ни в коей мере не свободен полностью в выборе слов: этот выбор (за исключением редких случаев создания спонтанных неологизмов) должен осуществляться на основе лексического запаса, общего для него и для его адресата. Специалист по теории информации максимально приближается к адекватному пониманию речевого события тогда, когда предполагает, что при оптимальном информационном обмене говорящий и слушающий располагают более или менее одинаковым «массивом *готовых* представлений» (“filing cabinet of *prefabricated* representations”): адресант словесного сообщения отбирает одну из этих «представленных заранее возможностей», а от адресата ожидается осуществление правильного выбора тождественного элемента из того же массива «уже предвиденных и предусмотренных возможностей» [26, p. 183]. Таким образом, для эффективности речевого события требуется, чтобы его участники использовали общий код.

«“Did you say *pig* or *fig*?” said the Cat. “I said *pig*”, replied Alice». [«Вы сказали *свинья* или *инжир?*» — сказала Кошка. «Я сказала *свинья*», — ответила Алиса] (из гл. VI «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла). В данном конкретном высказывании адресат — Кошка пытается уточнить языковой выбор, сделанный ранее адресантом. В общем коде Кошки и Алисы, то есть в разговорном английском языке, различие между смычным и фрикативным согласным — при прочих равных условиях — может служить целям изменения смысла сообщения. Алиса использовала различительный признак «смычность vs. фрикативность», отвергнув вторую и выбрав первую из двух взаимоисключающих альтернатив; в том же самом речевом акте она объединила это решение с некоторыми другими синхронно проявляющимися признаками, использовав компактность и напряженность /p/ в противопоставлении к диффузности /t/ и ненапряженности /b/. Таким образом, все эти характеристики звука были объединены в пучок различительных признаков — так называемую ф о н е м у. За фонемой /p/ п о с л е д о в а л и фонемы /i/ и /g/, представляющие собой тоже пучки одновременно реализуемых различительных признаков. Тем самым с ц е п л е н и е синхронных единиц в пучки и с о п о л о ж е н и е последовательных единиц в речевой цепи суть два способа, которыми мы как говорящие объединяем языковые составляющие.

Ни пучки типа /p/ или /f/, ни последовательности пучков типа /pig/ или /fig/ не изобретаются говорящим, который их использует. Ни различительный признак «смычность vs. фрикативность», ни фонема /p/ не могут проявляться вне языкового контекста. Признак смычности проявляется в комбинации с некоторыми другими одновременно реализуемыми признаками, и репертуар комбинаций этих признаков в составе фонем типа /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/ и т. п. ограничен кодом данного языка. Этот код накладывает ограничения на возможные комбинации фонемы /p/ с другими последующими и/или предшествующими фонемами в речевой цепи; в лексическом фонде данного языка реально используется лишь часть допустимых фонемных цепочек. Даже при теоретической допустимости других комбинаций фонем говорящий выступает обычно только как потребитель слов, а не как их создатель. Сталкиваясь с теми или иными характерными словами, мы прежде всего предполагаем, что они принадлежат к коду. Для того чтобы понять слово nylon 'нейлон', необходимо знать смысл, приписываемый данной лексической единице в лексическом коде современного английского языка.

В любом языке существуют также кодифицированные словесные группы, называемые ф р а з е м а м и (фразеологическими сочетаниями) (phrase-words). Смысл идиомы how do you do 'здравствуйте' не может быть получен посредством объединения смыслов ее лексических составляющих; здесь целое не равно сумме его частей. Такие словесные группы, которые в определенном смысле ведут себя как отдельные слова, представляют вполне обычное, хотя и маргинальное явление. Для понимания подавляющего большинства словосочетаний нам необходимо знать лишь составляющие их слова и синтаксические правила их комбинирования. В пределах данных ограничений мы вольны помещать слова в новые контексты. Разумеется, такая свобода относительна, и распространенные речевые штампы оказывают на наш выбор словесных комбинаций весьма значительное влияние. Однако, несмотря на относительно низкую встречаемость таких словосочетаний в тексте, свобода создания совершенно новых контекстов неоспорима.

Таким образом, в комбинировании языковых единиц при переходе от низших уровней языка к высшим, возрастает шкала свободы. При объединении различительных признаков в фонемы свобода индивидуального говорящего равна нулю; инвентарь всех возможностей данного языка здесь жестко задается его кодом. Свобода комбинирования фонем в слова весьма ограничена, она сводится к маргинальной ситуации создания неологизмов. При построении предложений из слов говорящий ограничен в меньшей степени. И наконец, при комбинировании предложений в высказывания, в целостные тексты кончается действие обязательных синтаксических правил и резко возрастает свобода

любого индивидуального говорящего создавать новые контексты, хотя и здесь нельзя игнорировать значимость многочисленных стереотипных высказываний.

В каждом языковом знаке обнаруживается два вида операций.

1) Комбинация. Любой знак состоит из составляющих знаков и/или встречается только в комбинации с другими знаками. Это означает, что любая языковая единица одновременно выступает и в качестве контекста для более простых единиц и/или находит свой собственный контекст в составе более сложной языковой единицы. Поэтому любая реальная группировка языковых единиц связывает их в единицу высшего порядка: комбинация и контекстная композиция (contexture) являются двумя сторонами одной и той же операции.

2) Селекция. Выбор между альтернативами предполагает возможность замены одной альтернативы на другую, эквивалентную первой в одном отношении и отличную от нее в другом. Тем самым селекция и субституция являются двумя сторонами одной и той же операции.

Фундаментальная роль этих двух операций в языке была ясно понята Фердинандом де Соссюром. Тем не менее из двух разновидностей комбинации — сцепление и соположение (concurrence and concatenation) — лишь вторая, то есть временнáя последовательность единиц, была по-настоящему признана женевским лингвистом. Высказав глубокие проницательные замечания о фонеме как наборе одновременно реализуемых различительных признаков ("éléments différentiels des phonèmes"), ученый остался тем не менее в сетях традиционного убеждения о сугубо линейном характере языка, который исключает возможность одновременного произнесения двух элементов [33, р. 68 и сл., 170 и сл.].

Для разграничения двух видов лингвистических операций, которые мы определяем как комбинацию и селекцию, Ф. де Соссюр констатирует, что первая из них «существует in presentia: она обусловлена реальным присутствием двух или нескольких единиц в составе реальной языковой цепочки», тогда как вторая «соединяет единицы in absentia, как члены виртуального мнемонического ряда». Иными словами, селекция (и соответственно субституция) ведает единицами, объединяемыми в коде, но не в данном сообщении, тогда как в случае комбинации единицы объединяются и в коде и в сообщении или только в реальном сообщении. Адресат осознает, что данное высказывание (сообщение) представляет собой комбинацию составляющих частей (предложений, слов, фонем и т. п.), выбранных из хранилища всех возможных составляющих частей (кода). Составляющие части некоторого контекста находятся между собой в отношении типа смежности, тогда как в субститутивном множестве взаимоисключающих альтернатив знаки связаны отношениями разной степени сходства — от полной

эквивалентности синонимов до общего смыслового ядра антонимов.

Эти две операции наделяют каждый языковой знак двумя наборами интерпретантов (interpretants), если воспользоваться весьма полезным понятием, введенным Чарлзом Сандерсом Пирсом (см. указатель в его работе [29]): имеется два типа отсылок (references), служащих для интерпретации знака, — к коду и к контексту (кодифицированному или свободному); в каждом из этих случаев знак соотносится с другим набором языковых знаков — посредством альтернации в первом случае и посредством линеаризации во втором. Любая значимая единица может быть замещена другими, более эксплицитными знаками того же кода, посредством чего раскрывается ее общий смысл, тогда как ее контекстуальный смысл определяется ее связью с другими знаками в пределах той же речевой цепочки.

Составляющие любого сообщения необходимым образом связаны внутренним отношением с кодом и внешним отношением — с сообщением. Язык в его разнообразных аспектах ведает обоими видами отношений. Происходит ли обмен репликами, носит ли коммуникация односторонний характер (от адресанта к адресату) — для обеспечения передачи сообщения необходим тот или иной вид смежности между участниками речевого события. Разделенность в пространстве и часто во времени между двумя индивидами, адресантом и адресатом, преодолевается внутренним отношением: должна существовать определенная эквивалентность между символами, используемыми адресантом, и символами, известными адресату и интерпретируемыми им. Без такой эквивалентности сообщение бесполезно — даже если получатель сообщения воспринимает его, оно не воздействует на получателя должным образом.

III

НАРУШЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ПОДОБИЯ

Ясно, что речевые расстройства могут в разной степени поражать способность индивида к комбинации и селекции языковых единиц. В самом деле, вопрос о том, которая из этих двух операций нарушена серьезнее, необычайно важен при описании, анализе и классификации различных форм афазии. Быть может, эта дихотомия плодотворна даже в большей мере, чем классическое противопоставление (не рассматриваемое в настоящей работе) эмиссивной и рецептивной афазии, проводимое в соответствии с тем, которая из двух функций в речевом обмене — кодирование или декодирование — нарушена в большей мере.

Х. Хед предпринял попытку классификации разных случаев

афазии и каждой из выделенных им разновидностей присвоил «название, выбранное с таким расчетом, чтобы оно обозначало наиболее явный дефект во владении словами и предложениями и их понимании» [13, p. 412]. Следуя тому же принципу, мы различаем два основных типа афазии в зависимости от того, касается ли основное расстройство селекции и субституции (при относительной стабильности комбинации и контекстной композиции) или же, наоборот, нарушены в основном комбинация и контекстная композиция при относительной сохранности норм селекции и субституции. Описывая эти две противоположные модели афазии, я буду в основном пользоваться данными Голдстайна.

Для афатиков первого типа (дефект селекции) контекст является необходимым и решающим фактором. Когда такому пациенту предлагают обрывки слов или предложений, он с готовностью и легко их заканчивает. Его речь носит сугубо реактивный характер; он легко ведет беседу, но испытывает определенные трудности в самом начале диалога; он способен отвечать реальному или воображаемому адресанту, когда сам является или воображает себя адресатом сообщения. Особенно трудно для него вести и даже понимать такой замкнутый в себе вид речи, как монолог. Если его высказывания в большей степени зависят от контекста, то он лучше справляется со своей речевой задачей. Он ощущает полную неспособность произнести фразу, которая не является реакцией ни на реплику его собеседника, ни на какую-либо актуальную ситуацию. Он не может, скажем, произнести фразу *Идет дождь*, если не видит, что дождь действительно идет. Чем глубже погружено высказывание в вербальный или невербальный контекст, тем выше вероятность его успешного порождения таким пациентом.

Аналогичным образом, чем больше слово зависит от других слов данного предложения и чем теснее оно связано с синтаксическим контекстом, тем меньше на него воздействует речевое нарушение. Поэтому слова, связанные грамматическим согласованием и управлением, обладают большей цепкостью, тогда как главный синтаксический агент предложения — подлежащее — часто опускается. Поскольку труднее всего для этих пациентов начинать, ясно, что они терпят неудачу именно в отправном пункте предложения, краеугольном камне его структуры. При данном типе языковых нарушений фразы воспринимаются как некие эллиптичные производные, которые необходимо восполнять на основе предшествующих фраз, произнесенных самим афатиком, представленных им в воображении или же полученных им от партнера по диалогу, реального или воображаемого. Ключевые слова могут опускаться или замещаться абстрактными анафорическими субститутами (см. в [4] главу XV: «Субституция»). Конкретное существительное, как заметил З. Фрейд, замещается существительным с очень общим значением, например machin 'штука', chose 'вещь' в речи афатиков-французов [9, с. 22].

В диалектной немецкой разновидности «амнестической афазии», по наблюдениям Голдстайна [10, р. 246 и сл.], слова Ding 'вещь', или Stückle 'кусочек' замещали любое неодушевленное существительное, а глагол uberfahren 'выполнять, совершать' замещал любой глагол, который однозначно восстанавливался из контекста или ситуации и тем самым представлялся пациенту избыточным.

Слова с внутренней обращенностью к контексту (типа местоимений и местоименных наречий) и слова, служащие именно для конструирования контекста (типа связок и вспомогательных глаголов) особенно цепки и живучи. Примером может служить одно типичное высказывание немецкого пациента, зафиксированное Квензелем и цитируемое Голдстайном [10, р. 302]: Ich bin doch hier unten, na wenn ich gewesen bin ich wees nicht, we das, nu wenn ich, ob das nun doch, noch, ja. Was Sie her, wenn ich och ich weess nicht, we das hier war ja... ['Я ведь тут, ну, когда я был, я не знаю, как это, ну, когда я, а теперь это же, еще, да. Что Вы тут, когда я, и да ну я не знаю, как же это здесь было ...']

Таким образом, при данном типе афазии, в ее критической форме, сохраняется лишь основной каркас сообщения, его связующие звенья.

В теории языка начиная с раннего средневековья неоднократно утверждалось, что слово вне контекста вообще не обладает значением. Однако справедливость этого утверждения ограничена случаями афазии, точнее, одного типа афазии. В обсуждаемых здесь патологических случаях изолированное слово означает не более чем «трёп» (blab). Как показывают многочисленные тесты, для подобных пациентов два вхождения одного и того же слова в два разных контекста представляются простыми омонимами. Поскольку различающиеся по форме лексические единицы несут большее количество информации, чем омонимы, некоторые афатики данного типа склонны заменять контекстные варианты слова другими способами выражения, каждое из которых специфично для соответствующего окружения. Так, один пациент Голдстайна никогда не произносил слово knife 'нож' отдельно, но, в соответствии с использованием предмета в той или иной ситуации, называл нож по-разному: pencil-sharpener букв. 'карандашный точильщик', apple-parer букв. 'яблочный чистильщик', bread knife 'хлебный нож', knife-and-fork 'нож-и-вилка' [10, р. 62]; таким образом, слово knife превратилось из с в о б о д н о й ф о р м ы, способной к изолированному употреблению, в с в я з а н н у ю ф о р м у.

Вот другой пример высказывания пациента, приведенный Голдстайном: I have a good apartment, entrance hall, bedroom, kitchen. There are also big apartments, only in the rear live bachelors 'У меня хорошая квартира, прихожая, спальня, кухня. Есть также большие квартиры, только в задней части живут

холостяки'. Можно было бы заменить слово bachelors 'холостяки' словесной группой unmarried people 'неженатые люди', однако говорящий выбрал именно однословный способ выражения. Когда его несколько раз спросили, что такое bachelor, пациент не отвечал и «явно испытывал страдания» [10, p. 270]. Ответ типа a bachelor is an unmarried man 'холостяк — это неженатый мужчина' или an unmarried man is a bachelor 'неженатый мужчина — это холостяк' демонстрировал бы способность к предикации тождества и тем самым к проецированию субституционального множества из лексического кода английского языка на контекст данного сообщения. Эквивалентные выражения становятся двумя соотносимыми частями предложения и тем самым связываются по смежности. Пациент был способен выбрать нужное слово bachelor, когда оно было поддержано контекстом привычного разговора о bachelor apartments 'холостяцких квартирах', но оказался не в состоянии использовать субститутивную пару bachelor = unmarried man в качестве темы предложения, в силу нарушения способности к автономному выбору и субституции. Предложение тождества, которое тщетно пытались получить от пациента, в качестве своей информации выражает лишь следующее: "bachelor" means an unmarried man '«холостяк» означает неженатый мужчина' или an unmarried man is called «bachelor» 'неженатый мужчина называется «холостяк»'.

Аналогичная трудность возникает в том случае, когда пациента просят назвать предмет, на который указывает или которым манипулирует исследователь. Афатик с дефектом субституции не соотносит указательного жеста или манипуляций исследователя с названием соответствующего предмета. Вместо того чтобы сказать this is [called] a pencil 'это [называется] карандаш', он просто сделает эллиптическое замечание об использовании предмета: To write '(Чтобы) писать'. Если представлен один из синонимичных знаков (как в случае слова bachelor или указания на карандаш), то другой знак (например, словосочетание unmarried man или слово pencil) становится избыточным и, следовательно, излишним. Для афатика оба знака находятся в дополнительной дистрибуции: если один знак продемонстрирован исследователем, пациент уклоняется от демонстрации другого, реагируя, как правило, такими фразами, как англ. I understand everything 'Я все понимаю' или нем. Ich weiss es schon 'Я уже это знаю'. Аналогичным образом изображение предмета вытесняет его название: словесный знак подавляется изобразительным знаком. Когда пациенту Лотмара было показано изображение компаса, он отвечал так: Yes, it's a ... I know what it belongs to, but I cannot recall the technical expression... Yes direction... to show direction ... a magnet points to the north 'Да, это ... Я знаю, к чему это относится, но я не могу вспомнить специального выражения ... Да ... направление ... показывать направление ... магнит показывает на север' [24, S. 104]. Таким

пациентам, как сказал бы Пирс, не дается переход от индекса или иконического знака к соответствующему словесному символу (см. статью "The icon, index and symbol" в [29, т. II]).

Даже простое повторение слова, произнесенного исследователем, кажется пациенту ненужным и излишним, и, вопреки просьбам исследователя, он не способен к такому повторению. Когда пациента Хеда попросили повторить слово no 'нет', он ответил: No, I don't know how to do it 'Нет, я не знаю, как это сделать'. Спонтанно использовав слово в контексте своего ответа (No, I don't ...), он не смог справиться с простейшей формой тождественной предикации — тавтологией вида $a = a$: no есть no.

Одна из важных заслуг символической логики перед наукой о языке состоит в особом выделении разграничения между языком-объектом и метаязыком. Как указывает Карнап, «чтобы говорить *о* любом *языке-объекте*, мы должны располагать некоторым *метаязыком*» [5, p. 4]. Для этих двух различных уровней языка мы можем использовать один и тот же языковой инвентарь; так, мы можем говорить на английском языке (в качестве метаязыка) об английском языке (в качестве языка-объекта) и интерпретировать английские слова и предложения с помощью английских синонимов, описательных оборотов и парафраз. Очевидно, что подобные операции, которые в логике называются метаязыковыми, отнюдь не являются изобретением логиков: ни в коей мере не замыкаясь в сфере науки, они составляют неотъемлемую часть нашей обычной языковой деятельности. Участники диалога нередко проверяют, используют ли они один и тот же код. «Понятно ли вам? Понимаете ли вы, что я имею в виду?» — спрашивает один, а слушающий сам может прервать речь собеседника вопросом: «Что вы хотите этим сказать?» В таком случае, заменяя сомнительный знак другим знаком из того же языкового кода или целой группой знаков кода, отправитель сообщения стремится сделать его более доступным для декодировщика.

Интерпретация одного языкового знака посредством других, в ряде отношений однородных знаков того же языка представляет собой метаязыковую операцию, играющую также существенную роль в усвоении языка детьми. Недавно проведенные наблюдения выявили значимость той роли, которую играет язык в речевом поведении дошкольников. Обращение к метаязыку необходимо как для усвоения языка, так и для его нормального функционирования. Афатический дефект «способности номинации» представляет собой утрату метаязыка в собственном смысле. В сущности, цитированные выше примеры предикации тождества, осуществления которой тщетно пытались добиться от пациентов, есть металингвистические пропозиции, относящиеся к языку-объекту. Их эксплицитное выражение можно представить таким

образом: «В используемом нами коде имя указываемого объекта *карандаш*»; или: «В используемом нами коде слово *холостяк* и словосочетание *неженатый мужчина* эквивалентны».

Такой афатик не может перейти от слова ни к его синонимам и синонимичным оборотам, ни к его гетеронимам, то есть эквивалентным выражениям в других языках. Утрата способности к изучению языков и ограниченное владение одной диалектной разновидностью языка представляет собой симптоматическую манифестацию этого расстройства.

Согласно одному старому, но постоянно возрождаемому предрассудку, единственной конкретной языковой реальностью считается языковая деятельность отдельного индивида в конкретное время, называемая идиолектом. Против такой точки зрения выдвигались следующие возражения:

«Каждый, кто начинает разговаривать с новым для него собеседником, старается — осознанно или невольно — нащупать общий словарь: стремясь либо расположить адресата, либо попросту быть им понятым, либо заставить его высказаться, говорящий пользуется словами, понятными его адресату. В языке отсутствует такое явление, как частная собственность: в нем все обобществлено. Обмен словесными сообщениями, как и любая другая форма общения, требует по меньшей мере двух коммуникантов, а тем самым идиолект оказывается явно превратным вымыслом» [130, p. 15].

Это утверждение нуждается, однако, в оговорке: для афатика, утратившего способность кодового переключения, единственной языковой реальностью является его собственный «идиолект». Коль скоро он воспринимает речь собеседника как некое сообщение, адресованное ему и ориентированное на его собственную языковую систему, он ощущает растерянность, которая отчетливо передана в словах пациента, поведение которого описано в работе [14]: «Я слышу вас очень хорошо, но я не могу понять, что вы говорите... Я слышу ваш голос, но не слова... Они как-то не выговариваются». Он воспринимает высказывание собеседника либо как непонятную тарабарщину, либо как речь на незнакомом языке.

Как отмечалось выше, составляющие контекста объединяются в силу внешнего отношения смежности, а в основе субституционального множества альтернатив лежит внутреннее отношение подобия. Поэтому для афатика с нарушенной субституцией и незатронутой контекстной композицией операции, предполагающие подобие, подчиняются операциям, основанным на смежности. Можно предположить, что в таких условиях любая группировка слов по смыслу будет регулироваться скорее пространственной или временно́й смежностью соответствующих объектов, чем их сходством. И в самом деле, эксперименты Голдстайна подтверждают подобное ожидание: пациентка данного типа в ответ на просьбу перечислить несколько названий животных располо-

жила их в той последовательности, в какой она их видела в зоопарке; подобным же образом, несмотря на предписания располагать предметы в соответствии с их цветом, размером и формой, она группировала их на основе их пространственной смежности как предметы домашнего обихода, канцелярские принадлежности и т. п. и обосновывала подобные группировки ссылкой на расположение предметов в витрине, где «совершенно не имеет значения то, каковы сами вещи», то есть они не обязаны быть похожими [10, р. 61 и сл., 263 и сл.]. Та же пациентка охотно называла цвета отчетливо окрашенных предметов, но отказывалась распространять эти названия на переходные случаи [там же, с. 268 и сл.], так как для нее слова не обладали способностью выражать дополнительные, смещенные значения, ассоциируемые по признаку подобия с их основными значениями.

Следует согласиться с наблюдением Голдстайна, что пациенты этого типа «воспринимали слова в их буквальном значении, но были неспособны понять метафорический характер тех же самых слов» [там же, с. 270]. Однако предположение о том, что для таких пациентов образная речь полностью недоступна, было бы необоснованным обобщением. Из двух полярных фигур речи — метафоры и метонимии — последняя, основанная на смежности объектов, широко используется афатиками с расстройством селективных способностей. В их речи «вилка» заменяет «нож», «стол» — «лампу», «курить» — «трубку», «есть», «пища» — «тостер» или «подрумяниваемый хлеб». Типичный случай отмечен Хедом: «Когда пациенту не удавалось вспомнить название черного цвета, он описывал его как What you do for the dead 'То, что вы делаете для покойника'; это он сокращал до одного слова dead 'покойник'» [13, р. 198].

Подобные случаи метонимии можно характеризовать как проекции с оси обиходного контекста на ось субституции и селекции: один знак (например, «вилка»), который обычно встречается вместе с другим знаком (например, с «ножом»), может быть употреблен вместо этого последнего. Словосочетания типа *нож и вилка*, *настольная лампа*, *курить трубку* стимулировали метонимические замены — *вилка*, *стол*, *курить*; отношение между употреблением некоторого предмета (подрумяненного ломтика хлеба) и его изготовлением лежит в основе метонимической замены — *есть* вместо *тостер*. «Когда носят черную одежду?» — «Когда оплакивают покойника»; и вот вместо наименования цвета называется причина его типового использования. Отход от тождества к смежности особенно впечатляет в реакциях одного пациента Голдстайна, который склонен был давать метонимические ответы на просьбу повторить то или иное слово и отвечал, например, в ответ на слово *окно* — *стекло*, а в ответ на слово *Бог* — *небеса* [10, р. 280].

Если способность к селекции серьезно нарушена, а способность комбинирования сохранена по крайней мере частично, то

общее языковое поведение пациента определяется именно смежностью, почему мы и можем назвать этот тип афазии нарушением отношения подобия.

IV

НАРУШЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ СМЕЖНОСТИ

Начиная с 1864 г. в новаторских работах Хьюлингса Джексона, внесшего существенный вклад в исследование языка и речевых расстройств, неоднократно повторялись следующие важные мысли:

«Недостаточно утверждать, что речь состоит из слов. Она состоит из слов, соотносящихся друг с другом некоторым особым образом; без подобного соотношения составных частей высказывания оно представляло бы собой всего лишь последовательность знаков, не воплощающую в себе никакого суждения» [15, p. 66].

«Потеря речи есть потеря способности формировать суждения... Лишение дара речи вовсе не означает полной бессловесности» [16, p. 114].

Расстройство способности формирования суждений, или, в общем плане, комбинирования простых языковых сущностей в сложные единицы, практически сводится к особому типу афазии, противоположному тому, который был рассмотрен в предыдущей главе. Этот тип не предполагает бессловесности потому, что сохраняемой в большинстве подобных случаев сущностью является именно слово, которое можно определить как наивысшую из языковых единиц, кодируемых в обязательном порядке; иными словами, мы составляем фразы и высказывания на основе словарного запаса, предоставляемого нам кодом.

При афазии, связанной с нарушением контекстной композиции, которую можно было бы назвать нарушением отношения смежности, ограничиваются длина фраз и разнообразие их типов. Утрачивается владение синтаксическими правилами, регулирующими объединение слов в более крупные единицы; вследствие этой утраты, называемой аграмматизмом, фраза перерождается в простое «словесное нагромождение», если воспользоваться образом Джексона [15, p. 48—58]. Порядок слов становится хаотичным; разрушаются синтаксические связи, как сочинительные, так и подчинительные, будь то согласование или управление. Как и можно ожидать в подобных случаях, слова, наделенные чисто грамматическими функциями, типа союзов, предлогов, местоимений и артиклей, исчезают в первую очередь, что порождает так называемый «телеграфный стиль», тогда как в случае нарушения отношения подобия они обладают наибольшей выживаемостью. Чем меньше слово грамматически зависит от контекста, тем сильнее его сопро-

тивляемость исчезновению в речи афатиков с нарушением отношения смежности и тем скорее оно утрачивается пациентами, страдающими нарушением отношения подобия. Так, «ядерное субъектное слово» первым опускается во фразе в случаях нарушения подобия, а при противоположном типе афазии оно, наоборот, в наименьшей степени подлежит разрушению.

При афазии, поражающей контекстную композицию, у пациентов наблюдается склонность к инфантильным однофразовым высказываниям и к однословным фразам; удается устоять лишь небольшому количеству более длинных, стереотипных, «готовых» клишированных фраз. В далеко зашедших случаях этой болезни каждое высказывание сокращается до одной однословной фразы. Тем не менее при распаде контекстной композиции операция селекции сохраняется. «Сказать, чем является та или иная вещь, — значит сказать, на что она похожа», — замечает Джексон [16, p. 125]. Пациент, ограниченный в своих языковых возможностях рамками субституционального множества (при недостаточности контекстной композиции), обращается к признакам подобия между предметами; производимые им приблизительные отождествления носят метафорический характер — в отличие от метонимических отождествлений, характерных для противоположного типа афазии. Употребления типа spyglass 'подзорная труба' вместо microscope 'микроскоп' или fire 'огонь' вместо gaslight 'газовая лампа' представляют собой типичные примеры подобных квазиметафорических выражений, как именует их Джексон, ибо в отличие от метафор риторики или поэзии они не предполагают намеренного переноса значения слова.

В нормально действующей языковой системе слово является в одно и то же время и составной частью налагаемого контекста, то есть предложения, и самим контекстом, налагаемым на меньшие составляющие, морфемы (минимальные единицы, наделенные значением) и фонемы. Мы уже рассмотрели эффект нарушения смежности, выказывающийся при комбинации слов в более крупные единицы. Отношение между словом и его составляющими отражает то же самое нарушение, однако несколько по-иному. Типичным признаком аграмматизма является распад словоизменения; вместо ряда личных глагольных форм употребляется такая немаркированная категория, как инфинитив, а в языках со склонением — номинатив вместо всех косвенных падежей. Эти дефекты объясняются отчасти распадом управления и согласования, отчасти утратой способности разлагать слово на основу и флексию. Наконец, в парадигме слова (в частности, в множествах падежных форм типа he — his — him 'он — его — ему' или временных форм типа he votes — he voted 'он голосует — он голосовал') представлено одно и то же семантическое содержание, модифицированное в разных членах парадигмы по ассоциации смежности; тем самым здесь для афатиков

с нарушением отношения смежности проявляется еще один стимул игнорировать различия между членами подобных множеств.

Аналогичным образом, слова, образованные от одного корня, типа grant — grantor — grantee 'даровать' — 'даритель' — 'тот, кому нечто дарится', как правило, семантически соотносятся по смежности. Пациенты, страдающие указанной формой афазии, либо склонны игнорировать производные слова, либо не способны расчленять производное слово на корень и словообразовательный суффикс или сложное слово на составляющие его основы. Нередко в литературе упоминались такие пациенты, которые понимали и произносили сложные слова типа Thanksgiving 'День благодарения [праздник в США]', или Battersea [англ. топоним], но были неспособны понять или произнести слова thanks и giving или batter и sea. Коль скоро общая идея словопроизводства еще остается, словообразовательные средства тем самым используются в коде для построения новообразований, но все же при этом можно наблюдать тенденцию к излишнему упрощению и автоматизму; если производное слово представляет семантическое единство, которое не может быть полностью выведено из значения компонентов, то общий образ слова, или г е ш т а л ь т, интерпретируется неправильно. Так, русское слово *мокрица* русскоязычный афатик интерпретировал как 'что-то мокрое', например, 'мокрая погода', исходя из корня *мокр-* и суффикса *-иц(а)*, обозначающего носителя некоторого свойства, как в словах *нелепица*, *светлица*, *темница*.

Перед второй мировой войной, когда фонология еще была ареной наиболее яростных споров в науке о языке, некоторые лингвисты выражали сомнения в том, что фонемы действительно играют автономную роль в нашем языковом поведении. Было выдвинуто предположение, что значимые (с и г н и ф и к а т и в н ы е) единицы языкового кода, такие, как морфемы или (скорее) слова, представляют собой минимальные сущности, с которыми мы оперируем реально в речевом событии, тогда как чисто д и с т и н к т и в н ы е единицы типа фонем — это всего лишь искусственные конструкты, предназначенные для облегчения научного описания и анализа языка. Эта точка зрения, заклейменная в свое время Э. Сепиром как «антиреалистическая» [32, p. 46 и сл.], оказывается, однако, совершенно справедливой по отношению к определенному патологическому типу: в одной разновидности афазии, которая иногда именовалась в литературе «атактической», слово остается единственной сохраняющейся языковой единицей. Пациент, страдающий такой формой афазии, обладает лишь интегральным нечленимым образом каждого знакомого ему слова; что касается прочих звуковых цепочек, то они либо остаются чужды и непостижимы для него, либо преобразуются им в знакомые слова, невзирая на очевидные фонетические отклонения. Один из пациентов Голдстайна «воспринимал некоторые слова, но ... гласные и согласные, из которых они состояли,

не были им воспринимаемы» [10, р. 218]. Один франкоязычный афатик распознавал, понимал, повторял и самопроизвольно произносил слово café 'кофе' или pavé 'мостовая', но был неспособен усвоить, различить или повторить такие бессмысленные звуковые цепочки, как féca, faké, kéfa, pafé. Ни одна из подобных трудностей не встает перед нормальным франкоязычным слушающим, если предъявляемые звуковые цепочки или их компоненты удовлетворяют требованиям фонологической системы французского языка. Такой франкоязычный информант может даже воспринять эти цепочки как такие слова, которые ему не известны, но потенциально принадлежат к французскому словарю и предположительно разнятся по смыслу, поскольку они отличаются друг от друга либо порядком составляющих фонем, либо самими фонемами.

Если афатик становится неспособным расчленять слова на их фонемные составляющие, то у него ослабляется контроль над их порождением, что создает предпосылки для возникновения ощутимых изъянов во владении фонемами и их сочетаниями. Постепенный распад фонологической системы у афатика зеркальным образом отражает порядок усвоения фонологической системы детьми. Этот распад включает рост и обесценение омонимов и сокращение словаря. Если эта двойная — фонологическая и словарная — несостоятельность прогрессирует и дальше, то последними остаются в речи пациента однофонемные, однословные, однофразовые высказывания: пациент деградирует до уровня начальных фаз языкового развития детей или даже их доязыкового состояния; он приходит к полной афазии (aphasia universalis), то есть к полной утрате способности к речевой деятельности.

Разделение двух функций, дистинктивной (различительной) и сигнификативной, является специфической характеристикой языка по сравнению с другими семиотическими системами. Между этими двумя уровнями языка возникает конфликт в том случае, если у афатика, страдающего изъянами в контекстной композиции, обнаруживается склонность к отмене иерархии языковых единиц и сведению их шкалы к одному уровню. Последний остаточный уровень — это либо класс сигнификативных значимостей, уровень с л о в а, как в рассмотренных выше случаях, либо класс дистинктивных значимостей — уровень ф о н е м ы. В последнем случае пациент все еще способен идентифицировать, различать и воспроизводить фонемы, но утрачивает способность осуществлять те же операции со словами. В промежуточном случае слова идентифицируются, различаются и воспроизводятся; в соответствии с тонкой формулировкой Голдстайна, они «могут быть восприняты как знакомые, но не могут быть поняты» [10, р. 90]. В этом случае слово теряет свою обычную сигнификативную функцию и приобретает функцию чисто «дистинктивную», которая обычно свойственна фонеме.

V

МЕТАФОРИЧЕСКИЙ И МЕТОНИМИЧЕСКИЙ ПОЛЮСЫ

Формы афазии многочисленны и разнообразны, но все они колеблются между двумя полярными типами, описанными в предыдущей главе. Любая форма афатического расстройства заключается в некотором более или менее серьезном нарушении либо способности к селекции и субституции, либо способности к комбинированию и контекстной композиции. Первая форма болезни связана с нарушением металингвистических операций, а при второй нарушается владение иерархией языковых единиц. В первом случае подавляется отношение подобия, во втором — отношение смежности. Метафора не свойственна расстройствам подобия, а метонимия — расстройствам смежности.

Речевое событие может развиваться по двум смысловым линиям: одна тема может переходить в другую либо по подобию (сходству), либо по смежности. Для первого случая наиболее подходящим способом обозначения будет термин «ось метафоры», а для второго — «ось метонимии», поскольку они находят свое наиболее концентрированное выражение в метафоре и метонимии соответственно. При афазии какой-либо из этих процессов ограничен или полностью блокирован — обстоятельство, делающее исследование афазии особенно интересным для лингвиста. В нормальном языковом поведении оба процесса действуют непрерывно, однако при тщательном наблюдении обнаруживается, что под влиянием культуры, личностных характеристик и языкового стиля говорящий отдает предпочтение какому-либо одному из указанных процессов.

В хорошо известном психологическом опыте детям предъявляется какое-нибудь существительное, и их просят сказать первое, что им придет в голову. В этом эксперименте неизменно проявляются два противоположных языковых предпочтения: ответ строится либо как замена стимула, либо как дополнение к стимулу. В последнем случае стимул и ответ вместе образуют правильную синтаксическую конструкцию, обычно предложение. Указанные два типа ответной реакции были названы соответственно субститутивной и предикативной реакциями.

На стимул hut 'хижина' один ответ был burnt out 'сгорела', другой ответ — is a poor little house 'бедный маленький домик'. Обе реакции предикативны, однако первая формирует чисто повествовательный контекст, а во второй реакции имеется связь с двумя членами и с подлежащим hut: иными словами, мы имеем здесь, с одной стороны, позиционную (а именно синтаксическую) смежность, а с другой — семантическое сходство.

Тот же стимул дал следующие субститутивные реакции: тавтологию hut; синонимы cabin и hovel; антоним palace 'дворец' и метафоры den 'логово' и burrow 'нора'. Способность двух

слов к взаимозаменяемости представляет собой пример позиционного сходства; кроме того, все эти ответы связаны со стимулом по семантическому сходству (или контрасту). Метонимические ответы на тот же стимул, типа thatch 'солома', litter 'мусор, беспорядок' или poverty 'бедность', объединяют и противопоставляют позиционное подобие (сходство) и семантическую смежность.

В способах обращения с этими двумя видами связи (сходством и смежностью) в обоих их аспектах (позиционном и семантическом), в их выборе, комбинировании и ранжировании каждый индивид проявляет свой личный языковой стиль, свои языковые склонности и предпочтения.

Особенно явно выражено взаимодействие этих двух элементов в искусстве слова. Богатый материал для изучения этого взаимодействия можно найти в моделях стихосложения, требующих обязательного параллелизма в смежных стихах, например в библейской поэзии или прибалтийско-финской, а в некоторой степени и в русской устной поэтической традиции. Но основе этого материала может быть выработан объективный критерий для определения языковых предпочтений, свойственных той или иной языковой общности. Поскольку каждое из обсуждаемых отношений (сходство и смежность) может проявляться на любом языковом уровне — морфемном, лексическом, синтаксическом и фразеологическом — и в любом из двух аспектов, тем самым создается впечатляющий диапазон разнообразных конфигураций. При этом может доминировать любой из двух гравитационных полюсов. В русской народной лирической песне, например, преобладают метафорические конструкции, а для героического эпоса более характерна линия метонимии.

В поэзии обнаруживаются разнообразные мотивы, обусловливающие выбор между указанными альтернативами. Неоднократно отмечалось главенство метафоры в литературных школах романтизма и символизма, но еще недостаточно осознан тот факт, что именно господство метонимии лежит в основе так называемого «реалистического» направления и предопределяет развитие этого направления, которое относится к промежуточной стадии между упадком романтизма и началом символизма и противопоставлено и тому и другому. Следуя по пути, предопределяемому отношением смежности, автор — сторонник реалистического направления метонимически отклоняется от фабулы к обстановке, а от персонажей — к пространственно-временному фону. Он увлекается синекдохическими деталями. В сцене самоубийства Анны Карениной художественное внимание Толстого сосредоточено на красном мешочке героини, а в «Войне и мире» Толстой использует синекдохи «усики на верхней губе» и «голые плечи» для обрисовки женских персонажей, обладающих этими признаками.

Преобладание того или иного из этих двух процессов отнюдь

не ограничивается словесным искусством. То же самое колебание наблюдается в знаковых системах, отличных от естественного языка[4]. Характерным примером может служить в истории живописи явно метонимическая ориентация кубизма, в котором предмет трансформируется в набор синекдохических признаков; художники-сюрреалисты ответили на это откровенно метафорической художественной позицией. Начиная с фильмов Д. У. Гриффита, киноискусство, с его развитыми возможностями перемены угла зрения, перспективы и фокуса кадров, порвало с традицией театра и дало беспрецедентное разнообразие синекдохических «крупных планов» и вообще метонимических «мизансцен». В таких шедеврах, как картины Чарли Чаплина, эти приемы в свою очередь были вытеснены новым, метафорическим «монтажом» с его «переходами наплывов», своего рода кинематографическими уподоблениями [1].

Двухполюсная структура языка (или других семиотических систем), а в афазии закрепление одного из этих полюсов и исключение другого требуют систематического сравнительного исследования. Сохранение каждой из этих альтернатив в двух типах афазии должно быть сопоставлено с доминированием того же полюса в определенных языковых стилях, личных языковых привычках, языковой моде и т. п. Тщательный анализ и сравнение этих явлений с общим синдромом соответствующего типа афазии — насущная задача совместного исследования силами специалистов по разным дисциплинам: психопатологии, психологии, лингвистике, поэтике и семиотике — общей науке о знаках. Рассмотренная здесь дихотомия имеет, как представляется, первостепенную значимость для языкового поведения во всех его аспектах и для поведения человека вообще[5].

Для иллюстрации возможностей планируемого сравнительного исследования мы возьмем пример из русской народной сказки, в котором использован в качестве комического приема параллелизм: «Фома холост, Ерема неженат». Здесь предикаты в двух параллельных предложениях связаны отношением сходства: они фактически синонимичны. Подлежащие обоих предложений — мужские собственные имена; следовательно, они морфологически сходны; с другой стороны, они обозначают двух смежных героев одной и той же сказки, выполняющих в сказке одинаковые действия и тем самым как бы оправдывающих использование синонимичных пар предикатов. Видоизмененный вариант той же конструкции мы находим в известной свадебной песне, в которой к каждому из гостей на свадьбе поочередно обращаются по имени и отчеству: «Глеб холост, Иванович неженат». Оба предиката здесь по-прежнему синонимичны, однако отношение между двумя подлежащими другое: и то и другое подлежащее — собственные имена, обозначающие одно и то же лицо, и обычно они употребляются вместе в качестве вежливого обращения.

В цитате из народной сказки два параллельных предложения

сообщают о двух независимых фактах — о семейном положении Фомы и о подобном семейном положении Еремы. В стихотворной строке из свадебной песни, однако, два предложения синонимичны: они оба избыточным образом сообщают о безбрачии одного и того же героя, расчленяя его наименование на два словесных компонента.

Русский писатель Глеб Иванович Успенский (1840—1902) в последние годы жизни страдал душевной болезнью, сопровождавшейся расстройством речи. Свои собственные имя и отчество *Глеб Иванович* он расчленял на два независимых имени, обозначавших для него два отдельных существа: Глеб был наделен всеми добродетелями, а Иванович стал воплощением всех пороков Успенского. Лингвистический аспект этого раздвоения личности состоит в неспособности больного использовать два символа для обозначения одного и того же объекта; тем самым здесь мы имеем расстройство подобия. Поскольку оно связано со склонностью к метонимии, литературный стиль Успенского в начале его творчества представляет особый интерес. Исследование Анатолия Камегулова, подвергшего анализу литературный стиль Успенского, подтверждает наши теоретические ожидания. Оно показывает, что у Успенского была отчетливая склонность к метонимии и особенно к синекдохе, и эта склонность настолько ярко проявляется, что, «подавленный множеством сваленных в словесном пространстве деталей, читатель физичиски не в состоянии воспроизвести в своем сознании целое. Портрет для него пропадает»[6].

Конечно, метонимический стиль произведений Успенского очевидным образом поддерживался господствовавшим литературным каноном его времени, то есть «реализмом» конца XIX в.; однако личностные особенности Глеба Ивановича способствовали крайнему проявлению этого художественного направления в его литературном стиле и в конечном счете сказались в языковом аспекте его душевной болезни.

Конкуренция между двумя механизмами поведения — метафорическим и метонимическим — проявляется в любом символическом процессе, как внутриличностном, так и социальном. Так, в исследовании структуры снов решающий вопрос сводится к тому, на чем основаны символы сна и его временны́е последовательности — на смежности (фрейдовское метонимическое «замещение» и синекдохическое «сжатие») или на сходстве (фрейдовские «тождество и символизм»); см. [8]. Принципы, лежащие в основе магических обрядов, были сведены Фрэзером к двум основным типам: заговоры, основанные на законе подобия (сходства), и заговоры, основанные на ассоциации смежности. Первая из этих двух основных разновидностей гипнотической магии была названа «гомоэопатической» или «подражательной», а вторая — «заразительной магией» [7, гл. III]. Это разделение на две основные ветви и в самом деле весьма поучительно. Однако

вопрос о двух полюсах все еще игнорируется большинством ученых, несмотря на широкую сферу распространения и важность этого вопроса для изучения любого символического поведения, в особенности языкового, и его расстройств. Какова же главная причина такого пренебрежения?

Смысловое подобие связывает символы метаязыка с символами соответствующего языка-объекта. Сходство связывает метафорическое обозначение с заменяемым обозначением. Поэтому, строя метаязык для интерпретации тропов, исследователь располагает большим числом однородных средств для описания метафоры, тогда как метонимия, основанная на другом принципе, с трудом поддается интерпретации. Вследствие этого мы не можем указать для теории метонимии ничего сравнимого с богатой литературой по метафоре [34]. По той же причине повсеместно признается тот факт, что романтизм тесно связан с метафорой, тогда как столь же близкие связи реализма с метонимией обычно остаются незамеченными. Преимущественное внимание в гуманитарных науках к метафоре по сравнению с метонимией объясняется не только научным арсеналом исследователей, но и самим объектом наблюдения. Поскольку в поэзии внимание сосредоточено на знаке, а в прозе (в большей степени ориентированной на практику) — главным образом на референте, тропы и фигуры изучались в основном как поэтические приемы выразительности. Принцип сходства лежит в основе поэзии; метрический параллелизм строк или звуковая эквивалентность рифмующихся слов подсказывают вопрос о семантическом подобии и контрасте; существуют, например, грамматические и антиграмматические рифмы, но не существует аграмматических рифм. Проза, наоборот, движима главным образом смежностью. Тем самым метафора для поэзии и метонимия для прозы — это пути наименьшего сопротивления для этих областей словесного искусства, и поэтому изучение поэтических тропов направлено в основном в сторону метафоры. Реальная двухполюсность искусственно замещается в таких исследованиях ущербной однополюсной схемой, которая удивительным образом совпадает с одним из двух типов афазии, а именно нарушением отношения смежности.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См., например, дискуссию по вопросам афазии в журнале “Nederlandsche Vereeniging voor Phonetische Wettenschappen”, в частности статьи лингвиста Я. ван Гиннекена и двух психиатров, Ф. Груэла и В. Шенка [12, p. 1035 и сл.]; см. также [11, p. 726 и сл.].

[2] Афатическое ослабление фонологической системы было отмечено и проанализировано в совместной работе лингвистки М. Дюран и двух психопатологов— Т. Алажуанина и А. Омбредана [6] и в работе Р. Якобсона (первоначальный вариант, доложенный на Международном съезде лингвистов

в Брюсселе в 1939 г., см. [35, p. 367—379]; в дальнейшем он был развернут в обзор [22, p. 9], ср. [10, p. 32 и сл.].

[3] Совместное исследование некоторых нарушений грамматики было предпринято лингвистом и двумя врачами в клинике Боннского университета, см. [23].

[4] В свое время я отважился на некоторые отрывочные замечания по поводу метонимических приемов в словесном искусстве [19; 21], в живописи [18] и в киноискусстве [20], однако основная проблема двухполюсных процессов еще ожидает детального исследования.

[5] По поводу психологических и социологических аспектов этой дихотомии см. взгляды Бейтсона на «прогрессивную» и «селективную интеграцию» и взгляды Парсонса на «конъюнктивно-дизъюнктивную дихотомию» в развитии детей: [3, p. 183 и сл; 2, p. 119 и сл.].

[6] См.: Камегулов А. Стиль Глеба Успенского. Л., 1930, с. 65, 145. Один из подобных пропавших портретов цитируется в монографии Камегулова: «Из-под соломенного состарившегося картуза, с черным пятном на козырьке, выглядывали две косицы наподобие кабаньих клыков; разжиревший и отвисший подбородок окончательно распластывал потные воротнички коленкоровой манишки и толстым слоем лежал на аляповатом воротнике парусиновой накидки, плотно застегнутой у шеи. Из-под этой накидки взорам наблюдателя выставлялись массивные руки с кольцом, въевшимся в жирный палец, палка с медным набалдашником, значительная выпуклость желудка и присутствие широчайших панталон, чуть не кисейного свойства, в широких концах которых прятались носки сапогов».

ЛИТЕРАТУРА

[1] Balazs B. The theory of the film. London, 1952.

[2] Bales R. F., Parsons T. Family, socialisation and interaction process. Glencoe, 1955.

[3] Bateson G., Ruesch J. Communication, the social matrix of psychiatry. New York, 1951.

[4] Bloomfield L. Language. New York, 1933 (русск. перевод: Блумфилд Л. Язык. М., «Прогресс», 1968).

[5] Carnap R. Meaning and necessity. Chicago, 1947 (русск. перевод: Карнап Р. Значение и необходимость. М., 1959).

[6] Durand M., Alajouanine Th., Ombredane A. Le syndrome de désintégration phonétique dans l'aphasie. Paris, 1939.

[7] Frazer J. G. The golden bough: A study in magic and religion. Part I (3rd ed.). Vienna, 1950 (русск. перевод: Фрэзер Дж. Золотая ветвь. М., 1979).

[8] Freud S. Die Traumdeutung (9 th ed.). Vienna, 1950.

[9] Freud S. On aphasia. London, 1953.

[10] Goldstein K. Language and language disturbances. New York, 1948.

[11] Grewel F. Aphasie en linguistiek. — "Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde", XCIII, 1949.

[12] Grewel F., Schenk V. W. Psychiatrische en Neurologische Bladen. — "Nederlandsche Vereeniging voor Phonetische Wettenschappen", XLV, 1941.

[13] Head H. Aphasia and kindred disorders speech, I. New York, 1926.

[14] Hemphil R. E., Stengel E. Pure word deafness. — "Journal of Neurology and Psychiatry", III, 1940.

[15] Jackson H. Notes on the physiology and pathology of language (1866). — "Brain", XXXVIII, 1915, p. 65—71.

[16] Jackson H. On affections of speech from desease of the brain (1879). — "Brain", XXXVIII, 1915, p. 107—129.

[17] J a c k s o n H. Papers on affections of speech (reprinted and commented by H. Head). — "Brain", XXXVIII, 1915.
[18] Я к о б с о н Р. Футуризм. — Газ. «Искусство» от 2 августа 1919 (опубликовано также в кн.: Я к о б с о н Р. Работы по поэтике. М., «Прогресс», 1987).
[19] Я к о б с о н Р. Про реалізм у мистецтві. — «Вапліте», Харків, 1927, № 2 (русск. вариант под назв. «О художественном реализме» см. в кн.: Я к о б с о н Р. Работы по поэтике. М., 1987).
[20] J a k o b s o n R. Úpadek filmu? — "Listy pro umění a kritiku", I, Prague, 1933.
[21] J a k o b s o n R. Randbemerkungen zur Prosa des Dichters Pasternak. — "Slavische Rundschau", VII, 1935 (русск. перевод в кн.: Я к о б с о н Р. Работы по поэтике. М., 1987).
[22] J a k o b s o n R. Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze. — "Uppsala Universitets Årsskrift", 1942.
[23] K a n d l e r G., L e i s c h n e r A., P a n s e F. Klinische und sprachwissenschaftliche Untersuchungen zum Agrammatismus. Stuttgart, 1952.
[24] L o t m a r F. Zur Pathophysiologie der erschwerten Wortfindung bei Aphasischen. — "Schweiz. Archiv für Neurologie und Psychiatrie", XXXV 1933.
[25] Л у р и я А. Р. Травматическая афазия. М., 1947.
[26] M a c K a y D. M. In search of basic symbols. — "Cybernetics", Transactions of Eighth Conference. New York, 1952.
[27] M y k l e b u s t H. Auditory disorders in children. New York. 1954.
[28] O m b r e d a n e A. L'aphasie et l'élaboration de la pensée explicite. Paris, 1951.
[29] P e i r c e C. S. Collected Papers, II and IV. Cambridge, Mass., 1932, 1934.
[30] Results of the Conference of Anthropologists and Linguistics. — "Indiana University Publications in Anthropology and Linguistics", VIII, 1953.
[31] S a p i r E. Language. New York, 1921 (русск. перевод: С э п и р Э. Язык. М., 1934).
[32] S a p i r E. The psychological reality of phonemes. — "Selected writings", Berkeley and Los Angeles, 1949.
[33] S a u s s u r e F. de. Cours de linguistique générale (2nd ed.). Paris, 1922 (русск. перевод в кн.: С о с с ю р Ф. де. Труды по языкознанию. М., «Прогресс», 1977).
[34] S t u t t e r h e i m C. F. P. Het begrip metaphor. Amsterdam, 1941.
[35] T r u b e t z k o y N. Principes de phonologie. Paris, 1949 (русск. перевод: Т р у б е ц к о й Н. С. Основы фонологии. М., 1960).

АННА ВЕЖБИЦКАЯ

СРАВНЕНИЕ — ГРАДАЦИЯ — МЕТАФОРА

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА КОМПАРАТИВА

Э. Сепир пишет:

«Очень важно понять, что психологически все компаративы первичны по отношению к своим абсолютам («позитивам»). Точно так же, как *больше людей* является исходным по отношению к *несколько человек* и к *много людей*, так и *лучше* является исходным по отношению к *хороший* и *очень хороший*, а *ближе* (=*на меньшем расстоянии от*) более первично, чем *на некотором расстоянии от* и *близко* (=*на маленьком расстоянии от*). Языковое употребление склонно отталкиваться от градуированных понятий, например, *хороший* (=*лучше, чем обычный, нейтральный*), *плохой* (=*хуже, чем обычный, нейтральный*), *большой* (=*больше, чем среднего размера*), *маленький* (=*меньше, чем среднего размера*), *много* (=*больше, чем достаточное количество*), *мало* (=*меньше, чем достаточное количество*)... [11]

Выдвинутый Э. Сепиром тезис поражает. Но истинен ли он? Действительно ли компаративы первичны по отношению к своим позитивам, как утверждает Сепир? И верно ли, что все?

Я хочу предложить и обосновать другой тезис: некоторые компаративы первичны. Нельзя определять характер отношений между сравнительной и положительной степенями в столь общей форме, невозможно заранее предвидеть, каков будет результат их соотнесения — в разных случаях он будет разным.

Так, явно выделяется одна группа прилагательных, для которых тезис Сепира проходит. Это группа слов, составляющих большинство в кругу примеров, приводимых Сепиром, — см. цитату выше. Речь идет о пространственных прилагательных: *большой*, *малый*, *близкий*, *далекий*, *длинный*, *короткий*, *широкий*, *узкий*, *высокий*, *низкий*, *глубокий*, *мелкий*. Все эти слова построены на основе соответствующих компаративов, точнее, все они построены на основе компаратива *больше/меньше*. Слова *меньше* и *больше* можно объяснить независимо, а все перечисленные **позитивы** — истолковать через *больше/меньше:*

Anna Wierzbicka. Porównanie—gradacja—metafora. — "Pamiętnik literacki", LXII, 1971, № 4, s. 127—147; печатается с небольшими сокращениями, сделанными в основном за счет примеров.

X_1 меньше, чем X_2 = '(думаю о X_1)[1] — можно сказать, что он мог бы быть частью X_2'

X_2 больше, чем X_1 = '(думаю об X_2) — можно сказать, что X_1 мог бы быть частью X_2'

X_1 мал = 'X_1 меньше большинства X-ов' = '(думаю об X_1) — существует больше X-ов, которые больше X_1, чем X-ов, которые меньше X_1'

X_2 большой = 'X_2 больше большинства X-ов' = '(думаю об X_2) — существует больше X-ов, которые меньше X_2, чем X-ов, которые больше X_2.

Исходя их этих экспликаций, предложения типа *X_1 мал* являются неполными: чтобы понять их смысл, следует реконструировать полную форму *X_1 есть малый X*.

Имеются и другие семантические группы прилагательных и наречий, в которых компаратив первичен, например:

тихо = 'тише, чем большинство'; *громко* — 'громче, чем большинство'; *тяжелый* (*легкий*) = 'тяжелее (легче), чем большинство'; *долго* (*коротко*) = 'дольше (короче), чем большинство'; *часто* (*редко*) = 'чаще (реже), чем большинство'; *старый* (*молодой*) = 'старше (моложе), чем большинство'; *густой* (*редкий*) = 'гуще (реже); чем большинство' (лес, волосы, населенность, сеть и т. п.); аналогично толкуется *дорогой* (*дешевый*), *трудно* (*легко*), *сильный* (*слабый*).

Для всех компаративов приведенных слов можно предложить следующие независимые толкования:

Голос X-а громче голоса Y-а = '(Думаю о говорящем X-е) — невозможно было [услышать голос Y-а и не услышать голос X-а][2], можно было [услышать голос X-а и не услышать голос Y-а]'.

X тяжелее, чем Y = '(Думаю об X-е) — нельзя [суметь удержать X и не суметь удержать Y], можно [суметь удержать Y и не суметь удержать X]'.

Легче сделать X, чем Y = 'Нельзя [не суметь сделать X и суметь сделать Y], можно [суметь сделать X и не суметь сделать Y]'.

X слабее Y-а = '(Думаю об X-е) — X не может заставить себя сделать что-то, что не может [заставить себя сделать] Y; Y может заставить себя сделать что-то, чего не может [заставить себя сделать] X'.

Формы сравнительной степени *длиннее* (*короче*), *чаще* (*реже*), *старше* (*моложе*), *гуще* (*реже*), *дороже* (*дешевле*), как легко видеть, объясняются через 'больше', то есть опять-таки не через формы положительной степени соответствующих прилагательных.

Тем не менее, что касается другой группы приводимых Э. Сепиром примеров, то здесь дело обстоит иначе. Экспликации вида *хороший* = 'лучше, чем нейтральный', *плохой* = 'хуже, чем ней-

тральный’ или даже *хороший* = ‘лучше, чем мы думали’, *плохой* = ‘хуже, чем мы думали’ кажутся нам неудовлетворительными. Оценки «хороший» и «плохой» с семантической точки зрения безотносительны. Они не означают ‘лучше, чем...’ и ‘хуже, чем...’, а означают ‘такой, как мы хотели бы, чтобы был’, ‘такой, как мы не хотели бы, чтобы был’. Это обстоятельство обязывает дать независимое определение компаративов *лучше* и *хуже*. Начну с тривиальной экспликации.

X_1 *лучше, чем* X_2 = ‘X_1 более хороший, чем X_2’.
X_2 *хуже, чем* X_1 = ‘(Думаю об X_2) — X_1 лучше X_2’.

Что означает здесь элемент ‘более’? Можно предполагать, что он играет существенную роль в семантике компаративов и не только тех, где он выступает на поверхности (*более образованный, более интересный, более соленый*), но также во многих других. Хотя *больший* не означает ни ‘более большой’, ни ‘более далекий’, во многих случаях, по-видимому, именно элемент ‘больше (более)’ регулярно входит в значение суффиксов сравнительной и превосходной степеней.

Следует сразу же оговориться, что проблема семантической структуры слова *более* (*больше*) выходит далеко за пределы компаративов прилагательных и наречий, см. *X любит Y-а* больше, чем Z-а, *X больше воспитатель, чем учитель.*

Возникает следующая гипотеза: слово *более* (*больше*) имеет метатекстовый и вместе с тем нормативный характер: оно определяет, что (по мнению говорящего) можно сказать, а что нельзя:

X любит Y-а больше, чем Z-а = ‘(Думаю об X) — нельзя сказать, что [X любит Z-а и не любит Y-а], можно сказать, что [X не любит Z-а и любит Y-а]’.
X больше воспитатель, чем учитель = ‘(Думаю об X) — нельзя сказать, что [X есть учитель и не есть воспитатель], можно сказать, что [X не есть учитель, а есть воспитатель].
Мне кажется, что ничто не мешает применить ту же формулу толкования к прилагательным в сравнительной степени:
X_1 *лучше, чем* X_2 = ‘(Думаю об X_1) — нельзя сказать, что [X_2 есть хороший и X_1 не есть хороший], можно сказать, что [X_2 не есть хороший, а X_1 есть хороший]’.

Если предложенные экспликации верны, то это означает, что в случае прилагательных *хороший* и *плохой* компаратив толкуется через позитив, а не наоборот: в паре *хороший*—лучше исходным является *хороший*, а *лучше* — семантическим производным от него.

То же самое можно сказать и о многих других парах прилагательных. Вот еще несколько примеров:

X_1 *больше похож на* X_2, *чем на* X_3 = ‘(Думаю об X_1) — нельзя сказать, что [X_1 похож на X_3 и не похож на X_2], можно ска-

зать что [X_1 не похож на X_3 и похож на X_2]; см. также *X_1 интеллигентнее, чем X_2; X_1 умнее, чем X_2; X_1 красивее, чем X_2; X_1 (отвар) более жидкий, чем X_2 = X_1 более похож на жидкость, чем X_2*'.

Таким образом, одни компаративы толкуются через соответствующие позитивы, а для других отношение обратное. Однако нет причин думать, что этими случаями исчерпываются все возможные соотношения: могут быть случаи, когда ни одна из степеней не толкуется через другую. Эта третья возможность — опять-таки допускающая самые разные варианты — отнюдь не только теоретическая; она реализуется в очень многих языковых выражениях:

X ⟨есть⟩ сладкий = '(Думаю об X) — чувствуя его во рту, мы сказали бы, что в нем имеется сахар'.

X_1 слаще X_2 = '(Думаю об X_1) — чувствуя его во рту, мы сказали бы, что в нем больше сахара, чем в X_2'.

X ⟨есть⟩ соленый = '(Думаю об X) — чувствуя его во рту, мы сказали бы, что в нем имеется соль'.

X_1 более соленый, чем X_2 = '(Думаю об X_1) — чувствуя его во рту, мы сказали бы, что в нем соли больше, чем в X_2'.

X ⟨есть⟩ мокрый = '(Думаю об X) — касаясь его, мы бы сказали, что в нем имеется вода'.

X ⟨есть⟩ сухой = '(Думаю об X) — касаясь его, мы бы сказали, что в нем нет воды'.

X_1 суше X_2 = '(Думаю об X_1) — касаясь его, мы бы сказали, что в нем меньше воды, чем в X_2'.

X ⟨есть⟩ горячее = '(Думаю об X) — соприкасаясь с ним, мы бы сказали, что оно могло бы долгое время соприкасаться с огнем'.

X_1 горячее X_2 = '(Думаю об X_1) — соприкасаясь с ним, мы бы сказали, что оно могло бы соприкасаться с огнем больше времени, чем X_2'.

X ⟨есть⟩ темное = '(Думаю об X) — видя его, мы бы сказали, что оно могло бы быть частью ночного мира'.

Y ⟨есть⟩ светлое = '(Думаю об Y) — видя его, мы бы сказали, что оно не могло бы быть частью ночного мира'.

X_1 темнее X_2 = '(Думаю об X_1) — видя его, мы бы сказали, что оно могло бы быть частью более ночного мира, чем частью которого мог бы быть X_2'.

X твердое = '(Думаю об X) — нажимая на X, мы бы сказали, что трудно было бы изменить его форму'.

Y мягкое = '(Думаю об Y) — нажимая на Y, мы бы сказали, что нетрудно было бы изменить его форму'.

X_1 тверже X_2 = '(Думаю об X_2) — нажимая на него, мы бы сказали, что труднее было бы изменить форму X_1, чем форму X_2'.

X гладкий = '(Думаю об X) — касаясь его, мы бы сказали, что было бы легко что-либо передвигать по нему'.

X_1 более гладкий, чем X_2 = '(Думаю об X_1) — касаясь его, мы бы сказали, что по нему было бы легче что-либо передвигать, чем по X_2'.

Рассмотренные примеры распадаются на три группы: группу, в которой позитив толкуется через компаратив, группу, в которой компаратив толкуется через позитив, и наконец, группу, в которой ни одна из этих степеней не толкуется через другую. Можно ли указать какую-нибудь обобщающую семантическую формулу для этих групп? Разобранные примеры, как кажется, подсказывают следующую гипотезу: когда речь идет о качественных и «возможностных» отношениях, первичным является компаратив, в случае оценок, мнений, чувств и позиций первичен позитив, а компаратив вторичен, когда же речь идет о прилагательных, обозначающих ощущения, первичен позитив, а компаратив, хотя и является семантически более сложным, не толкуется прямо ни через соответствующий позитив, ни через какой-либо другой компаратив.

ГРАДАЦИЯ И СРАВНЕНИЕ

Интуитивно очевидно, что существует тесная связь между значениями компаратива, суперлатива и того, что Э. Сепир называет «безотносительным суперлативом», то есть словом *очень* [11, с. 146]. Анализ явления градации, при котором не затрагивался бы вопрос о семантической структуре предложений, содержащих слово *очень*, был бы в лучшем случае неполным. Польский язык, в котором морфологическое родство слов bardziej 'более' и bardzo 'очень' уже наводит на мысль об их семантическом родстве, настойчиво требует совместного рассмотрения этих проблем.

X самый лучший.

X очень хороший.

Значение первого предложения довольно очевидно: 'X лучше всех остальных'. Подставив в эту семантическую формулу предложенную ранее экспликацию слова *лучше*, получим:

'(Думаю об X) — нельзя сказать, что [X не есть хороший, а кто-то другой хороший], можно сказать [X хороший, а кто-то другой не хороший]'.

Встает вопрос: как, каким образом эксплицитно показать связь между выражениями *самый лучший* и *очень хороший*? Представляется несомненным, что один компонент значения предложения *X очень хороший* составляет 'X хороший'. Что же, собственно говоря, добавляет слово *очень*?

Интуитивно ощущаемое родство слов bardzo и bardziej (very

и more, tres и plus, *очень* и *более*) подсказывает и в данном случае метаязыковую, вернее, метатекстовую экспликацию, хотя и отличающуюся от экспликации слова bardziej 'более'. Я предлагаю следующее толкование:

X очень хороший = 'X хороший, скажу, более, чем хороший'.

В согласии с этим толкованием слово *очень* сигнализирует о неадекватности идущего следом определения *хороший*, его недостаточности: говорящий указывает, что он употребил это определение просто за неимением лучшего. Если это так, то *очень* не является мерой степени усиления качества, о котором идет речь; в действительности «очень» и название этого качества принадлежат двум глубинным предложениям, причем не просто разным, но, более того, лежащим в разных плоскостях: одно из предложений является метапредложением по отношению к другому. В сущности, такие выражения, как *скажу более того*, *это мало сказать* (*он — мало сказать: хороший*) реально встречаются в текстах.

Гипотеза о метаязыковом характере слова *очень* подтверждается фактом близости его таким словам, как *скорее*, *совсем*, *довольно*, метаязыковая функция которых достаточно очевидна[3]: все они дают своеобразный комментарий к словам, в окружении которых они выступают:

Он скорее худой = 'Я бы скорее сказал, что он худой'.
Он скорее красивый = 'Я бы скорее сказал, что он красивый'.
Он в целом худой = 'Я бы скорее сказал, что он худой; в целом, можно сказать, что он худой'.
Он в целом хороший = 'Я бы сказал, что он хороший; в целом, можно сказать, что он хороший'.
Он довольно худой = 'Я бы сказал, что он худой; не сказал бы: более чем «худой», сказать «худой» — этого достаточно'.
Он довольно хороший = 'Я бы сказал, что он хороший; не сказал бы: более чем «хороший», сказать «хороший» — этого достаточно'.
Он совсем глухой = 'Он глухой (= не слышит): скажу более: ничего не слышит'.
Он совсем одинокий = 'Он не имеет близких; скажу более: у него нет никого из близких'.

Такое же толкование можно, естественно, дать и другим языковым выражениям градации, относящимся к другим частям речи:

Скорее, он ее любит = 'Я бы скорее сказал, что он ее любит'.
В целом, он ее любит = 'Я бы сказал, что он ее любит'; в целом, можно сказать, что он ее любит'.
Он ее очень любит = 'Он ее любит; скажу: больше чем «любит»'.

Он у нас совсем не бывает = 'Он у нас не бывает; скажу больше: никогда у нас не бывает'.

Рассмотрим теперь выражения другого типа: *X добрый как ангел; X худой как щепка; X упрямый как осел.* Не подлежит сомнению, что X очень добрый, X очень худой, X очень упрямый. Должны ли мы считать, что в таких выражениях сочетания *как ангел, как щепка, как осел* просто означают «очень» и являются вероятно, своеобразным, стилистически маркированным контекстным вариантом этого слова? Так предлагали считать в свое время И. Мельчук и А. Жолковский, которые рассматривали все подобные выражения как синонимичные «очень», как члены одного семантического параметра, обозначаемого условно Magn [1]. Этот оригинальный и интересный тезис нам все же кажется не вполне адекватным. Несомненно, что устойчивые сравнения типа *как щепка, как скелет, как ангел* не относятся ни к одному отдельному оттенку качества, о котором идет речь, ни к особой степени его интенсивности, поэтому их прагматическая функция вполне точно может быть определена как интенсив или Magn. Тем не менее мне кажется, что в точной семантической записи их нельзя приравнять к *очень*. Против признания их семантической эквивалентности говорит, например, тот факт, что многие из таких сравнений сочетаются с выражениями, с которыми не сочетается *очень*. Например, *лысый как колено; глухой как пень; здоровый, как бык* означает скорее 'совсем лысый (глухой, здоровый)', чем 'очень лысый (глухой, здоровый)'. С другой стороны, выражения *белый как снег; черный как уголь; красный как кровь; рыжий, как белка* и т. п. не допускают замены ни на слово *очень*, ни на слово *совсем*. Коль скоро интуиция подсказывает наличие некоего семантического элемента, общего для всех таких устойчивых суперлативных оборотов, мы должны отвергнуть гипотезу о том, что таким элементом является «очень», в том числе даже для тех сравнений, которые допускают подстановку этого слова. Я позволю себе предложить другой смысловой инвариант для всей группы стандартных, устойчивых сравнительных оборотов: 'ничто не могло бы быть более (больше)'. Итак:

X худой как щепка = X' худой; ничто не могло бы быть более худым; впрямь, это могла бы быть только щепка'.
X лысый как колено = 'X лысый, ничто не могло бы быть более лысым; впрямь, это могло бы быть только колено'.

Аналогично и для выражений *белый как снег; здоровый как бык* и т. д. Эмпирическим подтверждением правильности данной семантической реконструкции являются такие выражения, как *Я стану белее снега; Кожа лица и плеч моей любимой белее мрамора (молока, лебедя, жемчуга, снега, лилии); Уста ее слаще малины; Как же мне не целовать их, если даже мед не так сладок,*

как твои уста [...]. Представляется, что все они содержат смысл 'ничто не могло бы быть более'.

Предложенное толкование может производить впечатление антиинтуитивного или сверхсложного. Однако тщательный разбор релевантных примеров приводит нас к выводу, что сложность анализа отвечает здесь сложности самого объекта анализа: ведь никто не скажет, что «щепка худая» или что «скелет — или грабли — худые» (ср. английское as thin as a rake). Утверждение, что глубинная структура предложения *X худой как щепка* имеет вид 'X такой худой, как щепка худая', было бы явно ошибочным. Сравнение здесь относится к человеку и щепке, а не к худобе человека и худобе щепки.

Что касается самого семантического элемента 'очень', то нам кажется, что интуитивно ощущаемая связь его со стандартными сравнительными оборотами, в сущности, далека от полного тождества. В конечном счете трудно не признать, что *худой, как щепка* — это нечто к а ч е с т в е н н о отличное от банального *очень худой*.

Зато нам кажется, что именно элемент 'очень' подразумевается в глубинной структуре ряда конструкций в широком смысле градационных, точнее, в структуре так называемых градационно-следственных предложений типа *Он был такой худой, что одежда болталась на нем, как на вешалке*. Глубинная структура таких предложений может быть представлена следующим образом:

> *Он был такой худой, что одежда болталась на нем, как на вешалке* = 'Он был настолько [букв.: так очень] худ, что одежда болталась на нем, как на вешалке' = 'Он был худой; я должна сказать, что более чем 'худой', так как одежда болталась на нем, как на вешалке'.

Информация, передаваемая выражением *болталась на нем, как на вешалке* подается слушающему не как точная мера худобы, а как некоторое суждение о том, что слово *худой* следует в данном случае счесть недостаточным. Точно так же:

> *Он был ужасающе худ* = 'Он был такой [букв. так очень] худой, что был ужасающим' = 'Он был худой; я должна сказать, что он был более чем 'худой', так как был ужасающим'.
> *Он был необыкновенно добрым* = 'Он был добрым; я должна сказать, что он был более, чем 'добрым', так как был необыкновенным'.

Еще один факт, говорящий в пользу предложенного толкования, — наличие аномальных вопросов: **Как* (*насколько*) *он худой* (*грубый, хороший, белый, упрямый*)*?* и вопросов правильных: *Как он велик?* (= *Такой большой, как что?*)*; Как* (*настолько*) *тут глубоко?; Как это далеко?*

Очевидно, что вопросы **Как он худой?* **Насколько он хороший?*

и т. п., в отличие от *Как* (*насколько*) *он велик? Как это далеко?*, семантически бессвязны; это просто сочетания элементов, относящихся к разным компонентам глубинной структуры. Такими же гетерогенными единицами являются и сравнения *худой как щепка; упрямый как осел; белый как снег* и т. п.

Сравнения суперлативного типа *сладкий как мед; глухой как пень; белый как снег* и градационно-следственные предложения типа *Настолько* (*такой*, *так*) *худой* (*худ*), *что*... кажутся близкими той сфере языковых фактов, которые обычно связывают с понятием гиперболы. Такие выражения, как *Я умираю от голода*, *Сердце рвется от жалости*, *С ума сходил от отчаяния*, *Там был рай для меня*, *Адски холодно*, *Сто лет тебя не видел*, несомненно, реализуют функцию Magn, и их следует учитывать в контексте рассматриваемых фактов.

Как и в предыдущих случаях, один семантический компонент в этих выражениях обнаруживается с легкостью: 'я голоден', 'мне жалко', 'он был в отчаянии', 'холодно', 'там мне было хорошо', 'давно тебя не видел' (в последних двух примерах приходится реконструировать слова, отсутствующие в поверхностной структуре, — «хорошо» и «давно», но эти реконструкции представляются вполне однозначными). Возникает вопрос, как правильно записать второй компонент — тот, который относится к гиперболе? Может быть, с помощью 'очень'? *Я умираю от голода* = 'Я очень голоден'?

Такую перефразировку, пожалуй, трудно счесть адекватной прежде всего потому, что она не учитывает связи между гиперболическим выражением и буквальным значением составляющих его слов. Чтобы учесть ее и вместе с тем показать связь между гиперболическими выражениями и сравнениями, я предлагаю следующий компонент: 'можно сказать, что...' ('я бы мог сказать, что умираю', 'я бы мог сказать, что у меня рвется сердце').

Могу ли я, таким образом, утверждать, что гиперболические выражения типа *Я умираю от голода* содержат три семантических компонента: 'я голоден'; 'очень голодный' (= 'больше чем голодный') и 'я мог бы сказать (я бы сказал), что я умираю (мне кажется, что я умираю)'?

Несмотря на все выше сказанное, мне кажется, что этот второй компонент — 'очень голодный' — был бы настолько слабым по сравнению с третьим — 'я мог бы сказать, что умираю', — что их соединение звучало бы почти бессвязно. Поэтому, возможно, тут более подойдет компонент, постулируемый для суперлативных сравнений 'нельзя быть более'?: 'я голоден', 'нельзя быть более голодным', 'я мог бы сказать, что умираю'? Пожалуй, тоже нет. В действительности в суперлативных сравнениях указывается непревзойденный эталон качества или чего-то, что считается таким эталоном, в гиперболах же такого однозначного образца не хватает, поэтому формула 'ничто не могло бы быть более' ('нельзя быть более') представляется менее удачной.

Эмпирический материал подсказывает третью возможность — использовать слово, которое, по сути дела, часто взаимозаменимо с гиперболами, а именно слово *ужасно* (конечно, слово это стилистически сильно отмеченное). *Я ужасно голоден; Мне его ужасно жалко; Он ужасно переживал; Мне ужасно холодно* и т. п. Но что означает 'ужасно'? Каково его отношение (семантическое, не стилистическое) к очень? Напрашивается следующий ответ: 'ужасно' — это как бы 'очень' в квадрате. Если *Я очень голодный* означает 'Я должен был бы сказать: более чем голодный', то *Я ужасно голоден* значит 'Я должен был бы сказать; более чем очень голоден'. Таким образом, гиперболическим выражениям может быть приписана следующая глубинная структура:

> *Я умираю от голода* = 'Я ужасно голоден; Я бы сказал, что умираю' = 'Я более чем голодный; Я бы сказал, что умираю' = 'Я более чем голодный; Я бы сказал, что умираю'. = 'Я голодный; Я должен был бы сказать: более чем голодный', более чем 'очень голодный'; Я бы сказал, что умираю'.

Часто гиперболические выражения причисляют к метафорам. Поскольку и те и другие в принципе определяются интуитивно, без каких-либо точных критериев, с этим трудно как согласиться, так и не согласиться. Семантика позволяет отыскать эти точные критерии в постулируемых глубинных структурах. Для того чтобы определить, каково взаимоотношение гиперболических выражений и метафор, нужно в первую очередь выяснить, какова их глубинная структура.

МЕТАФОРА

«Метафора — это сокращенное сравнение». Семантический анализ включает в себя разгадку всякого рода сокращений, эллиптических оборотов, реконструирование полных текстов. Семантика способна отождествлять выражения, отличающиеся одной только степенью эксплицитности: все такие выражения должны получить одну и ту же семантическую запись, так как последняя представляет собой экспликацию смысла полного текста. Такая постановка задачи отнюдь не означает пренебрежение различиями в степени эксплицитности текстов; совершенно очевидно, что с точки зрения экспрессивности и импрессивности все эти различия могут иметь огромное значение. Однако они не являются семантическими.

Сказать, что метафора — это сокращенное, редуцированное сравнение, — означает сказать, что отличие между метафорой и сравнением не является семантическим; иначе говоря, приведенная классическая формулировка помещает отличие между метафорой и сравнением в поверхностную, а не глубинную структуру.

Я собираюсь защищать иной тезис: метафора и сравнение различаются глубинными структурами. Ощущаемая на протяжении многих столетий близость этих двух языковых явлений, конечно, должна каким-то образом отразиться в сходстве постулируемых для них глубинных структур, но вместе с тем и ясно ощущаемое различие между ними должно отразиться в несовпадении их глубинных структур.

Мы говорим «метафора и сравнение», как будто имеем дело с двумя четко противопоставленными на практике категориями явлений, как будто речь идет только о необходимости подыскать для них две адекватные семантические формулы. Но в действительности ситуация иная: по существу, мы имеем дело с целой семьей языковых явлений. Ставится задача четко определить родственные связи внутри всей семьи, а не только ее самых известных представителей — классической метафоры и классического сравнения. Мы обязаны это сделать не только потому, что придерживаемся основного методологического требования подходить к анализу языковых явлений во всех их системных связях, но также потому, что должны учесть эмпирические факты синонимизации языковых форм в пределах данной семьи, которые встречаются в реальных текстах и нуждаются в интерпретации. Вот пример:

J a k o b y słonce zaszło, kiedy nie masz ciebie,
A z tobą i w poł nocy z d a s i ę dzień na niebie.

[*букв.:* 'Б у д т о солнце зашло когда нет тебя.
А с тобой и в полночь к а ж е т с я день на небе'.]

Кохановский сближает значения выражений jakoby 'будто' и zda się 'кажется' — и тем самым ставит перед нами задачу построить для них две сходные экспликации.

На взаимодействие с метафорами выражений типа zdaje się (русск. *кажется*) указывают примеры:

Wyciągam ręce, padam na piersi okrętu,
Z d a j e s i ę, że pierś moja do pędu go nagli.
['Вытянув руки, я упираюсь в носовой борт корабля
(*букв.:* я падаю на грудь корабля),
И к а ж е т с я, что грудь моя толкает его стремительно вперед'.]

Spojrzyj w przepaść — niebiosa leżące na dole
To jest morze; śród fali z d a s i ę, że ptak-góra
Piorunem zestrzelony, swe masztowe pióra
Roztoczył kręgiem szerszym niż tęczy połkole.
[Глянь в бездну: небеса внизу —
Это море, и средь волн к а ж е т с я, что птица-гора,
Молнией подстреленная, свои мачтовые перья
Развернула в круг более широкий, чем радуги дуга'.]

Прежде чем мы попытаемся представить все связи между рассматриваемыми явлениями в эксплицитной модели, приведем краткий (очевидно, не полный) список принимаемых здесь в расчет поверхностных структур языковых выражений:

А (такое же) как В.
А похоже на В.
А напоминает В.
А, кажется, есть В.
А имеет форму В.
А — это В.
А — это не А, а В
р; кажется, что q
р; я бы сказал, что q
р; я мог бы подумать, что q
р; как бы q
можно сказать, что не р, а q

Приведенный перечень дает нам возможность сравнить эти выражения с выражениями «более высокого яруса», то есть с метавыражениями, соответствующими приведенным формулам:

принимать А за В
понять, что мнимое В это А

Я предлагаю следующий способ моделирования семантических отношений между сравнением и метафорой на фоне сходных языковых явлений:

сравнение	— 'можно сказать, что это могло бы быть...'
метафора	— 'можно сказать, что это не..., а ...
метафорическое сравнение	— 'можно сказать, что это могло бы быть не..., а ...'
выражение *кажется*	— 'можно сказать, что...'
гипербола	— 'более, чем очень; можно сказать, что...'

Прежде чем обосновать свое предложение, я проиллюстрирую его несколькими примерами, содержащими выражения интересующих нас семантических типов[4].

Сравнения

А на звон колокольчика, как при дуновении ветра,
Склоняются все головы, как колосья в поле. = 'А на звон колокольчика склоняются все головы — можно сказать, что это могли бы быть колосья в поле, склоняющиеся при дуновении ветра'.

Как стрельнет француз, так москали полками, как трава, стелятся. = 'Как француз стрельнет, так москали полками стелятся — можно сказать, что это могла бы быть стелющаяся трава'.

И вдруг он взял фальшивый аккорд, будто змея прошипела. =

'И вдруг он взял фальшивый аккорд — можно сказать, что это могло бы походить на шипение змеи'.

Метафоры

Спит земля. = '(Думаю о земле) — можно сказать, что это не земля, а живое существо, которое спит'.

Дремлют якоря. = '(Думаю о якорях) — можно сказать, что это не якоря, а живые существа, которые дремлют'.

Я падаю на грудь корабля. = 'Падаю на корабль — можно сказать, что я падаю не на корабль, а на грудь живого существа'.

Рев воды. = '(Думаю о воде) — можно сказать, что это не вода, а ревущий зверь'.

В доме ад. = '(Думаю о доме) — находясь там, можно сказать, что находишься не дома, а в аду'.

Ветер! — ветер! — пыхтит корабль, срываясь с удил.
Перекатывается, ныряет в пенистой пурге,
Поднял шею, топчет волны и взлетает под небеса,
Рассекает лбом облака, хватает ветер под крылья. = 'Ветер! — ветер! (Думаю о корабле) — можно сказать, что это не корабль, а существо, которое пыхтит, не корабль, а крылатый конь, который срывается с удил, перекатывается, ныряет в пене (можно сказать, что это не пена, а пурга), поднимает шею, движется на волнах (можно сказать, что это не волны, а нечто твердое, что он топчет), взлетает под небеса, рассекает лбом облака, хватает ветер под крылья'.

Метафорическое сравнение

...И рыцарь мой стоял — как будто скульптор вырубил его из камня.

= 'Так мой рыцарь стоял — можно сказать, что это мог быть не живой рыцарь, а вырубленный из камня скульптором'.

Утекала так, как будто была золотой рыбкой, издали заметившей всплеск поплавка.

= 'Она бежала, — можно сказать, что это могла бы быть не девушка, а золотая рыбка, которая издали заметила всплеск поплавка'.

(*Какие-то голоса и шум раздавались в воздухе тихом*), *Как будто сквозь сон бормотал старый зáмок.*

= 'В тихом воздухе раздавались какие-то голоса и шум — можно сказать, что это мог бы быть не старый зáмок, а какое-то существо, которое бормочет сквозь сон. [...]

«Кажется» («представляется»)

Издали казалось, что заяц, пыль и борзые составляют одно целое.

= 'Глядя издали на зайца, пыль и борзых, можно сказать, что это одно целое'.

Садовница, подняв голубые глаза, казалось, изучает его, полная любопытства.

= '... можно сказать, что она изучает его, полная любопытства'.

Вытягиваю руки, падаю на грудь корабля. И представляется мне, что грудь моя толкает его стремительно вперед.

= '... можно сказать, что моя грудь толкает его стремительно вперед'.

Предполагаемые экспликации нуждаются не столько в обосновании (экспликации нельзя обосновывать, их можно только опровергать), сколько в комментарии. Первой существенной особенностью предложенных семантических записей является их метаязыковой характер, и поэтому они условны. Как сравнение, так и метафора содержат в своих глубинных структурах семантический элемент 'можно сказать' ('кто-нибудь мог бы сказать'). Постулирование этого элемента отвечает всей традиции, рассматривавшей обе фигуры речи как тропы, то есть как своеобразные языковые игры, а также новейшим учениям, прямо говорящим об их метаязыковом характере (см. [8]). Эмпирическим подтверждением «условно» метаязыковой концепции сравнения и метафоры являются предложения, взятые из реальных текстов и в разной степени приближающиеся к глубинным структурам, содержащим эксплицитно постулируемый семантический элемент 'rzekłbiś' ('можно сказать'):

Tylko pukanie korków i brzęki talerzy
Odbijała zamkowa sień wielka i pusta:
R z e k ł b y ś, iż zły duch gościom zasznurował usta.
[*букв.:* 'Только хлопанье пробок и звон тарелок
Раздавались в огромных и пустых просторах замка,
М о ж н о с к а з а т ь, что злой дух уже зашнуровал гостям уста'.]

R z e k ł b y ś, że z winem ognia w duszę się nałało,
Tak oblicze spłonęło, tak oko pałało.
[*букв.:* 'М о ж н о с к а з а т ь, что с вином огонь влился в душу,
Так лицо покрылось румянцем, так глаза горели'.]

Telimena, tak myśląc, z sofy się podniosła
I stanęła na palcach, r z e k ł b y ś, że podrosła.
[*букв.:* 'Телимена, так думая, поднялась с дивана
И встала на цыпочки, м о ж н о с к а з а т ь, что выросла'.]

В первых двух примерах после слов «можно сказать» выступает не истолкованная до конца метафора («злой дух гостям рот зашнуровал», «огонь вместе с вином влился в душу»), в третьем — гипотетическое сравнение. Однако в текстах можно также найти предложения эксплицитно метаязыковые и явно близкие к сравнению и метафоре, которые, однако, нельзя отождествить ни с одной из этих двух фигур, например:

Zresztą zaś mięs wszełakich był wielki dostatek,
Co się zgromadzić dało i z domu, i z jatek,
I z lasów i z sąsiedztwa, z bliska i z daleka:

R z e k ł b y ś, ptasiego tylko nie dostaje mleka.
[*букв.:* 'Впрочем, всякого мяса было в изобилии,
Все, что можно было собрать в доме и в мясных лавках,
И в лесах, и у соседей, поблизости и подальше:
М о ж н о   с к а з а т ь, только птичьего молока не хватает'.]

Второй элемент постулируемых экспликаций, который нуждается в комментарии, — это отрицание в глубинной структуре метафоры. И в этом месте, можно думать, наша гипотеза близка интуитивным предположениям большинства исследователей, занимавшихся метафорой. Эти предположения многообразны: так, говорили об отождествлении различных элементов, о внутреннем, ингерентном противоречии, о конфликте двух совмещаемых образов, о несвязности элементов метафоры — однако все эти интуитивные предположения осуществлялись в одном направлении (см. [8, p. 127][5]. Эмпирическое подтверждение тезиса об отрицании в глубинной структуре метафоры мы опять-таки находим в реальных языковых фактах. Вот два примера (из поэзии Морштына) с имплицитными метаязыковыми элементами, но с эксплицитно выраженным отрицанием:

Я живу н е среди людей, а среди суровых львов,
Живу среди жестоких зверей.
Н о кто я такой? Кто я, Боже милостивый?
Червяк, а не человек, червь несчастный!

Вот еще два примера того же автора, построенные из параллельных серий метафор и отличающиеся тем, что в первом отрицание имплицитно, а во втором — эксплицитно.

I. *Глаза — огонь, лоб — зеркало,*
Волосы — золото, зубы — жемчуг...

II. *Очи твои — н е очи, а два солнца ясных, горящих,*
В блеске которых гаснет всякий разум.
Губы твои — это не губы, а пурпурные кораллы,
Краской которых связано каждое чувство...

Тезис о наличии в глубинной структуре метафоры отрицания представляется мне исключительно важным, поскольку его принятие означает признание того, что метафору можно понять и что можно описать ее смысл явным образом. Сказать *глаза — огонь* или *люди — свирепые львы* — это либо выразить мысль сокращенно, либо же сказать явную нелепость, абсурд. Ведь, как известно, глаза не могут быть огнем, а люди — львами (такую возможность исключает само значение слов *глаза*, *огонь*, *люди*, *львы*). Можно, конечно, исходить из того, что метафора — это словесная игра, в принципе не поддающаяся экспликации. Однако те, кто вместе со мной хотят защитить тезис о возможности семантической экспликации метафор, должны реконструировать их непротиворечивую, внутренне целостную глубинную струк-

туру. Такой структурой может быть содержащая отрицание метаязыковая запись вида: 'можно сказать, что это не люди, а свирепые львы'; 'можно сказать, что это не глаза, а огонь', ибо, глядя на один какой-то предмет, сказать, что это другой предмет, можно лишь ошибно, воч шутку, ради преувеличения и т. п., но было бы нелепостью или явным противоречием утверждать, что одна вещь одновременно является и какой-то другой вещью.

Постулирование отрицания в глубинной структуре метафоры ведет к однозначному ответу на поставленный ранее вопрос об отношении гиперболы к метафоре. Гиперболическое 'более чем очень, можно сказать, что...' отличается от метафорического 'можно сказать, что не..., а ...'. Очевидно, что это родственные структуры, причем гипербола к метафоре ближе, чем сравнение, из-за утвердительного, а не потенциального наклонения, следующего после элемента 'можно сказать' в глубинной структуре сравнения ('можно сказать, что это могло бы быть...'). Зато гиперболу и сравнение связывает отсутствие характерного для метафоры имплицитного отрицания.

Вопрос об имплицитном отрицании в метафоре составляет лишь один из аспектов общей проблемы языкового эллипсиса. Об эллипсисе уже шла речь выше, однако проблема эта столь важна, что к ней, вероятно, стоит обратиться еще раз. Как уже говорилось, семантическая интерпретация возможна только тогда, когда мы имеем дело с полными текстами. Эллиптичные тексты сокращены, и понимаем мы их лишь потому, что умеем мысленно восстановить недостающие звенья. Поэтому до того, как приступить к грамматическому или семантическому анализу текстов, необходима процедура, называемая катализ, то есть дополнение эмпирических текстов. Если в тексте отсутствуют указания, позволяющие реконструировать его полный вариант, то анализ нельзя довести до конца (см. [10]).

Этот общий методологический принцип полностью применим к семантической интерпретации метафор. Например, слово ocean 'океан' в польском языке имеет только одно значение, и нельзя сказать, что, например, в тексте сонета А. Мицкевича «Аккерманские степи» оно означает 'степь'. *Океан* всегда значит 'океан' и никогда не значит 'степь'. Однако полный текст сонета вместе с заглавием позволяет читателю воспринять слово *океан* в первой строчке как эллиптичное выражение и дополнить его до выражения *океан степи*. А выражению *океан степи* мы дадим следующее толкование 'можно сказать, что это не степь, а океан'.

Принцип катализа при анализе эллиптичных метафор не имеет при этом ничего общего с попыткой восстановления основания, или общего признака, сравнения (tertium comparationis). Однозначная реконструкция последнего для большинства метафор совершенно невозможна. Мы имеем право (в определенного рода текстах) дополнить метафору *жемчуг* до *жемчуг зубов*, но не

имеем права восстанавливать третий элемент типа *белый, ровный, блестящий*. Для экспликации метафоры нужны д в а элемента, а не три. Отождествление дословной экспликации метафоры с реконструкцией tertium comparationis, которое так распространено в «метафорологии» (см. [3, p. 31, 32, 46]), нам кажется просто недоразумением. Если первая возможна и обоснованна, то вторая — невозможна и неоправданна[6].

Следует подчеркнуть, что, говоря об эллиптичных метафорах, мы имеем в виду такие, в которых один из двух сопоставляемых элементов эксплицитно не выражен. Можно сказать, что в каком-то смысле все метафоры эллиптичны ex definitione, так как полностью эксплицитную метафору мы бы вообще не называли метафорой. Иными словами, существуют два определяющих признака метафоры: один — семантический, а именно одна из составляющих ее глубинной структуры 'можно сказать, что не..., а ...'; второй — формальный, а именно полный или по крайней мере частичный эллипсис этой формулы в поверхностной структуре.

АВТОР, ВКЛЮЧЕННЫЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В предложенных толкованиях сравнения, гиперболы, метафоры и даже слов типа *кажется* участвует выражение 'можно сказать'. Спросим себя еще раз: почему 'можно сказать', а не 'можно подумать'? Ведь приведенные тексты, где 'можно сказать' выступает на поверхности, хотя и подтверждают тезис о наличии этого гипотетического элемента в глубинной структуре, тем не менее сосуществуют с текстами, в поверхностной структуре которых имеется выражение *можно подумать:*

М о ж н о   п о д у м а т ь, что эта пара взлетит на воздух.

М о ж н о   п о д у м а т ь, что рог менял форму
И в устах Войского становился то толще, то тоньше.

Если верно, что компонент 'можно сказать' присутствует в глубинных структурах не только тех предложений, где он эксплицитен, но также метафор и сравнений, то встает вопрос: а как обстоит дело с выражением *можно подумать*? Каково его отношение к *можно сказать*? Не подлежит сомнению, что до тех пор, пока мы не ответим на этот вопрос, предложенная экспликация сравнений и метафор может казаться произвольной и неполной.

Мне хочется выдвинуть следующую гипотезу: 'думаю (о)', так же, как и 'говорю (о)' является элементарной семантической единицей, даже несмотря на то, что 'думаю, что' и 'говорю, что' — это родственные элементы, поскольку 'думаю, что', как и 'полагаю, что', является сокращением выражения 'думая о..., я бы сказал, что...'

Я думаю, что Шимон болен. = Я полагаю, что Шимон болен.
= 'Думая о Шимоне, я бы сказал, что он болен'.

В соответствии с этим толкованием предложения, начинающиеся с *я думаю, что* или *я полагаю, что*, отличались бы от предложений, начинающихся с *я говорю, что*, наклонением, модусом:

Я говорю (*тебе*), *что Шимон болен*
= '(Думаю о Шимоне) — говорю, что он болен'.

Нам кажется, что темой этого предложения (то, о чем идет речь в этом предложении) является Шимон, а не «я» (= человек, который произносит данное предложение). Предикат здесь *болен*, а не *говорю*: *говорю* — это лишь своего рода рамка, вводящая собственно предикат, подобная таким языковым выражениям, как *кажется*, *якобы*, *вроде*, *будто бы*.

Кажется, *что Шимон болен.*
Шимон, *вроде*, *болен.*
Шимон будто бы болен.
Говорят, *что Шимон болен.*

В этих предложениях речь явно идет не о людях, которые нечто говорят о Шимоне, а о самом Шимоне. Отвлекаясь от смысловых различий между выражениями *кажется*, *вроде*, *будто бы* и *говорят*, попробуем отразить в смысловой записи то, что у них есть общего — в соответствии с нашей интуицией:

'(Думаю о Шимоне) — люди говорят, что он болен'.

Аналогичную структуру можно приписать и предложению *Ян говорит*, *что Шимон болен:*

'(Думаю о Шимоне) — Ян говорит, что он болен'.

— в отличие от обычных предложений н а т е м у разговора типа:

'(Думаю о Яне) — он говорит, что Шимон болен'.

Обращает на себя внимание та огромная роль, которую играют в реальных текстах предикаты в составе метатекстовой рамки типа *говоря*, *что; он говорит*, *что; говорят*, *что; я бы сказал*, *что; можно сказать*, *что; не говорю*, *что; можно сказать*, *что; нельзя сказать*, *что; скажи*, *что; трудно сказать*, *что* и т. п. — такими выражениями изобилуют реальные высказывания. Так что если мы постулируем наличие этих формул в глубинных структурах также тех выражений, в которые они не входят, как, например, компаративов, слов *очень*, *скорее*, *совсем*, сравнений, гипербол, метафор, то мы этим не вызываем «духов», а включаем эти формулы в эмпирически хорошо подкрепленную широкую сеть метатекстовых предикатов.

Наблюдения над плотностью и радиусом действия этих предикатов, как в видимых, так и невидимых проявлениях в поверх-

ностной структуре текстов, наводят на следующую мысль: может быть, и не существует других предикатов, отличных от метатекстовых? В конце концов, ведь каждый предикат есть ч е й-т о предикат, он выражает суждение о предмете, является чьим-то диктумом. Может быть, даже предложение *Шимон болен* — это только сокращенное *Я говорю, что Шимон болен*? Может быть, вопрос *Шимон болен?* — это редуцированное *Спрашиваю (тебя), болен ли Шимон?* Может быть, просьбы, приказы, пожелания, советы и т. п. содержат в глубинной структуре элементы ‘прошу (тебя)’, ‘приказываю (тебе)’, ‘советую (тебе)’, ‘желаю (тебе)’, то есть по-разному модифицированное ‘говорю’? Может быть, ‘думать (о)’ и ‘говорить (о)’ — это два элементарных понятия, неотделимых от двучленной, субъектно-предикатной структуры простого предложения?

Поэтика средствами структурного анализа пытается установить, кто является автором того или иного художественного произведения, введенного в ткань текста (см. разд. «Уровень фразеологии» в [2]). Возможно, и в каждое высказывание «о чем-то» должен быть вписан «автор (Lokutor)», личность и *модус* которого должны быть выявлены в ходе семантического анализа?

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Выражение в скобках *думаю о* — это попытка экспликации части предложения, относящейся к его теме. Я бы предложила для высказываний типа S (есть) P (*Ян уехал*) следующую структуру: ‘(думаю о’ S) — знай, что S есть P, т. е. ‘(думаю о Яне) — знай, что Ян уехал’. Выражение *думаю о*, конечно, не то же самое, что утвердительное предложение *Я думаю о S*. Элемент ‘думаю о’ я склонна считать элементарным. Его введение в список неопределяемых выражений (= атомарных смыслов) позволяет исключить из этого списка две другие, ранее постулируемые в качестве indefinibilia единицы, а именно ‘полагаю’ и ‘такой, что’ (‘там что’), см. работу [13]. О семантических элементах ‘думаю о’ и ‘можно сказать’ речь пойдет в статье дальше.

Как вытекает из всего сказанного, я не рассматриваю конверсивы как синонимы: члены пар конверсивов отличаются глубинными структурами тематических элементов предложения; ср. «А больше, чем В» — ‘(думаю об А) — В могло бы быть его частью’ и «В меньше, чем А» — ‘(думаю о В) — В могло бы быть частью А’.

[2] Квадратные скобки здесь означают, что формула ‘нельзя/можно’ относится к взятой в скобки п а р е возможностей, а не к какой-то одной из них в отдельности.

[3] По поводу слова *скорее* (англ. rather) заметил еще О. Есперсен [9]: «Глаголы также поддаются сравнению; см. *Он скорее почувствовал, чем увидел, что она находится в комнате.* В действительности тут мы имеем скорее стилистическое, чем реальное сравнение: оно означает что-то вроде ‘«чувствовал» будет более правильным выражением, чем «видел»’. Аналогичное сравнение лежит в основе таких предложений, как *Скорее это напугало его*, где второй член сравнения не выражен, а смысл его может быть передан как ‘«напугало» здесь более уместное языковое выражение, чем какое-либо иное’. Подобное же рассуждение может быть применено и к таким предложениям, как *Есть вещи, которые мне больше чем не нравятся*, где опущен первый член сравнения: ‘«не нравятся» — слишком слабое выражение’».

[4] Предложенная здесь концепция семантической структуры метафор близка концепции Т. Добжиньской, содержащейся в работе [6].

[5] Х. Вайнрих [12] прямо говорит: «Метафора — это предицирование противоречия» (цит. по работе [7, р. 95]).

[6] См. в этой связи ясную аргументацию А. Богуславского в работе [5].

ЛИТЕРАТУРА

[1] Жолковский А. К., Мельчук И. А. О семантическом синтаксисе. — В сб.: Проблемы кибернетики. М., 1967.

[2] Успенский Б. Поэтика композиции. М., 1970.

[3] Black M. Models and Metaphor. Ithaca, 1962 (фрагмент этой работы в русском переводе см. в наст. сборнике).

[4] Bogusławski A. O interpolacji. — In: "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego", t. 20. Warszawa, 1961.

[5] Bogusławski A. O metaforze. — In: "Pamiętnik literacki", LXII, z. 4. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk, 1971.

[6] Dobrzyńska T. O interpretacji semantycznej niektórych wyrażen metaforycznych. — In: "Semantyka i słownik". Warszawa, 1900.

[7] Henel H. Metaphor and Meaning. — In: "The Disciplines of Criticism", P. Demetz (ed.). New Haven, 1968.

[8] Jakobson R. Two Aspects of Language and two Types of Aphasic Disturbances. — In: "Fundamentals of Language". Mouton Publishing 's-Gravenhage, 1956 (русский перевод см. в наст. сборнике).

[9] Jespersen O. The Philosophy of Grammar. London—New York, 1924 (русский перевод: Есперсен О. Философия грамматики. М., 1958).

[10] Richards I. A. The Philosophy of Retorics. New York, 1950 (русский перевод глав V и VI см. в наст. сборнике).

[11] Sapir E. Grading: A Study in Semantics. — In: Sapir E. Selected Writings, D. Mandelbaum (ed.). Berkeley, 1958 (русский перевод: Сепир Э. Градуирование. Семантическое исследование. — В сб.: Новое в зарубежной лингвистике, вып XVI. М., «Прогресс», 1985, с. 43—78).

[12] Weinrich H. Semantic der kühnen Metaphor. — In: "Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte", 37, 1963.

[13] Wierzbicka A. Dociekania semantyczne. Wrocław, 1969.

МАКС БЛЭК

МЕТАФОРА

Метафора не есть довод, моя дорогая.
В. Скотт. Приключения Нигеля*

Похвалить философа за метафору — все равно что похвалить логика за красивый почерк. В философии запрещено говорить о том, о чем можно говорить только метафорически, и это ставит метафору вне закона. Я хочу снять покров тайны с метафоры, которую философы, несмотря на их интерес к языку, до сих пор обходили. Литературным критикам чужда заповедь «Не совер-

---

Max Black. Metaphor. — In: M. Black. Models and Metaphor. Studies in Language and Philosophy. Ithaca—London, Cornell University Press, 1962, p. 25—47.

* Имеет смысл привести весь отрывок:

«— Метафора не есть довод, моя дорогая, — заметила, улыбаясь, леди Гермиона.

— И очень жаль, мадам, возразила Маргарет, — потому что это такой удобный способ обиняком высказать свое мнение, когда оно расходится с мнением старших. К тому же сравнений на эту тему можно придумать бесконечное множество, и все они будут вежливы и уместны.

— В самом деле? — отозвалась леди. — А ну-ка, послушаем хотя бы несколько из них.

— Вот, например, продолжала Маргарет, — было бы дерзко с моей стороны сказать вашей милости, что спокойной жизни я предпочитаю смену надежды и страха, или приязни и неприязни, или... ну и прочих чувств, о которых изволила говорить ваша милость. Но зато я могу сказать свободно, не боясь осуждения, что мне больше по душе бабочка, чем жук, трепещущая осина, чем мрачная шотландская сосна, которая никогда не шевельнет ни единой веткой, и что из всех вещей, созданных из дерева, меди и проволоки руками моего отца, мне более всего ненавистны отвратительные громадные старинные часы немецкого образца, — они так методически отбивают часы, получасы, четверти и восьмые, как будто это страшно важно и весь мир должен знать, что они заведены и идут. Право, дорогая леди, вы только сравните этого неуклюжего лязгающего урода с изящными часами, которые мейстер Гериот заказал моему отцу для вашей милости: они играют множество веселых мелодий, а каждый час, когда они начинают бить, из них выскакивает целая труппа мавританских танцоров и кружится под музыку в хороводе.

— А какие часы точнее, Маргарет? — спросила леди.

— Должна сознаться, что старые, немецкие, — ответила Маргарет. — Видно, вы правы, мадам: сравнение не довод, по крайней мере мне оно не помогло». (В. Скотт. Собр. соч. в 20 томах, т. 13. М.—Л., 1964, с. 317). — *Прим. перев.*

шай метафоры!» (“Thou shalt not commit metaphor”). Они не считают, что метафора несовместима с серьезным размышлением. Поэтому я позволю себе иногда обращаться к ним за помощью.

I

Вопрос, который мне бы хотелось рассмотреть, касается «логической грамматики» слова «метафора» и других слов, имеющих сходное значение. Для этого было бы желательно получить убедительные ответы на следующие вопросы: «Как мы узнаем метафору?», «Существуют ли какие-нибудь критерии для выделения метафор?», «Можно ли точно передать смысл метафоры другими словами?», «Является ли метафора простым украшением «чистого смысла»?», «Что общего между метафорой и сравнением?», «Для чего используются метафоры?», «В каком смысле можно говорить (если это вообще позволено), что метафора есть творческий акт?» (Или, короче, «Что означает слово “метафора”?») Цель этих вопросов прояснить некоторые употребления слова «метафора» или, если выразиться более терминологично, проанализировать соответствующий концепт.

Список этих вопросов составлен не слишком аккуратно, к тому же некоторые из них очевидно пересекаются. Но все же они проливают свет на исследование, которое я собираюсь предпринять.

Начнем со списка бесспорных метафор. Несмотря на туманность этого термина, некоторые его употребления очевидны. Поэтому такой список составить возможно. Мне кажется, что легче прийти к согласию в вопросе о частных случаях, чем об интерпретации понятия метафоры в целом.

Будем надеяться, что следующие примеры не будут идти вразрез с нашей интуицией:

(I) The chairman plowed through the discussion
‘Председательствующий с трудом пробивался через дискуссию’ (*букв.* ‘прокладывал путь’).

(II) A smoke screen of witnesses
букв. ‘Дымовая завеса свидетельств очевидцев’.

(III) An argumentative melody
‘Гармония доказательств’ (*букв.* ‘Мелодия доказательств’)

(IV) Blotting-paper voices (*Henry James*)
‘Тусклые, глухие голоса’ (*букв.* ‘Голоса, как промокательная бумага’) (*Генри Джеймс*).

(V) The poor are negroes of Europe (*Chamfort*)
‘Бедняки — это негры Европы’ (*Шамфор*).

(VI) Light is but the shadow of God (Sir *Thomas Browne*)
‘Свет — это только тень Бога’ (*Томас Браун*).

(VII) Oh dear white children, casual as birds,
Playing amid the ruined languages (*Auden*)

'О милые чистые дети, похожие на залетных птиц,
Играющие на руинах языков' (*Оден*).

Мне кажется, что все эти примеры — бесспорные метафоры независимо от наших последующих суждений об этом понятии. Представляя собой чистые случаи метафоры, они, однако (за исключением, возможно, первого примера), не могут быть приняты в качестве «парадигматических». Если бы мы объясняли значение слова «метафора», например, ребенку, мы бы привели более простые примеры, такие, как: The clouds are crying *букв.* 'Тучи плачут' или The Branches are fighting with one another *букв.* 'Ветки сражаются друг с другом'. (Случайно ли, что мы сразу же сталкиваемся с примерами олицетворения?) Но этим списком я хотел напомнить о сложностях, которые могут порождать даже относительно простые метафоры.

Рассмотрим первый пример: The chairman plowed through the discussion 'Председательствующий с трудом пробивался через дискуссию'. Здесь сразу же бросается в глаза контраст между словом plowed 'пробивался, прокладывал путь' (to plow, *букв.* 'пахать, бороздить, продираться...') и другими словами, которые его окружают. В подобных случаях мы обычно говорим, что слово plowed 'пробиваться, прокладывать путь' имеет метафорическое значение, а остальные слова употреблены буквально. Несмотря на то что мы привели предположение целиком как образец («чистый случай») метафоры, наше внимание сразу концентрируется на одном-единственном слове, в котором и кроется причина метафоричности. То же самое можно сказать и о следующих четырех примерах в списке, где центром являются слова: smoke screen 'дымовая завеса', argumentative 'любящий спорить, приводящий аргументы', blotting-paper 'промокательная бумага' и negroes 'негры'. (В двух последних примерах ситуация сложней. Можно предположить, что в цитате из Томаса Брауна слово light 'свет' употреблено символически и означает нечто совершенно иное, чем в учебнике по оптике. Здесь метафорический смысл выражения the shadow of God 'тень Бога' создает более богатый смысл у субъекта предложения. Аналогичный эффект можно отметить и в отрывке из Одена, — ср., например, значение слова white 'чистые, *букв.* белые' в первой строке. Далее я не буду обращаться к таким сложным примерам.)

Когда мы говорим о метафоре, мы приводим в качестве примера простые предложения или словосочетания, в которых некоторые слова употреблены метафорически, а остальные — в своем обычном значении. Стремление породить предложение, целиком состоящее из слов-метафор, приводит к созданию пословиц, аллегорий или загадок. Наше предварительное представление о метафоре не пропустит даже такой избитый пример, как: In the night all cows are black *букв.* 'Ночью все коровы черные'.

Примеры символизма (в том смысле, в каком замок Кафки — «символ») тоже требуют отдельного рассмотрения.

II

Рассматривая предложение The chairman plowed through the discussion (*букв.* 'Председатель собрания продирался через дискуссию') как пример метафоры, мы подразумеваем, что в нем по крайней мере одно слово (в данном случае plowed 'продирался') используется метафорически, а из остальных слов по крайней мере одно используется в буквальном смысле. Мы будем называть слово plowed фокусом (focus) метафоры, а его окружение — рамкой (frame). (Не прибегаем ли мы сейчас к метафорам, наслаивая их друг на друга? Имеет ли это значение?) Понятие, которое нам следует прояснить, — это «метафорическое использование» фокуса метафоры. Было бы, в частности, интересно понять, каким образом одна рамка дает метафору, в то время как другая рамка для того же слова не порождает никакой метафоры.

Если предложение о действии председателя собрания перевести пословно на любой иностранный язык, для которого это возможно, то мы, конечно, скажем, что полученные выражения содержат одну и ту же метафору. Итак, отнести предложение к разряду метафорических — значит сказать нечто о его значении, а не об орфографии, фонетике, интонации или грамматике[1]. (В рамках хорошо известного различия между синтаксисом и семантикой метафора должна быть отнесена именно к области семантики и, конечно, не к области исследований физического аспекта языка.)

Положим, что кто-нибудь сказал I like to plow my memories regularly (*букв.* 'Я люблю продираться через свои воспоминания'). Можно ли утверждать, что в данном случае говорящий использовал ту же самую метафору, что и в примере с председателем собрания? Ответ на этот вопрос будет зависеть от того, какую степень сходства мы припишем двум сравниваемым рамкам (ибо «фокус» в обоих случаях один и тот же). Различия в рамках повлекут за собой некоторые различия во взаимодействии (interplay)[2] между фокусом и рамкой. Вопрос, являются ли эти различия достаточными, чтобы различать также и метафоры, решается по соглашению. Метафора — слово в лучшем случае с неопределенным значением, и не следует ограничивать его употребление более жесткими правилами, чем те, которые существуют на практике.

До сих пор я рассматривал метафору просто как предикат, который можно употребить по отношению к некоторым выражениям, и не обращал внимания на обстоятельства, при которых используются эти выражения, а также на мысли, действия, чувства говорящих в этих обстоятельствах. Для некоторых

выражений это, безусловно, оправданно. Вполне очевидно, что назвать человека a cesspool 'помойка' — значит использовать метафору, а для этого нам не надо знать, кто употребил это выражение, при каких обстоятельствах и с какими намерениями. Правилами нашего языка задано, что некоторые выражения должны восприниматься как метафоры: говорящий не в силах здесь ничего изменить, так же как он не может установить, чтобы корову называли овцой. Но вместе с тем нам следует признать, что правила языка оставляют широкий простор для варьирования, индивидуальной инициативы и творчества. Существует бесчисленное множество контекстов (и практически к их числу принадлежат все интересные случаи), где значение метафорического выражения должно реконструироваться с учетом намерений говорящего (и других частностей), так как правила стандартного употребления слишком широки для того, чтобы обеспечить нас необходимой информацией. Когда Черчилль в своей знаменитой фразе назвал Муссолини that utensil 'этот пустой горшок' (*букв.* 'посуда, утварь'), то интонация, словесное окружение, исторический фон — все способствовало правильному пониманию этой метафоры. (Но и тут трудно себе представить, чтобы выражение that utensil было использовано в приложении к человеку иначе, чем оскорбление. Здесь, как и везде, общие правила употребления ограничивают свободу говорящего употреблять слова так, как ему захочется.) Этот пример, несмотря на свою простоту, достаточно ярко показывает, что вычленение и интерпретация метафоры может нуждаться в обращении к о с о б ы м о б с т о я т е л ь с т в а м ее произнесения.

Стоит подчеркнуть, что в общем не существует стандартных правил для определения степени в е с о м о с т и (weight) или с и л ы (эмфазы — emphasis), которая должна быть приписана тому или иному употреблению выражения. Для того чтобы понять, что имеет в виду говорящий, нам надо знать, насколько «серьезно» он относится к фокусу метафоры. (Довольствуется ли он приблизительным синонимом или выбирает именно э т о слово, которое и является единственно возможным? Должны ли мы воспринимать это слово как само собой разумеющееся и обращать внимание только на его наиболее общие импликации — или же мы должны более подробно остановиться на его не столь очевидных ассоциациях?) В живой речи большую помощь нам могут оказать эмфаза и интонация. Но в письменном или печатном тексте нет даже этих минимальных показателей. А ведь эта ускользающая «сила»[3] имеет огромное практическое значение в толковании метафоры.

Рассмотрим пример из философии. Будет ли выражение «логическая форма» интерпретироваться как метафора, зависит от того, насколько говорящий осознает аналогию между аргументами и другими объектами (вазами, тучами, битвами, шутками), о которых говорят, что они имеют «форму». В еще большей сте-

пени это зависит от того, хочет ли говорящий, чтобы эта аналогия была активизирована в сознании слушателей, а также от того, насколько сильно его собственная мысль зависит от этой аналогии и питается ею. Нельзя ожидать, что «правила языка» окажутся здесь очень полезными. (Значит, существуют такие особенности метафоры, которые относятся скорее к «прагматике», чем к «семантике», — именно они, возможно, и заслуживают особого внимания.)

III

Сейчас мы попробуем дать самое простое из возможных объяснений значения уже знакомого нам предложения The chairman plowed through the discussion и посмотрим, к чему оно нас приведет. Объяснение значения (для тех, кто склоняется к буквальному прочтению предложения) может звучать примерно так: «Говорящий хочет сказать ч т о-т о о председательствующем и его действиях во время дискуссии. Вместо того чтобы сказать ясно и п р я м о, что председательствующий решительно и по существу реагировал на все возражения, отметая не относящиеся к делу вопросы, или еще что-нибудь в этом роде, говорящий использует слово plowed, которое, строго говоря, означает нечто иное. Понятливому слушателю несложно догадаться, что имел в виду говорящий»[4]. Согласно этой точке зрения, метафорическое выражение, назовем его M, является субститутом некоторого другого — буквального (literal) выражения, скажем, L, которое, будучи употреблено вместо метафоры, выражало бы тот же самый смысл. Иными словами, значение метафорического выражения M совпадает с б у к в а л ь н ы м значением выражения L. Согласно этой точке зрения, метафорическое использование выражения состоит в его употреблении в таком смысле, который отличен от его обычного или прямого смысла, и в таком контексте, который способствует выявлению этого непрямого или нестандартного смысла. (Основания этой точки зрения будут рассмотрены ниже).

Любую теорию, согласно которой метафорическое выражение всегда употребляется вместо некоторого эквивалентного ему буквального выражения, я буду считать проявлением с у б с т и т у ц и о н а л ь н о г о в з г л я д а н а м е т а ф о р у (a substitution view of metaphor). (Мне бы хотелось закрепить это название также за подходом, согласно которому любое предложение, содержащее метафору, рассматривается как замещающее некоторый набор предложений с прямым значением.) Вплоть до настоящего времени субституциональная точка зрения в той или иной форме принимается большинством авторов (обычно литературными критиками и авторами книг по риторике), которые имеют сказать что-нибудь о метафоре. Назовем некоторых из них. Уэйтли определяет метафору как «слово, которое замещает

другое слово в силу Сходства или Аналогии между тем, что они обозначают» [10, р. 280]. Шагнув сразу в настоящее время, читаем сходную по мысли статью в Оксфордском словаре: «Метафора: фигура речи, заключающаяся в том, что имя или дескриптивное выражение переносится на некоторый объект, отличный от того объекта, к которому, собственно, применимо это выражение, но в чем-то аналогичный ему; результат этого — метафорическое выражение»[5]. Эта точка зрения настолько укоренилась, что сейчас автор, который отстаивает другой, более сложный (sophisticated) взгляд на метафору, сползает тем не менее к ее старому определению: «говорить одно, а иметь в виду другое»[6].

Согласно субституциональной концепции, фокус метафоры (то есть явно метафорическое слово или выражение, вставленное в рамку прямых значений слов) служит для передачи смысла, который в принципе мог бы быть выражен буквально. Автор использует M вместо L; задача читателя — осуществить обратную замену: на основе буквального значения выражения M установить буквальное значение выражения L. Понимание метафоры подобно дешифровке кода или разгадыванию загадки.

На вопрос, почему писатель должен заставлять своих читателей решать головоломки, можно получить ответы двух типов. Нам могут указать на то, что в языке может просто отсутствовать буквальный эквивалент, то есть L. Математики говорят о стороне (leg, то есть букв. 'о ноге') треугольника, потому что не существует сжатого буквального выражения для обозначения ограничивающей линии треугольника; мы говорим cherry lips *букв.* 'губы-вишни', потому что нет другого выражения, которое было бы хотя бы наполовину столь же кратким и точным. Метафора покрывает лакуны в словаре буквальных наименований (или по крайней мере удовлетворяет потребность в подходящем сокращенном названии). Рассмотренная с этой точки зрения, метафора является разновидностью катахрезы, под которой я понимаю использование слова в некотором новом смысле с целью заполнить брешь в словаре. Катахреза — это вкладывание новых смыслов в старые слова[7]. Однако если катахреза действительно вызывается потребностью, то вновь приобретенный смысл быстро становится буквальным. Слово *оранжевый* (orange букв. 'апельсиновый') как обозначение цвета своим появлением обязано катахрезе, однако сейчас употребляется по отношению к цвету столь же «естественно» (и неметафорично), как и по отношению к апельсину. *Соприкасающиеся кривые* (osculating curves букв. 'целующиеся кривые') целовались недолго, и их контакт быстро обрел более прозаический математический смысл. Аналогично обстояло дело и во многих других случаях. Такова уж судьба катахрезы: оказываясь удачной, исчезать.

Есть, однако, множество метафор, в которых не могут проявиться достоинства, присущие катахрезе, поскольку уже существуют (или предполагается, что существуют) краткие слова-экви-

валенты с буквальным значением). Так, например, что касается изрядно надоевшего всем примера Richard is a lion 'Ричард — лев'[8], который современные авторы обсуждают с утомительной настойчивостью, то принимается, что его буквальное значение совпадает с буквальным значением предложения Richard is brave 'Ричард храбрый[9]. В подобных случаях метафора не предназначена для обогащения словаря.

Когда на помощь не может быть призвана катахреза, замены буквальных выражений метафорическими объясняются стилистическими причинами. Высказывается мнение, что метафорическое выражение (в его буквальном употреблении) зачастую относится к более конкретному объекту, нежели его буквальный эквивалент, и это доставляет читателю удовольствие (поворот мыслей от Ричарда к никак с ним не связанному льву). Или же читателю приятно решать головоломки, или он радуется умению автора наполовину скрыть, наполовину обнаружить истинный смысл, или же он находится в состоянии «приятного удивления» и т. д. Все эти «объяснения», как мне кажется, основываются на следующем принципе: если у тебя вызывает сомнение какая-нибудь особенность языка, приписывай ее существование удовольствию, которое она доставляет читателю. Неоспоримое достоинство этого принципа заключается в том, что он проходит всегда, даже при отсутствии каких-либо свидетельств в его пользу[10].

Независимо от достоинств этих рассуждений о реакции читателя всех их роднит то, что они делают из метафоры украшение. За исключением катахрезы, призванной восполнить пробел в словаре буквальных наименований, цель метафоры — развлечение и забава. Ее употребление, согласно этой точке зрения, представляет собой отклонение «от ясного и прямого способа выражения» [10][11]. Итак, если философы стремятся к более важной цели, чем просто доставить удовольствие своим читателям, то метафоре нет места в философской литературе.

IV

Точка зрения, согласно которой значение метафорического выражения есть не что иное, как трансформация его буквального смысла, является частным случаем более общей теории «образного» языка. В этой теории принимается, что любая фигура речи, содержащая семантическое изменение (а не просто синтаксическое изменение, подобное инверсии), возникает вследствие трансформации буквального значения. Автор выражает не тот смысл m, который он имеет в виду, а некоторую функцию от него, $f(m)$; в задачу читателя входит применить обратную функцию f^{-1}, чтобы достичь $f^{-1}(f(m))$, т. е. m или буквального значения высказывания. Различные тропы задаются различными функциями. Так, в случае иронии автор говорит противо-

положное тому, что он имеет в виду; в случае гиперболы — преувеличивает его значение и т. д.

Естественно возникает вопрос о характере трансформирующей функции в случае метафоры. В качестве таковой обычно называют аналогию или сходство, то есть считают, что выражение *M* по значению аналогично своему буквальному эквиваленту *L* или сходно с ним. Если читатель понял суть подразумеваемой аналогии или сходства (на основе словесного окружения или из более широкого контекста), то ему будет несложно проследовать путем, обратным тому, по которому шел автор, и достичь таким образом первоначального буквального значения (значения выражения *L*).

Считать, что в основе метафоры лежит демонстрация сходства или аналогии — значит придерживаться теории, которую я буду называть сравнительной точкой зрения на метафору (comparison view). Когда Шопенгауэр называл геометрическое доказательство мышеловкой, он, согласно этой точке зрения, говорил, хотя и не эксплицитно, буквально следующее: «Геометрическое доказательство похоже на мышеловку; и в том, и в другом случае обещанное вознаграждение не более чем обман: как только жертва позволила себя заманить, она тут же сталкивается с неприятной неожиданностью и т. д.». Это точка зрения на метафору как на эллиптическое или сжатое сравнение. Необходимо отметить, что, поскольку, согласно «сравнительной точке зрения», метафорическое утверждение может быть заменено эквивалентным ему сравнением, она является разновидностью субституциональной концепции метафоры.

Уэйтли пишет: «Сравнение можно рассматривать как отличное от Метафоры только по форме: в случае Сравнения сходство утверждается, а в случае Метафоры — подразумевается»[12]. А. Бейн говорит о том, что «метафора — это сравнение, имплицируемое самим использованием слова или выражения», и добавляет: «Когда мы рассматриваем особенности метафоры — ее положительные и отрицательные стороны, — мы ограничены рамками слова или в лучшем случае — словосочетания» [2, p. 159]. Точка зрения на метафору как на сжатое сравнение популярна и в настоящее время.

Основное различие между субституциональной концепцией (рассмотренной ранее) и ее разновидностью, которую я называю сравнительной точкой зрения, можно показать на вышеприведенном примере Richard is a lion. Согласно первой точке зрения, это предложение означает приблизительно то же, что и Richard is brave, согласно второй точке зрения — приблизительно то же самое, что Richard is like a lion (in being brave) 'Ричард (своей храбростью) похож на льва', причем стоящие в скобках слова только предполагаются, но эксплицитно не употребляются. И в первом, и во втором случае принимается, что метафорическое утверждение употреблено вместо некоторого буквального

эквивалента. Но при сравнительной точке зрения требуется более детальная перефраза, поскольку утверждение сделано как о Ричарде, так и о льве[13].

Главное возражение против сравнительной точки зрения заключается в том, что она страдает расплывчатостью, граничащей с бессодержательностью. Предполагается, что нас интересует, каким образом выражение (M), употребленное метафорично, может функционировать вместо некоторого буквального выражения (L), синонимичного ему. Ответ гласит: то, что обозначает M (в его буквальном употреблении), п о х о ж е на то, что обозначает L. Насколько все это информативно? Конечно, хочется думать о сходствах как об «объективно данном», чтобы на вопрос вида «Похоже ли A на B в отношении P?» всегда можно было дать ясный и определенный ответ. Но если бы это было так, то к сравнениям можно было бы приложить правила столь же четкие, как те, на которых построена физика. Однако сходство всегда имеет степени, поэтому действительно «объективный» вопрос должен принять несколько иную форму: «Является ли A больше похожим на B, чем на C, по некоторой шкале признака P?» Однако, чем точнее становятся наши вопросы, тем быстрее исчезает смысл и сила употребления метафорических утверждений. Мы нуждаемся в метафорах как раз в таких случаях, когда не может быть и речи о какой-либо точности, тем более о точности научных утверждений. Целью метафоры не является замещение формального сравнения или любого другого буквального утверждения, у нее — свои собственные отличительные признаки и задачи. Когда мы говорим: «X есть M», мы часто тем самым постулируем существование некоторой воображаемой связи между M и воображаемым L (или, скорее, неопределенной системой L_1, L_2, L_3...), хотя без метафоры нам было бы трудно найти какое-либо сходство между M и L. В ряде случаев было бы более правильно говорить, что метафора именно с о з д а е т, а не выражает сходство[14].

V

А сейчас я перейду к рассмотрению подходов, которые буду называть интеракционистской точкой зрения на метафору (interaction view). На мой взгляд, она лишена главных недостатков субституциональной и сравнительной точек зрения и проникает в суть употребления метафор и границ самого этого понятия[15].

Начнем со следующего утверждения: «Когда мы используем метафору, у нас присутствуют две мысли о двух различных вещах, причем эти мысли взаимодействуют между собой внутри одного-единственного слова или выражения, чье значение как раз и есть результат этого взаимодействия» [см. наст. изд., с. 46][16]. Понять, что здесь имеется в виду, нам поможет проведенный с этих позиций анализ одного из самых первых примеров, The

poor are the negroes of Europe 'Бедняки — это негры Европы'. Согласно субституциональной точке зрения, здесь в неявном виде что-то говорится о бедняках Европы. (Но что именно? Что они угнетенный класс, вечный вызов официально провозглашаемым идеалам, что бедность — наследуемая и несмываемая черта?) Согласно сравнительной точке зрения, это выражение содержит сравнение между бедняками и неграмотными. В противовес обеим этим точкам зрения, Ричардс бы сказал, что наши «мысли» о европейских бедняках и американских неграх «взаимодействуют» и «проникают друг в друга», чтобы в результате породить новый смысл.

Если я не ошибаюсь, это означает, что в данном контексте фокусное слово «негры» приобретает новое значение, о котором нельзя сказать, ни что оно полностью совпадает со своим буквальным значением, ни что оно равно буквальному значению любого другого слова, допустимого данным контекстом. Новый контекст («рамка» метафоры, в моей терминологии) вызывает расширение значения фокусного слова. Ричардс, похоже, имеет в виду, что для того, чтобы метафора работала, читатель постоянно должен сознавать расширение значения и обращаться к старому и новому значениям одновременно[17].

Но как происходит это расширение или изменение значения? С одной стороны, Ричардс говорит об «общих признаках» двух имен (бедные и негры) как об «основе метафоры» (наст. изд., с. 59), в силу чего в своем метафорическом употреблении слово (или выражение) должно обозначать или относиться только к выборке из характеристик, которые присущи слову в его буквальном употреблении. Это, однако, представляется возвращением к прежней, более поверхностной точке зрения, которую Ричардс как раз и пытался обойти[18]. Когда Ричардс говорит, что читатель должен «связать» два предмета (наст. изд., с. 64), он находится на более верном пути. В этом соединении и кроется тайна метафоры. Говорить о «взаимодействии» двух мыслей, «бьющих в одну точку» (или об их «взаимном влиянии» и «со-действии»), — значит прибегать к метафоре, надеясь на правильное восприятие ее опытным читателем. Я не вижу ничего плохого в использовании метафор в разговоре о метафоре. Наоборот, их надо использовать сразу несколько, чтобы предупредить однобокость понимания.

Попробуем, например, поговорить о метафоре как о фильтре. Рассмотрим следующее высказывание: Man is a wolf 'Человек — это волк'. Здесь можно выделить два субъекта: главный субъект (principal subject) — человек (или люди) — и вспомогательный субъект (subsidiary subject) — волк (или волки). Ясно, что если читатель вообще ничего не знает о волках, то истинный смысл предложения останется ему неизвестен. Впрочем, от читателя здесь требуется не так уж много: надо, чтобы он знал стандартное словарное значение слова «волк» и был способен употребить это слово в его буквальном значении, — точнее, чтобы читатель

знал то, что дальше я буду называть **системой общепринятых ассоциаций** (The system of associated commonplaces). Представьте себе человека, который, не будучи специалистом по волкам, говорит то, что он считает истинным об этих животных, — набор его утверждений и будет приближаться к системе общепринятых ассоциаций, связанных со словом «волк». Я полагаю, что у представителей одной и той же культуры ответы на предложенный тест должны быть довольно близкими, и даже уникальный знаток волков все-таки будет знать, «что думает о них простой человек». В отличие от научного знания система общепринятых ассоциаций может содержать полуправду и даже ошибочные сведения (например, часто распространено представление о ките как о рыбе), но для метафоры важна не истинность этих ассоциаций, а их быстрая активизируемость в сознании. (В силу этого метафора, действенная в рамках одной культуры, может оказаться абсурдной в другой). Там, где верят, что в волков вселяются души умерших людей, утверждение «Человек — это волк» будет интерпретироваться иначе, чем нами.

По-другому это можно выразить следующим образом. Употребление слова «волк» в его буквальном значении следует синтаксическим и семантическим правилам, нарушение которых ведет к абсурду или противоречию. Кроме того, я считаю, что буквальное употребление слова обычно создает у говорящего некоторый набор стандартных представлений (beliefs) о волках и эти представления в принципе разделяются всеми членами данной языковой общности. Отрицать какие-либо из этих представлений (например, утверждать, что волки не едят мяса или что их легко приручить) — значит говорить заведомые парадоксы и провоцировать со стороны слушающего просьбу объяснить сказанное. Когда человек произносит слово „волк", молчаливо предполагается, что он непременно имеет в виду свирепое, плотоядное, вероломное и т. д. животное. Идея волка является частью общей системы идей и представлений, пусть не вполне четко очерченных, но все же достаточно определенных для того, чтобы позволить детальное перечисление.

Следовательно, эффект (метафорического) использования слова «волк» применительно к человеку состоит в актуализации соответствующей системы общепринятых ассоциаций. Если человек — волк, то он охотится на остальных живых существ, свиреп, постоянно голоден, вовлечен в вечную борьбу и т. д. Все эти возможные суждения должны быть мгновенно порождены в сознании и тотчас же соединиться с имеющимся представлением о главном субъекте (о человеке), образуя пусть даже необычное сочетание смыслов. Если метафора вообще приемлема, то все происходит именно так — по крайней мере в общих чертах. В рассматриваемом случае слушатель, чтобы построить нужную систему импликаций относительно главного субъекта, будет руководствоваться системой импликаций о волках. Полученные импликации не будут совпа-

дать с общепринятыми ассоциациями, вызываемыми буквальными употреблениями слова «человек». Новые импликации детерминированы системой импликаций, актуальных для буквального употребления слова «волк». Те присущие человеку черты, о которых без всякой натяжки можно говорить на «волчьем языке», сразу окажутся важными, а другие отойдут на задний план. Метафора человека-волка устраняет одни детали и подчеркивает другие, организуя таким образом наш взгляд на человека.

Предположим, что я смотрю на ночное небо через закопченное стекло, на котором в некоторых местах прорисованы чистые линии. Тогда я буду видеть только те звезды, которые лежат на этих линиях, а картину звездного неба можно будет рассматривать как организованную системой этих линий. Нельзя ли считать метафору таким же стеклом, а систему общепринятых ассоциаций фокусного слова — сетью прочерченных линий? Мы как бы «смотрим» на главный субъект «сквозь» метафорическое выражение — или, говоря другими словами, главный субъект «проецируется» на область вспомогательного субъекта. (Согласно последней аналогии, система импликаций фокусного выражения может рассматриваться как определяющая «закон проекции».)

Или возьмем другой пример. Предположим, что я задался целью описать военное сражение словами, взятыми из шахматной терминологии. Эти слова зададут систему импликаций, которая будет контролировать описание сражения. Выбор шахматного языка повлечет за собой упор на вполне определенные особенности сражения при игнорировании других особенностей. Организованное таким образом описание оказалось бы разрушенным при изменении точки отсчета. Шахматная терминология выступает, таким образом, в виде фильтра, и она не только регулирует отбор, но и приписывает особую значимость тем аспектам сражения, которые при другом способе описания могли бы остаться незамеченными (подобно небесным телам, которые можно увидеть только в телескоп).

Мы не можем также не сказать о сдвигах, которые вследствие использования метафорических выражений происходят в нашем отношении к тем или иным объектам. Волк (конвенционально) считается животным, вызывающим страх и ненависть, и назвать человека волком — значит подразумевать, что он тоже вызывает страх и ненависть (и, таким образом, закрепить и усилить негативное отношение к волкам). Что касается шахматного языка, то его обычное использование, служащее целям описания соответствующей игры, полностью лишено эмотивности: описать сражение в терминах шахматной игры — значит остаться бесстрастным ко всему тому, что могло бы затронуть сферу чувств. (Такого рода побочные явления не столь уж редки и в философии при использовании метафор.)

«Интеракционистская точка зрения», будучи проведенной до конца, обязательно должна содержать указание на то, что не-

которые признаки из «системы общепринятых ассоциаций» сами испытывают метафоризацию при переходе от вспомогательного субъекта к главному. Но эти изменения вряд ли могут быть объяснены в рамках имеющейся теории. Конечно, можно сказать, что основная метафора анализируется с помощью ряда подчиненных метафор, но тогда объяснение возвращается в исходную точку или же ведет к дурной бесконечности.

На это в свою очередь могут возразить, что не все изменения значения в «системе общепринятых ассоциаций» могут рассматриваться как метафорические сдвиги. Многие из них лучше рассматривать как простое расширение значения, поскольку они не основываются на связи между двумя системами концептов. Я не берусь объяснить, как происходит такое расширение или сдвиг значения, но не думаю, что ко всем случаям подошло бы одно и то же объяснение. (На ум сразу же приходит «аналогия», но более внимательное рассмотрение показывает, что одной аналогии недостаточно: изменения значения часто контекстно обусловлены, а иногда вообще не поддаются рациональному объяснению.)

Я не склонен отрицать, что метафора может содержать подчиненные метафоры, но, как мне кажется, эти метафоры обычно не столь «эмфатичны», то есть их импликации не акцентируются. (Импликации метафоры подобны обертонам музыкального аккорда: приписывать этим импликациям слишком большую «силу» было бы столь же нелепо, как стараться заставить звучать обертоны так же громко, как основные тоны.) Впрочем, главная и подчиненная метафоры обычно принадлежат одной и той же области дискурса и поэтому усиливают одну и ту же систему импликаций. И наоборот, если качественно новые метафоры возникают тогда, когда главная метафора не ясна до конца, то есть риск запутаться окончательно («смешанные метафоры» вообще не одобряются).

Таким образом, если изложенная в этом разделе точка зрения претендует на адекватность, она нуждается в коррекции. Обращение к «общепринятым ассоциациям» будет удовлетворять только самым стандартным случаям, когда автор просто опирается на объем общего знания (в том числе и ошибочного), имеющегося у него самого и у читателя. Но в стихах или в хорошей прозе писатель может прежде создать новую систему импликаций для буквальных значений ключевых выражений, которые затем он употребляет метафорически. (Например, автор, путем разъяснения того значения слова «контракт», которое он имеет в виду, может подавить нежелательные импликации, присущие этому слову, чтобы потом спокойно приступить к изложению одобряемой им контрактной теории суверенитета. Или хорошо знающий волков биолог может рассказать нам о них много интересного, и *его* описание человека как волка будет сильно отличаться от обычного использования этого выражения.) В основе метафор

могут лежать как общепринятые ассоциации, так и созданные специально для конкретных случаев системы импликаций: им не обязательно быть уже готовым изделием, они могут быть созданы по специальному заказу.

Было бы упрощением считать, что система импликаций метафорического выражения не испытывает воздействия со стороны метафорического утверждения. Предполагаемая сфера употребления детерминирует характер нужной системы (как если бы звезды могли задавать некоторые параметры стекла, через которое ведется наблюдение). Конечно, назвать человека волком — значит увидеть его в особом свете, но не надо забывать и о том, что метафора позволяет посмотреть другими глазами и на волка и увидеть в нем что-то от человека. Такими изменениями взгляда мы обязаны исключительно метафоре.

Я надеюсь, что «интеракционистская точка зрения» способна вместить подобные усложнения.

VI

Поскольку предыдущее изложение было посвящено преимущественно анализу и разбору примеров, то в этом разделе было бы уместно сформулировать и представить в виде резюме основные различия между «интеракционистской» точкой зрения, с одной стороны, и «субституциональной» и «сравнительной» точками зрения — с другой.

«Интеракционистская» точка зрения, как она была изложена мной, сводится к следующим семи требованиям:

(1) Метафорическое суждение имеет два различных субъекта — главный и вспомогательный[19].

(2) Эти субъекты зачастую выгоднее рассматривать как «системы» (systems of things), чем как глобальные объекты (things).

(3) Механизм метафоры заключается в том, что к главному субъекту прилагается система «ассоциируемых импликаций», связанных со вспомогательным субъектом.

(4) Эти импликации обычно есть не что иное, как общепринятые ассоциации, связанные в сознании говорящих со вспомогательным субъектом, но в некоторых случаях это могут быть и нестандартные импликации, установленные автором ad hoc.

(5) Метафора в имплицитном виде включает в себя такие суждения о главном субъекте, которые обычно прилагаются к вспомогательному субъекту. Благодаря этому метафора отбирает, выделяет и организует одни, вполне определенные характеристики главного субъекта, и устраняет другие.

(6) Это влечет за собой сдвиги в значении слов, принадлежащих к той же самой семье или системе, что и метафорическое выражение, и некоторые из этих сдвигов, хотя и не все, могут быть метафорическими переносами. (Вторичные метафоры должны, однако, прочитываться менее «эмфатично».)

(7) Не существует, вообще говоря, никаких «предписаний» относительно обязательности сдвигов значения — никакого общего правила, которое позволило бы объяснить, почему некоторые метафоры проходят, а другие нет.

Простое сравнение показывает, что пункт (1) несовместим с простейшими формами «субституциональной» точки зрения, пункт (7) в самой своей формулировке расходится со «сравнительной» точкой зрения, а остальные пункты дают основание считать «сравнительную» концепцию неадекватной.

Однако не стоит чрезмерно подчеркивать различия между этими тремя воззрениями. Если бы мы стали настаивать, что только примерам, удовлетворяющим всем семи перечисленным требованиям, дозволено считаться «истинными» метафорами, мы должны были бы ограничить правильное употребление слова «метафора» очень узким кругом случаев. Полностью принять это определение — значило бы свести рассмотрение только к исключительно интересным и сложным примерам[20]. Такое сужение обычного употребления слова «метафора» оставило бы нас без подходящего термина для описания более тривиальных примеров, а ведь для них «субституциональная» или «сравнительная» точки зрения зачастую выглядят более убедительно, чем «интеракционистская». Вопрос может быть решен путем классификации метафор на случаи субституции, сравнения и взаимодействия. Для философии имеет значение только последняя разновидность.

Что касается метафор-субститутов и метафор-сравнений, то они вполне могут быть заменены буквальными переводами (исключая, возможно, случаи катахрезы) — конечно, с потерей некоторой доли обаяния остроты и живости, но без потери когнитивного содержания. А «метафоры взаимодействия» невосполнимы. Их механизм требует, чтобы читатель использовал систему импликаций (или систему «общепринятых ассоциаций», или особую систему, созданную для данного конкретного случая) как средство для выбора, акцентирования и связывания в систему признаков, важных для некоторой другой сферы. Такое использование «вспомогательного субъекта» в целях более глубокого понимания характера «главного субъекта» — особая интеллектуальная операция (хотя и знакомая нам по опыту изучения чего бы то ни было), требующая одновременного наличия в сознании представлений об обоих субъектах, но не сводимая к простому их сравнению.

Предположим, что мы захотели передать когнитивное содержание «метафоры взаимодействия» «простым языком». Мы, конечно, с успехом можем назвать некоторое количество релевантных связей между двумя субъектами (хотя в силу расширения значения, сопровождающего сдвиг в импликационной системе вспомогательного субъекта, нельзя ожидать слишком многого от буквальной парафразы). Но полученные неметафорические утверждения не обладают и половиной проясняющей и инфор-

мирующей силы оригинала. Импликации, выделение и упорядочение которых согласно степени их приоритета и важности составляло приятную обязанность самого читателя, теперь все предъявлены ему открыто — и как бы имеют равный статус. Буквальная парафраза неизбежно говорит слишком много, причем с неправильной эмфазой. Я особенно хочу подчеркнуть, что в данном случае речь идет о потерях в когнитивном содержании. Недостатки буквальной парафразы заключаются не в утомительном многословии, чрезмерной эксплицитности и дефектах стиля, а в том, что она лишена того проникновения в суть вещей, которое свойственно последней.

Впрочем, разъяснения оснований метафоры — которые только не надо рассматривать как адекватный в когнитивном отношении субститут метафоры — могут быть чрезвычайно плодотворны и полезны. Ее Величеству Метафоре это может повредить не больше, чем музыке — изучение ее гармонической и мелодической структуры. Конечно, метафоры опасны — и, возможно, наиболее опасны в философии. Но запретить их использование — значит намеренно ограничить способности нашего разума к поиску и открытию[21].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Метафорически может быть использована любая часть речи (хотя в случае союзов результаты неинтересны), а место фокуса метафоры не является синтаксически фиксированным.

[2] Здесь я пользуюсь терминологией «интеракционистской точки зрения» на метафору, которая будет рассмотрена ниже.

[3] Я хочу, чтобы здесь это слово прочитывалось с минимальной «силой», какая только возможна.

[4] Заметим, что этот тип парафразы обычно содержит намек на некоторую «провинность» автора метафоры. Считается, что говорящий должен всегда стремиться к точному выражению своих мыслей, — а метафора лишена необходимой четкости и лишь вуалирует неясность и неопределенность мысли.

[5] В статье «Фигура» читаем: «Фигура: любая из многих «форм» выражения, нарушающая правила расположения или употребления слов и придающая повествованию красоту, разнообразие или силу. Примеры фигур: апосиопеза, гипербола, метафора и т. д.». Последовательное проведение этого определения привело бы к отказу от статуса метафорических за теми переносными употреблениями слов, которые не служат красоте, разнообразию или силе. Разве разнообразие (variety) автоматически оправдывает любой перенос? Впрочем, определение, которое приводится в Оксфордском словаре, ничуть не лучше определения Уэйтли. Там, где Уэйтли говорит о «слове», которое выступает в роли субститута, Оксфордский словарь предпочитает говорить об «имени или дескриптивном выражении». Если здесь кроется попытка свести метафоры к существительным (и прилагательным?), то она бесплодна. Если нет, то что же тогда имеется в виду под «дескриптивным выражением»? И почему обращение Уэйтли к «сходству или аналогии» ограничивается в конце концов только сходством?

[6] См. статью [3], где на с. 111 дается определение метафоры, о которой говорится как об особом случае неточности (неряшливости — tarning). Статья заслуживает, чтобы ее прочитали полностью.

[7] Оксфордский словарь английского языка определяет катахрезу следующим образом: «Катахреза: неправильное использование слов; употребление имени по отношению к объекту, который данное имя не обозначает; злоупотребление тропами или метафорой». Мне бы хотелось устранить содержащийся в этом определении уничижительный смысл. Нет никакого злоупотребления в том, чтобы старое слово послужило новым задачам. Катахреза — это просто яркое проявление трансформации значения, явление, которое постоянно происходит в любом живом языке.

[8] Трудно себе представить, чтобы сейчас кто-нибудь произносил эту фразу и вкладывал в нее какой-либо смысл. А ведь в отсутствии естественного контекста употребления любой анализ выражения может оказаться неубедительным, самоочевидным и в силу этого бесполезным.

[9] Детальное обсуждение этого примера, дополненное диаграммами, можно найти у Густафа Стерна [9, р. 300 и сл.]. Стерн стремится показать, что читателя ведет контекст в выборе из коннотаций слова «лев» признака храбрости, который подходит Ричарду-человеку. Я буду считать эту точку зрения разновидностью субституциональной теории.

[10] Аристотель приписывает использование метафоры удовольствию узнавания; Цицерон говорит о радости от умения автора преодолеть обычное, изобрести живой способ представления предмета. Об этих и других традиционных взглядах см. [5].

[11] Так, Стерн о фигурах речи пишет, что «они выполняют экспрессивную и воздействующую функции речи и делают это лучше, чем обычные утверждения» [9, р. 296]. Метафора осуществляет «возвеличивание» (Steigerung) предмета, и факторы, ведущие к ее использованию, «лежат в области экспрессии и воздействия на адресата, но не затрагивают символическую и коммуникативную функции» (там же, с. 290). Таким образом, получается, что метафоры могут выражать чувства и вызывать чувства — но при этом обычно ничего не сообщают.

[12] См. [10]. Далее Уэйтли проводит различие между «Сходством в строгом смысле слова, то есть непосредственным сходством между самими рассматриваемыми объектами, например, мы говорим о table-land 'плоскогорье, плато' (букв. table 'стол' — land 'земля') или сравниваем большие волны с горами», и «Аналогией, которая есть сходство логическое, то есть перенос некоторых признаков на другие объекты (например, мы говорим о «свете разума», об «открытии» и сравниваем раненого и взятого в плен воина с выброшенным на берег судном)».

[13] Сравнительная точка зрения, возможно, берет свое начало из следующего короткого определения в «Поэтике» Аристотеля: «*Метафора* есть перенесение необычного имени или с рода на вид, или с вида на род, или с вида на вид, или по аналогии» [1, 1457b]. У меня нет возможности уделить то внимание аристотелевским рассуждениям, которого они заслуживают. Серьезные аргументы в пользу взгляда, берущего начало у Аристотеля, можно найти в работе [4, особ. с. 67 и сл.].

[14] Если бы была возможность остановиться на сравнительной точке зрения более подробно, то можно было бы сказать еще очень многое. Так, было бы интересно рассмотреть случаи, когда формальному сравнению предпочитается метафора. Сравнение часто предваряет эксплицитное изложение оснований сходства, в то время как от метафоры странно было бы ожидать, чтобы она объясняла самое себя. (Ср. разницу между сравнением человеческого лица с волчьим путем поиска сходных черт и видением человеческого лица как лисьего (vulpine 'лисий, коварный'). Однако бесспорно, что граница между некоторыми метафорами и сравнениями не является жесткой.

[15] Лучшими здесь являются работы Ричардса, особенно гл. 5 и 6 его книги «Философия риторики» [см. наст. изд., с. 44—67]. Гл. 7 и 8 другой его книги [7] посвящены приблизительно тем же проблемам. В книге У. Б. Стэнфорда «Греческая метафора» содержится очень хорошее изложение того, что он называет «теорией интеграции» (integration theory) [8, особ. с. 101 и сл.]. К сожалению, оба автора испытывают затруднения в прояснении

природы позиций, которые они отстаивают. Гл. 18 книги У. Эмпсона «Структура сложных слов» [6] представляет собой весьма интересное обсуждение взглядов Ричардса на метафору.

[16] Ричардс также говорит, что «в основе метафоры лежит заимствование и взаимодействие и д е й и смена контекста» (наст. изд., с. 47). Метафора, указывает он, требует двух идей, «которые взаимодействуют в общем значении» (с. 60).

[17] Возможно, это заставляет Ричардса утверждать, что «мнение о том, что результатом метафоры является отождествление предметов, почти всегда неверно и приносит вред» (наст. изд., с. 64).

[18] Обычно Ричардс старается показать, что сходство между двумя именами является в лучшем случае ч а с т ь ю базиса для взаимодействия значений в метафоре.

[19] Это отмечается довольно часто, например: «Метафорическое выражение, когда оно употреблено уместно, придает стилю достоинство, ибо предоставляет нам две мысли вместо одной» (Сэмюэль Джонсон) [см. наст. сизд., с. 46].

Выбор названий для «субъектов» затруднителен. См. ниже «замечание о терминологии» (прим. 21).

[20] Я испытываю сильное желание согласиться с утверждением Эмпсона, что «термин [метафора] вообще-то должен соответствовать скорее тому, что сами говорящие ощущают как яркое, нестандартное употребление слова, чем относиться к таким выражениям, как *ножка стола*» [6, p. 333]. Однако здесь мы рискуем полностью подпасть под власть определения и таким образом сузить границы изучаемого явления.

[21] (*Замечания о терминологии.*) Для метафор, которые удовлетворяют субституциональной или сравнительной точке зрения, нужно учитывать следующие факторы: (1) некоторое слово или выражение E, (2) встречающееся в некоторой словесной «рамке» F, так что (3) F (E) является рассматриваемым метафорическим утверждением; (4) значение *m'* (E), которое E имеет в F (E), (5) тождественно буквальному значению *m*(X) некоторого синонима X. Достаточный терминологический лексикон здесь следующий: «метафорическое выражение» (для *E*), «метафорическое утверждение» (для F (E)), «метафорическое значение» (для *m'*) и «буквальное значение» (для *m*).

Интеракционистская точка зрения нуждается в более сложной терминологии. Нам может понадобиться обращение к (6) главному субъекту утверждения (E), скажем, к P, о котором, грубо говоря, и сделано утверждение; (7) к вспомогательному субъекту S, о котором было сделано утверждение F (E), если прочитать его буквально; (8) к соответствующей системе импликаций I, связанной с S, и к (9) результирующей системе импликаций I, связанной с S, и к (9) результирующей системе признаков A, утверждаемых о P. Мы должны пойти на такое усложнение, если принимаем, что значение выражения E в его окружении F зависит от трансформации системы импликаций I в A вследствие использования языковых средств, обычно приложимых к S, применительно к P.

Ричардс предлагает использовать слова «содержание, смысл» (tenor) и «оболочка, образ» (vehicle) для обозначения двух «мыслей», которые, согласно его взглядам, «действуют вместе» (для двух идей, которые «выделимы даже в самой простой метафоре», [см. наст. изд., с. 48]. Он настаивает, что «слово *метафора* употребляется по отношению к этой сдвоенной единице» (там же). Однако представление о двух и д е я х, взаимодействующих друг с другом, является усложняющей все фикцией. Область применения термина «оболочка» колеблется между метафорическим выражением (E), вспомогательным субъектом (S) и системой импликаций (I). Менее понятно, что значит у Ричардса термин «содержание»: иногда им обозначается главный субъект, иногда — импликации, связанные с этим субъектом (я не вводил для них специального символа), иногда, в противоположность собственным намерениям Ричардса, р е з у л ь т и р у ю щ е е значение (его можно также назвать «новым значением») выражения E в контексте F (E).

Возможность выработки единой терминологии представляется маловероятной, поскольку авторы, занимающиеся метафорой, подчас весьма сильно расходятся друг с другом во взглядах.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Аристотель. Об искусстве поэзии. М., 1957 (перевод В. Г. Аппельрота); ср. также: Аристотель. Поэтика. — Соч. в 4-х тт., т. 4. М., 1984 (перевод М. Л. Гаспарова).

[2] Bain A. English Composition and Rhetoric. London, 1887.

[3] Barfield O. Poetic Diction and Legal Fiction. — In: "Essays Presented to Charles Williams". Oxford, 1947, p. 106—127.

[4] Brown S. J. The World of Imagery. London, 1927.

[5] Cope E. M. An Introduction to Aristotle's Rhetoric. London, 1867, Book III, Appendix B, Ch. 2 "On Metaphor".

[6] Empson W. The Structure of Complex Words. London, 1951.

[7] Richards I. A. Interpretation in Teaching. London, 1938.

[8] Stanford W. B. Greek Metaphor. Oxford, 1936.

[9] Stern G. Meaning and Change of Meaning. — "Göteborgs Högskolas Årsskrift", vol. 38, 1932, part 1.

[10] Whately R. Elements of Rhetoric. London, 1846.

ДОНАЛЬД ДЭВИДСОН

ЧТО ОЗНАЧАЮТ МЕТАФОРЫ

Метафора — это греза, сон языка (dreamwork of language). Толкование снов нуждается в сотрудничестве сновидца и истолкователя, даже если они сошлись в одном лице. Точно так же истолкование метафор несет на себе отпечаток и творца, и интерпретатора.

Понимание (как и создание) метафоры есть результат творческого усилия: оно столь же мало подчинено правилам.

Указанное свойство не выделяет метафору из числа прочих употреблений языка: любая коммуникация — это взаимодействие мысли изреченной и мысли, извлеченной из речи. Вопрос лишь в степени разрыва. Метафора его увеличивает тем, что пользуется в дополнение к обычным языковым механизмам несемантическими ресурсами. Для создания метафор не существует инструкций, нет справочников для определения того, что она «означает» или «о чем сообщает»[1]. Метафора опознается только благодаря присутствию в ней художественного начала. Она с необходимостью предполагает ту или иную степень артистизма. Не может быть метафор, лишенных артистизма, как не бывает шуток, лишенных юмора. Конечно, встречаются безвкусные метафоры, но и в них есть артистизм, даже если его и не стоило обнаруживать или можно было лучше выразить.

Настоящая статья посвящена анализу того, что означают метафоры, и ее основная мысль состоит в том, что метафоры означают только то (или не более того), что означают входящие в них слова, взятые в своем буквальном значении. Поскольку этот тезис идет вразрез с известными мне современными точками зрения, то многое из того, что я собираюсь сказать, будет нести в себе критический заряд. Но я думаю, что метафора при свободном от всех помех и заблуждений взгляде на нее становится не менее, а более интересным явлением.

Я прежде всего собираюсь развеять ошибочное мнение, будто

Donald Davidson. What Metaphors Mean. — In: “Critical Inquiry”, 1978, № 5, p. 31—47.

метафора наряду с буквальным смыслом или значением наделена еще и некоторым другим смыслом или значением. Это заблуждение свойственно многим. Его можно встретить в работах литературно-критического направления, у таких авторов, как, например, Ричардс, Эмпсон и Уинтерс, в работах философов от Аристотеля до Макса Блэка, психологов — от Фрейда и его предшественников до Скиннера и его продолжателей и, наконец, у лингвистов, начиная с Платона и вплоть до Уриэля Вейнрейха и Джорджа Лакоффа. Мысль о семантической двойственности метафоры принимает разные формы — от относительно простой у Аристотеля до относительно сложной у М. Блэка. Ее разделяют и те, кто допускает буквальную парафразу метафоры, и те, которые отрицают такую возможность. Некоторые авторы особо подчеркивают, что метафора в отличие от обычного словоупотребления дает прозрение, она проникает в суть вещей. Но и в этом случае метафора рассматривается как один из видов коммуникации, который, как и ее более простые формы, передает истину и ложь о мире, хотя при этом и признается, что метафорическое сообщение необычно, и смысл его глубже скрыт или искусно завуалирован.

Взгляд на метафору как на средство передачи идей, пусть даже необычных, кажется мне столь же неверным, как и лежащая в основе этого взгляда идея о том, что метафора имеет особое значение. Я согласен с той точкой зрения, что метафору нельзя перефразировать, но думаю, что это происходит не потому, что метафоры добавляют что-нибудь совершенно новое к буквальному выражению, а потому, что просто нечего перефразировать. Парафраза, независимо от того, возможна она или нет, относится к тому, что *сказано*: мы просто стараемся передать это же самое другими словами. Но, если я прав, метафора не сообщает ничего, помимо своего буквального смысла (как и говорящий, использующий метафору, не имеет в виду ничего, выходящего за пределы ее буквального значения). Впрочем, этим не отрицается тот факт, что метафора содержит в себе изюминку и ее своеобразие может быть показано при помощи других слов.

В прошлом те, кто отрицал, что у метафоры в дополнение к буквальному значению имеется особое когнитивное содержание, часто всеми силами стремились показать, что метафора вносит в речь эмоции и путаницу и что она не пригодна для серьезного научного или философского разговора. Я не разделяю этой точки зрения. Метафора часто встречается не только в литературных произведениях, но и в науке, философии и юриспруденции, она эффективна в похвале и оскорблении, мольбе и обещании, описании и предписании. Я в принципе согласен с Максом Блэком, Паулем Хенле, Нельсоном Гудменом, Монро Бирдсли и другими в вопросе о функциях метафоры. Правда, мне кажется, что она в дополнение к перечисленным выполняет еще и функции совершенно другого рода.

Я не согласен с объяснением того, как метафора творит свои чудеса. Забегая вперед, скажу: я основываюсь на различении значения слов и их использования и думаю, что метафора целиком принадлежит сфере употребления. Метафора связана с образным использованием слов и предложений и всецело зависит от обычного или буквального значения слов и, следовательно, состоящих из них предложений.

Я покажу, что бесполезно объяснять, как функционируют слова, когда они создают метафорические и образные значения или как они выражают особую поэтическую или метафорическую истину. Эти идеи не объясняют метафоры — метафора сама объясняет их. Когда мы понимаем метафору, мы можем назвать то, что мы поняли, «метафорической истиной» (metaphorical truth) и в какой-то мере объяснить, в чем состоит ее «метафорическое значение». Но просто приписать это значение метафоре было бы все равно что, заснув от таблетки снотворного, объяснять потом свой сон ее снотворным эффектом. Буквальные значения и соответствующие условия истинности могут быть приписаны словам и предложениям вне зависимости от каких-либо особых контекстов употребления. Вот почему обращение к ним действительно имеет объяснительную силу.

Я собираюсь изложить свои негативные по существу взгляды на значение метафоры и, рассмотрев ряд ложных теорий, выдвинуть несколько позитивных утверждений.

Метафора заставляет нас обратить внимание на некоторое сходство — часто новое и неожиданное — между двумя и более предметами. Это банальное и верное наблюдение влечет за собой выводы относительно значения метафор. Обратимся к обычному сходству или подобию. Две розы похожи, потому что они обе принадлежат к классу роз; два ребенка похожи потому, что оба они дети. Или, говоря проще, розы похожи потому, что каждая из них — роза, дети похожи потому, что каждый из них — ребенок.

Предположим, что кто-то сказал Tolstoy was once an infant 'Толстой был когда-то ребенком'. В силу чего Толстой, когда он был ребенком, походил на других детей? Ответ напрашивается сам собой: в силу того, что у него были все признаки ребенка, или, короче, просто в силу того, что он был ребенком. Чтобы не повторять все время выражение «в силу того, что», можно избрать более простой путь и сказать, что ребенок Толстой разделял с другими детьми то свойство, что ко всем ним был приложим предикат «быть ребенком». Употребляя слово «ребенок», мы избегаем необходимости говорить прямо, в чем именно ребенок Толстой был похож на остальных детей. При помощи других слов, означающих то же самое, можно было бы обойтись и без слова «ребенок». Результат был бы такой же. Обычное сходство имеет место в пределах групп, объединенных обычными значениями слов. Такое сходство вполне естественно, ведь стандартные

способы объединения объектов в группы прямо связаны с обычными значениями слов, используемых для обозначения этих объектов.

Один знаменитый критик сказал, что Толстой был «большим ребенком-морализатором» (“Tolstoy was a great moralizing infant”). Очевидно, что здесь идет речь не о Толстом-ребенке, а о Толстом — взрослом писателе: здесь мы сталкиваемся с метафорой. Однако в каком смысле Толстой-писатель похож на ребенка? Здесь нам, возможно, надо подумать о классе объектов, который включал бы в себя всех (обычных) детей и, кроме того, взрослого Толстого, а затем задаться вопросом: какое особое, отличительное свойство присуще всем членам этого класса? Нас вдохновляет мысль, что при определенной настойчивости мы сможем вплотную приблизиться к определению этого свойства, — мы прекрасно справимся с задачей, если нам удастся найти слова, которые означают в точности то же, что означает слово «ребенок» в его метафорическом употреблении. Во всем этом меня интересует не то, сумеем ли мы найти такие слова, а мнение, что к этому нужно стремиться, чтобы «схватить» метафорическое значение. Итак, я очень коротко обрисовал, каким образом концепт значения мог проникнуть в анализ метафоры. Предложенный мною ответ состоит в следующем: поскольку то, о чем мы думаем как о разнообразных сходствах, сопрягается в нашем сознании с тем, о чем мы думаем как о разнообразных значениях, то совершенно естественно рождается мысль, что необычные или метафорические значения могут помочь объяснить те сходства, которые выдвигает метафора.

Суть идеи заключается в том, что в метафоре определенные слова принимают новое, или, как его иногда называют, «расширенное» значение. Например, когда мы читаем в Библии, что the Spirit of God moved upon the face of water ‘*букв.:* Дух божий носился над лицом вод’ (Быт. 1, 2), мы должны рассматривать слово face (*букв.:* ‘лицо, лик’) как имеющее расширенное значение (я ограничиваюсь здесь рассмотрением только одной метафоры из приведенного примера). Это расширение должно быть тем, что философы называют расширением слова (extension of the word), то есть относиться к классу сущностей, которые это слово называет. В данном примере слово face прилагается не только к лицам людей, но и к поверхности воды.

Это объяснение в любом случае не может считаться полным, ибо, если в отмеченных контекстах слова face и infant действительно относятся соответственно к воде и к Толстому, тогда вода на самом деле имеет лицо, а Толстой-писатель в буквальном смысле слова ребенок, — вся соль метафоры при этом исчезает. Если считать, что слова в метафоре обладают прямой референцией к объекту, тогда стирается разница между метафорой и введением в лексикон нового слова: объяснить таким образом метафору — значит уничтожить ее.

Пока что как-то в стороне оставалось первичное, или бук-

вальное, значение слова. Зависит или не зависит метафора от нового или расширенного значения — это еще вопрос, но то, что она зависит от буквального значения, — это несомненно: адекватное представление концепта метафоры обязательно должно учитывать, что первичное или буквальное значение слов остается действенным и в их метафорическом употреблении.

Возможно, тогда мы сможем объяснить метафору как случай неоднозначности (ambiguity): в контексте метафоры определенные слова имеют и новое, и свое первичное значение; сила метафоры прямо зависит от нашей неуверенности, от наших колебаний между этими двумя значениями. Так, когда Мелвилл пишет, что Crist was a chronometer (букв.: 'Христос был хронометром'), то своим эффектом метафора обязана тому, что сначала мы берем слово chronometer 'хронометр' в его обычном значении, а потом от него переходим к необычному, или метафорическому, смыслу.

Эту теорию трудно принять. Ибо многозначность слова, если она имеет место, обусловлена тем фактом, что в обычном контексте слово означает одно, а в метафорическом — другое; но в метафорическом контексте отнюдь не обязательны колебания. Конечно, мы можем колебаться относительно выбора метафорической интерпретации из числа возможных, но мы всегда отличим метафору от неметафоры. В любом случае эффект воздействия метафоры не заканчивается с прекращением колебаний в интерпретации метафорического пассажа. Следовательно, сила воздействия метафоры не может быть связана с такого рода неоднозначностью[2].

Может показаться, что другая разновидность многозначности подойдет нам больше. Иногда бывает так, что слово в одном и том же контексте имеет два значения, причем мы должны одновременно учитывать их оба. Или, если мы считаем, что слово предполагает тождество значения, можно сказать: то, что на поверхности выступает как одно слово, в действительности представляет собой два слова. Когда шекспировская Крессида приходит в греческий лагерь, ее встречают несколько фривольно, и Нестор говорит: Our general doth salute you with a kiss 'Тебя наш полководец встречает поцелуем'. Здесь слово general используется в двух смыслах: один раз — в приложении к полководцу (general) Агамемнону, второй раз — применительно ко всем и ни к кому конкретно (in general) — ведь Крессиду целуют все. На самом деле мы имеем здесь не одно, а конъюнкцию двух предложений: Наш полководец (general) Агамемнон встречает тебя поцелуем, и мы все (in general) встречаем тебя поцелуями*.

---

* На этой же игре слов основана и следующая прямо за репликой Нестора реплика Улисса. Весь отрывок выглядит следующим образом (далее курсив наш. — *М. Д.*):

A g a m e m n o n. Most dearly wellcome to the Greeks, sweet lady.
N e s t o r. Our *general* doth salute you with a kiss.

Игра слов — часто встречающийся прием, но метафора далека от него. Метафора не нуждается в удвоении: какими значениями мы наделили слова, такие значения и сохраняются при прочтении всего выражения.

Предположение относительно аналогии с игрой слов можно модифицировать, приписав ключевому слову (или словам) в метафоре два различных значения — буквальное и образное — одновременно. Можно представить буквальное значение как скрытое, как нечто, что мы ощущаем, что воздействует на нас, не проявляясь в контексте открыто, тогда как образное значение несет основную нагрузку. В этом случае должно существовать правило, которое связывало бы оба значения, ибо иначе такое объяснение сведется к теории неоднозначности (ambiguity). Это правило утверждает, что по крайней мере для многих типичных случаев слово, выступающее в своем метафорическом значении, прилагается ко всему тому, к чему оно прилагается в своем буквальном значении, плюс к чему-то еще[3].

На первый взгляд эта теория кажется излишне усложненной, но она удивительно напоминает предложенное Фреге объяснение поведения референтных термов в модальных предложениях и в предложениях, вводимых пропозициональными глаголами, такими, например, как глаголы мнения и желания. Согласно Фреге, каждый референтный терм имеет два (или более) значения, одно из которых фиксирует его референцию в обычных контекстах, а другое — в контекстах, созданных модальными операторами и пропозициональными глаголами. Правило, которое соединяет эти два значения, может быть сформулировано следующим образом: значение слова в специальных контекстах делает референцию в этих контекстах идентичной со значением слова в обычных контекстах.

Так вырисовывается целостная картина, в которой соединены теория Фреге и вытекающий из нее взгляд на метафору: слово, помимо обычной для него референции, имеет еще две особые сферы приложения: одну — для метафоры, другую — для модальных и подобных им контекстов. В обоих случаях первичное значение по-прежнему функционирует благодаря правилу, которое связывает между собой различные значения.

Возможная аналогия между метафорическим значением и

Ullysses. Yet is the kindness buj particular
Twere better she were kissed *in general.*

(Shakespeare W. The History of Troilus and Cressida. N. Y., etc., 1977, p. 141.)

[Агамемнон. Приветствую прекрасную Крессиду!
Нестор. Тебя наш *царь* поцеловать желает.
Улисс. Но он пока один тебя целует,
А мы бы рады *все* поцеловать.]

(Шекспир У. Троил и Крессида. Перев. Т. Гнедич. — Шекспир У. Полн. собр. соч. в 8 тт., т. 5. М., 1959, с. 424.). — *Прим. перев.*

фрегевскими замечаниями о косвенных контекстах влечет за собой немалые трудности. Допустим, вы развлекаете своего гостя с Сатурна тем, что учите его употреблять слово floor 'пол'. Вы делаете все, как надо: ходите со своим гостем по полу, показываете на пол пальцем, притопываете по нему ногой и при этом повторяете нужное слово. Вы принуждаете его проделывать различные эксперименты: он в порядке приобретения опыта похлопывает по полу своими щупальцами, а вы, где надо, его корректируете. Вы хотите, чтобы ваш гость уяснил не только, что именно эта конкретная поверхность и есть пол, но чтобы он научился его идентифицировать в любой ситуации, когда он его увидит или к нему прикоснется. Действия, которые вы предпринимаете, конечно, не говорят впрямую о том, что именно он должен знать, но если ваш гость проявит некоторые способности, он все прекрасно поймет и запомнит.

Считать ли этот процесс знакомством с миром или знакомством с языком? Странный вопрос, поскольку усваивается отношение фрагмента языка к фрагменту мира. И все же легко провести различие между изучением значения слова и изучением употребления слова, когда его значение уже известно. Здесь сразу возникает мысль, что в первом случае мы узнаем что-то о языке, а во втором случае — мы узнаем что-то о мире. Если ваш гость с Сатурна уже научился употреблять слово floor 'пол', вы можете попробовать сказать ему что-нибудь новое, например, что here is a floor 'вот здесь пол'. Если он усвоил этот словесный оборот, это значит, что вы сообщили ему нечто о мире.

А теперь уже ваш друг с Сатурна мчит вас через космическое пространство на свою родную планету, и вы, оглядываясь на теперь уже далекую Землю и приглашая его посмотреть, говорите: floor 'шар, диск' '*букв.:* пол'. Возможно, ваш друг подумает, что это продолжение урока, и поймет, что слово floor 'пол' употребляется и по отношению к Земле, по крайней мере к тому, как она видна с Сатурна. А вы на самом деле считали, что значение слова floor 'пол' ему известно, и решили уподобиться Данте, который, находясь там же, где и вы, смотрел на необитаемую Землю как на the small round floor that makes us passionate 'маленький круглый диск (*букв.:* 'пол'), который будит в нас столько чувств'*. Вашей целью была метафора, а не продолжение обучения. Какая будет разница, воспримет ваш друг это слово тем или другим способом? Согласно рассмотренной теории метафоры — практически никакой: в метафорическом контексте слово имеет новое значение, а употребление метафоры дает, таким образом, возможность узнать это значение. Мы должны согласиться, что в ряде случаев действительно фактически не играет роли, будем ли мы о слове, встретившемся в некотором контексте,

* См.: Данте Алигьери. Божественная комедия. Рай. Песнь XXII. — *Прим. перев.*

думать как о метафоре или как об употребленном в ранее неизвестном, но все же буквальном смысле. У. Эмпсон в своей книге «Несколько вариантов пасторали» [7] цитирует следующие строки из стихотворения Дж. Донна: As our blood labours to beget/ Spirits, as like souls as it can,/... So must pure lover's souls descend ... 'Лишь кровь горячая рождает / В нас вечный дух для славных дел / ... Вот почему душе спуститься / [Порой приходится к телам]*. Эмпсон отмечает, что современный читатель без колебаний воспримет слово spirits 'дух' метафорически, как расширительное название чего-то духовного. Но для самого Донна это не было метафорой. В своих «Проповедях» он писал: «Дух — это небольшая, но активная часть крови, она представляет собой нечто среднее между душой и телом». Впрочем, не имеет большого значения, знаем мы это или нет. Эмпсон совершенно прав, когда говорит: «Любопытно, что изменение в этом слове [т. е. в том, как мы думаем, оно значит] совершенно не затрагивает восприятия самого стихотворения» [7, p. 133].

Возможно, в некоторых случаях эти изменения действительно трудно заметить, но если принять, что изменений нет совсем, то специфика метафоры во многом утрачивается. Эта специфика была выявлена мною через контраст между обучением новому использованию уже знакомого слова и использованием слова, уже известного: в первом случае наше внимание направлено на язык, во втором — на то, что описывает язык. Метафоры, по моему глубокому убеждению, относятся ко второму случаю. В этом можно убедиться на примере стертых метафор. Когда-то очень давно реки и бутылки, вероятно, не имели, как они имеют сейчас, «ртов» (mouth — 'устье, отверстие', *букв.:* 'рот'). Что касается современного употребления, то не имеет значения, будем ли мы считать слово mouth 'рот' многозначным (ведь оно относится не только к живым организмам, но к рекам и к бутылкам) или же будем думать, что существует единое широкое поле приложения этого слова, охватывающего сразу все случаи. Важно, однако, что, когда слово mouth было метафорой, носители языка действительно з а м е ч а л и сходство между ртом и отверстием бутылки. (Кстати, Гомер говорит об отверстых ранах как о «ртах».) А поскольку в современном употреблении интересующее нас слово напрямую связано с бутылками, то никакого сходства замечать уже не надо. Не надо даже искать этого сходства, поскольку оно состоит просто в том, что в двух разных случаях употребляется одно и то же слово.

И дело здесь вовсе не в новизне. В одном контексте метафорическое слово, употребляясь сотни и даже тысячи раз, все равно остается метафорой, тогда как в другом контексте слово может быть воспринято как буквальное практически с первого раза.

---

* Перевод Б. Томашевского. — Д о н н Джон. Стихотворения. Л., 1973, с. 55. — *Прим. перев.*

Метафоре присуща следующая эстетическая особенность: она заставляет читателя каждый раз реагировать и испытывать чувство новизны, подобно тому, как мы, вновь и вновь слушая 94-ю симфонию Гайдна, испытываем восхищение при появлении обманчиво знакомых каденций.

Если бы метафора, наподобие многозначного слова, имела два значения, то можно было бы ожидать, что нам удастся описать ее особое, метафорическое значение, стоит лишь дождаться, когда метафора сотрется: образное значение живой метафоры должно навсегда отпечататься в буквальном значении мертвой. Несмотря на то, что некоторые философы разделяют эту точку зрения, мне она представляется в корне неверной. Если рассудить, то выражение He was burned up 'Он вспыхнул (был подожжен)' действительно многозначно (поскольку оно может быть истинным в одном смысле и ложным — в другом), но, хотя его идиоматичный вариант и является результатом метафоры, сейчас он означает только то, что человек рассердился. А ведь когда метафора была живой, мы легко могли бы представить себе и искры в глазах, и дым, идущий из ушей.

Можно узнать о метафорах много интересного, если сопоставить их со сравнениями, ибо сравнения прямо говорят то, к чему метафоры нас только подталкивают. Положим, Гонерилья сказала бы, имея в виду Лира: Old fools are like babies again 'Старики, выжившие из ума, вновь становятся как дети', — тогда бы она использовала эти слова для указания на сходство между выжившими из ума стариками и детьми. На самом же деле она, как мы знаем, сказала: Old fools are babies again 'Выжившие из ума старики — снова дети', — только намекнув на то, о чем сравнение заявило бы в открытую. Продолжая размышлять в этом же ключе, можно прийти к следующей теории образного или особого значения метафоры: образное значение метафоры — это буквальное значение соответствующего сравнения. Так, выражение Christ was a chronometer (*букв.:* 'Христос был хронометром') в своем образном значении синонимично выражению Christ was like a chronometer (*букв.:* 'Христос был как хронометр'), а метафорическое значение, когда-то содержащееся в выражении He was burned up 'Он вспыхнул (был подожжен)', проявляется в таких выражениях, как He was like someone who was burned up (*букв.:* 'Он был как кто-то, кого подожгли' или, возможно, He was like burned up *букв.:* 'Он был как подожженный').

Здесь, конечно, надо учесть сложность процесса подбора сравнений, которые бы в точности соответствовали той или иной метафоре. Вирджиния Вулф как-то сказала, что интеллектуал — это «обладатель чистопородного интеллекта, который оседлал свой мозг и мчится на нем, пересекая пространства, галопом, в неотступной погоне за идеей». Какое сравнение может соответствовать всему этому? Возможно, нечто вроде следующего: «интеллектуал

— это человек, чей интеллект подобен породистой лошади и кто обдумывает идею с упорством всадника, мчащегося галопом в погоне [невозможно сказать, за чем именно, пусть это будет] за чем-либо».

Точку зрения, согласно которой особое значение метафоры идентично буквальному значению соответствующего сравнения (simile) (если это «соответствие» найдено), не следует путать с распространенным взглядом на метафору как на эллиптичное сравнение[4]. Эта теория не проводит различия между значением метафоры и значением соответствующего ей сравнения и не дает возможности говорить об образном, метафорическом или особом значении метафоры. Эта теория выигрывает в простоте, но простота делает ее неэффективной. Ибо, если мы будем считать буквальным значением метафоры буквальное значение соответствующего сравнения, то мы тем самым закроем доступ к тому, что мы раньше понимали под буквальным значением метафоры, а ведь мы согласились почти с самого начала, что *именно это* значение определяет эффективность метафоры, что бы потом ни привносилось в нее под видом небуквального, то есть образного, значения.

Этим теориям метафоры — теории эллиптичного сравнения и ее более утонченному варианту, приравнивающему образное значение метафоры к буквальному значению сравнения, — присущ один общий большой недостаток. Они делают глубинное, неявное значение метафоры удивительно очевидным и доступным. В каждом конкретном случае скрытое значение метафоры может быть обнаружено путем указания на то, что является обычно самым тривиальным сравнением: «*Это* похоже на *то*» («Толстой похож на ребенка», «Земля похожа на диск»). Такое сравнение тривиально, поскольку все бесконечным числом способов уподобляется всему. А между тем метафоры часто трудно интерпретировать и совсем невозможно перефразировать. По этой же теории, интерпретация и парафраза сами идут в руки, даже весьма заскорузлые.

Я думаю, что эти теории сравнения считаются приемлемыми только потому, что их путают с совершенно другой теорией. Рассмотрим следующее замечание Макса Блэка: «Когда Шопенгауэр называл геометрическое доказательство мышеловкой, он, согласно этой точке зрения, *говорил*, хотя и не эксплицитно, буквально следующее: «Геометрическое доказательство *похоже* на мышеловку: и в том, и в другом случае обещанное вознаграждение — не более чем обман: как только жертва позволила себя заманить, она тут же сталкивается с неприятной неожиданностью и т. д.». Это точка зрения на метафору как на эллиптическое или сжатое *сравнение* [4, р. 161].

Здесь мне видятся два затруднения. Во-первых, если метафоры являются эллиптичными сравнениями, тогда они *эксплицитно* говорят то, что говорят сравнения, ибо эллипсис есть

форма сокращения, а не парафразы или намека. Однако — и это чрезвычайно важно — изложение Блэком того, что сообщает метафора, выходит за рамки, которые задаются соответствующим сравнением. Сравнение просто говорит, что геометрическая дедукция похожа на ловушку. Оно говорит отнюдь не больше метафоры о том, какие именно черты сходства мы должны заметить. Блэк выделяет три общие черты, но перечисление, конечно, можно было бы продолжить. Но можем ли мы считать этот список, пусть проверенный и дополненный, идентичным б у к в а л ь н о м у значению сравнения? Конечно же, нет, поскольку сравнение просто фиксирует сходство — и не более. Если предположить, что это перечисление задает образное значение сравнения, тогда из сопоставления метафоры со сравнением нельзя будет узнать ничего, кроме того, что они оба имеют одно и то же образное значение. Нельсон Гудмен так и говорит, что «различие между сравнением и метафорой незначительно». Далее, рассматривая конкретные примеры, он замечает: «Употребляются ли в них слова is like 'похоже' или is 'есть' — не так важно. Главное, что и в том, и в другом случае у т в е р ж д а е т с я с х о д с т в о между картиной и человеком, вычленяется какая-то определенная общая черта...» [8, р. 77—78]. Гудмен анализирует различие между двумя способами выражения: можно сказать, что картина грустная, а можно сказать, что она как грустный человек. Верно, что оба выражения приравнивают картину к человеку, но мне кажется ошибочным утверждение, что оба они «вычленяют» какую-то общую черту. Сравнение говорит, что существует сходство, и оставляет нам самим найти некоторую общую черту или черты; метафора эксплицитно не утверждает сходство, но если нам ясно, что это метафора, то перед нами стоит задача поиска общих черт (не обязательно тех же самых черт, какие предполагает соответствующее сравнение, — но это уже совсем другой вопрос).

Сравнение заявляет о сходстве вслух, — и именно поэтому, я думаю, здесь труднее, чем для метафоры, предположить наличие какого-то второго значения. В случае сравнения мы отмечаем, *что* оно говорит буквально, — а именно, что две вещи похожи; затем мы рассматриваем их и думаем, какое сходство подойдет в данном контексте. Обнаружив его, мы могли бы потом сказать, что заметили это сходство благодаря автору сравнения. Но, поняв разницу между тем, что значат слова, и тем, чего достиг автор путем использования этих слов, мы невольно испытываем искушение объяснить это путем наделения самих слов вторым, или образным, значением. Концепт языкового значения должен объяснять, что может быть сделано с помощью слов. Однако предполагаемое образное значение сравнения не объясняет ровным счетом ничего: оно не является характеристикой слова, присущей ему изначально и независимо от контекста употребления, и не основывается ни на какой лингвистической традиции, по-

мимо той, которая имеет дело с обычным значением.

То, что делают слова на основе своего буквального значения, должно быть для них возможно и в метафоре. Метафора направляет внимание на те же виды сходства, если не на те же самые черты, что и соответствующее сравнение. Но тогда все эти неожиданные параллели и тонкие аналогии, к которым подталкивают нас метафоры, должны зависеть не от чего иного, как от буквального значения слов.

Метафора и сравнение — это только два вида приемов среди бесконечного множества средств, заставляющих нас сравнивать и сопоставлять, привлекающих наше внимание к тем или иным явлениям окружающего мира. Я процитирую несколько строф из стихотворения Т. С. Элиота «Гиппопотам»:

Гиппопотам широкозадый
На брюхе возлежит в болоте
Тяжелой каменной громадой,
Хотя он состоит из плоти.

Живая плоть слаба и бренна,
И нервы портят много крови;
А Церковь Божия — нетленна:
Скала лежит в ее основе.

Чтобы хоть чем-то поживиться,
Часами грузный гиппо бродит;
А Церковь и не шевелится,
Доходы сами к ней приходят.

Не упадет 'потамьей туше
С высокой пальмы гроздь бананов,
А Церкви персики и груши
Привозят из-за океанов. (...)*

В этом стихотворении прямо не говорится, что церковь похожа на гиппопотама (как было бы в сравнении), и мы не должны тут же искать сходство (как было бы в метафоре), но не вызывает сомнения, что слова в этом стихотворении используются для того, чтобы привлечь наше внимание к указанным двум сущностям. Однако здесь довольно трудно говорить о наличии образных значений, ибо к каким словам и выражениям можно было бы их отнести? Гиппопотам действительно лежит на брюхе в болоте; Церковь Божия, как говорится об этом в стихотворении, never can fail 'нетленна' (букв.: 'никогда не может потерпеть неудачу'). В стихотворении, конечно, подразумевается многое, что выходит за рамки буквального значения слов. Но подтекст и намеки — это отнюдь не значение.

Весь ход рассуждений вел нас пока к выводу, что те свойства метафоры, которые могут быть объяснены в терминах значения, должны быть объяснены в терминах буквального значения вхо-

---

* Перевод А. Сергеева. — Элиот Т. С. Бесплодная земля. Избранные стихотворения и поэмы. М., «Прогресс», 1971, с. 37. — *Прим. перев.*

дящих в метафору слов. Из этого вытекает следующее: предложения, в которых содержатся метафоры, истинны или ложны самым обычным, буквальным образом, ибо если входящие в них слова не имеют особых значений, то и предложения не должны иметь особых условий истинности. Это вовсе не отрицает существование метафорической истины, отрицается только ее существование в пределах предложения. Метафора на самом деле заставляет нас заметить то, что иначе могло бы остаться незамеченным, и я думаю, что об этих мыслях, чувствах, о способе видения, вызванных метафорой, можно говорить, истинны они или нет.

Если метафорические предложения истинны или ложны в самом обычном смысле, то становится ясно, что они обычно ложны. Наиболее очевидное семантическое различие между метафорой и сравнением заключается в том, что все сравнения истинны, а большинство метафор ложно. Земля на самом деле похожа на диск или шар, ассирийцы действительно спустились вниз, как волки в расщелину, потому что все подобно всему. Но сделайте эти предложения метафорами, и вы сразу получите ложь: земля похожа на диск или шар, но это не диск и не шар; писатель Толстой был похож на ребенка, но он не был ребенком. Обычно мы используем сравнение только тогда, когда знаем, что соответствующая метафора — ложь. Мы говорим, что S is like a pig 'S похож на свинью', потому что знаем, что он не свинья. Если мы употребили метафору, сказав, что он свинья, то это стало возможным не потому, что мы по-другому увидели мир, а просто потому, что нам захотелось выразить свою идею другим способом.

Дело, конечно, не в какой-то абсолютной ложности, а в том, что оно должно быть воспринято как ложное. Заметим, что происходит, когда предложение, которое мы используем как метафору, то есть как ложное, оказывается истинным, когда мы начинаем располагать новыми сведениями об отраженном в этом предложении факте или событии. Когда в Африке с воздуха были обнаружены место падения и обломки самолета Хемингуэя, нью-йоркская газета «Миррор» поместила материал под заголовком "Hemingway lost in Africa" 'Гибель (букв.: 'исчезновение, потеря') Хемингуэя в Африке', где слово lost 'потеря, исчезновение' было употреблено в значении 'гибель'. Когда же выяснилось, что Хемингуэй остался жив, газета не изменила заголовок, справедливо полагая, что теперь его воспримут в буквальном смысле. Рассмотрим другой пример: женщина видит себя в прекрасном платье и восклицает: "What a dream of a dress!" 'Это сон, а не платье!' — а затем просыпается. Смысл этой метафоры в том, что платье — из разряда тех, которые могут только присниться, но метафора не говорит, что платье на самом деле снится. Хенле приводит хороший пример из «Антония и Клеопатры» (II, 2):

The barge she sat in, like a burnish'd throne
Burn'd on the water.

[Ее корабль престолом лучезарным
Блистал на водах Кидна (*букв.:* 'как горящий трон').]*

Здесь сравнение и метафора тесно переплетаются, но, если вообразить, что был реальный пожар, метафора исчезнет. Так же и эффект сравнения может быть уничтожен, если рассматривать сравнение чересчур буквально. В одной из своих статей журналист Вуди Аллен писал: «Происходивший в течение последних нескольких недель судебный процесс весьма смахивал на цирк, хотя было бы несколько сложно затащить слонов в здание суда» (газ. «Нью-Йоркер» от 21 ноября 1977 г.).

Обычно только тогда, когда предложение воспринято нами как ложное, мы придаем ему статус метафоры и начинаем поиски глубинных импликаций. Возможно, именно поэтому ложность большинства метафорических выражений очевидна, а все сравнения — тривиально истинны. Абсурдность или противоречие в метафорическом предложении страхует нас от его буквального восприятия и заставляет понять его как метафору.

Явная ложность метафоры — это норма, но иногда в дело вступает и очевидная истинность. Взятое в своем буквальном значении такое выражение, как Business is business 'Работа есть работа', слишком очевидно, чтобы думать, что его произнесли для сообщения какой-то информации. Рассмотрим поэтому другой пример. Тед Коэн говорит в этой же связи, что no man is an island 'ни один человек не является островом' [6, p. 671]. Суть дела все та же: обычный смысл этого предложения достаточно странный, чтобы мы прошли мимо него.

А сейчас я собираюсь поднять в некотором смысле платоновский вопрос: сравнение метафоры с сознательной ложью. Это сравнение вполне уместно, потому что ложь, подобно метафоре, касается не значения слов, а их употребления. Иногда говорят, что лгать — значит говорить то, что ложно, но это не так. Ложь требует не того, чтобы содержание вашего сообщения было ложным, а того, чтобы вы думали, что оно ложно. А поскольку мы обычно верим истинным предложениям и не верим ложным, то большинство сообщений, в которых говорящий ставит перед собой цель обмануть окружающих, является ложным, но в каждом конкретном случае — это еще вопрос. Аналогия между метафорой и говорением лжи подкрепляется тем, что одно и то же предложение с неизменным значением может быть использовано в обоих случаях. Так, женщина, которая верит в ведьм, но не считает, что ее соседка — ведьма, могла бы сказать: «Она ведьма», использовав это выражение метафорически; эта же самая женщина, по-прежнему думающая то же самое о ведьмах и о своей соседке, но стремясь обмануть, могла бы употребить те же самые слова для достижения другого результата. Поскольку зна-

* Перевод М. Донского. — Шекспир У. Полн. собр. соч. в 8 тт., т. 7, М., 1960, с. 138. — *Прим. перев.*

чение предложения в обоих случаях одно и то же, порой бывает трудно установить, какое намерение лежало в основе произнесения высказывания. Так, человек, который сообщил ложную информацию о том, что Lattimore's communist 'Латтимор — коммунист', всегда может уйти от ответа, сославшись на то, что это метафора.

Разница между ложью и метафорой состоит не в различии использованных слов или их значений (в строгом понимании термина «значение»), а в том, к а к эти слова употреблены. Использование предложения для сообщения заведомо ложных сведений и использование его в метафорическом смысле — это, конечно, совершенно различные употребления, — столь различные, что они не имеют общих точек соприкосновения друг с другом, как, скажем, ложь и произнесение реплик в спектакле. Говоря неправду, человек должен представить дело так, как будто он верит в то, во что на самом деле не верит; актер на сцене не делает ложных утверждений, а вот с верой дела у него обстоят аналогично. К метафоре это различие отношения не имеет. Она может быть оскорблением, а может быть и утверждением — если сказать человеку You are a pig 'Ты свинья'. Но когда Одиссей (вообразим себе это) обратился с подобными же словами к своим спутникам, превращенным во дворце Цирцеи в свиней, это не было ни метафорой, ни утверждением. Произнесенные слова были использованы в буквальном смысле.

Ни одна теория метафорического значения или метафорической истины не в состоянии объяснить, как функционирует метафора. Язык метафор не отличается от языка предложений самого простого вида — в этом мы убедились на примере сравнений. Что действительно отличает метафору — так это не значение, а употребление, и в этом метафора подобна речевым действиям: утверждению, намеку, лжи, обещанию, выражению недовольства и т. д. Специальное использование языка в метафоре не состоит — и не может состоять — в том, чтобы «сказать что-то» особое, в той или иной степени завуалированно. Ибо метафора говорит только то, что лежит на ее поверхности, — обычно явную неправду или абсурдную истину. И эти очевидные истины и неправда не нуждаются в парафразе — они уже даны в буквальном значении слов. Но как же нам тогда быть со всеми бесконечными попытками ученых разработать методы и приемы выявления скрытого содержания метафор? Психологи Роберт Вербрюгге и Нэнси МакКэррелл говорят нам, что «многие метафоры привлекают внимание к системам сходств (common systems of relationsships) и переходов (common transformations), для которых идентичность сравниваемых членов является вторичной. Рассмотрим, например, предложения: A car is like an animal 'Автомобиль похож на животное' и Tree trunks are straws for thirsty leazes and branches 'Стволы деревьев — это соломинки для томимых жаждой листьев и ветвей'. Первое предложение ориентирует

внимание на систему сходств, имеющих отношение к таким параметрам, как потребление и расход энергии, дыхание, движение, воспринимающие (чувствительные) системы. Во втором предложении сходство представляет собой менее свободный тип перехода и касается всасывания жидкости, осуществляемого через вертикально расположенное цилиндрическое пространство, и доставки ее к месту назначения» [11, p. 499]. Вербрюгге и МакКэррелл не считают, что существует резкая граница между буквальным и метафорическим использованием слов; они придерживаются мнения, что многие слова имеют «неопределенное» (fuzzy) значение, которое может стать фиксированным благодаря контексту. Однако эта неопределенность, как бы ни была она проиллюстрирована и объяснена, не может стереть разницу между тем, что буквально означает предложение (в данном контексте), и тем, к чему оно (и его фиксированное контекстом буквальное значение) «привлекает наше внимание». Цитата, которую я привел, не несет в себе идеи такого различия: она говорит, что то, к чему приведенные в качестве примера предложения привлекают наше внимание, — это факты, которые можно выразить при помощи парафраз. Вербрюгге и МакКэррелл хотят отстоять точку зрения, что правильная парафраза подчеркивает скорее «систему сходств», чем просто сходство между объектами.

Согласно «интеракционистской» точке зрения М. Блэка, метафора заставляет нас приложить «систему общепринятых ассоциаций» (a system of commonplaces), связанную с данным метафорическим словом, к субъекту метафоры: в выражении Man is a wolf 'Человек — это волк' мы прилагаем общепринятые признаки (стереотип) волка к человеку. Блэк говорит, что «метафора в имплицитном виде включает в себя такие суждения о главном субъекте, которые обычно прилагаются к вспомогательному субъекту. Благодаря этому метафора отбирает, выделяет и организует одни, вполне определенные характеристики главного субъекта и устраняет другие» [4, с. 167]. Согласно Блэку, парафразы практически всегда неудачны не потому, что у метафоры отсутствует особое когнитивное содержание, а потому, что «полученные неметафорические утверждения не обладают и половиной проясняющей и информирующей силы оригинала». Далее Блэк пишет: «Я особенно хочу подчеркнуть, что в данном случае речь идет о потерях в когнитивном содержании. Недостатки буквальной парафразы заключаются не в ее утомительном многословии, чрезмерной эксплицитности и дефектах стиля, а в том, что она лишена того проникновения в суть вещей, которое свойственно последней» [4, с. 169].

Правильно ли это? Если метафора имеет особое когнитивное содержание, то почему так трудно, а порой и невозможно выявить его? Если, как утверждает Барфилд, в метафоре «говорится одно, а имеется в виду другое», то почему, когда мы эксплицитно формулируем то, что подразумевается, это производит гораздо

более слабый эффект? «Перефразуйте метафору, — говорит Барфилд, — и вся ее неопределенность и неточность исчезает, а с ней — и половина поэзии» [3, p. 55]. Почему Блэк считает, что «буквальная парафраза неизбежно говорит слишком много — причем с неправильной расстановкой акцентов»? Почему неизбежно? Разве мы не можем при достаточной проницательности соблюсти нужную меру?

И опять же, как так происходит, что сравнение может обойтись без особого промежуточного (intermediate) значения? Большинство ученых не считают, что в сравнении говорится одно, а подразумевается другое; не высказывают они и предположений, что сравнение означает что-либо иное, помимо того, что лежит на поверхности. Сравнение, как и метафора, может заставить глубоко задуматься, почему же тогда не слышно заявлений об «особом когнитивном содержании» сравнения? Вспомним элиотовского гиппопотама: там не было ни метафоры, ни сравнения, однако достигнутый эффект аналогичен тому, который достигается при помощи сравнений и метафор. Разве кому-нибудь придет в голову мысль, что в стихотворении Элиота *слова* имеют особое значение?

И наконец, если слова в метафоре имеют скрытое значение, как может оно столь сильно отличаться от того значения, которое приобретают слова, когда метафора *стирается*, то есть становится частью языка? Почему выражение He was burned up 'Он вспыхнул (был подожжен)' не означает *в точности* то же самое, что когда-то означала живая метафора? Сейчас это выражение означает только то, что человек был очень рассержен, — и не стоит никакого труда сделать это эксплицитным.

Значит, в обычном взгляде на метафору есть натяжка. С одной стороны, в нем есть стремление думать, что метафора служит чему-то такому, что невозможно для обычных высказываний, с другой стороны — стремление объяснить метафору в терминах когнитивного содержания, которое составляет цель и смысл тех же самых обычных высказываний. Пока мы остаемся в рамках этой теории, нам все время будет казаться, что эта цель достижима или по крайней мере возможно весьма близкое приближение к ней.

Существует простой выход из этого тупика: мы должны отказаться от мысли, что метафора несет какое-то содержание или имеет какое-то значение, кроме, конечно, буквального. Все теории, рассмотрением которых мы занимались, неправильно понимают свою цель. Они выдают за метод расшифровки скрытого содержания метафоры то *воздействие*, которое она оказывает на нас. Их ошибка состоит в том, чтобы делать упор на содержании мыслей, которые вызывает метафора, и вкладывать это содержание в саму метафору. Бесспорно, метафоры часто помогают нам заметить те свойства вещей и предметов, которые мы раньше не замечали; конечно, они раскрывают перед нами

поразительные аналогии и сходства; они на самом деле, как указывает М. Блэк, представляют собой нечто вроде линзы или решетки, через которые мы рассматриваем объекты. Но суть заключается не в этом, а в том, как связана метафора с тем, что́ она заставляет нас увидеть.

Мне совершенно справедливо могут указать на привлекательность мысли о том, что метафора порождает или подразумевает определенный взгляд на предмет, а не выражает его открыто. Так оно и есть. Аристотель, например, говорит, что метафора помогает «подмечать сходство» (1459 а). Блэк, следуя за Ричардсом, отмечает, что метафора «вызывает» определенную реакцию: слушатель, восприняв метафору, строит некоторую систему импликаций [4, с. 164]. Сущность этого взгляда очень точно выражена в словах Гераклита о Дельфийском оракуле: «Он и не говорит, и не скрывает, он подает знаки»[5].

Я не имею ничего против самих этих описаний эффекта, производимого метафорой, я только против связанных с ними взглядов на то, как метафора производит этот эффект. Я отрицаю, что метафора оказывает воздействие благодаря своему особому значению, особому когнитивному содержанию. Я, в отличие от Ричардса, не считаю, что эффект метафоры зависит от ее значения, которое является результатом взаимодействия двух идей. Я не согласен с Оуэном Барфилдом, который считает, что в метафоре «говорится одно, а подразумевается другое», не могу согласиться и с М. Блэком в том, что свойственное метафоре «проникновение в суть вещей» (“insight”) достигается благодаря особенностям ее значения, которые позволяют метафоре утверждать или имплицировать сложное содержание. Механизм метафоры не таков. Полагать, что метафора достигнет своей цели только путем передачи закодированного сообщения, — это все равно что думать, что поднаторевший интерпретатор может передать прозой смысл шутки или фантазии. Шутка, фантазия, метафора могут, подобно изображению или удару по голове, помочь оценить некоторый факт, но они замещают собой этот факт и даже не передают его содержания.

Если это так, то мы перефразируем метафору не для того, чтобы выразить ее значение, ведь оно и так лежит на поверхности; мы, скорее, стремимся выявить то, на что метафора обращает наше внимание. Конечно, можно, соглашаясь с этим, полагать, что речь идет всего лишь об ограничении на использование слова «значение». Но это неверно. Основное заблуждение во взглядах на метафору легче всего поставить под удар, когда оно принимает форму теории метафорического значения. Но дело в том, что за этой теорией стоит тезис, который может быть сформулирован в независимых терминах. Он сводится к утверждению, что метафора несет в себе некоторое когнитивное содержание, которое автор хочет передать, а получатель должен уловить, и только тогда он поймет сообщение. Это положение ложно

независимо от того, будем ли мы называть подразумеваемое когнитивное содержание значением или нет. Оно вызывает сомнение уже одним тем, что трудно точно установить содержание даже простейших метафор. Я думаю, что это происходит потому, что нам представляется, будто существует некоторое содержание, которое нужно «схватить», в то время как речь идет о том, к чему метафора привлекает наше внимание. Если бы то, что метафора заставляет нас заметить, было бы конечным по числу и пропозициональным по природе, это не вызывало бы трудностей — мы бы просто проецировали содержание, которое метафора привнесла в наш мозг, на саму метафору. Но на самом деле то, что представляет нашему вниманию метафора, не ограничено и не пропозиционально. Когда мы задаемся целью сказать, что «означает» метафора, то вскоре понимаем, что перечислению не может быть конца[6]. Если кто-то водит пальцем по береговой линии на карте или любуется красотой и искусностью линии в рисунках Пикассо, то к чему именно привлечено его внимание? Можно было бы назвать бесконечное множество моментов, ибо идея полноты и исчерпанности к такому перечислению неприложима. Сколько же фактов или пропозиций передается фотографией или картиной: ни одного, бесконечное множество или один большой факт, который не поддается выражению? Это плохой вопрос. Картина не нуждается ни в тысяче слов, ни в любом другом их количестве. Между картиной и словами невозможен эквивалентный обмен.

Дело, впрочем, не только в том, что невозможно дать исчерпывающее описание того, что́ благодаря метафоре мы увидели в новом свете. Трудность здесь более фундаментальна. То, что мы замечаем или видим, не является, вообще говоря, пропозициональным. Конечно, оно может стать таким, и тогда оно может быть выражено самыми обычными словами. Но если я покажу вам рисунок Витгенштейна, на котором изображен утко-кролик и скажу: «Это утка», тогда вы с облегчением увидите в нем утку; скажи я: «Это кролик», вы увидите кролика*. Но никакой пропозицией невозможно выразить то, что же именно я помог вам увидеть. Кто-то скажет, что в результате этого вы пришли к пониманию, что рисунок можно интерпретировать двояко: как изображение либо утки, либо кролика. Но это можно было узнать, вообще не видя рисунка, то есть не видя ни изображения утки, ни изображения кролика. «Видеть как» не равно «видеть что». Метафора, делая некоторое буквальное утверждение, за-

---

* Во II части «Философских исследований» [12, р. 193] Л. Витгенштейн рассуждает о том, что процесс видения с необходимостью включает в себя ментальную, интерпретаторскую деятельность (seeing as). В качестве одного из примеров, иллюстрирующих это положение, он приводит рисунок, взятый им из книги Ястроу (J a s t r o w. Facts and Fable in Psychology). Рисунок представляет собой изображение, в котором можно попеременно видеть то утку, то кролика (a duck-rabbit). — *Прим. перев.*

ставляет нас увидеть один объект как бы в свете другого, что и влечет за собой прозрение. Поскольку в большинстве случаев оно несводимо (или не в полной мере сводимо) к познанию некоторой истины или факта, то наши попытки буквально описать содержание метафоры просто обречены на провал.

И теоретик, который старается объяснить метафору путем обращения к ее скрытому содержанию, и критик, который стремится эксплицитно выразить это содержание, — оба стоят на ложном пути, ибо выполнить такие задачи невозможно.

Дело не в том, что объяснения и интерпретации метафоры вообще недопустимы. Иногда, сталкиваясь с метафорой, мы испытываем затруднения: нам сразу не увидеть в метафоре то, что легко схватывает более восприимчивый и образованный читатель. Законная функция так называемой парафразы могла бы состоять в том, чтобы помочь неопытному или ленивому читателю приобщиться к тому способу видения, который имеет изощренный критик. Можно сказать, что критик слегка конкурирует с автором метафоры. Критик старается сделать свою версию более прозрачной для понимания, но в то же время стремится воспроизвести в других людях, хотя бы отчасти, то впечатление, которое на него произвел оригинал. Стремясь выполнить эту задачу, критик одновременно (и, возможно, лучшими из имеющихся у него средств), привлекает наше внимание к красоте, точности и скрытой силе метафоры как таковой.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Я думаю, что Макс Блэк не прав, когда говорит: «Правилами нашего языка задано, что некоторые выражения должны восприниматься как метафоры». Он признает, однако, что то, что «означает» метафора, зависит и от дополнительных факторов: намерения говорящего, тона голоса, словесного окружения и т. д. [4, с. 157].

[2] Нельсон Гудмен говорит, что метафора и многозначность отличаются главным образом тем, что «различные употребления многозначного слова являются сосуществующими и независимыми друг от друга», в то время как в метафоре «слово, расширение которого закреплено обычаем, под воздействием этого обычая прилагается к чему-либо еще». Гудмен указывает, что когда ощущение производности «двух употреблений» в метафоре исчезает, то метафорическое слово переходит в разряд многозначных [8, p. 71]. На самом же деле достаточно часто одно употребление многозначного слова возникает из другого (если пользоваться терминологией Гудмена), и они, таким образом, никак не могут быть равноправно сосуществующими. Основная ошибка многих авторов, включая Гудмена, состоит в том, что они считают, будто в метафорическом слове сосуществуют два «употребления», и в этом оно сходно с многозначными словами.

[3] Эта теория принадлежит главным образом П. Хенле [9].

[4] Дж. Миддлтон Ма́рри говорит о метафоре как о «сжатом сравнении» [10, p. 3]. Макс Блэк указывает на то, что сходная точка зрения встречается у Александра Бейна [2].

[5] Поскольку отрицание метафоры, похоже, всегда является потенциальной метафорой, то среди потенциальных метафор столько же банальных, сколько абсурдных — среди имеющихся.

[6] Стэнли Кавелл отмечает тот факт, что большинство попыток перефразировать метафору заканчивается словами «и так далее», ссылаясь при этом на замечание Эмпсона о том, что метафоры «полны смысла» [5, р. 79]. Однако моя и Кавелла точки зрения на бесконечность парафразы различны. Кавелл считает, что отмеченное свойство отличает метафору от («возможно, не всякого») буквального текста. Я же придерживаюсь мнения, что бесконечный характер парафразы объясняется тем, что она стремится выразить то, к чему привлекает наше внимание метафора, а этому нельзя поставить предел. Я бы утверждал это же самое по отношению к любому употреблению языка.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Аристотель. Об искусстве поэзии. М., 1957 (перевод В. Г. Аппельрота); ср. также Аристотель. Поэтика. — Соч. в 4-тт., т. 4. М., 1984 (перевод М. Л. Гаспарова).

[2] Bain A. English Composition and Rhetoric. London, Longmans, 1887.

[3] Barfield O. Poetic Diction and Legal Fiction. — In: "The Importance of Language", ed. by M. Black, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall, 1962.

[4] Black M. Metaphor. — См. наст. сборник, с. 153—172.

[5] Cavell S. Must We Mean What We Say? New York, Scribner's, 1969.

[6] Cohen T. Figurative Speech and Figurative Acts. — "The Journal of Philosophy", 1975, vol. 72.

[7] Empson W. Some Versions of Pastoral. London, Chatto and Windus, 1935.

[8] Goodman N. Languages of Art. Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1968.

[9] Henle P. Metaphor. — In: "Language, Thought and Culture", ed. by P. Henle. Ann Arbor, Univ. of Michigan Press, 1958.

[10] Murry J. M. Countries of the Mind. 2-nd series. Oxford, Oxford Univ. Press, 1931.

[11] Verbrugge R. R. and McCarrell N. S. Metaphoric Comprehension: Studies in Reminding and Resembling. — "Cognitive Psychology", 1977, vol. 9.

[12] Wittgenstein L. Philosophical Investigations. Oxford, Basil Blackwell, 1953.

НЕЛЬСОН ГУДМЕН

МЕТАФОРА — РАБОТА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ

I

Симпозиум, на котором мы присутствуем, — свидетельство растущего осознания того, что метафора важное и одновременно странное явление (важность его представляется странной, а странность — важной) и ее место в общей теории языка и познания заслуживает изучения.

Метафорическое употребление языка во многом отличается от буквального (literal)*, но при этом оно не становится ни менее понятным, ни более темным, ни менее практичным, ни более независимым от истинности и ложности. Метафора далека от того, чтобы быть простым средством украшения; она активно участвует в развитии знания, замещая устаревшие «естественные» категории новыми, позволяющими увидеть проблему в ином свете, предоставляя нам новые факты и новые миры. Странная, с нашей точки зрения, особенность метафоры заключается в том, что метафорическая истинность сосуществует с буквальной ложностью[1]: понятое буквально, предложение может быть ложным; воспринятое метафорически, оно может оказаться истинным, например: *Шарнир прыгает* (The joint is jumping) или *Озеро — сапфир* (The lake is a sapphire).

Эта особенность метафоры перестает казаться странной, как только мы осознаем, что резкое отличие метафорического использования слова от его использования в прямом значении абсолютно естественно. Слово *сапфир* в прямом значении используется для выделения класса предметов, включающего определенные драгоценные камни, но не озера; в метафорическом значении (как в приведенном выше примере) это слово выделяет класс предметов, включающий озеро, но не драгоценные камни. Поэтому предложение *Озеро — сапфир* ложно, если оно понимается буквально, и истинно, если понимается метафорически. В то же

Nelson Goodman. Metaphor as moonlighting. — In: “On Metaphor”, ed. by S. Sacks, The University of Chicago Press, 1978, p. 175—180.

* Слово literal переводится либо как *буквальный*, либо как *прямой* (напр., *прямое значение*) в зависимости от контекста. — *Прим. перев.*

время предложение *Грязный пруд — сапфир* ложно и в буквальном, и в метафорическом употреблении. Истинность и ложность метафорических предложений так же различаются и противопоставляются друг другу, как истинность и ложность предложений, понимаемых буквально. И предложение *Озеро — сапфир* истинно в своем метафорическом применении, если, и только если, истинно предложение *Выражаясь метафорически, озеро — сапфир*.

Очевидно, метафора и неоднозначность сродни друг другу в том, что неоднозначные слова, так же как слова в метафорическом значении, могут иметь два или более применений. Но метафора отличается от неоднозначности тем, что метафорическому использованию слова обязательно предшествует его использование в прямом значении, оказывающее влияние на метафорическое. Очень часто у слова бывает несколько метафорических и несколько буквальных применений. В ироническом метафорическом использовании предложение *Грязный пруд — сапфир* истинно, в то время как предложение *Озеро — сапфир* ложно. Два метафорических значения слова получены разными путями от использования слова *сапфир* в прямом значении, то есть по отношению к драгоценным камням.

II

Против такой простой интерпретации возражает Дональд Дэвидсон*. Он отрицает, что слово может иметь метафорическое применение, отличное от буквального, и пренебрежительно отвергает понятия метафорической истинности и ложности. Дэвидсон считает, что предложение может быть истинным или ложным только в том случае, если оно понимается буквально; метафорически интерпретировать предложение, ложное в своем буквальном применении, не значит интерпретировать его как сообщающее нечто такое, что может расцениваться как истинное, а значит, просто выявить некоторые импликации (suggestions) данного ложного предложения, навести на сравнения или вызвать определенные мысли и эмоции. Что можно сказать о такой позиции?

Общепризнанная сложность, более того, невозможность найти буквальные парафразы для большей части метафор используется Дэвидсоном как доказательство отсутствия самого объекта, подлежащего перефразированию; иными словами, метафорическое предложение не сообщает ничего сверх его буквального смысла; скорее, предложение просто функционирует по-другому, вызывая к жизни сравнения и стимулируя воображение. Но и перефразирование многих предложений, понимаемых буквально, оказывается невероятно сложным, и мы, безусловно, можем поставить

---

* См. статью Д. Дэвидсона «Что означают метафоры» в наст. книге. — *Прим. ред.*

вопрос о том, возможна ли вообще точная передача предложения другими словами данного языка или перевод его на другой язык. И все же давайте согласимся с утверждением, что передать метафору словами, используемыми буквально, особенно трудно. Это несложно объяснить тем, что результатом — и, обычно, целью — метафорического использования слова является очерчивание новых границ значения, которые пересекают привычные, либо выделение новых значимых подклассов или родов предметов, для обозначения которых мы не располагаем простыми и привычными дескрипциями. Кстати, здесь стоит сказать, что метафорическое использование слова может быть абсолютно ясным для понимания. Так же как неспособность дать определение, что такое «парта» (desk), вполне совместима со знанием того, какие предметы являются партами, неспособность перефразировать метафору вполне сочетается со знанием того, для обозначения каких предметов она используется. И, как мне уже приходилось говорить [6], наверное, легче решить, является ли человек Дон Кихотом или Дон Жуаном в метафорическом смысле, чем определить, является ли он шизофреником или параноиком в буквальном смысле этих слов.

Второй пункт своих возражений против теории истинности/ложности метафоры Дэвидсон строит на примере анализа слова burned up ‘вспыхнувший, воспламенившийся’, которое, будучи первоначально метафорой, впоследствии из-за частого употребления теряет метафоричность. Дэвидсон рассуждает примерно так: слово burned up не меняет сферы своего применения, когда его метафоричность стирается; теряется лишь его способность вызывать образные представления, и это доказывает, что суть метафоры — в ее функции, а не в применении. Я согласен с тем, что, когда метафора стирается, она уже не побуждает к сравнению — к сравнению, я сказал бы, двух различных применений слова. Но рассуждения Дэвидсона, как мне кажется, не согласуются с сформулированным им самим положением об отсутствии различий между буквальным и метафорическим использованием слова. Ибо если слово burned up начинает употребляться буквально для характеристики разгневанных людей, то есть использоваться, так же как и раньше, метафорически, то такое его употребление должно отличаться от другого, буквального (исходного) использования по отношению к предметам, охваченным пламенем. Когда слово burned up прекращает существование в качестве метафоры, оно становится неоднозначным; при этом ни одно из его буквальных употреблений никак не предполагает другого и не влияет на него; в то же время ни одно из этих употреблений не является новым.

Между прочим, если слово burned up при длительном метафорическом использовании теряет свою образность и, как утверждает Дэвидсон, по объему экстенсионала становится равным слову angry ‘рассерженный’, мы имеем полное право задать воп-

рос, почему же тогда трудно передать метафору burned up словом angry? Я думаю, что сила этой метафоры заключалась именно в том, что это слово не было полной параллелью слову angry; что такие слова, как burned up и to come to a boil 'вскипеть', не могут использоваться метафорически в одной и той же ситуации; что в течение некоторого времени после того, как метафорическое значение обесцвечивается, второе, буквальное использование слова burned up все же несколько расходится с буквальным использованием слова angry. Безусловно, у всех слов такие различия в процессе повседневного частого употребления постепенно стираются.

Развивая свои идеи дальше, Дэвидсон цитирует стихотворение Т. С. Элиота «Гиппопотам»* с целью продемонстрировать, что неметафорический текст имплицирует сравнения подобно тексту метафорическому. Представляется, что в этом можно убедиться и на более простых примерах. Неметафорические предложения Compare the True Church with the hippopotamus 'Сравните Истинную Церковь с гиппопотамом' и The True Church has important features in common with hippopotamus 'У Истинной Церкви есть важные особенности, общие с гиппопотамом' так же явно стимулируют воображение, как и метафорическое предложение The True Church is a hippopotamus 'Истинная Церковь — гиппопотам'. В целом, метафорические и неметафорические предложения могут в равной степени использоваться, чтобы стимулировать игру воображения, выразить угрозу, увлечь, потрясти, ввести в заблуждение, задать вопрос, сообщить что-то, убедить в чем-то и т. д. Значит, попросту говоря, ни одна из этих функций не является специфической для метафоры, и метафора не может быть определена в терминах этих функций. Поэтому рассуждения Дэвидсона опровергают его собственное утверждение.

По-моему, метафора предполагает отторжение слова или, скорее, фигуры речи от первоначального буквального использования и новое применение этого слова для образования нового класса в той или иной предметной области. Мне кажется, что отрицание Дэвидсоном того, что использование слова в его метафорическом значении может отличаться от его использования в прямом значении и что предложение, ложное в буквальном применении, может быть истинным в применении метафорическом, есть одно из самых глубоких заблуждений в теории метафоры.

III

Как часто подчеркивал Тед Коэн [1, p. 358—359] и как я продемонстрировал в «языках искусства»[2] на примере картины, которая может быть названа голубой и буквально, и метафори-

---

* См. с. 184 наст. книги. — *Прим. ред.*

чески*, метафорическая истинность не всегда является ложью при буквальном прочтении предложения. В чем же тогда, спрашивает Дэвидсон, заключается метафорический характер истинного в своем буквальном понимании высказывания *Ни один человек не является островом* (No man is an island)? Совершенно очевидно, что метафорическое прочтение этого предложения отличается от буквального: выражение, которое в своем буквальном значении используется для классификации географических объектов, при метафорическом прочтении выделяет класс живых существ, — и в результате ни один человек не включается в этот класс. Высказывание *Ни один человек не является островом* метафорично, поскольку оно предполагает продолжение: *...скорее, каждый человек есть часть материка* (...rather, every man is part of a mainland). Предложение *Озеро — не рубин* (No lake is a ruby) точно так же метафорично, как высказывание *Это озеро — сапфир*, поскольку в обоих случаях выражения, использующиеся для обозначения классов драгоценных камней, применяются по отношению к водным поверхностям.

Более того, как показывает пример картины — голубой и в прямом, и в метафорическом смысле, — экстенсионал слова в буквальном значении и экстенсионал метафорического применения слова не обязательно строго разграничены: различаясь, они могут иметь и общую часть. Хотя картина может быть названа голубой и в прямом, и в метафорическом смысле, о многих предметах можно сказать, что они голубые либо только буквально, либо только метафорически, но не одновременно.

Ну а что, если бы все предметы, голубые буквально, были бы голубыми и в метафорическом смысле, то есть печальными? Все равно при тождестве экстенсионалов различие между прямым и метафорическим употреблением не требовало бы для своего объяснения обращения к неэкстенсиональным «значениям» или «смыслам». Различия в значениях двух слов, экстенсионалы которых тождественны, связаны с их вторичными экстенсионалами, то есть экстенсионалами параллельных сложных образований. Например, хотя все единороги — и только они — кентавры совсем не все (или даже не многие) изображения или описания единорогов, и не только они, представляют собой изображения или описания кентавров; и хотя все неперпатые двуногие способны смеяться, совсем не все и не только изображения непернатых двуногих являются изображениями смеющихся существ. Точно так же, когда экстенсионалы буквального и связанного с ним метафорического значения слова совпадают, между вторичными экстенсионалами этих слов существуют значительные различия: дескрипции голубых предметов (голубых в буквальном смысле) не являются обязательно дескрипциями голубых (в

* Слово blue 'голубой' в английском языке может также иметь значение 'грустный'. — *Прим. перев.*

метафорическом смысле) предметов, и только их[3]. Обычно, как я уже писал, буквальный смысл слова классифицирует объекты, а метафора осуществляет их новую классификацию. Но в тех случаях, когда слово с нулевым экстенсионалом (как, например, слово *единорог*) используется метафорически, новый класс предметов не может быть сопоставлен с исходным. Здесь снова вступает в игру вторичный экстенсионал. Классификация объектов, осуществляемая метафорой, отражает, скорее, сортировку, осуществляемую таким сложным образованием, как «описание (или изображение) единорога при буквальном понимании этого слова (literally-unicorn description or picture)».

Другой любопытный пример такого рода я приводил в своей недавно опубликованной работе на другую тему [1]. Я предположил, что мессер Агилульф, герой романа Итало Кальвино «Несуществующий рыцарь», помимо всего прочего, есть метафорическое обозначение реального мира: так же как мифический рыцарь существовал только в том или другом типе доспехов и как форма этих доспехов, химерический единый мир существует только в виде той или другой версии. Но каким образом слово, лишенное экстенсионала в своем буквальном смысле, может иметь еще и другое, метафорическое применение также и нулевым экстенсионалом? Ответ состоит в том, что есть много пустых имен, то есть имен с нулевым экстенсионалом, и что сложный терм «дескрипция мессера Агилульфа», взятый в буквальном смысле, выделяет некоторый подкласс пустых имен. Это отражается в отделении дескрипций единого реального мира (one-real-world) от других имен с нулевым экстенсионалом тогда, когда мы понимаем имя «мессер Агилульф» как метафорическое обозначение несуществующего реального мира.

IV

Рассмотренные нами особые случаи использования слов не должны создавать впечатления, что метафора — это роскошь, которую может позволить себе литература, что это редкое эзотерическое или чисто декоративное средство. Приспосабливая старые слова к выполнению новых функций, мы получаем огромную экономию лексических средств языка и используем свои устоявшиеся привычки в процессе создания новых переносных значений. Метафора пронизывает почти всю речь; даже в текстах, далеких от художественных, очень трудно отыскать фрагменты, которые понимались бы только буквально и не содержали бы свежих или уже стертых метафор. Рассматривая многообразие применения слов и других символов, равно как и состоящих из них словосочетаний, мы приходим к пониманию того, как соотносятся друг с другом и с буквальным текстом различные фигуры речи и как, благодаря метафоре, символы могут использоваться экономно, практично и творчески[4].

Метафорическое употребление — это работа слов по совместительству.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Выражение «метафорическая истинность» означает не то, что истинность предложения метафорична, а то, что предложение, понимаемое метафорически, истинно. Подобным же образом должен пониматься целый ряд сходных выражений. Кроме того, я стремился избегать нечеткого термина «значение», и для читателей, незнакомых с философской терминологией, я обычно употреблял термин «применение» ("application"), а не «объем понятия» ("extension") для обозначения списков референтов слова. Во многих случаях я старался избежать многозначного термина «употребление» ("use"), используя в зависимости от ситуации термины «применение» или «функция».

[2] См. мою работу [2, p. 83]; в ряде мест данной книги я уделял этой проблеме недостаточно внимания. Интересный анализ этой и связанных с нею тем проводится в работе [7].

[3] О понятии вторичного экстенсионала и о параллельных сложных образованиях см. мои работы [3]; [4]. И. Шеффлер обратил мое внимание на то, что модификаторы «буквально» и «метафорически» в моем построении заложены уже в исходных словах. Иначе был бы необходим промежуточный шаг. Кстати, если бы «голубой буквально» и «голубой метафорически» имели тождественный экстенсионал, могло бы возникнуть следующее различие: классификация изображений по вызываемым различными цветами чувствам все же могла бы отличаться от собственно цветового спектра на других его участках.

[4] О метафорических и других путях образования новых миров см. мою работу [5].

ЛИТЕРАТУРА

[1] C o h e n T. Notes on Metaphor. — "Journal of Aesthetics and Art Criticism", 34, 1976.

[2] G o o d m a n N. Language of art. Indianapolis, 1976.

[3], [4] G o o d m a n N. On likeness of meaning; Some differences about meaning. — In: "Problems and Projects". Indianapolis, 1976, pp. 221—238; 204—206.

[5] G o o d m a n N. Ways of Worldmaking. Indianapolis, 1978.

[6] G o o d m a n N. Stories upon Stories: or Reality in Tiers. — Доклад на конференции на тему «Уровни реальности» ("Levels of Reality"), состоявшейся в сентябре 1978 г. во Флоренции (Италия).

[7] S c h e f f l e r I. Beyond the Letter. London, 1979.

МОНРО БИРДСЛИ

МЕТАФОРИЧЕСКОЕ СПЛЕТЕНИЕ

Из всех связанных с метафорой вопросов, которые интересуют специалиста по теории литературы или по философской эстетике, первым и фундаментальным, несомненно, является вопрос о том, что такое метафора. Дать адекватное описание метафоры как языкового явления и на этой основе как явления поэтического — значит сказать, каковы особенности метафорических выражений, чем они отличаются от буквальных, как мы их распознаем, как определяем и что они означают.

Подразделить этот основной вопрос на отдельные темы нелегко. Существует несколько подходов к описанию метафоры, часть которых восходит к временам античности, но все они столь хорошо известны и столь заметно перекликаются в работах разных авторов, что создается впечатление об их примерной взаимной эквивалентности. Однако, по моему мнению, между ними имеется существенное различие, и одна из задач, которые я ставлю перед собой в настоящей статье, состоит в том, чтобы разграничить разные подходы более четко, чем это делалось ранее. Я хочу выделить два подхода к анализу метафоры, один из которых можно назвать «подходом со стороны объекта», а второй — «подходом со стороны языка».

В соответствии с одним из этих подходов, рассматриваемым достаточно широко, модификатор метафоры (под которым я понимаю, например, слово spiteful в словосочетании the spiteful sun 'злобное солнце'), входя в состав метафоры, сохраняет свою стандартную семантическую роль, а потому и в таком контексте продолжает обозначать в точности то же самое, что и при буквальном употреблении. Из этого следует, что метафора — это скрытое сравнение, неявное указание на сходство, и рассматриваемое выражение означает, что солнце подобно злобному человеку. Тем самым оно относится к двум объектам — к солнцу и к человеку. По словам Джонсона, метафора «задает вместо одной

Monroe C. B e a r d s l e y. The Metaphorical Twist. — "Philosophy and Phenomonological Research", vol. 22, 1962, № 3, p. 293—307.

идеи сразу две». Джон К. Рэнсом трактует метафоры как «импортеров», которые вводят «в ситуацию незнакомые объекты»[1], — как мне представляется, автор имеет в виду воображаемый импорт экзотических яств типа трюфелей или засахаренных пчел. По его мнению, метафора вводит в контекст чуждый ему и не названный объект (восхищая нас его очарованием и новизной, как мог бы выразиться теоретик XVIII века), благодаря чему возникает та «фрагментарная текстура иррелевантности», которую Рэнсом считает столь важной для поэзии.

Назовем эту теорию метафоры теорией сравнения объектов. Конкурирующая теория, теория словесных оппозиций, не усматривает в метафоре «импортируемой» части или сравнения, а считает ее особым языковым приемом, своего рода языковой игрой, использующей два уровня значения в самом модификаторе. Когда предикат метафорически связан с субъектом, он теряет свой обычный экстенсионал, поскольку присваивает себе новый интенсионал — быть может, такой, который более не встречается ри в одном контексте. И это сплетение значений обусловлено своего нода притяжением (или оппозицией), присущим метафоре как таковой.

В дальнейшем я приведу свои возражения против теории сравнения объектов, касающиеся как ее традиционной версии, так и предложенного недавно модифицированного варианта. Затем я более подробно раскрою теорию языковых оппозиций и приведу аргументы в ее защиту от возможных возражений.

I

Сначала предположим, что для нас не важно, подходить ли к метафоре со стороны объекта или со стороны слова (подчеркну, что это лишь временное предположение). Так, предположим, что слово briar ‘вереск’ [из его корня изготовляют курительные трубки] употреблено метафорически в некотором контексте, например, в следующем: frigid purgatorial fires of which the flames is roses, and the smoke is briars[2] *букв.:* ‘холодный огонь чистилища, где пламя — розы, а дым — вереск’.

Объяснение этого словоупотребления можно начать либо на языке-объекте (сообщив о качествах вереска), либо на метаязыке (сообщив о коннотациях слова briars). Можно сказать либо то, что «вереск обладает способностью цепляться, замедлять продвижение; используется для изготовления трубок» и т. п., либо то, что «слово briars имеет коннотации с такими качествами, как “цепляющийся”, “замедляющий движение”, “используется для изготовления трубок”» и т. п. Однако, хотя два подобных способа объяснения и пересекаются (поскольку коннотации слова частично производны от общих сведений о соответствующих объектах), но полностью они не совпадают.

Дело в том, что коннотации основываются не только на дей-

ствительных качествах объектов, но и на таких их качествах, которые обычно предполагаются, даже если эти предположения и не соответствуют действительности. К этому и сводится мое первое возражение против теории сравнения объектов: последовательное применение этой теории будет давать неправильные или неполные объяснения метафор в тех случаях, когда модификатор имеет коннотации, применимые к данному контексту, но не отражающие качества объекта в общем случае. Например, некоторые важные пограничные значения слова briars в поэме Элиота, несомненно, проистекают из ассоциаций с терновым венцом Христа. Независимо от того, насколько соответствует действительности предание о терновом венце, само существование этого предания достаточно для того, чтобы придать слову briars в данном контексте значение 'тернии'. Если же при объяснении рассматриваемой строфы ограничиться только точными знаниями о вереске, то получаемое объяснение будет неполным.

Мое второе возражение против теории сравнения объектов состоит в том, что если мы поставим перед собой задачу снабжать объект сравнения указанием на субъект метафоры, который, в терминологии Айвора А. Ричардса, является ее «оболочкой» (vehicle), то мы тем самым привносим в толкование неконтролируемый поток воображения, который воздвигает существенные преграды между читателем и текстом. Рассмотрим еще один из анализируемых Рэнсомом примеров — строки из «Юлия Цезаря» Шекспира о мече Брута в речи Антония (акт III, сц. 2, ст. 178)

Mark how the blood of Caesar follow'd it,
As rushing out of doors, to be resolv'd
If Brutus so unkindly knock'd or no.
[Заметь, как кровь Цезаря последовала за ним,
Как бы вырываясь из дверей, чтобы узнать,
Брут ли ударил (постучался) так жестоко, или нет.]*

Рэнсом говорит о «сдвиге» от содержания (tenor), то есть от крови к «пажу», открывающему дверь, причем паж есть «оболочка» метафоры[3]. Но в этих строках паж, как легко видеть, не упоминается, равно как и грубо разбуженный домоправитель или готовый к бою фермер, поднятый по призыву Полем Ривером. Откуда же взялся этот паж? Рассуждения, использующие термины типа «оболочки» и «содержания» вкупе с исходным предложением о том, что метафора — это непременно сравнение, заставляют исследователя придумывать эту «оболочку» в том случае, когда он не может ее обнаружить; тогда и возникает паж. Однако выражение as rushing out of doors 'как бы вырываясь из дверей' не является полностью синонимичным выражению as page rushing

---

* Ср. перевод М. Зенкевича:
... вслед за ним [кинжалом] кровь Цезаря метнулась,
Как будто из дверей, чтоб убедиться —
Не Брут ли так жестоко постучался.
— *Прим. перев.*

out of doors, коль скоро речь идет о крови Цезаря. Исследователь должен сосредоточить свое внимание на первом значении, а не на тех «импортируемых» вторичных значениях, которые существуют только в его фантазии. Приводя характерную метафору Сэмуэля Джонсона: «из всех форм существования Время наиболее губительно для воображения», Уильям К. Уимсатт-мл. замечает, что «не следует представлять себе Время как дворецкого, в угоду хозяину жертвующего Воображением»[4].

Третье из моих возражений против теории сравнения объектов состоит в том, что она приводит к неубедительной доктрине «приемлемости». Если метафора — это сравнение, то оказывается возможным задаваться вопросом о том, является ли она «подходящей» или же, напротив, «неестественной». Это прослеживается в четвертой причине выспренности стиля в «Риторике» Аристотеля, а именно, в его возражении на слова Горгия о делах «бледных» и «кровавых» (1406b)[5]. Если взять слова Макбета («Макбет», акт II, сц. 3):

... their daggers
Unmannerly breech'd with gore
[*букв.* ...их кинжалы
дерзко одеты брюками из запекшейся крови]*,

в которых кровавые кинжалы сравниваются с ногами в брюках, и задуматься о приемлемости этого сравнения, то нам, вероятно, придется согласиться с критиком XIX в., которого цитирует К. Брукс[6], в том, что Шекспир «отвращает нас натянутостью сравнений». Однако корректный вопрос сводится к тому, что *означают* эти слова, — какие качества они приписывают кинжалам посредством маргинальных значений метафорического определения. Вопрос состоит не в том, является ли приведенный способ описания кинжалов оптимальным, а в том, что́ мы узнаем из приведенного отрывка об этих кинжалах, об их роли в сюжете — или о говорящем, который охарактеризовал их подобным образом.

Обобщим сказанное. Предположим, что поэт говорит My sweetheart is my Schopenhauer 'Моя возлюбленная — это мой Шопенгауэр'. В рамках теории сравнения объектов мы должны задаться вопросом о том, что общего между возлюбленной поэта и Шопенгауэром. Однако, как можем мы ответить на такой вопрос, не *зная* ничего об этой женщине, если сама метафора не содержит указаний на какие-либо ее качества? Корректный вопрос состоит в том, какие из возможных значений имени 'Шопенгауэр' применимы к возлюбленной поэта и не вступают в то же время в противоречие с контекстом.

---

* Ср. в переводе Ю. Корнеева:
«...на их кинжалах
Алел наряд из высыхавшей крови».
— *Прим. перев.*

II

Мои общие возражения против теории сравнения объектов, как мне кажется, в равной мере применимы к очень интересному варианту этой теории, предложенному П. Хенле — теории иконической сигнификации[7]. Хенле, как представляется, предпринимает попытку объединить те две теории, которые были названы выше. Он разрабатывает вариант теории словесных оппозиций, однако описывает его в терминах, связанных с реакцией читателя — его «удивлением» перед явлением «столкновения значений»[8]. Мне кажется более предпочтительным выдвижение теории, которая касается не эффекта, вызываемого метафорой, а языковой структуры, производящей такой эффект, то есть касается «столкновения значений» самого по себе. Об этом Хенле говорит мало, он не объясняет, как данная теория соотносится с его другой, главной, теорией; не объясняет он и того, в чем причина «удивления» и «столкновения значений», если его главная теория правильна.

Хенле утверждает, что «в метафоре содержится иконический элемент», и предлагает анализировать метафорические определения с помощью понятия иконического знака. Разбирая пример из Китса hateful thoughs enwrap my soul in gloom *букв.* 'злобные мысли окутывают мою душу мрачностью', он говорит о существовании двух отношений; во-первых, слово enwrap 'окутывать' обозначает определенное действие 'окутывание покровом' (envelopment in a cloak). Во-вторых, это действие становится иконическим знаком мрачности[9]. «В метафоре некоторые термы символизируют иконизирующее, тогда как другие — иконизируемое»[10].

Можно спросить для начала, каким образом в это объяснение попал покров (cloak). Как представляется, иконическая теория импортирует некий посторонний объект (типа пажа у Рэнсома), и поэтому она столь же уязвима, как и другие теории «импорта». Хенле даже склоняется к доктрине «приемлемости», которая, по моему мнению, является камнем преткновения для теорий сравнения объектов. Так, он пишет: «было бы неудачным говорить о злобных мыслях, заманивающих (entrapping) душу в мрачность», поскольку «все ловушки (traps) снабжены острыми зубцами и не сочетаются с мрачностью»[11]. Возможно, мне не следовало бы так акцентировать это замечание, однако я должен сказать, что его обобщение приводит к совершенно удивительному принципу. По моему мнению, вопрос о том, является ли окутывание лучшим иконическим знаком для мрачности, чем ловушка, относится к таким, на которые нельзя ответить, — к счастью, отвечать на них и не следует. Если бы лирический герой поэмы был заманен в ловушку мрачности, а не окутан мрачностью, то он просто был бы несколько иначе охарактеризован, его чувства были бы несколько другими, однако

говорить о том, лучше или хуже была бы в этом случае поэма, не приходится, поскольку это зависит от целого ряда других факторов.

Хенле цитирует один из примеров Аристотеля, относящийся к способам инвертирования «пропорциональной аналогии»; разные результаты получаются, если сказать, что щит является фиалом Ареса, или же, что «фиал есть щит Диониса»[12]. «Подобная инверсия возможна, несомненно, только вследствие иконического характера метафоры», — пишет Хенле[13]. Возможно, это следует непосредственно из самой теории сравнения объектов, поскольку, если А можно сравнить с В, то почему не сравнить В с А? Ведь утверждение подобия эквивалентно своему конверсиву. Однако, если такое следствие действительно имеет место, то оно наносит по теории сокрушительный удар. Хенле осознает здесь наличие некоторых трудностей и потому отмечает, что хотя метафора всегда обратима, но иногда подобное обращение «меняет характер восприятия». Позволю себе не согласиться с последним утверждением: разница между высказываниями this man is a lion 'этот человек — лев' и this lion is a man 'этот лев — человек'[14] состоит в том, что разные метафорические модификаторы определяют разные субъекты. В теории языковых оппозиций ниоткуда не следует, что если А — метафорическое В, то В — метафорическое А. В этом и состоит различие между метафорой и аристотелевой пропорциональной аналогией, или рациональным сравнением — даже если сам Аристотель и не считал это различие столь уж существенным. Несомненно, что здесь следствие теории словесных оппозиций является справедливым, в то время как иконическая теория, коль скоро из нее следует, что, называя людей львами, а львов — людьми, мы в обоих случаях определяем одни и те же свойства, обнаруживает свою несостоятельность.

Теория иконической сигнификации, как мне кажется, заслужила и еще один справедливый упрек. То, что теория метафоры может анализировать метафору тем же способом, что и оксюморон, можно было бы считать достоинством этой теории. Это делает теорию более экономной, а также отражает очевидное глубинное сходство между метафорой и оксюмороном. Однако анализ оксюморона как представления оказывается непосильным для иконической теории. При толковании примеров типа mute cry 'немой крик' мы должны были бы сказать, что немой человек становится иконическим знаком чего-то, что не является немым: беззвучие становится знаком звука, — трактовка не слишком убедительная. Было бы правильнее считать, что в случае оксюморона мы имеем дело с архетипом, наиболее явной и концентрированной формой словесной оппозиции.

III

Если отвлечься от объектов, к которым отсылает метафора, и рассматривать сами значения слов, то следует искать, так ска-

зать, метафоричность метафоры в своего рода конфликте, который отсутствует при буквальном использовании слов. Одно из направлений исследования этого конфликта я, как мне кажется, сразу же могу отвергнуть как тупиковое. Речь идет о таком направлении, при котором сравниваются смысл выражения и та идея, которую имел в виду говорящий (или пишущий). Тогда метафорически A назвать B — это значит сказать, что A — это B, не имея этого в виду (то есть метафора здесь — это форма иронии[15]). Здесь производится неявная апелляция к намерению говорящего, и соответствующая теория страдает всеми недостатками, проистекающими из использования понятия намерения. Неверно, что мы приходим к выводу о метафорическом использовании слова в стихотворении потому, что мы знаем, о чем думал поэт; скорее наоборот, мы узнаем, о чем он думал, поскольку видим, что слово употреблено метафорически. Ключ к пониманию поэзии должен быть сокрыт в самой поэзии, в противном случае мы почти никогда ничего не могли бы в ней понять.

Взгляды такого рода прослеживаются и в блестящем очерке метафоры в недавней книге Изабель Хангерленд[16]. По ее словам, в метафоре «должно присутствовать некое устанавливаемое отклонение от обычного употребления или его нарушение, иначе говоря, это нарушение должно быть намеренным». По объяснению Хангерленд, второе из предложений было написано ею только по небрежности; я привожу эту цитату, чтобы подчеркнуть, что два данных предложения очевидным образом далеки от синонимичности, поскольку вполне возможны случайные или ненамеренные метафоры[17].

Оппозиция, которая сообщает выражению метафоричность, содержится в самой его семантической структуре. Хотя я уже описал некоторые черты теории словесных оппозиций в другом месте[18], я все же кратко повторю их сейчас. Согласно предлагаемой концепции, возможность метафорического поведения языковой единицы, то есть возможность осуществлять в живой речи определенного рода языковую игру, зависит от ощущаемого различия между двумя наборами свойств интенсионала, или сигнификата, слова: первый включает те свойства, которые (по меньшей мере, в некоторых контекстах) составляют необходимые условия для правильного употребления данного слова в данном значении (это определяющие свойства, или свойства десигната, то есть центральное значение слова в контексте определенного рода); второй же включает те свойства, которые принадлежат маргинальному значению слова, или его коннотации (если использовать этот термин в том значении, которое принято в литературоведении), то есть те свойства, которые говорящий может (в соответствующем контексте) приписать объекту, используя данное слово, причем говорящий не обязан следовать правилу, согласно которому он не может применять данное слово к определенному объекту, если этот объект не обладает этим свойством.

Я писал и о том, что когда слово комбинируется с другим таким образом, что между центральными значениями этого и других слов возникает логическая оппозиция, то происходит сдвиг от центрального значения рассматриваемого слова к его маргинальному значению, и этот сдвиг показывает, что слово употреблено метафорически. Это единственный способ, которым можно трактовать данное явление, не впадая в абсурд. Термин «логическая оппозиция» здесь включает как прямую несовместимость семантических свойств, так и менее прямую несовместимость между пресуппозициями слова; ср. пример spiteful sun, где наше представление о солнце исключает его сознательное поведение, предполагаемое при злобности. Именно логическая оппозиция позволяет модификатору создавать метафорическое сплетение.

Следовательно, принадлежность к метафоре определяется наличием двух составляющих: семантического различия между двумя уровнями значения и логической оппозиции на одном из уровней. Тем самым при использовании слова spiteful в метафорическом контексте не встает вопроса о том, что обычно оно обозначает злобных людей, упоминание о которых, в свою очередь, должно быть введено в интерпретацию для проведения сравнения; в данном контексте функционирование слова spiteful связано только с его коннотативными характеристиками.

Таков общий вид простой теории словесных оппозиций, которую я отстаиваю и которая, как представляется, отражает суть метафоры. Иными словами, я считаю явление, описываемое этой теорией, то есть сдвиг от десигнации к коннотации, действительно существующим. Однако в то же время я опасаюсь, что предложенное описание не является достаточным. По крайней мере в некоторых метафорах происходят еще некоторые очень важные процессы[19]. Для пояснения мне придется задать (или сформулировать более четко, чем до сих пор) два противопоставления.

Коннотации слова, обозначающие объекты определенного рода, черпаются из общего множества акцидентальных свойств, присущих объектам или приписанных им. Назовем это множество акцидентальных свойств *потенциальным диапазоном коннотаций* слова. Однако в некоторый момент истории существования слова активизируются, возможно, не все эти свойства. Так, размышляя о множестве свойств, присущих деревьям (хотя, вероятно, и не всем), можно выделить такие, как облиственность, тенистость, ветвистость, высота, стройность, наличие коры, способность гнуться при ветре, сила и т. п. Некоторые из этих свойств, например, облиственность, тенистость, высота, очевидным образом относятся к признанным коннотациям слова tree 'дерево' и участвуют во многих известных метафорах. Их можно назвать *основными коннотациями*. Другие свойства, возможно, такие, как гибкость или наличие коры, как представляется, к главным коннотациям не отно-

сятся, хотя они и могут быть достаточно характерными для деревьев, чтобы входить в потенциальный диапазон коннотаций. Они могут, так сказать, затаившись, скрываться в природе вещей, ожидая актуализации, при которой они будут «захвачены» словом tree как часть его значения в каком-нибудь будущем контексте.

Итак, мое первое противопоставление касается двух множеств акцидентальных свойств; это противопоставление не является четким, то есть его нельзя всегда с уверенностью провести однозначно, но все же оно отражает нечто объективно существующее. Мое второе противопоставление связано с разграничением двух типов метафоры и основывается на сходных предположениях.

Допустим, мы хотим разделить метафоры на два класса. Будем относить к классу I метафоры типа smiling sun 'улыбающееся солнце' или the moon peeping from behind the cloud 'луна, выглядывающая из-за облака'. Отметим, что обе эти метафоры живые, но в каком-то отношении они отличаются от тех метафор, которые можно отнести к классу II: the spiteful sun, unruly sun 'непокорное солнце', inconstant moon 'непостоянная луна'. Мы замечаем, что метафоры класса II как-то интереснее, чем метафоры класса I, хотя это, конечно же, не означает, что они предпочтительнее в любом поэтическом контексте. В чем же все-таки состоит различие?

Обратившись к простой теории словесных оппозиций, можно заметить различие, связанное со способами толкования метафор. Метафоры класса II требуют более сложного толкования, чем метафоры класса I. Они, как представляется, больше говорят об объекте. Тем самым они более точны, и, рассматриваясь как описания, обладают большей различительной силой. Сказать о солнце «улыбающееся» — значит ввести достаточно широкое противопоставление солнцу, которое вовсе не способно улыбаться, или солнцу гневному, воителю пустынь. Но сказать о солнце, что оно «непокорное» — значит иметь в виду более глубокое различие между этим и другими свойствами, воспринимаемыми столь же определенно, такими, как послушание, точность, уважение к чужим желаниям. Заметим, что теория словесных оппозиций, даже в своей простой форме, допускает разную степень сложности и, вероятно, она сможет хотя бы частично объяснять различие между двумя классами метафор. Однако, кажется, ее возможности шире.

Здесь мы подходим к очень сложному вопросу. При поверхностном рассмотрении кажется очевидным, что метафоры класса I избиты и банальны, а метафоры класса II свежи и новы. Если это наблюдение и не лишено правильности, то в нем все же скрыта подспудная опасность. Прежде всего, как мне кажется, не следует считать, что все дело в простом повторении. Быть может, smiling sun встречается в поэзии чаще, чем inconstant moon,

но даже если бы нам пришлось снова и снова повторять это словосочетание из «Ромео и Джульетты», так что в конце концов мы уже не понимали бы, что оно значит, оно не стало бы от этого более избитым. Как бы то ни было, если из-за частых повторений и возникает избитость, то наше подразделение связано не с этим. В то же время, хотя и не в первую очередь, природа той или иной метафоры не может быть полностью независимой от времени ее появления в английской литературе. Ее реальное или возможное значение в определенный период до некоторой степени опирается на другие контексты, в которых употребляется то или иное слово, а также на аналогичные или параллельные выражения, имеющиеся в языке.

IV

Предположим, что когда метафора th'inconstant moon была впервые сконструирована в английском языке, то это был первый случай метафорического использования слова inconstant, или, по крайней мере, первый случай, когда это определение применялось к неодушевленному предмету. (Это, конечно, не исключает того, что первоначально оно применялось *только* к неодушевленным предметам, например, относилось к их вращательным движениям; если в какой-то момент оно стало использоваться для описания психики или поведения, то именно тогда оно и стало употребляться метафорически.) В этот момент слово inconstant не имеет коннотаций. Следовательно, встретив словосочетание inconstant moon, мы вполне можем искать для него словесную оппозицию, однако когда мы перейдем к поискам релевантных коннотаций, мы обречены на неудачу. Как же тогда мы должны объяснять это словосочетание? Речевой контекст указывает, что оно осмысленно и эта осмысленность должна быть как-то интерпретирована. И тогда мы начинаем выискивать акцидентальные или возможные свойства, характерные для непостоянных людей, и последовательно приписывать те, которые нам удалось припомнить, луне. Эти свойства тотчас же войдут в значение слова inconstant, хотя лишь минутой ранее они относились только к соответствующим людям. Итак, можно сказать, что метафора трансформирует свойство (действительное или привнесенное) в смысл. И если, руководствуясь подобным принципом, другие поэты нашли бы иные метафорические применения для слова inconstant, в которых используются те же самые свойства и образуются сходные или пересекающиеся смыслы, то эти смыслы могли бы быть так тесно связанными со словом, что образовали бы его коннотации. В этом случае метафоры не только актуализовали бы потенциальную коннотацию, но и утвердили бы ее в качестве основной.

Именно в этом вопросе теория сравнения объектов вносит в конце концов свой положительный вклад, так как совершенно

правильно предполагает, что иногда при объяснении метафор мы должны рассматривать свойства объектов, обозначаемых модификатором. Однако референция к этим объектам производится не для сравнения: она позволяет придать некоторым из релевантных свойств объектов новый статус элементов языкового значения.

Предположим, что в некоторый момент истории английского языка уже существовали такие метафоры как smiling sky 'улыбающееся небо', smiling sea 'улыбающееся море' и smiling garden 'улыбающийся сад'. Естественно, во всех этих контекстах модификатор не может означать в точности одно и то же, однако некоторый общий смысл все же возникает. А теперь предположим, что этот общий смысл уже закреплен как коннотация слова smiling. Что же происходит, когда поэт впервые употребляет выражение smiling sun? Логическая оппозиция очевидна, поэтому мы обращаемся к основным коннотациям слова smiling и применяем их к слову sun (что соответствует простой теории словесных оппозиций). Однако дальше нам двигаться некуда — наверное, потому, что не можем, или же потому, что ничто нас к этому не принуждает. Как бы то ни было, мы видим, что перед нами метафора, мы можем правильно ее осмыслить, но не можем считать, что ее значение креативно, в отличие от метафоры класса II. Она просто заимствует свой смысл, опираясь на то, что уже установлено и доступно.

Модернизированная теория словесных оппозиций может быть удачно проиллюстрирована на примере очень интересной метафоры, позаимствованной мной у Хенле. В одной из своих богословских работ Иеремия Тейлор пишет, что «целомудренные браки почтенны и угодны Богу», что вдовство может быть «любезным и милым, когда оно украшено скорбью и чистотой», однако «непорочность — это жизнь ангелов, эмаль души» ("virginity is a life of angels, the enamel of the soul")[20]. Это не первое метафорическое использование слова enamel 'эмаль'; из словаря «New English Dictionary» мы узнаем, что Донн в 1631 г. употребил словосочетание enameled with that beautiful Doctrine of good Workes 'украшенный этой прекрасной доктриной добрых дел', а Эвелин в 1670 г. использовал выражение enamel their characters 'усовершенствуют свои характеры'. Более того, сам Тейлор в посвящении к своей книге проповедей ("Sermons") говорит «о тех истинах, которые есть эмаль и красота наших церквей (those truths which are enamel and beauty of our churches)». Быть может, такие употребления уже утвердили некоторые свойства эмали как основные коннотации слова enamel; быть может, это и не так. Надо быть уверенным в этом, чтобы с точностью отнести тейлоровскую метафору the enamel of the sole в контексте его книги "Of Holy Living" к классу II. Однако относительно нашего времени мы можем вынести более определенное суждение. Эмаль тверда, устойчива к удару и механическому воздействию, тре-

бует для своего изготовления усилий и мастерства и предназначена для украшения. Думаю, что не все эти свойства можно отнести к признанным коннотациям слова enamel. И все же говорить о непорочности как об эмали души — значит утверждать (на что и указывает Хенле), что она защищает душу и еще более украшает то, что и без того тщательно сработано. Итак, эта метафора не просто вводит в состав значения скрытые коннотации: она включает в него и такие свойства, которые до той поры не подразумевались.

Как мне представляется, следовало бы выделить по меньшей мере три стадии в рассматриваемых метаморфозах значений, несмотря на то что отделить четко одну стадию от другой мы не можем. На первой стадии у нас имеется слово и свойства, которые определенно не относятся к интенсионалу этого слова. Некоторые из этих свойств способны стать частью интенсионала, войти в состав коннотаций.

Для того чтобы обладать этой способностью, они должны относиться к достаточно общим (действительно существующим или приписываемым объектам) свойствам, к типичным свойствам — не просто в статистическом отношении, но и по существу: эти свойства должны быть нормальными и характерными для объектов, обозначаемых данным словом. Так, предположим, что кто-нибудь отнес бы белизну к числу коннотаций слова enamel. Думаю, это возможно, если бы большинство эмалей были белыми, или если бы белыми были все эмали, не подвергшиеся внешнему воздействию, или если бы белыми были лучшие эмали, или если бы из всех белых предметов эмали обладали наиболее интенсивной белизной.

Когда слово начинает употребляться метафорически в контекстах некоторого рода, то некоторые из свойств хотя бы временно переходят в значение. А широкое знакомство носителей языка с данной метафорой или со сходными метафорами может зафиксировать свойство как полноправную часть значения. На этой второй стадии вхождение коннотации в состав значения не является необходимым условием использования слова. Так, даже если слово tree 'дерево' и имеет коннотацию 'высокий', то вполне возможно, не впадая в противоречие, говорить о низких деревьях. И все же, если кто-нибудь будет рассказывать о некотором дереве «в полном смысле этого слова» (ср. *Он мужчина во всех отношениях*), мы должны, я думаю, предположить, что имеется в виду, в частности, дерево, достигшее значительной высоты (по крайней мере, для деревьев этого вида).

Когда, таким образом, коннотация становится стандартизованной для контекстов определенного рода и может приобрести новый статус, при котором она оказывается необходимым условием применения слова в данном контексте. Тогда коннотация образует новое стандартное значение. Иллюстрацией этой третьей стадии может служить «застывшая» метафора: слово tail 'хвост',

используемое по отношению к свету автомобилей, сейчас воспринимается как не имеющее ничего общего с хвостами животных, и это значение слова может быть воспринято и теми, кому неизвестно о том, что у животных бывают хвосты. На эту третью стадию переходят не все, но лишь некоторые метафоры.

Возможно, частично это историческое развитие значения можно проследить на примере слов типа warm 'теплый' или hard 'твердый', которые были перенесены из сферы тактильных ощущений в область человеческой личности (и этот процесс произошел во многих языках[21]). Как мне представляется, первое применение слова warm к человеку должно было бы превратить некоторые акцидентальные свойства теплых вещей в часть нового значения этого слова, хотя сейчас мы легко представляем себе эти свойства как коннотации слова warm, такие как 'доступный', 'приятный при приближении', 'располагающий'. Эти свойства были частью потенциального диапазона коннотаций слова warm даже до того, как они были замечены в теплых предметах, которые так не воспринимались до той поры, пока они не были подмечены в людях кем-то, кто метафорически описал людей при помощи этих свойств, что и отразилось в семантике слова warm. Но до того как эти свойства стали основными коннотациями слова warm, нужно было обнаружить, что они могут обозначаться этим словом, когда оно употребляется как соответствующая метафора. И, наконец (хотя пока этого и не случилось), словосочетание warm person 'теплый человек' может утратить свой метафорический характер и имеющиеся сейчас коннотации слова warm превратятся в новое значение. Тогда эта метафора «застынет».

Если модернизированная теория словесных оппозиций верна, она может оказаться весьма продуктивной. Она лучше объясняет удивительное разнообразие способов метафорического расширения нашего словесного репертуара, выходящего за пределы буквального использования языка[22]. Она раскрывает новизну выражения, изменения значений, в том числе и кардинальные. Она признает непредсказуемость метафоры, неожиданные эффекты, которые могут возникать даже при случайном соположении слов. Она показывает, что метафору можно объяснить объективно, поскольку свойства объектов и коннотации слов выявляемы, а споры по их поводу в принципе разрешимы. Кроме того, она объясняет сравнительную неясность, неочевидность значения метафор класса II, для полного осмысления которых может потребоваться значительное время.

V

Теория словесных оппозиций в несколько видоизмененной форме, по-видимому, может существенно способствовать удовлетворительному объяснению метафоры, если ее удастся защитить от возражений двух типов, предложенных в недавних работах.

Первое возражение могли бы выдвинуть приверженцы экстенсионалистской семантической теории смысла, противопоставленной интенсионалистской теории. Теория словесных оппозиций не может быть сформулирована без упоминания взаимно несовместимых свойств (то есть качеств и отношений); однако экстенсионалист не верит в существование свойств вообще. Разве не могли бы мы, может спросить он, обойтись без понятия несовместимости и трактовать метафоры просто как специальный случай материально ложных утверждений? Разумеется, есть разница между утверждением, что некто является лысым, когда этот человек не таков, и утверждением, что некто является львом, когда он львом не является. Однако, возможно, вся разница состоит просто в том, что второе утверждение необычнее, оно с большей очевидностью и определенностью воспринимается как неверное. Мы хорошо понимаем, каким образом говорящий может ошибиться в отношении лысости, но не понимаем, как он может принять человека за льва, и вот, вследствие явного неправдоподобия последнего утверждения в свете наших общих знаний о мире, мы отвергаем его буквальное понимание и воспринимаем его метафорически — скорее чем любую внутреннюю оппозицию значений.

Мы могли бы разработать для таких случаев теорию «невероятности» метафоры и даже привести в ее подтверждение ряд примеров некоторых вырожденных метафор, подлежащих такого рода анализу. Например, шутник говорит: I was in Philadelphia once, but it was closed 'Я однажды был в Филадельфии, но она была закрыта'[23]. Является ли это высказывание по-настоящему внутренне противоречивым? Конечно, слово closed 'закрытый' нормально и наиболее уместно применяется к отдельным общественным пунктам типа магазинов и музеев, двери которых могут быть закрыты и заперты. Однако, вероятно, не слишком расширяя значение слова, можно сказать, что целый город тоже буквальным образом закрыт. Давайте сделаем такое допущение. В этом случае особый метафорический эффект — отрицание активности вечерней жизни в Филадельфии — должен зависеть от нашего спонтанного отказа воспринимать соответствующее утверждение как ложное, что обусловливается его очевидным неправдоподобием и внешней абсурдностью. Однако даже допуская наличие подобного языкового маневра, следует признать, что он не объясняет всех случаев. Противоположным случаем является оксюморон. Обозреватель в «Репортер» не так давно следующим образом характеризовал литераторов-битников: "writers who don't write who write" ('не пишущие писатели, которые пишут'). И это не просто необычное высказывание. Мне кажется, большинству метафор свойственна своего рода внутренняя противоречивость, четко отличаемая от таких высказываний, как приведенная выше шутка по поводу Филадельфии. Конечно, должны быть и пограничные случаи, когда почти допустимо воспринимать определе-

ние в его буквальном применении к определяемому; например, словосочетание bak'd with frost 'схваченный морозом' в «Буре» Шекспира (акт I, сц. 2, ст. 256), где bak'd могло означать thickened 'уплотненный', и все выражение, содержащее это словосочетание, возможно, понималось в шекспировское время буквально[24].

Второе возражение против теории словесных оппозиций может быть сформулировано следующим образом: даже если и существуют свойства, которые следует противопоставлять друг другу, то в обычном языке они не столь жестко закреплены с помощью родовых названий, чтобы могли проявляться явные противоречия. Допускается, что brother 'брат' и male sibling 'ребенок мужского пола тех же родителей' могут быть практически точными синонимами, если принимаются во внимание их главные значения (а коннотации игнорируются); тогда выражение female brother 'брат женского пола' является внутренне противоречивым, хотя в нем, конечно, мало метафорического. Однако тезис здесь состоит в том, что для большинства интересных слов правила не столь определенны, и поэтому метафорическое употребление таких слов не может быть следствием того, что мы обнаруживаем несовместимость значений на уровне десигнации.

Профессор Майкл Скривен[25] утверждает, что слово lemon 'лимон' не имеет фактически никаких характеристических свойств в традиционном смысле, то есть таких свойств, которые должны присутствовать, если слово правильно применяется для обозначения некоторого объекта. Он цитирует толкование "Webster's Dictionary": "The acid fruit of tree (citrus limonia), related to the orange" ('Кислый плод дерева citrus limonia, родственный апельсину'), и это толкование, как представляется, отнюдь не задает необходимых условий для отнесения объекта к классу лимонов, так как мы не усмотрим никакого противоречия, если кто-либо скажет, что какой-то лимон рос на банановом дереве или вообще не рос на дереве. Скривен, однако, идет далее и заявляет, что вообще не существует ни одного такого свойства лимонов, которое, взятое отдельно, является необходимым при наличии многих других. И он полагает, что то же самое верно относительно большинства родовых названий в общеязыковом употреблении. Они обозначают то, что он называет «групповыми понятиями» (cluster concepts), и обладают «критериями» применимости, а не необходимыми условиями употребления.

Эта важная мысль, если ей суждено выдержать проверку, должна быть несколько уточнена в терминах теории словесных оппозиций, как она была изложена выше. Эта мысль вовсе не разрушает нашей теории тем, что из нее следует, что если эта теория верна, то слово lemon не может быть употреблено метафорически — ведь оно как раз может быть так употреблено в значении 'неприятный человек', 'негодная вещь' и т. п. М. Скривен сам говорит о том, что буквальное значение имеет «смещенную границу, за пределами которой лежат только неправильное

употребление и метафора»[26]. Если слово lemon лишено необходимых условий употребления, то оно и не может быть помещено в такой словесный контекст, в котором логически исключается некоторое необходимое условие, но оно вполне умѐстно в контексте, в котором исключается столь большое число критериев, что оно не может в таком контексте пониматься буквально — как, например, в том случае, когда мы называем словом lemon подержаный, бросовый автомобиль.

Я не убежден в том, что это и другие обычные слова не обладают никакими необходимыми условиями употребления, да и Скривен в настоящее время несколько пересмотрел свою прежнюю точку зрения. Я полагаю, например, что можно было бы считать необходимым условием принадлежности объекта к классу лимонов определенную органическую текстуру (в отличие от изготовленности из дерева или воска). Разумеется, принадлежность к материальным объектам есть тоже необходимое условие — spiritual lemon 'духовный лимон' либо не является лимоном в буквальном смысле, либо не является буквально духовным. Вопросы, встающие в этой связи, весьма тонки, и даже слишком тонки для разбора в связи с данным примером. Так, если мне случится неожиданно столкнуться с некоторым объектом, во всем сходным с лимоном, но имеющим шесть футов в диаметре, думаю (хотя пока и не уверен), что меня вполне могут убедить называть его гигантским лимоном. Доказывает ли это, что я тем самым использую свойство «быть небольшого размера» только как «критерий», а не как характеристическое свойство лимонов? Возможно, это и так, однако, если кто-то говорит, что некоторый объект является лимоном, и при этом не делает никаких дополнительных замечаний по поводу его необычайных размеров, я полагаю, что у меня есть все основания заключить, что объект этот не велик. По-видимому, мы могли бы принять предложение Артура Папа[27] и некоторых других исследователей, рассматривавших открытое строение (open texture)[28] эмпирических терминов, и взвешивать критерии по степени их необходимости, разграничивая тем самым различные «степени смысла». Тогда мы могли бы характеризовать метафорическое определение как такое, которое помещено в контекст, исключающий одно из его наиболее обязательных условий. Даже если малый размер и не является обязательным свойством лимонов, его вполне можно было бы считать главным свойством, и тогда контекст, который противоречит этому свойству, был бы достаточен для метафорического использования слова.

Этот вопрос пока оставляю открытым, довольствуясь на данный момент тем, что, как я надеюсь, сумел показать, что теория словесных оппозиций не только адекватно объясняет ряд широко известных свойств метафоры, но и не включает никаких допущений, которые отказалась бы принять здравая философия языка.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Wordsworth William. Notes Towards an Understanding of Poetry. — "Kenyon Review", XII, Summer 1950, p. 498—519.

[2] Eliot T. S. East Coker. — In: T. S. Eliot. Four Quarters. New York, Harcourt, Brace, 1953, p. 16.

[3] Poetry: I. The Formal Analysis; II. The Final Cause. — "Kenyon Review", IX, Summer 1947, p. 436—456; Autumn 1947, p. 640—658.

[4] Wimsatt W. K. jr. The Prose Style of Samuel Johnson. New Haven: Yale University Press (Yale Studies in English, vol. 94), p. 66.

[5] Lane Cooper. The Rhetoric of Aristotle (trans. by L. Cooper). New York—Appleton, 1932, p. 192. [Ср.: Аристотель, Риторика (перев. Н. Платоновой). — В кн.: Античные риторики. М., Изд-во МГУ, 1978].

[6] Brooks C. The Well Wrought Urn. New York. Reynal and Hitchcock, 1947, p. 29; The New Variorum Edition, ed. by H. H. Furness, 5th ed. Philadelphia, Lippincott, 1915, p. 160—161. Забавный пример единодушного недоумения разных толкователей Шекспира в отношении этой метафоры.

[7] Пол Хенле развил, а также модифицировал свою теорию в главе о метафоре в книге: Language. Thought, and Culture. Henle P. (ed.). Ann Arbor Univ. of Michigan Press, 1958, ch. 7; эта теория была впервые им кратко сформулирована в его Президентском обращении к Западному отделению Американской философской ассоциации; см.: Henle P. The Problem of Meaning. — In: Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association, 1953—1954. Vol. XXVIII. Yellow Springs, Antioch Press, 1954.

[8] Language, Thought, and Culture, p. 182—183.

[9] Ibid., p. 177—179.

[10] Ibid., p. 181.

[11] Ibid., p. 180.

[12] См.: Аристотель, Риторика, 1407 а.

[13] Henle. Op. cit., p. 190.

[14] Я взял пример, но не объяснения, из работы Blackmur R. P. Notes of Four Categories in Criticism. — "Sewanee Review", LIV, October 1946, p. 576—589. Было бы интересно, кстати, услышать объяснение примера из Эзры Паунда Your mind and you are our Sargasso Sea '*букв.:* Ваш ум и вы сами — это наше Саргассово море' с помощью принципа обратимости'.

[15] Антони Неметц (Nemetz A. Metaphor: The Deadalus of Discourse. — "Thought", XXXIII, Autumn 1958, p. 417—442) основывает свою аргументацию на положении, согласно которому «метафора состоит из двух частей: 1) то, что говорится; 2) то, что имеется в виду» (с. 419). Тогда возникает вопрос о том, каковы отношения между ними. Это положение уводит исследование на ложный путь. Метафора, равно как и высказывание, имеющее буквальный смысл, есть речение (saying): мы можем говорить метафорически или неметафорически, и в любом случае то, что мы имели в виду, будет понято. В саркастическом замечании то, что предполагается, противопоставляется тому, что утверждается, однако если мы не допустим, что глагол *говорить* покрывает оба эти употребления, то нам придется считать, что интерпретация сказанного — это процесс хождения вокруг да около намерения говорящего, так и оставшегося непонятым.

[16] Hungerland I. Poetic Discourse. Berkeley and Los Angeles, Univ. of California Press, 1958 ("University of California Publications in Philosophy", № 33), p. 108—110.

[17] См.: Percey W. Metaphor as Mistake. — "Sewanee Review", LXVI, Winter 1958, p. 79—99. Перси остроумно показывает, что бывают такие «ошибки..., которые приводят к подлинным поэтическим откровениям» (с. 80). Однако в конце он, как кажется, ослабляет свою аргументацию, говоря о «существенном элементе семантической ситуации — полномочиях и намерениях Наименователя» (с. 93).

[18] См.: Beardsley M. C. Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism. New York, Harcourt, Brace, 1958, Ch. III.

[19] Новый аспект в данном моем толковании метафоры стал для меня

ясен лишь после знакомства с работами П. Хенле и И. Хангерленд, которые вместе со мной принимали участие во встрече ученых, где настоящая работа (в несколько ином варианте) была прочитана в качестве предполагаемого доклада на XVII ежегодном собрании Американского эстетического общества в Цинциннати (Огайо, 29—31 октября 1959 г.). Критика Хенле, сводящаяся к тому, что теория словесных оппозиций не способна объяснить элемент новизны в метафорическом значении, и обсуждение моего доклада сформировали тот взгляд на метафору, который изложен мною в настоящей статье.

[20] Taylor J. Of Holy Living, ch. II, sec. 3. — In: Taylor Jeremy. Works, ed. by C. P. Eden. Vol. III. London, 1847, p. 56. Хенле использовал этот пример в своем докладе.

[21] Метафоры персонификации интересно проанализированы в работах Соломона Э. Эша: Asch S. E. On the Use of Metaphor in the Description of Persons. — In: "On Expressive Language", ed. by H. Werner. Worcester, Clark Univ. Press, 1955; Asch S. E. The Metaphor: A Psychological Inquiry. — In: "Person Perception and Interpersonal Behavior", ed. by R. Tagiuri and L. Petrullo. Stanford. Stanford Univ. Press, 1958. См. также: Brown R. Words and Things. Glencoe (Ill.), Free Press, 1958, p. 145—154.

[22] Именно так я интерпретирую произведение Уоллеса Стивенса "The Motive for Metaphor" (Stevens W. Collected Poems. New York, 1955, p. 286): метафора позволяет нам описывать, закреплять и сохранять тонкие изменяющиеся черты нашего опыта, его полутона, тогда как слова, взятые в их стандартных словарных значениях, изображают мир более прямолинейно:

The weight of primary noon,
The A B C of being,
The ruddy temper, the hammer
Of red and blue...

[*букв.* 'Важность главного полуденного часа,
Азбука бытия,
Розовое настроение, молот
Красного и голубого...]

Мне кажется, будет вполне правильным сказать, что новые метафоры расширяют наши языковые возможности, даже если они и не «расширяют значения» в том узком смысле, против которого выдвигаются возражения в работе: Srzednicki J. On Metaphor. — "The Philosophical Quarterly", X, July 1960, p. 228—237.

[23] Другой пример приводит Кеннет Берк (Burke K. Semantic and Poetic Meaning. — In: "The Philosophy of Literary Form". Baton Rouge, Louisiana Univ. Press, 1941, p. 44): "New York City is in Iowa" 'Город Нью-Йорк находится в Айове' может означать, что влияние Нью-Йорка распространяется, подобно его железнодорожным линиям, на Запад.

[24] См. интересные работы Аллена Гильберта (Gilbert A. Shakespeare's Amazing Words. — "Kenyon Review", XI, Summer 1949, p. 4) и Эндрю Шиллера (Schiller A. Shakespeare's Amazing Words. — "Kenyon Review", XI, Winter 1949, p. 43—49).

[25] Scriven M. Definitions, Explanations, and Theories, — In: Minnesota Studies in the Philosophy of Science", ed. by H. Feigl, M. Shriven and G. Maxwell. Vol. II: Concepts, Theories, and the Mind-Body Problem. Minneapolis, Univ, of Minnesota Press, 1958, p. 105—107.

[26] Ibid., p. 119.

[27] Pap A. Semantics and Necessity of Truth, New Haven, Yale Univ. Press, 1958, p. 327.

[28] Waismann F. Verifiability. — In: "Proceedings of the Aristotelian Society", Supplementary. Vol. XIX, London, 1945, p. 119—150. Ср. von Wright G. H. A Treatise on Induction and Probability. London, Routledge and Kegan Paul, 1951, ch. 6, 2 и Pap A. Op. cit., chs. 5, 11.

ЭНДРЮ ОРТОНИ

РОЛЬ СХОДСТВА В УПОДОБЛЕНИИ И МЕТАФОРЕ

Статья профессора Паивио* подобна набору инструментов: она обеспечивает необходимые средства для серьезного рассмотрения нашей проблемы. Вопрос теперь в том, содержит ли этот набор нужные инструменты? Я подозреваю, что ответ тот же, что и для большинства наборов: для решения рассматриваемой задачи одни инструменты полезны, другие нет. Я собираюсь подробно остановиться на инструменте, который считаю самым важным — а именно, на понятии сходства. Вкратце я также коснусь и двух других понятий, рассмотренных Паивио — понятий интеграции и отношения.

Паивио утверждает, что центральный вопрос, связанный с пониманием (и порождением) метафоры состоит в том, каким образом новый смысл рождается из несопоставимых на первый взгляд частей. Этот вопрос, как он заявляет, имеет самое непосредственное отношение к трем важным понятиям, а именно — к понятиям интеграции, отношения и сходства. Сходство включается сюда, потому что оба члена метафоры имеют общие свойства. Отношение связано с метафорой, так как в метафоре могут участвовать общие отношения, а также поскольку оно связано с интеграцией. Интеграция важна, поскольку в метафоре возникает нечто новое, предположительно в результате интегрирования определенных аспектов ее составляющих. Как я уже говорил, самым важным из этих трех понятий я считаю понятие сходства, поэтому в основном я буду рассматривать роль сходства в метафоре, и особенно — в уподоблении. Интеграция, по-видимому, заслуживает более подробного анализа, чем тот, который могу

Andrew Ortony. The Role of Similarity in Similes and Metaphors. — In: "Metaphor and Thought", ed. by Andrew Ortony. Cambridge University Press. Cambridge—London, 1979.

* Эта статья, как и ряд других статей, упоминаемых автором ниже, помещена в той же книге, откуда взята данная работа Ортони — см. выше отсылочную сноску. — *Прим. ред.*

предложить я, в то время как отношению, возможно, уделяется несколько больше внимания, чем оно того заслуживает.

Соглашаясь признать важность того вопроса, который Паивио считает центральным, я начну с нескольких наблюдений, касающихся интеграции и отношения. Паивио почти ничего не может сказать об интеграции помимо того факта, что она ведет к созданию некоего сходного с гештальтом представления; он, судя по всему, полагает, что это представление включено скорее в образную систему, чем в лингвистическую. Однако он не берется утверждать, что оно полностью относится к образной системе, поскольку считает, что абстрактные понятия, слабо или вообще не способные порождать образы, обрабатываются в основном лингвистической системой. Если это так, то метафоры, включающие идеи высокой степени абстракции, должны обрабатываться в основном лингвистической системой, поскольку подобные идеи имеют слабое отношение к образной системе или вообще не имеют к ней никакого отношения. Однако непохоже, чтобы лингвистическая система в том виде, как ее описывает Паивио, способна была произвести интеграцию несопоставимых элементов в связное целое. Системы репрезентаций, которые представляются наиболее подходящими для решения этой задачи — это предлагавшиеся различными психологами (взгляды которых по другим вопросам зачастую расходятся) абстрактные системы репрезентаций; см., например, [1], [4], [8], [10], [14], [16]. Паивио, по всей видимости, относится к этим предложениям весьма сдержанно.

Второе понятие, которое Паивио считает важным для метафоры, — это отношение. Безусловно, отношение здесь существенно — как оно существенно для языка вообще; однако я совершенно не убежден в плодотворности введенного Паивио разграничения метафор сходства и пропорциональных метафор (метафор пропорции), несмотря на славное происхождение этого разграничения. Когда метафора включает общие отношения, как это имеет место в пропорциональных метафорах, ее базовая структура, на мой взгляд, остается той же, что и в метафорах сходства. Обычно метафора сходства имеет два члена: первый член, часто называемый т е м о й (topic), и второй, который называют о б о л о ч к о й (vehicle). Такая метафора сходства как «человек — это овца» значима постольку, поскольку, тема (человек) и оболочка (овца) имеют нечто общее. Что касается пропорциональной метафоры, то единственное ее отличие состоит в том, что тема и оболочка обозначают скорее отношения, а не объекты[1]. Тем самым отношения не более, но и не менее важны для метафоры, чем объекты. Их значимость определяется тем, что и отношения, и объекты привязывают язык к реальности — но ни те, ни другие не могут служить достаточно мощным инструментом для объяснения конкретных лингвистических явлений. Опираться на них как на основные объяснительные средства — то

же самое, что объяснять работу машинки для стрижки газонов, отталкиваясь от ботаники. Когда такая машинка ломается, мы вызываем мастера-механика, а не агротехника — специалиста по травам!

Как отмечает Паивио, в основе пропорциональной метафоры лежит понятие аналогии. «Работа» метафоры заключается в том, что она выражает аналогию, но не прямо, а опуская определенные компоненты (наиболее актуальна в этой связи статья Дж. Миллера в настоящем сборнике*). В то же время пропорциональная метафора, как и уподобление, выражает сходство между отношениями, которые на самом деле не являются сходными. Чтобы пояснить нашу мысль, воспользуемся примером пропорциональной метафоры (то есть метафорического выражения аналогии) из недавней статьи [3]: «Моя голова — это яблоко без сердцевины». Это предложение надо интерпретировать как утверждение, что отношение между моей головой (или, как минимум, чьей-то головой) и чем-то еще — то же, что отношение между яблоком и его несуществующей сердцевиной. Очевидно, что для понимания этого утверждения необходимо (помимо всего прочего) решить аналогию вида «X относится к? так же, как Y относится к Z». Метафорой этот пример делает не то, что здесь участвуют общие отношения, а скорее то обстоятельство, что это утверждение при буквальной интерпретации является ложным, так как отношения, представляемые как сходные, на самом деле совершенно не сходны; более подробно на этом вопросе я остановлюсь ниже. На самом деле такая пропорциональная метафора может быть без труда сведена к метафоре сходства превращением отношения в предикат: «Моя голова (похожа на) яблоко без сердцевины». Цель этой явно бессодержательной (sic) манипуляции — навести нас на мысль, что как в понимании, так и в порождении метафор отношения особой роли не играют. Каковы бы ни были процессы, позволяющие людям понимать метафоры, они приводят к последовательной интерпретации высказывания, которое в буквальном понимании либо ложно, либо бессмысленно в контексте произнесения. Включает ли имплицитное сравнение отношения или объекты — в каком-то смысле несущественно; с другой стороны, одни аналогии буквальны, другие нет. В любом случае аналогия включает утверждаемое сходство — скорее сходство отношений объектов, чем сходство самих объектов. Тем самым, как и считает Паивио, вопрос об отношениях частично должен подпадать под вопрос об интеграции, а частично — под вопрос о сходстве. Именно этот последний я считаю самой сердцевиной проблемы, и к нему я сейчас перейду.

Часто утверждается, что метафоры — это имплицитные сравнения, которым противопоставляются уподобления как сравнения эксплицитные. Я очень мало верю в истинность подобной

---

* Эту статью Дж. Миллера см. также в наст. издании. — *Прим. ред.*

точки зрения — во-первых, потому что я не думаю, что это верно для всех метафор; во-вторых, потому что даже если бы это и было так, это бы абсолютно ничего не объясняло. Тот факт, что метафоры часто употребляются для сравнения — если это факт — не значит, что метафоры являются сравнениями. Метафора — это тип употребления языка, в то время как сравнение — тип психологического процесса. Вполне возможно, что этот процесс является необходимым компонентом определенных типов употребления языка, но это еще не означает, что он совпадает с соответствующим употреблением.

В любом случае, вряд ли возможно трактовать все метафоры как уподобления; а коль скоро это так, то требуется объяснить, почему некоторые имплицитные сравнения нельзя сделать эксплицитными. Однако более серьезная проблема состоит в том, что даже если бы обсуждаемое утверждение было истинно — или получило бы интерпретацию, способную сделать его правдоподобным — оно не имеет объяснительной силы без предположения, что сравнение, имплицитное в метафоре и эксплицитное в соответствующем уподоблении, является буквальным сравнением, то есть буквальным употреблением языка. Если бы такое предположение было истинно, то исходное утверждение приводило бы нас к редукционистской программе анализа, позволяющей свести метафору к буквальному употреблению языка. Но если это предположение ложно — а я постараюсь показать, что так оно и есть — то сами сравнения, на которые опираются как метафоры (*Джон — бык*), так и уподобления (*Джон похож на быка*), потребуют в свою очередь объяснения: их нельзя интерпретировать как буквальные употребления языка. Другими словами, те проблемы, которые ставит существование метафор, ставятся точно так же и существованием уподоблений; тем самым для решения этих проблем сведение метафор к уподоблениям не дает ровно ничего.

С другой стороны, тот факт, что метафору нельзя отождествлять со сравнением, вовсе не означает, что процесс сравнивания не является важнейшим в понимании метафоры. Я постараюсь показать, что процесс сравнивания лежит в основе понимания уподобления, и что этот процесс можно определить и описать таким образом, что он будет полностью применим и к анализу метафоры — несмотря на то, что метафоры, в отличие от уподоблений, лишены структурных языковых показателей (например, наличия слова like 'похож, как'), которые «приглашают» к тому, чтобы произвести сравнение. Несмотря на мое нежелание приравнивать метафоры к «буквальным» уподоблениям (это название вообще кажется мне внутренне противоречивым), я считаю оправданным сосредоточение усилий на уподоблениях в надежде тем самым выделить более общее понятие «небуквального» в качестве предварительного шага к выяснению того, что происходит при понимании метафор. Для удобства я буду иногда

называть члены уподобления так же, как члены метафоры, пользуясь термином «тема» для первого члена и «оболочка» для второго.

Сравнения оказываются более или менее успешными (или уместными) в зависимости от того, в какой степени сравниваемые вещи являются (или могут быть признаны) сходными. Тем самым, если понимание уподоблений и метафор основано на произведении сравнения и если произведение сравнений основано на произведении суждений сходства, то в центре нашего внимания должны оказаться именно эти суждения. Поэтому я считаю, что Паивио прав, выделяя сходство в качестве центрального понятия; однако современное положение дел в психологии в области анализа сходства вовсе не так мрачно, как он утверждает. Об этом свидетельствует статья Тверски [18], который показывает, как описывается сходство в большинстве подходов к этой проблеме, а именно, степень сходства между двумя членами представляется функцией, обратно пропорциональной расстоянию между репрезентациями членов в некотором многомерном пространстве (см., например, работы [5], [7], [15], [17]). Как указывает Паивио, эти подходы имеют свои недостатки, один из которых состоит в том, что они адекватны лишь для определенных типов стимулов, а именно таких, для которых можно найти ограниченное и небольшое количество измерений (таковы, например, цвета и звуковые тоны). Но здесь есть одна особенно серьезная для нас проблема. Поскольку расстояние между двумя точками А и В в n-мерном евклидовом пространстве симметрично, то есть оно одно и то же независимо от того, считается ли оно от А к В или от В к А, из всех таких моделей сходства вытекает эмпирически неверное утверждение, а именно, что суждения сходства у людей симметричны[2]. Как мимоходом замечает Тверски, уподобления и метафоры являют здесь очень хорошие контрпримеры: если в них члены поменять местами, это может сделать их бессмысленными или существенно изменить их смысл. Буквальные сравнения в этом отношении устроены обычно иначе: так, ежевика похожа на малину скорее всего в той же степени, что малина на ежевику, и по одним и тем же причинам. Напротив, афишные тумбы, по-видимому, похожи на бородавки больше, чем бородавки на афишные тумбы; даже если это и не так, то утверждение, что афишные тумбы похожи на бородавки, значит нечто совершенно иное, чем утверждение, что бородавки похожи на афишные тумбы. Если бы отношение сходства было независимо от относительного расположения членов, то мена их местами должна была бы создавать лишь стилистическое, но не семантическое отличие.

Найдя геометрические модели сходства неудовлетворительными, Тверски предлагает альтернативное описание, основанное на поиске соответствия признаков. В этом контексте признак следует рассматривать как атрибут или предикат в весьма ши-

роком смысле: признак X — это «нечто, что известно об X». Суть модели Тверски, если выразить ее словами, заключается в следующем: степень сходства двух объектов — это взвешенная функция их пересекающихся признаков минус взвешенная функция признаков, дистинктивных для одного, и признаков, дистинктивных для другого. Тверски представляет немало данных, свидетельствующих о хорошем совпадении оценок сходства, предсказанных его моделью, и оценок сходства, содержащихся в отчетах испытуемых; это относится и к визуальному, и к вербальному материалу. В конце статьи Тверски говорит:

«Похоже, что люди интерпретируют метафоры путем сканирования признакового пространства и выбора тех признаков референта [оболочки], которые приложимы к объекту [теме]... Природу этого процесса еще предстоит объяснить.

Существует тесная связь между оценкой сходства и интерпретацией метафор. В суждениях сходства мы как данное имеем определенное признаковое пространство, или точку отсчета, и оцениваем качество соответствия между объектом и референтом. В интерпретации уподобления за данное мы принимаем сходство объекта и референта, и ищем ту интерпретацию признакового пространства, которая максимизирует качество соответствия» [18, p. 349].

Я думаю, что по большей части Тверски прав, и его подход — большой вклад в «окультуривание» области, которую Паивио считает необработанной. Однако в моей работе термином «признак» я пользоваться не буду. Для меня крайне важно, чтобы не создавалось впечатление, что речь идет о семантических признаках в традиционном понимании, поскольку это не так. На самом деле я говорю о «подсхемах», то есть о репрезентациях знаний, которые являются структурными составляющими репрезентаций сравниваемых сущностей (более подробный анализ подсхем и теории схем в целом содержится в работе [15]). Однако здесь я не буду пользоваться термином «подсхема», так как выражение «поиск соответствия подсхем» звучит слишком неуклюже. Вместо этого я буду говорить о предикатах; это понятие, на мой взгляд, по смыслу достаточно близко к подсхеме. Предикат может быть отнесен к чему-либо, или предицирован чему-либо; он может репрезентировать знания, представление о чем-либо или установку по отношению к чему-либо — короче, это именно то, что мне нужно.

Возвращаясь к теме сходства, я с удовлетворением приступаю к сопоставлению обычного утверждения сравнения и уподобления. Безусловно, и то и другое имеет поверхностную структуру эксплицитного сравнения, как можно видеть в (1) и (2).

(1) *Энциклопедии похожи на словари.*

(2) *Энциклопедии похожи на золотые прииски.*

Однако я собираюсь показать, что в то время как (1) — буквальное сравнение (энциклопедии действительно похожи на

словари), (2) — сравнение небуквальное (энциклопедии на самом деле не похожи на золотые прииски). У меня есть два основных аргумента в пользу такого вывода; поскольку я считаю этот вывод очень важным и поскольку многие находят его противоречащим интуиции и попросту неверным, я приведу эти аргументы во всех подробностях.

Первый аргумент апеллирует к интуиции обычных людей, отличной от интуиции теоретиков, которые склонны об этом забывать. Если спросить кого-либо, действительно ли энциклопедии похожи на золотые прииски, то прямой положительный ответ не дается никогда. Очень часто дается прямой отрицательный ответ, особенно если вопрос задан по контрасту с вопросом «Действительно ли энциклопедии похожи на словари?» Это значит, что люди не считают (2) истинным; они скорее говорят, что (2) ложно. Напротив, (1) естественно считать истинным. Тем самым, при отсутствии доказательств обратного, следует сказать, что (2) ложно. С этим обстоятельством связан и следующий лингвистический факт: уподобления типа (2) более естественно встретить в сопровождении ограничителей «вроде как», «в некотором роде», «как бы» и т. д. На самом деле, даже когда люди не отрицают истинность утверждений типа (2) прямо, они всегда принимают их истинность лишь с добавлением такого ограничителя. Тем самым, я думаю, данные свидетельствуют о том, что люди соглашаются с истинностью обычных сравнений не колеблясь — в то время как истинность уподоблений охотно отрицается, особенно если оценка истинности производится в том же буквальном смысле, что и для обычных сравнений. Исходя из всего сказанного, я склонен считать обычные сравнения буквально истинными (если они замышлялись как таковые), а уподобления, напротив, ложными.

Второй мой аргумент — своего рода доведение до абсурда. Предположим, некто, строго придерживаясь противоположной точки зрения, утверждает, что уподобления истинны. На чем основано такое утверждение? Ответ таков: оно основано на убеждении, что в какой-то степени, в каком-то отношении (или в каких-то отношениях), все похоже на все. Тем самым, коль скоро все похоже на все, тогда, конечно же, энциклопедии похожи на золотые прииски, а также на мороженое, бесконечность и на все, что придет вам в голову. Однако этот аргумент имеет любопытные следствия, самым серьезным из которых представляется то, что, если все утверждения сходства истинны в силу того факта, что все похоже на все, то эти утверждения не могут быть ложными. Это значит, что все утверждения сходства необходимо истинны; это в свою очередь означает, что все они суть тавтологии. Поскольку тавтологии не несут никакой новой информации, то и утверждения сходства не могут нести новой информации. Помимо абсурдности этого вывода, он попросту неверен: сказать, что структура атома похожа на структуру солнечной системы, —

это, безусловно, передать новую информацию. И действительно, это вполне стандартный способ обучения началам атомной физики. Далее, если утверждения сходства обладают свойством (которым не обладает никакой другой класс широко употребительных утверждений) всегда быть истинными, возникает другая проблема. Одна из причин осмысленности ассертивных высказываний состоит в том, что они всегда могут оказаться ложными — точно так же как для приказов существует возможность неподчинения им, а для обещаний — их нарушения. Нет ничего противоречивого в утверждении, что энциклопедии не похожи на золотые прииски; это было бы не так, если принять вышеизложенную точку зрения. Следовательно, я вынужден признать невозможность этой точки зрения и считать, что утверждения сходства не могут быть ложными; а коль скоро это так, то не видно причин, почему не считать уподобления хорошим примером ложных утверждений сходства — если интерпретировать их как обычные сравнения.

Выше я несколько раз употребил выражение «уподобления, интерпретируемые как обычные сравнения». Пришло время объяснить, что я имею в виду. Когда мы сталкиваемся с буквально истинным утверждением сходства, то всегда оказывается, что некоторые предикаты, важные для одного члена сравнения, важны также и для другого. Тем самым можно считать, что интерпретация обычных утверждений сходства всегда включает поиск общих характерных предикатов, как об этом говорит Тверски. Особенность уподоблений в том, что для них эта процедура не даст ни одного такого предиката, если не понимать сами эти предикаты метафорически[3]. (Серль в своей статье доказывает примерно то же самое.) Далее, пусть стандартная процедура интерпретации утверждений сходства включает поиск общих характерных предикатов; и пусть — как утверждает и теория Тверски, и моя интуиция — одним из свойств, определяющих степень сходства, является качество соответствия или число общих характерных предикатов. Тогда, поскольку члены уподобления не имеют таких общих предикатов, процедура приведет к провалу попыток найти хоть что-нибудь существенное, что было бы общим для обоих членов. Итак, высказывание, утверждающее сходство этих членов, будет либо ложным, либо метафорическим. С этого места я буду говорить об обычных утверждениях сходства как о «буквальных» сравнениях, а об уподоблениях — как о «небуквальных» сравнениях. Вопрос, на который теперь предстоит ответить, таков: каковы процессы, приводящие к связной интерпретации небуквального сравнения?

Как говорит Тверски, мы «за данное принимаем сходство... и ищем ту интерпретацию признакового пространства, которая максимизирует качество соответствия». Но как мы узнаем, что надо делать именно это, а не то, что следует, по утверждению Тверски, делать для буквального сравнения — то есть, приняв

за данное признаковое пространство, искать соответствие? Тверски, судя по всему, предлагает две хотя и связанные, но разные операции; однако при этом поверхностная структура сравнений ничего не говорит о применимости той или другой из них. Может быть, по умолчанию мы действуем в рамках сценария для буквальных сравнений, а в случае, когда соответствия не найдено, переинтерпретируем пространство так, чтобы такое соответствие возникло. Предположим, однако, что процесс интерпретации буквальных сравнений — это процесс, который, по словам Тверски, применяется к метафорам, а именно, поиск таких предикатов второго члена, которые были бы применимы к первому члену. В таком случае один и тот же процесс будет работать и для буквальных сравнений, и для небуквальных (то есть уподоблений). Естественно, такой процесс не должен приводить к успеху в случае, когда применимыми оказываются произвольные предикаты: предикат «являться объектом» тривиально применим и к золотым приискам, и к энциклопедиям. Мы должны ограничить рассматриваемые предикаты характерными, по крайней мере для начала. С этой точки зрения интересно предположение Паивио, что конкретные носители предпочтительнее абстрактных; это может быть связано с тем фактом (если это факт), что конкретные понятия имеют больше ассоциированных характерных предикатов, чем абстрактные, и что для них эти предикаты более доступны. Прежде чем идти дальше, необходимо отметить, что грань между характерными и нехарактерными предикатами нечеткая, однако для крайних случаев она очевидна. Безусловно, здесь существуют большие индивидуальные различия, проистекающие из-за различий в представлениях и в личном опыте разных людей. Мое употребление понятия характерности здесь основано на операциональном определении; такое решение может удовлетворить психологов, но вряд ли — философов.

Понятия золотых приисков и энциклопедий, как и все остальные понятия, имеют ассоциированные с ними предикаты, характерность которых варьирует в зависимости от контекста употребления (см. [2]). Предположим, в процессе сравнения делается попытка применить предикаты золотых приисков к энциклопедиям, начиная с наиболее характерных. Мы возвращаемся к понятию поиска соответствия, введенному Тверски, приняв в качестве критерия применимости предиката к концепту наличие предиката где-то во внутренней структуре концепта темы. Существует очень мало — а скорее всего, вообще не существует — характерных предикатов «золотых приисков», которые могли бы также быть характерными предикатами «энциклопедий», именно поэтому я предложил считать (2) небуквальным сравнением. Однако существуют характерные предикаты «золотых приисков», которые также являются менее характерными предикатами «энциклопедий», и именно поэтому (2) — интерпретируемое сравнение. Это приводит к следующему описанию сравнения «А похоже

на В». Если характерные предикаты В являются также характерными предикатами А, то сравнение буквальное и референты его членов будут оценены как «на самом деле» сходные. Если некоторый характерный предикат В является менее характерным предикатом А, в то время как существуют характерные предикаты В, вообще к А неприменимые, — налицо уподобление. Если же вообще никакие характерные предикаты В неприменимы к А, то сравнение либо неинтерпретируемо, либо является бессмыслицей (если здесь есть какая-нибудь разница).

Следует отметить, что уподобления могут легко модифицироваться таким образом, что очень близко подходят к буквальным сравнениям. Если вводится модификатор (являющийся на самом деле атрибутом), по которому оба члена сравнимы, то характерность этого атрибута для члена А временно возрастает, и процесс сравнения приводит к нахождению соответствия характерных предикатов. Тем самым мы можем рассматривать модификаторы как средства подчеркивания (то есть повышения характерности) соотнесенных с ними предикатов, благодаря чему они служат для идентификации соответствующих друг другу характерных предикатов, которая осуществляется путем указания на них и их выделения. Так, если (3) — это уподобление, то (4) гораздо ближе к буквальному сравнению:

(3) *Его лицо было похоже на свеклу.*

(4) *Его лицо своей краснотой было похоже на свеклу* (*было красно*, *как свекла*).

Разница между этими примерами в том, что в (4) повышена характерность предиката первого члена, что приводит к соответствию характерных предикатов, в то время как в (3) наблюдается соответствие между характерным и менее характерным предикатом. Тем самым, по-видимому, вопрос о том, является ли данное языковое употребление в данном конкретном случае буквальным или нет,—это вопрос скорее степени, чем собственно классификации.

Теперь я перейду к краткому обзору некоторых собранных мною предварительных данных, имеющих отношение к роли общих характерных предикатов в буквальных и небуквальных сравнениях. В эксперименте по выявлению предикатов испытуемым было дано задание перечислить предикаты сорока понятий; каждой из четырех групп испытуемых было дано по десять понятий. Эти сорок понятий были извлечены из десяти троек сравнений. Каждая тройка содержала уподобление типа (2) и два буквальных сравнения, по одному на каждый член уподобления. Так, если уподоблением служит предложение (2), то одним из буквальных сравнений будет (1) (для энциклопедий), другим — (5) (для золотых приисков):

(1) *Энциклопедии похожи на словари.*

(2) *Энциклопедии похожи на золотые прииски.*

(5) *Золотые прииски похожи на нефтяные скважины.*

Испытуемые перечислили для каждого из предъявленных

десяти понятий в среднем немногим более шести предикатов. После составления списка предикатов для какого-либо понятия каждый испытуемый ранжировал эти предикаты по важности, после чего отмечал (также в порядке важности) те, которые, по его мнению, необходимы для идентификации понятия, если не знать, что имеется в виду. Это было принято за операциональное определение характерности. Испытуемые отметили в качестве характерных в среднем по три предиката на понятие. Утверждаемые сравнения были просчитаны по формуле, предложенной Тверски; результирующие значения для уподоблений всегда оказывались ниже, чем для буквальных сравнений.

Здесь, однако, нас интересует относительная вероятность появления общих предикатов в буквальных и небуквальных сравнениях. Из характерных предикатов, перечисленных для членов буквальных сравнений, около двадцати пяти процентов оказались общими — в сравнении с одним процентом в случае уподоблений. Если пересчитать эти значения, взвесив их в соответствии с частотой упоминания, разница окажется еще более ощутимой. Эти данные показывают, что члены уподоблений практически не имеют общих характерных предикатов, в то время как в буквальных сравнениях таких предикатов много. Из этого вытекает следующее: если утверждение сходства двух объектов означает наличие у них важных общих свойств, то полученные данные позволяют с большой степенью уверенности сказать, что члены уподобления на самом деле не сходны, а члены буквального сравнения — сходны. Это, конечно, не значит, что сходство членов уподобления вообще нельзя обнаружить; но, обнаруживая такие сходства, интерпретация уподобления перестает быть буквальной интерпретацией.

Чтобы показать отношения между характерными и менее характерными предикатами, полезно рассмотреть конкретный пример. Рассмотрим уподобление (о котором уже шла речь выше), выраженное в предложении (6):

(6) *Афишные тумбы похожи на бородавки.*

В Таблице 1 приведены предикаты, чаще всего отмечавшиеся как характерные для каждого члена; их порядок соответствует вероятности упоминания испытуемыми. Наиболее частотный предикат встретился у более чем 90% испытуемых, менее частотные — примерно у 40%.

Таблица 1

Афишные тумбы	Бородавки
используются для рекламы находятся на тротуарах большого размера и т. д.	находятся на коже обычно удаляются безобразны являются наростами и т. д.

В качестве первого приближения для степени характерности предиката разумно использовать значение вероятности его вхождения в список. Тогда 0,40 будет достаточно высоким значением; именно это значение получает предикат «быть безобразным» в отношении бородавок. «Быть безобразным» в отношении афишных тумб в списке характерных предикатов не встречается вообще, однако в список всех предикатов попадает с вероятностью 0,07; тем самым мы имеем основания утверждать, что «быть безобразным» является характерным предикатом для бородавок, но менее характерным предикатом для афишных тумб. Заметим, что у рассматриваемых членов сравнения общих характерных предикатов нет, поэтому это сравнение — небуквальное, или уподобление, скорее чем буквальное сравнение. Афишные тумбы на самом деле не похожи на бородавки; сказать, что они похожи, можно только метафорически.

Ранее я доказывал, что утверждать (6) и утверждать (7) — это разные вещи:

(7) *Бородавки похожи на афишные тумбы.*

Интерпретация (7) требовала бы найти характерные предикаты афишных тумб, которые были бы менее характерными предикатами бородавок. Так, можно предположить, что смысл (7) состоит примерно в следующем: скорее подчеркивается, что бородавки могут быть большими, они могут бросаться в глаза и т. д., чем то, что они безобразны, поскольку именно указанные предикаты характерны для афишных тумб, будучи в то же время приложимы к бородавкам. Несимметричность небуквальных сравнений происходит от того, что их члены имеют непересекающиеся множества характерных предикатов. Буквальные сравнения также могут быть асимметричными, когда некоторые предикаты, приложимые к одному из членов, не являются характерными для другого члена; однако, в силу того, что всегда находятся общие для членов характерные предикаты, эта асимметричность — неполная и меньше бросается в глаза. Разница между (6) и (7) представляется мне несравненно большей, чем разница между (8) и (9):

(8) *Бородавки похожи на болячки.*

(9) *Болячки похожи на бородавки.*

В этой паре примеров основное различие — в предмете сообщения; основание сравнения по сути одно и то же, хотя, возможно, и не идентично на сто процентов. То же относится и к приведенному выше примеру с ежевикой и малиной. В любом случае, очевидно одно: всякое описание уподоблений и метафор должно объяснять их полную асимметричность. Даже если предложенный мной анализ не дает ничего другого, он по крайней мере решает эту задачу.

Обсуждение роли сходства до сих пор было главным образом посвящено выявлению эмпирического критерия для различения буквальных и небуквальных сравнений. Этот критерий опре-

деляется тем, в какой степени характерные предикаты второго члена характерны (или менее характерны) и для первого члена. Я предложил способ описания, при котором один и тот же процесс лежит в основе понимания как буквальных, так и небуквальных сравнений. Это процесс «применения предикатов», при котором делаются попытки применить известные характерные предикаты оболочки к теме. Но что мы получим, если попытаемся разобраться в понятии «применение»? Коль скоро описанный процесс включает попытки применения предиката к теме, то каковы критерии установления успешности или возможности такого применения? Как мы видели ранее, один из возможных путей — посмотреть, является ли применяемый предикат уже известным предикатом темы. Тем самым может оказаться, что поиск соответствия предикатов должен быть включен как интегральная часть в процесс применения предиката; этот поиск может завершиться успехом или неудачей. Но тогда возникает вопрос: что происходит, когда применяемый предикат не является (для слушателя или читателя) известным заранее предикатом темы? Если про тему известно очень много, то поиск соответствия может сыграть свою роль; но если о теме известно мало, то есть недостаточно для нахождения хорошего соответствия, то поиск соответствия тут не поможет. Более того, в таких случаях процесс выбора предиката (когда то, что может быть применено, на самом деле применяется) может оказаться гораздо менее эффективным, чем процесс отбрасывания предиката, при котором все предикаты носителя считаются применимыми — кроме случаев базовой несовместимости. Итак, я предлагаю здесь следующее. Когда о теме известно очень мало, те предикаты оболочки, которые с темой явно несовместимы, отбрасываются, а то, каким образом и в какой степени применяются остальные предикаты, едва ли определяется вообще. С другой стороны, когда о теме известно очень много, то выбираются применимые к ней предикаты, и результирующая интерпретация получается более конкретной и более ограниченной. Полагаю, что это различие приводит к некоторым важным следствиям относительно создания «новой концептуальной сущности», о которой говорит Паивио; к этой проблеме я вскоре вернусь.

Принятая мною точка зрения в основе своей отрицает наличие коренных различий в обработке буквальных и небуквальных сравнений. Я склонен думать, что это верно также для буквальных и метафорических употреблений языка вообще. Конечно, в ряде случаев, слушатель или читатель не сможет с помощью описанных процессов прийти к связной интерпретации; часто мы говорим себе: «Интересно, что бы это могло значить?» В таких случаях, я думаю, привлекаются более рационалистические стратегии решения задач, запускаемые чем-то вроде прагматического анализа Грайса [6]; их описал в своей работе Серль. Такого рода анализ требует соотнесения значения высказывания со зна-

чением говорящего путем снятия кажущихся нарушений тех имплицитных принципов, которые управляют языковым взаимодействием. Говоря более конкретно, я предполагаю, что когда слушатель или читатель оказывается не в состоянии (разумно) интерпретировать высказывание, которое может обоснованно считаться осмысленным, он пытается сделать нарушение этих принципов (возможно, касающихся искренности и релевантности) всего лишь кажущимся. В таком случае слушающий предполагает существование обнаружимого основания сравнения и включает процессы, которые способны помочь его обнаружить. Однако очевидно, что это общее описание так же точно подходит и для неясных буквальных употреблений языка. Здесь может быть разница в том, какие именно языковые соглашения нарушаются, но сознательное «вычисление имевшегося в виду значения», безусловно, не ограничивается только лишь небуквальными употреблениями языка [13].

Здесь вполне уместно может прозвучать жалоба, что до сих пор речь шла только об уподоблениях, а их значение для метафоры читатель должен понять сам; поэтому я уделю несколько строк соотношению уподоблений и метафор. В той мере, в какой понимание метафор включает сравнивание, можно предположить, что процессы, необходимые для понимания метафор и уподоблений, имеют много общего. Высказывалась точка зрения (например, в [8]), что понимание метафоры на самом деле происходит путем превращения ее в уподобление. Даже если принять эту точку зрения, предположив, что такое превращение всегда возможно (в чем я сомневаюсь), остается неясным, каким образом и с какой целью производится это превращение. Рассмотрим предложение (10), выражающее уподобление (2) в форме метафоры:

(10) *Энциклопедии — это золотые прииски.*

Когда слушатель (или читатель) встречает (10) в определенном контексте, он рано или поздно осознает, что, понятое буквально, это предложение либо ложно, либо бессмысленно. Кроме того, в отличие от уподобления, в нем нет поверхностных признаков сравнения, так, что даже при тождестве процесса понимания уподоблений процессу понимания буквальных сравнений здесь нет никаких априорных оснований обращаться к этому процессу понимания. Сначала надо прийти к рассмотрению этого предложения как сравнения, которое не может быть буквально истинным, поскольку (10) таковым не является; возможно, после этого в игру вступают процессы понимания сравнений. Одна из возможностей состоит в том, что в таких «атрибутивных» метафорах предикаты приписываются теме точно так же, как для уподоблений, с отбрасыванием неприменимых предикатов оболочки. Я не исключаю, что в некоторых случаях именно так и происходит, но очень сомневаюсь, что так происходит всегда. В других случаях требуется дополнительный механизм — а именно, механизм соотнесения значения высказывания со значением говорящего,

описанный выше. Такого подхода придерживается в своей главе Серль.

Наконец, я хотел бы ввести разграничение метафор «выдвижения предиката» и метафор «введения предиката» — разграничение, связанное с упомянутым выше разграничением выбора предикатов и отбрасывания предикатов. В метафорах выдвижения предиката предполагается, что слушатель (и, вероятно, говорящий) знает о теме достаточно, чтобы распознать истинность того, что о ней имплицитно сообщается. Такие метафоры часто включают родовые понятия. Вернемся к примеру (10): большинство людей знают, что энциклопедии — это источники знаний и что источники знаний полезны, отрадны и так далее. Именно такие предикаты естественно прилагаются к «золотым приискам». Я утверждаю следующее; когда кто-либо понимает метафору таким способом, он уже знает, что данные предикаты истинны относительно члена А, так что извлекаемая из метафоры информация — это старая информация, и так она и воспринимается говорящим и слушателем. Тем самым слушатель при понимании делает ровно одно: он повышает характерность релевантных предикатов для члена А. Но есть и другая возможность, а именно: слушатель знает о теме очень мало и, понимая метафору, узнает о ней нечто новое (или как минимум строит умозаключения о чем-то, чего он не знал раньше). Я считаю, что в этих случаях метафора с точки зрения слушателя является метафорой введения предиката. Здесь характерность уже существующего предиката (или набора предикатов) не может быть увеличена, поскольку эти предикаты вообще еще не являются предикатами члена А. Они вводятся в качестве новых предикатов в результате процесса понимания.

Я утверждал, что в уподоблениях характерные предикаты оболочки являются характерными предикатами темы; это отличает уподобления от буквальных сравнений, где соответствие устанавливается между предикатами высокой степени характерности. Однако теперь мы можем видеть, что этим дело не ограничивается. Рассмотрим, например, (11):

(11) *Манеры Аттилы были похожи на выгребную яму.*

Предположим, некто произносит (11), причем слушатель не знает про Аттилу ничего более конкретного сверх того, что он был знаменитым варваром. Тогда, хотя никакие характерные предикаты выгребных ям не являются менее характерными предикатами Аттилы или его манер, это предложение тем не менее интерпретируемо, и большинство людей интерпретируют его правильно. Менее характерные предикаты Аттилы в представлении говорящего могут включать «быть в высшей степени неприятным», «иметь отвратительные манеры» и так далее; с точки зрения слушателя, эти предикаты вообще не являются свойствами Аттилы. Цель метафоры в том и состоит, чтобы выразить эти идеи. Тем самым, по-видимому, имеет место следующее. Уподобление,

используя характерные предикаты оболочки, которые являются менее характерными предикатами темы или вообще не являются ее предикатами, служит для подчеркивания, или повышения характерности этих предикатов (если они были менее характерными), или для их введения (если их вообще не было). В метафорах выдвижения предиката эти предикаты уже присутствуют; они становятся более подчеркнутыми или выделенными. В метафорах введения предиката этих предикатов заранее нет, и они вводятся. Я считаю вполне вероятным, что метафора введения предиката служит одним из краеугольных камней прозрения. Ее понимание в результате дает нам более богатые репрезентации, которые могут быть даже в какой-то мере неуместны, поскольку они отбрасывают только вопиюще несовместимые части. Их богатство отчасти является следствием именно этого. Предикаты, которые переносятся с оболочки на тему, в большей степени холистичны и в меньшей степени дискретны; они могут включать перцептивные и эмотивные компоненты. Как я старался показать в работах [11], [12], они тем самым ближе к перцептивным репрезентациям, чем большинство других репрезентаций, имеющих языковую природу. Я думаю, именно поэтому для метафор важны образы, как, несомненно, полагают Паивио и другие. Эта связная, холистическая интерпретация позволяет нам видеть вещи с разных сторон, — а, как часто указывалось, способность видеть вещи с разных сторон является необходимой предпосылкой научного открытия. Как сказал Уайтхед, «фундаментальный прогресс связан с переосмыслением базовых идей».

Хотя уподобления и метафоры обычно обрабатываются так же, как буквальные высказывания, между ними остаются существенные различия; эти различия связаны с их функциями и использованием в процессе общения. Есть и еще одно различие. Все типы употребления языка имеют тенденцию растягивать его, но при буквальном употреблении он «пружинит»: метафоры растягивают язык за пределы его эластичности.

ПРИМЕЧАНИЕ

Я очень обязан Дэвиду Румелхарту. Некоторые идеи данной статьи являются отчасти результатом наших с ним многочасовых обсуждений. Хотелось бы отметить и помощь, предоставленную мне Национальной академией образования в виде Спенсеровской стипендии. Работа, изложенная здесь, получила также частичную поддержку в виде контракта с Национальным институтом образования.

[1] Под «объектами» я подразумеваю не «физические объекты», а скорее те реальные или воображаемые сущности, которые способны связываться отношениями. Об опасностях рассмотрения «объектов» как «физических объектов» см. главу Серля.

[2] Следует, однако, отметить, что предлагалось модифицировать (геометрическую модель так, чтобы избежать этой трудности; см., напр., [9].

[3] Это сложный вопрос, выходящий за рамки данной статьи. Существенно, однако, понимать, что дурной бесконечности здесь не возникает. Можно

приводить аргументы в пользу рекурсивного процесса понимания, где правилом выхода может служить либо нахождение соответствия прежде, чем будет достигнут некий порог обработки, либо неудача в этом. В последнем случае результатом может быть осознание правила понимания.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Anderson J. R., Power G. H. Human associative memory. Washington (D. C.), Winston and Sons, 1973.

[2] Anderson J. R., Ortony A. On putting apples into bottles: A problem of polysemy. — "Cognitive Psychology", 1975, № 7, p. 167—180.

[3] Billow R. M. A cognitive developmental study of metaphor comprehension. — "Developmental psychology", 1975, № 11, p. 415—423.

[4] Bransford J. D., McCarrell N. S. A sketch of a cognitive approach to comprehension. — In: W. B. Weimer and D. S. Palermo (eds.). Cognition and the symbolic processes. Hillsdale (N. J.), Erlbaum, 1975.

[5] Carrol J. D., Wish M. Multidimentional perceptual models and measurement methods. — In: E. C. Carterette and M. P. Friedman (eds.). Handbook of perception. N. Y., Academic Press, 1974.

[6] Grice H. P. Logic and conversation. — In: P. Cole and J. L. Morgan (eds.). Syntax and semantics, Vol. 3 : Speech acts. N. Y., Academic Press, 1975 (русск. перевод см. в сб.: Новое в зарубежной лингвистике, вып. XVI. М., «Прогресс», 1985).

[7] Henley N. M. A psychological study of the semantics of animal terms — "Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior", 1969, № 8, p. 176—184.

[8] Kintsch W. The representation of meaning in memory. Hillsdale (N. J.), Erlibatim, 1974.

[9] Krumhansl C. L. Concerning the applicability of geometric models to similarity data: The interrelationship between similarity and spatial density. — "Psychological Review", 1978, Vol. 85, p. 445—463.

[10] Norman D. A., Rumelhart D. E. and the LNR Research Group. Explorations in cognition. San Francisco, W. H. Freeman, 1975.

[11] Ortony A. Why metaphors are necessary and not just nice. — "Educational theory", Vol. 25, 1975, p. 45—53.

[12] Ortony A. On the nature and value of metaphor: A reply to my critics. — "Educational theory", 1976, Vol. 25, p. 395—398.

[13] Ortony A., Schallert D. L., Reynolds R. E., Antos S. J. Interpreting metaphors and idioms: Some effects of context on comprehension. — "Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior", 1978, Vol. 17, p. 465—477.

[14] Pylyshyn Z. W. What the mind's eye tells the mind's brain: A critique of mental imagery. — "Psychological Bulletin", 1973, Vol. 80, p. 1—24.

[15] Rumelhart D. E., Abrahamson A. A. A model for analogical reasoning. — "Cognitive Psychology", 1973, № 5, p. 1—28.

[16] Rumelhart D. E., Ortony A. The representation of knowledge in memory. — In: R. C. Anderson, R. J. Spiro, W. E. Montague (eds.), Schooling and the acquisition of knowledge, Hillsdale (N. J.), Erlbaum, 1977.

[17] Shepard R. N. Representation of structure in similarity data: Problems and prospects. — "Psychometrika", 1974, Vol. 39, p. 373—421.

[18] Tversky A. Features of similarity. — "Psychological Review", 1977, Vol. 84, p. 327—332.

ДЖОРДЖ А. МИЛЛЕР

ОБРАЗЫ И МОДЕЛИ, УПОДОБЛЕНИЯ И МЕТАФОРЫ

Я буду здесь защищать вариант традиционной точки зрения, состоящей в том, что метафора — это стянутое сравнение и что вызванная ею мысль касается сходств и аналогий. В XIX в. этот тип мысли называли апперцепцией.

«Апперцепция» — это единственный термин менталистов, еще не реабилитированный когнитивными психологами, и, возможно, теперь для этого настало время. Для Гербарта [13] «апперцепция» служила родовым термином для описания тех ментальных процессов, с помощью которых поступающая информация соотносится с уже построенной ранее понятийной системой. Наши сегодняшние психологические журналы пестрят такими терминами, как «кодирование», «отображение», «категоризация», «вывод», «ассимиляция и аккомодация», «атрибуция» и т. п.; возможно, «апперцепция» была бы полезным родовым понятием для всех них.

Гербарт утверждал, что обучение новому происходит путём соотнесения его с уже известным; он исходил из убеждения, что если учителя знают, что именно известно ученикам, то те идеи, которые они хотят передать им, ученики могут соотнести с уже имеющимися знаниями. Хотя термин Гербарта и вышел из моды, его философия обучения путем максимизации передачи навыков представляется столь же разумной сейчас, как и сто лет назад. По-моему, немалая часть научного интереса к анализу метафоры заключается в том, что этот анализ может дать для теории апперцепции, согласованной с понятиями психологии и теории обучения XX в.

Чтобы не выходить за рамки реального, я отвлекаюсь от тех глубинных метафор, детальное развитие которых способно мотивировать сложные литературные или научные построения; я займусь локальными метафорами, способными обогатить оди-

---

George A. Miller. Images and Models, Similes and Metaphors. — In: “Metaphor and Thought”, ed. by Andrew Ortony, Cambridge University Press. Cambridge—London, 1979.

ночное предложение. Поскольку всякая метафора может быть записана, я буду называть ее получателя «читателем»[1].

ТЕКСТОВЫЕ КОНЦЕПТЫ

Необходимость понимания того, каким образом мы соотносим новые идеи со старыми, особенно остро встает в психологии чтения. При чтении и понимании какого-либо отрывка текста новую информацию человек должен соотнести как с собственным фондом знаний — раньше это называли его «апперцептивной массой», — так и с внутренним представлением самого этого отрывка. Естественно, по мере поступления новая информация становится старой, и к ней в свою очередь добавляется следующая новая информация; так «текстовый концепт» растет в процессе чтения. Чтение с пониманием — лабораторный пример работы апперцепции. Сначала я сформулирую мою точку зрения на процессы восприятия текста, затем рассмотрю понимание выражений подобия и, наконец, перейду к анализу метафоры, создающей специфические апперцептивные трудности.

Вспоминание. Что происходит, когда мы читаем описательный прозаический отрывок? Если мы внимательны и пытаемся понять его, то не только водим глазами по строчкам и бормочем про себя. Мы сами меняемся. Закончив чтение, мы приобрели нечто, чего у нас прежде не было. Психологическая проблема состоит в том, как охарактеризовать изменения, происшедшие с читателем после внимательного прочтения прямолинейно описательной прозы.

Образы. Один из подходов к проблеме — интроспекция; коли так, то не откажитесь принять участие в моем эксперименте по самонаблюдению. Ниже приведен описательный отрывок из повести Генри Торо «Уолден» [33]. Внимательно прочтите его и попытайтесь проследить за тем, что с вами происходит при чтении:

> Где-то в конце марта 1845 года я, одолжив топор, спустился к лесам у Уолденского озера, неподалеку от места, где собирался построить дом; для строительства я стал рубить высокие, стреловидные, еще молодые сосны... Славное было место: склон, покрытый сосновым лесом, сквозь который виднелись озеро и небольшая поляна с кустами орешника и тянущимся ввысь молодым сосняком. Лед на озере еще не растаял, но в нем уже зияли полыньи, и весь он потемнел, пропитанный водой.

Моя интроспекция убеждает меня, что, вникнув в этот отрывок, я построил в воображении нечто вроде ментальной картинки, к которой я добавлял детали по мере усвоения очередных оборотов и предложений. Я назову то, что строил, «образом». Поскольку этот образ отличается от фотографического или перцептивного образа описанного Торо пейзажа, то для того, чтобы подчеркнуть

разницу, нужен более определенный термин; в ряде случаев во избежание смешения с чем-то более вещественным или детализированным я буду называть этот тип образа образом-в-памяти (memory image).

Мой образ-в-памяти рос шаг за шагом примерно так. Сначала я прочел, что время действия — конец марта; здесь еще нет образа, но эта информация будет использована в дальнейшем (это неточное описание: ниже я еще вернусь к «марту 1845 года»). Далее, я увидел неотчетливого Торо, одалживающего у кого-то, еще менее отчетливого, топор и идущего с топором в руке к каким-то лесам близ озера. Следующая часть предложения превратила деревья в сосны, и я увидел Торо, размахивающего топором. Следующее предложение вводит склон холма: внезапно поверхность земли в моем образе опрокинулась, и сцена обрела четкость. Далее в образ «вписалось» озеро, поляна и тающий лед.

Конечно, я не утверждаю, что возникшие у меня образы, большей частью зрительные, обязательны для всех; вы могли почувствовать запах хвойного леса или услышать стук топора. Я хочу подчеркнуть, что, читая отрывок, я производил конструктивную работу, и в результате этой ментальной деятельности получился образ-в-памяти, вобравший в себя извлеченную из текста информацию. Хотя этот образ-в-памяти остался во многих отношениях нечетким, тем не менее это конкретный образ, так же точно как прозаический отрывок из Торо — конкретный отрывок; в действительности образ самого отрывка — тоже часть образа-в-памяти, как и образ описанной им сцены.

Итак, один из способов описать то изменение, которое происходит при чтении, — это сказать, что в процессе понимания отрывка мы создаем образ, помогающий нам запомнить прочитанное. Я имею в виду следующее: если, после того как вы отложили книгу, попросить вас пересказать прочитанное, вряд ли вам удастся сделать это слово в слово. Тем не менее вы можете актуализировать ваш образ-в-памяти и описать его, породив тем самым прозаический отрывок, отличный от первоначального, но в общих чертах (если у вас хорошая память) эквивалентный ему. Во многих психологических экспериментах показано, что мы забываем одни детали и выдумываем другие, так что этот процесс не дает идеального соответствия; но все же образ-в-памяти задает некую запись отрывка и извлеченной из него информации — запись, которая строится по мере чтения отрывка фраза за фразой.

Не надо преувеличивать иконичность образов-в-памяти. Приведенный отрывок из Торо был выбран специально; визуализировать многие другие отрывки было бы гораздо труднее. Более того, некоторые люди утверждают, что у них вообще не возникает зрительных образов; они напрасно рыщут по своим ментальным кладовым, пытаясь найти хоть что-нибудь похожее на кар-

тинку читаемого описания. Если верить этим людям — а я им верю, — то должны существовать другие пути запоминания прочитанного. Тем самым я обобщу данное описание образа-в-памяти, чтобы оно охватывало все ментальные процессы, которые способны строить конкретную запись конкретного отрывка и извлеченной из него информации. Некоторым людям для построения такой записи удобнее всего использовать гигантскую вместимость перцептивной системы, но это не единственная — а для некоторых отрывков и не самая простая — возможность построить и сохранить эту запись во всей ее конкретности и индивидуальности. Так, для очень абстрактных текстов образ-в-памяти может состоять в основном из образа — зрительного или слухового — самого текста.

Несомненно, все сказанное — не новость для тех, кто задумывался над этими проблемами; я говорил об этом для того, чтобы прояснить, что я понимаю под образом-в-памяти, а также для интуитивного обоснования утверждения, что понимание отрывков типа приведенного есть конструктивный ментальный процесс.

Добавлю еще одно замечание, часто не принимающееся во внимание при рассмотрении образов-в-памяти: образ, чтобы им можно было пользоваться, обязательно должен быть нечетким. Если бы образы-в-памяти были полностью детализированы, как фотографии, они не могли бы служить для хранения неполной информации, содержащейся в письменных описаниях. Торо не описывал каждую деталь лесов над Уолденским озером; читателю, который хочет запомнить только то, что описал Торо, лучше не загромождать образ-в-памяти деталями, которые ему не были даны.

Не исключено, что без избыточной информации, не выведенной из текста, а лишь навеянной им, вообще невозможно построить образ [1]; к примеру, читатель, ничего не знающий про пейзаж Новой Англии, построит другой образ, чем читатель, хорошо с ним знакомый. Я хочу лишь подчеркнуть, что такие добавки из фонда имеющихся общих знаний суть потенциальные источники ошибок, даже если они кажутся очень естественными в данном контексте.

Модели. Приведенное описание формирования образов многим покажется убедительным; но я хотел бы теперь представить другой способ описания того, что происходит при чтении приведенного отрывка.

Сначала я очистил свое сознание от всего постороннего. При такой установке можно представить себе любое положение дел. Когда я прочел, что Торо одолжил топор, я использовал эту информацию, чтобы свести множество возможных положений дел к классу ситуаций, которые включают Торо, одолжившего топор. Прочтя затем, что он спустился к лесу у Уолденского

озера, я еще более сократил потенциальное множество — до таких положений дел, которые включают Торо, спустившегося с топором к лесу у Уолденского озера. Информацию, поступающую от предложения к предложению, я использовал для ограничения множества возможных положений дел. К концу чтения я уже довольно сильно сузил это множество, хотя в нем еще оставалось бесконечно много альтернатив — но остановить свой выбор на одной из них я не могу в силу недостаточности собранной информации.

Ранее формирование образов было описано мною как конструктивный процесс, теперь — как селективный. Построение — не то же самое, что выбор; более того, у них разные конечные продукты. Конструктивный процесс выдает образ-в-памяти, целостную репрезентацию сцены, особенности которой тесно связаны с особенностями отрывка; селективный процесс, напротив, выдает набор возможных положений дел, соответствующих письменному тексту только общими свойствами и отличающихся друг от друга в остальных отношениях.

Впервые столкнувшись с селективным описанием, многие чувствуют, что оно противоречит повседневному опыту. Если даже один образ-в-памяти мысленно нелегко удержать, то как же справиться с бесконечно большим набором образов одновременно? Я полностью согласен с этим возражением; оно доказывает, что, какова бы ни была природа ментальных репрезентаций, из которых читатель производит выбор, они не могут быть образами. Если всерьез отнестись к селективной гипотезе, то здесь должна быть полная ясность: множества возможных положений дел, из которых читатель производит выбор, не являются образами. Самый простой способ помнить об этом — назвать эти множества как-то иначе. Я буду называть их «моделями» отрывка. Поскольку, однако, модели бывают самые разные [4], во избежание смешения я буду говорить о семантических моделях.

Итак, семантическая модель данного текста — это множество всех возможных положений дел, относительно которых истинна вся информация, построенная для данного текста. Все факты, содержащиеся в описании, будут необходимо истинны в модели — они истинны для каждого элемента множества. Любой факт, противоречащий фактам описания, будет необходимо ложным. И, наконец, всякий факт, который не содержится в описании, но и не противоречит ему, будет, возможно, истинным — он может быть верен для некоторых положений дел, принадлежащих модели, но он не обязан быть верным для всех ее элементов.

Семантические модели более абстрактны, чем образы-в-памяти. Модель — это множество объектов, но я еще никак не охарактеризовал эти объекты; я сказал только, что это не образы. Не противореча духу селективной гипотезы, мы могли бы рассматривать их как потенциальные, еще не сформированные образы. Или же, в соответствии с более лингвистически ориентированной

интерпретацией, модель можно рассматривать как исходный отрывок плюс все возможные его продолжения. По мере чтения отрывка мы строим образ-в-памяти, позволяющий сузить множество возможных продолжений.

Рассмотрим модели с точки зрения автора. Торо писал данный отрывок, имея нечто в виду. Если он строил его как описание реальной сцены — то есть если его модель содержала только одну репрезентацию единичного положения дел, — то не трудно представить, как он пользовался этой моделью, чтобы каждое написанное им предложение было истинно. С другой стороны, если Торо писал по памяти, он скорее всего забыл массу конкретных деталей; в таком случае его модель содержала более одной репрезентации, совместимой с образом-в-памяти, и все же он мог воспользоваться своей моделью, чтобы каждое написанное им предложение было истинно.

Семантические модели обычно рассматривают именно в таком ключе. Считается, что модель задана заранее, а предложения, выражающие разного рода факты, могут затем оцениваться как необходимо или возможно истинные или ложные относительно этой модели. Короче, автор использует семантическую модель для выбора истинных описательных предложений.

Теперь рассмотрим семантические модели с точки зрения читателя. Изначально он имеет лишь самую общую модель (если она вообще у него есть). Читателю дан текст, то есть цепочка описательных предложений, а не модель. Он должен найти совместимую с этими предложениями модель (включая и авторскую). Основное предположение читателя должно состоять в том, что данные ему предложения истинны. Тогда его задача строго обратна задаче автора: читатель использует истинное описательное предложение для выбора модели [8].

Текстовые концепты. Итак, я представил два способа характеризации того, что происходит при чтении отрывка дескриптивной прозы. Поскольку они кажутся различными, может возникнуть вопрос, какой из двух способов правильный? Я утверждаю, что правильны оба.

Читатель располагает и образом-в-памяти, и моделью. Они служат взаимосвязанным, но различным целям. Образ-в-памяти выступает как ментальный суррогат самого описательного отрывка; это историческая запись, точная ровно в той мере, в какой она содержит всю информацию, заключенную в отрывке, и только ее. Модель же, напротив, сохраняет мысль открытой будущим возможностям. Важность ее можно проиллюстрировать следующим способом[2]: восстановите ваш образ описанной Торо сцены и попытайтесь определить, был ли там снег. В отрывке снег не упоминается и, если ваш образ-в-памяти точен, то в нем снега также не будет. Поэтому если бы вы располагали только образом,

то на вопрос о снеге вам бы пришлось ответить «нет». Однако вы знаете: тот факт, что Торо не упомянул снег в приведенном выше отрывке, еще не значит, что снега вообще не было. Если же вы ответите «да», то вы слишком далеко выйдете за пределы данной вам информации. Ничто не мешает следующему предложению звучать так: *Та зима была бесснежная.* Все, что вы можете сказать о снеге — это *Возможно, там был снег, но я этого еще не знаю.*

Что же следует из вашего незнания? Если бы вы смотрели на реальную сцену и вас спросили, есть ли там снег, вряд ли вы затруднились бы ответить. Чтобы знать, чего вы не знаете, вы должны располагать какими-то мыслительными механизмами, дополняющими образ-в-памяти. Таким дополнительным механизмом и является семантическая модель, отличающаяся от реальной сцены тем, что она представляет собой целое множество репрезентаций альтернативных положений дел, из которых одни содержат снег, а другие — нет. Епископ Беркли как-то сказал, что абстрактных идей быть не может, так как идеи — это образы, а образы всегда конкретны; не бывает образов, в которых одновременно есть снег и нет снега. Чтобы ответить на аргументы Беркли, мы должны дополнить образы моделями. Модели, по определению, содержат альтернативные репрезентации, которые несовместимы друг с другом.

Образы, будучи хранилищем информации, содержащейся в предшествующем дискурсе, принадлежат прагматической теории языка. Это значит, что разные предложения могут служить для построения одного и того же образа, а одно и то же предложение может в разных контекстах порождать разные образы. Как человек строит образ по данному отрывку в данном конкретном его употреблении? — вот центральная проблема всякой прагматической теории языка. Модели, с другой стороны, представляют механизм приписывания истинностных значений, и в этом качестве они принадлежат семантической теории языка. Здесь нет противоречия. Образ, как и тот текст, который он позволяет нам запомнить, — это конкретный образ, который соотнесен с конкретным списком критериев для выбора модели, совместимой с этим списком[3].

Итак, запоминание прозаического отрывка зависит от двух взаимно дополнительных и поддерживающих друг друга процессов; один из них — конструктивный и конкретный, другой — селективный и абстрактный. Конструктивный процесс сохраняет задаваемые отрывком критерии для выбора абстрактной модели, состоящей из множества всех потенциальных положений дел, которые могут удовлетворить этим критериям.

Комбинацию «образ/модель», возникающую в процессе чтения, я буду называть «концептом» отрывка у читателя, а конструктивные/селективные процессы, участвующие в его построении, — «синтезом» этого концепта. Если под экстенсионалом концепта

понимать множество объектов, являющихся частными случаями этого концепта, то модель у читателя соответствует экстенсионалу его концепта отрывка; если под интенсионалом концепта понимать те знания, которыми должен располагать читатель для нахождения его экстенсионала, то образ у читателя соответствует интенсионалу его концепта отрывка. В этом отношении концепт читателя для конкретного текста похож на сентенциальные и лексические концепты, используемые в его синтезировании. Но поскольку не все концепты эквивалентны, то в случаях, где возможна путаница, я буду называть концепт текста у читателя «текстовым концептом».

С этого места я начну говорить о метафоре. Я мог бы утверждать, что метафора ставит апперцептивную проблему; в конце концов я приду к этому утверждению, но пока что мое описание еще неполно в очень важном отношении.

Понимание. Изучение понимания при чтении — это нечто большее, чем просто изучение того, как читатель выделяет информацию путем дешифровки, синтаксического анализа и интерпретирования текста, или того, как он использует эту информацию для построения образа отрывка, который позволит ему выбрать модель возможных продолжений этого отрывка. Это также должно быть и изучение решения задачи [34], при котором все, что читатель знает о мире или о способах использования текстов, может быть употреблено им как подспорье в определении того, какой концепт имел в виду автор, когда он выбрал данные конкретные предложения? Чтобы понять отрывок, читатель должен соотнести синтезируемый текстовой концепт с общим фондом своих знаний и представлений.

Основания. Весьма распространенным является мнение, что мы понимаем предложение, если знаем условия, при которых оно может быть истинно. Есть веские основания считать эту точку зрения слишком узкой, но давайте пока отнесемся к ней серьезно. Она предполагает, что вам заранее уже известно очень многое из того, о чем говорится в предложении; от вас ожидается, что вы будете выделять в ваших знаниях условия истинности предложения. Психологически это значит, что для понимания предложения вы должны установить отношение верифицируемости между выражаемым в предложении концептом и вашими общими знаниями о мире. Если вы не можете установить это отношение, то вы не понимаете предложение; если никому не удается установить это отношение, то предложение (как предполагается) бессмысленно.

Между текстом и общими знаниями требуется устанавливать более широкое отношение, чем верифицируемость. Каково это отношение и как оно устанавливается — центральная проблема психологии апперцепции. Я не могу предложить ее решения;

но, чтобы сделать шаг к будущему решению, рискну сказать, что мы понимаем предложение, если знаем условия его употребления. Эти последние шире условий истинности и могут покрыть большую часть апперцептивных отношений. Я буду говорить об условиях употребления как об «основаниях» автора сказать то, что он сказал; я буду считать, что понимание этих оснований для предложения в большой степени опирается на общие знания и мнения о ситуациях или событиях, сходных с теми, которые заданы в текстовом концепте.

При такой формулировке получается, что неверифицируемые предложения все-таки можно понять, если осознать основания автора к их употреблению. Тем не менее мы не можем полностью отказаться от понятия истины, поскольку читатель не может выявить авторские основания, не будучи готовым принять сказанное за истину относительно авторского концепта. Естественно, в случае отрывков, имеющих буквальное значение, условия употребления не сильно отличаются от условий истинности; но не все, что пишется, задумано для передачи буквального смысла. Тем самым мы должны подробнее рассмотреть презумпцию истинности, из которой исходит читатель.

Презумпция истинности. Я говорил, что выбранная для текста семантическая модель содержит все возможные продолжения этого текста, которые не противоречат ничему из образа-в-памяти. Апперцептивная проблема, скрытая в этой формулировке, заключается в слове «противоречить». Проиллюстрирую это, предположив, что первое предложение из приведенного отрывка Торо звучит следующим образом:

> Где-то в конце марта 1845 года я, одолжив топор, поехал на машине в леса у Уолденского озера, неподалеку от места, где собирался построить дом...

Вы сразу же заметите противоречие, поскольку автомобилей в 1845 году еще не было.

Откуда берутся знания, необходимые для обнаружения этого противоречия? Заведомо не из образа-в-памяти. Мне, по крайней мере, представить автомобиль в 1845 году не труднее, чем строить образ продолжения отрывка Торо. Эти знания берутся и не из выбранной для отрывка модели, ибо эта модель — как она была описана до сих пор — ограничивается только образом. Источник противоречия заключен в чем-то ином; где-то в моем фонде общих знаний имеется информация, позволяющая мне заключить, что в 1845 году автомобилей не было. Общие знания должны играть определенную роль в процессе понимания, должны обеспечивать основания того, что написал автор.

Что же происходит, когда мы наталкиваемся на противоречие? Разумеется, система понимания не отключается. Из приведенного примера ясно, что Торо не мог написать такое предложение; его написал тот, кто жил после изобретения автомобиля.

Либо мы ошиблись в определении жанра отрывка — возможно, это пародия или научная фантастика — либо в текст вкралась опечатка: вместо «1945» случайно получилось «1845». Это значит, что мы пересматриваем наш концепт отрывка таким образом, чтобы сохранить презумпцию истинности текстового концепта.

Излишне настаивать, что понимание при чтении как-то зависит от общих знаний. Но их участие в понимании часто оценивается неправильно. Мы могли бы, к примеру, рассматривать выбор модели отрывка на только на основе информации, извлеченной из текста, но на основе вообще всей информации, приобретенной человеком в течение его жизни, включая только что прочитанную им часть текста. В некотором смысле это верно, что доказывается вторжением в воспроизведение текста по памяти информации, которая напрямую не входила в текст и не следовала из него. С другой стороны, эта точка зрения не может быть целиком и полностью верной, так как если текстовой концепт данного отрывка не отделен в какой-то мере от всех остальных знаний, то образ-в-памяти не может выполнять свою прямую функцию: в ответ на задание вспомнить текст может быть выдан любой фрагмент предшествующего опыта. Тем самым мы вынуждены предположить, что образ-в-памяти для текста отделен от общих знаний как запись текущего эпизода. Читатель обычно считает, что его знания о реальном мире применимы к тому миру, о котором он читает (если текст не свидетельствует об обратном), но если он смешает эти два мира, он не сможет точно вспомнить текст.

Другая причина, по которой образ-в-памяти не может быть прямо встроен в общие знания, состоит в том, что истинность в модели должна быть отграничена от истинности в так называемом реальном мире или в наших знаниях об этом мире. Литературные критики уже давно спорят о том, в каком смысле произведение художественной литературы в целом, и поэзии в особенности, может оцениваться как истинное или ложное. Некоторые утверждают, что для таких произведений истина и ложь нерелевантны; но я думаю, что Эмпсон [9 (1967), p. 12] находится на правильном пути, когда он говорит: «Суть не в том, что их истинность или ложность нерелевантны, а в том, что от вас требуется представить себе такое состояние ума, в котором они покажутся истинными». В моих терминах это звучит так: принимая их в качестве истинных, читатель надеется прийти к модели, которую имел в виду автор, а уже эта модель может совпадать или не совпадать с тем, что читатель знает или полагает относительно реального мира. Если, как в приведенном примере, утверждение противоречит этим знаниям или убеждениям, мы не можем отвергнуть принятую рабочую гипотезу, что прочитанное истинно в выбираемой нами модели. Мы должны любой ценой держаться за презумпцию истинности. Если мы не хотим отказаться от попытки понять прочитанное, то должны выбрать модель, делаю-

щую отрывок истинным — даже если этот выбор требует изрядной находчивости.

К счастью, в этих вопросах наша изобретательность поразительна. Презумпция истинности подвергается тяжелому испытанию, когда читатель сталкивается с той формой юмора, которая строится на абсурдных предположениях. Вот пример (источник неизвестен), любимый детьми:

One bright day in the middle of the night
Two dead boys got up to fight.
Back to back they faced each other,
Drew their swords and shot each other.
A deaf policeman heard the noise
And came and killed those two dead boys.
[*букв.:* Однажды ясным днем, среди ночи,
Двое мертвых мальчиков затеяли драку.
Спиной к спине они сошлись лицом к лицу,
Обнажили мечи и застрелили друг друга.
Глухой полицейский услышал шум,
Пришел и убил тех двух мертвых мальчиков.]

Такой нонсенс нельзя принять — ни о каком «доверии» тут не может быть и речи. Тем не менее образ можно построить и для этих, с позволения сказать, стихов (мальчики-призраки, стреляющие мечи), а общий сценарий (мальчишеская потасовка привлекает полицию) достаточно знаком, чтобы связать их воедино, несмотря на вопиющие противоречия в каждой строчке. Упорство, с которым читатель старается спасти презумпцию истинности прочитанного (по крайней мере истинности в его модели текста), недооценивать нельзя. Эта презумпция так устойчива, что автор может эксплуатировать ее для достижения разных эффектов, в том числе и юмористического.

Презумпция истинности не ограничена у читателя текстами, передающими объективную истину. Если заглянуть вперед в область метафоры, должно быть очевидно, зачем понадобилось разграничение истины-в-мире и истины-в-модели. Буквальная интерпретация метафоры нелепа, если не ложна — для распознавания метафор необходимо ясное ощущение уместности в контексте и истины-в-мире, и поэтому общие знания должны быть доступны для читателя.

Конечно, не каждое буквально нелепое или ложное утверждение является метафорой; но оно должно быть истинно-в-модели. Как изобретение вымышленного положения дел, так и поиск альтернативной интерпретации, которая могла бы быть истинной в реальном мире, требует от читателя принять важное решение: то, считаем ли мы выражение *заржавевшие суставы* фигуральным описанием старика или строим образ ржавой машины, может иметь важные последствия для нашего понимания текста. Каким бы приемом ни пользовался читатель для сохранения презумпции истинности, разграничение истины-в-мире и истины-в-модели должно входить в любую общую теорию понимания текста.

Метафора ставит апперцептивную проблему. Метафора, ложная в реальном мире, может тем не менее быть добавлена к образу и использована для сужения нашей модели, но она создает напряжение между нашей картиной реального мира и картиной того мира, который имеет в виду автор. Чтобы как можно полнее использовать наши знания о сходных ситуациях в реальном мире, мы пытаемся синтезировать текстовой концепт, как можно более близкий к нашему концепту реальности, — мы пытаемся добавить метафорическую информацию таким способом, чтобы ее истинность как можно меньше противоречила нашему представлению о реальном мире. То есть мы пытаемся сделать мир, который автор просит нас вообразить, похожим на реальный мир (такой, каким мы его знаем) по как можно большему числу оснований.

Если автор говорит, что x есть y, в то время как мы знаем, что x не есть y, мы пытаемся представить себе мир, в котором x есть y. Эта работа воображения сильно облегчается, если в реальном мире x в каких-либо отношениях похож на y, поскольку тогда мы можем считать их сходства основаниями автора сказать, что x есть y. Если он, к примеру, говорит: *Человек — это волк*, мы можем отдать должное презумпции истинности, приписав людям свойства волков (примерно так же мы бы поступили с предложением *Человек — это животное*). Если, однако, автор говорит: *Тайфуны — это пшеница*, будет нелегко одновременно выбрать модель, в которой это предложение истинно, и в то же время сохранить сходство этой модели с реальным миром. Сходства между x и y позволяют нам минимизировать напряжение между нашим текстовым концептом и нашим концептом реальности, тем самым максимизируя возможность использования того, что мы уже знаем.

Очень соблазнительно сделать более сильное утверждение, а именно, что сходства позволяют читателю понять замысел автора и что к текстовому концепту добавляется эта понятая информация — скорее чем буквальное высказывание. К примеру, если автор говорит: *Человек — это волк*, читатель может понять его в том смысле, что 'Человек похож на волка', и добавить эту информацию к текстовому концепту. Безусловно, попытка понять утверждение *Человек — это волк* заставляет читателя исследовать те отношения, в которых человек и волк схожи; но добавить утверждение *Человек похож на волка* к текстовому концепту — значит нарушить презумпцию истинности, которая служит для читателя единственной опорой при определении ментального состояния автора. *Человек — это волк* — гораздо более сильное утверждение; если автор сказал именно это, читатель должен исходить из того, что именно это он и имел в виду.

Утверждение *Человек — это волк* фактически ложно. Если оно должно рассматриваться как истинное, это возможно только в том текстовом концепте, который синтезирует читатель. Однако чтобы понять это утверждение, читатель должен ассоциировать

его с утверждением *Человек похож на волка*, или даже еще слабее — *Человек кажется похожим на волка* (автору). Уподобление не может быть добавлено к текстовому концепту, поскольку автор сказал нечто иное; но именно уподобление — та основа, которая позволяет читателю понять, почему автор мог бы сказать *Человек — это волк*. Таким образом, читатель синтезирует концепт автора, так же как и концепт того, что тот написал.

Важно подчеркнуть следующее: когда автор говорит нечто буквально противоречивое или ложное, читатель не переводит это во что-то истинное, предполагая затем, что автор именно это и хотел сказать. Скорее, читатель исходит из того, что сказанное автором верно в описываемом им положении дел, и ищет в своих общих знаниях правдоподобные основания для этого. Поиск таких оснований направляется теми сходствами и аналогиями между миром текста и миром реальности, которые читатель способен обнаружить.

УТВЕРЖДЕНИЕ СРАВНЕНИЯ

Со времен Аристотеля исследователи метафоры говорили, что она используется для выражения сходства или аналогии. Хотя давно установлено, что существуют фигуры речи, которые выглядят как метафора, но не выражают ни сходство, ни аналогию, авторитет Аристотеля оказался столь велик, что многие его последователи либо игнорировали эти фигуры, либо доказывали, что это не метафоры. В любом случае — является или нет подобие определяющей характеристикой метафоры — никто не станет спорить, что многие метафоры воспринимаются в терминах сходств. Поэтому, прежде чем переходить к их роли в метафоре, я должен сказать несколько слов о выражениях подобия вообще.

Направленность. На первый взгляд отношение сходства кажется симметричным — то есть, если A похоже на B, то B должно быть похоже на A, и оба способа выразить это эквивалентны выражению «A и B похожи». Это представление не бесспорно даже на абстрактном уровне, но на уровне лингвистического выражения сходства оно безусловно ложно [35].

Возьмем для начала самый чистый случай — математическое равенство. Все знают, что знак «=» обозначает симметричное отношение, что если $x=y$, то $y=x$. Однако с психологической точки зрения даже этот символ полного сходства используется несимметрично. К примеру, не надо долго рыться в учебниках алгебры, чтобы найти выражения типа следующего:

(1) $y=ax+b$,

где a и b — константы, а x и y — неизвестные. Каждый школьник знает, что из этого уравнения можно вывести другие уравнения:

(2) $y - b = ax$

(3) $x = \frac{y - b}{a}$

Все три уравнения, а также бесконечно много других, передают одну и ту же информацию; во всех трех случаях терм слева от знака равенства взаимозаменим с термом справа без изменения условий истинности уравнения. Тем не менее, (1) и (3) психологически выделены. (1) говорит, что если вы знаете значение x, то вы можете умножить его на a, добавить b, и вы получите y; (3) говорит, что, если вы знаете значение y, вы можете вычесть из него b и разделить результат на a, чтобы найти x. Удобство (1) и (3) проистекает из того факта, что мы обычно знаем или предполагаем значение одной переменной и хотим найти соответствующее значение второй. Уравнения абсолютно симметричны; но несимметрично их использование нами.

Сходное наблюдение верно для аналогий. Вербальные аналогии вида *День относится к свету как ночь относится к темноте* обычно допускают множество перестановок термов: *День относится к ночи как свет к темноте*, *Темнота относится к свету как ночь к дню* и т. д. Тем самым на абстрактном уровне и вербальные аналогии, подобно уравнениям, кажутся лишенными внутренне присущей им направленности. Но как только мы обратимся к тому, как авторы используют аналогии, мы обнаружим, что контекст задает направление и что тут уже невозможно свободно менять порядок термов. Автор, который говорит *Деньги для университета — как горючее для машины*, сообщает читателю нечто о деньгах в университете — а именно, что они похожи на горючее в машине. Если вы знаете, как горючее используется в машине, вы можете перенести эти знания на отношение между деньгами и университетами. *Горючее для денег — то же, что машины для университетов* сообщило бы читателю нечто другое.

Чтобы не уходить далеко от равенства, рассмотрим толкование слов. Предположим, вы не знаете, что такое a pickle 'соленье', и смотрите это слово в словаре. Вы обнаружите толкование вроде следующего:

(4) pickle: любой вид пищи, прежде всего огурцы, сохраненный в рассоле или уксусе.

И здесь отношение асимметрично: pickle определяется как функция от пищи, прежде всего огурцов. Если вы знаете, что такое огурцы, то вы можете узнать, что такое pickle, подержав их в рассоле или маринаде. Нечто новое определяется в терминах того, что, по предположению, вам известно. Конечно, если вы не знаете, что такое огурцы, вам придется продолжить ваши изыскания, до тех пор пока вы не найдете знакомые термины.

Еще более отдаляясь от равенства, рассмотрим обыденные толкования. Предположим, ребенок спрашивает вас, что такое зебра. Вы могли бы ответить:

(5) *Зебра похожа на лошадь, но она полосатая.*
Вы исходите из предположения, что ребенок знает, что такое лошадь, и вы объясняете незнакомое слово через знакомое.

Слово «похож» в (5) маркирует это предложение как уподобление; если вы опускаете его, как в (6):

(6) *Зебра — это полосатая лошадь,*
некоторые ученые могли бы сказать, что вы употребили метафору. Однако другие будут отрицать, что это метафора, на том основании, что слово *лошадь* обычно употребляется (синекдохически?) для обозначения рода Equus, и в этом случае (6) станет вполне удовлетворительным определением. Моя цель, однако, не в том, чтобы спорить о границах метафоры; я хочу указать на всепроникающую направленность наших выражений сходства — эта направленность не ограничена рамками метафорических утверждений [28]. Если мы перефразируем (6) следующим образом:

(7) *Лошадь — это зебра без полос,*
то направление инвертируется; исходным предполагается знакомство с зеброй, которое используется для объяснения того, что такое лошадь.

Коль скоро мы обнаружили асимметричность в выражениях равенства, аналогии и толкования, не удивляет ее наличие также и в выражениях более слабого сходства. Рассмотрим пример:

(8) *Жена Джона похожа на его мать.*

(9) *Мать Джона похожа на его жену.*

(10) *Жена и мать Джона похожи друг на друга.*

Оставляя в стороне вопрос об эдиповых проблемах Джона, (8) вы бы сказали кому-либо, знакомому с матерью Джона и спросившему про его жену, (9) — знакомому с его женой и спросившему про мать, (10) — тому, кто в одинаковой степени знаком с ними обеими.

Другой пример можно построить на основе отрывка Торо:

(11) *Я оказался невдалеке от того места, где я собирался построить дом.*

(12) *Я собирался построить дом невдалеке от того места, где я оказался.*

(13) *Место, где я оказался, и место, где я собирался построить дом, были недалеко друг от друга.*

Для Торо было естественно употребить схему (11), поскольку в предыдущем тексте уже сказано, что он собирался строить дом; предложение типа (11) у Торо отвечает на вопрос: «Куда вы пошли?» — соотнеся его с чем-то уже известным. С другой стороны, в (12), скорее всего, предполагается, что читателю известно то место, где Торо обычно проводил время, а сообщается ему новая информация о местоположении будущего дома. Наконец, (13) нейтрально; читатель считается в одинаковой степени осведомленным об обеих точках. Подчеркнем, что направленность в (8) и (9), а также в (11) и (12), разная; эта разница достаточна для заключения о разных намерениях говорящего.

Причина такой направленности очевидна, но я бы хотел сформулировать ее здесь в явном виде. Новые знания усваиваются апперцептивно, путем соотнесения со старыми (см. [12]). Один из простейших способов передать новые знания — задать их отношение к чему-то уже известному. Старые знания могут принадлежать к фонду общей информации, относительно которой автор может предполагать, что она известна каждому; это могут также быть знания, переданные ранее в том же тексте.

Для описания такой направленности я позаимствовал пару терминов из средневековой логики. Концепт, о котором нечто говорится, я буду называть референтом, а концепт, с которым референт соотносится, — релятом (relatum)[4]. Например, в предложениях вида «*A* похоже на *B*» *A* — референт, а *B* — релят. От читателя ожидается, что он перенесет свойства релята *B* на референт *A*.

Разграничение референта и релята позволяет читателю определить, что надо добавить к образу-в-памяти, который он строит. К этому образу всегда добавляется референт, но обогащенный релятом; релят уже входит либо в образ, либо в фонд общих знаний. Рассмотрим, например, предложения:

Я не знал, что он уже был женат.
Первая жена Джона была похожа на его мать. Она была родом из Чикаго.

Здесь очевидно, что антецедент анафорического местоимения «она» — первая жена Джона, а не его мать. Это следует из того, что эта бывшая жена — референт, а к образу-в-памяти добавляется именно референт. Релят показывает, как, где или почему определяется референт.

Отметим, что в терминах противопоставления и старой/новой информации и референт, и релят уподобления в некотором смысле оба относятся к старой информации. Референт — это то, о чем сообщается: коль скоро читателю надлежит присоединить предложение к концепту, его референт должен быть уже введен. Релят же — это нечто, с чем читатель, по предположению, уже знаком либо из самого текста, либо из общих знаний. Новая информация в уподоблении — это утверждение сходства между референтом и релятом. Тем самым более точная терминология могла бы различать старую, текущую и новую информацию: релят — это старая информация, референт — текущая тема, а отношение сходства между ними — новая информация.

Классификация утверждений сравнения. Утверждения сравнения без труда распознаются по вхождению в них одной из связок подобия: *похожий*, *похож*, *ведет себя как*, *выглядит как*, *как*, *столь же* Adj. *как*, *походит на*, *напоминает мне*, *такой же как*, *подобен*, *тем же способом* и т. д. Разные связки подобия не взаимозаменимы; они накладывают разные синтаксические

ограничения на сравниваемые составляющие, а часто они имеют также и разное значение; но здесь эти различия нас не интересуют.

Я буду различать три типа утверждений сравнения: буквальные сравнения, уподобления и аналогии. В буквальных сравнениях основания очевидны. Например, предложение «Жена Джона похожа на его мать» будет понято как утверждающее, что описание жены Джона включает многие из тех свойств, которые входят в описание матери Джона. В уподоблениях основания сравнения неочевидны. Предложение «Жена Джона похожа на его зонтик» могло бы быть понято как утверждение, что она очень тощая, или что она защищает его, или еще каким-нибудь способом. Аналогии обычно включают четыре члена, поскольку они построены как арифметические пропорции: к примеру, 3 : 4 :: 9 : 12, или в более общем виде, $x : y :: nx : ny$. *Подошва относится к ноге как ладонь к руке* — это утверждение сравнения, использующее связку подобия *как*, но основания сравнения эксплицитно не указаны.

Тем не менее во всех трех типах читатель может предполагать, что утверждение истинно; и все три типа могут быть использованы как основа для метафоры.

Декларативные предложения вида «*A* похоже на *B*» могут пониматься как выражающие истинные утверждения, говорящие, что автор заметил сходство между *A* и *B*. Из того, что основания сходства могут быть неясными, еще не следует, что такого рода предложения не являются верными описаниями ментального состояния автора. Если «утверждение» кажется слишком сильным словом для выражения субъективных и, возможно, идиосинкразических впечатлений, то мы можем сказать, что автор использовал утверждение сравнения, чтобы пригласить адресата разделить это впечатление [16], [10], на что тот может на разумных основаниях согласиться или нет. Читатель, вынужденный рассматривать все, что бы ни написал автор, как истинное в той семантической модели, которую он выбирает, не будет испытывать особых затруднений с утверждениями сравнения, если референт, уже входящий в текстовой концепт читателя, попросту квалифицируется новой информацией как (с точки зрения автора) сходный с релятом.

Однако такое определение не будет понято, если читатель не сможет найти основания сравнения; в этом и состоит центральная проблема интерпретации. Для неочевидного сравнения *Жена Джона похожа на зонтик* существенно, является ли основанием сходства крайняя худоба жены или то, что Джон использует ее как защиту от невзгод. Для понимания предложения *Женщина без мужчины — как рыба без велосипеда* полезно знать, что его автор — сторонник женской эмансипации, и распознать отвергнутую аллюзию к рыбе без воды. Но как только определенная интерпретация выбрана и приписана, никаких дальнейших апперцептивных трудностей уподобление не порождает.

Этому на первый взгляд противоречит тот тип утверждения сравнения, который можно продемонстрировать примером: *Моя любовь похожа на алую, алую розу.* Автор имел в виду не реальную, а символическую розу — цветок, который в нашей культуре символизирует любовь. Или же возьмем крайний случай: предложение *Джон ест как свинья* не есть выражение усмотренного автором сходства между тем, как ест Джон, и тем, как ест свинья. Это предложение вполне может употребить человек, вообще никогда не видевший свинью — в том случае, если он знает, что в нашей культуре свинья служит символом нечистоплотного обжорства. В некоторых случаях тестом на символичность может быть перевод. В той мере, в какой релят — скорее символ, чем знак [30], могут найтись языки, на которых данные уподобления прямо непереводимы. В этом случае их надо переводить косвенным образом, использовав выражение для соответствующего символа скорее, чем для соответствующего референта[5]. Читатель символического уподобления должен учитывать символизм; но как только такое уподобление получает символическую интерпретацию, оно может быть принято в качестве истинного в выбираемой читателями модели.

Важность того, о чем я говорил, становится очевиднее, если признать, что все типы утверждений сравнения связаны с метафорами. Метафоры характерны тем, что они ставят апперцептивные проблемы: либо они утверждают нечто, что трудно совместимо с презумпцией истинности у читателя, либо они кажутся не имеющими явного отношения к текстовому концепту читателя. Эта апперцептивная задача упрощается, если существует сходство между концептом реальности у читателя и тем, что написал автор. Нахождение этого сходства можно рассматривать как процесс перифразирования метафоры в утверждение сравнения. Реконструированное сравнение не добавляется при этом к текстовому концепту читателя — читатель должен уважительно обращаться с тем, что написал автор — но оно позволяет читателю построить определенный образ текста (в котором метафора должна быть истинна), сходный с его картиной реальности (в которой может быть истинным соответствующее сравнение) в максимальной степени. В то время как утверждение сравнения выражает сходство, метафора лишь обращает на него наше внимание.

Теперь должна быть понятна схема моего доказательства. Чтобы найти компромисс между требованиями презумпции истинности, с одной стороны, и необходимостью как можно лучше соотнести текстовой концепт с общими знаниями и представлениями, с другой, читатель должен искать сходства между текстовым концептом и общими знаниями. Эти сходства, которые служат основаниями для метафоры, могут быть сформулированы в виде утверждений сравнения. Будучи обнаруженным и проинтерпретированным, сравнение не добавляется непосредственно к текстовому концепту, а используется как основа, позволяющая

представить себе минимально отклоняющееся от обычного положение дел, при котором метафора будет истинна.

Уподобления. Уподобление (simile) — это утверждение сравнения, в которое входят две несходные вещи. Насколько они должны быть несходны, чтобы сравнение считалось уподоблением, не определено; но смазанность границы не будет нам здесь мешать.

Я исхожу из того, что для понимания уподобления существенны два аспекта:

1) распознавание того факта, что нам встретилось уподобление, и 2) интерпретация оснований уподобления и причин, по которым автор употребил его в данном контексте.

Распознавание. В уподобление входит связка подобия. Вероятно, уподобления обрабатываются так же, как и любые другие утверждения сравнения, так что первый шаг в распознавании уподобления состоит в распознавании утверждения сравнения. Возможно, читатель может с уверенностью утверждать, что данное сравнение является уподоблением, лишь после того как он уже произвел определенный анализ и обнаружил, что основания сравнения неочевидны [21].

Интерпретация. Интерпретация уподобления может потребовать выяснения оснований для утверждения подобия. Их может подсказать предшествующий текст, общие знания, либо и то и другое.

Рассмотрим пример уподобления в контексте и попытаемся охарактеризовать понимание этого буквального прозаического отрывка:

> Я сказал ему, что все будет в порядке. Уговаривать Джона не беспокоиться — все равно что уговаривать ветер не дуть. Это только усугубило положение, поскольку он вступил со мной в спор.

Читая отрывок, я строю образ-в-памяти, содержащий автора и его обеспокоенного друга. Я слышу, как автор говорит Джону, что все в порядке, но Джон продолжает беспокоиться. Джон настолько обеспокоен, что он вступает с автором в спор.

Хотя в отрывке упомянут ветер, он не вставляется в мой образ-в-памяти для содержания данного отрывка (если бы ветер вошел в образ, он претендовал бы на роль антецедента анафорического местоимения *это* из третьего предложения). Референт уподобления *Уговаривать Джона не беспокоиться — все равно что уговаривать ветер не дуть* — это составляющая *уговаривать Джона не беспокоиться.* Я добавляю этот референт в мой образ, на основе которого выбирается такая модель, где антецедентом местоимения *это* будет референт, а не релят. Тот факт, что был упомянут

ветер, может быть добавлен слово в слово к моему образу-в-памяти самого отрывка.

Гораздо интереснее, однако, другое — а именно, откуда я знаю, 1) что уговаривать Джона, что все будет в порядке, — то же самое, что уговаривать Джона не беспокоиться; 2) что Джон продолжал беспокоиться. На первый взгляд предложение *Уговаривать Джона не беспокоиться — все равно что уговаривать ветер не дуть* перебивает буквальное повествование (это предложение можно назвать уподоблением, употребленным в функции сентенциальной метафоры; см. ниже правило М 3). Тем самым читатель получает предупреждение, что для интеграции этого предложения в повествование требуется специальная обработка. В данном случае дополнительная обработка сравнительно проста: проблема (1) решается при помощи общего знания, что люди беспокоятся, когда считают, что не все в порядке; (2) решается переносом свойств от релята к референту. Перед тем как референт прибавляется к образу, на него переносятся свойства релята. Каково наиболее очевидно переносимое свойство релята «уговаривать ветер не дуть?» Тщетность. Когда тщетность переносится на референт, то имплицируется провал обращенного к Джону призыва — он продолжает беспокоиться (заметим, кстати, что тщетность обращения к ветру мы получаем из общих знаний о мире, а не из лексических знаний).

Мое описание уподобления, однако, еще не полно. Сравнение Джона с ветром достигает большего, чем простое сообщение о том, что он продолжал беспокоиться в данном конкретном случае. Оно приписывает Джону определенную черту характера — а именно хроническую обеспокоенность. Если бы ветер перестал дуть, он не был бы ветром; если бы Джон перестал беспокоиться, он не был бы Джоном. И это свойство также может быть получено переносом — здесь уже от аргумента релята к аргументу референта.

Сказать, что механизм такого рода переноса понят недостаточно, будет явным преуменьшением. В моем описании подразумевалось, что все концептуальные свойства, необходимые для характеристики референта, сохранялись буквально, а некоторые свойства релята добавлялись к ним — как если бы на старого друга надели новое платье. Этот способ описания слишком упрощен даже для нашего примера, а другие примеры, судя по всему, устроены иначе. Блэк [4] говорит о взаимодействии двух термов как о процессе «фильтрации» — релят задает фильтр, сквозь который рассматривается референт. Здесь скорее некоторые буквальные свойства референта вычитаются, чем новые свойства добавляются к нему. Пример такого вычитания дает предложение *Честная работа — как молитва;* похоже на то, что здесь отфильтровываются все свойства честной работы, не связанные с молитвой, а остается лишь набор типа *почтительность, ревностность, преданность.* Сложность процесса переноса — это цент-

ральная проблема психологических исследований в этой области; ее важность еще возрастает, когда мы обращаемся к анализу метафоры [20].

Несомненно, сила воздействия уподоблений коренится в восприимчивости автора к сходствам, не замеченным никем до него; он способен связать две области знаний или опыта новыми, неожиданными способами. В таком случае поиск оснований сравнения может оказаться нетривиальной проблемой. Когда Элиот, к примеру, пишет: "The evening is spread out against the sky like a patient etherized upon a table (*букв.:* 'Вечер распростерт по небу как пациент под наркозом на столе')", он бросает нам вызов найти сходство, исходя из нашего личного опыта относительно вечеров и пациентов под наркозом — что может повлиять на наше восприятие вечернего неба в дальнейшем. Уподобления менее интересны, чем метафоры, только в том, что члены подобия эксплицированы, и поэтому работы для читателя здесь меньше. Что же касается интерпретации, важно понимать, что уподобления могут ставить все те же апперцептивные проблемы, что и метафоры.

Имея в виду приведенные примеры уподоблений, я бы хотел сформулировать несколько обобщений. Эта задача станет гораздо легче, если я здесь прервусь и введу свои обозначения для концептов, входящих в утверждение сравнения и метафору.

Некоторые концептуальные обобщения. Для наших целей вполне достаточно простой системы обозначений концептуальных функций и аргументов [18], [17]. Например, в предложение *Пациент спал* входит непереходный глагол; выражаемый этим предложением сентенциальный концепт может быть представлен как функция с одним аргументом: СПАТЬ (пациенс), где прописные буквы маркируют ф у н к ц и ю, а строчные — ее а р г у м е н т. В полностью построенной семантической теории необходимо было бы указать, как эта функция вычисляется. Я считаю, что СПАТЬ — это функция, отображающая одушевленные аргументы в истинностные значения, но, поскольку в рассматриваемой ситуации читатель вынужден считать, что истинностное значение всех такого рода функций есть «истина», то, несмотря на ее важность, об этой проблематике я ничего говорить здесь не буду.

Общий вид таких сентенциальных концептов можно представить как F (x). Обычно говорится, что функции с одним аргументом выражают свойства этого аргумента; в данном случае пациенсу приписывается или предицируется свойство «СПАТЬ». В предложение *Он пишет стихи* входит переходный глагол; оно выражает сентенциальный концепт с двумя аргументами: ПИСАТЬ (он, стихи), а общий вид этих концептов — F (x, y). Обычно говорят, что функции от двух и более аргументов выражают отношения между этими аргументами — в данном случае *он* и *стихи* связаны отношением «писать».

Эти обозначения для концептов весьма прозрачны; но в дальнейшем нам понадобятся два усложнения. Во-первых, можно (применив формальную операцию, известную под именем абстракции; см. примечание 6) рассматривать отношения как свойства. К примеру, иногда удобно представлять концепты, выраженные предложениями типа *Он пишет стихи*, как ПИШЕТ СТИХИ (он), где сочинение стихов есть свойство, приписываемое «ему».

Во-вторых, аргументы иногда могут опускаться. Например, глагол *есть* может употребляться как переходный и как непереходный. По причинам, не имеющим никакого отношения к метафоре, удобно считать, что ментальный лексикон содержит единственный вход для глагола *есть* в качестве переходного; на концептуальном уровне *есть* выражает отношение между едоком и тем, что он ест. Но в этой словарной статье также записано, что второй аргумент может быть не определен. Один из способов достичь этого — использовать квантор существования «$\exists$», чтобы связать аргумент, не приписывая ему значения [6]. Так, *Джон ест* — выражение для сентенциального концепта ($\exists y$) ЕСТ (Джон, y), что можно перифразировать как *Джон что-то ест*. Таким способом можно объяснить тот факт, что разумно спросить: *Что ест Джон?*, но нельзя спросить: *Что спит пациенс?* Мне, однако, существенно здесь подчеркнуть, что опущение аргументов в концептуальной репрезентации требуется для достижения целей, отличных от тех, которые будут у нас ниже, когда утверждения сравнения будут соотноситься с метафорами именно через опущение аргументов.

Если все свойства сентенциального концепта $G(y)$ являются также свойствами сентенциального концепта $F(x)$, то $F(x)$ влечет $G(y)$; если $G(y)$ также влечет $F(x)$, то эти два концепта идентичны. Для представления отношения подобия между концептами я буду использовать SIM:

S 1. SIM $[F(x), G(y)]$

будет записью для общего вида утверждений сравнения; она будет использоваться для обозначения ситуаций, когда два концепта имеют общие свойства, но ни один из них не влечет другой. Как уже отмечалось, SIM может выражаться различными связками подобия. Я всегда буду использовать $F(x)$ или $F(x, x')$ для обозначения референта уподобления, и $G(y)$ или $G(y, y')$ для обозначения релята. Хотя S 1 приведено для сравнения свойств x и y, я буду считать эту запись относящейся также и к сравнениям относительных концептов. Свойства, которые могут разделять два концепта, следует понимать широко: они не ограничиваются семантическими маркерами, условиями истинности, или логическими следствиями того типа, что получаются при семантическом разложении конкретных слов, использованных для выражения уподобления. Общие свойства составляют основание

выраженного подобия, и их обнаружение — первый шаг в интерпретации сравнения.

В этой нотации предложение *Мозг работает так же, как машина вычисляет* будет рассматриваться как выражающее следующий концепт:

(14) SIM [РАБОТАЕТ (мозг), ВЫЧИСЛЯЕТ (машина)], где *так же, как* выражает SIM, которое связывает два сентенциальных концепта — *мозг работает* и *машина вычисляет;* эти концепты имеют несколько общих свойств, но не все свойства у них общие.

В утверждении сравнения части S 1 могут опускаться (при обязательном сохранении SIM): к примеру, предложения *Мозг похож на машину* выражает следующий сентенциальный концепт:

(15) SIM (мозг, машина),

где SIM соотносит два именных, а не сентенциальных, концепта. Я утверждаю, однако, что пропавшие функции понимаются концептуально, и поэтому предложение *Мозг похож на машину* можно рассматривать как выражение следующего исходного концепта:

(16) ($\exists$F) ($\exists$G) {SIM [F (мозг), G (машина)]}

Концепт (16) можно перифразировать следующим образом: *Некоторые свойства мозга похожи на некоторые свойства машин* — так же точно как *Джон ест* перифразируется в *Джон ест нечто.* Это утверждение можно кратко сформулировать в виде следующего правила для преобразования сравнения именных концептов в сравнения сентенциальных концептов:

S 2. SIM $(x, y) \rightarrow (\exists F)\ (\exists G)$ {SIM [F (x), G(y)]}

Заметим, что функции F и G, отсутствующие в левой части правила S 2, введены в правой части как переменные, связанные кванторами общности. S 2 — правило реконструкции для утверждений сходства, но оно иллюстрирует тот тип правила, который будет предложен ниже для реконструкции сравнений, лежащих в основе метафор.

И S 1, и S 2 рассматриваются как психологические, а не лингвистические структуры. В особенности, когда F и G имплицитны, читатель не связан никаким конкретным языковым выражением, которое должно было бы заполнить эти места; наоборот, он волен исследовать область концептуальных возможностей. К примеру, в символическом уподоблении *Моя любовь похожа на розу*, правило S 2 навязывает нам только парафразу *Некоторые свойства моей любви похожи на некоторые свойства розы*, но далее читатель волен рассматривать такие альтернативы для свойств, как «прекрасна», «покрыта шипами» или (по-видимому, ближе всего к тому, что автор имел в виду) «воздействует на меня»[6]. Перефразировать *Моя любовь воздействует на меня так, как роза воздействует на меня* — значит выйти далеко за рамки тех типов восстановимых опущений, которые допускаются синтаксическими теориями.

Аналогии. При самом широком определении аналогии, аналогией можно назвать любое выражение сходства или подобия; в этом общем смысле мы говорим, что уподобление выражает аналогии. В более узком смысле этого слова аналогия устанавливается между четырьмя членами: $x : x' :: y : y'$. Это понимание слова знакомо психологам по тестам на вербальную аналогию, в которых от испытуемого требуется сказать, является ли аналогия истинной или ложной, или найти подходящее значение для четвертого члена. Рассмотрим отношение аналогий в узком смысле к концептуальной форме утверждений сравнения, заданной в S 1.

Возьмем простой пример: *Ступня для ноги — как кисть для руки**. SIM выражен словом *как*, и на этом основании предложение распознается как утверждение сравнения. Однако аргументы, сцепленные через SIM, не являются ни сентенциальными, ни именными концептами; это идиомы, характерные только для аналогии. Представим их в общем виде как «$x : x'$». Тогда можно сказать, что приведенный пример выражает концепт SIM [(ступня: нога), (кисть: рука)], где по сравнению с S 1 нет функций F и G. Пропущенная функция символизируется знаком «:»; она одна и та же для обоих аргументов, так что мы можем положить F=G. Тогда, чтобы реконструировать утверждение сравнения, нам нужен вариант правила S 2:

S 3. SIM $[(x : x'), (y : y')] \rightarrow (\exists F)$ {SIM [F (x, x'), F (y, y')]}

Применяя S 3 к обсуждаемому примеру, можно получить следующую его парафразу: *Существует некоторое отношение между ступней и ногой, такое, что оно похоже на отношение между кистью и рукой.* F остается на выбор читателя: это может быть, к примеру, *является частью* или *находится на конце* (или и то и другое). Тогда парафраза будет иметь вид либо *ступня — часть ноги, как кисть — часть руки*, либо *ступня находится на конце ноги как кисть находится на конце руки*. Заметим, что в обоих аргументах уподобления должна стоять одна и та же функция: *ступня — часть ноги, как кисть находится на конце руки* — бессмыслица.

Рассуждение по аналогии обычно происходит следующим образом. Замечается, что SIM [F (x, x'), F (y, y')]; в предположении, что H (y, y') уже известно, делается вывод, что H (x, x'). В только что рассмотренном примере ребенок может заметить, что ступня — часть ноги, примерно так же, как кисть — часть руки; если он уже знает, что кисть заканчивается пятью пальцами, ребенок может по аналогии заключить, что ступня также заканчивается пятью пальцами. В менее тривиальных примерах аналогия может привести к предварительной гипотезе, нуждающейся в эмпирической проверке.

Продуктивность рассуждений по аналогии не ограничивается

* В оригинале “Toe is to foot as finger is to hand”. — *Прим. перев.*

четырехчленными пропорциями; рассмотрим несколько более литературный пример: *Его мысль течет как река, ясна и глубока.* Здесь базовое уподобление, говорящее, что его мысль последовательна, как течение реки, усложняется: его мысль мудра, как река глубока; его мысль прозрачна, как река ясна. Одни и те же аргументы — «его мысль» и «река» — сравниваются по нескольким основаниям.

Такие параллели заставляют искать более глубокие взаимосвязи между аналогией и уподоблением. Мы можем принять предложение Дж. Д. Сепира [29] рассматривать аналогию как мыслительный процесс, а уподобление — как его продукт. Имея аналогию между четырьмя членами $x : x' :: y : y'$, мы можем сформулировать восемь верных аналогий:

(17) $x : x' :: y : y'$ $x : y :: x' : y'$ $x' : x :: y' : y$
$y : x :: y' : x'$ $y : y' :: x : x'$ $x' : y' :: x : y$
$y' : y :: x' : x$ $y' : x' :: y : x$

Тем самым аналогия допускает комбинаторную игру, которая вполне может быть составной частью мыслительного процесса автора, выбирающего способ выражения для какой-нибудь аналогии в данном конкретном контексте. Более того: когда x' и y' — родовые термы соответственно для x и y, аналогия может принять вид x : F :: y : G. К примеру, предложения *Вашингтон был американцем* и *Наполеон был французом* можно представить так: АМЕРИКАНЕЦ (вашингтон), ФРАНЦУЗ (наполеон); малоинтересное сравнение *Вашингтон был американцем, как Наполеон французом* выражает концепт SIM [АМЕРИКАНЕЦ (вашингтон), ФРАНЦУЗ (наполеон)]. Но если мы поиграем в комбинаторику над лежащей в его основе аналогией, мы придем к F : G :: x : y или «Американцы находятся к французам в таком же отношении, как Вашингтон к Наполеону», а уже эта идея вполне могла бы быть выражена каким-нибудь автором — американским шовинистом.

МЕТАФОРЫ

По-видимому, метафору проще всего можно охарактеризовать как утверждение сравнения, в котором что-то опущено. Именно таков традиционный взгляд на метафору, что и отмечено в словаре Уэбстера (Webster's New International Dictionary, 2-е изд.), где сказано: «Метафору можно рассматривать как сжатое уподобление: в ней подразумевается то сравнение, которое эксплицировано в уподоблении. Выявление этого сравнения — первая загадка, которую должен разгадать читатель».

Это описание представляет собой вариант той точки зрения на метафору, которую обычно называют сравнительной; Блэк [5, p. 37] возражал против нее на том основании, что «она страдает неясностью, граничащей с пустотой». Блэк не одинок в своей

критике традиционной догмы, но если порок этой точки зрения — неясность, не стоит ее отвергать, не попытавшись сначала прояснить. Я постараюсь показать, что сравнительную теорию метафоры можно сделать значительно менее неясной и что в результате такого прояснения процесс взаимодействия, который Блэк считает самой трудной частью проблемы, станет также значительно понятнее.

Отношение к утверждениям сравнения. Вообще говоря, понимание метафоры осуществляется в три шага — распознавание, реконструкция и интерпретация, — хотя в простейших случаях они делаются настолько быстро, что сливаются в один ментальный акт. Я займусь сейчас распознаванием и реконструкцией, отложив интерпретацию на потом.

Я утверждал, что метафоры ставят апперцептивную проблему, так как текстовой концепт читателя расходится со знаниями о реальном мире. Тем самым естественно считать, что распознавание этого несоответствия и есть распознавание того факта, что мы встретили метафору. Согласно этой точке зрения, читатель распознает, что некоторое утверждение является ложным или не имеющим отношения к предшествовавшему контексту, рассматривает это утверждение и решает пустить в ход мыслительную подпрограмму интерпретации метафор.

Это описание, быть может, правильное, но не единственно возможное. Одна из альтернатив состоит в том, что читатель обрабатывает метафоры точно так же, как и буквальные выражения. Он не обращает особого внимания на ложность или нерелевантность метафоры, поскольку в силу стоящей перед ним задачи, обязан все, что он читает, принимать за истину в строящейся им копии концепта автора, а также исходить из презумпции связности текста. Читателя не пугает, что описываются выдуманные поступки несуществующих людей; может быть, он также готов принимать метафоры как истинные в текстовом концепте. Так же, как читатель понимает прочитанное, соотнося его со своими знаниями о реальном мире, он пытается понять и метафору, соотнося ее с тем, что могло бы быть истинно в реальном мире.

Согласно этой альтернативной точке зрения, метафоры распознаются post hoc, то есть после повторного рассмотрения вызванных ею ментальных процессов. Если в тексте сказано: *этот человек — головная боль*, может быть, это воспринимается так же, как и утверждение *этот человек — юрист*, а именно: *этот человек* включается в класс объектов, называемых *головная боль*.

Однако, чтобы понять такое включение, читатель должен соотнести его со своими знаниями о реальном мире, где *люди* и *боли* называют дизъюнктивные категории. Это легче всего сделать путем поиска сходств. Если в реальном мире человек, о котором идет речь, действует на других так же, как действует головная

боль, то утверждение автора, что *этот человек — головная боль* можно понять в терминах соответствующего утверждения сравнения. При этом читатель не должен забывать, что автор сказал не *этот человек действует на меня как головная боль*, а *этот человек — головная боль;* читатель должен попытаться представить себе то ментальное состояние, в котором данное приписывание будет истинным.

Если автор говорит: *этот человек — юрист*, то этот человек приписывается к классу, обозначенному словом *юрист*, и это приписывание также понимается исходя из знаний читателя о реальном мире. Разница в том, что в этом случае понимание не приводит к дизъюнктивным категориям, примирить которые можно через сходство. Осознание того, что механизм понимания метафоры отличается от механизма понимания буквального выражения, дает основания для распознавания метафоры, а также для обнаружения того факта, что вне данного текстового концепта она не могла бы быть истинной в буквальном смысле.

Итак, поскольку может оказаться, что распознавание метафоры психологически предшествует поиску сходств с общими знаниями, я перейду сейчас к шагу реконструкции, а затем вернусь к распознаванию (с. 254); я постараюсь показать, что оно сложнее, чем утверждение сходства.

Реконструкция подразумеваемого сравнения — решающий этап в понимании метафоры [14]. Реконструкция — это психологический процесс, эквивалентный формированию концепта структуры S 1. Утверждение сравнения не может рассматриваться как значение метафоры, поскольку оно имеет другие условия истинности; но оно задает возможную ситуацию в реальном мире, которая оправдывает использование метафоры.

В метафоре не выражено отношение сходства SIM. К примеру, сравнение вида «*x* похож на *y*» можно превратить в метафору, просто заменив *похож на* на — *это*. Так, даже простейшее буквальное сравнение *Его жена похожа на его мать* можно преобразовать в гораздо более сильное утверждение: *Его жена — это его мать*. В этом случае для понимания метафоры требуется восстановить *похож на*, и на основе полученного сравнения предложение понимается как метафора. Вероятно, реконструкция здесь идет параллельно с обработкой буквального смысла предложения *Его жена — это его мать*, поскольку это предложение должно рассматриваться как истинное в текстовом концепте; затем, однако, контекст и общие соображения правдоподобия должны обеспечить выбор той интерпретации, которая бы дала автору основания для произнесения данного предложения в данном конкретном случае.

Напротив, когда членами сравнения являются предикативные единицы — составляющие или предложения, — то опущение выражения подобия не всегда возможно. Так, предложение *Толпа хлынула в двери подобно реке, прорвавшей плотину* не допускает

простого опущения *подобно**. Здесь можно получить метафору, построив номинализацию исходного предложения: *Толпа, хлынувшая в двери, — это была река, прорвавшая плотину.* Но и номинализации часто недостаточно: предложение *Богатые должны наслаждаться бездельем, подобно тому как бедные должны исполнять свои обязанности* отличается от предложения *Богатые, наслаждающиеся досугом, — это то же, что бедные, исполняющие свои обязанности.* Здесь для элиминации предиката сходства требуются более решительные меры; Торстейн Веблен предложил следующее решение: *Богатые должны исполнять безделье.* Могут найтись сравнения, вообще не переводимые в метафоры; но для моего рассуждения это не столь уж и важно, поскольку моя цель — соотнести все метафоры с утверждениями сравнения, а не перевести все сравнения в метафоры.

Классификация метафор. Я начну с самых простых случаев; рассмотрим предложение *Человек похож на волка.* Заменив *похож на* на — *это*, получим метафору Плавта: *Человек — это волк.* Эта схема имеет место в тех случаях, когда метафорически употреблен именной концепт. На концептуальном уровне SIM [F (человек), G (волк)] превращается в БЫТЬ (человек, волк), или в ВОЛК (человек)[9]. (Английский язык для выражения концептов типа ВОЛК (человек) обычно требует связки is, но бывает и иначе. Иногда концепт *y* (*x*) может быть выражен просто в виде «*yx*»; *покрывало краски, семья человечества, сейф памяти, река времени, корабль государства, поток сознания, древо жизни* — это все метафоры, которые можно понять в терминах утверждений сравнения вида «*x* похож на *y*».)

Утверждение *Человек — это волк* — явное нарушение категориальных границ (люди — не волки), но что делать с ним читателям, которые вынуждены все предложения считать истинными в выбираемой модели? Они могут понять основания автора для употребления этого предложения, реконструировав концептуальную основу сравнения *Человек похож на волка;* далее они могут заняться интерпретацией этого утверждения сравнения. Заметим, что, как и в случае утверждений сравнения, в образе появляется именно референт, человек; в список ролей для текстового концепта читателя волк не войдет. Заметим также, что приписывание человека к категории волков наделяет его волкоподобными свойствами, почерпнутыми либо из общих знаний (фактических или символических) о волках, либо из лексических знаний о слове *волк.* Заметим, наконец, еще и то, что внимательный читатель запомнит, что автор сказал именно: *Человек — это волк;* причем это предложение не может быть синонимично пред-

---

* В английском тексте здесь везде употребляется выражение “is like”, не имеющее единого эквивалента в русском языке. — *Прим. перев.*

ложению *Человек похож на волка,* так как у них разные условия истинности!

Коль скоро загадка метафоры разрешима, опущенные концептуальные элементы сравнения нельзя выбирать произвольно. То, на что направлена метафора, можно вывести, если сохранился аргумент x референта S 1; коль скоро должно быть восстановлено подразумеваемое сравнение, что-то должно остаться и от релята. В некоторых метафорах опущены SIM, F и G, но остается аргумент x референта, а релят представлен своим аргументом y. Требования также удовлетворяются в том случае, когда релят представлен не своим аргументом y, а функцией G. Такова структура в том случае, когда метафорически употреблен предикативный концепт: SIM, F и y опущены, но аргументу x предицируется функция G.

Рассмотрим пример: *Вырывайте с корнем свои недостатки один за другим.* Эта метафора может иметь в основе концепт, выраженный следующим утверждением сравнения: *Избавляйтесь от своих недостатков так, как вы бы вырывали сорняки, один за другим.* Концептуально метафора записывается как ВЫРЫВАТЬ (недостатки); будучи реконструирована в виде сравнения, она превращается в следующую запись: SIM [ИЗБАВЛЯТЬСЯ ОТ (недостатки), ВЫРЫВАТЬ (сорняки)]. Как указывает Эмпсон [9, р. 339], та же самая идея может привести к другой метафоре: *Избавляйте вашу душу от сорняков;* в этом случае формула для метафоры будет выглядеть как ИЗБАВЛЯТЬ ОТ СОРНЯКОВ (душу), а соответствующее сравнение — как SIM [ИЗБАВЛЯТЬ ОТ НЕДОСТАТКОВ (душу), ИЗБАВЛЯТЬ ОТ СОРНЯКОВ (сад)]. В обоих случаях метафора применяет функцию релята к аргументу референта соответствующего утверждения сравнения.

Итак, мы отметили две схемы опущения, каждую из которых можно сформулировать в виде общих правил.

Именные метафоры. Когда именной концепт y выражается именной группой в метафорическом употреблении, имеем:

М 1. БЫТЬ $(x, y) \rightarrow (\exists F)\ (\exists G)\ \{SIM\ [F(x),\ G(y)]\}$,

где БЫТЬ — одна из форм глагола «быть». Поскольку метафорически в М 1 употреблена именная группа, такие метафоры я буду называть именными.

Обычная метафорическая фигура имеет вид x — это y x'-а: *Это — ножка стола, лев — царь зверей, Британия была королевой волн, Георг Вашингтон был отцом своей страны, Андре Вейль — это Бобби Фишер математики,* и т. д. Такие пропорциональные метафоры проще всего понимать как неполные аналогии [29]: например, *лев : звери :: царь: y'*. Проиллюстрируем построение такого рода метафоры из уже рассматривавшейся аналогии: *ступня — это кисть ноги,* где опущен четвертый член. Заметим, однако, что той свободы перестановок, которую мы отметили в (17), здесь уже нет: взяв за основу производную анало-

гию *ступня : кисть :: нога : рука*, получим *Ступня — это нога кисти*, то есть бессмыслицу.

Покажем, что пример *Ступня — это кисть ноги* может быть построен как частный случай правила М 1. Пусть метафора — это *ступня — это кисть*, или БЫТЬ (ступня, кисть). Применяем М 1:

(18) БЫТЬ (ступня, кисть) → (∃F) (∃G) {SIM [F (ступня), G (кисть)]},

что можно перифразировать как «Некоторое свойство ступни похоже на некоторое свойство кисти». Обозначим отношение кисти к руке через H; тогда функцию G можно определить через абстракцию от H (y, рука):

(19) G = λy. H (y, рука).

Поскольку H — также и отношение ступни к ноге, его можно использовать для аналогичного определения F:

(20) F = λx. H (x, нога).

Тогда соотношение (18) и лежащей в его основе аналогии можно представить так:

(21) БЫТЬ (ступня, кисть) → (∃H) (∃x) (∃y) [SIM {[λx. H (x, нога)] (ступня), [λy. H (y, рука)] (кисть)}] = (∃H) SIM [H (ступня, нога), H (кисть, рука)]},

что есть аналогия *ступня : нога : : кисть : рука*, записанная в соответствии с правилом S 3.

Так как пропорциональные метафоры основаны на аналогических сравнениях, они дают особенно ясные примеры отношения между метафорой и мыслительными процессами, участвующими в аналогическом мышлении. Здесь, однако, следует отметить, что они подходят под правило М 1.

Предикатные метафоры. Когда предикатный концепт G выражается предикатной группой (глаголом, глагольной группой или предикативным прилагательным), употребленной метафорически, имеем:

М 2. G(x) — (∃F) (∃y) {SIM [F(x), G(y)]}

Поскольку метафорически в М 2 употреблена предикатная группа, такие метафоры я буду называть предикатными[10].

Правила М 1 и М 2, подобно S 1, охватывают и реляционные метафоры, а не только те, в которых обозначены свойства (т. е. которые имеют один аргумент). Например, подставив в М 2 вместо свойств отношения, мы сможем реконструировать основания, позволившие автору сказать: *Богатые исполняют безделье:*

(22) ИСПОЛНЯТЬ (богатые, безделье) — (∃F) (∃y, y') {SIM [F (богатые, безделье), ИСПОЛНЯТЬ (y, y')]}.

Первым шагом в интерпретации этого сравнения будет поиск значений опущенных членов. Как уже говорилось, *бедные* и *обязанности* могут играть роль y и y', а в качестве F может выступать *наслаждаться.* После этих подстановок правая часть (22) может получить следующую интерпретацию:

(23) ИСПОЛНЯТЬ (богатые, безделье) → SIM [НАСЛАЖДАТЬСЯ (богатые, безделье), ИСПОЛНЯТЬ (бедные, обязанности)].

Здесь присутствует игра слов (как часто бывает в метафорах — см. [24]) между *исполнением обязанностей* и *исполнением театрального представления;* это театральное понимание слова *исполнять* позволяет взять *актеры* и *их роли* в качестве значений *у* и *у'*. Читатель волен решать, какая из двух интерпретаций (если не обе) служит автору основанием для метафоры в данном конкретном контексте употребления.

Возможное возражение данному подходу состоит в том, что из него вроде бы вытекает следующее: F и G в M 1 или F и *у* в M 2 должны быть конкретными словами, уже имеющимися в английском (русском) лексиконе; кроме того, реконструкция не может быть верна, если мы не можем вывести те конкретные слова, которые имел в виду автор. Поскольку метафора часто используется для заполнения лакуны в лексиконе, требование поиска конкретных слов представляется в высшей степени сомнительным. Более того, автор мог иметь, а мог и не иметь в виду конкретные слова, поскольку он их не употребил, мы этого никогда не узнаем. В этом смысле не может существовать единственно верного утверждения сравнения.

Это сильный аргумент, который необходимо иметь в виду всегда, когда мы применяем приведенные правила реконструкции. Они заставляют нас отвечать только за утверждение, что какие-то свойства или аргументы позволяют завершить концептуальную структуру лежащего в основе сравнения: метафорическое утверждение можно переписать в форме концепта, выразимого утверждением сравнения, как в (18) или (22). Поиск подходящих значений для преобразования (18) в (21) или (22) в (23) — это, строго говоря, проблема интерпретации, а не реконструкции. Подходящими могут оказаться либо многие слова, либо никакие. Мое утверждение не в том, что автор имел в виду какие бы то ни было конкретные слова, а в том, что у него был общий концепт — сходство, сравнение, аналогия, — который мы пытаемся оценить и эксплицировать. Такие концепты имеют определенную структуру, и S 1 задает эту структуру в явном виде. Правила же M 1 и M 2 просто отмечают, какие именно концептуальные элементы отсутствуют в метафорическом выражении концепта. Итак, M 1 и M 2, подобно S 1, следует рассматривать не как лингвистические, а как психологические правила.

Другое возможное возражение состоит в том, что эти правила слишком просты и механистичны для адекватного отражения всей сложности мыслительных процессов, участвующих в понимании метафоры. Но когда метафора действительно сложна, большая часть этой сложности относится к процессу интерпретации. Если учитывать скорость, с какой неглупый читатель способен схватывать простые метафоры, реконструкция должна быть

как можно более простой и механической. Естественно, сложные метафоры требуют гораздо большего времени для изучения альтернативных интерпретаций, которые могут потребовать и альтернативную реконструкцию, причем ответ даже у эксперта-филолога все равно будет нестрогий. Но затруднения в этих случаях вызывает именно интерпретация, а не реконструкция.

Сентенциальные метафоры. Еще одно возражение могло бы заключаться в том, что М 1 и М 2 не применимы к таким случаям, когда вообще-то не вызывающее возражений предложение употреблено в несоответствующем контексте — например, когда предложение *У Джона хорошая крыша* появляется в тексте, никакого отношения к крышам не имеющем. Такого рода примеры также можно охватить нашим описанием или ввести третье общее правило:

М 3. $G(y) \rightarrow (F)\ (x)\ \{SIM\ [F(x),\ G(y)]\}$.

В случаях такого типа, которые я буду называть «сентенциальными метафорами», в метафоре вообще ничего не сохраняется от референта; сентенциальный концепт $F(x)$ целиком должен выводиться из текста или контекста. Здесь особенно существенным может оказаться понятие «импликатуры» Грайса [11].

Итак, мы разделили метафоры на три типа, в зависимости от того, какие компоненты соответствующего сравнения опускаются:

Именные метафоры: БЫТЬ $(x,\ y)$, где x не есть y.

Предикатные метафоры: $G\ (x)$, где x не G.

Сентенциальные метафоры: $G\ (y)$, где y не является референтом дискурса.

Если принять, что S 1 — правильное концептуальное представление исходного сравнения, можно утверждать, что эта классификация полна.

Из пяти членов S 1 — SIM, F, x, G, y — два, а именно SIM и F, в метафоре всегда опущены. Опущение SIM необходимо, так как выражающие его слова однозначно маркируют уподобление; опущение F необходимо, так как целью метафоры и является создание замены буквальному F. Итак, у нас остается три терма — x, G и y, два из которых всегда сохраняются: если бы оставался только один из них, не могло бы возникнуть несоответствие, маркирующее метафорическое выражение. Когда опущено G, а x и y остаются, мы имеем именную метафору; когда опущен y, а остаются G и x, получается предикатная метафора; наконец, когда опускается x при сохранении G и y, это сентенциальная метафора. Поскольку существуют ровно три (неупорядоченные) пары, составленные из элементов трехэлементного множества, правила М 1, М 2 и М 3 вкупе исчерпывают все возможности, и получающуюся классификацию можно считать полной.

Контрольные примеры. Не составляет большого труда показать, что множество разнообразных метафор имеет концептуальную структуру, задаваемую приведенными правилами. Однако никакое число подобных примеров, как бы велико оно ни было, не докажет полноту системы правил; для этого надо искать потенциальные исключения из правил.

Один тип исключений будет проблемой для любой теории, предполагающей, что метафоры всегда являются выражениями сходства или аналогии. Выражение *головокружительный склон*, к примеру, вряд ли основано на уподоблении вида *опасный склон похож на ощущение головокружения*, как получается по правилу М 1. Можно утверждать, что здесь отношение — не подобия, а каузальности:

(24) ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЙ (СКЛОН) → CAUSE [ОПАСНЫЙ (СПУСК), ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ (ОЩУЩЕНИЕ)]

Тем самым сохраняется в неприкосновенности структура правила М 2, хотя в исходном выражении связочным отношением будет CAUSE скорее, чем SIM[11].

Более интересную интерпретацию выражения *головокружительный склон* предлагает Ричардс [26, р. 108]; в его интерпретации собственное головокружение наблюдателя проецируется на вызвавший его склон. Это описание примерно эквивалентно следующему: *Я стоял на головокружительном склоне* следует понимать как 'Я стоял на склоне, испытывая головокружение' плюс проекция. Описание Ричардса имеет то преимущество, что оно подходит и для других примеров, типа *Он выпил грустную чашку кофе*, где CAUSE столь же неуместно, как и SIM, но где разумной будет интерпретация 'Он грустно выпил чашку кофе' плюс проекция. Такое проективное преобразование наречий в смещенные прилагательные порождает троп, представляющий во многом те же апперцептивные проблемы, что и метафора, но неразрешимый путем реконструкции исходного уподобления. Если склон или чашка кофе встраивается как часть в объемлющую ситуацию, то этот троп, возможно, должен описываться как частный случай синекдохи или метонимии.

Другой тип выражений, похожих на метафоры, но скорее всего не выражающих сходство или аналогию, встречается там, где аргументы отношения меняются местами: это примеры типа *Джон утомляет поэзию* или *Гольф играет в Джона*. Если применить к ним правило М 2 в лоб, результирующие уподобления не соответствуют естественной интерпретации. Большинство опрошенных говорили, что эти фигуры речи (если они вообще что-то значат) означают, что нечто относительно Джона (его тупость, его порабощенность) выражается обращением стандартных ролей агенс — пациенс: *Джон не способен оценить поэзию* или *Джон одержим игрой в гольф*. Однако сформулированные мной правила не содержат средств для перестановки аргументов функции, так

что если эти выражения действительно представляют собой метафоры, они являются контрпримерами к настоящему описанию. Я сам склонен относить их к персонификации и иронии.

Еще одна трудность может состоять в том, что не всегда ясно, является ли метафора именной или предикатной, и тем самым читатель может испытывать сомнение, по какому правилу — M 1 или M 2 — ее следует реконструировать. Так, выражение a watchdog committee («комитет сторожевых псов» — комиссия по наблюдению — за выборами, за расходованием средств, т.е. ревизионная комиссия, и т. д.) на первый взгляд кажется предикатной метафорой, и M 2 приводит к не невозможной парафразе «некоторое свойство комиссии похоже на сторожевую собаку чего-либо». Однако здесь watchdog — существительное, вынужденное выступать в роли прилагательного; если мы посмотрим на него как на имя в именной метафоре, M 1 приведет к парафразе «некоторое свойство комиссии похоже на некоторое свойство сторожевой собаки», которая, очевидно, еще лучше. Выбор здесь, однако, далеко не всегда тривиален. Рассмотрим следующую пару метафор:

(25) а. John is married to his work
букв. 'Джон женат на своей работе'.
б. John is married to a gem
букв. 'Джон женат на сокровище'.

Я стараюсь здесь найти пример типа (25б), когда формула должна быть применима к аргументу, встроенному в описание (25а), то есть к именной группе внутри предикатной группы. Рассмотрим сначала (25а). Применив правило M 2, получаем:

(26) ЖЕНАТ (джон, его работа) →
SIM [ОТНОСИТСЯ (джон, работа),
ЖЕНАТ (человек, его жена)].

Эта реконструкция основана на предположении, что лежащее в основе (25а) сравнение имеет вид: «Джон относится к своей работе, как человек (обычно) относится к своей жене». Однако, если применить такой разбор к (25б), получим:

(27) ЖЕНАТ (джон, сокровище) →
SIM [ОТНОСИТСЯ (джон, сокровище),
ЖЕНАТ (человек, его жена)].

Здесь реконструируется сравнение «Джон относится к сокровищу, как человек (обычно) относится к своей жене». Поскольку в нормальной ситуации (25б) будет понято иначе, на первый взгляд мы нашли контрпример.

Тем самым, в защиту моего описания я должен привести аргументы, свидетельствующие о том, что (25б) не является контрпримером. Первым шагом будет доказательство того, что для человека, незнакомого с избитой метафорой *сокровище*, сравнение (27) может быть вполне допустимой парафразой. На самом деле (25б), увиденное в неожиданном свете, кажется гораздо интереснее. Короче, (27) — это возможная, хотя и нестандартная

реконструкция для (25б). На втором шагу необходимо обосновать альтернативный способ получения более стандартного результата, то есть именную, а не предикатную метафору. Здесь удобно будет перефразировать (25б) так, чтобы стандартная интерпретация стала неизбежной:

(28) [человек, на котором] Джон женат, [есть] сокровище.
Такое расширение подчеркивает стандартный смысл предложения (25б) и к тому же дает именную метафору, которую можно реконструировать в соответствии с М 1:

(29) БЫТЬ (человек, на котором джон женат; сокровище) → SIM [F (человек, на котором джон женат), G (сокровище)],

что значит, что некоторое свойство F человека, на котором Джон женат, похоже на некоторое свойство G сокровищ. Наконец, последний шаг защиты должен показать, что эта вторая реконструкция также возможна для (25а). Перефразируем на этот раз (25а):

(30) [человек, на котором] Джон женат, [есть] его работа

— что позволит нам реконструировать сравнение «человек, на котором женат Джон, похож на его работу». Не очень понятно, как следует интерпретировать это уподобление; я вижу здесь намек на то, что супруга Джона заставляет его работать как наемного рабочего.

Итак, мы видим, что и (25а), и (25б) допускают (по крайней мере) по две реконструкции, что вполне соответствует пресловутой изощренности метафорического анализа. Разница между двумя производными — это разница области действия метафоры; кажущийся контрпример возникает из-за того, что стандартная область действия одной метафоры отличается от стандартной области действия другой. Можно было бы предложить какое-нибудь дальнейшее правило, которое задавало бы правильную область действия, но это было бы неразумно. По-моему, гораздо лучше рассматривать (25) как демонстрацию возможности различных интерпретаций, а выбор более уместной интерпретации в каждом конкретном случае производить по контексту.

Еще одна проверка теории обеспечивается смешанными метафорами. В работе [22] процитирован Рональд Рейган: «Корабль государства плывет не в ту сторону по улице с односторонним движением». В основе этого выражения, по всей видимости, лежит сравнение:

(31) SIM [ПЛЫВЕТ (корабль государства), ЕХАТЬ НЕ В ТУ СТОРОНУ (кто-либо)].

Если следовать правилу М 2, результатом будет выражение *Корабль государства едет не в ту сторону по улице с односторонним движением*, которое едва ли лучше. Обе метафоры, взятые сами по себе, совершенно неприемлемы: *Страна едет не в ту сторону по улице с односторонним движением* или *Корабль государства плывет в неправильном направлении*. Как замечается

в работе [22], Рейган сказал в точности то, что он имел в виду. Руки педантов не должны касаться столь эффективной коммуникации. Тем самым я вынужден признать, что смешанные метафоры могут нарушать М 2 совершенно безнаказанно. Не могу однако и не добавить, что общая действенность правил только подтверждается тем, что мы видим, когда они нарушаются.

Не все составные метафоры алогичны; некоторые поэты мастерски используют возможности гнездования метафор. Вскрытие подобных конструкций требует такой алгебры метафоры, которая далеко выходит за рамки предложенных правил. Чтобы бегло показать скрытые здесь сложности, приведем один пример.

Рассмотрим следующие строки Драйдена:

A fiery soul, which, working out its way
Fretted the pygmy body to decay,
And o'er informed the tenement of clay.
[Пламенная душа, вырываясь на свободу,
Обратила бренное тело в ничто
И преобразила обитель праха.]

Устаревший смысл слова inform — это 'придавать форму' (смысл 'информировать', возможно, получается из необходимости придать мыслям форму, прежде чем выражать их); к этому близок смысл 'быть формирующим началом' или 'одушевлять'. Если взять только фрагмент A fiery soul ... informed the tenement of clay 'Пламенная душа... преобразила обитель праха', в его основе лежит что-то вроде следующего сравнения: *Его страстная душа была в таком же отношении к его телу, как пламя придает форму глине**. В концептуальной записи получим:

(32) SIM [ОТНОСИТСЯ (страстная душа, тело),
ПРИДАЕТ ФОРМУ (пламя, глина)].

Прямолинейное применение М 2 дает, однако, выражение *Страстная душа сформировала его тело*, которое в силу отмеченной близости *формировать* и *одушевлять* вообще не очень метафорично. Чтобы лучше выявить релят из (32), Драйден усложняет метафору. Во-первых, он использует еще одну метафору, сцепляющую *пламенная* и *душа*:

(33) ПЛАМЕННАЯ (душа) → SIM [СТРАСТНАЯ (душа),
ПЛАМЕННАЯ/ОГНЕННАЯ (печь)].

Далее, он использует еще две фигуры: «Тело — (похоже на) обитель души» и «тело — (похоже на) прах/глину», Когда второе выражение номинализуется (в соответствии с общим правилом, соотносящим, к примеру, конструкции *лодка — алюминевая* и *лодка из алюминия*) и подставляется в первое, то получается *Тело из глины похоже на обитель души*, а это и есть уподобление, соответствующее выражению *обитель праха:*

(34) ОБИТЕЛЬ (прах) → SIM [ТЕЛО ИЗ (прах/глина),

---

* Слово clay имеет также значение 'глина', подобно тому как русское *прах* значит также 'земля'. — *Прим. перев.*

ОБИТЕЛЬ (душа)].

(35) ПРИДАЕТ ФОРМУ (пламенная душа, обитель праха) → SIM [ОТНОСИТСЯ (пламенная душа, обитель праха), ПРИДАЕТ ФОРМУ (огонь, глина/прах)].

Полная парафраза в терминах всех реконструированных нами сравнений может выглядеть примерно так: «Как огонь придает форму глине/праху, так душа, страстная как огненная печь, относится к его телу, которое похоже на обитель души». Эта парафраза не только стилистически неуклюжа — она еще и менее понятна, чем метафоры Драйдена. В качестве интерпретации это просто издевательство.

Поскольку, скорее всего, *обитель праха* и *пламенная душа* были стандартными метафорами уже во времена Драйдена, мы можем предполагать, что он не более чем соположил их неожиданным и интересным образом. Концептуальное описание (35) — не блок-схема мыслительной деятельности автора; кроме того, оно не исчерпывает того, что мы хотим знать про подобные конструкции. Оно приведено просто для иллюстрации тех замысловатых концептуальных структур, которые могут скрываться в одной строчке средней метафорической сложности. Позволю себе высказать голословное предположение, что хотя мы и не располагаем алгеброй вложенных метафор, мы можем просматривать их одну за другой — соположение не дискредитирует сами правила реконструкции.

Еще один контрольный пример — адвербиальные метафоры. Приведенные правила — в том виде, как они были написаны, — применимы только в случае именных, глагольных или адъективных групп. Что же делать с выражениями типа *Быстро — это нерасчетливо* или *Он кричал молча*?

В концептуальном представлении предикативное наречие — это оператор, отображающий функцию в функцию. *Он бежал* выражает концепт БЕЖАТЬ (он); концепт, выражаемый предложением *Он бежал быстро* может быть представлен как [БЫСТРО (БЕЖАТЬ)] (он), где [БЫСТРО (БЕЖАТЬ)] — новая функция. Используя эту нотацию, выражения типа *Он кричал молча* можно рассматривать как особый случай М 2:

(36) [МОЛЧА (КРИЧАТЬ] (он) →
(∃F) (∃*y*) [SIM {[МОЛЧА (F)] (он), КРИЧАТЬ (*y*)]},

что следует перифразировать как «Он делал нечто молча, так же как если бы кто-нибудь кричал». Тем самым такие примеры подходят под настоящее описание.

С другой стороны, примеры типа *Быстро — это нерасчетливо* имеют следующую концептуальную структуру:

(37) (∃F) (∃*x*) [БЫТЬ {[БЫСТРО (F)] (*x*),
[НЕРАСЧЕТЛИВО (F)] (*x*)}],

что перифразируется как «Делать нечто быстро значит делать это нерасчетливо»; общая мысль здесь та, что для любого F(*x*) *быстро* можно заменить на *нерасчетливо*. Так же как для соче-

тания Haste makes waste 'Спешка ведет к потерям', тут неясно, выражается ли здесь вообще сходство или аналогия; отношение, присутствующее здесь, — это скорее каузация или идентичность. Если рассматривать эти примеры как метафоры, они являются контрпримерами нашей теории. В них, как и в метафорах, присутствует эллипсис; но, в отличие от метафор, в них нет сравнения.

Не следует преувеличивать достоинства правил реконструкции. Возможно, случаи, не содержащие подобия, следует считать исключениями, так же как и случаи, не содержащие метафорических употреблений именной группы, предикатной группы или предложения (в выражении Дилана Томаса *одну печаль назад* слово *назад* не является предикатом).

Большинство метафор, обсуждавшихся в обширной литературе на эту тему, можно почти механически реконструировать как сравнения; несомненно, однако, что дотошный критик всегда сумеет найти контрпример. [...]

Интерпретация. В предложениях типа *Джон ест*, где опущен один аргумент, читатель понимает, что Джон ест что-то. Чтобы понять, что утверждается, необязательно знать, что именно ест Джон. Так же точно и в предложениях типа *Джон — волк*, где опущены свойства двух аргументов, читатель понимает, что какие-то свойства волков необходимо приписать Джону. Чтобы понять, что утверждается, не обязательно знать, какое свойство волков следует приписать Джону. Так же точно, как предложение *Джон ест* не может привести к однозначному определению того, что́ Джон ест, и предложение *Джон — волк* не может привести к однозначному определению волчьих свойств Джона.

Тем самым интерпретация не есть поиск единственно верного основания для уподобления и метафоры. Тем не менее существует определенное множество правдоподобных интерпретаций. В случае *Джон ест* отсутствующий аргумент понимается как нечто съедобное: ленч, клубничный кекс или что-нибудь еще. Контекст задает ограничения на понимание, не определяя его однозначно. Сходным образом и в случае *Джон — волк* опущенные свойства понимаются как нечто, что можно приписать и человеку, и волку: это свойства, описывающие внешность, характер, поведение или что-нибудь еще. Ограничения для *Джон ест* конвенциональны, в отличие от метафоры *Джон — волк*. Тем самым в случае уподоблений и метафор оказывается необходимым обратиться к тексту и контексту в поиске оснований автора сказать то, что он сказал. Этот поиск и есть интерпретация. Интерпретация — это не поиск единственной парафразы имплицитного сходства а скорее поиск оснований для отбора правдоподобного множества альтернатив.

Иногда основания для утверждения сравнения относительно очевидны, но, когда они не столь ясны, роль интерпретации повышается. Примеры неочевидных сравнений дают оксюмороны —

фигуры типа *печальный оптимист* или *трудовое безделье* — где надо обнаружить основания для соположения антонимов.

Являются ли оксюмороны метафорами? Если да, то они бросают особенно серьезный вызов сравнительным теориям метафоры [3]. Поскольку оксюморон сочетает противоположности, кажется, что он выражает контраст, а не сравнение; можно доказывать, что с точки зрения сравнительной теории они должны описываться иначе, чем метафоры.

Обработаем выражение *жестокая доброта* правилом М 2, как если бы оно было предикативной метафорой:

(38) ЖЕСТОКАЯ (доброта) →

$(\exists F)$ $(\exists y)$ {SIM [F (доброта), ЖЕСТОКИЙ (y)]}.

В виде сравнения это звучит так: «некоторое свойство доброты похоже на нечто жестокое». Эта парафраза не кажется мне абсурдной, особенно если я рассматриваю ее как относящуюся к некоторому конкретному проявлению доброты, а не к доброте в общем. Более того, это сравнение может объяснить направление переноса: *жестокая доброта* значит не то же самое, что *добрая жестокость*; оксюморон достигает большего, чем простой контраст противоположных идей.

Однако остающаяся загадка заключается в том, чтобы найти обстоятельства, при которых доброта может быть жестокой, а эта загадка — та же для утверждения сравнения, что и для оксюморона. Была ли доброта столь подавляющей, что облагодетельствованный оказался в жестоком долгу? Проблема оксюморона не в том, что он не может быть переформулирован как сравнение, а в том, что реконструкция сравнения так мало помогает нам понять, что же именно имел в виду автор.

Хотя для оксюморонов необходимость интерпретации в дополнение к реконструкции особенно очевидна, интерпретация также необходима и для более обычных метафор. И тут, и там, располагая реконструированным сравнением, читатель должен попытаться оценить, в чем и почему, по ощущению автора, референт похож на релят и что именно сходство добавляет к более крупному концепту того текста, в котором оно было указано. Реконструкция, которая кажется приемлемой вне контекста, может оказаться совершенно неприемлемой в более широкой перспективе, и тогда может оказаться необходимым искать альтернативные реконструкции. Тем самым реконструкция и интерпретация — процессы взаимодействующие. Их разделение в теории — не жесткая дихотомия, а скорее разница в акценте.

Поиск подходящих классов референтов и релятов входит, строго говоря, в задачу интерпретации. Чтобы говорить более конкретно, предположим, что автор предложил нам предикатную метафору структуры $G(x)$, где x таков, что G в нормальной ситуации к нему не предицируется. Конечно, выражение $G(x)$ будет добавлено к образу, но понято оно будет (в соотношении с другими знаниями) через нахождение правдоподобных основа-

ний для произнесения такого выражения, то есть через реконструкцию концепта вида ($\exists$F) ($\exists y$) {SIM [F(x), G(y)]} и его интерпретацию. В этом случае степень свободы нашей интерпретации будет определяться возможностями выбора значений F и y. Два читателя, которые выберут разные значения для F и y, вне всякого сомнения, придут к разным интерпретациям метафоры, но даже и одинаковый выбор F и y может привести к разным интерпретациям. Выбор этих значений — лишь часть задачи интерпретации.

Рассмотрим сначала выбор y, поскольку он, видимо, менее существен. Чаще всего достаточно за y принять наиболее общий аргумент, к которому G обычно предицируется. Если, к примеру, метафорический концепт имеет вид СОВЕРШИТЬ (x), то мы ищем такой y, чтобы СОВЕРШИТЬ (y) было предсказуемо: бестактность, адюльтер, самоубийство, убийство или, более общо, преступление. Мы выберем более общий, родовой аргумент, так как автор говорит нам, что x принадлежит родовому классу вещей, к которым может предицироваться СОВЕРШИТЬ. Возьмем, к примеру, строки Одена:

Thou shalt not sit
With statisticians nor commit
A social science.
[*букв.:* Да не воссядешь
Со статистиками, да не совершишь
Общественную науку.]

Здесь концепт, выраженный метафорой, — это COMMIT (a social science) 'СОВЕРШИТЬ (общественную науку)'; тем самым общественные науки относятся к тому классу вещей, которые совершаются, а именно к преступлениям. Какое именно преступление (если вообще какое-либо) Оден имел в виду, мы в точности никогда не узнаем.

На вопрос, какие свойства переносить с y на x, я отвечу: «какие бы ни понадобились для того, чтобы x был помещен в класс вещей, к которым обычно предицируется G». К каким последствиям это может привести для концепта x — вопрос, который нужно рассматривать отдельно в каждом конкретном случае (в некоторых случаях ответ будет гораздо более очевиден, чем в других); так или иначе, реинтерпретация x как вид y — это часть, иногда самая важная, интерпретации метафоры.

Однако более сложный шаг — это выбор такого F, которое находилось бы в подходящих отношениях как к G, так и к x. Конечно, мы могли бы действовать, как раньше, а именно выяснить, какая функция чаще всего предицируется к x. Однако уже в рассмотренном случае — *совершать общественную науку* — эта процедура вряд ли нам поможет, поскольку нет ничего, что бы можно было выделить в качестве основного предиката для данного аргумента: предикаты *изучать*, *заниматься*, *любить*, *субсидировать* все приемлемы, но так же точно приемлемы и предикаты

забывать, игнорировать, не любить, критиковать. Загадка: откуда мы знаем (а мы это-таки знаем), что в основе метафоры Одена лежит сравнение вида «заниматься общественными науками — это все равно что совершить преступление», а не вида «критиковать общественные науки — это как совершить преступление»?

За помощью в нахождении подходящего F обратимся к G. Рейнхарт [25] предполагает, что влияние F должно состоять в вычеркивании некоторых семантических признаков G — то есть G должна быть оставлена в качестве функции, примененной к x, но реально действующими должны быть только те семантические признаки G, которые совместимы с F. *Совершать* значит 'выполнять', или — более обобщенно — 'делать', 'заниматься чем-либо', но с отрицательными коннотациями. Если опустить все семантические признаки, ограничивающие *совершать* от *делать*, сравнение примет вид «заниматься общественными науками — это все равно что совершать преступление»; поэт призывает не заниматься общественными науками. С другой стороны, если удалить все семантические признаки, которые разграничивают *совершать* и *критиковать*, отрицательные коннотации глагола *совершать* сохранятся, поскольку *критиковать* также их имеет. Поэтому сравнение станет таким: «Дурно обходиться с общественными науками — это все равно что совершать преступление», и призыв поэта будет звучать иначе: «Да не сотвори ничего дурного с общественными науками», то есть не критикуй их, или, если Оден имел в виду еще и игру слов, не заключай их в тюрьму*.

Этот вариант теории фильтра работает достаточно хорошо — но он все еще не объясняет, почему мы предпочитаем положительное, а не отрицательное F. Я думаю, ответ на этот вопрос содержится в контексте. Все стихотворение в целом указывает на отношение Одена к общественным наукам. Коль скоро это отношение задано, единственную внутренне согласованную интерпретацию дают глаголы *делать, заниматься, выполнять, практиковать* и т.п.; если F = *критиковать*, стихотворение взрывает себя изнутри. Читатель, понявший *Да не совершишь общественную науку* как совет не изучать ее, не вводить в свою память (to commit to memory), не распознал, что здесь встретилась метафора, а читатель, который понял эту строчку как призыв не заключать общественную науку в тюрьму, то есть не подвергать ее гонениям, по-видимому, рассматривает строку как пример метонимии. Читатель же, понявший стихотворение, может интерпретировать метафору только как означающую 'Не практикуй занятия общественными науками'.

Мораль здесь не только в том, что интерпретация сложна,

---

* Слово commit имеет, помимо значения 'совершать', также и значение 'помещать' (куда-либо). — *Прим. перев.*

но и в том, что она требует внутренне непротиворечивой и согласованной конфигурации всех четырех членов. Интерпретация референта не может быть независима от интерпретации релята. Когда Ричардс [26] говорит о «взаимодействии» двух идей для порождения новой результирующей идеи, отличной от каждой из них, отдельно взятой, он имеет в виду именно это. [...]

При поисках теории интерпретации обычно предполагается, что она должна начинаться с лексических концептов, которые можно приписать x, y, F и G, включая, возможно, любые общие знания, ассоциированные с этими концептами, а также любые эмоции, которые эти концепты могут вызывать. Тем самым обсуждение интерпретации метафор естественным образом ведет к обсуждению лексических знаний. Поскольку это — гигантская тема, о которой я довольно подробно писал в другом месте [18], здесь я попытаюсь привести лишь неполное, на уровне гипотез, описание.

Лексикализация. Организация памяти, содержащей значения слов данного языка, с недавних пор стала популярной темой психологических рассуждений и исследований. Привлекательность метафоры для психологов когнитивного направления состоит также и в том, что она может помочь лучшему пониманию лексической памяти. Суждение, что слово может буквально обозначать новые сущности, опирается на оценку сходства данной сущности с ранее встречавшимися; SIM представляет собой важнейшую психологическую сущность. И, как указывает Паивио [23], значения, сочетаемые в метафоре, должны быть извлечены из памяти читателя, содержащей сведения о том, чтó слова обычно значат и как они нормально употребляются.

Для интерпретации сходства, лежащего в основе новой метафоры, часто требуется всего-навсего предпочесть побочное значение слова его ядерному значению. Например, Рейнхарт [25] говорит, что интерпретация выражения *зеленые идеи* основывается на выборе побочного значения слова *зеленый*, а именно значения 'незрелый' (не значит ли это, что это выражение — не метафора?). Заметим, однако, что *зеленые идеи* можно реконструировать по правилу М 2:

(39) ЗЕЛЕНАЯ (идея) → SIM [НЕРАЗВИТАЯ (идея), ЗЕЛЕНЫЙ (фрукт)].

Рейнхарт подчеркивает, что, когда мы слышим буквальное предостережение *Не ешь это яблоко, оно зеленое* и если данное яблоко на самом деле не зеленого цвета, мы должны сделать в точности то же, что и для зеленых идей: а именно предпочесть цветовому значению слова *зеленый* его значение 'незрелый'. Если считать, что слово *зеленый* имеет несколько альтернативных значений, проблема выделения подходящего значения в явно метафорическом употреблении по сути ничем не отличается от проблемы выделения подходящего значения в буквальном упо-

треблении. Быстрое разрешение неоднозначности полисемичных слов на основе контекста — одна из классических загадок, стоящих перед теорией понимания языка.

Эти соображения еще увеличивают правдоподобность предположения, что *зеленое яблоко* обрабатывается так же, как и *зеленая идея:*

(40) ЗЕЛЕНОЕ (яблоко) → СЛЕДУЕТ
[НЕЗРЕЛОЕ (яблоко), ЗЕЛЕНЫЙ (фрукт)].

Эта формула соответствует правилу Е 2; СЛЕДОВАТЬ уместно, так как все свойства зеленых фруктов являются свойствами незрелых яблок. Высказанное предположение размывает четкую границу между буквальными и переносными употреблениями слов, что согласуется с легким переходом стертых метафор в побочные значения — в рассмотренном примере (*зеленый*) это переход от метафоры, основанной на цвете незрелого фрукта, к побочному смыслу 'незрелый', применимому к множеству других существительных.

Метафора часто приводится как источник полисемии. Например, в истории английского языка, по всей видимости, было время, когда слово *ножка* не использовалось для обозначения части стола. Тем самым, в то время выражение *ножка стола* могло бы быть метафорой, основанной на сравнении вида:

(41) НОЖКА (стол) → SIM [ПОДДЕРЖИВАТЬ (стол), НОЖКА (животное)].

Однако с частым употреблением слово *ножка* приобрело другое значение в качестве имени для части стола (Стерн [31] называет этот тип изменения значения "adequation" («выравнивание»). Мы все еще способны распознать сходство, которое привело к исходной метафоре, но мы понимаем выражение *ножка стола* буквально путем отвержения, в соответствующем контексте, смысла 'часть животного' в пользу смысла 'часть мебели'.

Выравнивание метафоры — это лишь один путь, которым побочные значения могут проникнуть в лексикон. В другом месте [17] я говорил о семантических расширениях, общих для многих слов, и предложил называть такого рода регулярные лексические соотношения конструктивными правилами (construal rules). Я не буду обсуждать утверждение, что мы чувствуем регулярные соотношения между ядерным и различными расширительными смыслами многих слов, поскольку статус подобных правил еще предстоит изучать. В любом случае, как бы ни формулировались эти регулярные соотношения, некоторые расширения без труда понимаются при первом же столкновении с ними. Поскольку метафорическая интерпретация слова может рассматриваться как семантическое расширение его ядерного значения — иногда вплоть до полного изменения, — очевидно, стоит попытаться найти соответствия между конструктивными правилами и метафорическими интерпретациями. Коль скоро метафора часто связана с предпочтением расширительного значения слова его ядерному значе-

нию, исследователей метафоры должно интересовать, каким образом эти расширительные значения возникают.

Однако, по-моему, понимание метафорического употребления слова как всего-навсего расширения значения этого слова опасно тем, что оно вводит нас во искушение чрезмерно упростить наше понимание метафоры. В новых метафорах меняются не значения слов, но скорее наши убеждения и чувства, касающиеся тех вещей, которые эти слова обозначают. Я утверждал, что читатель должен представить себе мир, в котором метафора, какой бы внутренне противоречивой она ни казалась, будет истинной. Читатель пытается сохранять консерватизм в воображении столь различных миров, но это упражнение само по себе не может не вынудить его расширить свои представления о том, каким вообще может быть мир. Если мы думаем, что метафора лишь наполняет слова новыми значениями, нам будет очень и очень нелегко понять, каким образом метафора может обогатить наше видение мира, или почему лексические значения меняются так медленно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Психологическая теория метафоры должна иметь в виду две цели. С одной стороны, она должна стремиться описать понимание метафорического языка в тех же терминах, которые используются для понимания языка неметафорического. С другой стороны, она должна представить буквальное понимание таким образом, чтобы в его терминах объяснялось понимание метафор. Взятые вместе, эти цели требуют от нас дальнейшего развития теорий буквального понимания до тех пор, пока они не станут достаточно мощными, чтобы охватить понимание метафор.

Я рассматривал апперцепцию как центральный процесс понимания текста — процесс ассимиляции новой информации путем соотнесения с тем, что уже известно. Синтез концепта текста основан на презумпции, что все сочиненное автором будет истинно в том концептуальном мире, который он описывает, а читатель пытается воспроизвести. Однако то, что верно в тексте, может очень сильно отличаться от того, что верно в реальном мире; смешивать текстовой концепт и концепт реальности ни в коем случае нельзя.

Метафора ставит апперцептивную проблему в силу того, что метафоры либо ложны в реальном мире, либо очевидным образом не имеют никакого отношения к текстовому концепту. Хотя читатель должен принять то, что говорит метафора, за истину в том мире, который он пытается синтезировать из текста, он может понять этот мир только на основе реального мира, который привел автора к данной метафоре. Этот поиск начинается с обращения к свойствам текстового мира, которые обладают сходством с тем, что известно о реальном мире, поскольку именно

эти свойства могут заложить основу для соотнесения текстового мира с уже имеющимися знаниями читателя.

Тем самым основания метафоры могут быть сформулированы как отношения подобия, которые в свою очередь могут быть выражены утверждениями сравнения. Был предложен набор правил реконструкции этих сравнений; кроме того, были представлены аргументы в пользу того, что результирующая классификация метафор полна. Обсуждалась также интерпретация реконструированных сравнений, однако многие важные проблемы интерпретации остались нерешенными.

Таким образом, я попытался описать понимание метафорического языка в терминах понимания утверждений сравнения. Кроме того, я привел аргументы в пользу того, что понимание буквального языка требует всей той апперцептивной психологической техники, которая необходима для понимания утверждений сравнения.

ПРИМЕЧАНИЯ

Подготовка данного текста была частично поддержана субсидией Национального института образования, предоставленной Рокфеллеровскому университету. Заголовок отражает признание того, что я — интеллектуальный должник работы Макса Блэка. Выражаю благодарность Брюсу Фрэзеру и Моррису Халле за беседы, помогшие мне лучше понять, в чем заключается проблема метафоры; а также Эндрю Ортони и Джону Россу за полезные замечания к первоначальному варианту статьи.

[1] Метафоры встречаются как в письменной речи — прозе и поэзии, — так и в разговорной; эти ситуации, безусловно, предъявляют различные требования и к источнику, и к адресату метафорического выражения. Однако в силу того, что я не собираюсь изучать эти различия, я предпочел сконцентрировать внимание на читателях (исключив из рассмотрения говорящих и слушателей и практически исключив авторов письменных текстов).

Я надеюсь, такое решение не сможет всерьез скомпрометировать мои рассуждения о тех аспектах метафоры, о которых я буду говорить.

[2] Такой иллюстрацией этого утверждения я обязан Стивену Кашингу.

[3] Логический статус образа — это список пресуппозиций, содержащих константы или связанные переменные, которые ограничивают (или релятивизуют) область интерпретации, по которой могут быть квантифицированы переменные модели [8].

[4] Тверски [35] называет референт «субъектом», а релят «референтом». Если я правильно понимаю Хомского [7], референт — это концептуальное проявление того, что он называет (лингвистическим) «фокусом» предложения, а релят — концептуальное проявление того, что он называет (лингвистической) «пресуппозицией» предложения.

[5] Если я правильно понимаю Блэка [5], то, что я называю «символом», он называет «системой ассоциированных общих мест». Брюс Фрэзер в частной беседе со мной высказал идею, что различие буквального и символического надо рассматривать не как дихотомию, а как континуум, сравнимый с континуумом творчески построенных и идиоматических выражений. Что касается критерия непереводимости, то им надо пользоваться с большой осторожностью. Эш [2] указал, что употребление некоторых прилагательных (к примеру, *теплый*, *твердый*, *прямой*) для описания как свойств объектов, так и свойств людей является достаточно универсальным, чтобы поставить под сомнение широко распространенное представление, что их применение

к людям — это метафорическое расширение их значения в обычных, вещественных контекстах. Если найдется столь же универсальный символ, то его переводимость еще не доказывает того, что это на самом деле не символ.

[6] Строго говоря, глагол *воздействовать* — это отношение, а не свойство: *Моя любовь воздействует на меня* выражает сентенциальный концепт ВОЗДЕЙСТВУЕТ (моя любовь, я). Но отношение можно рассматривать как свойство, использовав логический оператор абстракции λ. Так, через отношение F (x,x') можно определить новую функцию λx. F (x,x'), которая является свойством с аргументом x. В нашем примере λx. ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ (x, я) определяет новую функцию (которую можно представить как ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА МЕНЯ), представляющую собой свойство, в качестве значения аргумента x способное принять «мою любовь» или «розу». Пользуясь оператором абстракции, можно работать с сравнениями, в которых функции F и G имеют различное число аргументов. Например, в предложении *Туман кружится так, как кошка чешет спинку* функция одного аргумента КРУЖИТЬСЯ (туман) сравнивается с функцией двух аргументов ЧЕСАТЬ (кошка, спинка). Мы можем определить новую функцию ЧЕСАТЬ СПИНКУ $=\lambda x$. ЧЕСАТЬ (x, спинку); тогда концептуальную структуру уподобления можно изобразить так: SIM [КРУЖИТЬСЯ (туман), ЧЕСАТЬ СПИНКУ (кошка)], что соответствует S1.

[7] Существуют также вырожденные аналогии: x: x:: x:x, или x: x:: y: y, или $x : y :: x : y$, истинные независимо от значений x и y [32].

[8] Исторический обзор концепции метафоры как сравнения можно найти в [19], где делается вывод, что возражения против этой точки зрения неубедительны. Большинство возраждений, говорит автор, «направлены скорее против бездумного применения этой теории, чем против нее самой» [19, p. 60].

[9] Точнее, G (y) приписывается F (x). Применение оператора абстракции к SIM [F(x), G(y)] позволяет нам определить новую функцию λF(x), SIM [F(x), G(y)], которая задает свойство, способное принимать F(x) в качестве аргумента. Обозначив эту новую функцию SIM G(y), как в примечании 6, получим [SIM G(y)] [F(x)] в качестве альтернативной формулировки S1 для сравнений: ПОХОЖЕ НА G (y) приписывается F(x). Когда SIM опускается, получаем [G(y)] [F(x)]. Поскольку в примере и F, и G имплицитны, парафразой для [G (волк)] [F (человек)] будет предложение *Некоторые свойства волка приписываются человеку*. Заметим, что для буквальных утверждений категоризации, типа *Человек — примат*, возможна та же самая парафраза, но соответствующее уподобление выглядело бы странно, так как свойствами человека являются все свойства приматов, а в ситуации, когда уместно сказать *все*, слово *некоторые* не употребляется.

[10] Если я правильно понял Ричардса [27], референт F(x) базового сравнения — это то, что он называет содержанием (tenor) метафоры, а релят G(y) — это то, что он называет ее оболочкой (vehicle). И если я правильно понимаю Блэка [5], аргумент y (в М 1) или функция G (в М 2) — это то, что он называет «фокусом» (focus), а аргумент x референта — то, что он называет «рамкой» (frame) метафоры. Дж. Д. Сепир [29] называет референт «непрерывным членом» (continuous term) (поскольку он соразмерен или соположен теме дискурса), а релят — «разрывным членом» (discontinuous term) метафоры.

[11] Сходная и, возможно, непосредственно родственная ситуация складывается в морфологии сложных слов, где необходимо выводить даже большее разнообразие реляционных предикатов. Так, бульдог (bulldog) — это собака (dog), «похожая» но быка (bull), но медоносная пчела (honeybee) — это пчела (bee), которая «делает» мед (honey), кресло (armchair) — это стул (chair), имеющий «руки» (arm) и т. д. В работе [15] предложен список из шести «восстановимых предикатов» (КАУЗИРОВАТЬ, ИМЕТЬ, ДЕЛАТЬ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ, БЫТЬ, В, но нет предиката сходства), которые позволяют описать многие случаи такого типа.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Anderson J. R., Ortony A. On putting apples into bottles: A problem of polysemy. — "Cognitive Psychology", 1975, № 7, p. 167—180.

[2] Asch S. E. The metaphor: A psychological inquiry. — In: R. Tagiuri and L. Petrullo (eds.). Person, perception and interpersonal behaviour. Stanford (Calif.), Stanford Univ. Press, 1958.

[3] Beardsley M. C. The metaphorical twist. — "Philosophy and Phenomenological Research", Vol. 22, 1962, p. 293—207 (русск. перевод см. в наст. сборнике).

[4] Black M. Models and metaphors. Ithaca (N. Y.), Cornell Univ. Press, 1962.

[5] Black M. Metaphor. — In: M. Black. Models and metaphors. Ithaca (N. Y.), Cornell Univ. Press, 1962 (русск. перевод см. в наст. сборнике).

[6] Bresnan J. A realistic theory of transformation grammar. — In: M. Halle, J. Bresnan and G. A. Miller (eds.). Linguistic theory and psychological reality. Cambridge (Mass.), M I. T. Press, 1978.

[7] Chomsky N. Deep structure, surface structure, and semantic interpretation. — In: D. D. Steinberg and L. A. Jakobovitz (eds.). Semantics: An interdisciplinary reader in philosophy, linguistics, and psychology. Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1971.

[8] Cushing S. Discourse, logical form, and contextual model selection: The unity of semantics and pragmatics in presupposition and anaphora. Discussion paper. Higher Order Software, Cambridge (Mass.), 1977.

[9] Empson W. The structure of complex words. N. Y., New directions, 1951 (Reprinted by the Univ. of Michigan Press, 1967).

[10] Fraser B. The interpretation of novel Metaphora. — In: A. Ortony (ed.). Metaphor and Thought. Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1979.

[11] Grice H. P. Logic and conversation. — In: P. Cole, J. Morgan (eds.). Syntax and semantics (Vol. 3): Speech acts. N. Y., Academic Press, 1975 (русск. перевод см.: Новое в зарубежной лингвистике, вып. XVI. М., «Прогресс», 1985).

[12] Haviland S. E., Clark H. H. What's new? Acquiring new information as a process of comprehension. — "Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior", Vol. 13, 1974, p. 512—521.

[13] Herbart J. F. Letters and lectures on education. Translated by H. M. Felkin and E. Felkin. London, Sonnerschein, 1898.

[14] Kintsch W. The representation of meaning in memory. Hillsdale (N. J.), Erlibatim, 1974.

[15] Levi J. N. On the alleged idiosyncracy of nonpredicate NP's. — In: Papers from the Tenth Regional Meeting Chicago Linguistic Society. Chicago, Univ. of Chicago, 1974.

[16] Loewenberg I. Truth and consequences of metaphors. — "Philosophy and Rhetoric", 1973, No. 6, p. 30—46.

[17] Miller G. A. Semantic relations among words. — In: M. Halle, J. Bresnan and G. Miller (eds.). Linguistic theory and psychological reality. Cambridge (Mass.), M. I. T. Press, 1978.

[18] Miller G. A., Johnson-Laird P. N. Language and perception. Cambridge (Mass.), Harvard Univ. Press, 1976.

[19] Mooij J. J. A. A study of metaphor. Amsterdam, North-Holland, 1976.

[20] Ortony A. Why metaphors are necessary and not just nice. — "Educational theory", Vol. 25, 1975, p. 45—53.

[21] Ortony A. The Role of Similarity in Similes and Metaphors. — In: A. Ortony (ed.). Metaphor and Thought. Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1979. (русск. перевод см. в нест. сборнике).

[22] Ortony A., Reynolds R., Arter J. Metaphor: Theoretical and empirical research. — "Psychological Bulletin", Vol. 85, 1978, p. 919—943.

[23] Paivio A. Psychological Processes in the Comprehension of

Metaphor. — In: A. Ortony (ed.). Metaphor and Thought. Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1979.

[24] R e d d y M. J. Formal referential models of poetic structure. — In: Papers from the Ninth Regional Meeting, Chicago Linguistic society. Chicago, Univ. of Chicago, Department of linguistics, 1973.

[25] R e i n h a r t T. On understanding poetic metaphor. — "Poetics", 1976, No. 5, p. 383—402.

[26] R i c h a r d s I. A. The philosophy of rhetoric. London, Oxford Univ. Press, 1936.

[27] R i c h a r d s I. A. Metaphor. — In: I. A. R i c h a r d s. The philosophy of rhetoric. London, Oxford Univ. Press, 1936 (русск. перевод см. в наст. сборнике).

[28] R o s c h E. Cognitive reference points. — "Cognitive Psychology", 1975, No. 7, p. 532—547.

[29] S a p i r J. D. The anatomy of metaphor. — In: J. D. Sapir and J. C. Crocker (eds.). The social use of metaphor: Essays on the anthropology of rhetoric. Philadelphia, Univ. of Pennsylvania Press, 1977.

[30] S p e r b e r D. Rethinking symbolism. Translated by A. L. Morton. Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1975.

[31] S t e r n G. Meaning and change of meaning. Bloomington, Indiana Univ. Press, 1965 (originally published in Sweden 1932).

[32] S t e r n b e r g R. J. Component processes in analogical reasoning. — "Psychological Review", 1977, Vol. 84, p. 353—378.

[33] T h o r e a u H. D. Walden. — In: H. S. Cauby (ed.). The works of Thoreau. Boston, Houghton Mifflin, 1987.

[34] T h o r n d i k e E. L. Reading as reasoning: A study of mistakes in paragraph reading. — "Journal of Educational Psychology", 1924, Vol. 15, p. 323—332.

[35] T v e r s k y A. Features of similarity. — "Psychological Review", 1977, Vol. 84, p. 327—332.

ДЕРЕК БИКЕРТОН

ВВЕДЕНИЕ В ЛИНГВИСТИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ МЕТАФОРЫ

I

Нужна ли новая теория метафоры? Десятилетие назад считалось, что не нужна. Метафору изучали, хотя и не систематически, со времен Аристотеля. Однако развитие науки последних лет, выявившее возрастающий интерес как лингвистов, так и философов к «нестандарнтым высказываниям» и «бессмысленным предложениям», некоторые неожиданные трудности в области структурной семантики, а также непосредственное внимание к метафоре самой по себе, проявившееся у таких специалистов по порождающей стилистике, как Левин [15], [16] и Торн [24], или в обзорах Хессе [10] и Моэй [19], в совокупности позволяют предположить, что пришло время взглянуть на метафору по-новому. Необходимость нового подхода к метафоре для современной структурной семантики сжато сформулирована Болинджером следующим образом: «Семантическая теория должна объяснять процесс создания метафоры. Характерной чертой естественного языка является то, что ни одно слово не сводимо к конечному набору значений, но всегда передает и нечто еще» [5, p. 567].

II

Должна ли новая теория метафоры быть лингвистической теорией? Как представляется, другие подходы обнаружили свою несостоятельность, поскольку ни одно определение и ни одна теория, предложенные к настоящему времени, не задают даже адекватной таксономии, не говоря уже об «объяснении процесса» создания метафоры. Аристотель пытался выявить хотя бы формальную сторону метафоры. «Метафора есть перенесение необычного имени или с рода на вид, или с вида на род, или с вида на

Derek B i c k e r t o n. Prolegomena to a Linguistic Theory of Metaphor. — "Foundations of Language", V, 1969, № 1, p. 34—52.

вид, или по аналогии», — писал он в «Поэтике» (1457b)[1]*. Однако римские ученые и ученые эпохи Возрождения, вместо того, чтобы попытаться прояснить и развить это довольно-таки загадочное определение, уточнив, что такое «необычный», «родовой», «видовой» и «аналогия», рассматривали метафору просто как риторический прием; типичным определением, повторяющим такой подход и, в свою очередь, многократно повторенным в разнообразных школьных учебниках и введениях в литературоведение, является определение Блэра: «Метафора — это фигура, всецело основывающаяся на сходстве одного объекта с другим. Поэтому она во многом родственна Сходству, или сравнению; и, конечно же, есть не что иное, как сравнение, выраженное в сокращенной форме» [4, 295]. Даже такой тонкий критик, как Ричардс, позволит себе следующее высказывание: «Было бы просто расширить грамматическую теорию метафоры, гиперболы и фигур речи, указав на скрытые выражения "как будто", "подобно" и т. п., которые можно было бы ввести для того, чтобы превратить поэзию в логически безукоризненную прозу» [22, p. 193]. Просто это или не просто, однако сам Ричардс оказался достаточно прозорливым, чтобы не предпринимать подобных попыток.

Многие недавние работы недалеко ушли от этого уровня. Уилрайт [27], подразделив метафору на «эпифору» — примерно то же самое, что традиционно понимаемая метафора, — и «диафору» — символическое соположение дискретных образов, которые сами по себе не обязаны быть эпифорами, для формирования целого, отличного от его частей, считает «высочайшими образчиками метафор» случаи совмещения эпифор и диафор; в качестве примера такого совмещения он приводит строку из Джона Донна: A bracelet of bright hair about the bone 'Браслет светлых волос вокруг чела' (в которой вообще не содержится никаких метафор ни в одном из названных ранее смыслов); а непосредственно далее он предлагает иные определения: эпифора — это «ощущаемая таинственная способность означать нечто большее, чем реально выражается словами», диафора же «проистекает из абсолютно непередаваемой природы каждого высказывания» [27, p. 91]. Тербейн [25], которого нельзя обвинить в использовании идиосинкратического жаргона, сравнимого с тем, которым позволяет себе пользоваться Уилрайт («метапоэтика», «стено-язык», «мифоид», «поэтоонтологический вопрос»), столь же непостоянен в своих взглядах. Начав с определения метафоры как «видового пересечения» ("sort-crossing"), более или менее эквивалентного «категориальной ошибке» Райла, он затем иллюстрирует использование метафор и в заключение оказывается вынужденным

* Перевод В. Г. Аппельрота. Цит. по изд.: Аристотель. Об искусстве поэзии. М., 1957; ср. также перевод М. Л. Гаспарова: «Переносное слово [метафора] — это несвойственное имя, перенесенное с рода на вид, или с вида на род или с вида на вид, или по аналогии». — Аристотель. Соч. в 4-х тт., т. 4. М., 1983. — *Прим. перев.*

признать, что в абстрактном рассуждении использование метафорического языка практически неизбежно. Тем самым, как отмечает М. Хессе, он приближается к позиции ряда филологов XIX в., таких, как А. Х. Сейс и Макс Мюллер, которые считали, что «язык в целом метафоричен». Однако, хотя большая часть слов любого языка, возможно, и прошла стадию метафорического переноса значений, говорящий достаточно редко сталкивается с таким языковым явлением, которое безусловно считает метафорой.

И, наконец, в одной из тех ошибочных работ, чьи несообразности более поучительны, чем истины в других работах, — работе Т. Дрейнджа [8][2] — автор ставит задачу исследования «бессмысленных предложений», однако в конечном счете к собственному удивлению обнаруживает, что в большинстве случаев он имел дело с метафорой. «В действительности метафорическое предложение, рассматриваемое буквально, обязательно содержит пересечение типов (type-crossing). Следовательно, согласно моей теории, буквальная интерпретация такого предложения совершенно немыслима. Возможно, именно этим метафора и привлекательна. Поскольку она не может быть понята буквально, читатель или слушающий оказывается вынужденным переосмысливать то, что ему сообщается» [8, p. 215]. При этом автор ранее признал, что «во многих случаях то, что некогда было метафорическим использованием слова, впоследствии становится использованием почти буквальным (например, she planted an idea in his mind букв. 'она взрастила мысль в его голове')» [8, p. 174]. Это замечание в совокупности с тем, что приводимое автором определение «немыслимого суждения» совершенно немыслимо[3], разрушает всю его аргументацию, поскольку, если одна метафора может стать «буквальной» и на такое превращение не накладывается никаких ограничений, то это может случиться и со всеми остальными, а если метафора — это не только особый случай немыслимого суждения, то тогда большая часть немыслимого должна быть потенциально мыслимой, то есть, в терминологии автора, полностью приемлемой.

III

Из сказанного следует, что нелингвистические подходы скорее затемняют, чем проясняют суть вопроса, и можно утверждать, что их неудачи объясняются именно их нелингвистичностью. Более того, почти все работы, посвященные метафоре, опираются на три не выраженные явно предположения о языке, каждое из которых, по всей вероятности, ложно. Перечислим эти предположения.

(1) Слова имеют фиксированное и определенное значение. Дрейндж, трактуя предложение Smells are loud 'Запахи громки,

кричащи' как бессмысленное, в то же время считает приемлемым словосочетание a loud colour 'кричащий цвет', руководствуясь странным соображением о том, что «в "American College Dictionary" в качестве седьмого значения слова loud выделено значение 'режущий глаза', или 'вызывающе кричащий', о цветах, одежде или о том, кто носит такую одежду и т. п».

Тем самым, считая во всех прочих случаях «немыслимость» (которая приравнена к «бессмысленности») параметром, не зависящим от времени, он в данном случае оказывается не в состоянии понять, что словосочетание a loud colour 'кричащий цвет', вероятно, некогда казалось столь же «бессмысленным», что и a loud smell 'кричащий запах', и не исключено, что в будущем словосочетание a loud smell окажется — в результате аналогичного процесса — столь же «осмысленным», что и a loud colour. Остается только согласиться с комментариями мисс Хессе по поводу работы Тербейна: «Мы должны отказаться от поисков среди всех значений слова «буквальных» или «канонических» значений. Подобный взгляд на язык в настоящее время чужд большинству специалистов по структурной лингвистике и философии языка, однако только такой взгляд был бы адекватным для рассмотрения... семантических проблем в общем виде» [10, p. 284]. Тем самым, очевидным образом оказывается возможным признать l'arbitraire du signe (произвольность знака) и отвергнуть то, что Фёрс обычно называл the cowness of cow 'коровость коровы', то есть точку зрения, согласно которой, поскольку cow устойчиво связано с понятием коровы, то оно неуместно для обозначения чего-либо отличного от этого понятия.

(2) Значение предложения — это сумма значений составляющих его слов. Примечательно, что, когда Ричардс хотел продемонстрировать взаимодействие различных уровней понимания при интерпретации поэзии, ему пришлось избрать в качестве примера строку Arcadia, Night, a Cloud, Pan, and the Moon 'Аркадия, Ночь, Туча, Пан и Луна' — пять именных групп, связанных сочинением, то есть столь же свободных от подчинительных грамматических отношений (и вследствие этого от ограничений на семантическую сочетаемость), сколь свободно от них более развернутое высказывание; он затем обращается к рассмотрению той роли, которую играют «визуальные ощущения, вызываемые напечатанными словами», «связанные образы», «свободные образы», «референции», «эмоции», «отношения» — то есть все, что угодно, кроме синтаксиса [21, p. 116—133]. На самом деле синтаксические структуры существенно влияют на нашу интерпретацию текста — не только поэтического (что показано в [15] и [2]), но любого текста вообще. Более того, синтаксические связи лексических единиц могут повлиять и на то, какие именно семантические категории следует сопоставлять при интерпретации.

Так, предложение Eternity is visible 'Вечность видима' может показаться не менее невразумительным, чем пример Дрейнджа The theory of relativity is blue 'Теория относительности голубая' в отличие от поэтического выражения I saw eternity 'Я видел вечность' в произведении Вогана «Мир» (Vaughan, "The World"). (Можно, конечно, сказать, что до некоторой степени смысл этого выражения поясняется контекстом поэтического произведения в целом или что «в поэзии мы ожидаем выражений такого рода», однако это объясняет суть дела лишь отчасти.) Таким образом, семемы в синтаксической конструкции «имя + глагол-связка + существительное или прилагательное» (а большинство примеров Дрейнджа имеют именно такой вид) обладают более низкой степенью интерпретируемости, чем те же семемы в других синтаксических конструкциях.

(3) Интерпретируемость текста не зависит от типа текста. Все согласны, что контекст может влиять на интерпретацию. Немногие осознают, что для объяснения этого нам не требуется выходить за пределы языка. Если признать, что каждый ситуационный контекст (или, более точно, ситуация плюс роль плюс тема) порождает собственный тип текста и что эти типы формально различимы хотя бы на одном языковом уровне, то ничто не мешает нам соотнести интерпретацию непосредственно с типом текста, не принимая во внимание внеязыковой контекст. Если мы согласимся, что язык, или, точнее, подъязык[4], научного журнала отличается — и отличается формально, так, что это можно зафиксировать при помощи предсказывающих правил, — от языка, например, хиппи, то мы можем сказать, что выражение The theory of relativity is blue неприемлемо для первого подъязыка, но вполне уместно (и даже, учитывая воздействие наркотика, предсказуемо) для второго. Это означает только, что наши языковые ожидания приспосабливаются к тому типу текста, который мы в данный момент воспринимаем. Если в стихах мы встречаем такие слова, как moon 'луна', rose 'роза' и autumn 'осень', то мы склонны (причем, если нет эксплицитных указаний на противоположное, склонны в высшей степени) связать их скорее с понятиями 'недосягаемая красота', 'совершенная красота' и 'зрелость и/или увядание', чем со значениями 'спутник Земли', 'разновидность цветка', 'третье время года'. Однако подобные связи ни в коем случае не будут установлены, если мы читаем календарь или садоводческий каталог.

Эти три предположения можно рассматривать просто как различные аспекты более фундаментального, хотя столь же ошибочного предположения, что значение существует в языке, подобно воде в колодце, причем иногда его можно оттуда извлечь, а иногда по каким-то мистическим причинам — нельзя. Однако что же на самом деле мы имеем в виду, когда говорим, что «поняли значение высказывания»? Мы имеем в виду, что на основе нашей

языковой компетенции, непосредственного контекста высказываний и более широкого контекста мы проинтерпретировали это высказывание. Во многих случаях наша интерпретация совсем незначительно отличается от интерпретации других людей или даже совсем не отличается от нее, что поддерживает иллюзию существования «значения», однако в некоторых случаях это вовсе не так. Тогда мы можем призвать на помощь только своего рода консенсус (согласие) между людьми; грамматики и словари — это тот же консенсус, но на более общем, обезличенном уровне. Более того, при изменении типа согласия правильное становится ошибочным и наоборот. Для колумбийца le provoca un tin to? означает quiere Vd un café? 'не хотите ли чашку кофе?', а для испанца — le hace pelear una copita? 'бодрит ли вас стакан вина?', которое из значений правильно? Вопрос смешон. Однако если значение не существует в языке самом по себе, то в то же время оно не может существовать и просто в сознании говорящего и слушающего, поскольку в этом случае мы имели бы право комбинировать звуки произвольным образом или интерпретировать высказывания так, как нам заблагорассудится. Если значение где-то и содержится, то только в отношении «говорящий — язык — слушающий», а не в одном каком-то компоненте этого отношения и уж, конечно, не в какой бы то ни было связи между языком и внеязыковым универсумом.

IV

Эта связь столь неуловима, что ввела в заблуждение некоторых весьма проницательных лингвистов. Так, Ч. Базелл отмечает: «Выражения green wine 'зеленое вино' и yellow wine 'желтое вино' — это комбинации слов, которые встречаются крайне редко или же вообще не встречаются, однако по различным причинам: в первом случае отсутствует материальная мотивировка, а во втором — нарушается синтаксическое соглашение» [1, p. 83]. Под отсутствием материальной мотивировки Базелл, по-видимому, подразумевает то, что зеленого вина не существует в природе, а под синтаксическим соглашением — тот факт, что то вино, которое реально имеет желтый цвет (по крайней мере, для говорящих, относимых Уорфом к «стандартным средним европейцам»), в целом ряде языков принято называть белым (white). Даже если оставить в стороне, что интерпретация в спектре в различных языках неодинакова, то это не так. Как быть с португальским vinho verde 'крепкое (букв. зеленое) вино' или, если брать более близкие примеры, как быть с такими словосочетаниями, как yellow rat 'трус, предатель, штрейкбрехер (букв. желтая крыса)' (где rat вовсе не *крыса*) или green fingers (букв. 'зеленые пальцы', о человеке, удачно выращивающем растения)?

Или рассмотрим следующую таблицу:

iron mine	'железный рудник'	*steel mine	'стальной рудник'
iron ore	'железная руда'	*steel ore	'стальная руда'
ironworks	'чугуноплавильный завод'	steelworks	'сталеплавильный завод'
iron magnate	'железный магнат'	steel magnate	'стальной магнат'
iron production	'производство чугуна'	steel production	'производство стали'
iron girder	'железная балка'	steel girder	'стальная балка'
iron determination	'железная решимость'	*steel determination	'стальная решимость'
iron will	'железная воля'	*steel will	'стальная воля'
iron discipline	'железная дисциплина'	*steel discipline	'стальная дисциплина'

По всей вероятности, Базелл объяснил бы недопустимость двух первых словосочетаний в правом столбце и допустимость четырех следующих за ними тем, что стальные рудники и стальная руда в природе не существуют, тогда как сталеплавильные заводы, стальные магнаты и т. д. — существуют. Однако если бы он попытался сходным образом объяснить недопустимость трех последних словосочетаний в правом столбце, то он никак не смог бы объяснить допустимость парных им словосочетаний в левом столбце. Он был бы вынужден трактовать эти последние как метафоры, хотя и несколько стертые. Но в этом случае ему пришлось бы объяснять, почему три последних словосочетания правого столбца сходным образом трактовать нельзя.

На самом деле лучше вовсе отказаться от вопросов, касающихся «природы» или «материальной мотивировки». Отсутствие в английском языке словосочетания steel mine лишь случайным образом связано с отсутствием в природе стальных рудников, ведь существует же словосочетание yellow rat при отсутствии в природе желтых крыс. Если бы нашлось нечто, что можно было бы описать как steel mine, подобно тому, как некоторые люди могут быть описаны как yellow rats, то такое словосочетание стало бы допустимым, несмотря на отсутствие в природе стальных рудников. Причина, по которой этого не произошло, состоит только в том, что, по крайней мере, в английском языке со словом steel не связаны специфические атрибуты.

Под «специфическим атрибутом» имеется в виду определенное качество, обычно соотносимое с денотатом знака. Так, с английским словом iron связан атрибут 'твердость'. Хотя такая связь и кажется естественной, на самом деле она довольно-таки произвольна: твердость — это только один из атрибутов, которые, вообще говоря, можно соотнести с железом (например, 'прочность', 'тяжесть', 'темный цвет' и т. д.); кроме того, железо обладает этим свойством в меньшей степени, чем многие другие материалы, например алмаз или та же сталь. Однако со словом diamond 'алмаз' связаны атрибуты 'ценность', а также, быть может, 'яркость'. Доводом в пользу произвольности подобных связей может также служить то обстоятельство, что они не явля-

ются универсальными; так, в испанском языке слово hierro 'железо' не имеет метафорического значения, а acero 'сталь' — имеет: даже при переводе заимствованных словосочетаний в испанском производятся соответствующие замены — iron curtain 'железный занавес' переводится как telon de acero 'стальной занавес', iron lung 'железные легкие' как pulmón de acero 'стальные легкие'. Тем самым в испанском, в отличие от английского, атрибут 'твердость' связан не с железом, а со сталью.

В дальнейшем изложении лексемы, имеющие подобные атрибуты, будут называться «маркированными знаками», а лексемы, их не имеющие, — «немаркированными знаками». Сразу оговоримся, что ничто не препятствует использованию маркированных знаков в немаркированных, равно как и в маркированных значениях. В последнем случае, однако, знак способен комбинироваться с другими знаками или замещать их, тогда как немаркированный знак такой способностью не обладает.

В полном объеме важность связи знака с атрибутом станет очевидной из дальнейшего изложения. Однако прежде, чем двигаться дальше, уместно, быть может, вернуться ко второму из тех двух вопросов, которые были поставлены в начале статьи, поскольку, приводя соображения относительно неудовлетворительности нелингвистического подхода к метафоре, мы пока еще не доказали, почему лингвистический подход может оказаться более приемлемым.

V

До последнего времени особого лингвистического подхода к метафоре не существовало, поскольку, несмотря на признание важности роли метафоры при изменении значений (см., например, [23]), она все же рассматривалась при синхронном описании языка как нечто второстепенное. Однако, как представляется, работы специалистов по порождающим грамматикам содержат материал для разработки такого подхода. С этой точки зрения кажутся релевантными семантические категориальные маркеры, предложенные Н. Хомским для описания лексических единиц [6], и теория структурной семантики Дж. Катца, Дж. Фодора и П. Постала [11], [12].

Современное состояние порождающей грамматики Дж. Лакофф [13] охарактеризовал следующим образом: все неядерные предложения могут быть выведены из ядерных; все сочетаемостные правила и ограничения (включая и семантические) применяются на последнем уровне; все такие правила и ограничения остаются постоянными при последующих трансформациях (в результате чего, как показано в [3], из неприемлемых ядерных предложений будут получаться неприемлемые трансформы). Тем самым оказывается возможным разбить часто встречающиеся в поэзии (и в некоторых других видах текстов) запутанные цепи

метафор, выделить соответствующие ядерные предложения и исследовать каждое нарушение семантических норм изолированно. Тогда — если мы на некоторое время предположим, что метафору правомерно рассматривать как нарушение нормы, — мы можем выделить классы метафор, например, метафоры, нарушающие главные категориальные правила (hearts that SPANIEL'D me at heels 'сердца, которые СПАНИЭЛИЛИ вслед за мной'), метафоры, нарушающие субкатегориальные правила (MISERY LOVES company 'НЕСЧАСТЬЕ ЛЮБИТ компанию') или семантические проекционные правила Катца — Фодора — Постала (the flinty and STEEL COUCH of war 'кремнистое и СТАЛЬНОЕ ЛОЖЕ войны'). Такое подразделение, как представляется, позволит стилистам испытать на деле готовую иерархию метафор, каждый уровень которой можно соотнести с определенным стилистическим приемом.

К сожалению, хотя все метафоры можно рассматривать как нарушения некоторых правил, не все нарушения правил можно рассматривать как метафоры. Пример Катца *scientists truth the universe букв. 'ученые истинят вселенную' — это случай нарушения главных категориальных правил, но отнюдь не метафора. То же самое можно сказать и о нарушениях субкатегориальных правил; рассмотрим следующие два предложения: poverty gripped the town 'бедность охватила город' и *ability gripped the town букв. 'способность охватила город'. Теоретически к обоим предложениям должны применяться одни и те же субкатегориальные ограничения: poverty и ability — это два абстрактных существительных, производные от прилагательных, которые обычно модифицируют существительные — названия людей; grip — это глагол, который обычно требует в качестве подлежащего имя, обозначающее либо живое существо (man 'человек', monkey 'обезьяна'), либо атрибут живого существа (paws 'лапы', fingers 'пальцы'), либо артефакт (wrench 'гаечный ключ', pliers 'плоскогубцы'). Однако если первое предложение можно отнести к метафоре, то второе можно почти без сомнений считать «бессмысленным». В результате нарушений проекционных правил возникают как бессмыслицы (*short hats 'короткие шапки', *green elbows 'зеленые локти'), так и выражения, осмысляемые метафорически. Таким образом, не существует такого уровня, на котором при нарушении правил не могли бы сосуществовать метафора и неметафора, и нет таких средств, которые в рамках порождающей грамматики позволили бы проводить между ними различие на любом из уровней.

Более того, теория Катца — Фодора — Постала имеет по меньшей мере два существенных изъяна. Во-первых, она не отвечает «скромному требованию» к семантической теории, сформулированному Болинджером, согласно которому семантическая теория должна «описывать разные значения слова таким образом, чтобы отражать возможное развитие одних значений из других»

[5, p. 566]. Эта теория никак не объясняет того факта, что, например, для слова bachelor три следующих значения имеют пересекающуюся семантическую часть со значением '(СУЩЕСТВО МУЖСКОГО ПОЛА), не вступавшее в брак': '(СУЩЕСТВО МУЖСКОГО ПОЛА) (МОЛОДОЙ) котик, оставшийся без пары в брачный период', '(СУЩЕСТВО МУЖСКОГО ПОЛА) (МОЛОДОЙ) рыцарь, служащий под началом другого рыцаря', '(ЧЕЛОВЕК), имеющий первую, и низшую, академическую степень'; не объясняет она и того, почему в подавляющем большинстве случаев это слово употребляется в значении 'холостяк'. Если последний вопрос может быть объяснен только в рамках теории подъязыков, то вопрос о причинах выбора слова bachelor для передачи трех остальных значений связан со вторым изъяном теории Катца — Фодора — Постала.

Возьмем два словосочетания — bachelor flat 'холостяцкая квартира' и bachelor girl 'одинокая девушка (букв. девушка-холостяк)'. Рассматриваемая теория объясняет различия между двумя этими словосочетаниями, сопоставляя их с двумя разными глубинными структурами и показывая, что в первой структуре (the flat is for the bachelor 'квартира подходит для холостяка'), в отличие от второй, не содержится семантически несовместимых единиц. В то же время глубинная структура второго словосочетания (the girl is a bachelor букв. 'девушка является холостяком') содержит несовместимые единицы (N человек-женщина + быть + N человек-мужчина), а такая структура, по-видимому, может считаться столь же маловероятной, как и пример Катца — Фодора *spinster insecticide 'средство от насекомых для девиц'. Может показаться, что использование слова bachelor применительно к женщинам, равно как и случай, когда это слово обозначает котика, связано с некоторой доселе не объясненной способностью «различителей» низшего уровня (в наших примерах это 'одинокий', 'не имеющий партнера') получать преимущество перед «семантическими маркерами» более высокого уровня, такими, как 'существо мужского пола' или 'человек'. Однако значительная часть языковых знаков обладает способностью преодолевать категориальные границы, и, каким бы произвольным ни казался этот процесс, говорящие на определенном языке всегда могут сказать, в каких случаях продукты этого процесса находятся «в пределах» языка, а в каких — «за пределами» языка. Поскольку этот процесс составляет часть их языковой компетенции, адекватная грамматика должна отражать его.

Так, встретившись с такими высказываниями, как *she has stabbed my self-respect букв. 'она ранила мое самоуважение' или *quiet donkeying with my car 'осторожнее (букв. хватит обезьянничать) с моей машиной', с одной стороны, и hearts that spaniel'd me at heels или с его менее вычурным вариантом to dog someone's footsteps 'по-собачьи идти по пятам за кем-либо (букв. собачить чьи-то следы)', с другой стороны, любой носитель анг-

лийского языка окажется способным не только провести между ними различие, но и определить, что два первых высказывания, возможно, принадлежат человеку, для которого английский язык не родной, тогда как два вторых демонстрируют владение языком, превосходящее средний уровень. Уравнивание соответствующих пар высказываний означает, по моему мнению, отрицание того, что составляет самую суть языка. В связи с этим возникает вопрос о том, является ли неспособность порождающей грамматики отличать метафору от не-метафоры необходимой или случайной чертой этой теории.

VI

Как представляется, некоторые ведущие теоретики порождающей грамматики, руководствуясь своими собственными научными интересами и/или общими современными тенденциями, ориентируются скорее на логику, чем на практическую лингвистику. Этим можно объяснить использование ими принципа «*p* или не *p*» при решении семантических проблем, а также проведение ими жестких границ между семантическими категориями; при этом их не останавливает даже признание возможности существования единиц, принадлежащих более чем одной категории (поскольку, несмотря на признание этого факта, свободный переход знака из одной категории в другую в рамках трансформационной грамматики запрещен). В связи с этим они не рассматривают тот единственный вопрос, который в этой связи заслуживает размышлений: какие привилегии и ограничения управляют переходом знака из одной категории в другую?

Ограничения такого рода непременно должны существовать, поскольку в противном случае свободная комбинация знаков была бы теоретически неограниченной, а знак с неограниченными привилегиями употребления, как заметил МакИнтош [18, p. 189, сн. 11], может обладать только грамматическим значением. Подобные привилегии должны существовать; без них язык бы окостенел, в нем не использовались бы неологизмы, заимствования и выражения типа bachelor girl, loud colour, iron discipline и т. п. (которые являются не вычурными поэтическими метафорами, а всего лишь незначительными изменениями повседневно используемого языка). Чего нам недостает, так это всего лишь ключа к механизму создания метафоры.

VII

Как было показано в разделе IV, определенные атрибуты связаны с определенными знаками, в результате чего эти знаки могут комбинироваться с другими знаками, связанными с тем же атрибутом, или замещать последние. Так, слову soup 'суп' можно приписать атрибут 'густота', что объясняет такие выражения,

как soup 'плотная облачность' у пилотов, pea-soup 'густой туман' в жаргоне лондонцев или словосочетание to be in the soup, эквивалентное to be in the trouble 'быть в беде' (поскольку trouble 'беда' ассоциируется скорее с dense 'густой', нежели с diffuse 'текучий', ср. такие выражения, как forest of difficulties 'лес трудностей', slough of despond 'трясина уныния') и т. д.

Может появиться желание дойти при исследовании происхождения этого процесса до истоков языка, когда, как считают многие авторы, писавшие о метафоре, у человека был только ограниченный набор знаков, состоящий из «имен предметов, воспринимаемых органами чувств», и значения этих имен должны были претерпеть метафорическое изменение для того, чтобы оказаться способными обозначать «те ментальные объекты, о которых люди имели более смутное представление и назвать которые оказалось сложнее» [4, р. 280]. К сожалению, хотя о предполагаемом происхождении языка писали много (полезный обзор различных теорий такого рода содержится в работе [20]), почти все рассуждения на эту тему приходится признать спекулятивными; несомненно, что теория, согласно которой «конкретные» знаки предшествуют «абстрактным», вполне разумна, однако у нас нет ровным счетом никаких свидетельств, ее подкрепляющих. В то же время мы можем утверждать, что именно должно было бы произойти в таком языке (или языках), поскольку сходные процессы при гораздо более сложных обстоятельствах происходят и сейчас.

По мнению известного антрополога, вероятно, «становление человека сопровождалось решением исключительно сложной задачи — систематизации того, что непосредственно представлено в чувствах...» [14, р. 11] и что тотемизм и другие верования и практические привычки примитивного человека были «непосредственно или опосредованно связаны с классификационными схемами, которые позволяли рассматривать естественный и социальный универсум как упорядоченное целое» [14, р. 135]. Заметим, что простейшая форма классификации — бинарная; тогда мы можем предположить, что на сравнительно ранней стадии человеческого развития возникла концептуальная сеть бинарных оппозиций: Конкретное/Абстрактное, Одушевленное/Неодушевленное, Статика/Динамика, Целое/Часть, Плотное/Рассеянное и т. д.

Для некоторых из этих оппозиций характерно то, что они построены посредством последовательного подразделения, и потому могут быть представлены в виде бинарного дерева, как показано на рис. 1.

Бросается в глаза сходство этого дерева со структурами деревьев в порождающей грамматике. Столь же очевидно, что ряд дальнейших оппозиций может быть включен в структуру подобного рода за счет некоторого ее расширения, как, например, в случае оппозиции Мужское/Женское, так как и Естественное, и Арте-

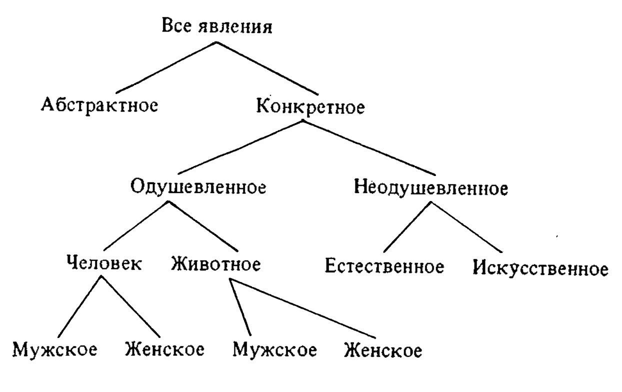


Рис. 1

факт могут быть подразделены далее на Жидкое/Твердое, а все категории вообще — на Оцениваемые положительно и Оцениваемые отрицательно (хотя в этом случае картина будет усложнена введением третьего узла — Морально нейтрального). Но если мы введем новые оппозиции, часть которых подразделяет не одну, а большинство, а иногда и все ранее выделенные категории, наша картина существенно усложнится. И дело не только в том, что многократно возрастет необходимость введения постоянных бинарных подразделений, но и в том (и это более важно), что произвольный характер упорядочения категорий станет еще очевиднее. Например, если мы хотим охарактеризовать с точки зрения категорий такого дерева soup, то должны будем расширить нашу исходную модель так, как это показано на рис. 2.

Недостатком этого рисунка является не только то, что он не отображает все допустимые подразделения (следует помнить, что на нем представлено дерево, продолжающее только один узел исходного дерева), но и то, что в отличие от исходного дерева, где последовательность подразделений вполне обоснованна, данная последовательность подразделений ничуть не лучше, чем любая другая. Так, наряду с другими возможна последовательность Жидкое — Густое — Горячее — Целое — Съедобное — Оценка. И все же подчеркнем, что предложенные оппозиции (равно как и многие другие) играют столь же существенную роль в семантическом описании, что и те, которые рассматриваются Катцем — Фодором — Посталом; это легко показать, приведя примеры неприемлемых выражений (общее число которых практически неограниченно), получающихся при нарушении соответствующих сочетаемостных ограничений, ср. *scalding beer букв. 'обжигающее пиво', *the beer on the froth букв. 'пиво на пене', *refreshing poison букв. 'освежающий яд', *drink that cardboard букв. 'выпейте этот картон' и т. п.

Нельзя согласиться и с тем, что оппозиции, представленные

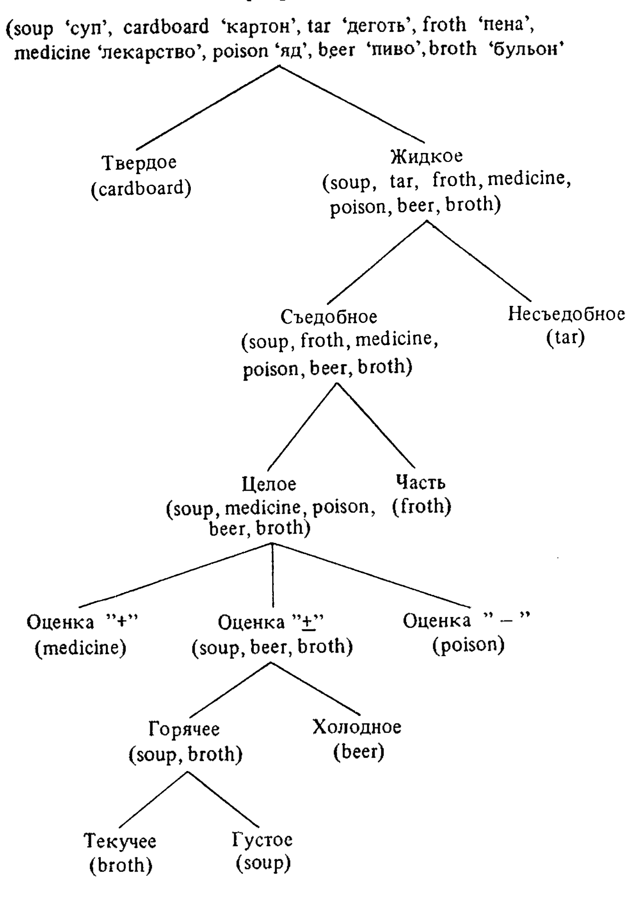


Рис. 2

на рис. 1 (Одушевленные/Неодушевленные и т. п.), необходимым образом предшествуют оппозициям, представленным на рис. 2. Возможны случаи, когда желательно сгруппировать в один класс знаки, относящиеся к той или иной общей категории (безотносительно к тому, в какие оппозиции по другим основаниям входят соответствующие знаки), к такой, как Густое (fog 'туман', snow 'снег', soup 'суп', tree 'дерево', trouble 'беда') или Холодное (snow 'снег', beer 'пиво', dog's noses 'собачьи носы', (some) hearts '(некоторые) сердца', (some) remarks '(некоторые) замечания', или любой другой. Может случиться, что оппозиции более низкого уровня иерархии окажутся более важными, чем оппозиции более высокого уровня. Представляется, что наилучшим способом иллюстрации отношений между оппозициями и между знаками, противопоставляемыми ими, может служить следующий.

Пусть А, В, С, D — категории двух бинарных оппозиций А/В и С/D и *a*, *b*, *c* и *d* — знаки, входящие в качестве членов в А, В, С, D соответственно, пусть А/В и С/D пересекаются таким образом, что *a* и *b* попадают в разные категории по оппозиции С/D, а *c* и *d* — в разные категории по оппозиции А/В. Таким образом, относительно А/В *a* и *c* попадают в одну и ту же категорию, а относительно С/D — в разные. В этом случае мы можем сделать одно из двух следующих заключений:

(1) оппозиции А/В и С/D взаимно пересекаются так, что задают четыре дискретные категории АС, АD, ВС, ВD;

(2) *a* и *c* совместимы по оппозиции С/D и несовместимы по А/В, то есть одновременно и совместимы, и несовместимы.

В языке возможны оба варианта. Значительная часть языковых знаков (которую люди неискушенные называют буквальным использованием языка) ведет себя в соответствии со схемой (1). Однако задаваемая (1) концептуальная система взаимоисключающих категорий оказывается столь жесткой, что в нее не вкладывается наш повседневный языковой опыт; как только мы отвлекаемся от нее, нам невольно приходится — по многим практическим причинам — устанавливать такие связи между категориями, которые схемой (1) не предусмотрены. В этом случае мы вынуждены обращаться к схеме (2), а эта схема, как было показано выше, регулирует процесс такой связи знака с атрибутом, которая создает суперструктуру, соответствующую «истинной» метафоре.

Для того, чтобы показать, что приведенные выше рассуждения не носят чисто умозрительный характер, а непосредственно связаны с языковой реальностью, обратимся к рис. 3.

Состоит в браке (married)		Не состоит в браке (single)
мужчина (male)	муж (husband)	холостяк (bachelor)
женщина (female)	жена (wife)	незамужняя (spinster)

Рис. 3

Подставим на место А/В и С/D оппозиции *Состоит в браке/Не состоит в браке* и *Мужчина/Женщина*, а на место *a*, *b*, *c*, *d* знаки husband, spinster, bachelor и wife. Это задает следующие четыре взаимоисключающие категории: Состоит в браке — Мужчина, Состоит в браке — Женщина, Не состоит в браке — Мужчина, Не состоит в браке — Женщина. Тем самым получена

схема (1), однако слово bachelor, как уже отмечалось, является знаком маркированным — и маркированным именно относительно категории *Не состоит в браке.* Схема (2) позволяет пересечь границы между C и D, в результате чего получается осмысленная комбинация этого знака с членом множества D, — girl 'девушка', а именно bachelor girl. Здесь следует отметить два момента. Во-первых, три остальные комбинации (с немаркированными знаками) — *spinster boy, *unmarried wife, *husband girl — недопустимы. Во-вторых, поскольку bachelor girl может оказаться непрочным словосочетанием, то в этом случае соответствующий языковой процесс не дойдет до своего естественного предела, который состоял бы в том, что слово bachelor стало бы обозначать лицо, не состоящее в браке, независимо от его пола.

Тот факт, что структура дерева не может отражать обе схемы (и потому не может служить моделью семантики языка, включающей присвоение атрибутов знакам и метафору), очевиден из рассмотрения примеров типа take no notice of her — she's poison 'не обращайте на нее внимания, она — яд'. Слову poison соответствует следующая последовательность категорий: Конкретное, Неодушевленное, Артефакт, Жидкость, Съедобное, Целое, Оценка «—», Тайное и, быть может, некоторые другие. Однако для нашего предложения первые шесть маркеров нерелевантны — ведь мы не предполагаем, что женщина, о которой идет речь, является жидкой, съедобной и т. п.; релевантны же только последние два маркера. В структуре же дерева каждый узел зависит от узла, находящегося непосредственно выше него. Тем самым, если бы мы пожелали проиллюстрировать наш пример с помощью дерева, то потребовалось бы дерево, изображенное на рис. 4, абсурдность (равно как и случайный характер) которого не вызывает сомнений.

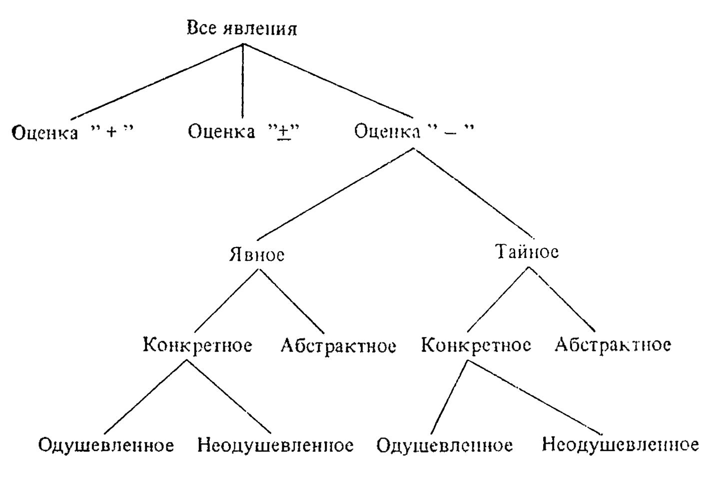


Рис. 4

Более адекватной моделью семантической системы была бы некоторая многомерная сеть, представленная в терминах двумерного пространства, в которой категории не имеют фиксированного порядка в иерархии, аналогом могла бы служить сеть различительных признаков Якобсона — Халле, см., например, работу [9, р. 328] — хотя, очевидным образом, соответствующая семантическая система содержала бы значительно больше членов.

К настоящему моменту читателю, должно быть, уже ясно, что присвоение атрибутов, рассмотренное выше в разделе IV, в большинстве случаев (если не во всех) производится в единицах бинарных оппозиций концептуальной сети. Поэтому если выбор маркированных знаков может производиться достаточно произвольно, то выбор атрибутов, связанных с ними, произвольным не является, так как количество оппозиций каждого языка, по-видимому, конечно и, возможно, не столь уж велико (сравнительно с количеством слов этого языка) и, быть может, не увеличивается со временем. Знаки, маркированные посредством этих атрибутов, или членов оппозиций, могут тем самым представлять те полные категории, к которым они принадлежат (под «полной» категорией понимается класс всех знаков, входящих в некоторую категорию в рамках некоторой оппозиции; полную категорию мы противопоставляем «эксклюзивной», понимая под последней то или иное подмножество знаков, образованное пересечением двух или более оппозиций), и потому способны комбинироваться с другими знаками (маркированными или немаркированными) или замещать их; эти взаимодействующие пары знаков должны входить в одну и ту же полную категорию, даже если они принадлежат к разным эксклюзивным категориям. Очевидно, что в такой системе нет однозначных соответствий: одна полная категория может быть представлена несколькими знаками, так же как один знак может представлять более одной полной категории (хотя этот случай, быть может, и не столь распространен, как предыдущий). В любом случае, однако, на использование таких знаков накладываются некоторые, пока не вполне ясные ограничения[5].

В пользу такой системы свидетельствует то, что слово iron может сочетаться со словами will или discipline, тогда как слово steel — не может, или что слова rat 'крыса' или monkey 'обезьяна' могут замещать названия людей (с определенными свойствами), тогда как слова racoon 'енот' или lemur 'лемур' — не могут. Иначе говоря, именно таким образом компенсируется чрезмерная жесткость модели взаимоисключающих категорий, и благодаря этому мы получаем возможность устанавливать между разными категориями связи, которые по тем или иным причинам кажутся нам столь же необходимыми, как и разграничение категорий. Дело в том, что с точки зрения возможности использования метафор тексты весьма неоднородны. Маркированные знаки встречаются реже всего (а возможно, не встречаются вовсе) в специальных научных текстах, нацеленных на эксплицитное описание

узкого фрагмента человеческого опыта, и чаще всего — в лирической поэзии, призванной в минимальном объеме синкретично выразить все те разнообразные аспекты человеческого опыта, которые автор связывает со своей темой.

VIII

Автора можно упрекнуть в том, что до сей поры мало говорилось об «истинной» метафоре, если понимать под последней нечто оригинальное, почти уникальное. Однако оригинальные образования такого рода уместнее всего рассматривать как расширение описанной выше системы присвоения атрибутов. Продвинутая теория метафоры, развившаяся из такой системы, должна проводить четкое разграничение между четырьмя категориями, которые неформально можно описать следующим образом:

(1) «буквальные» выражения (iron bar 'железный брусок', black cat 'черная кошка' и т. п.);

(2) «постоянное» присвоение атрибутов (iron discipline, yellow rat и т. п.);

(3) разовое присвоение (green thought 'зеленая мысль', steel couch 'стальное ложе' и т. п.);

(4) «бессмысленные» выражения (stee-mine, procrastination drinks quadruplicity 'промедление пьет учетверенность' и т. д.).

Конечно, большинство людей относит к метафоре только случай (3), и на ранней стадии своего развития теория вынуждена исходить из предположения, что (4) — это просто потенциальные (3). Имеются, однако, веские аргументы в пользу того, что это предположение неверно; не имея возможности обсуждать этот вопрос подробно, мы можем все же предложить способ его опровержения «от противного». Пусть все члены полной категории могут представлять эту категорию; это допущение, естественно, распространяется на каждое из двух или более слов, входящих в то или иное словосочетание. Тогда, поскольку полные категории пересекаются, любой член одной категории должен оказаться и членом других, и тем самым (если не вводить в существующую систему некоторого способа одноразового присвоения) у нас не будет никаких средств для того, чтобы узнать, какая категория представлена тем или иным знаком (или знаками). А это приведет нас на такой уровень распространения неоднозначности, который исключает коммуникацию, хотя (как показано в [2, р. 52—69]) он и допустим в некоторых поэтических произведениях.

Способ развития системы «разового» присвоения (3) из «постоянного» присвоения может быть проиллюстрирован с помощью сравнения практически уникального словосочетания green thought (Marvell, The Garden, 1. 48) и общепринятого словосочетания green fingers 'удачно выращивающий растения'). Green можно считать маркированным знаком для категорий Fertile 'плодородный' и Young 'молодой', способным сочетаться (в частности)

с эксклюзивной категорией Human — Physical — Part 'часть тела человека' или, скорее, с теми ее членами, которые принимают соответствующие значения в релевантной оппозиции (релевантных оппозициях). Тем самым finger 'палец' и thumb 'большой палец', воспринимаемые нами как нечто связанное с плодородием (поскольку мы используем пальцы при посадке, поливании растений и т. п.), могут комбинироваться с green, давая словосочетания green finger или green thumb, тогда как ears 'уши' или elbows 'локти', нейтральные с точки зрения оппозиции плодородный/неплодородный, при комбинировании с green дают аномальные словосочетания *green ears, *green elbows.

В пределах системы (2), однако, соответствующая привилегия слова green не охватывает абстрактные эксклюзивные категории, эти привилегии реализуются только в системе (3). Тем самым словосочетания green ideas 'зеленые идеи' и green thought 'зеленая мысль', избранные соответственно Хомским и Зиффом (последний, по всей видимости, не знал его истории, см. [28, p. 395]) как примеры семантических аномалий, можно считать имеющими право на существование; второе из них было употреблено в стихах Марвелла, а первое позднее в стихах ДеллаХаймса (см. [26, р. 59, сн. 3]). По-видимому, для некоторых типов метафор характерно следующее: при использовании знака, который уже был маркирован ранее (такого, как green), соответствующий атрибут может быть заменен атрибутом, производимым от первого; так, словосочетание green thought связано скорее с категорией Natural 'природный', нежели с Fertile 'плодородный', ср. контекст этого словосочетания: Annihilating all that's MADE To a green thought in a green shade. Сходным образом в других выражениях Immature 'незрелый', вытекающий из Young 'молодой', может заменять последний, как это происходит в выражениях greenhorn 'новичок', green head on grey shoulders букв. 'зеленая голова на серых плечах' и т. п.

Конечно, метафора может создаваться и некоторыми другими способами, один из которых иллюстрирует шекспировское steel couch («Отелло»). В этом словосочетании, хотя ни один из его знаков не маркирован, слово steel принадлежит к той же семантической сети («названия металлов»), что и маркированный знак для Hard 'тяжелый', а слово couch имеет сильную когнитивную связь с маркированным (для елизаветинской поры) знаком для Soft 'мягкий', ср. down 'пух'. Замена маркированных знаков родственными им немаркированными знаками, возможно, тоже требует подтверждения контекстом, например, в данном случае имеет место появление другого знака, относящегося к классу Hard (war 'война'), в той же строке и двух знаков, относящихся к классу Soft (bed 'кровать' и down), в следующей.

Таким образом, в обоих случаях система (2) подвергается лишь незначительному расширению, которое состоит либо в увеличении сферы действия маркированного знака, либо в за-

мене его на тот или иной связанный с ним немаркированный знак. Как представляется, другие процессы формирования метафоры будут скорее расширять, нежели изменять предложенную модель присвоения атрибутов.

До сих пор мы рассматривали только синхронный компонент теории метафоры. Однако такая теория не может ограничиваться лишь синхронией, поскольку, будь это так, она не смогла бы объяснять ни историю присвоения атрибутов (то есть того, как превратились в те «буквальные» бесчисленные языковые выражения, которые при своем возникновении воспринимались как метафоры), ни того (и это, возможно, более важно), каким образом другие бесчисленные языковые выражения, которые, быть может, еще и не возникли, могут в будущем пройти тот же путь. Хотя при нынешнем состоянии наших знаний такое предложение и может показаться неоправданно оптимистичным, теория должна хотя бы в некоторой степени обладать предсказательной силой в том случае, если будет подтверждено, что будущие процессы метафоризации можно моделировать по аналогии с прошлыми — в конце концов, не без привлечения предсказаний.

Возможны некоторые указания на то, как действует этот процесс. Например, приписывание атрибутов, как кажется, наименее вероятно среди знаков—гипонимов других знаков. На важность явления гипонимии в семантике указал Лайонз [17]; важность этого понятия связана, в частности, с тем, что если некоторые знаки, маркированные как Оценка «—» и Динамика (то есть 'активно опасные'), например, hurt 'вредить' или wound 'ранить', могут с помощью системы (2) сочетаться с Абстрактными категориями (to wound/hurt someone's pride/feelings/reputation, ср. русск. 'ранить чью-то гордость/*повредить чьей-то гордости, ранить чьи-то чувства/*повредить чьим-то чувствам, *ранить чью-то репутацию/повредить чьей-либо репутации'), то гипонимы соответствующих знаков, такие, как scratch 'царапать', cut 'резать', slash 'хлестать, рубить саблей', не обладают такой способностью (ср. *to scratch/stab/cut/slash someone's pride/feelings/reputation). На то, что это правило не универсально, указывают такие исключения, как a slashing attack 'сеча' (при отсутствии выражения *a hurting attack); тем не менее, оно имеет достаточно общий характер, что можно показать на примере гипонимов, относящихся к другим семантическим полям — таким, как поле цветообозначений. В этом случае, как и в рассмотренном выше, обозначения основных цветов обычно относятся к маркированным знакам (ср. red agitator 'красный агитатор', yellow rat, green finger и т. п.), в отличие от своих гипонимов (ср. *vermilion revolutionary 'алый революционер', *cerise mouse 'светло-вишневая мышь', *ultramarine hands 'ультрамариновые руки' или любое подобное словосочетание).

Ясно, что это явление как-то связано с частотой употребления знаков. Родовые термины обычно встречаются чаще своих

гипонимов, и, в общем виде, чем реже встречается знак, тем менее вероятно, что он обладает атрибутами.

Можно отметить также, что рассматриваемый процесс встречается чаще среди одних категорий и реже среди других. Как представляется, наибольшее распространение имеет комбинация таких категорий, как Абстрактное и Одушевленное (time passes 'время проходит', prosperity grows 'благосостояние растет', hopes wither 'надежды чахнут' и т. п.), Животное и Человек (людей можно называть крысами, львами, медведями, обезьянами и т. п.), Человек и Артефакт (chairs have legs 'у стульев есть ножки', needles have eyes 'у игл есть ушко (букв. глаза)', clocks have faces and hands 'у часов есть циферблаты (букв. лица) и стрелки (букв. руки)'.

И наконец, следует помнить, что все привилегии, которые распространяются на маркированные знаки, подчинены чисто синтаксическим ограничениям, сходным с теми, которым подчинены немаркированные знаки. Рассмотрим, например, глагол to face 'обращаться лицом'; можно сказать the car faced the bus 'машина была обращена к автобусу', the bus faced the car 'автобус был обращен к машине', the car faced the house 'машина была обращена к дому', the house faced the see 'дом выходит к морю', но не *the sea faced the house букв. 'море было обращено к дому', быть может, это объясняется тем, что прямое дополнение глагола face может относиться к классу Подвижное, только если к тому же классу относится его подлежащее, а его подлежащее не может принадлежать к классу Естественное, если объект принадлежит к классу Артефакт.

IX

Совершенно очевидно, что настоящая статься по необходимости не затрагивает одни аспекты метафоры и недостаточно детально описывает другие. Частично это объясняется тем, что лингвисты очень долго пренебрегали исследованием метафоры. Надеюсь, что мне удалось показать хотя бы то, что любая теория естественного языка, не рассматривающая метафору, не способна объяснять, как функционируют языки, и наметить такой взгляд на язык, в соответствии с которым может быть разработана адекватная лингвистическая теория метафоры.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Перевод Гамильтона Файфа (London, 1927): «Метафора есть применение чуждого термина — либо перенесенного с рода на вид...». Тербейн [25] пользуется переводом Ингрэма Байуотера (Oxford, 1909), начинающегося со слов «Метафора состоит в придании *вещи имени, принадлежащего некоторой другой...*» (курсив мой). Интересно отметить, как преуспел Байуотер в попытке, хотя и бессознательной, снять неясность определения,

вводя в него контрабандой ряд незаконных допущений, касающихся природы языка, широко задуманных, но ни в малейшей степени не опирающихся на текст оригинала. Сопоставление с последующим изложением показывает все превосходство перевода Файфа в отношении точности.

[2] Лишь очень мало полезных сведений (или полное их отсутствие) содержится в большей части литературы по данному вопросу, включая работы Карнапа, Юинга, Шехтера, Гуссерля и т. д.

[3] Это определение таково: «комбинация понятий, которые не могут быть объединены в мышлении» [8, p. 142]. Однако все понятия — абстрактные сущности, а «буквально» объединить можно только конкретные сущности, и потому «объединение понятий» — это метафора. В то же время все метафоры немыслимы, следовательно, определение «немыслимого суждения» немыслимо само по себе!

[4] Теория подъязыков может оказаться столь же существенной предпосылкой разработки теории метафоры, что и полностью разработанная структурная семантика. Эта теория столь сложна, что мы даже и не будем пытаться рассмотреть ее здесь (это тема отдельной работы); скажем только, что она должна трактовать язык не как гомогенный организм, а как систему взаимосвязанных подъязыков, каждый из которых имеет собственную социальную функцию. Средства, с помощью которых такая теория может быть встроена в порождающую грамматику, предложены в работе [7].

[5] Среди этих ограничений можно назвать синтаксические (см. последний абзац раздела VIII). Другие ограничения гораздо менее понятны. Сравним iron will и аналогичные вышеприведенные примеры с такими выражениями, как *iron hardship букв. 'железная твердость', *iron devotion букв. 'железная преданность', *iron danger букв. 'железная опасность' и т. п.; или рассмотрим два слова, относящиеся к категории Оценка «—»: black 'черный' и ugly 'безобразный'. Выражения black day 'черный день', black deed 'черное дело' black situation 'черная ситуация' и black sheep 'выродок (букв. черная овца)' вполне допустимы, тогда как выражение ?ugly day 'безобразный день', по меньшей мере, сомнительно, а *ugly sheep 'безобразная овца' либо следует понимать буквально, либо оно бессмысленно. Ответ на вопрос о том, почему возможно фигуральное выражение black sheep и невозможно ugly sheep, состоит, быть может, в том, что немаркированный знак ugly может комбинироваться с (некоторыми) названиями животных, тогда как в выражении black sheep, которое обычно трактуется как идиома, маркированными следует считать оба знака. Конечно же, языковые правила, регулирующие совместную встречаемость знаков, гораздо более сложны, чем то весьма поверхностное объяснение, которое мы смогли здесь предложить.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Bazell C. E. Linguistic Form. Istambul, 1953.

[2] Bickerton D. Meaning in Poetry, unpublished P.D.E.S.L. Dissertation. University of Leeds, 1967.

[3] Bickerton D. The Linguistic Validity of Verb-Nominalising Transformations. — "Lingua", 21, 1969.

[4] Blair H. Lectures on Rhetoric and Belles Lettres. London, 1783.

[25] Bolinger D. The Atomization of Meaning. — "Language", 41, 1965, № 4, p. 555—573.

[6] Chomsky N. Aspects of the Theory of Syntax. M.I.T. Press, Cambridge (Mass.), 1965 (русск. перевод: Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. М., Изд-во МГУ, 1972).

[7] De Camp D. Towards a Generative Analysis of a Post-Greole Speech Continuum. Paper read at Conference on the Pidginization and Creolization of Languages. U.W.I., Jamaica, 1968.

[8] D r a n g e T. Type Crossings. — In: "Janua Linguarum", Series Minor, 44. Mouton, The Hague, 1966.

[9] H a l l e M. On the Bases of Phonology. — In: "The Structure of Language", ed. by J. A. Fodor and J. J. Katz. Prentice-Hall, Englewood-Cliffs, N. J., 1964, p. 324—333.

[10] H e s s e M. Review of Turbayne 1962. — "Foundations of Language", 2, 1966, № 3, p. 282—284.

[11] K a t z J. J., F o d o r J. A. The Structure of a Semantic Theory. — "Language", 39, 1964, p. 170—210.

[12] K a t z J. J., P o s t a l P. An Intergated Theory of Linguistic Descriptions. M.I.T. Press, Cambridge (Mass.), 1964.

[13] L a k o f f G. Instrumental Adverbs and the Concept of Deep Structure. — "Foundations of Language", 4, 1968, № 1, p. 4—29.

[14] L e v i-S t r a u s s C. The Savage Mind. London, 1965.

[15] L e v i n S. Linguistic Structures in Poetry. — In: "Janua Linguarum", Series Minor, 23. Mouton, The Hague, 1962.

[16] L e v i n S. Poetry and Grammaticalness. — In: „Proceedings of the 9th International Congress of Linguists, 1962". Mouton, The Hague, 1964.

[17] L y o n s J. Structural Semantics: An Analysis of Part of the Vocabulary of Plato. — In: "Publications of the Philological Society", 20. Blackwell. Oxford, 1964.

[18] M c I n t o s h A. Patterns and Ranges. — In: "Patterns of Language". ed. by A. McIntosh and M.A.K. Halliday. Longmans. London, 1966, p. 183—199.

[19] M o o i j J.J.A. Review of Wheelwright 1962. — "Foundations of Language", 3, 1967, № 1, p. 108—111.

[20] R e v e s z G. The Origin and Prehistory of Language. London, 1956.

[21] R i c h a r d s I. A. Principles of Literary Criticism. Routledge and Kegan Paul. London, 1924.

[22] R i c h a r d s I. A. Practical Criticism. Routledge and Kegan Paul. London, 1929.

[23] S t e r n G. Meaning and Change of Meaning. Gothenburg, 1931.

[24] T h o r n e J. P. Stylistics and Generative Grammar. — "Journal of Linguistics", 1, 1965, № 1, p. 49—59.

[25] T u r b a y n e M. C. The Myth of Metaphor. New Haven, 1962.

[26] V o e g e l i n F. G. Casual anq Non-Casual Utterances within Unified Structure. — In: "Style in Language", ed. by T. A. Sebeok. M.I.T. Press. Cambridge (Mass.), 1960.

[27] W h e e l w r i g h t P. Metaphor and Reality. Bloomington (Ind.), 1962.

[28] Z i f f P. On Understanding "Understanding Utterances". — In: SL, 1964, p. 390—399.

ДЖОН Р. СЕРЛЬ

МЕТАФОРА

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Услышав слова: «Салли — ледышка» или «Сэм — свинья», вы скорее всего сочтете, что говорящий не имел в виду буквально это, а выражался метафорически. Более того, вам не составит большого труда понять, что он хотел этим сказать. Если же он скажет: «Салли — простое число между 17 и 23» или «Билл — дверь сарая», то вы все еще подумаете, что это говорится метафорически, но понять, что именно имел в виду говорящий, будет гораздо труднее. Существование такого рода высказываний, которым говорящий приписывает метафорическое значение, отличное от буквального значения соответствующего предложения, ставит перед всякой теорией языка и коммуникации ряд вопросов. Что такое метафора и чем она отличается как от буквальных высказываний, так и от остальных фигур? Почему мы употребляем метафорические высказывания, вместо того чтобы точно и буквально сказать то, что мы имеем в виду? Как функционируют метафорические высказывания, другими словами, как говорящим удается с их помощью сообщить нечто слушающим, при том что они говорят не то, что на самом деле имеют в виду? И почему некоторые метафоры удачны, а другие — нет?

Здесь я хотел бы заняться этими последними вопросами, а именно теми, которые связаны с проблемой функционирования метафоры, — как в силу их непосредственной значимости, так и потому, что возможность ответить на остальные вопросы без решения этой фундаментальной проблемы представляется мне сомнительной. Однако прежде чем пытаться найти ответ, необходимо более точно сформулировать вопрос.

Проблема функционирования метафоры является частным случаем более общей проблемы — а именно, объяснения того, как расходятся значение говорящего и значение предложения

John R. Searle. Metaphor. — Глава IV из книги: Searle J. R. Expression and Meaning. Cambridge University Press, Cambridge — London — New York, 1979, p. 76—116.

или слова. Другими словами, это частный случай проблемы, как оказывается возможным говорить одно, имея в виду нечто другое; как удается сообщить нечто в тех случаях, когда и говорящий, и слушающий знают, что значения употребленных говорящим слов не соответствуют в точности и буквально тому, что он имел в виду. Другие случаи разрыва между значением высказывания говорящего и буквальным значением предложения — это ирония и косвенные речевые акты. В каждом из этих случаев значение говорящего не идентично значению предложения, но тем не менее каким-то образом, в каких-то отношениях зависит от него.

Необходимо с самого начала подчеркнуть, что проблема метафоры затрагивает отношения между значением слова и предложения, с одной стороны, и значением высказывания или значением говорящего, с другой. Многие авторы пытаются обнаружить метафорические элементы метафорического высказывания в произнесенном предложении или выражении. Они считают, что значение предложения бывает двух типов — буквальное и метафорическое. Однако предложения и слова имеют только те значения, которые они имеют. Собственно, говоря о метафорическом значении слова, выражения или предложения, мы говорим о том, для выражения какого значения их можно было бы употребить, когда оно расходится с тем, что́ данное слово, выражение или предложение значат на самом деле. Тем самым мы говорим о возможных намерениях говорящего. Даже когда мы выясняем, каким образом бессмысленное предложение, вроде «Зеленые идеи яростно спят» Хомского, могло бы получить метафорическую интерпретацию, мы на самом деле рассуждаем о том, при каких условиях говорящий мог бы произнести это предложение в каком-либо метафорическом смысле, хотя буквально оно и бессмысленно. Чтобы иметь возможность без лишних слов отличать то, что имеет в виду говорящий, произнося слова, выражения, предложения, от того, что эти слова, выражения и предложения значат сами по себе, я буду первое называть *значением высказывания говорящего*, а второе *значением слова или предложения*. Метафорическое значение — это всегда значение высказывания говорящего.

Для сообщения говорящим чего-либо при помощи метафорических высказываний, иронических высказываний и косвенных речевых актов необходимы некие принципы, в соответствии с которыми он может иметь в виду нечто большее или отличное от того, что говорит; эти принципы должны быть известны слушающему, который за счет этого знания понимает, что же говорящий имеет в виду. Соотношение между значением предложения и значением метафорического высказывания имеет регулярный, а не случайный или произвольный характер. Наша задача при создании теории метафоры — попытаться сформулировать те прин-

ципы, которые соотносят буквальное значение предложения с метафорическим значением высказывания. Поскольку знания, которые позволяют нам использовать и понимать метафорические высказывания, выходят за пределы наших знаний о буквальных значениях слов и предложений, искомые принципы не входят (или по крайней мере не полностью входят) в традиционно понимаемую теорию семантической компетенции. С точки зрения слушающего, задача теории метафоры — объяснить, как он понимает значение высказывания говорящего, при том что он получил только предложение с его значением и значениями входящих в него слов. С точки зрения говорящего, задача в том, чтобы объяснить, каким образом он может иметь в виду нечто отличное от значения того предложения (со значениями входящих в него слов), которое произносит. В свете этих рассуждений наш исходный вопрос — как функционируют метафоры — может быть переформулирован так: каковы те принципы, которые позволяют говорящим производить, а слушающим понимать метафорические высказывания? И как мы должны эти принципы сформулировать, чтобы эксплицировать отличия метафорических высказываний от остальных типов высказываний, в которых значение говорящего не совпадает с буквальным значением?

Поскольку одна из составляющих нашей задачи — это объяснение отличия метафорических высказываний от буквальных, то для начала мы должны охарактеризовать буквальные высказывания. Большинство (если не все) из известных мне авторов полагают, что нам известно, как функционируют буквальные высказывания. При описании метафоры они не считают нужным останавливаться на этой проблеме и расплачиваются за это тем, что в подобных описаниях метафорические высказывания зачастую не отграничиваются от буквальных.

На самом деле строго описать буквальную предикацию — исключительно сложная, запутанная и тонкая проблема. Я далек от того, чтобы попытаться дать более или менее полный список принципов буквального высказывания; я всего лишь пройдусь по тем их свойствам, которые необходимы для сравнения буквальных и метафорических высказываний. Для простоты я также по большей части ограничусь для обоих типов высказываний самыми примитивными случаями и предложениями, используемыми в речевом акте утверждения.

Предположим, говорящий делает буквальное высказывание, произнося предложение типа:

(1) *Салли высокого роста.*

(2) *Кошка находится на коврике.*

(3) *Здесь становится жарко.*

Заметим, что в каждом из этих случаев буквальное значение предложения хотя бы отчасти определяет и набор условий ис-

тинности, а поскольку в этих предложениях присутствуют только ассертивные индикаторы иллокутивной силы (см. [9]), то буквальное и серьезное произнесение одного из них связывает говорящего обязательством принять существование набора условий истинности, задаваемого значением произнесенного предложения (наряду с другими факторами, определяющими условия истинности). Заметим далее, что в каждом из приведенных примеров предложение задает фиксированный набор условий истинности только относительно конкретного контекста. Причина этого в том, что все примеры содержат какой-либо индексальный признак, например, настоящее время, или указательное наречие «здесь», или вхождение контекстно-зависимых определенных дескрипций «кошка» и «коврик».

В приведенных примерах контекстно-зависимые элементы предложения эксплицитно присутствуют в его семантической структуре: индексальные выражения видны невооруженным глазом. Однако эти предложения, как и большинство других предложений, задают набор условий истинности только на фоне предварительных представлений, не входящих эксплицитно в их семантическую структуру. Наиболее очевидно это для (1) и (3), поскольку они содержат относительные выражения «высокий» и «жарко». Старомодные грамматики называли такие выражения «атрибутивными»; эти выражения задают определенный набор условий истинности только в присутствии фактических представлений о тех реальных сущностях, к которым говорящий производит референцию в других частях предложения. Более того, эти представления не присутствуют эксплицитно в семантической структуре предложения. Так, женщину правильно назвать «высокой» даже если она ниже жирафа, которого правильно назвать «низким».

Применение буквального значения предложения зависит от определенных фактических представлений, находящихся в фоне и не входящих в буквальное значение, что наиболее очевидно для предложений, которые содержат атрибутивные выражения; однако это явление имеет весьма общий характер. Предложение (2) задает конкретный набор условий истинности только при определенных представлениях о кошках, ковриках и отношении «находиться на»; при этом эти представления не входят в семантическое содержание предложения. Предположим, к примеру, что кошка с ковриком расположены относительно друг друга в стандартной конфигурации «кошка-на-коврике», но и кошка, и коврик находятся где-то в открытом космосе вне гравитационного поля, лишь относительно которого нечто можно назвать расположенным «на» чем-то другом или «над» ним. Находится ли кошка все еще на коврике? В данном контексте наше предложение при отсутствии дополнительных предположений не задает конкретного набора условий истинности. Или предположим, что все кошки стали внезапно легче воздуха, и наша кошка взлетела

с приклеившимся к ней ковриком. Верно ли, что кошка находится на коврике?

Мы совершенно точно знаем условия истинности для предложения *Муха находится на потолке* — но не для предложения *Кошка находится на потолке.* Эта разница связана не со значением, а с тем, как фактическая фоновая информация позволяет нам применять значения предложений. В общем случае можно сказать, что в большинстве случаев предложение задает набор условий истинности только относительно набора предположений, не входящих в семантическое содержание этого предложения. Тем самым даже в буквальных высказываниях, где значение говорящего совпадает со значением предложения, вклад говорящего в высказывание больше, чем просто семантическое содержание предложения: это семантическое содержание задает набор условий истинности только относительно набора предположений говорящего, и чтобы коммуникация была успешной, эти предположения должны разделяться слушающим. (Дальшейнее обсуждение этого вопроса см. в [11]; а также гл. 5 этой книги*.)

Отметим, наконец, что всякое описание буквального высказывания должно базироваться на понятии сходства. Дело в том, что буквальное значение любого общего терма, задавая набор условий истинности, задает также и критерий сходства объектов. Если общий терм применим к множеству объектов, то эти объекты сходны в том свойстве, которое задается данным общим термом. Все высокие женщины похожи тем, что они высоки, все жаркие комнаты — тем, что они жаркие, все квадратные объекты — тем, что квадратные.

Подведем итог нашему краткому обсуждению буквальных высказываний. Они обладают тремя свойствами, которые необходимо учитывать при последующем описании метафорического высказывания. Во-первых, в буквальном высказывании говорящий имеет в виду то, что он говорит; другими словами, буквальное значение предложения совпадает со значением высказывания говорящего. Во-вторых, в общем случае буквальное значение предложения задает набор условий истинности только относительно набора фоновых предположений, которые не входят в семантическое содержание предложения. В-третьих, без понятия сходства не обойтись ни в каком описании буквальной предикации.

Обратившись к случаям расхождения значения высказывания и значения предложения, мы обнаруживаем здесь определенное разнообразие. Так, (3) может быть произнесено не только для сообщения кому-либо, что в комнате становится жарко (буквальное высказывание); это может быть также и просьба открыть окно (косвенный речевой акт), и жалоба на холод (ироническое высказывание), и замечание о растущей злобности происходящего спора (метафорическое высказывание). В нашем описании

---

* См. отсылочную сноску на с. 307. — *Прим. перев.*

метафорического высказывания нам надо будет отграничить его не только от буквального высказывания, но и от других указанных типов высказываний, выражающих нечто отличное от буквального высказывания или нечто большее, чем буквальное высказывание.

Поскольку в метафорических высказываниях то, что говорящий имеет в виду, отличается от того, что он говорит (в одном из смыслов этого слова), наши примеры метафор обычно будут включать два предложения: первое, произнесенное метафорически, и второе, которое буквально выражает то, что говорящий имеет в виду при метафорическом произнесении первого.

Так, (3) — метафора (МЕТ):

(3) *Здесь становится жарко*

соответствует (3) — парафразе (ПАР):

(3) *Происходящий спор становится более злобным.*

То же и в следующих парах:

(4) (МЕТ) *Салли — ледышка.*

(4) (ПАР) *Салли — исключительно бесчувственна и неотзывчива.*

(5) (МЕТ) *Я взобрался на верхушку скользкого столба* (Дизраэли).

(5) (ПАР) *Преодолев огромные трудности, я стал премьер-министром.*

(6) (МЕТ) *Ричард — горилла.*

(6) (ПАР) *Ричард — свиреп, злобен и склонен к насилию.*

Заметим, что в каждом из этих случаев мы ощущаем, что парафраза в чем-то неадекватна, что что-то утеряно. Одна из наших задач — объяснить это чувство неудовлетворенности, возникающее при перефразировании даже неудачных метафор. Тем не менее в каком-то смысле парафразы служат приближением того, что имел в виду говорящий, поскольку в каждом из приведенных случаев метафорическое утверждение говорящего истинно тогда и только тогда, когда истинно соответствующее утверждение, использующее ПАР-предложение. Когда мы переходим к более изощренным примерам, наше ощущение неадекватности парафразы становится более острым. Как перефразировать (7):

(7) (МЕТ)My Life had stood — a Loaded Gun —
In Corners — till a Day
The Owner passed — identified —
And carried Me away — (Эмили Дикинсон)?

[букв. 'Моя жизнь стояла — заряженное ружье —
в углах — до того дня, когда
владелец прошел — узнал —
и унес меня с собой'.]

Очевидно, по сравнению с этим (7) (ПАР) теряет немало:

(7) (ПАР) *Моя жизнь обладала нереализованным, но без труда реализуемым потенциалом* (заряженное ружье), *протекая в заурядной обстановке* (углы), *до тех пор* (день), *когда мой, судьбой предопределенный возлюбленный* (владелец)

пришел (прошел), *увидел мой потенциал* (узнал), *и взял* (унес) *меня с собой.*

Однако даже и в этом случае парафраза (или что-то близкое к ней) должна содержать изрядную долю значения высказывания говорящего, поскольку условия истинности здесь также совпадают.

Иногда мы чувствуем, что совершенно точно знаем значение метафоры, и при этом не смогли бы построить соответствующую буквальную парафразу в силу отсутствия буквальных выражений, имеющих нужное значение. Рассмотрим (8):

(8) (MET) *Корабль вспахивал гладь моря.*

Даже в этом простейшем случае мы вряд ли сумеем построить перефразирующее предложение, хотя метафорическое высказывание совершенно прозрачно. Конечно же, метафоры часто используются как раз для того, чтобы заполнить такого рода семантические провалы. В других случаях может существовать бесконечно много парафраз. Например, когда Ромео говорит:

(9) (MET) *Джульетта — солнце,*

он может иметь в виду целый ряд смыслов. Однако, жалуясь на неадекватность парафраз, не будем забывать, что перефразирование — отношение симметричное. Сказать, что парафраза — это слабая парафраза метафоры, значит сказать также, что метафора — это слабая парафраза своей парафразы. Далее, не будем извиняться за то, что многие наши примеры представляют избитые или мертвые метафоры. Мертвые метафоры особенно интересны нам, поскольку, используя оксюморон, можно сказать, что мертвые метафоры — это те, которые выжили. Они умерли от постоянного употребления, но именно оно и свидетельствует о том, что они удовлетворяют некую семантическую потребность.

Ограничившись простейшими примерами структуры «субъект-предикат», можно сказать, что в общем случае метафорическое высказывание — это когда говорящий произносит предложение вида «S есть P», имея в виду метафорически, что S есть R. Тем самым, анализируя метафорическую предикацию, необходимо разграничивать три набора элементов. Во-первых, субъектное выражение "S" и объект или объекты, для референции к которым оно употреблено. Во-вторых, произнесенное предикатное выражение "P" с его буквальным значением, соответствующими условиями истинности, а также денотатом, если он есть. В-третьих, значение высказывания говорящего «S есть R» и условия истинности, задаваемые этим значением. В простейшем виде проблема метафоры состоит в том, чтобы охарактеризовать отношения между тремя наборами S, P и R[1], а также описать другую информацию и принципы, используемые говорящими и слушающими; в конечном итоге необходимо объяснить, как становится возможным, произнося «S есть P», иметь в виду «S есть R», и как это значение может быть передано от говорящего к слушающему. Очевидно, что это еще далеко не все, что хотелось бы понять про

метафорические высказывания; говорящий достигает большего, чем простое утверждение «S есть R», и специфическую эффективность метафоры необходимо объяснить в терминах того, как именно он достигает этого большего и почему он вообще выбирает такой кружной способ сделать утверждение «S есть R». Но сейчас мы начинаем с самого начала. Как минимум, теория метафоры должна объяснять, как это возможно — произнести «S есть P», при этом имея в виду и сообщая, что S есть R.

Теперь мы можем, в применении к такого рода простым примерам, сформулировать одно из различий между буквальными и метафорическими высказываниями. В случае буквального высказывания значение говорящего и значение предложения совпадают; тем самым утверждение об объекте-референте будет истинно тогда и только тогда, когда оно удовлетворяет условиям истинности, задаваемым значением общего терма в применении к общим для говорящего и слушающего фоновым представлениям. Чтобы понять такое высказывание, слушающему не требуется никаких дополнительных знаний, помимо знания правил языка, осведомленности об условиях произнесения высказывания и владения общими фоновыми представлениями. Напротив, в случае метафорического высказывания слушающему требуется нечто большее, чем знание языка, осведомленность об условиях произнесения высказывания и владение общими с говорящим фоновыми представлениями. Он должен располагать какими-то дополнительными принципами, или дополнительной фактической информацией, или какой-то комбинацией того и другого, которая позволила бы ему распознать, что, говоря «S есть P», говорящий имеет в виду «S есть R». Каков же этот дополнительный компонент?

Я полагаю, что в самом общем виде ответ на этот вопрос выглядит весьма несложно; однако мне потребуется большая часть оставшегося для этой темы места, чтобы разработать его мало-мальски детально. Основной принцип функционирования всех метафор заключается в их способности, пользуясь своими специфическими средствами, вызывать в сознании — при произнесении выражения с буквальным значением и соответствующими условиями истинности — другое значение с соответствующим набором условий истинности. По-настоящему трудная проблема в теории метафоры — это полно и строго перечислить те принципы, в соответствии с которыми произнесение выражения может метафорически вызывать в сознании набор условий истинности, отличный от задаваемого буквальным значением этого выражения, а также точно эти принципы сформулировать, причем не пользуясь метафорическими выражениями типа «вызывать в сознании».

НЕКОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ОТНОСИТЕЛЬНО МЕТАФОРЫ

Прежде чем сделать попытку набросать теорию метафоры, в этом и следующем разделах я бы хотел оглянуться назад и рассмотреть некоторые из существующих теорий. Теории метафоры от Аристотеля до наших дней можно условно разделить на два типа[2]. Теории сравнения утверждают, что метафорические высказывания связаны со сравнением или сходством двух или более объектов (напр., Аристотель [6]), а теории семантического взаимодействия — что метафора связана с вербальной оппозицией [2] или взаимодействием [3] двух семантических смыслов — а именно, метафорически употребленного выражения и окружающего буквального контекста. Я считаю, что обе эти теории, если воспринимать их буквально, в различных отношениях неадекватны; тем не менее обе пытаются выразить нечто истинное, и мы должны попытаться извлечь из них эту истину. Но сначала я хотел бы продемонстрировать некоторые из заключенных в них общих ошибок, а также и другие распространенные ошибки в рассуждениях о метафоре. Моя цель здесь — отнюдь не полемика; скорее я пытаюсь расчистить почву для построения теории метафоры. Можно сказать, что врожденный порок теорий сравнения — их неспособность разделить два утверждения: что сравнительное выражение является частью значения, а тем самым и условий истинности метафорического выражения, с одной стороны, и что сравнительное выражение составляет правило вывода, или шаг в процессе понимания, на основе которого говорящие производят метафору, а слушающие понимают ее — с другой (ниже я более подробно остановлюсь на этом). Теории семантического взаимодействия появились как реакция на недостатки теорий сравнения, и помимо этих недостатков едва ли располагают убедительными независимыми аргументами. Их врожденным пороком является неспособность разграничить значение предложения или слова, которое никогда не может быть метафорическим, и значение говорящего или высказывания, которое уже может быть метафорическим. Эти теории обычно пытаются обнаружить метафорическое значение в предложении или в некотором наборе ассоциаций, связанных с предложением. Так или иначе, имеется по крайней мере с полдюжины распространенных ошибок, которые, по-моему, следует отметить.

Часто говорят, что в метафорическом высказывании хотя бы одно выражение меняет свое значение. Я хочу сказать, что, напротив, в метафоре изменения значения, строго говоря, не происходит никогда. С точки зрения диахронии, метафоры, безусловно, инициируют семантические сдвиги, но в той степени, в какой действительно происходит изменение значения, то есть слово или выражение перестает значить то, что значило раньше — ровно в такой степени данное выражение или оборот перестает быть

метафорическим. Нам всем известны процессы, когда выражение становится мертвой метафорой и в конце концов превращается в идиому или приобретает новое значение, отличное от исходного. Но в настоящих метафорических высказываниях именно сохранение выражениями своих значений, и только оно, делает высказывание метафорическим. Те, кто утверждает обратное, по всей видимости, путают значение *предложения* с значением *говорящего*. Безусловно, метафорическое высказывание значит нечто отличное от значения соответствующих слов и предложений — но не потому, что изменились значения лексических элементов, а потому, что говорящий имеет в виду нечто отличное от их значений; потому, что значение говорящего не совпадает со значением слова или предложения. В этом месте необходима полная ясность, поскольку главная проблема метафоры — объяснить, каким образом значение говорящего и значение предложения расходятся, оставаясь в то же время связанными друг с другом. Такое объяснение становится невозможным, если считать, что в метафорическом высказывании изменяются сами значения слов и предложений.

Самый простой способ продемонстрировать ошибочность сравнительной теории в ее примитивном варианте — это показать, что в производстве и понимании метафорических высказываний не обязательно участвуют два сравниваемых объекта. Когда я метафорически говорю:

(4) (MET) *Салли — ледышка*,

я вовсе не обязательно произвожу квантификацию по ледышкам. Из моего высказывания буквально не вытекает (10):

(10) ($\exists x$) (x — ледышка),

где x таков, что я сравниваю Салли с x. Это становится еще более очевидным, если в качестве метафоры мы используем выражение с пустым экстенсионалом. Если я говорю:

(11) *Салли — дракон*,

из этого не следует буквально:

(12) ($\exists x$) (x — дракон).

Другой способ показать то же самое — отметить, что отрицательное высказывание столь же метафорично, как и положительное. Если я говорю:

(13) *Салли — не ледышка*,

то, я полагаю, я не провоцирую абсурдный вопрос: с какой именно ледышкой ты сравниваешь Салли, чтобы сказать, что она не похожа на эту ледышку? В своем примитивнейшем варианте теория сравнения попросту совершенно запуталась в типах референции метафорически употребленных выражений.

Сторонники теории сравнения могут сказать, что это возражение не слишком серьезно; но оно позволяет увидеть гораздо более фундаментальный недостаток этой теории. Теории сравнения, если они вообще говорят об этом что-либо вразумительное, обычно рассматривают сравнительное выражение как часть зна-

чения, а тем самым как компонент условий истинности метафорического выражения. К примеру, Миллер в работе [7] рассматривает метафорические выражения как выражения сходства; для теоретиков этого направления значение метафорического выражения и в самом деле задается явным утверждением сходства. Тем самым, с их точки зрения, я даже задачу поставил неправильно. Я считаю, что объяснить (простую субъектно-предикатную) метафору — значит объяснить, как говорящий и слушающий переходят от буквального значения предложения «S есть P» к метафорическому значению высказывания «S есть R». Они же полагают, что вовсе не это является значением высказывания; оно, скорее, должно выражаться эксплицитным утверждением сходства, типа «S похоже на P в отношении R», или, если следовать Миллеру, метафорическое выражение «S есть P» должно толковаться как «Существует некое свойство F и некое свойство G такие, что S, обладающее свойством F, похоже на P, обладающее свойством G». Ниже я еще остановлюсь на этом тезисе и его точной формулировке; здесь же я хочу лишь сказать, что, хотя сходство часто играет важную роль в понимании метафоры, метафорическое утверждение вовсе не обязательно служит для утверждения сходства. Простейший аргумент в пользу того, что метафорические утверждения вовсе не всегда утверждают сходство, приведен выше: существуют истинные метафорические утверждения, для которых не существует объекта, обозначаемого термом P; из этого следует, что истинное метафорическое высказывание не может иметь ложную презумпцию существования объекта сравнения. Даже когда объект сравнения существует, метафорическое утверждение вовсе не обязательно утверждает сходство. Я постараюсь показать, что сходство имеет отношение к производству и пониманию метафоры, а не к ее значению.

Второй простой аргумент за то, что метафорические утверждения не обязательно являются утверждениями сходства, таков. Метафорическое утверждение часто может оставаться истинным, даже если то утверждение сходства, на котором основан вывод метафорического значения, оказывается ложным. Так, предположим, я говорю:

(6) (МЕТ) *Ричард — горилла*,

имея в виду

(6) (ПАР) *Ричард свиреп, злобен, склонен к насилию*, и т. д. Предположим далее, что вывод, приводящий слушающего к (6) (ПАР), основан на убеждении (14):

(14) *Гориллы свирепы, злобны, склонны к насилию*, и т. д.

Тогда (6) (МЕТ) и (14), если опираться на теорию сравнения, позволяют произвести законный вывод, приводящий к (15):

(15) *Ричард и гориллы похожи в нескольких отношениях, а именно: они свирепы, злобны, склонны к насилию*, и т. д. (15), в свою очередь, будет частью того вывода, который позволил слушающему заключить, что, произнося (6) (МЕТ), я подразумевал

(6) (ПАР). Однако предположим, — а кажется, так оно и есть, — этологические исследования показали, что гориллы на самом деле вовсе не злобны, а наоборот, это застенчивые, чувствительные существа, подверженные приступам сентиментальности. Это определенно делает (15) ложным, поскольку (15) — в той же мере утверждение о гориллах, что и о Ричарде. Однако значит ли это, что, произнося (6) (МЕТ), я сказал нечто ложное? Очевидно, нет, поскольку я имел в виду (6) (ПАР), а (6) (ПАР) — это утверждение о Ричарде. Оно может оставаться истинным безотносительно к реальным фактам о гориллах; хотя, конечно, наш выбор выражений для метафорической передачи определенного семантического содержания зависит от наших представлений о реальных фактах.

Попросту говоря, *Ричард — горилла* — это исключительно и только про Ричарда; буквально это не говорит нам ничего о гориллах. Слово *горилла* служит здесь для передачи определенного семантического содержания, отличного от его собственного значения — в соответствии с принципами, которые мне еще предстоит сформулировать. Напротив, (15) говорит буквально и о Ричарде, и о гориллах; (15) истинно тогда и только тогда, когда и Ричард, и гориллы обладают теми свойствами, о которых там идет речь. Безусловно, нет ничего невероятного в предположении, что слушающий использует нечто вроде (15) как один из шагов процедуры, приводящий его от (6) (МЕТ) к (6) (ПАР), — но из этого предположения о его процедурах понимания вовсе не следует, что (15) должно входить в значение высказывания говорящего для (6) (МЕТ). И в самом деле, то, что (15) как раз не входит в значение высказывания, демонстрируется тем фактом, что метафорическое выражение может быть истинным, даже если оказывается, что гориллы не обладают теми свойствами, для сообщения о которых было метафорически употреблено слово *горилла*. Я вовсе не утверждаю, что метафорическое утверждение никогда не может быть по смыслу эквивалентно утверждению сходства; так это или нет, зависит от намерений говорящего. Я лишь утверждаю, что смысловая эквивалентность с выражением сходства не является необходимым свойством метафоры и уж во всяком случае не составляет цели произнесения метафорического выражения. При этом мой аргумент здесь — самый простой: во многих случаях метафорическое выражение и соответствующее выражение сходства не могут быть эквивалентны по смыслу, поскольку они имеют разные наборы условий истинности. Разница между точкой зрения, которую я критикую, и той, которую я поддерживаю, состоит в следующем. В соответствии с первой, (6) (МЕТ) значит, что Ричард и гориллы похожи в определенных отношениях; согласно второй, сходство выступает как стратегия понимания, а не как компонент значения: (6) (МЕТ) говорит, что Ричард обладает определенными свойствами (а чтобы эти свойства «вычислить»,

надо обратиться к признакам, ассоциированным с гориллами). В моем описании терм *P* вообще не обязан буквально присутствовать в формулировке условий истинности метафорического выражения.

Между прочим, сходные соображения применимы и к уподоблениям. Если я говорю:

(16) *Сэм ведет себя как горилла*,

это не обязывает меня считать истинным (17);

(17) *Гориллы таковы, что их поведение похоже на поведение Сэма.*

Это так, поскольку (16) вообще не должно сообщать что бы то ни было о гориллах; можно сказать, что *горилла* имеет в (16) метафорическое вхождение. Возможно, это один из способов отличить образные уподобления от буквальных утверждений сходства. Образные уподобления не обязаны заставлять говорящего отвечать за истинность буквального утверждения сходства.

Мне представляется, что точка зрения семантического взаимодействия столь же несовершенна. Одна из предпосылок, на которых основана идея, что метафорическое значение есть результат взаимодействия между выражением, употребленным метафорически, и другими выражениями, которые употреблены буквально, заключается в следующем: все метафорические употребления выражений должны входить в предложения, содержащие также буквально употребленные выражения. Мне это кажется попросту ложным. Кстати сказать, именно это представление стоит за терминологией многих современных работ, посвященных метафоре. Например, утверждается, что в каждом метафорическом предложении есть «содержание» и «оболочка» [8], или «рамка» и «фокус» [3]. Однако неверно, что всякое метафорическое употребление выражения окружено другими выражениями, употребленными буквально. Вернемся к нашему примеру (4): действительно, произнеся *Салли — ледышка*, мы осуществили референцию к Салли с помощью имени собственного, употребленного буквально; но ничто не вынуждало нас поступить так и только так. Предположим, мы используем смешанную метафору, называя саму Салли *плохие новости*. Тогда мы можем произнести следующую смешанную метафору:

(18) *Плохие новости — ледышка.*

Если продолжать настаивать, что уж связка-то здесь употреблена буквально*, несложно сконструировать пример, когда решительная перемена, произошедшая с Салли, подвигнет нас на еще одну смешанную метафору:

(19) *Плохие новости, смерзлась в ледышку.*

Смешанные метафоры могут быть стилистически сомнительны, но я не вижу, почему их надо считать логически противоречивы-

---

* В отличие от русского, английский язык здесь требует ненулевой связки "is". — *Прим. перев.*

ми. Естественно, большинство метафор и в самом деле встречается в контексте буквально употребленных выражений — в противном случае их было бы очень и очень нелегко понимать. Но использование всякого метафорически употребленного выражения исключительно и только в окружении выражений, употребленных буквально, отнюдь не является логической необходимостью: более того, со многими знаменитыми метафорами дело обстоит как раз наоборот. Так, расселовский пример абсолютно бессмысленного предложения — *Четырехсторонность пьет промедление* — часто получает метафорическую интерпретацию как описание всякой послевоенной конференции четырех держав по сокращению вооружений; при такой интерпретации ни одно из слов не употреблено буквально, то есть для каждого слова значение высказывания говорящего отличается от буквального значения слова.

Однако самое серьезное возражение против точки зрения семантического взаимодействия даже не в том, что она исходит из ложной презумпции обязательного использования метафорически употребленных слов в окружении слов, употребленных буквально; проблема скорее в том, что даже если метафорическое употребление встречается в контексте буквальных, то в общем случае неверно, что метафорическое значение говорящего является результатом всякого взаимодействия между компонентами предложения в любом буквальном смысле слова «взаимодействие». Обратимся еще раз к примеру (4). При его метафорическом произнесении не может быть и речи о каком бы то ни было взаимодействии между значением «главного субъекта» (*Салли*) и «второстепенного субъекта» (*ледышка*). *Салли* — имя собственное; его значение нельзя трактовать в точности так же, как значение слова *ледышка*. И в самом деле, для порождения той же самой метафорической предикации могли бы быть использованы и другие выражения. Так, (20) или (21) могли бы быть произнесены с тем же самым метафорическим значением высказывания:

(20) *Мисс Джонс — ледышка.*

(21) *Та девушка в углу — ледышка.*

Итак, я заключаю, что в качестве общих теорий как точка зрения сравнения объектов, так и точка зрения семантического взаимодействия неадекватны. Формулируя причины их провала в терминах Фреге, мы могли бы сказать, что теория сравнения пытается объяснить метафору как отношение между денотатами, а теория семантического взаимодействия — как отношение между смыслами и убеждениями, ассоциированными с денотатами. Сторонники теории взаимодействия правильно замечают, что ментальные и семантические процессы, участвующие в порождении и понимании метафорических высказываний, не могут включать собственно денотаты, а должны относиться к уровню интенсиональности, то есть они должны включать отношения на уровне убеждений, значений, ассоциаций и т. д. Однако далее они переходят

к неверному утверждению, что эти отношения суть некие не объясненные, а описываемые метафорически отношения «взаимодействия»[3] между буквальной рамкой и метафорическим фокусом.

Наконец, еще две ошибки, которые я хотел бы отметить, состоят не в ложных утверждениях относительно метафоры, а в истинных утверждениях, которые так же верны для буквальных высказываний, как и для метафор. Часто говорят, что понятие сходства играет фундаментальную роль в анализе метафоры, или что интерпретация метафорических высказываний зависит от контекста. Однако, как мы видели (см. выше), обоими этими свойствами обладают также и буквальные высказывания. Анализ метафоры должен выявить ту роль, которую сходство и контекст играют в метафоре, и показать, чем она отличается от их роли в буквальном высказывании.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАССМОТРЕНИЕ ТЕОРИИ СРАВНЕНИЯ

Один из способов прийти к теории метафоры — это рассмотреть сильные и слабые стороны одной из существующих теорий. Очевидный кандидат на эту роль — тот вариант теории сравнения, который восходит к Аристотелю, а вообще-то может рассматриваться как «точка зрения здравого смысла». Согласно этой теории, любая метафора — это на самом деле буквальное уподобление, в котором опущено «похоже» или «как», а основание сравнения оставлено неопределенным. Так, метафорическое высказывание *Человек — это волк* с такой точки зрения значит 'Человек похож на волка в некоторых не указываемых отношениях'; высказывание *Ты — мое солнышко* значит 'Ты для меня похож(а) на солнышко в некоторых отношениях', а *Салли — ледышка* значит 'Салли похожа на ледышку в определенных, но пока не указанных, отношениях'.

Тем самым получается, что принципы, на основе которых функционирует метафора, те же, что и для буквальных выражений сходства, плюс принцип эллипсиса. Метафору мы понимаем как сокращенный вариант буквального уподобления[4]. Поскольку для понимания буквального уподобления не требуется никаких специальных экстралингвистических знаний, большая часть знаний, нужных для понимания метафоры, уже заключена в семантической компетенции говорящего и слушающего, дополненной теми общими фоновыми знаниями о мире, которые делают возможным понимание буквального значения.

Мы уже видели определенные недостатки подобной точки зрения, самый заметный из которых заключается в том, что метафорические утверждения не могут быть эквивалентны по значению буквальным утверждениям сходства, поскольку условия истинности для этих двух типов утверждений часто разные. Более того, здесь необходимо подчеркнуть, что для теории уподобления как теории метафорического понимания — в отличие от теории

метафорического значения — крайне существенно, чтобы предполагаемые базовые уподобления были бы именно буквальными утверждениями сходства. Если те уподобления, которые призваны объяснять метафору, сами являются метафорическими или вообще образными, наше объяснение сведется к порочному кругу.

Тем не менее, если иметь здесь в виду теорию понимания, для множества метафорических высказываний представляется возможным построить предложение уподобления, которое в некотором смысле кажется способным объяснить, каким образом понимается метафорическое значение. Более того, тот факт, что утверждение уподобления оставляет значение R неопределенным, на самом деле может быть достоинством этой теории, поскольку метафорические высказывания туманны в точности так же: когда мы говорим «S есть P», метафорически имея в виду «S есть R», мы не проясняем абсолютно, каково R. Например, рассматривая метафорическое выражение Ромео *Джульетта — солнце*, Кавелл [5, р. 78—79] утверждает, что отчасти Ромео имеет в виду, что его день начинается с Джульетты. Мне, вне специфического контекста пьесы, такое прочтение никогда бы не пришло в голову. Для заполнения значений R в формуле я бы обратился к другим свойствам солнца. Говоря это, я отнюдь не спорю ни с Шекспиром, ни с Кевеллом: данная метафора, как и большинство метафор, является открытой именно вследствие этого.

Несмотря на свою привлекательность, теория уподобления сталкивается тем не менее с серьезными трудностями. Во-первых, эта теория не только не позволяет определить значение R точно — она не позволяет определить его вообще. Тем самым, она практически не обладает объяснительной силой, поскольку задача теории метафоры — определить, каким образом говорящий и слушающий способны перейти от «S есть P» к «S есть R»; а теория уподобления именно этого-то и не объясняет: переход от «S есть P» к «S есть R» через «S похоже на P в отношении R» мало что дает, так как остается непонятным, каким образом мы можем обнаружить те значения, которые следует приписать R. Сходство — это пустой предикат: любые две вещи похожи в том или ином отношении. Утверждение, что метафорическое «S есть P» имплицирует буквальное «S похоже на P», нашей проблемы не решает; оно всего лишь отодвигает ее на один шаг. Проблема понимания буквальных сравнений с неопределенным основанием сравнения — это всего лишь часть проблемы понимания метафоры. К примеру, откуда мы знаем, что высказывание *Джульетта — солнце* не значит 'Джульетта по большей части газообразна' или 'Джульетта отстоит от Земли на 90 миллионов миль', притом что оба этих свойства — характерные и широко известные свойства Солнца?

Еще одно возражение состоит в следующем. Для теории уподобления абсолютно необходимо, чтобы уподобление воспринималось буквально, однако, по всей видимости, существует ог-

ромное количество метафорических высказываний, в которых вообще не найдется релевантного буквального сходства между S и P, соответствующего метафорическому пониманию. Если мы настаиваем, что соответствующее сходство есть всегда, нам, по всей видимости, придется интерпретировать его метафорически, что приведет к порочному кругу. Вернемся еще раз к примеру (4): *Салли — ледышка.* Если мы перечислим буквально различные отличительные качества ледышек, ни одно из них не будет верно для Салли. Даже если мы добавим все те различные убеждения, которыми мы располагаем относительно ледышек, они все еще не будут буквально истинны относительно Салли. Вообще, класса предикатов R, такого, что Салли буквально похожа на ледышку в отношении R, причем R — это именно то, что мы хотели метафорически предицировать Салли, говоря, что она ледышка, — такого класса предикатов попросту не существует. Неэмоциональность не является свойством ледышек, поскольку ледышки — это вообще из другой оперы. Если же кто-нибудь станет все-таки доказывать, что ледышки буквально неэмоциональны, нам стоит лишь указать, что этого свойства еще недостаточно для объяснения метафорического значения высказывания, заключенного в (4), так как огонь «неэмоционален» точно так же, но

(22) *Салли — огонь*

заключает совершенно другое метафорическое значение высказывания, чем (4). Более того, существует масса уподоблений, которые задумываются не как буквальные. К примеру, высказывание *Любовь как роза, роза красная / Цветет в моем саду* не значит, что найдется класс буквальных предикатов, истинных как относительно любви, так и относительно красных роз и выражающих то, к чему вел говорящий, утверждая, что его любовь похожа на красную розу.

Однако защитники теории уподобления не должны сдаваться так легко. Они могли бы сказать, что многие метафоры являют собой примеры также и других фигур. Так, *Салли — ледышка* — это пример не только метафоры, но и гиперболы[5]. Метафорическое значение выражения есть производная от уподобления *Салли похожа на ледышку*, но и метафора, и уподобление являются частными случаями гиперболы. Это преувеличения, и многие метафоры, действительно, представляют собой преувеличения. В соответствии с таким ответом, если мы интерпретируем и метафору, и уподобление гиперболически, то они окажутся эквивалентными.

Далее, защитник теории уподобления мог бы добавить: то, что некоторые из свойств, в отношении которых Салли похожа на ледышку, определяются метафорически, — вовсе не возражение против его описания, так как для каждого такого метафорического уподобления мы можем задать уподобление, лежащее в его основе, и так до тех пор, пока мы не встанем на твердую почву буквальных уподоблений, на которой и покоится все сооружение. Так, *Салли — ледышка* значит ‘Салли похожа на ледышку’,

что в свою очередь значит 'Она обладает некоторыми общими с ледышкой чертами, и в первую очередь, она очень холодна'. Но поскольку *холодна* в таком толковании смысла также метафорично, то в основе здесь должно лежать определенное сходство между эмоциональным состоянием Салли и холодностью; когда мы в конце концов обнаружим основание этого сходства, метафора будет проанализирована полностью.

Ответ содержит два шага. Во-первых, указывается, что другие фигуры, такие, как гипербола, иногда сочетаются с метафорой, и, во-вторых, признается, что некоторые из предлагаемых в качестве переводов метафоры уподоблений сами еще метафоричны, но при этом доказывается, что некая рекурсивная процедура анализа метафорических уподоблений в конце концов приведет к буквальным уподоблениям.

Действительно ли такой ответ убедителен? Думаю, что нет. Беда в том, что вряд ли найдется буквальное сходство между холодными объектами и неэмоциональными людьми, способное оправдать ту точку зрения, что, когда мы метафорически говорим про кого-либо *Он холоден*, мы имеем в виду 'Он неэмоционален'. В каких конкретно отношениях неэмоциональные люди похожи на холодные объекты? Кое-какой ответ здесь придумать можно, но он все равно оставит в нас чувство неудовлетворенности.

К примеру, мы могли бы сказать, что если кому-либо физически холодно, то это жестко ограничивает его эмоции. Даже если это и верно, это все равно не то, что мы имели в виду в метафорическом высказывании. Я думаю, что на вопрос: «Каково то отношение между холодными объектами и неэмоциональными людьми, которое оправдывает употребления слова *холодный* в качестве метафоры отсутствия эмоций?» — единственным ответом может быть простая констатация, что по своим ощущениям, своему восприятию и своей лингвистической практике люди находят понятие холодности ассоциированным в своем сознании с отсутствием эмоций. Понятие 'быть холодным' всего-навсего ассоциируется с понятием 'быть неэмоциональным'.

Между прочим, есть данные, что эта метафора бытует в нескольких разных культурах, а не ограничивается лишь англоязычным миром, ср. [1]. Более того, она становится, если уже не стала, мертвой метафорой. Некоторые словари, например, Оксфордский (OED), приводят отсутствие эмоций как одно из значений слова cold 'холодный'. На самом деле температурные метафоры для эмоциональных и личностных особенностей весьма обычны; они не основаны ни на каких буквальных сравнениях. Так, мы говорим: *жаркий спор*, *теплый прием*, *прохладная дружба* и *сексуальная холодность*. Такого рода метафоры смертельны для теории уподобления — разве что ее защитники смогут привести буквальное R, которым обладают и S и P и которого достаточно для точного задания имеющегося в виду метафорического значения.

Поскольку это утверждение обречено на то, чтобы быть оспоренным, хорошо бы как следует осознать масштаб нашей ставки. Говоря, что какого бы то ни было множества сходств недостаточно для объяснения значения высказывания, я делаю отрицательное экзистенциальное утверждение; тем самым его истинность не может быть доказана рассмотрением любого конечного числа примеров. Бремя доказательства здесь ложится скорее на сторонника теории сравнения, который должен предъявить эти сходства и показать, как они исчерпывающим образом отражают значение высказывания. Однако ему вряд ли будет легко сделать это так, чтобы удовлетворить требованиям его же собственной теории.

Конечно, можно придумать массу признаков, по которым любое S окажется сходным с любым P — например, Салли с ледышкой — и массу F и G таких, чтобы Салли в отношении F была похожа на ледышку в отношении G. Но этого недостаточно: такого рода сходства, которые могут быть здесь указаны, отнюдь не исчерпывают значения высказывания, а если и существуют такие сходства, которые достигают этого, то они далеко не очевидны.

Предположим, что, проявив чудеса изобретательности, мы все же придумали сходство, которое исчерпывающим образом отражает значение высказывания. Как раз то, что это требует такой изобретательности, заставляет усомниться в возможности опереться на это как на базовый принцип метафорической интерпретации, в силу полной очевидности метафоры: любой носитель языка без всякого труда объяснит, что она значит. В метафоре *Сэм — свинья* очевидно как значение высказывания, так и соответствующие сходства, но в *Салли — ледышка* очевидно только значение высказывания. Тем самым более простая гипотеза состоит в том, что эта метафора, как и некоторые другие, рассмотренные ниже, функционирует на основе каких-то иных принципов, чем сходство.

Как только мы займемся поиском таких метафор, обнаружится, что их очень даже немало. К примеру, многочисленные пространственные метафоры времени не основаны на буквальных сходствах. Во фразах *Время летит* или *Часы ползут*, что именно делают время или часы, что бы походило буквально на полет или ползание? Очень заманчиво сказать, что они шли быстро или, соответственно, медленно; но ведь 'идти быстро' и 'идти медленно' — не что иное, как дальнейшие пространственные метафоры. Так же точно и вкусовые метафоры для личностных характеристик отнюдь не основаны на общих свойствах. Мы говорим о *сладкой улыбке* и *горьком разочаровании*, вовсе не имплицируя существование свойств, общих у улыбки и разочарования с вкусовыми ощущениями, которые к тому же исчерпывающим образом отражали бы метафорическое значение высказывания. Вне всякого сомнения, и сладкие улыбки, и сласти приятны; но метафора

передает гораздо больше, чем простую приятность.

Некоторые метафорические ассоциации настолько глубоко укоренены в самой нашей структуре здравого смысла, что мы склонны считать, что здесь должно быть сходство, или даже что сама ассоциация есть вид сходства. Так, мы склонны говорить, что прохождение времени просто-напросто похоже на пространственное движение, но, говоря это, мы забываем, что *прохождение* — это не более чем еще одна пространственная метафора и что голая констатация сходства без указания основания сравнения сама по себе бессодержательна.

Наиболее изощренная версия теории сходства из известных мне принадлежит Джорджу Миллеру [7], и я сделаю краткое отступление ради анализа некоторых ее специфических аспектов. Миллер, как и другие сторонники этой теории, полагает, что значение метафорического выражения может быть передано выражением сходства; но в качестве «реконструкции» метафорического выражения он предлагает выражение сходства специального вида (кстати, весьма напоминающего одну из аристотелевских формулировок). Следуя Миллеру, метафоры структуры «S есть P», где S и P — именные группы, эквивалентны предложениям такого вида:

(23) $(\exists F)\ (\exists G)\ (SIM\ (F\ (S),\ G(P)))$.

Так, предложение *Человек — это волк*, по Миллеру, толкуется как

(24) Существует некое свойство F и некое свойство G такие, что человек в отношении F похож на волка в отношении G.

Когда же мы имеем дело с метафорой, где глагол или предикатное прилагательное F употреблено метафорически в предложении вида «x — F» или «xF», то толкование имеет вид

(25) $(EG)\ (\exists y)\ (SIM\ (G(x),\ F\ (y)))$.

Так, предложение *Задачка кусается* получит следующее толкование:

(26) Существует некое свойство G и некий объект y такие, что задачка в отношении G сходна с y в отношении кусания.

Я убежден, что это описание разделяет все трудности других теорий сходства; а именно, в нем ошибочно предполагается, что употребление метафорического предиката вынуждает говорящего отвечать за существование объекта, относительно которого этот предикат является буквально истинным; оно путает условия истинности метафорического утверждения с принципами его понимания; оно ничего не говорит нам о том, как вычислять значения переменных (Миллер видит эту проблему; он называет ее проблемой «интерпретации» и считает, что она не совпадает с проблемой «реконструкции»); и оно опровергается тем фактом, что не все метафоры имеют в своей основе выражения сходства.

С моей точки зрения, самое слабое место описания Миллера — это то, что в соответствии с этим описанием семантическое содержание большинства метафорических высказываний включает в себя слишком много предикатов, и, кроме того, в действительности не слишком многие метафоры на самом деле соответствуют той формальной структуре, которую он предлагает. Рассмотрим, к примеру, предложение *Человек — это волк.* В соответствии с той версией теории сходства, которая кажется мне наиболее правдоподобной, оно значит что-нибудь типа (27):

(27) Человек похож на волка в определенных отношениях R.

Мы могли бы представить это как

(28) SIM_R (человек, волк).

От слушающего требуется найти только одно множество предикатов, а именно вычислить значения R. Но в описании Миллера слушающему надо обработать целых три множества предикатов. Постольку, поскольку сходство — это пустой предикат, нам, чтобы утверждение о сходстве двух объектов было содержательным, необходимо узнать, в каком отношении эти объекты сходны. Миллер формализует рассматриваемое метафорическое высказывание следующим образом:

(29) $(\exists F)$ $(\exists G)$ (SIM (F (человек), G (волк))).

Чтобы прийти к окончательному виду формулы с указанным в ней основанием сравнения, ее необходимо переписать:

(30) $(\exists F)$ $(\exists G)$ $(\exists H)$ (SIM_H (F (человек), G (волк))).

И переформулировка (30), и исходная формула Миллера (29) содержат слишком много предикатных переменных. Когда я говорю *Человек — это волк*, я не утверждаю существование р а з н ы х наборов свойств для человека и волка, я утверждаю именно существование у них о б щ е г о набора свойств (по крайней мере при благожелательном истолковании теории сходства я говорю именно это). Но, следуя описанию Миллера, я говорю, что человек обладает набором свойств F, волки обладают другим, отличным набором свойств G и человек в отношениях F похож на волков в отношениях G, причем основанием сходства является еще один набор свойств H. Я утверждаю, что такая «реконструкция»: а) противоречит интуиции, б) необоснованна и в) ставит перед говорящим и слушающим нерешаемую вычислительную задачу. Что это за F, G и H? И как прикажете слушающему их искать? Неудивительно, что проблему интерпретации Миллер затрагивает лишь в самых общих чертах. Подобные же возражения применимы и к его описаниям других синтаксических типов метафорических высказываний.

Существует класс метафор, которые я буду называть «реляционными метафорами», для которого нечто подобное толкова-

нию Миллера может быть вполне подходящим. Так, если я говорю:

(8) *Корабль вспахивал гладь моря*

или

(31) *Вашингтон — отец своей страны*,

такие предложения могут быть проинтерпретированы при помощи формул типа миллеровских. (8) и (31) можно рассматривать соответственно как эквиваленты (32) и (33):

(32) Существует некое отношение R между кораблем и морем, которое сходно с отношением между плугом и полем, когда плуг вспахивает поле.

(33) Существует некое отношение R между Вашингтоном и его страной, которое сходно с отношением между отцом и его отпрыском.

При этом (32) и (33) несложно снабдить толкованиями à la Миллер. Однако даже эти толкования кажутся мне уже слишком искаженными в угоду миллеровскому подходу: (8) ни имплицитно, ни эксплицитно не упоминает поля, а (31) — отпрысков. Следуя простейшему и самому правдоподобному варианту теории сходства, (8) и (31) эквивалентны соответственно (34) и (35):

(34) Корабль делает нечто с морем, что похоже на вспахивание.

(35) Вашингтон находится в некотором отношении к своей стране, которое похоже на отношение отцовства.

Задача слушающего в обоих случаях — попросту найти те отношения, которые имеются в виду. В моем описании, которое я предложу в следующем параграфе, сходство в общем случае не выступает как составляющая условий истинности ни по Миллеру, ни по более простой версии теории сходства; скорее, если оно вообще присутствует, то в функции стратегии интерпретации. Таким образом, в самой грубой форме участие сходства в интерпретации (8) и (31) можно представить соответственно так:

(36) Корабль делает нечто с морем (чтобы узнать, что именно, найди отношение, похожее на вспахивание).

(37) Вашингтон находится в определенном отношении к своей стране (чтобы узнать, в каком именно, найди отношение, похожее на отцовство).

При этом слушающему не требуется искать основание сходства этих отношений, поскольку нечто утверждается не о нем. То, что утверждается, — это, скорее, что корабль делает нечто с морем и что Вашингтон находится в определенном отношении к своей стране; а от слушающего требуется обнаружить, что же именно делает корабль и каковы отношения между Вашингтоном и его страной, путем поиска отношений, сходных со вспахиванием и отцовством.

Подведем итоги этого параграфа. Проблема метафоры или очень сложна, или очень проста. Будь теория сходства верной,

она была бы очень проста, поскольку отдельной семантической категории метафор не существовало бы, а была бы категория эллиптичных высказываний с опущенными «как» или «похож». Но увы, теория сходства ошибочна, и проблема метафоры остается очень сложной. Я надеюсь, что довольно-таки долгое обсуждение теории сходства было поучительно по крайней мере в следующих отношениях. Во-первых, существует множество метафор, не основанных ни на каком буквальном сходстве, которое бы адекватно объясняло метафорическое значение высказывания. Во-вторых, даже если и находится соответствующее буквальное утверждение сходства, то условия истинности — а следовательно, и значение — метафорического утверждения и утверждения сходства будут в общем случае разными. В-третьих, из-под обломков теории сходства мы должны вынести набор стратегий для производства и понимания метафорических высказываний при помощи сходства. И, в-четвертых, даже будучи построена как теория интерпретации, а не значения, теория сходства ничего не говорит нам о том, как находить те основания сходства или те сходства, которые метафорически подразумевал говорящий.

ПРИНЦИПЫ МЕТАФОРИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Пришло время попытаться сформулировать принципы, в соответствии с которыми метафоры производятся и понимаются. Еще раз повторимся: мы пытаемся ответить на вопрос, как для говорящего оказывается возможным метафорически сказать «S есть P», имея в виду «S есть R», притом что P со всей очевидностью не значит R? Далее, как оказывается возможным для слушающего, услышавшего высказывание «S есть P», знать, что говорящий имеет в виду «S есть R»? Краткий и неинформативный ответ состоит в том, что произнесение P вызывает в сознании значение, а тем самым и условия истинности, ассоциированные с R; это делается некоторыми особыми способами, с помощью которых метафорические высказывания способны вызывать нечто в сознании. Этот ответ неинформативен до тех пор, пока мы не знаем конкретных принципов, согласно которым высказывание вызывает в сознании метафорическое значение, и пока мы не можем сформулировать эти принципы без использования метафорических выражений типа «вызывать в сознании». Я убежден, что единственного принципа функционирования метафоры нет.

Вопрос «Как функционируют метафоры?» в какой-то мере схож с вопросом «Как одна вещь напоминает нам другую?». На оба эти вопроса единственного ответа нет, хотя сходство, несомненно, играет важнейшую роль при ответе на них. Однако здесь есть два существенных различия: метафора, во-первых, ограничена, во-вторых, систематична. Она ограничена в том смысле, что не всякая способность одной сущности напоминать нам другую может служить основанием метафоры; систематична она тем,

что метафоры должны быть способны передаваться от говорящего к слушающему в процессе коммуникации на основе общего для коммуникантов набора принципов.

Рассмотрим проблему с точки зрения слушающего. Коль скоро мы сможем указать те принципы, в соответствии с которыми слушающий понимает метафорические высказывания, мы тем самым существенно продвинемся в понимании того, как говорящему удается такие высказывания производить: ведь для того, чтобы коммуникация была возможна, необходимо, чтобы говорящий и слушающий обладали общим набором определенных принципов. Пусть, например, слушающий услышал высказывание типа *Салли — ледышка*, или *Ричард — горилла*, или *Билл — дверь сарая*. Каковы те шаги, которые он должен предпринять, чтобы понять метафорическое значение подобных высказываний? Очевидно, отвечая на этот вопрос, мы не берем на себя обязательства сформулировать последовательность сознательных действий слушающего; мы должны лишь представить разумную реконструкцию тех схем вывода, на которых основана наша способность понимать такие метафоры. Более того, отнюдь не все метафоры окажутся столь же просты, как наши примеры; тем не менее модель, построенная для объяснения простых примеров, должна быть применима также и в более общем случае.

Я полагаю, что в простых примерах, рассматривавшихся здесь, слушающий должен пройти как минимум через три серии шагов. Во-первых, он должен располагать некоторой стратегией определения того, надо ли ему вообще заниматься поиском метафорической интерпретации высказывания. Во-вторых, если он решил искать эту интерпретацию, он должен иметь некий набор стратегий или принципов вычисления возможных значений R. Наконец, в-третьих, в его распоряжении должен быть набор стратегий или принципов, позволяющих ему ограничить множество таких R, чтобы решить, наличие каких именно R у S скорее всего утверждается говорящим.

Предположим, слушающему поступило высказывание *Сэм — свинья*. Он знает, что это не может быть буквально истинно, то есть что при буквальной интерпретации данное высказывание безнадежно неправильно. И действительно, такого рода неправильность — свойство почти всех из рассмотренных нами до сих пор примеров. Нарушением, дающим подсказку слушающему, может быть явная ложность высказывания, семантическая бессмысленность, нарушение правил речевого акта или коммуникативных принципов дискурса. Это подсказывает стратегию, на которой основан первый шаг:

Если высказывание, взятое буквально, построено неправильно, ищи значение высказывания, отличающееся от значения предложения.

Это не единственная стратегия, в соответствии с которой

слушающий может предположить наличие у высказывания метафорического значения, но она — самая распространенная (кстати, она также обычна для интерпретации поэзии; когда я слышу, что к фигуре на греческой гробнице обращаются как к «еще нетронутой невесте тишины», я знаю, что мне стоит заняться поиском альтернативных значений). Конечно, неправильность при буквальном понимании вовсе не является необходимым свойством метафорического высказывания. Дизраэли мог бы сказать метафорически:

(5) (МЕТ) *Я взобрался на верхушку скользкого столба*,

даже если он и действительно забрался на верхушку скользкого столба. Есть и другие данные, которые могут служить нам уликами для выявления метафорических высказываний. К примеру, читая поэтов-романтиков, мы всегда настороженно ждем появления метафор; да и просто среди наших знакомых одни испытывают большую склонность к метафорическим высказываниям, чем другие.

Когда наш слушающий уже выяснил, что ему надо искать альтернативное значение, он может воспользоваться несколькими принципами вычисления возможных значений R. Ниже я приведу список этих принципов, но один из них заключается в следующем:

> Когда вы слышите «S есть P», то, чтобы выяснить возможные значения R, вы ищете вероятные черты сходства R и P, а чтобы найти эти черты сходства, вы ищете характерные известные и при этом дистинктивные признаки вещей P.

В последнем примере слушающий, обратившись к своим знаниям о внешнем мире, может найти такие признаки свиней, как 'жирные', 'обжорливые', 'грязные', 'мерзкие' и т. п. Этот неопределенный и неограниченный спектр признаков задает возможные значения R. Однако многие другие признаки свиней являются в такой же мере дистинктивными и известными, например, свиньи обладают характерной (дистинктивной) формой и щетиной. Тем самым, чтобы понять высказывание, слушающему необходимо сделать третий шаг, на котором он ограничит круг возможных значений R; для этого он также может воспользоваться различными стратегиями, но наиболее часто употребляется следующая:

> Вернись к терму S и посмотри, какие из кандидатов в значения R являются вероятными или хотя бы возможными свойствами S.

Тем самым, если слушающему говорят: *Машина Сэма — свинья*, он интерпретирует эту метафору иначе, чем высказывание *Сэм — свинья*. Относительно значения первого высказывания он может счесть, что в нем имеется в виду 'Машина Сэма потреб-

ляет бензин так, как свинья потребляет пищу' или 'Машина Сэма по форме похожа на свинью'. Хотя в некотором смысле оба высказывания содержат одну и ту же метафору, в каждом случае терм S ограничивает ее по-своему. Слушающий должен использовать свои знания о вещах S и вещах P, чтобы узнать, какие из возможных значений R могут претендовать на роль в метафорической предикации.

Заметим, что большая часть разногласий между теориями взаимодействия и теориями сравнения объектов коренится в том, что они могут интерпретироваться как ответы на разные вопросы. Теории сравнения объектов лучше всего понимать как попытки ответить на вопрос второго шага: «Каким образом мы вычисляем возможные значения R?» Теории же взаимодействия лучше всего понимать как ответ на вопрос шага номер три: «Если дана область возможных значений R, то как тогда отношения между термом S и термом P ограничивают эту область?» Я думаю, что неверно описывать эти отношения как «взаимодействия», но предположение, что в метафорах рассматриваемого типа терм S должен играть определенную роль, представляется верным. Чтобы показать, что теория взаимодействия дает также ответ и на вопрос о втором шаге, нам надо было бы предъявить такие значения R, которые можно найти, исходя из S и P вместе, но не из отдельно взятого P; надо было бы показать, что S не ограничивает круг значений R, а в действительности создает новые значения R. Я не думаю, что это можно сделать, но некоторые возможности упомяну ниже.

Я говорил, что существует целый ряд принципов вычисления R исходя из P, то есть целый ряд принципов, в соответствии с которыми произнесение P может вызвать в сознании смысл R некоторым специфическим для метафоры способом. Я уверен, что я не знаю всех этих принципов; приведу для начала лишь несколько из них (необязательно независимых).

Принцип 1. Вещи, которые P, суть, по определению, R. Обычно, если метафора успешна, R будет одним из характерных свойств, определяющих P. Так, к примеру, высказывание

(38) (МЕТ) *Сэм — гигант*

будет понято как

(38) (ПАР) *Сэм высок*,

поскольку гиганты, по определению, обладают высоким ростом. Такова их специфика.

Принцип 2. Вещи, которые P, суть условно R. Опять же, если метафора успешна, свойство R должно быть характерным или известным свойством вещей P.

(39) (МЕТ) *Сэм — свинья*

будет понято как

(39) (ПАР) *Сэм мерзок, грязен, обжорлив и т. д.*

Оба принципа, первый и второй, соотносят метафорические вы-

сказывания с буквальными уподоблениями, типа 'Сэм похож на гиганта', 'Сэм похож на свинью' и т. д. В связи с принципом 2 и следующим принципом заметим, что небольшие сдвиги в терме P могут привести к серьезным изменениям в термах R; ср. *Сэм — свинья, Сэм — кабан* и *Сэм — поросенок.*

Принцип 3. Вещи, которые P, часто считаются R, даже хотя и говорящий, и слушающий могут знать, что R неверно относительно P. Так,

(7) (МЕТ) *Ричард — горилла*

может быть произнесено для передачи смысла

(7) (ПАР) *Ричард свиреп, злобен, склонен к насилию и т. д.*, даже если и говорящий и слушающий знают, что в действительности гориллы — застенчивые, робкие и чувствительные существа; но вековые мифы о гориллах создали ассоциации, позволяющие метафоре достичь цели, даже несмотря на знание говорящего и слушающего о ложности этих представлений.

Принцип 4. Вещи, которые P, не являются R, не похожи на R и не считаются R; тем не менее здравый смысл, в силу природных или культурных факторов, попросту заставляет нас видеть связь между P и R, так что P в нашем сознании ассоциируется со свойствами R. Так, предложения

(4) (МЕТ) *Салли — ледышка*
(40) (МЕТ) *У меня черный период*
(41) (МЕТ) *Мэри — конфетка*
(42) (МЕТ) *Джон скис*

(43) (МЕТ) *Часы нашего ожидания* {*ползли* / *тащились* / *тянулись* / *мчались* / *неслись*} *как в аэропорту*

могут быть произнесены с целью передать следующие метафорические значения: 'Салли неэмоциональна'; 'я сердит и подавлен'; 'Мэри мила, приятна, любезна' и т. д.; 'у Джона испортилось настроение'; 'часы нашего ожидания казались (имеющими различную продолжительность)'. При этом не существует буквальных сходств, лежащих в основе этих метафор. Заметим, что ассоциации тяготеют к скалярности: температура — спектр эмоций, скорость — временна́я протяженность и т. д.

Принцип 5. Вещи P не похожи на вещи R и не считаются похожими на вещи R; тем не менее состояние P похоже на состояние R. Так, я мог бы сказать кому-либо, кто только что получил очень значительное повышение по службе, следующее:

(44) *Ты стал аристократом.*

При этом я не имею в виду, что он лично стал похож на аристо-

крата, но что его новый статус или новое состояние похоже на то, в котором находится аристократ.

Принцип 6. Существуют случаи, когда P и R имеют тождественное или близкое значение, но одно из них, обычно P, имеет ограниченную применимость и буквально к S неприменимо. Так, *тухлое* буквально говорится только про яйца, но мы можем метафорически сказать*:

(45) *Это суфле — тухлое.*
(46) *Этот парламент был тухлый.*
(47) *У него тухлые мозги.*

Принцип 7. Это не отдельный принцип, а способ применения принципов 1—6 к простым случаям, не имеющим вид «S есть P», а относящимся к реляционным метафорам и метафорам других синтаксических типов, к примеру содержащим глаголы или предикативные прилагательные. Рассмотрим следующие реляционные метафоры:

(48) *Сэм пожирает книги.*
(8) *Корабль вспахивал гладь моря.*
(31) *Вашингтон был отцом своей страны.*

В каждом из этих случаев две буквально произнесенные именные группы окружают реляционный терм, произнесенный метафорически; это может быть транзитивный глагол, как в (48) и (8), но необязательно, см. (31). Задача слушающего — не перейти от «S есть P» к «S есть R», а найти переход от «S P-отношение S′» к «S R-отношение S′». Формально это разные задачи, поскольку, к примеру, наши принципы сходства в первом случае позволят ему найти общее для S и P свойство R; во втором же случае слушающий не может найти общее отношение, и искать надо отношение R, отличное от отношения P, но сходное с ним по каким-то параметрам. Применительно к такого рода примерам принцип 1 будет звучать так:

P-отношения суть, по определению, R-отношения.

Например, *вспахивание* — это, в частности, передвижение некоей субстанции в обе стороны от заостренного объекта при движении этого объекта вперед; и хотя это сходство в определении между P-отношением и R-отношением обеспечит принцип, позволяющий слушающему вывести R-отношение, основание сходства не исчерпывает содержание R-отношения в том смысле, в каком сходство исчерпывает содержание терма R в простейших случаях типа «S есть P». В рассматриваемых сейчас случаях задача слушающего — найти отношение (или свойство), сходное или как-то иначе ассоциированное с отношением или свойством, которое

---

* Приведенные буквальные переводы не отражают полностью специфику англ. addled. — *Прим. перев.*

буквально выражается метафорическим выражением P; и принципы позволяют ему произвести выбор такого отношения или свойства, предоставляя те параметры, по которым P-отношение и R-отношение могут быть сходны или как-то иначе ассоциированы.

Принцип 8. В соответствии с моим описанием метафоры вопрос, рассматривать ли метонимию и синекдоху как особые случаи метафоры или как независимые тропы, переходит в чисто терминологическую плоскость. Когда кто-либо говорит «S есть P» и имеет при этом в виду «S есть R», P и R могут ассоциироваться посредством таких отношений, как отношение часть—целое, отношение сосуд—содержимое и даже отношение одежды и одетого в нее. В каждом из этих случаев, как и в собственно метафоре, семантическое содержание терма P передает семантическое содержание терма R при помощи некоторого принципа ассоциации. Поскольку принципы метафоры все равно довольно разнообразны, я склонен рассматривать метонимию и синекдоху как особые случаи метафоры и добавить их принципы к моему списку принципов метафоры. Я могу, к примеру, говорить о британском монархе как о *Короне*, а об исполнительной власти Соединенных Штатов как о *Белом доме*, эксплуатируя регулярные принципы ассоциации. Однако, как я уже говорил, утверждение, что это — особые случаи метафоры, представляется мне имеющим чисто терминологический смысл; если пуристы будут настаивать, что принципы метафоры должны быть отделены от принципов метонимии и синекдохи — что ж, у меня не может быть никаких возражений нетаксономического свойства.

Возникает вопрос, существует ли еще один, девятый принцип в дополнение к перечисленным восьми? Найдутся ли случаи, когда ассоциация P и R, не существовавшая до того, возникала бы при сопоположении S и P в новом предложении? Насколько я понимаю, в этом состоит тезис сторонников теории взаимодействия. Однако я ни разу не видел по-настоящему убедительного примера, равно как и хоть отчасти ясного описания того, что имеется в виду под «взаимодействием». Попытаемся построить несколько примеров сами. Рассмотрим отличия (49) от (50):

(49) *Голос Сэма — это* $\left\{\begin{matrix}\textit{грязь}\\ \textit{гравий}\\ \textit{наждак}\end{matrix}\right\}$.

(50) *Второй аргумент Канта в пользу трансцендентальной дедукции — это просто* $\left\{\begin{matrix}\textit{грязь}\\ \textit{гравий}\\ \textit{наждак}\end{matrix}\right\}$.

Очевидно, второй набор задает другие метафорические значения, то есть другие значения R, чем первая тройка; можно доказы-

вать, что источник этих отличий — не в S-термах, которые по-разному ограничивают круг возможных значений R, порожденных P-термами, а в том, что различные комбинации S и P порождают различные R. Такое объяснение, по-моему, звучит неправдоподобно; более правдоподобное объяснение состоит в следующем. Мы имеем набор ассоциаций, связанных с P-термами *грязь, гравий* и *наждак*. Эти ассоциации строятся в соответствии с принципами 1—7. Разные S-термы ограничивают круг значений R по-разному, так как верными относительно голосов могут быть другие R, чем относительно аргументов в пользу трансцендентальной дедукции. Где же здесь взаимодействие?

Поскольку в этой части работы содержится мое описание метафорической предикации, резюмируем ее главные положения. Если исходить из того, что говорящий и слушающий располагают общими лингвистическими знаниями и знаниями о внешнем мире, достаточными для успешной передачи буквальных высказываний, то для успешного порождения и понимания высказываний вида «S есть P», где говорящий метафорически имеет в виду, что S есть R (при $R \neq P$), по отдельности необходимы, а вкупе достаточны следующие стратегии.

Во-первых, должны быть общие стратегии, позволяющие слушающему распознать, что высказывание замышлялось не как буквальное. Самая распространенная, но не единственная стратегия основана на том, что, воспринятое буквально, высказывание явно оказывается неправильно построенным.

Во-вторых, должны быть общие принципы, которые ассоциируют терм P (будь то его значение, условия истинности или денотация, если она есть) с набором возможных значений R. Самая сердцевина проблемы метафоры — сформулировать эти принципы. Я попытался перечислить некоторые из них, но абсолютно уверен, что найдутся и другие.

В-третьих, должны быть общие стратегии, позволяющие говорящему и слушающему, исходя из их знаний о терме S (будь то знание значения выражения, природы референта, или и того и другого), ограничить круг возможных значений R, придя тем самым к истинному значению R. Основной принцип этого шага заключается в том, что настоящими значениями R могут быть только те возможные значения R, которые задают возможные свойства S.

МЕТАФОРА, ИРОНИЯ И КОСВЕННЫЕ РЕЧЕВЫЕ АКТЫ

В заключение я хотел бы вкратце сопоставить принципы функционирования метафоры с принципами функционирования иронии и косвенных речевых актов. Рассмотрим сначала иронию. Предположим, вы разбили бесценную китайскую вазу танской эпохи, и я говорю с иронией: *Это был гениальный поступок.* Здесь, как и в метафоре, значение говорящего и значение пред-

ложения различны. Каковы принципы, на основе которых говорящий может заключить, что слушающий имел в виду 'Это был глупый поступок', хотя услышал он предложение *Это был гениальный поступок*? В очень грубой формулировке механизм функционирования иронии заключается в том, что высказывание, если его воспринимать буквально, оказывается очевидно неуместным в данной ситуации. Поскольку оно абсолютно неуместно, слушающий вынужден переинтерпретировать его так, чтобы сделать уместным, а самой естественной будет интерпретация, при которой значение высказывания противоположно его буквальной форме.

Я вовсе не утверждаю, что этим исчерпывается разговор об иронии. Культуры и субкультуры имеют гигантский разброс относительно пределов допустимости лингвистических и экстралингвистических подсказок, которыми снабжаются иронические высказывания. В английском языке существуют определенные характерные интонационные контуры, сопровождающие иронические высказывания. Важно, однако, понимать, что ирония, как и метафора, не требует никаких конвенций, ни экстралингвистических, ни каких бы то ни было иных. Принципов построения дискурса и общих правил произведения речевых актов достаточно для задания базовых принципов иронии.

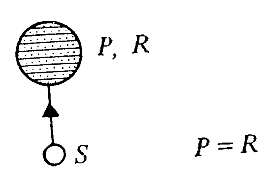
Обратимся теперь к примеру косвенного речевого акта. Предположим, в стандартной ситуации застолья я говорю вам: *Вы не могли бы передать соль?* В этой ситуации вы воспримете это предложение как значащее «Передайте, пожалуйста, соль», то есть вопрос о ваших возможностях вы поймете как просьбу произвести действие. Каковы принципы, лежащие в основе этого вывода? Есть фундаментальная разница между косвенными речевыми актами, с одной стороны, и метафорой и иронией — с другой. Производя косвенный речевой акт, говорящий имеет в виду то, что он говорит; но вдобавок он имеет в виду и нечто большее. Значение предложения составляет часть значения высказывания, которое этим не исчерпывается. Вот в крайне упрощенной форме (более детальное описание см. в [10]) те принципы, на которых основан в данном случае вывод. Во-первых, слушающий должен располагать каким-то способом распознавания высказывания, могущего быть косвенным речевым актом. Это требование удовлетворяется тем фактом, что в указанном контексте вопрос о возможностях слушающего лишен всякой дискурсивной осмысленности. Тем самым слушающий вынужден искать альтернативное значение. Во-вторых, поскольку слушающий владеет правилами речевых актов, он знает, что его способность передать соль есть предварительное условие речевого акта, состоящего в обращенной к нему просьбе сделать это. Тем самым он способен сделать вывод, что вопрос о его возможностях, вероятно, является вежливой просьбой произвести действие. Сходства и различия между буквальными высказываниями, метафорическими выска-

зываниями, ироническими высказываниями и косвенными речевыми актами показаны на рисунках ниже.

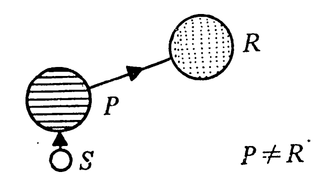
Графическое сравнение отношений между значением предложения и значением высказывания, где значение предложения — это «S есть P», а значение высказывания — «S есть R», то есть где говорящий произносит предложение, буквально значащее, что объект S относится к концепту P, но своим высказыванием он имеет в виду, что объект S относится к концепту R.



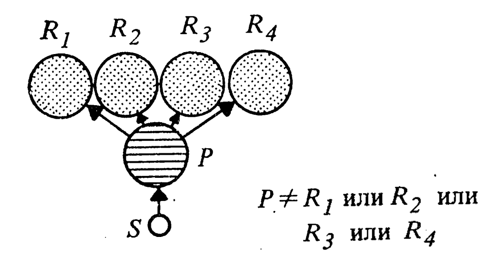
1. **Буквальное высказывание.** Говорящий произносит «S есть P» и имеет в виду «S есть P». Тем самым говорящий относит объект S к концепту P, где $P = R$. Значение предложения и значение высказывания совпадают:



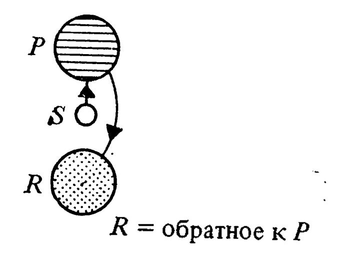
2. **Метафорическое высказывание (простое).** Говорящий произносит «S есть P», но имеет в виду метафорически, что S есть R. Значение высказывания выводится через буквальное значение предложения:



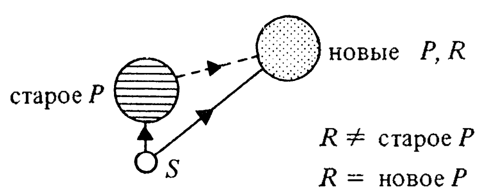
3. **Метафорическое высказывание (открытое).** Говорящий произносит «S есть P», но имеет в виду метафорически открытое множество значений «S есть R_1», «S есть R_2» и т.д. Как и в случае простого метафорического высказывания, метафорическое значение выводится через буквальное значение:



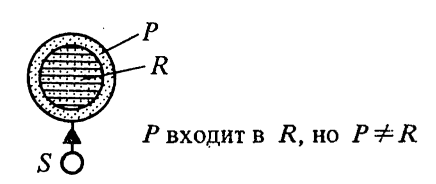
4. **Ироническое высказывание.** Говорящий имеет в виду обратное тому, что он сказал. Значение высказывания выводится через выявление значения предложения с последующим обращением этого значения в противоположное:



5. **Мертвая метафора.** Исходное значение предложения остается в стороне, а предложение получает новое буквальное значение, совпадающее с исходным метафорическим значением высказывания. Это — сдвиг от диаграммы метафорического высказывания (случай 2) к диаграмме буквального высказывания:



6. **Косвенный речевой акт.** Говорящий имеет в виду то, что он сказал, но он также имеет в виду и нечто большее. Тем самым значение высказывания включает значение предложения, но само выходит за его рамки:



На вопрос, со всеми ли метафорическими высказываниями можно соотнести буквальную парафразу, следует тривиальный ответ. При одном понимании ответ на него тривиально положительный, при другом — тривиально отрицательный. Если мы понимаем вопрос так: «Возможно ли найти или построить выражение, которое будет в точности выражать имеющееся в виду метафорическое значение R, в смысле условий истинности для R, для всякого метафорического произнесения «S есть P», где имеется в виду «S есть R»?» — то ответ на него будет, безусловно, положительным: из Принципа Выразимости (см. [9]) непосредственно вытекает, что абсолютно любое значение может получить точное выражение в языке.

Если же вопрос понимается иначе, а именно: «Обеспечивает ли нас каждый из существующих языков точными средствами для буквального выражения всего, что бы мы могли пожелать выразить произвольной метафорой?» — то тогда ответ, очевидно, отрицательный. Часто мы используем метафору именно и ровно потому, что не существует буквального выражения, которое бы выражало в точности то, что мы имеем в виду. Более того, в метафорических высказываниях мы достигаем большего, чем простое утверждение, что S есть R; как показано на рисунке, мы утверждаем «S есть R», проходя через значение «S есть P». Именно в этом смысле оправданно наше ощущение, что метафорам внутренне присуща некая неперефразируемость. Они не поддаются перефразированию, так как, не используя метафорическое выражение, мы не можем воспроизвести семантическое содержание, которое участвует в процессе понимания высказывания слушающим.

Максимум, чего мы можем достичь в парафразе, — это воспроизвести условия истинности метафорического высказывания; но метафорическое высказывание не только передает свои условия истинности. Оно передает условия истинности через другое семантическое содержание, условия истинности которого не входят в набор условий истинности данного метафорического высказывания. Выразительная мощь, которую мы ощущаем в хороших метафорах, связана по большей части с двумя свойствами. От слушающего требуется обнаружить, что имеет в виду говорящий — его вклад в коммуникацию должен быть больше, чем просто пассивное восприятие, — и он должен достичь этого, пройдя через иное семантическое содержание, чем то, которое сообщается (хотя оно и связано с сообщаемым). Насколько я понимаю, именно это имел в виду доктор Джонсон, говоря, что метафоры дают нам две идеи на месте одной.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Говоря об этих наборах, необходимо избежать смешений типа употребление-упоминание. Иногда мы будем говорить о словах, иногда о значениях, иногда о референтах и денотатах, а иногда об условиях истинности.

[2] В этой классификации я следую работе [2].

[3] Даже в работе [4], где взаимодействие разъясняется в терминах «импликативных комплексов», не содержится точной формулировки тех принципов, на которых основана работа взаимодействия. Тот пример, который рассматривает Блэк (*Брак — это игра с нулевым общим выигрышем*), до огорчительного походит на сравнительную метафору: «Брак похож на игру с нулевым общим выигрышем тем, что он является антагонистическим отношением между двумя участниками, при котором одна из сторон может получить что-либо только за счет другой». Нелегко обнаружить, что́ именно разговоры о взаимодействии могут добавить к этому анализу.

[4] Под «буквальным уподоблением» я понимаю буквальное выражение сравнения. Можно требовать ограничить употребление термина «уподобление» только по отношению к небуквальным сравнениям, но я здесь использую этот термин иначе.

[5] Более того, можно найти основания утверждать, что в этом примере *ледышка* функционирует метонимически.

ЛИТЕРАТУРА

[1] A s c h S. E. The metaphor: A psychological inquiry. — In: R. Tagiori and L. Petrullo (eds.). Person, Perception and Interpersonal Behavior. Stanford Univ. Press, 1958.

[2] B e a r d s l e y M. C. The metaphorical twist. — "Philosophy and Phenomenological Research", Vol. 22, 1962 (см. также наст. сборник).

[3] B l a c k M. Metaphor. — In: M. Black. Models and Metaphors. Ithaca — N. Y., Cornell Univ. Press, 1962 (см. также наст. сборник).

[4] B l a c k M. More about Metaphor. — In: A. Ortony (ed.). Metaphor and Thought. Cambridge Univ. Press, 1979.

[5] C a v e l l S. Must We Mean What We Say? Cambridge Univ. Press, 1976.

[6] H e n l e P. (ed.). Language, Thought and Culture. University of Michigan Press, 1965.

[7] M i l l e r G. Images and models, similes and metaphors. — In: A. Ortony (ed.). Metaphor and Thought Cambridge Univ. Press, 1979 (см. также наст. сборник).

[8] R i c h a r d s I. A. The Philosophy of Rhetoric. Oxford Univ. Press, 1936 (фрагмент см. в наст. сборнике).

[9] S e a r l e J. R. Speech Acts. Cambridge Univ. Press, 1969.

[10] S e a r l e J. R. Indirect speech acts. — In: P. Cole and J. P. Morgan (eds.). Syntax and Semantics, vol. 3: Speech acts. N. Y., Academic Press, 1975 (русск. перевод см. в сб.: Новое в зарубежной лингвистике, вып. XVII: Теория речевых актов. М., «Прогресс», 1986).

[11] S e a r l e J. R. Literal Meaning. — "Erkenntnis", Vol. 13, 1978.

СЭМЮЭЛЬ ЛЕВИН

ПРАГМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ

1. СФЕРА КОМПЕТЕНЦИИ ЛИНГВИСТИКИ

Язык, как нам постоянно говорят и как все мы знаем, — это функция человека, которая пронизывает и определенным образом упорядочивает нашу повседневную жизнь. Мы поистине сотворены языком в том смысле, что люди владеют им и что это владение выделяет нас среди других живых существ. Поэтому язык как свойство человека заслуживает самого серьезного исследования, и такое исследование вознаграждается тем, что мы получаем знания о нас самих и о нашей деятельности в мире.

Исследования языка и есть лингвистика. Подобного рода определение представляется достаточно простым, бесхитростным и в общем приемлемым. Однако, как и во многих других областях научного исследования, где можно предложить столь же несложные определения, такое определение в большей мере поднимает вопросы, чем содержит ключ к ответам. Ибо дело вовсе не обстоит таким образом, что мы располагаем априорным знанием того, что есть язык, тем самым — знанием предмета лингвистики, которая должна лишь предложить удовлетворяющую нас теорию языка. Перед лицом подобных трудностей лингвистика, конечно, находится ничуть не в лучшем положении, чем, скажем, физика или логика, которые точно так же не располагают априорным знанием природы движения и материи или существования и истины.

Вследствие этой исходной неопределенности предмета лингвистики в ней бытует множество разнообразных теорий. Среди всех этих вариантов мы все же должны выделять те, которые отличаются от других лишь (чисто) формально-терминологически, и те, чье отличие от других есть функция особых представлений о природе тех эмпирических фактов, для объяснения которых предназначена соответствующая теория. Формально-терминоло-

---

Samuel R. Levin. Pragmatic Deviance. — Глава I из книги: Levin S. R. The Semantics of Metaphor. The Johns Hopkins University Press, Baltimore—London, 1977.

гические варианты могут быть охвачены одной и той же теоретической моделью. В этих случаях понимание подлежащих объяснению эмпирических фактов, то есть представление о том, что составляет язык и тем самым должно быть объяснено, остается неизменным при переходе от варианта к варианту[1]. Если согласиться с расхожим утверждением, что порождающая семантика и расширенная стандартная теория Хомского являются всего лишь понятийными вариантами одного и того же, тогда эти две теории должны отличаться друг от друга только формально-терминологически. Если бы, с другой стороны, было показано, что порождающая семантика (или расширенная теория) охватывает более широкий диапазон языковых фактов, тогда эти две теории отличались бы своими теоретическими основаниями, то есть той реальностью, для постижения которой предназначен понятийный язык теории.

Было бы весьма поучительно рассмотреть критические замечания, направленные в адрес тех лингвистических теорий, которые были выдвинуты в недавнем прошлом (здесь мы не можем предпринять такого обзора). Разумеется, подобная критика нередко имеет целью показать, что определенные факты, входящие в область теории, не могут быть объяснены средствами данной теории или могут быть объяснены очень неэффективно. Однако чаще критика предполагает наличие таких фактов языка (и тем самым фактов, подлежащих объяснению в рамках лингвистической теории), которые критикуемая теория вообще не числит в своей предметной области. Среди наиболее сокрушительных критических претензий, выдвинутых в последнее время, следует указать критику Хомского, направленную в адрес дескриптивной или блумфилдианской лингвистики. Хомский утверждал, что язык состоит не только из предложений как конкретных проводников коммуникации, абстрагированных от говорящих и окружающей обстановки, как полагал Блумфилд, но и включает в себя те знания о предложениях языка, которыми обладают говорящие, то есть так называемую компетенцию носителя языка. Следствием этого широкого взгляда на язык явилось введенное Хомским в его теорию противопоставление глубинного и поверхностного структурных представлений предложения. Чтобы на одном примере проиллюстрировать сущность различных концепций, рассмотрим следующее предложение:

(1) In tragic life nobody is always happy
‘В (этой) печальной жизни никто не бывает всегда счастлив’.

Если это реальное предложение рассматривается как единственный и достаточный источник для грамматического описания, то как следует в нем трактовать прилагательное tragic ‘печальный’, ‘трагический’? Как следует решить вопрос о том, как определяет оно существительное life ‘жизнь’ — рестриктивно или нерестриктивно? Может показаться, что на основе одних данных, ограни-

ченных рамками предложения (1), нельзя прийти к какому-либо определенному решению. Однако должно быть очевидно, что tragic в (1) употреблено нерестриктивно. Если грамматика предлагает разные глубинные структуры для рестриктивных и нерестриктивных определений, скажем, соответственно в виде вложенных и сочиненных предложений, то тем самым обеспечивается основа для правильного анализа предложения (1). Нет нужды говорить о том, что проблема решается равным образом и в том случае, если мы будем трактовать tragic в (1) как рестриктивное определение или как неоднозначное. Одно из замечательных достижений Хомского состояло в том, что он не только раздвинул пределы лингвистики, рассматривая язык в более широком смысле, но и предложил теоретический аппарат для отображения новых аспектов языка.

Трансформационная порождающая грамматика Хомского и дескриптивная лингвистика Блумфилда различаются, согласно существующим описаниям, в целом ряде аспектов. Эти две теории разительно отличаются друг от друга по теоретическим конструктам, формальным операциям, уровням представления и т. п. Подобные различия можно было бы считать чисто формально-терминологическими. Логически ничто не препятствует тому, чтобы теории таких различных видов были ориентированы на одно и то же множество эмпирических фактов. Но, конечно, в рассматриваемом случае дело обстоит не так. Нам достаточно отметить следующее важное различие этих двух теорий: Хомский включил в множество подлежащих объяснению эмпирических фактов целый класс фактов, явно исключенных Блумфилдом из области лингвистики. Тем самым лингвистическая теория Хомского настолько богаче теории Блумфилда, насколько шире она охватывает язык.

Несмотря на эти и аналогичные им успехи в трактовке предмета лингвистики, сама проблема все же сохраняется. И трудно предполагать, что можно прийти к какому-либо общему соглашению, удовлетворяющему всех исследователей, относительно такого понятия, как язык, с его всепроникающей и всеобъемлющей природой. Так, в современной лингвистической литературе развертываются дискуссии, в которых предлагается расширить сферу лингвистической теории так, чтобы охватить целые связные тексты (а не только отдельные предложения), речевые акты, перцептуальные стратегии, осуществляемые в ходе анализа фраз, намерения говорящих, прагматические факторы, связанные с окружающей обстановкой, социокультурный фон и другие характеристики всей коммуникативной ситуации, взятой в полном объеме. Из всех подобных предложений вытекают очевидные следствия для решения вопроса о природе языка — чем на самом деле является язык[2].

Отдельный аспект общей проблемы, эскизно обрисованной выше, — это аномальные (отклоняющиеся) выражения. Связи

этой частной проблемы с языком и тем самым правомерности ее включения в лингвистическую теорию в литературе недавнего времени уделяется значительное внимание. Хотя очевидно, что аномальные выражения представляют интерес для любого исследования, посвященного проблеме метафоры, но связанные с ними вопросы имеют также и безусловное теоретическое значение для построения грамматик. Действительно, в последующем изложении мы сможем выявить такое направление научной мысли, в котором отражены более ранние трактовки отклонения, рассматривающие его с чисто лингвистической точки зрения и направленные прежде всего в сторону преуменьшения или предупреждения последствий той проблемы, которую отклонения языковых выражений ставят перед единством грамматики; между тем более поздние трактовки языковых отклонений отражают в первую очередь их значимость для экспликации метафоры и, следовательно, обусловлены задачей возложить ответственность за интерпретацию метафоры на грамматику или, по крайней мере, на лингвистическую теорию. В этом последовательном движении от одной трактовки к другой мы наблюдаем — конечно, в несколько ослабленной форме — неявное расширение того объекта, который охватывается понятийным языком теории.

2. ПРОБЛЕМА ЯЗЫКОВЫХ ОТКЛОНЕНИЙ

Как указывалось выше, из проблемы языковых отклонений вытекают проблемы построения грамматики. Однако проблемы, поднимаемые языковыми отклонениями, могут быть рассмотрены также в более широком контексте, а именно — в контексте общей теории языка, если под ней понимать теорию, охватывающую более обширную область, чем только фонология, синтаксис и семантика, взятые в совокупности. Эту проблему можно рассматривать и с более узкой точки зрения, в ее связи с построением грамматик. С такой точки зрения основной значимостью обладают синтаксические и семантические отклонения; фонологические же, в той мере, в какой они вообще возможны, обладают сравнительно малой теоретической значимостью. Хотя попытки определения семантического отклонения в противопоставлении к синтаксическому в общем и целом не были успешными (обычно они опирались скорее на некоторую функцию лингвистических правил, чем на существенные свойства языковых единиц, считавшиеся релевантными для описания их поведения в конкретных случаях употребления), само понятие семантического отклонения кажется интуитивно вполне ясным. Под семантическим отклонением мы понимаем такой тип языкового отклонения, который возникает в результате «неправильного» сочетания лексических единиц; ср. известный пример Green ideas sleep furiously 'Зеленые идеи яростно спят', где отклонение представляется как непосредственная функция сочетающихся значений слов, а

вопросы референции, пресуппозиции, интенции и соответствующих признаков внеязыковой обстановки либо являются вторичными, либо вообще не ставятся. Семантическое отклонение в понимании, близком предложенному выше, было и остается предметом бурных теоретических дискуссий. Далее мы бегло рассмотрим некоторые разновидности языковых отклонений, которые не являются — или не являются в строгом смысле — семантическими (или синтаксическими) и могут поставить серьезные проблемы перед общей теорией языка.

Если мы определяем языковое отклонение в общем плане как некоторое отступление от правильности (well-formedness), тогда, поскольку существует много норм правильности, кроме нормы семантической сочетаемости (согласованности — compatibility), оказывается возможным рассматривать типы отклонений, отличные от семантических. Хотя такое общее определение предполагает разнообразие типов отклонений, наша цель здесь сводится к обсуждению ограниченной области этого разнообразия — той области, которая охватывает типы отклонений, входящие в компетенцию общей прагматики.

2.1. Прагматическое отклонение. Кроме семантического (и синтаксического) аспекта, язык обладает также прагматическим аспектом. Речь идет о тех механизмах, которые связывают язык с контекстом его употребления. Контекст включает в себя говорящего, слушающих и внеязыковую обстановку общения. Хотя эти механизмы отличаются разнообразием и тонкостью, хотя многие из них еще не познаны или недостаточно поняты, все же можно выделить две основные сферы прагматической функции: сферу речевых актов и сферу индексных выражений. Главная мысль, лежащая в основе понятия речевого акта, состоит в том, что, помимо выражения собственно смысла, предложение может также с о в е р ш а т ь некоторое д е й с т в и е: оно может утверждать нечто, спрашивать о чем-либо, приказывать, предупреждать, обещать и т. п.; все это суть акты, которые совершает говорящий, высказывая то или иное предложение. Индексное выражение — это такое выражение, смысл которого определяется внеязыковым контекстом его употребления; примерами индексных выражений могут служить личные местоимения, указательные местоимения, наречия времени или места, показатели глагольного времени и т. п.

Понимаемая таким образом прагматика исследует типы употребления, к которым говорящий относит свои высказывания, и роль контекста при определении способа понимания высказывания. С этими двумя параметрами языкового употребления соотносятся нормы правильности или уместности высказывания; нарушение этих норм и приводит к тому, что мы можем назвать прагматическим отклонением. Эти нормы называются разными исследователями по-разному: принципы, соглашения, пресуппо-

зиции. Но независимо от названия они, в сущности, сводятся к определенному набору молчаливо подразумеваемых исходных положений, относящихся к тем правилам, которые в типичных случаях соблюдают говорящий и его слушатели в ситуации языкового общения, и к той роли, которую играет в этой ситуации внеязыковой контекст[3]. Коль скоро имеются некоторые нормы, они (как всякие нормы) могут быть нарушены; если нормы относятся к участникам речевых актов или к роли, выполняемой в таких актах внеязыковым контекстом, то любое нарушение этих норм мы можем считать прагматическим отклонением. В следующих разделах мы рассмотрим несколько разновидностей такого отклонения.

2.1.1. *Аномальность речевого акта.* Интересное обсуждение отклонений (аномалий), проистекающих из нарушения норм, регулирующих речевые акты, дано в работе [3]. Анализ, предложенный в этой работе, основан на теории речевых актов Дж. Остина [1]. В этой теории Остин различает локутивные (L), иллокутивные (I) и перлокутивные (P) акты. Эти акты представляют три способа обращения со словами, и Остин определяет их следующим образом:

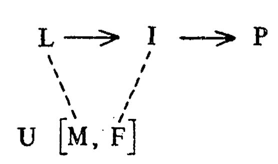
Акты говорения: локуции (L);
Акты, совершаемые при говорении: иллокуции (I);
Акты, совершаемые посредством говорения: перлокуции (P).

Пример Остина, цитируемый в [3]:

(L): He said to me, “Shoot her!”
‘Он сказал мне: «Застрели ее!»’
(I): He urged me to shoot her
‘Он побуждал меня застрелить ее’.
(P): He persuaded me to shoot her.
‘Он уговорил меня застрелить ее’.

Далее, с любым высказыванием (U) могут быть соотнесены некоторый смысл (M) и иллокутивная сила (F).

Опираясь на эти понятия, Коэн предлагает следующую общую схему речевого акта:



Пунктирные линии на этой схеме указывают, что смысл высказывания реализуется как локуция, а его иллокутивная сила —

как иллокуция. В связи с эффектом, производимым иллокуцией, Коэн вводит разграничение прямых и ассоциированных перлокуций. Все перлокуции, проистекающие из локуции, являются прямыми, а ассоциированные перлокуции составляют соответствующее подмножество этих последних, а именно: они, так сказать, соответствуют вызывающим их иллокуциям. Так, иллокуция угрозы может надоедать кому-либо, забавлять или же устрашать кого-либо. Все эти последствия иллокуции будут прямыми перлокуциями, но только последнее будет ассоциированной перлокуцией. Понятие ассоциированной перлокуции существенно для Коэна потому, что оно фигурирует в одном из нижеприведенных критериев (е), определяющих то, что Коэн называет прозрачным речевым актом. Полный набор критериев Коэна таков:

(a) Высказывание U имеет один буквальный смысл.
(b) Смысл того, что говорится в локуции L, есть смысл высказывания U.
(c) Иллокутивная сила высказывания U указана в самом U.
(d) Иллокуция I есть активатор иллокутивной силы высказывания U.
(e) Существует по меньшей мере одна перлокуция P, прямо ассоциированная с иллокуцией I, и все участники речевого акта допускают возможность того, что P возникает в результате I.

Хотя Коэн и говорит, что речевые акты обычно не прозрачны, мы имеем право, как мне кажется, считать, что критерии (а—е) задают нормы правильности речевых актов, поскольку если некий смысл присваивается непрозрачному высказыванию, то такое присвоение требует выполнения некоторых умозаключений на основе признаков контекстной ситуации, в которой делается высказывание, тем самым выходя за пределы области, охватываемой критериями (а—е). Необходимость выполнения этих дополнительных умозаключений можно, таким образом, рассматривать как сигнал того, что данное высказывание аномально в том или ином аспекте.

Приступая к обсуждению иллокутивного отклонения, Коэн прежде всего указывает, что критерии (а—е) объясняют случаи семантического отклонения, а именно те случаи, в которых прозрачность утрачена на уровне смысла высказывания, то есть отклонение проявляется в локуции, например: Men are wolves 'Люди — волки'. В подобных случаях отсутствие прозрачности является вследствием действия механизма семантического истолкования (semantic construal), который учитывает только значения слов в высказывании. Коэн далее предполагает, что есть и такие случаи, когда прозрачность утрачивается на уровне иллокутивной силы высказывания. Это означает, что аномальна

именно иллокуция. Для иллюстрации этого последнего типа отклонения Коэн приводит следующие примеры:

(2) I promised that I was in Chicago yesterday
'Я обещал, что я вчера был в Чикаго'.

(3) I promise to live past 1992
'Я обещаю жить после 1992 года'.

В (2) и (3) иллокутивная сила выражена эксплицитно посредством перформативного глагола promise 'обещать'. Однако ни в (2), ни в (3) нет иллокутивного акта обещания. В (2) реализация иллокутивной силы блокируется потому, что одно из условий, регулирующих обещание, состоит в том, что обещаемое должно относиться к будущему, а это условие не согласуется с временем глагола в дополнительном придаточном предложении. Таким образом, в (2) отклонение является функцией высказывания. Однако (2) отличается от предложений типа Men are wolves тем, что его аномальность есть не просто функция значений слов, а функция этих значений в их отношении к иллокутивной силе. Присвоение высказыванию (2) некоторого смысла тем самым предполагает истолкование иллокуции на основе иллокутивной силы обещания, которая должна быть согласована со смыслом, передаваемым частью высказывания, не включающей перформативного глагола. В данном случае истолкование касается такого иллокутивного акта, который представляет собой нечто вроде утверждения или уверения [3, p. 682].

В (3) мы сталкиваемся с проблемой иного рода. Иллокуция обещания отменяется здесь не по соображениям времени, поскольку в этом случае обещаемое действительно относится к будущему. Таким образом, отклонение здесь не является собственной функцией высказывания. Проблема в случае (3) состоит в том, что говорящий не может гарантировать выполнение обещания, содержащегося в данном высказывании, но эта неспособность никак не отмечена в самом высказывании. Иллокуция, реально передаваемая в (3), есть скорее иллокуция надежды или желания. Однако для истолкования этой иллокуции на основе (3) следует обратиться к тем соображениям, которые выходят за пределы самого высказывания.

Коэн рассматривает другой пример:

(4) I beg you to get well
'Я прошу вас быть здоровым',

в котором иллокуция также не является актом просьбы, хотя мы имеем здесь перформативный глагол beg 'просить, умолять'. По поводу (4) Коэн пишет: «Произнести фразу I beg you to get well не значит просить о чем-либо именно потому, что перлокутивные эффекты, ассоциируемые с актом прошения, в данном случае просто неуместны» [там же, с. 683]. По-видимому, аналогичным доводом можно воспользоваться для объяснения того,

почему в (2) и (3) иллокутивная сила обещания не реализуется. Мы могли бы сказать, что ассоциированная с обещанием перлокуция есть ожидание его будущего выполнения. В (2) эта перлокуция отменяется самим высказыванием, а в (3) — нашим знанием условий, регулирующих жизнь.

Анализ примеров (2) и (3) у Коэна показывает, что высказывания могут употребляться таким способом, который делает их аномальными. Предложение может выражать обещание или просьбу, но обстоятельства его употребления могут быть таковы, что оно понимается как осуществление чего-то совсем другого. Коэн называет такие речевые акты фигуральными (figurative), поскольку для получения их действительного смысла требуется особое истолкование. Поскольку это истолкование предполагает обращение к признакам, лежащим вне пределов высказывания, и поскольку эти признаки связаны со способом употребления высказывания, мы можем говорить в подобных случаях о прагматической метафоре.

2.1.2. *Индексные отклонения.* Использованная Коэном аргументация может быть применена, mutatis mutandis, и в другой сфере прагматики — сфере индексных выражений. И с этой точки зрения высказывание может быть употреблено таким способом, который делает его аномальным. Более того, и здесь выделяются два типа отклонений — в зависимости от того, является ли отклонение, включающее индексное выражение, функцией самого высказывания или же обусловливается также экстралингвистическими факторами.

Как было указано выше, индексное выражение — это такое выражение, смысл которого определяется внеязыковым контекстом. Другой способ трактовки индексов — это трактовка их как знаков, смысл которых меняется в зависимости от временнóй или пространственной ориентации их употребления (таковы глагольные времена и некоторые наречия) или в зависимости от объектов, положений дел, имеющих место в обстановке их употребления (таковы личные и указательные местоимения)[4].

Индексы составляют менее однородный класс, чем класс констант речевого акта. Это объясняется следующим образом: хотя всем индексам присуще одно общее свойство, состоящее в соотнесении высказывания с определенными внеязыковыми параметрами, эти параметры отличаются большим разнообразием, а индексы варьируют соответствующим образом. По этой причине и в особенности ввиду того, что наша цель состоит в экспликации отклонений, любые нормы, вводимые нами для стандартного употребления индексов, будут действительны не для всего класса в целом, а для отдельных подтипов. Для наших целей будут достаточны две такие нормы:

(f) Если в высказывании встречается временнóе наречие, оно должно быть согласовано с временем глагола.

(g) Если сказуемое сочетается с индексом, референт индекса должен удовлетворять всей предикации.

Рассмотрим теперь следующее высказывание, с которым обращается начальник к своему секретарю:

(5) (If you like your job) you'll finish these reports yesterday
'(Если вам нравится ваша работа) вы закончите эти отчеты вчера'.

В (5) время глагола помещает подлежащее выполнению задание в будущее. Тем самым создается противоречие между временем, указываемым в глаголе, и временем, определяемым наречием yesterday 'вчера'. Норма (f) здесь нарушена, что делает (5) аномальным. Коль скоро отклонение затрагивает значение индекса, то это прагматическое отклонение. Истолкование, вынуждаемое высказыванием (5), состоит в необходимости скорейшего выполнения задания. Более того, аномальность высказывания (5) сходна с аномальностью примера Коэна (2) I promised that I was in Chicago yesterday 'Я обещал, что вчера был в Чикаго' в том отношении, что она вычитывается из самого высказывания, без привлечения экстралингвистических знаний. Различие между этими двумя случаями состоит в том, что в (2) один из двух рассогласованных членов представлен иллокутивной силой, а в (5) соответствующий член представлен индексом (другой член в обоих случаях — глагольное время)[5].

Рассмогрим теперь примеры:

(6) That's a { lot of hot air / pile of garbage.
'Это { просто пустая болтовня (букв.: масса горячего воздуха)'. / ерунда (букв.: куча мусора)'.

(7) You give me a pain in the neck.
'Вы меня раздражаете (букв.: причиняете мне боль в шее)'.

В случае (6) лицо А обращается к лицу В после того, как В изложил А некоторые свои мысли, а высказывание (7) направлено к лицу, чье поведение невыносимо для говорящего. В (6), если и есть препятствие для понимания, оно не присуще высказыванию как таковому; препятствие состоит скорее в том, что «объект», обозначаемый местоимением that, не является на самом деле hot air 'горячим воздухом' или garbage 'мусором' [имеется в виду буквальное прочтение этих примеров]. Аналогично для (7): некто в принципе может причинить другому боль в шее, но референт, обозначенный you, реально этого не делает. В (6) и (7) норма (g) нарушена. Более того, (6) и (7) сходны с примером Коэна (3) I promise to live past 1992 'Я обещаю жить после 1992 года' — в том отношении, что несогласованность в этих примерах не

проистекает исключительно из значений слов, но должна быть реконструирована по соображениям, выходящим за пределы высказывания. Истолкование высказываний (6) и (7) должно строиться не просто с учетом значений слов, но с учетом этих значений в соотнесении их с объектами, на которые указывают дейктические слова. Разумеется, экстралингвистические соображения, используемые для истолкования примеров (6) и (7), отличаются от соображений, требуемых для истолкования примера Коэна (3), однако это различие является следствием разных прагматических признаков, существенных для этих случаев.

2.2. Застывшие прагматические отклонения. Как и в любом метафорическом процессе, прагматические метафоры могут застывать. Коэн [3, p. 682] предполагает, что для некоторых носителей британского и американского вариантов английского языка предложение

(8) I promise that *p* is true
'Я обещаю, что *p* истинно'

является вполне нормальным предложением, таким, в котором некто обещает нечто. Коль скоро (8) содержит тот же вид иллокутивной несогласованности, который присущ двум примерам Коэна (2) и (3), тот факт, что (8) не предполагает никакого особого истолкования (для соответствующих носителей языка), требует объяснения. Объяснение Коэна состоит в том, что (8) — это застывшая (или «окаменевшая», для некоторых других носителей языка) метафора. А вопрос о стертых и о застывших метафорах требует для своего правильного понимания исследования определенных языковых процессов, в связи с чем встает вопрос о лингвистической диахронии. Здесь мы не будем предпринимать такого исследования, однако можем предположить, что многие случаи употребления индексных выражений, которые мы сегодня не без удивления воспринимаем как стандартные, в действительности могли сложиться в результате исторических языковых процессов; иными словами, в свое время подобные употребления были аномальными и требовали особого истолкования, но впоследствии они стали застывшими и теперь предстают перед нами совершенно шаблонными способами выражения. Рассмотрим, например, индексы, выделенные в следующих предложениях:

(9) *Here* is what should be done
'Вот то (букв. *Здесь* есть то), что следует делать'.

(10) *There's* a fly on the wall
'На стене муха' (букв. '*Там* есть муха на стене').

(11) *This* is what I'd like you to do
'Вот (букв. *Это* есть то,) что мне хотелось бы от вас'.

(12) *That's* not a good argument
'*Это* не убедительный довод'.

Если исходить из предположения, что смыслы (функции) выде-

ленных слов в (9—12) в действительности представляют собой застывшие метафоры (это предположение мы здесь делаем в целях удобства аргументации), то во всех этих смыслах мы можем обнаружить одну интересную общую черту. В каждом примере индексная функция смещена от указания объекта, находящегося вне речи, к указанию объекта, находящегося в пределах речи. Так, в (9) наречие here 'здесь' указывает, что описание того, что надлежит делать, будет содержаться в следующем предложении или предложениях. В (10) there указывает, что локализация упоминаемого объекта (а именно мухи) будет дана в конечной части данного предложения. В (11) this указывает на нечто в последующей речи, а именно на то, что говорящий хотел бы видеть сделанным. В (12) that указывает на нечто в предшествующей речи, а именно на то, что характеризуется как слабый довод.

Приведенные выше объяснения носят совершенно неформальный характер, и, конечно, функции индексов в этих употреблениях (которые, как мы предполагаем, подвержены изменениям) гораздо более разнообразны и сложны, чем то, что иллюстрируется в примерах (9—12). Общей чертой для всех этих случаев является, однако, смещение дейктической функции от указания объекта, находящегося вне речи, во внеязыковом окружении, к указанию объекта, находящегося в пределах речи. Употребления дейктических слов в (9—12) все являются анафорическими или катафорическими, и наше предположение состоит в том, что все такие «форические» употребления исторически восходят к аномальному употреблению индексов. Разумеется, тот же аргумент может быть применен для объяснения анафорического употребления личных местоимений.

Исходя из нашего допущения того, что исходные значения выделенных слов в (9—12) — это значения «чистых» индексов (то есть указателей того, что находится вне речи), мы можем утверждать, что их функция в этих и аналогичных предложениях представляет расширение или модификацию исходного значения. Восстанавливая эту модификацию, мы определяем стадию, на которой (9—12) были аномальны в том отношении, что значение наречия here и других выделенных слов было рассогласовано с речевой ситуацией их употребления или компрометировалось ею. В случаях подобных отклонений говорящие были вынуждены прибегать к специальным истолкованиям ad hoc; продолжавшиеся употребления такого рода приводили к превращению подобных истолкований в стандартные значения индексов в этих и аналогичных контекстах.

2.3. Теория импликатур речевого общения П. Грайса. В качестве последнего примера теории, входящей в компетенцию прагматики, мы рассмотрим теорию импликатур речевого общения (conversational implicature) П. Грайса [4]. Подобно рассмотренным ранее теориям, теория Грайса содержит

набор норм, нарушение которых может приводить к отклонениям. В теории Грайса подлежащие соблюдению нормы вытекают из Принципа Кооперации (Сотрудничества), который, как полагает Грайс, действует в обычном разговоре. Эти нормы имеют вид четырех постулатов языкового поведения, соблюдение которых требуется для выполнения основного принципа. Если не входить в детали (ср. подпостулаты Грайса) и одновременно не допускать чрезмерных упрощений, постулаты Грайса можно представить следующим образом:

(h) Постулат Количества: Старайся сделать свой коммуникативный вклад возможно более информативным.
(i) Постулат Качества: Старайся сделать свой коммуникативный вклад истинным.
(j) Постулат Отношения: Старайся сделать свой коммуникативный вклад релевантным.
(k) Постулат Способа: Старайся сделать свой коммуникативный вклад ясным.

В нормальной ситуации разговора эти постулаты соблюдаются. Допустимо, однако, использование их нормативного характера в разнообразных целях. Так, в нормальных условиях подразумеваемое у участников разговора взаимное знание этих постулатов действует как своего рода коэффициент избыточности, обеспечивающий возможность неполной точности в наших высказываниях и передачи некоторой дополнительной информации, что основано на доверии к соответствующей импликатуре речевого общения. Если лицо *A* задает лицу *B* вопрос типа Are you going to the party tonight? 'Собираетесь ли вы сегодня на вечеринку?', а *B* отвечает: I'm not feeling very well 'Я не вполне хорошо себя чувствую', то реплика *B* предполагает отрицательный ответ на вопрос *A*, хотя и не выражает его явным образом. Действующая в данном случае импликатура определяется Принципом Кооперации и общим пониманием у лиц *A* и *B* того, что *B* осведомлен о Постулате Количества (а также о Постулате Отношения), что *B* знает, что *A* знает, что *B* осведомлен об этом постулате, и что *A* понимает, что, нарушая этот постулат, *B* рассчитывает на то, что *A* извлечет нужную импликатуру из его высказывания.

Существует, однако, и другой возможный способ использования нормативности приведенных постулатов — такой способ, при котором задача вывода или восстановления нужной импликатуры носит менее шаблонный характер. В отличие от последнего примера, в котором вывод в большей или меньшей степени зависим от той избыточной роли, которую играет в речевом общении импликатура, вывод в некоторых других типах речевых актов проистекает из более сложного использования нормативности постулатов.

Приступая к обсуждению этих типов, Грайс ссылается на

примеры, требующие для их понимания особой процедуры, посредством которой происходит отмена некоторого постулата с целью введения некоторой импликатуры речевого общения с помощью некоторого приема типа фигуры речи [4, p. 52]. Грайс далее обращается к конкретным примерам, в которых каждый постулат нарушается отдельно от других. Наше основное внимание сосредоточено на случаях нарушения Постулата Качества, когда то, что *A* говорит *B*, очевидным образом не является истинным, но оба участника речевого общения знают, что соответствующее утверждение *A* ложно, и на основе допущения, что Принцип Кооперации нарушается, *B* вырабатывает импликатуру (подразумеваемую участником *A*), которая не является очевидным образом ложной. Один из таких типов использования нормативности постулатов приводит к метафоре. Грайс приводит следующий пример:

(13) You are the cream in my coffee
букв. 'Ты — сливки в моем кофе'.

В соответствующей речевой ситуации предложение (13) интерпретируется в смысле 'Ты моя гордость и радость' [4, p. 52].

Легко видеть, что (13) представляет собой случай, сходный с примерами (6) и (7), рассмотренными в 2.1.2. Фактически норма (i), нарушаемая в случае (13), в соответствии с объяснением Грайса, сходна с нормой (g), которая, по нашему предположению, нарушалась в случаях (6) и (7). Указанное сходство носит, однако, довольно случайный характер. Теория Грайса не сводится к индексам. Для обоснования положения, иллюстрируемого с помощью (13), Грайсу вполне хорошо послужило бы предложение типа (14):

(14) The woman who lives next door is the cream in my coffee
'Женщина, которая живет в соседней комнате, — моя гордость и радость'.

В (14) противоречие проистекает из соотнесения предикации со смыслом именной группы, стоящей в позиции подлежащего, а в (13) — из соотнесения предикации с референтом подлежащего. Аномальность предложения (14) не является результатом ни иллокутивных, ни индексных факторов. В то же время в контексте теории Грайса оно считается прагматически аномальным, так как мотивировка для его истолкования и общая схема, в которой осуществляется это истолкование, основаны на допущениях, регулирующих употребление языка.

3. ВЫВОДЫ

Как было показано выше, три исследованных основания прагматического отклонения высказываний проистекают из нарушений норм, регулирующих способ употребления языка. Нормы, вовлеченные в правильное исполнение речевых актов, правильное

функционирование индексов и правильное ведение речевого общения, как было показано выше, проявляются в отклонениях такого рода. Наша цель при рассмотрении прагматических отклонений состояла в отделении этого класса отклонений от класса отклонений чисто семантических. Разумеется, поскольку назначение живого языка реализуется только в его употреблении, может показаться, что разделять семантические и прагматические отклонения или вообще говорить о любом другом типе отклонений, отличном от прагматического, — дело совершенно произвольное и пустое. Нам следует, однако, помнить, что одно дело — говорить, что язык неизбежным образом употребляется, а другое дело — предпринимать исследование его употребления. Выделение различных аспектов языка оправдывается именно с точки зрения его исследования. Таким образом, рассмотренные выше три способа анализа представляют собой способы исследования употребления (употреблений) языка, а не просто случаи употребления языка в тривиальном смысле данного словосочетания. По аналогичным причинам, если мы беремся анализировать семантические отклонения и роль семантической аномальности в порождении метафор, то из этого не следует, что мы наделяем предложение таким смыслом, который существует отдельно от способа употребления этих предложений; мы считаем, что семантический аспект предложений и, тем самым, языка можно исследовать на независимых основаниях.

Как упоминалось в 2.1.1, Коэн указывает, что типы отклонений, которые есть функции исключительно значений слов в высказывании, то есть принадлежат к тому типу, который мы могли бы рассматривать как семантический, охватываются его нормами (а—е). Обсуждая в 2.3 теорию импликатур речевого общения Грайса, мы указывали, что его теория объясняла случаи типа (14), где отклонение может показаться простой функцией значений, то есть семантическим по своей природе. Эти и другие факты могут навести на мысль, что семантическая теория языковых отклонений и та роль, которую она играет в экспликации метафор, в принципе сводимы к прагматической теории отклонений. Такое сведе́ние, быть может, вполне осуществимо. Но даже если и стоит пойти по этому пути, то все равно содержание и детали семантической теории неизбежно будут нуждаться в уточнении.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. [2, р. 69, 126 и сл.]. Проводя указанное разграничение, мы, конечно, предполагаем, что такие теоретические требования, как полнота, последовательность (непротиворечивость) и простота, выполняются равным образом во всех теориях. Мы можем предполагать это для наших целей, хотя реально часто наблюдается обратное соотношение между концептуальным богатством некоего представления относительно природы языка и возможностью развития на его основе эффективной теории.

[2] Возможно, следует упомянуть в данной связи, что в качестве одного из факторов, действующих как искусственные ограничения на суждения о том, какие аспекты коммуникативной функции следует приписывать языку, выступает теоретическое требование, в соответствии с которым любой такой аспект должен был бы анализироваться с целью включения его элементов в лингвистическое описание.

[3] Столнейкер (см. [5, р. 387 и сл.]), который говорит об этих нормах как о пресуппозициях, после отграничения их от семантических пресуппозиций описывает их как средства формирования той позиции (отношения), которую занимает участник речевого акта относительно высказываемых пропозиций; она состоит в том, что в качестве истинных полагаются определенные пропозиции, вспомогательные относительно хода языкового обмена и/или ассоциируемые с ним: «[Прагматические] пресуппозиции — это такие пресуппозиции, которые подразумеваются неявно еще до того, как осуществляется языковое общение».

4. Данная выше характеристика индексов, конечно, не претендует на статус определения — как в отношении их описания, так и в отношении их охвата. Индексные выражения именовались самым разнообразным образом разными исследователями — индексы (Пирс), эгоцентрические частицы (egocentric particulars) (Рассел), знаково-возвратные (обращенные на знак) слова (token-reflexive words) (Рейхенбах) и, наконец, дейктические слова (грамматисты). Последний термин особенно часто применяется к указательным местоимениям и временным локативным наречиям, в меньшей степени — к личным местоимениям.

[5] Тот факт, что в примере Коэна имеется слово yesterday, несуществен; его утверждение было бы справедливо и относительно такого высказывания, как I promise that I was born in Chicago 'Я обещаю, что я родился в Чикаго'.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Austin J. L. How to Do Things with Word. Ed. by J. O. Urmson. Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1962 (русск. перевод: Остин Дж. Л. Слово как действие. — В сб.: «Новое в зарубежной лингвистике», вып. XVII. М., 1986, с. 22—129).

[2] Chomsky N. Studies on Semantics in Generative Grammar. The Hague, Mouton, 1972.

[3] Cohen T. Figurative Speech and Figurative Acts. — "The Journal of Philosophy", 72, 1975, p. 669—684.

[4] Grice H. P. Logic and Conversation. — In: "Syntax and Semantics: Speech Acts", eds. by P. Cole and J. L. Morgan. New York, Academic Press, 1975 (русск. перевод: Грайс Г. П. Логика и речевое общение. — В сб.: «Новое в зарубежной лингвистике», вып. XVI. М., 1985, с. 217—237).

[5] Stalnaker R. C. Pragmatics. — In: "Semantics of Natural Language", eds. by D. Davidson and G. Harman. Dordrecht—Holland, D. Reidel Publ., 1972 (русск. перевод: Столнейкер Р. С. Прагматика. — В сб.: «Новое в зарубежной лингвистике», вып. XVI. М., 1985, с. 419—438).

ЭРЛ МАККОРМАК

КОГНИТИВНАЯ ТЕОРИЯ МЕТАФОРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Перед философами и психологами стоит задача предложить такое описание метафоры, которое бы объясняло, каким образом можно понять сопоположение референтов, нормально никак не связанных. Хотя всего лишь десятилетие назад велись энергичные дебаты по поводу законности метафор, в настоящее время взгляд на метафоры как на необходимый инструмент познания столь повсеместно принят, что обсуждаться стал уже вопрос о том, каким образом их можно адекватно описать и истолковать. Нам нужно, в частности, понять, каким образом Джон Донн соединил «сонеты» и «погребальные урны» в своем знаменитом стихотворении «Канонизация».

We'll build in sonnetts pretty roomes;
As well a well wrought urne becomes
The greatest ashes as halfe-acre tombes
And by these hymnes all shall approve
Us Canoniz'd for Love.

[Мы построим в сонетах красивые покои;
Подобно тому, как урна, сделанная рукой мастера, может упокоить
Прах великих не хуже, чем огромное надгробье,
Так и по этим гимнам о нас будут судить
Как о достойных любви (*букв.* 'канонизированных благодаря любви').]

Что дало Донну возможность совместить понятия «сонетов» и «погребальных покоев»? Обычно в связи с сонетами у нас возникают такие семантические ассоциации, как «писать» и «поэзия», а вовсе не погребальные урны. В ходе определенного когнитивного процесса Донн исследовал различные участки своей долговременной памяти, обнаружил эти два референта, установил между ними осмысленное взаимоотношение и, наконец, породил метафору. Ученые, как и поэты, также порождают новые метафоры в ходе процесса познания, когда хотят предложить новую

Earl R. MacCormac. A Cognitive Theory of Metaphor. MIT Press, Cambridge (Mass.)—London, 1985. Из данной книги публикуются Введение (p. 1—8), глава I (p. 9—22) и два раздела из главы II (p. 42—43; 46—50).

гипотезу. Кеннет Джонсон ввел в высшей степени умозрительную метафору цветных кварков (красных, синих и желтых), прокомментировав ее следующим образом: «Цвет кварка не имеет ничего общего с видимым цветом. Слово *цвет* употреблено потому, что способ соединения цветных кварков в квантовой механике напоминает сочетания видимых цветов». Физики, пытающиеся объяснить свойства теоретических частиц, поняли аналогию между цветом и возможными свойствами кварков.

Для того чтобы объяснить метафору как некоторый познавательный процесс, следует предположить существование глубинных структур человеческого разума в качестве устройства, порождающего язык. Когда я говорю о «существовании» глубинных структур, я имею в виду «существование» в смысле идеальной конструкции, а не в смысле реальных биологических механизмов. Путем определенных иерархически организованных операций человеческий разум сопоставляет семантические концепты, в значительной степени несопоставимые, что и является причиной возникновения метафоры. Метафора предполагает определенное сходство между свойствами ее семантических референтов, поскольку она должна быть понятна, а с другой стороны, — несходство между ними, поскольку метафора призвана создавать некоторый новый смысл, то есть обладать суггестивностью. Я расположил эту иерархию идеальных конструкций на двух уровнях глубинных структур: на семантическом и на когнитивном. Эти уровни не взаимоисключающи; они постулируются для того, чтобы продемонстрировать мое убеждение, что в основе семантического процесса лежит процесс когнитивный. Я не отождествляю эти два процесса, поскольку допускаю существование невербальных когнитивных функций, подобных тем, что позволяют художникам выражать свои чувства и представления, не прибегая к словам.

Поверхностный язык в виде реальных метафор — «Сонеты — красивые покои» и «Кварки имеют цвет» — существует на самом верху иерархии идеальных конструкций. Он не избегает взаимодействия и с более глубокими структурами семантики и познания. Поверхностный язык играет важную роль, обеспечивая контекст для интерпретации, особенно в том, что касается определения значения семантических компонентов метафоры. Только для человека, знакомого с теорией кварков в той степени, которая позволяет оценить аналогию между комбинацией цветов и взаимодействием кварков, «цветные кварки» — это нечто большее, чем простая бессмыслица.

В качестве не исключающих друг друга идеальных конструкций когнитивного процесса, порождающего метафору, я постулирую следующие три уровня объяснения:

уровень 1: Поверхностный язык
уровень 2: Семантика и синтаксис
уровень 3: Познание.

Эти иерархические уровни могут также рассматриваться как

эвристические механизмы, способствующие пониманию когнитивного процесса, создающего метафору. Мыслительный процесс, представленный в идеальных конструкциях этими тремя уровнями, соотносит их друг с другом при производстве метафор и при помощи более общего процесса, который я называю «процессом познания». Рассматриваемые изнутри, метафоры функционируют как когнитивные процессы, с помощью которых мы углубляем наши представления о мире и создаем новые гипотезы. Рассматриваемые извне, они функционируют в качестве посредников между человеческим разумом и культурой. Новые метафоры изменяют повседневный язык, которым мы пользуемся, и одновременно меняют способы нашего восприятия и постижения мира. По мере того как метафоры входят в общий обиход, увеличивается объем словарных статей. Метафоры нередко угасают или умирают, становясь расхожей монетой. Поскольку метафоры меняют язык, они играют определенную роль в культурной эволюции. Оказывая влияние на наше поведение, метафоры могут играть свою роль и в биологической эволюции. Включенность в эти параллельные, но различные типы эволюции позволяет считать метафору интегральной частью того, что некоторые исследователи, например, Дональд Т. Кэмпбелл, называли «эволюционной эпистемологией».

Предложенная экспликация метафоры, основанная на иерархии глубинных структур, немедленно сталкивается с проблемой порочного круга. Можно ли надеяться что-либо объяснить, если объяснение, призванное способствовать пониманию метафоры как когнитивного процесса, исходит из того, что этот самый когнитивный процесс обеспечивает организацию упомянутых трех уровней? Полностью устранить эту порочность нельзя, но ее можно несколько смягчить.

Данный порочный круг того же рода, что и возникающий при попытках определить природу «значения», избегая «значения» в самом определении. Я пытаюсь смягчить порочность определений путем постулирования границы между двумя видами языка на уровне 1: обычный язык, который буквален, и метафорический язык, который я считаю фигуральным, или небуквальным. Существование буквального языка, отличного от метафор, обеспечивает общий объективный фон, позволяющий судить о значении и частичной истинности метафор. Эта независимость буквального языка от когнитивного процесса метафоризации освобождает суждения о метафоре от порочного круга, когда исследователь использует процесс, который он стремится объяснить, в качестве сути самого объяснения. Полностью избежать этого, однако, невозможно, поскольку, как я уже отмечал, значение референтов метафоры нередко может быть определено только путем обращения к контексту метафоры в поверхностном языке (уровень 1).

Мы обнаруживаем сходную ситуацию, когда осознаем, что

любая объяснительная теория метафоры неизбежно предполагает лежащую в основе «базисную метафору», на которой строится объяснение. Базисные метафоры — это исходные теоретические представления о природе метафоры, постулируемые теоретиками, такие, как «метафора представляет собой противоречие, если понимается буквально» (теория контроверзы) или «метафора — это аналогия» (теория сравнения). Мы снова не можем полностью избавиться от круга, ибо, решая задачу построения нетривиальной объяснительной теории метафоры, должны исходить из того, что метафора частично совпадает с тем, чем она в буквальном смысле слова не является; признание того, что теории метафоры предполагают лежащие в основе базисные метафоры, не влечет с необходимостью вывод о том, что сам язык должен быть целиком метафоричным. Это не следует из признания того, что теории метафоры сами по себе метафоричны. В другом месте я приведу подробную аргументацию в пользу того, что эти два тезиса можно с успехом разграничивать, а также того, что игнорирование различий между метафорами и буквальным способом выражения не только затрудняет понимание природы метафоры, но и не гарантирует теорию от ассоциаций с малопривлекательной релятивистской теорией истины.

Из моего тезиса о существовании буквального языка вытекают важные следствия для всей теории метафоры, включая природу значения метафоры, ее истинностное значение и ее роль как посредника между разумом и культурой.

Пожалуй, наиболее спорным положением теории метафоры, выдвигаемой в настоящем исследовании, можно считать мое убеждение в том, что оптимальным способом представления глубинных структур на уровнях 2 и 3 являются абстрактные репрезентации. К преимуществам этого положения следует отнести универсальность математических структур и бóльшую точность выражения по сравнению со средствами естественных языков. Стремясь к достижению максимальной точности при подходе к явлению, обладающему внутренней неопределенностью, я прибегнул к помощи таких точных и одновременно гибких формальных структур, как нечеткие множества и многозначные логики. Пользуясь абстракциями для описания глубинных структур, я не претендую на бóльшую объективность по сравнению с метаязыком, в котором для объяснения метафоры используются слова обычного языка. Формальный язык, употребляемый в формальных структурах, дает некоторый альтернативный способ выражения, позволяющий сконструировать частичный визуальный образ организации естественного языка. Представьте себе иерархическую сетку в n-мерном пространстве с нечетким множеством в каждом из узлов (то есть множеством, члены которого могут принадлежать ему частично, а не по принципу или/или). Каждое нечеткое множество определяет слово. Некоторые из слов, определяемых нечеткими множествами, представляют собой катего-

рии, описывающие объекты и события физического мира. Образ этой формальной структуры во многом напоминает модели, используемые химиками для представления молекул. Образ лишь частично отражает интуитивные представления о языке, поскольку трудно представить себе более чем три измерения, а я постулировал n-мерное пространство.

Мое принятие формальных абстракций, иерархически организованных квазиматематическим образом, отражает господствующее в настоящее время метафорическое представление о вычислительной работе как основе познания. Этому представлению соответствует предлагаемый далее анализ компьютерной метафоры. Предлагаемая трактовка компьютерной метафоры служит иллюстрацией к проблемам метафоры и, кроме того, подводит читателя к основному положению настоящего исследования, а именно к тезису о том, что сама метафора объясняется наилучшим образом, если рассматривать человеческий разум как компьютерный механизм. Согласно этому представлению, метафоры являются результатом воздействия определенного когнитивного процесса на формальные семантические структуры. Этот когнитивный процесс в значительной части, особенно в том, что касается его творческих аспектов, пока не ясен, однако я указываю на некоторые компоненты этого процесса, в частности, на организацию памяти, необходимую для того, чтобы допустить необычное соположение референтов, которое мы находим в метафорах. В результате обсуждения различных возможностей я прихожу к заключению, что вероятность найти в настоящее время алгоритмическое описание творческого когнитивного процесса, при помощи которого порождаются метафоры, относительно мала. Однако невозможность полного объяснения метафоры только посредством формальных абстракций не ставит под сомнение применимость абстрактных структур к тем аспектам создания метафор, которые поддаются соответствующему объяснению. Таким образом, мое объяснение метафоры было бы правильнее считать квазиформальным, чем полностью формальным. Если бы мне удалось построить алгоритмы для универсального производства метафор, я, может быть, свел бы метафору к рекурсивной функции, но творческий аспект метафоры и ее часто неожиданная вариативность, как кажется, этому сопротивляются. Я бы также рискнул утверждать, что свойства неведомого могут быть не только предсказаны, но и выведены дедуктивным способом. Я разделяю представление Канта о границах концептуализации, и это позволяет мне удовлетвориться моим квазиформальным подходом к описанию метафоры. Использование квазиформальной иерархической структуры для объяснения метафоры сходно с использованием математической модели для репрезентации события или ощущения. Сначала следует принять решение использовать математическую модель, а затем уже решать, какой именно моделью воспользоваться. Я пришел к заключению о

том, что формальная структура будет полезной при объяснении глубинных аспектов когнитивного процесса, порождающего метафоры, и после этого сделал выбор, остановившись на некоторой квазиформальной структуре, связанной с сетками, иерархией и нечеткими множествами.

С тем же успехом я мог бы выбрать другую формальную структуру со всеми ее преимуществами и недостатками. Моя модель ставит своей задачей разрешение проблем, связанных с семантическим сдвигом, необходимым для порождения метафор, и я надеюсь, что в целом преуспел в этом предприятии.

Что касается отношения к стандартным теориям метафоры, то мою теорию можно было бы назвать формальной версией интеракциональной теории метафоры, которую обычно связывают с именем Макса Блэка. Я пытаюсь доказать, что метафора есть результат когнитивного процесса, который сополагает два (или более) референта, обычно не связываемых, что ведет к семантической концептуальной аномалии, симптомом которой обычно является определенное эмоциональное напряжение. Концептуальный процесс, порождающий метафору, распознает как сходные свойства референтов, на которых основывается аналогия, так и несходные, на которых строится семантическая аномалия. Степень сходства и несходства определяет истинностное значение метафоры. Я использую четырехзначную логику для выражения таблицы истинности, так что предполагается более подробная классификация метафоры, чем только определение в терминах истинности/ложности, предусматриваемое стандартной формой двузначной логики. Я отвергаю тезис сторонников «контроверзной теории метафоры», согласно которому метафоры, понимаемые буквально, непременно выражают ложь.

Как я стараюсь показать, восприятие метафор как помогающих проникнуть в суть вещей и как передающих частичные истины вовсе не обязательно предполагает первоначальное понимание метафоры как намеренного выражения лжи.

Метафора может описываться как процесс в двух смыслах: (1) как когнитивный процесс, который выражает (express) и формирует (suggest) новые понятия, и (2) как культурный процесс, посредством которого изменяется сам язык. Чтобы прояснить эти процессы, я воспользуюсь предложенным Филиппом Уилрайтом разграничением между эпифорами и диафорами. Уилрайт характеризует эпифоры как такие метафоры, в которых экспрессивная функция превалирует над суггестивной. В диафорах, напротив, суггестивная функция преобладает над экспрессивной. Поскольку в основе метафоры лежат как сходства, так и несходства между свойствами ее референтов, в любой метафоре присутствует и эпифорический и диафорический элементы. Метафора, в большей степени связанная со сходством между свойствами ее референтов, может считаться эпифорой, тогда как метафора, в большей степени связанная с несходством, может счи-

таться диафорой. Это разграничение особенно полезно при описании второго культурного процесса. Метафора может возникнуть либо как диафора, либо как эпифора, а затем в процессе употребления изменить свой статус. Диафоры могут превратиться в эпифоры по мере того, как ассоциативно связанные с ними гипотетические понятия (their hypothetical suggestions) находят подтверждение в опыте или эксперименте. Эпифоры могут стать элементами повседневного языка в результате частого употребления, делающего их вполне привычными для говорящих. Когда это происходит, в словарь обычно включается новое лексическое толкование соответствующего слова или слов (референтов). Некоторые метафоры остаются диафорами, некоторые остаются эпифорами, в то время как другие меняют свой статус в результате превращения диафор в эпифоры, а эпифор — в элементы повседневного языка. Не являясь статической грамматической категорией, метафора существует и в виде динамического когнитивного процесса, предлагающего новые гипотезы, и в виде динамического культурного процесса, изменяющего наш устный и письменный язык.

Я не только кладу в основу своей теории метафоры когнитивное взаимодействие, но и предполагаю междисциплинарное взаимодействие между философией и психологией. Я писал эту работу как философ, заинтересованный в построении объяснительной теории метафоры, основанной на наблюдениях и теориях не только моих предшественников-философов, но в еще большей степени современных лингвистов и психологов. Я надеюсь, что серьезное внимание, которое я уделяю данным психологических экспериментов и экспериментально подтвержденным теориям, способствовало тому, что я продвинулся по пути к возвращению философии подобающего ей эмпирического статуса. Позитивисты прошлого полагали, что они сохраняли эмпирическую ориентацию, защищая принцип «проверяемости». В своей теории метафоры они искали подходов, которые сделали бы метафору способной к эмпирической проверке. В противовес этому я обращаюсь к свидетельствам экспериментов, которые проводят с метафорой психологи, полагая, что сами экспериментальные свидетельства более важны, чем правило или анализ, обеспечивающие (принципиальную) проверяемость метафоры. Этот шаг дает мне возможность обобщить работы других исследователей и соответственно формулировать мои аргументы на основе эмпирических данных. Философ, не принимающий этого метода, может возразить, что психолог и сам легко справится с задачами обобщения и что моя методика оставляет меня не у дел. Я с радостью готов согласиться с тем, что психологи (а также и другие), а не только философы способны обобщать данные, касающиеся метафоры, и формулировать аргументы. Многие психолингвисты уже именно этим и занимаются. Однако принимая предлагаемую методику, я надеюсь не только обосновать эмпирический базис философии,

но и построить более совершенную процедуру моделирования в качестве определенного приближения к действительности. Почему, изучая когнитивный процесс производства и понимания метафоры, исследователь должен ограничиваться лишь тем, что говорили до него философы, и тем, как выглядит метафора в повседневном языке или в логике? Почему бы не изучить различные подходы к исследованию метафоры, предлагавшиеся в других науках? В своем исследовании я мог бы уделить больше места литературоведческим работам по метафоре, но не стал этого делать, поскольку фокус моего внимания был намеренно сосредоточен на метафоре как на механизме познания (cognitive device). А для исследования различных теорий, касающихся познания, больше всего может дать психология. Моя приверженность формальным структурам (компьютерная метафора) заставляет искать аргументы и доказательства также и в кибернетике и математике. Новая дисциплина, которую часто называют «когитология», объединяющая философию, психологию, лингвистику и кибернетику, в наибольшей степени соответствует моему подходу.

Междисциплинарный характер данной работы необходимо означает, что мой подход часто и намеренно оказывается эклектичным. В худшем случае эклектичный подход совмещает идеи и данные, которые не согласуются друг с другом или же ведут к явным противоречиям. Надеюсь, что я избежал этой опасности, но если будущие рецензенты обнаружат в моей работе противоречия, я готов к отступлению и к модификации моей теории. Предпочитая дурной схеме схему, которая не столь плоха, но в то же время и не вполне хороша, я нахожу возможным сочетать идеи и аргументы, не имеющие непосредственного отношения друг к другу. Я считаю хорошим эклектизмом совмещение идей и данных, которые могут быть оправданы с помощью хороших теоретических аргументов, особенно (применительно к данной работе) при помощи квазиматематических структур. Я стремился, хотя, быть может, и не всегда успешно, использовать психологические и лингвистические данные (без искажения, однако иногда с некоторой переинтерпретацией) для обоснования философских аргументов в пользу рассмотрения метафоры как когнитивного процесса. Такой подход предлагался и другими исследователями в их статьях, разделах монографий и докладах на конференциях [11]. Однако мне неизвестны попытки применить к исследованию метафоры когнитивный подход в таком объеме, как это делается в данной работе. Представляется неизбежным, что некоторые ее выводы покажутся небесспорными, и я с готовностью принял бы участие в дальнейшем обсуждении природы метафоры с теми, кто серьезно интересуется данной проблемой, но, может быть, иначе подходит к ее объяснению.

Ради максимально возможной отчетливости выводов и конкретизации ряда абстракций в работу включены многочисленные примеры метафоры, извлеченные из двух основных источников:

(1) литература, особенно поэзия, и (2) наука. Когда же ни в том, ни в другом источнике мне не удавалось найти примеры, подходящие для иллюстрации какого-либо тезиса, я конструировал свои собственные.

В заключение, прежде чем читатель погрузится в пучину теории, позвольте мне сделать некоторые предупреждения, в частности, указать на то, какие задачи данная книга намеренно не ставит перед собой. Я делаю это на основании прежнего опыта с моей более ранней книгой о метафоре [8], имея в виду будущих рецензентов.

Отмечу сначала как положительный факт то обстоятельство, что, стремясь сохранить последовательность в моем эмпирическом подходе к исследованию как семантики, так и истинности, я сочетаю многозначную истинностную логику с комбинационной теорией истинности, включающей аспекты теории непротиворечивости и соответствия. Это может показаться читателю чем-то вроде подвига, достойного Гудини; позвольте мне заверить читателя в том, что выполнение этой задачи оказалось очень нелегким делом и что меня до сих пор беспокоит место, занимаемое в моей теории традиционным понятием противоречия.

Предлагать семантический анализ метафоры, игнорируя при этом перформативные функции метафоры, — значит обречь семантический анализ на неполноту. Однако подход к метафоре как к речевому акту не существен для теории, рассматривающей метафору как когнитивный процесс. Моя теория находит дополнение, прежде всего, в исследованиях речевых актов. Но если я расширяю свою теорию в данном направлении, почему бы не расширить ее в других направлениях, таких, как литературная критика, роль метафоры в мифе и отношение между метафорой и символикой? Единственное, что я могу сказать по поводу этих и других упущений, — это то, что я хотел сконцентрировать внимание на когнитивных аспектах метафоры, отложив другие темы на будущее. В послесловии я указываю на некоторые темы для будущих изысканий, связанные с обсуждаемыми в книге вопросами. А теперь я желаю читателю счастливого пути в путешествии по компьютерному и когнитивному миру метафоры.

КОМПЬЮТЕРНАЯ МЕТАФОРА

Компьютерная метафора в познании. Объяснения, лишенные метафоричности, были бы трудными, если не невозможными; ведь для того, чтобы описать неизвестное, мы должны прибегнуть к понятиям, которые мы знаем и понимаем, и, таким образом, суть метафоры состоит в необычном соположении знакомого и незнакомого. Современные исследования соприкасаются с таким изучением отношения между разумом и мозгом, которое связано с использованием базисных метафор как основания для построения теорий. Среди различных метафор, которые, как можно пред-

положить, лежат в основе взаимосвязи между разумом и мозгом, центральное положение занимает компьютерная метафора, в соответствии с которой мозг может рассматриваться как вычислительный механизм, сходный с компьютером, а разум представляет собой ряд программ, обеспечивающих функционирование мозга. Человеческое мышление едва ли сводится к функциям мозга; скорее, человеческое мышление и функции мозга составляют вместе вычислительный процесс. «Аппаратное обеспечение» мозга, подчиненное «программному обеспечению» разума, производит вычислительную работу, традиционно называемую познанием.

Зенон Пылышин так описывает сущность компьютерной метафоры:

Взгляд, согласно которому познание может быть сопоставлено с вычислительным процессом, широко распространен в современных теориях познания, даже среди тех, кто не использует компьютерные программы для моделирования когнитивных процессов. Одно из основных понятий, используемых этим подходом, которое иногда называют «обработкой информации», сводится к тому, что когнитивные процессы представляют собой формальные операции, производимые над символическими структурами; таким образом, это формалистский подход к теоретическому объяснению. Практически конкретные примеры символических структур можно представить себе как выражения, записанные с помощью определенной лексикографической нотации (как это принято в лингвистике или математике), или же они могут получить физическое воплощение в компьютере в качестве структуры данных либо выполнимой программы [13, p. 111].

Компьютерная метафора познания представляет собой наглядное свидетельство успешности интеракционального подхода к метафоре. Появление современного компьютера принесло с собой метафорическое представление о думающих машинах; кибернетики, философы и психологи, усвоившие метафорическое представление о том, что компьютеры занимаются умственной деятельностью, которая сродни человеческой, создали новую дисциплину, занимающуюся искусственным интеллектом. В интеракциональной метафоре оба члена метафоры подверглись модификациям. Когда мы употребляем метафорическое выражение «машины думают», то не только машины получают атрибуты думающих человеческих существ — так, мы задаемся вопросом, обладают ли машины намерениями и чувствами, а также способностью делать рациональные умозаключения, — но и «мыслители» (человеческие существа) получают атрибуты компьютеров. Именно это происходит в компьютерной метафоре: разум человека описывается в терминах компьютерных свойств. Мы говорим о нейронных состояниях мозга, как если бы они были подобны внутренним состояниям компьютера; мы говорим о моментальных процессах мышления, как если бы они были алгоритмичными. Компьютеры подобны разуму во многих отношениях; они могут хранить данные, запоминать их, манипулировать ими, научиться распознавать новые схемы и даже создавать новые когнитивные схемы. Мыслительная деятельность человека подобна действиям ком-

пьютеров; люди могут манипулировать цепочками символов в соответствии с правилами языка и математики. Хотя компьютеры производят многие операции быстрее и более эффективно, чем люди, в целом сравнение оказывается в пользу людей, поскольку они обладают эмоциями, творческой способностью и интенциональностью в отношении многих из своих действий. Те, кто отказывает компьютерам в разумности, подчеркивают уникальность этих человеческих функций, тогда как те, кто наделяет компьютеры искусственным интеллектом, преуменьшают их отличия от человека, отрицая значимость человеческих эмоций для компьютеров и утверждая, что они обладают интенциональностью. Прежде чем продолжить обсуждение компьютерной метафоры, позвольте мне указать на первую главную проблему теории метафоры — исследование интеракциональной метафоры, воплощенной в утверждении «Человек — это компьютер».

Что заставляет говорить о сопоставлении людей с компьютерами как о метафоре, а не просто как об аналогии? Мы не понимали бы компьютерную метафору, если бы не могли осознать сходства между людьми и компьютерами. Различия не препятствуют аналогии, поскольку наиболее плодотворные аналогии не предполагают изоморфизма, то есть не требуют однозначного соответствия между всеми составными частями. Хотя метафоры предполагают аналогии между свойствами и частями своих референтов, их характерной чертой является странность сопоположения их референтов. Если мы утверждаем, что метафоры отличаются от аналогий, мы должны более тщательно исследовать природу этой «странности». Необходимым условием метафоры является существование определенного сходства между членами метафоры, но я постараюсь в дальнейшем показать, что аналогия ни в коей мере не является достаточным условием.

Исторические варианты компьютерной метафоры. Попытки пролить свет на природу человека с помощью механической метафоры — отнюдь не феномен двадцатого столетия, поскольку Ламетри свое произведение «Человек-машина» опубликовал еще в 1748 г. Многие из тех, кто не читал его, полагают, что Ламетри всего лишь сравнил человека с механическим устройством, подобным часам. Как видно из следующей ниже цитаты, это и в самом деле так, но он также признавал, что «человек — это такая сложная машина, что невозможно заранее составить себе сколько-нибудь ясное представление об этой машине и, следовательно, невозможно дать ей определение», так что он прибег к целому ряду разнообразных метафор [7, p. 89]. Сначала строго механическая метафора:

Человеческое тело — это часы, огромные часы, сделанные с таким искусством и изобретательностью, что если колесико, отмечающее секунды, вдруг остановится, минутное колесико будет все равно продолжать свое вращение, и точно так же четвертьчасовое колесико и все остальные будут

вращаться в случае выхода из строя (из-за ржавчины или по какой-либо другой причине) первых колесиков. Не по сходной ли причине закупорки некоторых кровеносных сосудов еще не достаточно для того, чтобы разрушить или уменьшить двигательную силу, заключенную в сердце как основной пружине машины: напротив, жидкость, объем которой уменьшился вследствие сокращения пути, пробегает его тем быстрее, уносимая как бы новым течением, и сердечная деятельность усиливается благодаря сопротивлению, которое она встречает в оконечностях сосудов? [7, р. 141].

Ламетри уподобляет воскрешение в памяти каких-либо идей состоянию садовника, который, зная растения, «вспоминает все стадии их роста при взгляде на них» [р. 107]. Он сравнивает возникновение в мозгу образов с «волшебным фонарем» [там же]. Даже «душа» описывается как «осветительный прибор» (enlightened machine) [р. 128]. Однако, сравнивая человеческое тело с машиной, Ламетри увлекается биологической стороной метафоры, когда утверждает, что мозг обладает мускулами для мышления и для того, чтобы лучше узнать человека, мы должны обратить взор не только к машинам, но также и к животным.

Таким образом, различные состояния души всегда соотносятся с различными состояниями тела. Но чтобы лучше показать эту зависимость во всей ее полноте и причинной обусловленности, воспользуемся сравнительной анатомией; сопоставим органы человека и животных. Как может быть познана природа человека, если нам не будет позволено пролить на нее свет путем точного сопоставления структуры человека и животного?

Вот тезис, неожиданный для тех, кто лишь понаслышке знает о метафоре Ламетри, сравнивавшей человека с машиной; «машина» Ламетри — это машина из плоти и крови, понять которую можно не только путем обращения к механическим частям устройства, но и путем сопоставления с животными. Таким образом, рядом с компьютерной метафорой стоит метафора-близнец «Человек — это животное». Быть может, наиболее захватывающей идеей Ламетри была его мысль о возможности обучить человеческому языку обезьян, что углубило бы наше знание природы человека. В основе этой идеи лежал успешный опыт обучения языку глухонемых, и небезынтересно отметить, что идея Ламетри предвосхитила опыты с Уошо и Ланой почти на 250 лет.

Но имея в виду значительное сходство между обезьяной и человеком, а также то, что ни одно из известных нам животных не напоминает человека своими внешними и внутренними органами столь разительно, как обезьяна, я был бы удивлен, если бы речь была совершенно недоступна для обезьян [7, р. 101].

Современная версия сочинения Ламетри «Человек-машина», а именно «Метафорический мозг» Майкла Арбиба, эксплицитным образом провозглашает упомянутую двойную метафору (человек как машина и как животное) в качестве основы понимания человека.

Мы хотим понять, как люди мыслят и поступают; в частности, мы хотим понять роль мозга в мышлении и поведении. В некоторых отношениях мозг человека подобен заложенному в робота компьютеру, в других он более схо-

ден с мозгом лягушки. Мы ставим своей целью пояснить возможное понимание мозга с помощью двух метафор: кибернетической метафоры «Люди — это машины» и эволюционной метафоры «Люди — это животные». Мы не собираемся недооценивать различия, но надеемся, что и сходства окажутся достаточно поучительными.

Таким образом, называя эту книгу «Метафорический мозг», мы не имеем в виду, что воплощенное в ней понимание мозга в каком бы то ни было смысле менее «реально», чем понимание, воплощенное в других книгах, — скорее мы просто указываем эксплицитным образом на ту помощь, которую оказывает нам эта метафора, а также хотим предотвратить недоразумение, которое возникает, когда метафору принимают за реальность [1, p. VII].

Будучи продуктами эволюции, биологические аспекты человека должны описываться с помощью любой метафоры или ряда метафор, способствующих постижению человеческой природы. Там, где Арбиб использует для объяснения биологической природы человека двойную метафору «Люди — это машины» и «Люди — это животные», Пылышин пользуется только компьютерной метафорой — «Познание имеет характер вычисления», — рассматривая животную природу человека как проявление того, что он называет «функциональной архитектоникой» разума. Пылышин говорит о «вычислении» и разуме на двух уровнях: (1) теоретические требования для вычисления (разум) и (2) биологические структуры и процессы, связанные с мозгом, которые выполняют вычисление. Это соответствует «программному обеспечению» и «аппаратному обеспечению» компьютера. Но и это разграничение не устраняет трудностей, с которыми сталкивается Пылышин при объяснении интенциональности и сознательности, проявляемых людьми при формировании осознанных целей, изменяющих их мышление.

Буквальный вариант компьютерной метафоры. Более удивительным, чем попытка Пылышина включить биологический компонент в функциональную архитектонику вычислительных механизмов мышления, является то, что он настаивает на буквальной интерпретации компьютерной метафоры.

Возможность описания вычислительной работы и познания в одних и тех же абстрактных терминах устраняет причину, которая вынуждала бы нас рассматривать соответствующее сопоставление как только метафору, в противовес его буквальному толкованию. Несмотря на широкое распространение компьютерной терминологии (например, такие термины, как «запоминающее устройство», «процесс», «операция»), большая часть такого словоупотребления связана хотя бы с некоторой метафорической окраской. Наблюдается нежелание трактовать вычислительную работу как буквальное описание мыслительной деятельности, а не просто как эвристическую метафору. Отказ от буквального толкования компьютации открыл возможность для весьма широкой трактовки разнородной деятельности под рубрикой «теории информационных процессов», что в значительной части представляет существенный отход от того, что я рассматриваю как ядро компьютерной теории мышления [13, p. 114].

Пылышин хочет, чтобы мы не только представляли себе мыслительную деятельность, *как если бы* она была сходна по

характеру с действиями компьютера, но чтобы мы определяли познавательную деятельность как счетно-вычислительную. Это не значит, что люди и компьютеры идентичны (поскольку Пылышин предусмотрел иерархическое строение своей теории, в которой вычисление представляет собой теоретический уровень, воплощающийся либо в машинах, либо в людях); это предполагает, скорее, тождественность алгоритмов для компьютеров и для человеческого разума. Такое тождество будет естественным, если мы изменим способ наших теоретических размышлений о людях и мире. В качестве аналогии он указывает на принятие в XVII в. Евклидовой геометрии как объяснения природы пространства. Лишь во времена Ньютона аксиомы Евклида были восприняты как буквальное описание мира. Это принятие «глубоко повлияло на развитие науки»; принятие компьютерной метафоры повлияет сходным образом на теорию познания — разумеется, положительно.

«Принятие системы в качестве буквального объяснения действительности поможет ученым увидеть, что одни наблюдения в дальнейшем окажутся возможными, тогда как другие — нет. Дело не ограничивается простым утверждением, что ряд вещей происходит, «как если бы» имели место некоторые ненаблюдаемые события. Такое принятие еще и связывает теоретика серьезными ограничениями, поскольку он уже не может свободно апеллировать к существованию неких неопределенных сходств между своим теоретическим объяснением и описываемыми явлениями — как это бывает, когда он пользуется метафорическим языком. Именно свобода, которая появляется у исследователя в этом последнем случае, ослабляет объяснительную силу понятия компьютации, метафорически используемого для описания определенных ментальных функций. Если мы будем рассматривать вычисление более абстрактно как знаковый процесс, трансформирующий формальные выражения, которые в свою очередь интерпретируются в терминах той или иной области репрезентации (например, в числах), мы увидим, что представление о ментальных процессах как о вычислении может пониматься так же буквально, как представление о том, что то, что делают компьютеры системы IBM, адекватно рассматривается как вычисление» [13, р. 115].

Однако Пылышин игнорирует последствия буквального толкования Евклидовой геометрии; представления Евклида об абсолютности длины были поколеблены с появлением в XX в. теории относительности. Может ли Пылышин гарантировать, что превращение компьютерной метафоры в буквальное описание путем акта веры не нанесет вреда когнитивной науке, неоправданно сузив горизонты наших размышлений над соответствующей проблемой? Метафоры могут оказаться весьма опасными, когда мы забываем, что это — метафоры; причиной того, что у нас возникает соблазн понимать метафору буквально, часто

является ее привычность, а не какие-либо подтверждающие свидетельства. Пылышин предлагает теоретикам воспринимать компьютерную метафору буквально не потому, что есть свидетельства в пользу такого понимания, а потому, что он полагает, что оно может лечь в основу лучших теорий, более жестко ограниченных, а тем самым более фокусированных.

Вопрос о том, следует ли трактовать компьютерную метафору буквально, связан с одной из основных проблем, с которой сталкивается любая теория метафоры — проблемой проведения границы между «буквальным» и «метафорическим». До недавнего времени многие лингвисты, философы и представители естественных наук относились к метафоре пренебрежительно, как к лежащему за пределами грамматики средству, характеризующему неряшливое мышление, а не как к законному теоретическому инструменту. В глазах этих критиков, к метафоре прибегают либо мистики, стремящиеся выразить восторг моментом соединения несоединимого, либо поэты, ищущие средства для выражения своих страданий, ибо интуитивные представления и чувства не могут фиксироваться в точных терминах; когда же к метафоре обращаются естествоиспытатели, они обвиняются в том, что пользуются вязкими, неточными, фигуральными языковыми выражениями вместо того, чтобы довести свою теорию до той степени совершенства, которая давала бы возможность представить ее в более точных терминах. Однако все более распространяющееся признание того, что для теорий требуются метафоры, выдвигающие определенную гипотезу и в то же время доступные пониманию, связано с необходимостью дифференциации между метафорическим и неметафорическим, или буквальным.

Некоторые теоретики метафоры утверждают, что язык целиком метафоричен и что не существует такой вещи, как буквальный язык. Они не отрицают того, что многие метафоры утрачивают свою странность и становятся «мертвыми метафорами», но считают, что даже и эти метафоры сохраняют свое характерное свойство объединения двух различных референтов. В той мере, в какой символы выполняют репрезентативную функцию, все они суть метафоры в том смысле, что они репрезентируют объект, событие или идею, не обязательно наличествующие в момент произнесения высказывания. Если мы допускаем, что язык целиком метафоричен, то почему, стоя в каждом конкретном случае перед выбором той или иной метафоры (например, для объяснения природы узнавания), мы выбираем из всех возможных метафор именно компьютерную? К тому же, вопреки Пылышину, компьютерная метафора не может быть обращена в буквальное утверждение, поскольку между первой и вторым не существует различия. Пылышин мог бы выбрать менее «метафоричную» метафору, но он не может задаться целью найти буквальное. Такой подход не только затрудняет осмысление метафоры (у нас нет такого эталона, как буквальный язык, который помог бы нам

в этом), но и имеет неприятные следствия для теории истины. Поскольку эмпирическое оправдание метафор никогда не превращает их в нечто буквальное, мы остаемся в царстве той языковой относительности, которая не дает нам никакой зацепки в том, что могло бы восприниматься как буквальное.

С другой стороны, если мы настаиваем на различии между буквальным и метафорическим, мы должны извлечь пользу из этого утверждения, представив удовлетворительный критерий подобного разграничения. Этот критерий должен быть как лингвистическим, так и когнитивным; мы должны показать, каким образом буквальное ощущается или воспринимается как буквальное, а метафорическое — как метафорическое. Когнитивные понятия сходства, подобия и различия принимают участие в процессе познания в качестве компонентов, которые дают возможность провести соответствующие разграничения. Описание подобного познавательного процесса неизбежно требует обращения к метафорам или, по крайней мере, интуитивного различения между буквальным и метафорическим, так что обоснование критерия опять-таки ведет к порочному кругу. Единственный частичный выход из этого очевидного парадокса состоит в том, чтобы дифференцировать уровни рассуждения; когда мы говорим о различии между буквальным и метафорическим в контексте когнитивных процессов, мы с необходимостью должны обратиться к некоторому языковому метауровню. Тот факт, что моя теория метафоры на метаязыковом уровне сама является метафоричной, не обязательно означает, что на уровне языка-объекта различий между буквальным и метафорическим не существует.

Компьютерная метафора и понятийные сдвиги. Любая теория метафоры, которая признает различие между буквальным и метафорическим, должна также объяснить, в чем отличие метафор от повседневного языка и каким образом метафоры умирают и становятся частью обиходной речи. Метафоры служат катализаторами языковых изменений; метафоры предшествующего поколения становятся банальными выражениями для следующего поколения. Метафора существует как вполне обычный творческий процесс человеческого познания, который объединяет понятия, в норме не связанные, для более глубокого проникновения в суть дела. Джон МакКарти, который считается создателем термина «искусственный интеллект», утверждает, что приписывание мыслительных способностей машинам вполне законно и не должно возбраняться [10, p. 96].

Приписывать определенные «мнения», «знания», «свободу воли», «намерения», «сознательность», «способности» или «желания» машине или компьютерной программе — дело вполне законное, если такое приписывание выражает относительно машины ту же информацию, какую оно выражает относительно человеческой личности. Такое приписывание полезно, если оно помогает нам понять структуру машины, ее прошлое или будущее поведение или же облегчает ее исправление либо усовершенствование. По-

добный взгляд, быть может, никогда не является логически необходимым даже по отношению к человеческим существам, он просто выражает в достаточно компактной форме представление, какие ментальные (или изоморфные ментальным) свойства может потребовать известное нам состояние машины в конкретной ситуации. Теории мнения, знания и желания могут быть сформулированы более простым способом, когда они относятся к машинам, нежели когда они относятся к человеческим существам, а уже впоследствии они могут быть применены к этим последним. Приписывание ментальных свойств машинам известной нам структуры, таким, как термостат или действующие компьютерные системы, не составляет труда, но в высшей степени полезным оказывается его применение к сущностям, структура которых известна нам в весьма недостаточной степени [9, p. 61].

Рассуждение МакКарти существенно зависит от понимания слов «тот же самый»; в каких случаях представление о «мнениях» и т. д. выражает т у ж е с а м у ю информацию в отношении человека, что и в отношении машины? МакКарти приписывает термостату простые предложения со значением мнения типа «Комната слишком холодная», «Комната слишком жаркая», «Комната в порядке». Из этого, однако, не следует, что термостат понимает концепт «слишком холодно», который человек, вне всякого сомнения, понимает. Если мнение означает только определенные действия или предрасположение к действиям, то у термостата, разумеется, есть те три мнения, которые приписывает ему МакКарти. Если же мнение включает понимание и согласие с пропозицией, то тогда сомнительно, что термостат имеет мнения в т о м ж е точно смысле, что человек. Метафорическое приписывание человеческих черт компьютерам или атрибутов компьютеров людям вызывает вопрос о том, какие именно части метафоры являются общими в обоих случаях. Пылышин справедливо считает, что буквальное понимание компьютерной метафоры означает, что тождественными являются лишь некоторые черты человеческого и компьютерного вычисления. Если мозг и компьютер представляют собой пример аппаратного обеспечения функциональной архитектоники компьютерной метафоры, то тогда сходными оказываются лишь немногие физические процессы вычисления. После того, как проведена метафорическая атрибуция, следует тщательно рассмотреть вопрос о том, насколько далеко простирается сходство между двумя референтами метафоры. Некоторые критики искусственного интеллекта утверждают, что, поскольку разумные человеческие существа могут ощущать боль, а компьютеры, как можно полагать, боли ощущать не могут, компьютеры, следовательно, не могут быть разумными существами. Но подобное рассуждение предполагает, что если нечто обладает разумом, то оно непременно должно обладать и всеми другими свойствами, которыми обладает человек. Дэниэл Деннетт показал, что задаваться вопросом, ощущают ли компьютеры боль, в ходе доказательства того, что компьютеры имитируют деятельность человеческого разума, — все равно, что интересоваться, известны ли компьютерам по опыту ураганы, по-

скольку они также могут их моделировать[1]. Если машина имеет мнение в смысле предрасположенности к действию, она не обязана обладать еще и другими качествами, которыми обладают люди, также имеющие предрасположенности к действию (то есть мнения).

В 1950 г. А. М. Тьюринг изобрел концептуальную игру, названную имитационной, которая предполагала отождествление компьютеров и человеческого разума [14]. Один из участников игры с помощью вопросов должен отгадать, кто из двух людей, находящихся от него в отдалении, женщина, а кто — мужчина. Он задает вопросы и получает ответы при помощи телекоммуникатора. Когда один из находящихся в другом помещении участников заменяется компьютером, «вопрошатель» не замечает разницы. Машина может оказаться столь же разумной и столь же похожей на человека, как подлинный участник-человек. В кругах, связанных с искусственным интеллектом, эта концептуальная процедура, игра в имитацию, получила известность под названием «теста Тьюринга». Если в каком-нибудь вопросе, связанном со свойствами компьютера, мы не можем отличить результата, выдаваемого машиной, от результата, полученного от человека, то вправе приписывать компьютеру атрибуты человека.

Метафоры могут быть опасны не только тем, что они соблазняют нас думать, что то, на что они намекают, существует в действительности, но и тем, что они наталкивают нас на мысль, что свойства, присущие каким-либо референтам метафоры, также присущи и другим ее референтам. Если люди и компьютеры обладают памятью и мнениями, то это метафорическое словоупотребление может ввести нас в заблуждение, заставив полагать, что в компьютере могут быть обнаружены свойства человеческой памяти или же что понятие мнения у человека должно пониматься ограниченно как предрасположение к действию, поскольку именно такое ограниченное понимание уместно по отношению к компьютеру. Метафорическое олицетворение, существовавшее, вероятно, со времени возникновения человеческой речи, получило широкое распространение в науке о компьютерах. Примитивные культуры часто олицетворяют природные объекты, наделяя их божественным статусом; возможно, что это обожествление переместилось из природы в технологию. В лабораториях, а позднее в научно-фантастических романах и фильмах, компьютеры стали получать собственные имена. Раздел, посвященный программе компьютера Винограда, в недавнем введении в компьютерную технику носит название «ШРДЛУ» [2, р. 134 и сл.].

Метафоры позволяют нам расширить наши знания путем соположения нормально не связанных референтов, что наводит на мысль о сходстве некоторых свойств референтов. Другие свойства референтов остаются различными. Проведение границы

---

[1] См. [3]. Деннетт также полагает, что «боль» представляет собой смешанное понятие.

между теми свойствами, которые обнаруживают сходство, и теми, которые обнаруживают различие, требует от тех, кто сталкивается с новыми метафорами, напряженной работы воображения и восприятия. Что касается компьютерной метафоры, то многие сходства между компьютерами и людьми очевидны — и те, и другие умеют складывать, вычитать и умножать; и те, и другие умеют принимать решения; и те, и другие умеют хранить информацию и участвовать в ее поиске; и те, и другие могут научиться узнавать новые схемы; и те, и другие могут обрабатывать текст. Но могут ли и те, и другие *мыслить?* Если мышление определяется в терминах только что перечисленного неполного списка выполняемых и теми, и другими функций, то компьютеры, несомненно, мыслят. Если, однако, исходить из того, что мышление предполагает воплощение вычислительного механизма в некотором биологическом организме, то компьютеры, очевидно, не мыслят [5].

Данную проблему можно рассматривать и с точки зрения компьютера и считать, что мышление имеет место только в том случае, если мыслящее существо следует определенным формальным правилам. Поскольку многое из того, что считается в человеческой среде мыслью, основано на случайных ассоциациях, а не на применении формальных правил, критик мог бы утверждать, что компьютеры мыслят в гораздо более частых случаях, чем это делают люди, и что можно говорить о рациональном мышлении людей лишь эпизодически, когда люди подражают компьютерам, стремясь строго следовать формальным правилам.

Когда утверждают, что машины способны иметь мнения или намерения, как это делал МакКарти, доказывая наличие трех типов мнения у термостата, мы можем задаться вопросом, включают ли характерные признаки мнения понимание и самосознание. Если мы хотим, чтобы понятие мнения было применимо к термостату, оно должно быть соответствующим образом ограничено относительно своих признаков.

Как создание, так и понимание метафоры требует способности увидеть связь между атрибутами референтов, нормально не имеющих отношения друг к другу. Чем труднее понять эту связь, тем более суггестивна метафора. Компьютерная метафора, требующая, чтобы полный набор человеческих свойств — чувства, сознание, интенциональность — ассоциировался с компьютерами, в большей степени суггестивна, чем более ограниченная компьютерная метафора, имеющая в виду аналогии лишь между некоторыми дедуктивными функциями.

В последующих главах я собираюсь развить семантическую теорию, которая допускает, что при создании метафоры могут иметь место семантические изменения. Основное понятие этой семантической теории — когнитивный процесс. Производство метафор — это не просто лингвистическое явление, которое происходит на поверхностном уровне языка; оно берет начало в более

глубинном когнитивном процессе творческого характера, открывающем новые возможности развития значений. Создатель жизнеспособных метафор тем или иным образом объединяет понятия, на первый взгляд не связанные, чтобы вызвать к жизни новое подвижное понятие, выявляющее сходство между некоторыми из своих черт и обнажающее расхождения между другими. Слишком суггестивная метафора находит слабое подтверждение в опыте, а слишком экспрессивная, то есть подчеркивающая аналогии, ранее не замечавшиеся, может получить широкое распространение и в конце концов слиться с обычным языком. Для этого свидетельства, подтверждающие связь между формальными программами и разумом, должны стать настолько значительными, чтобы компьютерная метафора уже не создавала бы «напряжение» (tension), — и тогда она будет восприниматься как буквальное выражение. Для Пылышина, однако, превращение компьютерной метафоры в буквальное утверждение есть средство создания лучшей теории.

Компьютерная метафора как базисная метафора. Пример компьютерной метафоры помогает понять еще один аспект метафоры — ее употребление, отражающее некоторую первоначальную сущностную догадку, или интуицию, составляющую фундамент всей теории. Я называю этот тип метафоры базисной метафорой. Метафоры могут также использоваться для того, чтобы выразить конкретное ощущение или вызвать представление об индивидуальной возможности. Я называю этот второй тип «передающей метафорой» (conveyance metaphor). Здесь уместно выделить некоторые из вопросов, связанных при исследовании разума и мозга с использованием компьютерной метафоры в качестве метафоры базисной.

Первый вариант компьютерной метафоры был воплощен в выражении «искусственный интеллект» — метафоре, подсказанной успешным выполнением компьютерами алгоритмических функций, которые до появления компьютера считались исключительной прерогативой человека. Другая форма этой базисной метафоры заключена в выражении «компьютеры мыслят». Эта базисная метафора, в основе которой лежат идеи, воспринимавшиеся в 50-х годах, когда она была впервые предложена, как сенсационные, объединяет один референт — интеллект (до того времени связывающийся исключительно с человеческими существами и животными) с другим референтом — вычислительной машиной. Начиная с самых ранних примеров употребления этого слова, отмеченных в «Oxford English Dictionary», и кончая настоящим временем, интеллект (intelligence) ассоциировался с мыслительными способностями и пониманием, так что один из обычных атрибутов интеллекта — «биологический», то есть относящийся к людям и животным. Машины нормально трактуются как обладающие небиологическими атрибутами. Выдвижение компью-

терной метафоры толкает к исследованию как вычислительных машин (чтобы понять, насколько они действительно похожи на человека), так и человеческих существ (чтобы понять, насколько они действительно соответствуют компьютерам по своим когнитивным функциям). Будучи базисной метафорой, компьютерная метафора предлагает подходить к человеческому познанию, к а к е с л и б ы оно было вычислительной деятельностью и к вычислительной деятельности — к а к е с л и б ы она была человеческим познанием. Когда эта метафора была предложена впервые, она воспринималась как метафора, а не как буквальное утверждение, поскольку признавалось существование слишком многих различий между человеческим мышлением и функционированием компьютеров. Постепенно обнаруживались новые черты сходства, и странность метафоры, ее «напряжение», или суггестивность, уменьшились.

Нередко процесс исследования, начавшийся с признания базисной метафоры основной идеей всего построения, идет по пути выдвижения «передающих метафор», вырастающих из базисной. МакКарти двигался в этом направлении, когда он приписывал машинам многочисленные человеческие свойства. Он расширил список этих свойств, включив в него черты, относящиеся не только к познавательной деятельности, но и к установкам, чувствам, сознанию. Он также расширил понятие машины, применив его не только к компьютеру, но и, скажем, к термостату. Применение базисной метафоры к более широкой эмпирической области путем использования других метафор — это проверка сопоставимости референтов на доступность пониманию.

Подобная практика расширения знания путем выдвижения базисных метафор, возникающих из интуитивных представлений о нас самих и о мире, существует не одно столетие. Начиная от Платона, с его учением о неизменном царстве форм, и кончая Эйнштейном, исходившим из строгой математической упорядоченности мира, философы и естествоиспытатели прибегали в скрытой или явной форме к базисным метафорам как к фундаменту своих теоретических построений. Компьютерная метафора была выдвинута в эксплицитной форме и с сознанием того, что представления, лежащие в ее основе, носят гипотетический и спекулятивный характер — черты, которые, как полагал Пылышин, привели к построению слишком расплывчатой теории. В другие периоды истории человеческой мысли базисные метафоры принимались неявно, как, например, логическими позитивистами начала XX в., которые считали, что они не пользуются никакими априорными принципами и тем самым не впадают в ужасный грех метафизики, но в то же время и с х о д и л и и з допущения, что язык является зеркалом мира (базисная метафора).

Я уже отмечал, что, рассматривая компьютерную метафору, мы сталкиваемся с кажущимся парадоксом; излагаемая здесь теория метафоры имеет своим основанием теорию познания, ко-

торая сама, на первый взгляд, может быть сформулирована только с помощью метафор. Выше я заметил вскользь, что парадоксов автореференции можно избежать путем разграничения между теорией и метатеорией. Теперь мне предстоит сделать некоторые дополнения, потому что я хочу также отмежеваться от точки зрения, будто язык целиком метафоричен и буквальный язык можно легко идентифицировать, даже если его основания заложены в познавательном процессе. Проблема состоит в том, что мое объяснение буквального языка обеспечивается такой теорией познания, которая может быть построена лишь с помощью базисной метафоры (это не обязательно должна быть компьютерная метафора; я упоминал здесь о ней лишь в иллюстративных целях). Моя теория метафоры предполагает такую теорию познания, которая предполагает использование по крайней мере базисной метафоры (а возможно, также и «передающих метафор»). Этот круг напоминает процесс отражения с помощью дурных зеркал: образ метафоры снова отражается в познании, а образ познания снова отражается в метафоре. Но сколько здесь образов — один или два? Пока этого сказать нельзя, но я могу предложить возможный выход из такого отраженного порочного круга. Метафорический процесс предполагает не только участие разума и мозга, но и существование внешнего мира с его богатством символов и культуры.

Адекватная теория метафоры включает в себя не только семантическую, синтаксическую и когнитивную теории, объясняющие, каким образом необычное сочетание слов приводит к созданию новых понятий, но и контекстуальные теории относительно внешнего мира, содержащие сведения о словесных ассоциациях, а также о взаимодействии между людьми и их окружением, создающем знание. Когнитивный процесс, который приводит к созданию метафоры, включен в более широкий процесс познания, имеющий отношение к индивиду в контексте эволюционного процесса, речь идет об эволюции как мозга, обеспечивающего аппаратное обеспечение для познания, так и культуры, предоставляющей контекст, в котором через взаимодействие с лингвистическим окружением возникают метафоры. Но биологическая эволюция и культурная подчинены разным механизмам. Ум, создающий метафоры, может быть прекрасным посредником между своими собственными нервными процессами и процессами культуры.

Описывая процесс познания, включающий взаимодействие между индивидом и его окружением, я надеюсь предложить такую теорию метафоры, которая объясняет буквальный способ выражения, допускает личное творчество и в то же время признает, что значение метафор существенно зависит от контекста. Круговой характер взаимных отсылок от метафоры к познанию и обратно может быть преодолен лишь путем апелляции к объективности внешнего мира. Предварительно, интуитивно я вижу в

метафоре связующее звено между разумом, мозгом и внешним миром; метатеория метафоры, которая стремится объяснить природу и смысл метафоры, неизбежно должна будет обратиться к этим трем областям. Схематически мы бы могли представить уровни метафоры следующим образом:

1. Поверхностный уровень: культура.
2. Более глубокий уровень: семантика и синтаксис.
3. Самый глубинный уровень: познание.

Проблема, с которой сталкивается эта попытка привести метауровни в соответствие с компьютерной метафорой, заключается в том, что уровни 2 и 3 не являются независимыми от уровня 1, а воплощены в биологическом организме, эволюция которого отчасти подвержена влиянию со стороны культуры. Чрезвычайная сложность метафоры как некоторого познавательного процесса связана с тем, что она получает языковое выражение в определенном культурном контексте с помощью воплощенного сознания (разума).

Я описываю метафору как эволюционный познавательный процесс, который объединяет мозг, разум и культуру в их творческом созидании языка. Но прежде чем приступить к этому описанию, я хотел бы внимательно присмотреться к природе метафоры — что именно делает метафору метафорой, как можно отличить метафору от аналогии и как можно отличить метафорический язык от буквального. Моя цель — предложить лингвистическую теорию, способную порождать метафоры и включающуюся в этот более широкий процесс познания. Кроме того, меня интересует функционально-истинностный статус метафор, а также вопрос о том, каким образом метафоры приобретают значение.

ПРИРОДА МЕТАФОРЫ

Метафора как процесс. Выше было предложено рассматривать метафору как процесс. Теперь я должен развить эту идею, поскольку, говоря о метафоре как о процессе, я вкладываю в это понятие несколько различных, хотя и взаимосвязанных смыслов. Я по большей части описывал метафору на уровне поверхностного языка, на котором мы говорим. Обсуждая теорию напряжения, контроверзную теорию и теорию отклонения, я охарактеризовал метафору на более глубинных уровнях — семантическом и когнитивном. Уместно предложить определение метафоры как такого соположения референтов, в результате которого возникает семантическая концептуальная аномалия. Такое определение включает функционирование метафоры в семантическую теорию и в сферу познания. При этом требуется прояснить, что реально стоит за этим включением. Однако соображе-

ния, касающиеся сравнения, метонимии, синекдохи и катахрезы, снова неизбежно делают предметом нашего преимущественного внимания поверхностный язык. Эпифора и диафора есть мера подобия и несходства между свойствами референтов и требует обращения к сознанию для вынесения соответствующих интуитивных суждений, однако описание эпифоры и диафоры не является ни лингвистическим объяснением, ни объяснением метафоры как познавательного процесса.

Как правило, я говорю о метафоре как о процессе, протекающем на трех взаимосвязанных уровнях: (1) метафора как языковой процесс — возможное движение от обычного языка к диафоре, к эпифоре и обратно, к обычному языку, (2) метафора как семантический и синтаксический процесс, то есть объяснение метафоры в терминах лингвистической теории, и (3) метафора как когнитивный процесс, помещенный в контекст более широкого эволюционного процесса познания, то есть метафора рассматривается не только как семантический процесс, но и как основополагающий когнитивный процесс, без которого было бы невозможно получение нового знания. Соблазнительно представить себе эти три уровня в виде блоков, помещенных один на другом, но такой образ может ввести в заблуждение, поскольку названные три процесса зависят друг от друга и проникают один в другой. Описывая метафору как семантический процесс, следует обращаться к поверхностному языковому контексту, в котором она возникает; рассматривая метафору как когнитивный процесс, следует учитывать чувственно воспринимаемое окружение, в котором рождается знание. Почему бы не говорить об одном метафорическом процессе, имеющем три аспекта: поверхностный язык, семантику и познание? Метафора действительно представляет собой единый процесс с этими тремя аспектами, однако описание метафоры одновременно в терминах всех этих трех аспектов не способствует прояснению данного понятия. Моя стратегия состоит в том, чтобы рассматривать эти аспекты раздельно — как три процесса, постоянно помня, однако, что на самом деле, когда поэт или ученый создает новую метафору, речь идет о трех аспектах единого процесса. Искусственное выделение трех процессов на трех уровнях, из которых самым глубоким является познание, есть признание ценности абстрактных объяснений с помощью глубинной структуры. Абстрактные глубинные структуры, постулированные Хомским для языка, оказались плодотворными не только для лингвистики, но и для теории познания. Описания метафоры, ограничивающиеся первым уровнем, то есть трактующие метафору как поверхностное языковое явление, не обладают объяснительной силой и не могут нас удовлетворить. Подобные теории говорят нам о том, как создавать метафоры и как пользоваться ими, но не объясняют фундаментальную природу метафоры как компонента человеческого познания.

Метафоры передающие и метафоры базисные. Анализ того, как используются метафоры, — это описание метафор на первом уровне объяснения: как элементов поверхностного языка. Поэты, сознательно или несознательно постигающие ту или иную особенность жизни или мира, ищут наиболее осмысленные, живые и свежие способы передачи результатов своих прозрений. Они выбирают слова и сочетают их таким образом, чтобы создаваемые при этом метафоры одновременно выражали их интуицию и вызывали к жизни новые возможные смыслы. Так, Уоллес Стивенс в своем стихотворении «Воскресное утро» говорит о «смерти» как о «матери красоты». Другой пример — ученый, нащупывающий некоторую гипотетическую возможность для нового объяснения. Он не умеет найти точную формулировку для своих интуитивных представлений о том, что в действительности представляет собой физическая реальность, и потому прибегает к некоторым старым понятиям и вливает в них новый смысл путем сопоположения с другими, менее знакомыми терминами или же со знакомыми, но лежащими вне привычных ассоциаций, действуя либо путем создания неологизма, либо путем модификации теории, в рамках которой термины обычно обретают свое контекстуальное значение. Так, для объяснения регуляции генов был изобретен «оперон» — диафорическая метафора, намекающая на возможное объяснение.

Мы далеки от детального понимания механизма, который регулирует деятельность генов. Для бактерий общепринятой моделью такого рода является «оперон», предложенный Жакобом и Моно (1961). Оперон состоит из оператора и нескольких структурных генов, смежных или расположенных в близком соседстве друг к другу. Оператор, взаимодействуя с клеточным окружением через посредство продуктов регулирующих генов, определяет время транскрипции структурных генов оперона [4, p. 29][2].

Есть ли в действительности такие реальные сущности, как «опероны»? Возможно; но термин был изобретен в качестве гипотетического объяснения того, как функционируют гены. Экспериментальное подтверждение существования «оперонов» может изменить статус «оперона», так что он превратится из диафоры в эпифору или даже войдет в обычный язык.

Третий пример — политик, который хочет создать новый образ и изобретает такую метафору, как «война с бедностью», — метафору, воспринимаемую поначалу как идеальный образ, апеллирующий к воображению. Оружием в этой войне становятся финансируемые правительством социальные программы, и, по мере того как «война» находит практическое развитие и воплощение метафора стирается.

Все подобные типы употребления метафоры и множество других постоянно встречаются в нашем языке; метафора эксплуатируется как языковое средство для передачи семантических

---

[2] Автор ссылается на работу [6].

сдвигов в концептуализации, преследующих разнообразные цели. Как я заметил выше, метафора, используемая в этой наиболее распространенной и типичной функции, может быть названа «передающей метафорой». Рассматривая компьютерную метафору, я также отметил, что существует и другой тип использования метафоры — постулирование базисных метафор, играющих роль фундаментальных допущений, которые лежат в основе теории или даже целой научной дисциплины. Стивен Пеппер назвал такие метафоры коренными метафорами. Я, однако, заменил это наименование названием «базисные метафоры», чтобы избежать ограничительной ассоциации с метафизическими теориями, описываемыми Пеппером [12]. Базисная метафора может играть роль гипотетического допущения, представляещего собой основу той или иной теории, научной дисциплины или теологии, а не только основу метафизической теории. Поскольку моя «базистая метафора» есть не что иное, как расширение пепперовского понятия, позвольте мне обратиться к его определению «коренной метафоры» и соответствующим образом дополнить его. Пеппер описывает метод коренной метафоры следующим образом:

Человек, желающий постичь мир, ищет ключ к его пониманию. Он выбирает какую-то область фактов, доступных пониманию на уровне здравого смысла, и смотрит, не сможет ли он понимать другие области в терминах данной. Это исходная область становится, таким образом, его базисной аналогией, или коренной метафорой. Он прилагает все усилия, чтобы описать наилучшим образом характерные свойства данной области или, если угодно, выявить ее структуру. Из списка структурных характеристик формируются основные понятия объяснения и описания. Мы называем их множеством категорий. Эти категории становятся исходным пунктом для изучения всех других областей фактов, исследовавшихся или не исследовавшихся ранее. Предпринимается попытка интерпретировать все факты в терминах этих категорий. В результате может потребоваться уточнение и приспособление категорий к фактам, так что первоначально множество категорий постоянно изменяется и развивается [12, p. 91].

Изобретатель базисной метафоры хочет охватить всю область человеческого опыта или физического мира; базисная метафора «Мир математичен» может быть сознательно или неосознанно принята естествоиспытателем в качестве гипотетической основы конструируемой им теории. Он знает, что мир не является математическим в буквальном смысле слова, ведь если бы это было так, естествознание слилось бы с математикой, и не было бы нужды проводить эксперименты. Но он принимает базисную метафору в качестве диафоры, предполагающей особый способ видения мира; он стремится подтвердить свои интуитивные догадки, создавая математические теории, которые находят-таки эмпирическое подтверждение. Математическое обоснование существования позитрона, постулированного в физике элементарных частиц, и нейтрино, впоследствии подтвержденного экспериментально, дало повод некоторым исследователям выдвинуть афоризм: «Природа поставляет то, что требует математика». Но даже в физике элементарных частиц остается так много эксперимен-

тальных аномалий, что базисная метафора «Мир математичен» остается диафорой.

Теологи также умышленно или неумышленно формулируют базисные метафоры о человечестве и мире. Религиозное верование, согласно которому Бог действует в истории, лежит в основе базисной метафоры «Мир — поле деятельности Бога». Она играет роль диафоры, так как непосредственное эмпирическое подтверждение того, что невидимый Бог совершает в этом мире прямо наблюдаемые действия, затруднительно, если не невозможно. В качестве базисной метафоры, однако, представление о Боге, действующем в истории, составляет основу для построения ряда богословских категорий и находит косвенное подтверждение и интерпретацию в жизни верующих.

Различие между «передающей» и «базисной» метафорами связано с различием в их сфере действия и функции. Передающие метафоры предлагают обычно метафорическое прозрение ограниченного масштаба, тогда как базисные метафоры лежат в основе всей теории или научной дисциплины, посвященной описанию широко распространенных явлений. Компьютерная метафора стремится служить основой объяснения всего человеческого мышления. Отдельные передающие метафоры могут использоваться как базисные метафоры. Многие метафоры, связанные с персонификацией живых и неживых объектов внешнего мира, использовались также в качестве фундаментальной базисной метафоры «Мир — это человек», составляющей основу примитивных теорий, подобных анимизму. Пеппер отвергает анимизм в силу его неточности, а мистицизм («Мир — это дух» или «Мир божествен») — в силу его абстрактности. Он допускает в качестве гипотез о мире формизм, «механизм», контекстуализм и органицизм, основанные на таких коренных метафорах, как, соответственно, подобие, машина, историческое событие, рассматриваемое с точки зрения настоящего, и процесс. Эти гипотезы достаточно точны и не слишком эклектичны, чтобы быть отвергнутыми из-за своего чрезмерно общего характера; им также свойственны независимость и автономность. Я удержусь от того, чтобы рассматривать требования каждой из этих гипотез; достаточно того, что я расширил понятие «коренной метафоры», выведя его за пределы четырех гипотез Пеппера, дал этому расширенному понятию новое наименование «базисной метафоры» и допустил, что оно может относиться ко всякого рода неточным и эклектичным теориям. Использовать в своей познавательной деятельности базисные метафоры — это настолько естественный и характерный для человека метод, что отрицать его было бы почти то же самое, что отрицать возможность получения нового знания. Развивая свою идею четырех мировых гипотез, основанных на соответствующих метафорах, Пеппер руководствовался стремлением предложить структурное обоснование познавательному процессу, создающему такие когнитивные прозрения, называемые danda (то, что должно быть дано),

которые могли бы параллельно включать в себя data, то есть опытные данные, составляющие, как полагают строгие эмпирики, особенно позитивисты, основу знания. По мнению Пеппера, строго эмпирическая позиция вырождается либо в неприемлемый скептицизм, либо в отвратительный догматизм; отсюда необходимость недогматической и чуждой скептицизму альтернативной формы эпистемологии, предполагающей ряд структурно обоснованных категорий, построенных в соответствии с ложащей в основе коренной метафорой. В процессе доказательства Пеппер обратил внимание на ту же самую проблему автореференции, которую я отметил выше в связи с компьютерной метафорой. Теория коренной метафоры предполагает теорию истинности, основанную на успехе или провале коренных метафор. Где гарантия, что сама теория коренной метафоры является истинной и/или должна быть принята?

Как ни странно, если эта теория коренной метафоры истинна, то ее истинность может быть установлена лишь на основе адекватности тех теорий, которые она призвана объяснить. Ибо сама эта теория представляет собой структурную гипотезу — по крайней мере, она должна быть таковой в своем окончательном подтверждении, — а структурная гипотеза, как мы видели, получает полное подтверждение только в какой-либо теории мира. Отсюда следует, что, если данная теория верна, она должна получить поддержку в какой-либо адекватной теории мира. Тем самым рассматриваемая теория будет, так сказать, поглощена своими собственными данными, то есть станет элементом той теории, теоретическим объяснением которой она является [12, р. 85].

Я обратил внимание на то же явление в связи с компьютерной метафорой; если компьютерная метафора служит предпосылкой теории разума, то свидетельства в пользу принятия компьютерной метафоры будут составлять часть включающей ее теории. Почему? Потому что теория, предложенная мною для объяснения умственной деятельности, есть продукт умственной деятельности — метафорического мышления. Если бы мы стояли перед задачей верификации теории, объясняющей какое-либо физическое явление, мы бы не столкнулись с этой проблемой автореференции, поскольку теория относилась бы к ряду сущностей и действий, отличных от нее самой. Но теория построения теорий, или теория метафор, требующая обращения к метафоре для своей поддержки, или теория разума, предполагающая ментальные сущности, подобные метафорам, — все они связаны с потенциальным порочным кругом или с парадоксами автореференции.

Мы уже покинули 1-й уровень объяснения — поверхностный язык; при рассмотрении базисных метафор мы окунулись в сферу уровня 3 — когнитивного, — почти полностью игнорируя уровень 2, то есть уровень семантической теории. Рассмотрение проблемы автореференции требует учета семантической теории, поскольку она имеет отношение как к поверхностному языку, так и к сознанию. Проблема объяснения теории метафоры может рассматриваться как зеркало, отражаемое в другом зеркале;

между этими двумя зеркалами следует поместить нечто — а именно: семантическую теорию, с тем чтобы предотвратить бесконечный ряд отражений.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Arbib M. A. The Metaphorical Brain. New York, Wiley — Interscience, 1972.

[2] Boden Margaret A. Artificial Intelligence and Natural Man. New York, Basic book, 1977.

[3] Dennett D. C. Why you can make a computer that feels pain. — In: Dennett D. Brainstorms. Montgomery, Vermont, Bladford Books, 1978.

[4] Dobzhansky Th. ed. al. Evolution. San Francisco, W. H. Freeman, 1977.

[5] Dreyfus H. L. What Computers Can't Do. New York, Harper Colophon Book, 1979, Ch. 7.

[6] Jacob F., Monod J. Genetic regulatory mechanisms in the synthesis of protein. — "Journal of Molecular Biology", 2, 1961, p. 318—356.

[7] La Mettrie J. O. de. Man a Machine. La Salle, Illiois, Open Court, 1912.

[8] MacCormac E. R. Metaphor and Myth in Science and Religion. Durham, North Carolina, Duke Univ. Press, 1976.

[9] McCarthy J. Ascribing mental qualities to machines. — In: "Philosophical Perspectives in Artificial Intelligence", ed. by M. Ringle. New York, Humanities Press, 1979.

[10] McCorduck Pamela. Machines Who Think. San Francisco, W. H. Freeman, 1979.

[11] Ortony A. (ed.) Metaphor and Thought. Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1979.

[12] Pepper S. C. World Hypothesis. Berkeley, Univ. of California Press, 1970.

[13] Pylyshyn Z. W. Computation and Cognition: Issues in the Foundation of Cognitive science. — "The Behavioral and Brain Sciences", 3, 1980.

[14] Turing A. M. Computing Machinery and Intelligence. — In: "Minds and Machines", ed. by A. R. Anderson. New Jersey, Prentice-Hall, 1964.

ДЖОРДЖ ЛАКОФФ, МАРК ДЖОНСОН

МЕТАФОРЫ, КОТОРЫМИ МЫ ЖИВЕМ

I

МИР ПОНЯТИЙ, ОКРУЖАЮЩИЙ НАС

Для большинства людей метафора — это поэтическое и риторическое выразительное средство, принадлежащее скорее к необычному языку, чем к сфере повседневного обыденного общения. Более того, метафора обычно рассматривается исключительно как принадлежность естественного языка — то, что относится к сфере слов, но не к сфере мышления или действия. Именно поэтому большинство людей полагает, что они превосходно могут обойтись в жизни и без метафор. В противоположность этой расхожей точке зрения мы утверждаем, что метафора пронизывает всю нашу повседневную жизнь и проявляется не только в языке, но и в мышлении и действии. Наша обыденная понятийная система, в рамках которой мы мыслим и действуем, метафорична по самой своей сути.

Понятия, управляющие нашим мышлением, вовсе не замыкаются в сфере интеллекта. Они управляют также нашей повседневной деятельностью, включая самые обыденные, земные ее детали. Наши понятия упорядочивают воспринимаемую нами реальность, способы нашего поведения в мире и наши контакты с людьми. Наша понятийная система играет, таким образом, центральную роль в определении повседневной реальности. И если мы правы в своем предположении, что наша понятийная система носит преимущественно метафорический характер, тогда наше мышление, повседневный опыт и поведение в значительной степени обусловливаются метафорой.

Однако понятийная система отнюдь не всегда осознается нами. В повседневной деятельности мы чаще всего думаем и действуем более или менее автоматически, в соответствии с определенными схемами. Что представляют собой эти схемы, для нас совсем не очевидно. Один из способов их выявления состоит в обращении

George Lakoff, Mark Johnson. Metaphors We Live By. Chicago, University of Chicago Press, 1980. Ниже публикуются первые шесть глав данной книги (с. 3—32). Ее избранные главы (I, XIII, XXI, XXIII, XXIV) ранее выходили в русском переводе в сб.: «Язык и моделирование социального взаимодействия». М., «Прогресс», 1987, с. 126—170.

к естественному языку. Поскольку естественноязыковое общение базируется на той же понятийной системе, которую мы используем в мышлении и деятельности, язык выступает как важный источник данных о том, что́ эта система понятий собой представляет.

Наш вывод о том, что наша обыденная понятийная система метафорична по своей сути, опирается на лингвистические данные. Благодаря языку, мы получили также доступ к метафорам, структурирующим наше восприятие, наше мышление и наши действия.

Для того чтобы дать читателю наглядное представление о том, что такое метафорическое понятие и как оно упорядочивает повседневную деятельность человека, мы рассмотрим понятие ARGUMENT 'СПОР' и понятийную метафору ARGUMENT IS WAR 'СПОР — ЭТО ВОЙНА'. Эта метафора представлена в многочисленных и разнообразных выражениях обыденного языка:

ARGUMENT IS WAR 'СПОР ЕСТЬ ВОЙНА'

Your claims are *indefensible*
'Ваши утверждения не выдерживают критики (букв. *незащитимы*)'.
He *attacked every weak points* in my argument
'Он *нападал на каждое слабое место* в моей аргументации'.
His criticisms were *right ou target*
'Его критические замечания *били* точно в цель'.
I *demolished* his argument
'Я *разбил* его аргументацию'.
I've never *won* an argument with him
'Я никогда не *побеждал* в споре с ним'.
You disagree? Okay, *shoot!*
'Вы не согласны? Отлично, ваш *выстрел*!'
If you use that *strategy*, he'll *wipe you out*
'Если вы будете следовать этой *стратегии*, он вас *уничтожит*'.
He *shot down* all of my arguments
'Он разбил (букв. *расстрелял*) все мои доводы'.

Крайне важно иметь в виду, что мы не просто говорим о спорах в терминах войны. Мы можем реально побеждать или проигрывать в споре. Лицо, с которым спорим, мы воспринимаем как противника. Мы атакуем его позиции и защищаем собственные. Мы захватываем территорию, продвигаясь вперед, или теряем территорию, отступая. Мы планируем наши действия и используем определенную стратегию. Убедившись в том, что позиция незащитима, мы можем ее оставить и принять новый план наступления. Многое из того, что мы реально делаем в спорах, частично осмысливается в понятийных терминах войны. В споре нет физического сражения, зато происходит словесная битва, и это отражается в структуре спора: атака, защита, контратака и т. п. Именно в этом смысле метафора СПОР — ЭТО ВОЙ-

НА принадлежит к числу тех метафор, которыми мы «живем» в нашей культуре: она упорядочивает те действия, которые мы совершаем в споре.

Постараемся вообразить другую культуру, в которой споры не трактуются в терминах войны, в споре никто не выигрывает и не проигрывает, никто не говорит о наступлении или защите, о захвате или утрате территорий. Пусть в этой воображаемой культуре спор трактуется как танец, партнеры — как исполнители, а цель состоит в гармоничном и красивом исполнении танца. В такой культуре люди будут рассматривать споры иначе, вести их иначе и говорить о них иначе. Мы же, по-видимому, соответствующие действия представителей этой культуры вообще не будем считать спорами: на наш взгляд, они будут делать нечто совсем другое. Нам покажется даже странным называть их «танцевальные» движения спором. Возможно, наиболее беспристрастно описать различие между данной воображаемой и нашей культурами можно так: в нашей культуре некая форма речевого общения трактуется в терминах сражения, а в той другой культуре — в терминах танца.

Разобранный пример показывает, каким образом метафорическое понятие, а именно метафора СПОР — ЭТО ВОЙНА, упорядочивает (по крайней мере частично) наши действия и способствует их осмыслению в ходе спора. *Сущность метафоры состоит в осмыслении и переживании явлений одного рода в терминах явлений другого рода.* Дело вовсе не в том, что спор есть разновидность войны. Споры и войны представляют собой явление разного порядка — словесный обмен репликами и вооруженный конфликт, и в каждом случае выполняются действия разного порядка. Дело в том, что СПОР частично упорядочивается, понимается, осуществляется как война, и о нем говорят в терминах войны. Тем самым понятие упорядочивается метафорически, соответствующая деятельность упорядочивается метафорически, и, следовательно, язык также упорядочивается метафорически.

Более того, речь идет об о б ы д е н н о м способе ведения спора и его выражения в языке. Для нас совершенно нормально обозначать критику в споре как атаку: attack a position 'атаковать позицию'. В основе того, что и как мы говорим о спорах, лежит метафора, которую мы едва ли осознаем. Эта метафора проявляется не только в том, как мы говорим о споре, но и в том, как мы его понимаем. Язык спора не является ни поэтическим, ни фантастическим, ни риторическим: это язык буквальных смыслов. Мы говорим о спорах так, а не иначе потому, что именно таково наше понятие спора, и мы действуем в соответствии с нашим осмыслением соответствующих явлений.

Наиболее важный вывод из всего сказанного выше состоит в том, что метафора не ограничивается одной лишь сферой языка, то есть сферой слов: сами п р о ц е с с ы м ы ш л е н и я человека в значительной степени метафоричны. Именно это имеем мы

в виду, когда говорим, что понятийная система человека упорядочивается и определяется метафорически. Метафоры как языковые выражения становятся возможны именно потому, что существуют метафоры в понятийной системе человека. Таким образом, всякий раз, когда мы говорим о метафорах типа СПОР — ЭТО ВОЙНА, соответствующие метафоры следует понимать как м е т а ф о р и ч е с к и е   п о н я т и я (концепты).

II

СИСТЕМНОСТЬ МЕТАФОРИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ

Споры ведутся по определенным моделям. Это означает, что мы делаем одни ходы и не делаем другие. Тот факт, что мы осмысливаем споры частично в терминах сражения, системно обусловливает и саму форму спора, и способ обозначения наших ходов. Поскольку метафорическое понятие системно, системен и язык, используемый для его раскрытия.

На примере метафоры СПОР — ЭТО ВОЙНА мы видели, что выражения, взятые из лексикона войны, например attack a position 'атаковать позицию', indefensible 'неспособный к обороне', strategy 'стратегия', new line of attack 'новый план наступления', win 'побеждать', gain ground 'захватывать территорию' и т. п., образуют системный способ выражения «военных» аспектов спора. Отнюдь не случайно, что эти выражения сохраняют свое обычное значение, когда мы пользуемся ими, говоря о спорах. Некоторый фрагмент понятийной сети сражения частично характеризует понятие спора, и язык следует этому образцу. Поскольку метафорические выражения нашего языка системно связаны с метафорическими понятиями, мы можем обратиться к первым в целях исследования природы метафорических понятий и уяснения метафорической природы наших действий.

Для демонстрации того, как метафорические выражения повседневного языка могут прояснять метафорическую природу понятий, упорядочивающих наши повседневные действия, рассмотрим метафорическое понятие TIME IS MONEY 'ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ' так, как оно отражается в современном английском языке.

TIME IS MONEY 'ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ'

You are *wasting* my time
'Вы отнимаете (букв. *растрачиваете* мое) у меня время'.
This gadget will *save* you hours
'Это приспособление *сэкономит* вам много времени'.
I don't *have* the time to *give* you
букв.: 'Я не *имею* времени, чтобы *дать* вам'.
How do you *spend* your time these days?
'Как вы проводите (букв. *тратите*) ваше время в эти дни?'

That flat tire *cost* me an hour
'Эта спустившая шина *стоила* мне часа работы'.
I've *invested* a lot of time in her
букв.: 'Я *вложил* много времени в нее'.
I don't *have enough* time to *spare* for that
букв.: 'Я не *имею достаточно* времени, чтобы уделить этому'.
['У меня нет для этого времени'.]
You're *running out* of time
'Вы *истощаете* ваш запас времени'.
You need to *budget* your time
'Вам нужно *рассчитывать* свое время'.
Put aside some time for ping pong
'Выделите (букв.: '*накопите*') время для пинг-понга'.
Is that *worth your while?*
'Стоит ли это *затраты вашего времени?*'
Do you *have* much time *left?*
'Много ли времени у вас *осталось?*'
He is living on *borrowed* time
'Он живет за счет чужого (букв. *одолженного*) времени'.
You don't *use* your time *profitably*
'Вы не *используете с выгодой* ваше время'.
I *lost* a lot of time when I got sick
'Я *потерял* много времени, когда болел'.
Thank you for your time
'*Спасибо вам за* потраченное время'.

В нашей культурной среде время особенно ценится. Его ресурсы для нас ограничены. Поскольку в современной западной культуре понятие труда обычно связывается со временем, затрачиваемым на его выполнение, а время подлежит точному количественному измерению, труд людей обычно оплачивается согласно затраченному времени — по часам, неделям или годам. В нашей культуре метафора ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ проявляется весьма многообразно: повременная оплата телефонных разговоров, почасовая оплата труда, тарифы за пользование гостиницей, годовые бюджеты, проценты по займам, выполнение общественных обязанностей, связанное с «выделением» для них определенного времени. В истории человечества эти общественные установления относительно новы и существуют далеко не во всех культурах. Возникшие в современных индустриальных обществах, они глубоко пронизывают нашу повседневную деятельность. Мы *относимся* ко времени как к очень ценной вещи — как к ограниченным ресурсам и даже как к деньгам — и соответствующим образом *осмысливаем* его. Тем самым мы понимаем и переживаем время как нечто такое, что может быть истрачено, израсходовано, рассчитано, вложено разумно или безрассудно, сэкономлено или потрачено напрасно.

ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ, ВРЕМЯ — ОГРАНИЧЕННЫЙ РЕ-

СУРС, ВРЕМЯ — ЦЕННАЯ ВЕЩЬ — все это метафорические понятия. Метафорические потому, что наш повседневный опыт обращения с деньгами, ограниченными ресурсами и ценными вещами мы используем для осмысления понятия времени. Это отнюдь не обязательный для всех людей способ осмысления времени, но с нашей культурой он тесно связан. Существуют культуры, где время осмысливается в других категориях.

Метафорические понятия ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ, ВРЕМЯ — ОГРАНИЧЕННЫЙ РЕСУРС, ВРЕМЯ — ЦЕННАЯ ВЕЩЬ образуют единую систему, основанную на категориальном вложении понятий, поскольку в нашем обществе деньги входят в понятие ограниченных ресурсов, а ограниченные ресурсы — в понятие ценных вещей. Эти отношения характеризуют и импликации метафор: ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ имплицирует метафору ВРЕМЯ — ОГРАНИЧЕННЫЙ РЕСУРС, а ВРЕМЯ — ОГРАНИЧЕННЫЙ РЕСУРС имплицирует метафору ВРЕМЯ — ЦЕННАЯ ВЕЩЬ.

Мы принимаем практику использования наиболее специфичного (узкого) метафорического понятия, в данном случае — понятия ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ, для характеристики всей системы понятий. Из тех выражений, которые приведены выше для иллюстрации метафоры ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ, одни относятся собственно к деньгам (spend, invest, budget, profitably, cost), другие — к ограниченным ресурсам (use, use up, have enough of, run out of), а третьи — к ценным вещам (have, give, lose, thank you for). Здесь мы имеем пример того, как импликации метафор характеризуют связную систему метафорических понятий и соответствующую им связную систему метафорических выражений.

III

МЕТАФОРИЧЕСКАЯ СИСТЕМНОСТЬ: ОСВЕЩЕНИЕ И ЗАТЕМНЕНИЕ

Системность, благодаря которой мы можем осмысливать некоторые аспекты одного понятия в терминах другого понятия (например, спора в терминах сражения), по необходимости затемняет другие аспекты данного понятия. Позволяя нам сосредоточиться на одном аспекте понятия (например, на «военном» аспекте спора), метафорическое понятие может мешать сосредоточиться на других аспектах этого понятия, несовместимых с соответствующей метафорой. Например, в пылу бурного спора, когда мы стремимся разбить нашего противника и защитить наши собственные позиции, мы можем упустить из виду, что в споре есть и сотрудничество. Можно считать, что ваш противник в споре затрачивает свое время, то есть ценную вещь, стремясь достичь взаимопонимания. Когда же мы поглощены исключительно «военным» аспектом спора, мы часто упускаем из виду аспекты сотрудничества.

Гораздо более тонкий пример того, как метафорическое понятие может затемнять тот или иной аспект нашего опыта, можно усмотреть в явлении, которое М. Редди назвал “conduit metaphor” — ‘метафора передачи’ (‘метафора канала связи’). Редди указывает, что тот язык, который мы используем, когда мы говорим о самом языке, структурно упорядочивается в соответствии со следующей составной метафорой:

ИДЕИ (ИЛИ ЗНАЧЕНИЯ) СУТЬ ОБЪЕКТЫ.
ЯЗЫКОВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ СУТЬ ВМЕСТИЛИЩА.
КОММУНИКАЦИЯ ЕСТЬ ПЕРЕДАЧА (ОТПРАВЛЕНИЕ).

Говорящий помещает идеи (объекты) в слова (вместилища) и отправляет их (через канал связи — conduit) слушающему, который извлекает идеи/объекты из слов/вместилищ. Редди демонстрирует эту метафору на примерах многочисленных типов выражений английского языка (более сотни типов), что покрывает, по его оценке, по меньшей мере 70 % общей совокупности выражений, используемых нами, когда мы говорим о языке. Приведем примеры:

МЕТАФОРА КАНАЛА СВЯЗИ

It’s hard to *get* an idea *across* to him
‘Ему трудно *втолковать* (любую) мысль’.
I *gave* you that idea
‘Я *подал* вам эту мысль’.
Your reasons *came through* to us
букв.: ‘Ваши доводы *дошли до* нас’.
It’s difficult to *put* my ideas *into* words
‘Мне трудно *облечь* мои мысли *в* слова’.
When you *have* a good idea, try to *capture* it immediately *in* words
‘Когда у вас появляется хорошая мысль, старайтесь сразу же *облечь ее* в слова’.
Try to *pack* more thought *into* fewer words
букв.: ‘Старайтесь *вложить* больше мыслей *в* меньшее число слов’.
You can’t simply *stuff* ideas *into* a sentence any old way
‘Вы не можете просто *втискивать* новые мысли *во* фразу старым способом’.
The meaning is right there *in* the words
‘Смысл *заключен* как раз *в* этих словах’.
Don’t *force* your meanings *into* the wrong words
букв.: ‘Не *втискивайте* ваши мысли *в* не те (неподходящие) слова’.
His words *carry* little meaning
‘Его слова *несут* мало смысла’.
The introduction *has* a great deal of thought *content*
букв.: ‘Введение *имеет* много содержательных мыслей’.

Your words seem *hollow*
'Ваши слова кажутся *пустыми*'.
The sentence is *without* meaning
'Эта фраза *без* смысла'.
The idea is *buried in* terribly dense paragraphs
'Эта мысль *погребена в* ужасающе глупых абзацах'.

Читая подобные примеры, непросто увидеть в них метафорический смысл, даже заметить в них метафору. Такое осмысление языка настолько вошло в привычку, что подчас трудно себе представить, что оно может не соответствовать действительности. Однако если мы обратим внимание на следствия, вытекающие из метафоры КАНАЛА СВЯЗИ, то увидим, что она маскирует некоторые аспекты коммуникативного процесса.

Прежде всего, из второго компонента метафоры КАНАЛА СВЯЗИ — ЯЗЫКОВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ СУТЬ ВМЕСТИЛИЩА ДЛЯ ЗНАЧЕНИЙ — вытекает, что слова и фразы обладают значением сами по себе — вне зависимости от контекста или от говорящего. Из первого положения этой метафоры — ЗНАЧЕНИЯ СУТЬ ОБЪЕКТЫ — вытекает, в частности, что значения существуют независимо от людей и от контекстов употребления. По существу, аналогичное следствие вытекает и из второго положения — ЯЗЫКОВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ СУТЬ ВМЕСТИЛИЩА ДЛЯ ЗНАЧЕНИЙ. Эти метафоры оказываются приемлемыми для многих речевых ситуаций, а именно для тех, в которых контекстуальные различия не играют никакой роли, и все участники речевого акта понимают фразы одинаково. Упомянутые два следствия нашей метафоры иллюстрируются фразами типа

The meaning is *right there in* the words
'Смысл *заключен* как раз *в* этих словах';
в соответствии с метафорой КАНАЛА СВЯЗИ, это может быть сказано относительно любой фразы. Однако во многих случаях весьма существенную роль играет контекст речевого акта. Вот известный пример:

Please sit in the apple-juice seat
букв.: 'Садитесь, пожалуйста, на место яблочного сока'.

Взятая изолированно, эта фраза вообще лишена содержания, поскольку выражение apple-juice seat не является нормальным способом обозначения какого-либо объекта. Однако эта фраза приобретает полноценный смысл в том контексте, в котором она была произнесена. Гость, оставшийся на ночлег, утром спустился к завтраку. Накануне вечером стол был накрыт на четыре персоны: против трех мест стоял апельсиновый сок, а против одного — яблочный. Тогда было очевидно, к чему следует отнести выражение apple-juice seat 'место, против которого стоит яблочный сок'. И на следующее утро, когда уже не было на столе яб-

лочного сока, было по-прежнему ясно, которое из мест за столом может быть обозначено как apple-juice seat.

Кроме тех фраз, которые не имеют смысла вне контекста речевого акта, представляют интерес случаи, когда одна и та же фраза означает разное для разных людей. Рассмотрим пример:

We need new alternative sources of energy
'Мы нуждаемся в новых альтернативных (запасных) источниках энергии'.

Эта фраза означает разное для президента нефтяной компании и для президента общества друзей земного шара. Смысл этой фразы заключен не только в ней самой: здесь для его уяснения существенно и то, кто говорит или кто слушает, и то, каковы социальные или политические статусы участников речевого акта. Метафора КАНАЛА СВЯЗИ не охватывает те случаи, в которых необходимо привлечение контекста для выяснения того, имеет ли фраза смысл вообще, и если имеет, то каков этот смысл.

Приведенные примеры показывают, что рассмотренные метафорические понятия дают лишь частичное осмысление того, какова суть коммуникации, что такое спор, что такое время; при этом они затемняют (маскируют) некоторые аспекты этих понятий. Важно учитывать, что метафорическое упорядочивание реальности носит в этих случаях не всеобъемлющий, а лишь частичный характер. Если бы оно было всеобъемлющим, одно понятие было бы тождественно другому понятию, а не просто осмысливалось бы в его терминах. Например, время реально не тождественно деньгам. Если вы *затрачиваете ваше время* (If you *spend your time*), стремясь к достижению некоторой цели, но не достигаете этой цели, вы не можете вернуть ваше время назад. В реальном мире банков времени нет. Я могу *уделить вам много своего времени* (I can *give you a lot of time*), но вы не можете вернуть мне назад то же самое время, хотя можете *вернуть мне то же самое количество времени* (you can *give me back the same amount of time*). И так далее. Таким образом, метафорическое понятие не отражает и не может отражать все без исключения аспекты исходного понятия.

Однако метафорические понятия могут выйти за пределы обычного буквального способа мышления в область, называемую фигуральным, поэтическим, красочным или причудливым мышлением и языком. Так, если мысли суть объекты, то мы можем *облачать их в причудливые одежды* (*dress them up in fancy clothes*), *жонглировать ими* (*juggle them*), *выстраивать их стройно и красиво в шеренги* (*line them up nice and neat*) и т. п. Поэтому мы, говоря, что некоторое понятие упорядочивается метафорой, имеем в виду, что оно частично упорядочивается и может получить расширительное употребление не произвольным, но вполне определенным способом.

IV

ОРИЕНТАЦИОННЫЕ МЕТАФОРЫ

До сих пор мы рассматривали явления, которые можно назвать структурными метафорами, то есть те случаи, когда одно понятие структурно метафорически упорядочивается в терминах другого. Существует и другой тип метафорического понятия, когда нет структурного упорядочивания одного понятия в терминах другого, но есть организация целой системы понятий по образцу некоторой другой системы. Такие случаи мы назовем ориентационными метафорами, так как большинство подобных понятий связано с пространственной ориентацией, с противопоставлениями типа «верх — низ», «внутри — снаружи», «передняя сторона — задняя сторона», «глубокий — мелкий», «центральный — периферийный». Подобные ориентационные противопоставления проистекают из того, что наше тело обладает определенными свойствами и функционирует определенным образом в окружающем нас физическом мире. Ориентационные метафоры придают понятию пространственную ориентацию; например, HAPPY IS UP 'СЧАСТЬЕ ЕСТЬ ВЕРХ'. Тот факт, что понятие СЧАСТЬЕ (УДАЧА, УСПЕХ) ориентировано на ВЕРХ (the concept HAPPY is oriented UP), демонстрируется такими английскими выражениями, как I'm feeling *up* today 'Я чувствую себя сегодня превосходно (на подъеме)'.

Подобные метафорические ориентации отнюдь не произвольны — они опираются на наш физический и культурный опыт. Хотя полярные оппозиции «верх — низ», «внутри — снаружи» и т. п. имеют физическую природу, основанные на них ориентационные метафоры могут варьировать от культуры к культуре. Например, в одних культурах будущее находится впереди нас, а в других — позади нас. Иллюстрируя наши положения, мы будем рассматривать пространственные метафоры типа «верх — низ», которые были тщательно изучены Уильямом Надем. В каждом случае мы будем хотя бы бегло отсылать к нашему физическому или культурному опыту. Эти отсылки весьма правдоподобны, но отнюдь не безусловны.

HAPPY IS UP; SAD IS DOWN
'СЧАСТЬЕ — ВЕРХ; ГРУСТЬ — НИЗ'

I'm feeling *up* 'Я в *приподнятом настроении*'. That *boosted* my spirits 'Это *подняло* мое настроение'. My spirits *rose* 'У меня *поднялось* настроение'. You're in *high* spirits 'Вы в хорошем (букв.: *высоком*) настроении'. Thinking about her always gives me a *lift* 'Мысли о ней всегда воодушевляют (букв.: *приподнимают*) меня'. I'm feeling *down* 'Я *пал* духом (букв.: чувствую себя *внизу*)'. I'm *depressed* 'Я подавлен (букв.: *опущен*)'. He's really *low* these days 'В последнее время он в самом деле в упадочном

настроении'. I *fell* into a depression 'Я *впал* в уныние (букв.: в понижение)'. My spirits *sank* 'Я упал духом' (букв.: 'Мое настроение *понизилось*').

Физическая основа. Грусть и уныние гнетут человека, и он опускает голову, а положительные эмоции распрямляют его и заставляют поднять голову.

CONSCIOUS IS UP, UNCONSCIOUS IS DOWN
'СОЗНАНИЕ ОРИЕНТИРУЕТ ВВЕРХ; БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ — ВНИЗ'

Get *up* 'Вставайте'. Wake *up* 'Проснитесь'. I'm *up* already 'Я уже проснулся'. He *rises* early in the morning 'Он *встает* рано утром'. He *fell* asleep 'Он заснул (букв.: *упал* в сон)'. He *dropped* off to sleep 'Он *повалился* спать'. He is *under* hypnosis 'Он *под* гипнозом'. He *sank* into a coma 'Он *впал* в кому'.

Физическая основа. Человек и большинство млекопитающих спят лежа, а просыпаясь, встают.

HEALTH AND LIFE ARE UP; SICKNESS AND DEATH ARE DOWN
'ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ ОРИЕНТИРУЮТ ВВЕРХ; БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ — ВНИЗ'

He's at the *peak* of health 'У него прекрасное здоровье' (букв.: 'Он на *вершине* здоровья'). Lazarus *rose* from the dead 'Лазарь *восстал* из мертвых'. He is in *top* shape 'Он в *наивысшей* спортивной форме'. As to his health, he's way *up* there 'Что касается его здоровья, он в отличном состоянии'. He *fell* ill 'Он заболел (букв.: *упал* больной)'. He is *sinking* fast 'Он умирает (букв.: *опускается* быстро)'. He came *down* with the flu 'Он схватил простуду (букв.: пришел *вниз* с простудой)'. His health is *declining* 'Его здоровье ухудшается (букв.: *наклоняется*)'. He dropped dead 'Он *упал* мертвым'.

Физическая основа. Серьезная болезнь вынуждает человека лежать. Мертвый падает вниз.

HAVING CONTROL OF FORCE IS UP; BEING SUBJECT TO CONTROL OR FORCE IS DOWN
'ОБЛАДАНИЕ ВЛАСТЬЮ ИЛИ СИЛОЙ ОРИЕНТИРУЕТ ВВЕРХ; ПОДЧИНЕНИЕ ВЛАСТИ ИЛИ СИЛЕ — ВНИЗ'

I have control *over* her 'Я держу ее в руках (букв.: имею контроль *над* ней)'. I am on *top* of the situation 'Я хозяин положения (букв.: на *вершине* ситуации)'. He's in a *superior* position 'Он занимает *высшее* положение'. He's at the *height* of his power 'Он находится на *высоте* своей власти'. He's in the *high* command

'Он обладает *высокой* властью'. He's in the *upper* echelon 'Он принадлежит к высшему эшелону власти'. His power *rose* 'Его власть растет (букв.: *повышается*)'. He ranks *above* me in strength 'Он превосходит меня по силе (букв.: стоит *выше* меня)'. He's *under* my control 'Он *под* моим контролем'. He *fell* from power 'Он лишился власти (букв.: *упал* с власти)'. His power is on the *decline* 'Его власть *падает*'. He is my social *inferior* 'Он *ниже* меня по социальному статусу'. He is *low man* on the totem pole 'Он занимает *низкое* положение в тотемистической иерархии'.

Физическая основа. Физические размеры обычно коррелируют с физической силой, а победитель в борьбе обычно занимает положение наверху.

MORE IS UP; LESS IS DOWN
'«БОЛЬШЕ» — ОРИЕНТИР ВВЕРХ; «МЕНЬШЕ» — ВНИЗ'

The number of books printed each year keeps going *up* 'Число книг, издаваемых ежегодно, неуклонно растет (букв.: продолжает идти *вверх*)'. His draft number is *high* 'Его доля *высока*'. My income *rose* last year 'Мой доход *возрос* в прошлом году'. The amount of artistic activity in this state has gone *down* in the past year 'Объем художественной деятельности в этом штате *снизился* в минувшем году'. The number of errors he made is incredibly *low* 'Число сделанных им ошибок неправдоподобно мало (букв.: *низко*)'. His income *fell* last year 'Его доход *упал* в прошлом году'. He is *under*age 'Он несовершеннолетний (букв.: *под*-возрастом)'. If you're too hot, turn the heat *down* 'Если вам слишком жарко, убавьте тепло (букв.: направьте тепло *вниз*)'.

Физическая основа. Если вы добавляете больше вещества или отдельных объектов в какой-либо объем или в кучу, уровень содержимого становится выше.

FORESEEABLE FUTURE EVENTS ARE UP (AND AHEAD)
'ПРЕДСКАЗУЕМЫЕ БУДУЩИЕ СОБЫТИЯ — НАВЕРХУ (И ВПЕРЕДИ)'.

All *up*coming events are listed in the paper 'Все предстоящие (букв.: *вверх*-идущие) события перечислены в газете'. What's coming *up* this week? 'Что ожидается (букв.: идет *вверх*) на этой неделе?' I'm afraid of what's *up ahead* of us 'Я боюсь того, что нам предстоит (букв.: того, что находится *наверху впереди*)'. What's *up*? 'Что произойдет?' (букв.: 'Что *наверху*'?).

Физическая основа. В нормальной ситуации наши глаза смотрят в том направлении, в котором мы нормально перемещаемся (то есть вперед). По мере того, как объект приближается к наблюдателю (или наблюдатель к объекту), этот объект как бы увеличивается в размере. Место наблюдения принимается

как неподвижное, а верхняя часть объекта как бы движется наверх в поле зрения наблюдателя, наплывает на него.

HIGH STATUS IS UP; LOW STATUS IS DOWN 'ВЫСОКИЙ СТАТУС СООТВЕТСТВУЕТ ВЕРХУ; НИЗКИЙ СТАТУС — НИЗУ'

He has a *lofty* position 'Он занимает очень *высокое* положение'. She'll *rise* to the *top* 'Она достигнет высокого положения (букв.: *поднимется* на *вершину*)'. He's at the *peak* of his career 'Он на *пике* своей карьеры'. He's *climbing* the ladder 'Он делает карьеру (букв.: *поднимается* по лестнице)'. He has little *upward* mobility 'У него мало пробивной силы для карьеры' (букв.: 'Он обладает малой *восходящей* мобильностью'). He's at the *bottom of* the social hierarchy 'Он находится на *дне* социальной иерархии'. She *fell* in status 'Ее статус *упал*'.

С о ц и а л ь н а я и ф и з и ч е с к а я о с н о в а. Статус коррелирован с (социальным) господством, а (физическое) господство ориентировано как ВЕРХ.

GOOD IS UP; BAD IS DOWN 'ХОРОШЕЕ ОРИЕНТИРОВАНО ВВЕРХ; ПЛОХОЕ — ВНИЗ'

Things are looking *up* 'Дела улучшаются (букв.: смотрят *вверх*)'. We hit a *peak* last year, but it's been *downhill* ever since 'Мы достигли *высшей* точки в прошлом году, но с тех пор дела ухудшились (букв.: пошли *вниз*)'. Things are at an all-time *low* 'Дела находятся на небывало *низком* уровне'. He does *high*-quality work 'Он дает *высоко*качественную продукцию'.

Ф и з и ч е с к а я о с н о в а для личного благополучия. Счастье, здоровье, жизнь и господство — то есть все то, что характеризует благо для человека, ориентировано вверх.

VIRTUE IS UP; DEPRAVITY IS DOWN 'ДОБРОДЕТЕЛЬ ОРИЕНТИРОВАНА ВВЕРХ; ПОРОК — ВНИЗ'

He is *high*-minded 'Он благороден (букв.: с *высоким* складом ума)'. She has *high* standards 'У нее *высокие* критерии'. She is *upright* 'Она честная (справедливая, букв.: *вертикальная*)'. She is an *upstanding* citizen 'Она честная (букв.: *стоящая прямо*) гражданка'. That was a *low* trick 'Это была *низкая* проделка'. Don't be *underhanded* 'Не занимайтесь интригами'. I wouldn't *stoop* to that 'Я не унижусь (букв.: не *наклонюсь*) до этого'. That would be *beneath* me 'Это было бы недостойно (букв.: *ниже*) меня'. He *fell* in the *abyss* of depravity 'Он погряз в пороке (букв.: *впал в бездну* порока)'. That was a *low-down* thing to do 'Это был *низкий* поступок'.

Физическая и социальная основа. ХОРОШЕЕ ОРИЕНТИРУЕТ ВВЕРХ для любой личности (физическая основа); к этому присоединяется метафора, которую мы рассмотрим ниже, — ОБЩЕСТВО ЕСТЬ ЛИЧНОСТЬ (в том ее варианте, в котором человек *не* отождествляет себя с обществом). Быть добродетельным — значит поступать в соответствии с нравственными критериями, установленными обществом/лицом для поддержания его благополучия. ДОБРОДЕТЕЛЬ ЕСТЬ ВЕРХ потому, что добродетельные поступки коррелированы с общественным благополучием, с точки зрения общества/лица. Поскольку социально мотивированные метафоры составляют часть культуры, решающее значение здесь имеет точка зрения общества/лица.

RATIONAL IS UP; EMOTIONAL IS DOWN
'РАЦИОНАЛЬНОЕ ОРИЕНТИРОВАНО ВВЕРХ; ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ — ВНИЗ'

The discussion *fell to the emotional* level but I *raised* it back *up to the rational* plane 'Дебаты приняли эмоциональный характер (букв.: упали до эмоционального уровня), но я ввел их снова в рациональную колею (букв.: поднял их снова на рациональную плоскость)'. We put our *feelings* aside and had a *high-level intellectual* discussion of the matter 'Мы отставили в сторону эмоции и затеяли высокоинтеллектуальное обсуждение вопроса'. He couldn't *rise above* his emotions 'Он не смог стать выше своих эмоций'.

Физическая и культурная основа. В нашей культуре люди считают, что они способны к контролю над животными, растениями и окружающей средой, именно эта уникальная способность ставит человека над животными и обеспечивает власть над ними. Метафора ВЛАСТЬ — ВЕРХ, таким образом, составляет основу для метафоры ЧЕЛОВЕК — ВЕРХ и, следовательно, для метафоры РАЦИОНАЛЬНОЕ — ВЕРХ.

Выводы. Разобранные примеры приводят нас к следующим выводам относительно эмпирических оснований, связности и системности метафорических понятий:

— Большинство наших фундаментальных понятий организуется в терминах одной или нескольких ориентационных метафор.

— Каждая пространственная метафора обладает внутренней системностью. Например, метафора HAPPY IS UP 'СЧАСТЬЕ — ВЕРХ' определяет некоторую связную систему, а вовсе не ряд разрозненных и случайных метафор. (Пример распада системы мы имели бы в том случае, если бы, скажем, фраза I'm feeling up значила 'Я чувствую себя счастливым', а фраза My spirits rose — 'Я становлюсь печальнее'.)

— Разнообразные ориентационные метафоры объемлет общая система, согласующая их между собой. Так, метафора ХОРОШЕЕ — ВЕРХ задает ориентацию ВЕРХ для общего состояния благополучия, и эта ориентация согласована с частными случаями типа СЧАСТЬЕ — ВЕРХ, ЗДОРОВЬЕ — ВЕРХ, ЖИВОЕ — ВЕРХ, КОНТРОЛЬ — ВЕРХ. Метафора СТАТУС — ВЕРХ согласована с метафорой КОНТРОЛЬ — ВЕРХ.

— Ориентационные метафоры коренятся в физическом и культурном опыте; они применяются отнюдь не случайно. Метафора может служить средством осмысления того или иного понятия только благодаря ее эмпирическому основанию. (Некоторые сложности, связанные с эмпирическим основанием метафоры, обсуждаются в следующем разделе.)

— В основе метафоры могут лежать разные физические и социальные явления. Как представляется, согласованность внутри общей системы отчасти объясняет выбор одного из них. Например, состояние счастья в физической сфере, как правило, коррелирует с улыбкой и общим состоянием экспансивности (открытости). В принципе это могло бы служить основанием для метафоры HAPPY IS WIDE; SAD IS NARROW 'СЧАСТЬЕ — ШИРОКОЕ; ГРУСТЬ — УЗКОЕ'. И действительно, встречаются отдельные выражения, отвечающие этой метафоре, — например, I'm feeling *expansive* приблиз.: 'Я чувствую, что радость бьет через край; Я не могу сдержать радости'; подобные выражения выделяют другой аспект состояния счастья, нежели выражения типа I'm feeling *up*. Однако в нашей культуре главной для соответствующего состояния является ассоциация счастья с верхом; можно привести обоснование того, почему мы говорим о «вершине счастья», а не о «ширине счастья». Метафора СЧАСТЬЕ — ВЕРХ максимально согласована с метафорами ХОРОШЕЕ — ВЕРХ, ЗДОРОВЬЕ — ВЕРХ и т. п.

— В некоторых случаях ориентация в пространстве составляет столь существенную часть понятия, что нам трудно вообразить какую-либо другую метафору, которая могла бы упорядочить данное понятие. В нашем обществе таким понятием является «высокий статус». Другие случаи, типа «счастье», носят менее определенный характер. Независимо ли понятие счастья от метафоры СЧАСТЬЕ — ВЕРХ или же вертикальная пространственная ориентация составляет неотъемлемую часть данного понятия? Мы полагаем, что в рамках данной концептуальной системы она составляет его часть. Метафора СЧАСТЬЕ — ВЕРХ помещает счастье внутри согласованной метафорической системы, и часть содержания этого понятия вытекает из его роли в этой системе.

— Так называемые сугубо интеллектуальные понятия, например, понятия в научной теории, часто — а возможно, и всегда — основаны на метафорах, имеющих физическое и/или культурное основание. Прилагательное high в выражении high-energy

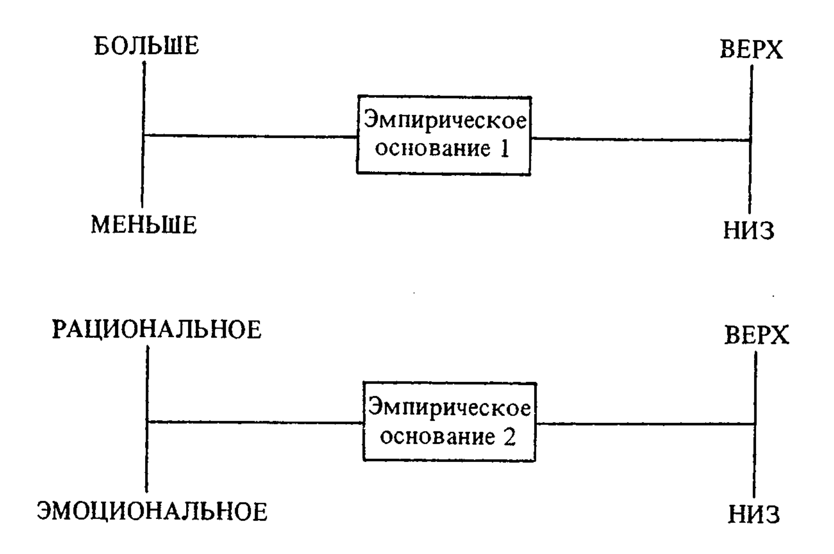
particles ‘частицы высоких энергий’ основано на метафоре MORE IS UP ‘БОЛЬШЕ — ВЕРХ’. High в выражении high-level functions ‘функции высокого уровня’, используемом в физиологической психологии, основано на метафоре RATIONAL IS UP ‘РАЦИОНАЛЬНОЕ — ВЕРХ’. Слово low в low-level phonology ‘фонология низкого уровня’ (та фонология, которая ведает детальными фонетическими аспектами звуковых систем в естественных языках) основано на метафоре MUNDANE REALITY IS LOW ‘МИРСКАЯ (ПРИЗЕМЛЕННАЯ) РЕАЛЬНОСТЬ — НИЗ’ (ср. выражение down-to-earth ‘направленный вниз к земле, приземленный’). Интуитивная привлекательность научной теории связана с тем, насколько хорошо ее метафоры отражают наш опыт.

— Наш физический и культурный опыт дает множество оснований для ориентационных метафор. Выбор тех или иных метафор и выделение среди них главных могут варьировать от культуры к культуре.

— Задача разграничения физического и культурного оснований метафоры весьма сложна, поскольку выбор одного конкретного физического основания среди множества возможных должен согласовываться с общим культурным фоном.

Эмпирические основания метафор. Об эмпирических основаниях метафор нам известно немногое. Из-за недостатка знаний в этой области мы описывали каждую метафору отдельно от других и лишь затем привели некоторые спекулятивные соображения по поводу возможных эмпирических оснований метафор. Мы избрали такой порядок изложения исключительно вследствие недостатка наших знаний, но отнюдь не из принципа. В действительности же мы полагаем, что ни одна метафора не может восприниматься и даже не может быть адекватно представлена независимо от ее эмпирических оснований. Например, эмпирическое основание метафоры БОЛЬШЕ — ВЕРХ весьма существенно отличается от эмпирического основания метафор СЧАСТЬЕ — ВЕРХ или РАЦИОНАЛЬНОЕ — ВЕРХ. Хотя во всех этих метафорах фигурирует одно и то же понятие ВЕРХ, области опыта, на которых основаны эти метафоры, существенно различны. Дело вовсе не в том, что имеется много разных понятий ВЕРХ; правильнее сказать, что вертикальность входит в наш опыт многими разными способами и тем самым порождает много различных метафор.

Неотделимость метафор от их эмпирических оснований можно было бы акцентировать посредством включения эмпирических оснований в сами представления метафор. Так, вместо формулировок типа БОЛЬШЕ — ВЕРХ и РАЦИОНАЛЬНОЕ — ВЕРХ мы могли бы использовать более сложные отношения, изображенные на диаграмме.



В таком представлении подчеркивался бы тот факт, что две части каждой метафоры связаны только через соответствующее эмпирическое основание и что только с помощью данных эмпирических оснований метафора может выполнять свою функцию в понимании текстов.

Мы вынуждены отказаться от подобных представлений вследствие наших малых знаний об эмпирических основаниях метафор. Мы по-прежнему будем использовать слово is 'есть'* в формулировках метафор типа MORE IS UP 'БОЛЬШЕ — ВЕРХ', однако это слово в данном контексте следует рассматривать как своего рода стенографическое обозначение для некоторого множества эмпирических явлений, на которых основана соответствующая метафора и в терминах которых мы ее понимаем.

Роль эмпирического основания важна и при понимании функционирования тех метафор, которые не согласуются друг с другом вследствие того, что они основаны на разных типах опыта. Возьмем, например, метафору НЕИЗВЕСТНОЕ — ВЕРХ; ИЗВЕСТНОЕ — НИЗ и рассмотрим примеры That's *up in the air* 'Это носится в воздухе' и The matter is *settled* 'Дело улажено'. Эта метафора имеет в качестве эмпирического основания нечто вроде UNDERSTANDING IS GRASPING 'ПОНИМАНИЕ ЕСТЬ СХВАТЫВАНИЕ (УЛАВЛИВАНИЕ)', как в примере I couldn't *grasp* his explanation 'Я не мог *схватить* суть его объяснения'. В сфере

* В русском переводе формулировок метафор в большинстве случаев вместо глагола-связки *есть* используется тире. — *Прим. перев.*

физических объектов, если вы можете схватить что-либо и удержать в руках, то вы можете тщательно рассмотреть этот предмет и достаточно хорошо освоить его. Схватывать руками и тщательно рассматривать легче те предметы, которые находятся на земле в фиксированном положении, чем те, которые плавают в воздухе (подобно листьям или клочкам бумаги). Тем самым метафора НЕИЗВЕСТНОЕ — ВЕРХ; ИЗВЕСТНОЕ — НИЗ согласуется с эмпирическим основанием ПОНИМАНИЕ ЕСТЬ СХВАТЫВАНИЕ.

Однако НЕИЗВЕСТНОЕ — ВЕРХ не согласуется с такими метафорами, как ХОРОШЕЕ — ВЕРХ и ЗАКОНЧЕННОЕ — ВЕРХ (как во фразе I'm finishing *up* 'Я заканчиваю'). Естественно ожидать, что ЗАКОНЧЕННОЕ сочетается с ИЗВЕСТНЫМ, а НЕЗАКОНЧЕННОЕ сочетается с НЕИЗВЕСТНЫМ. Однако в свете вертикально ориентированных метафор данные соотношения не выполняются. Объяснение этому состоит в том, что метафоры НЕИЗВЕСТНОЕ — ВЕРХ и ЗАКОНЧЕННОЕ — ВЕРХ имеют разные эмпирические основания.

V

МЕТАФОРА И КУЛЬТУРНЫЙ ФОН

Наиболее фундаментальные культурные ценности согласованы с метафорической структурой основных понятий данной культуры. В качестве примера рассмотрим некоторые ценностные суждения, принятые в нашем обществе, которые — в отличие от противоположных им утверждений — согласованы с пространственными метафорами типа ВЕРХ — НИЗ.

«Больше (по количеству) — лучше» согласовано с БОЛЬШЕ — ВЕРХ и ХОРОШЕЕ — ВЕРХ.
«Меньше (по количеству) — лучше» не согласовано с этими метафорами.

«Большее (по размеру) — лучше» согласовано с БОЛЬШЕ — ВЕРХ и ХОРОШЕЕ — ВЕРХ.
«Меньшее (по размеру) — лучше» не согласовано с этими метафорами.

«Будущее будет лучше» согласовано с БУДУЩЕЕ — ВЕРХ и ХОРОШЕЕ — ВЕРХ.
«Будущее будет хуже» не согласовано с этими метафорами.

«В будущем будет больше (There will be more in the future)» согласовано с БОЛЬШЕ — ВЕРХ и БУДУЩЕЕ — ВЕРХ.

«Ваш статус должен повыситься в будущем» согласовано с ВЫСОКИЙ СТАТУС — ВЕРХ и БУДУЩЕЕ — ВЕРХ.

Все эти ценности глубоко укоренились в нашей культуре. «Будущее будет лучше» — утверждение прогресса. Для утверждения «В будущем будет больше» в качестве особых случаев можно указать накопление товаров потребления и повышение заработной платы. «Ваш статус должен повыситься в будущем» — утверждение карьеризма (продвижения по служебной лестнице). Эти утверждения согласуются с нашими пространственными метафорами, а противоположные им утверждения с ними не согласуются. Поэтому можно предположить, что наши культурные ценности существуют не изолировано друг от друга, а должны образовывать согласованную систему вместе с метафорическими понятиями, в мире которых протекает наша жизнь. Мы не утверждаем, что все культурные ценности, согласованные с метафорической системой, реально существуют; мы утверждаем лишь то, что те ценности, которые реально существуют и глубоко укоренились в культуре, согласуются с метафорической системой.

Перечисленные выше ценности имеют силу для нашей культуры в общем смысле — при прочих равных условиях. Однако, поскольку условия меняются, нередко возникают конфликты между этими ценностями и, следовательно, конфликты между метафорами, которые ассоциируются с ними. Для объяснения подобных конфликтов между ценностями (и им соответствующими метафорами) мы должны обнаружить различные индексы приоритетов, присваиваемых этим ценностям и метафорам той субкультурой, которая их использует. Например, метафора БОЛЬШЕ — ВЕРХ, как представляется, всегда имеет наивысший приоритет, поскольку ей отвечает наиболее очевидное физическое основание. Превосходство приоритета метафоры БОЛЬШЕ — ВЕРХ над приоритетом ХОРОШЕЕ — ВЕРХ можно видеть на примерах типа Inflation is rising 'Инфляция повышается' и The crime rate is going up 'Преступность растет'. Инфляцию и преступность естественно оценивать как отрицательные явления; при этом данные фразы обладают присущим им смыслом вследствие того, что метафора БОЛЬШЕ — ВЕРХ всегда имеет максимальный приоритет.

В общем случае индекс приоритетов ценностей определяется частично субкультурой, в которой живет индивид, а частично его личными оценками и пристрастиями. Различные субкультуры в составе некоторой магистральной культуры обладают базисными ценностями, но присваивают им разные индексы приоритетов. Например, БОЛЬШЕЕ — ЛУЧШЕ может вступить в конфликт с утверждением В БУДУЩЕМ БУДЕТ БОЛЬШЕ, когда встает вопрос о том, покупать ли большой автомобиль в данное время с последующей выплатой крупной денежной суммы, которая поглотит будущее жалованье, или довольствоваться покупкой автомобиля меньшего размера, но более дешевого. В США есть субкультуры, в рамках которых покупка большого автомобиля не является основанием для беспокойства о будущем,

а есть и другие субкультуры, в рамках которых будущее выступает на первый план при покупке даже небольшого автомобиля. Было время (до инфляции и энергетического кризиса), когда владение небольшой машиной имело высокий статус в субкультуре, где принципы ДОБРОДЕТЕЛЬ — ВЕРХ и ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ ДОБРОДЕТЕЛЬНА имели приоритет над БОЛЬШЕЕ — ЛУЧШЕ. В наши дни число владельцев небольших машин резко увеличилось, так как имеется большая субкультура, в которой принцип ЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ — ХОРОШО превалирует над принципом БОЛЬШЕ — ЛУЧШЕ.

Кроме субкультур, существуют также социальные группы, определяющее свойство которых состоит в том, что их члены разделяют некоторые важные ценностные принципы, противоречащие ценностям магистральной культуры. Другие же ценности магистральной культуры членами таких групп сохраняются подспудно. Нечто подобное можно наблюдать в монашеских орденах, например, в ордене траппистов. В нем ценности МЕНЬШЕ — ЛУЧШЕ и МЕНЬШЕЕ — ЛУЧШЕ справедливы по отношению к материальной собственности, рассматриваемой монахами как препятствие к искреннему исполнению самого важного в жизни — долга перед Богом. Трапписты разделяют ценностный принцип магистральной культуры ДОБРОДЕТЕЛЬ — ВЕРХ, придавая ей наивысший приоритет. Принцип БОЛЬШЕ — ЛУЧШЕ для них также остается в силе, но применяется не к материальным благам, а к добродетели; так же обстоит дело с ценностным принципом СТАТУС — ВЕРХ, но он относится не к земному, а к высшему миру — к Царству Божию. Далее, ценностный принцип БУДУЩЕЕ БУДЕТ ЛУЧШЕ справедлив относительно духовного роста (ВЕРХ) и в конечном счете спасения духа (подлинно ВЕРХ). Подобная ситуация типична для социальных групп, находящихся вне магистральной культуры. Добродетель, благо, доброта и статус могут быть коренным образом переосмыслены, оставаясь при этом в положении ВЕРХА. В таких социальных группах по-прежнему лучше располагать большим количеством того, что в них считается важным, по-прежнему БУДУЩЕЕ БУДЕТ ЛУЧШЕ относительно того, что важно, и т. д. Принимая во внимание аспекты, важные для религиозной группы, можно сказать, что ее система ценностей обладает как внутренней согласованностью, так и согласованностью с главными ориентационными метафорами магистральной культуры.

Отдельные люди, как и социальные группы, отличаются своими системами приоритетов и теми способами, которыми они осмысливают то, что для них хорошо или добродетельно. В этом смысле каждое лицо представляет собой подгруппу из одного члена. Его индивидуальная система ценностей, хотя и с некоторыми поправками, согласована с главными ориентационными метафорами магистральной культуры.

Отнюдь не все культуры располагают приоритеты на ориентационной шкале «верх — низ», как это делаем мы. Есть культуры, в которых понятия равновесия или расположенности относительно центра играют гораздо более существенную роль, чем у нас. Или возьмем непространственную ориентацию «активное — пассивное». Для нас в большинстве случаев АКТИВНОЕ — ВЕРХ и ПАССИВНОЕ — НИЗ; однако в некоторых культурах пассивность оценивается выше активности. Вообще говоря, главные ориентационные шкалы «верх — низ», «внутри — вне», «центральное — периферийное», «активное — пассивное» и т. п. представляются общими для всех культур, однако виды ориентации, принятые для конкретных понятий, и роль ориентационных принципов, с точки зрения их важности, варьируют от культуры к культуре.

VI

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТАФОРЫ

Метафоры сущности и субстанции. Пространственные ориентационные шкалы типа «верх — низ», «перед — зад», «нахождение на чем-л./около чего-л. — удаление» (on — off), «центр — периферия» и «близкое — далекое» составляют богатую основу для осмысления понятий в ориентационных терминах. Это, конечно, немало, но не следует преувеличивать сферу распространения ориентационных принципов. Наш опыт восприятия физических объектов и вещества составляет другую основу для осмысления понятий, выходящую за пределы простой ориентации. Осмысление нашего опыта в терминах объектов и веществ позволяет нам вычленять некоторые части нашего опыта и трактовать их как дискретные сущности или вещества некоторого единого типа. Коль скоро мы можем представить данные нашего опыта в виде предметов или веществ, мы можем ссылаться на них, объединять их в категории, классифицировать их и определять их количество, тем самым мы можем рассуждать о них.

Если объекты недискретны или не обладают четкими контурами, например, горы, перекрестки, живые изгороди и т. п., мы все же зачисляем их в соответствующие категории. Подобный способ трактовки явлений физического мира необходим для удовлетворения определенных целей — установления местоположения гор, назначения встреч на перекрестках улиц, подстригания живых изгородей. Такие чисто человеческие цели обычно требуют от нас наложения искусственных границ на физические явления для придания им дискретности, каковой обладаем мы сами как физические объекты, ограниченные некоторой поверхностью.

Подобно тому как данные человеческого опыта по пространственной ориентации порождают ориентационные метафоры, дан-

ные нашего опыта, связанные с физическими объектами (в особенности с нашим собственным телом), составляют основу для колоссального разнообразия онтологических метафор, то есть способов трактовки событий, действий, эмоций, идей и т. п. как предметов и веществ.

Онтологические метафоры обслуживают разнообразные цели; типы этих целей отражаются посредством разнообразных типов метафор. Возьмем, например, такое явление, как повышение цен, которое может быть метафорически осмыслено как некая самодовлеющая сущность (entity), предмет и обозначено существительным inflation 'инфляция'. Это дает нам возможность говорить о данном явлении нашего опыта:

ИНФЛЯЦИЯ ЕСТЬ СУЩНОСТЬ

Inflation is lowering our standard of living
'Инфляция понижает наш жизненный уровень'.
If there's much *more inflation*, we'll never survive
'Если инфляция будет расти (букв.: если будет *больше инфляции*), мы не выдержим'.
We need to *combat inflation*
'Нам нужно *бороться с инфляцией'*.
Inflation is backing us into a corner
'*Инфляция загоняет* нас в угол'.
Inflation is taking its toll at the checkout counter and the gas pump
'*Инфляция наносит ущерб* при расчете в магазине и на бензозаправочной станции'.
Buying land is the best way of *dealing with inflation*
'Покупка земли — лучший способ борьбы с инфляцией'.
Inflation makes me sick
'*Инфляция вызывает во мне раздражение*'.

Во всех этих случаях взгляд на инфляцию как на самодовлеющую сущность позволяет нам рассуждать о ней, характеризовать ее количественно, выделять тот или иной ее аспект, рассматривать ее как причину событий, учитывать инфляцию в наших действиях и даже воображать, что мы понимаем ее природу. Подобного рода онтологические метафоры необходимы для рационального обращения с данными нашего опыта.

Диапазон онтологических метафор, используемых нами для этих целей, поистине огромен. Приводимый ниже перечень дает некоторое представление о типах онтологических метафор и тех целях, которым они служат.

Способ обозначения (referring)

My *fear of insects* is driving my wife crazy
'Моя *боязнь насекомых* сводит жену с ума'.
That was a *beautiful catch*

'Это была *великолепная хитрость*'.
We are working toward *peace*
'Мы действуем в интересах *мира*'.
The *middle class* is a *powerful silent force* in *American politics*
'*Средний класс* — это *могущественная безмолвная сила* в *американской политике*'.
The *honor of our country* is at stake in this war
'*Честь нашей страны* поставлена на карту в этой войне'.

Количественная характеристика

He will take *a lot of patience* to finish this book
'Потребуется *много терпения* для окончания этой книги'.
There is *so much hatred* in the world
'В этом мире *так много ненависти*'.
DuPont has *a lot of political power* in Delaware
'Дюпон обладает *большим политическим влиянием* в Делаваре'.
You've got *too much hostility* in you
'В вас *слишком много враждебности*'.
Pete Rose has *a lot of hustle and baseball know-how*
'У Пита Роуза *много энергии и знаний о бейсболе*'.

Выделение аспектов

The *ugly side of his personality* comes out under pressure
'*Неприглядная сторона его личности* выявляется в экстремальной ситуации'.
The *brutality of war* dehumanizes us all
'*Жестокость войны* делает всех нас бесчеловечными'.
I can't keep up with the *pace of modern life*
'Я не могу поспевать за *темпом современной жизни*'.
His *emotional health* has deteriorated recently
'Его *эмоциональное здоровье* недавно ухудшилось'.
We never got to feel the *thrill of victory* in Vietnam
'Нам никогда не довелось испытать *победы* во Вьетнаме'.

Определение причин

The *pressure of his responsibilities* caused his breakdown
'*Груз обязанностей* вызвал у него полный упадок сил'.
He did it out of *anger*
'Он сделал это от *раздражения*'.
Our influence in the world has declined because of our *lack of moral fiber*
'Наше влияние в мире пошло на убыль из-за *отсутствия* у нас *нравственных принципов*'.
Internal dissension cost them the pennant
'*Внутренние разногласия* стоили им потери призового вымпела'.

Постановка целей и мотивировка действий

He went to New York to *seek fame and fortune*

'Он отправился в Нью-Йорк *добиваться славы и богатства*'.
Here's what you have to do to *insure financial security*
'Вот что должны вы делать для *обеспечения финансовой независимости*'.
I'm changing my way of life so that I can *find true happiness*
'Я меняю свой образ жизни, с тем чтобы *найти истинное счастье*'.
The FBI will act quickly in the face of a *threat to national security*
'ФБР будет действовать быстро перед лицом *угрозы национальной безопасности*'.
She saw getting married as the *solution to her problems*
'Она рассматривала замужество как способ *решить свои проблемы*'.

Как и в случае ориентационных метафор, носители языка даже не замечают метафоричности большинства приведенных выше выражений. Это отчасти объясняется тем, что онтологические метафоры, подобно ориентационным, имеют крайне узкий диапазон использования — способ обозначения явления, его количественную характеристику и т. п. Одного лишь взгляда на нефизический объект как на сущность или субстанцию недостаточно для того, чтобы получить полное представление о его природе. Однако онтологические метафоры могут быть еще более усложнены и углублены. Ниже мы приведем два примера усложнения онтологической метафоры THE MIND IS AN ENTITY 'ПСИХИКА — ЭТО СУЩНОСТЬ', свойственной нашей культуре.

ПСИХИКА (MIND) — ЭТО МАШИНА*

We're still trying to *grind out* the solution to this equation
'Мы все еще пытаемся выработать (букв.: *выточить*, *отшлифовать*) решение этого уравнения'.
My mind just isn't *operating* today
Мой ум просто не *работает* сегодня'.
Boy, the *wheels are turning* now!
'Ну вот, сейчас колесики завертелись!'
I'm *a little rusty* today
'Я сегодня что-то туповат (букв.: *немного заржавел*)'.
We've been working on this problem all day and now we're *running out of steam*
'Мы проработали над этой задачей весь день, а теперь наши пары́ иссякли'.

---

* Англ. термин mind противопоставлен термину body 'тело' и охватывает основные психические функции, образующие личность человека и распределенные между интеллектом (разумом, рассудком), душой, сознанием и отчасти характером. Содержание статьи не допускает контекстуально дифференцированного перевода этого слова. Поэтому в качестве единого эквивалента термина mind был использован термин *психика*. — *Прим. ред.*

ПСИХИКА (MIND) — ЭТО ХРУПКИЙ ПРЕДМЕТ

Her ego is very *fragile*
'Ее психика (букв.: ее «я») очень *хрупка*'.
You have to *handle him with care* since his wife's death
'Вы должны *обращаться с ним с осторожностью* после смерти его жены'.
He *broke* under cross-examination
'Перекрестный допрос *сломил* его'.
She is *easily crushed*
'Ее *легко сломить*'.
The experience *shattered* him
'Это переживание *сломало* его'.
I'm *going to pieces*
'Я разваливаюсь на части'.
His mind *snapped*
букв.: 'Его рассудок *сломался*'.

Эти метафоры задают объекты различного типа. Они предоставляют нам разные метафорические модели психики человека и тем самым позволяют сосредоточить внимание на разных аспектах ментального опыта. Метафора ПСИХИКА — ЭТО МАШИНА относится к ментальному аспекту психической жизни, и отсюда вытекает следующая концепция интеллекта: он может находиться в рабочем или выключенном состоянии, обладает определенным уровнем оперативности («коэффициентом полезного действия»), производительностью, внутренним устройством, источником энергии и эксплуатационными условиями. Метафора ПСИХИКА — ЭТО ХРУПКИЙ ПРЕДМЕТ не столь богата: она позволяет нам говорить лишь о психологической устойчивости, силе духа индивида. Однако есть такая область внутреннего мира человека, которая может быть осмыслена в терминах обеих метафор. Мы имеем в виду примеры следующего типа:

He broke down
'Он сломался' (ПСИХИКА — ЭТО МАШИНА).
He cracked up
'Он свихнулся (букв.: *треснул*)' (ПСИХИКА — ЭТО ХРУПКИЙ ПРЕДМЕТ).

Однако эти две метафоры не относятся к разным аспектам духовного опыта. Когда выходит из строя машина, она просто прекращает работать. Когда разбивается хрупкий предмет, его куски разлетаются в разные стороны и могут ранить окружающих. Так, например, когда кто-либо сходит с ума и становится буйным или неистовым, вполне уместно сказать: He cracked up. С другой стороны, если человек становится вялым, апатичным и не способным нормально функционировать по психологическим причинам, мы скорее скажем: He broke down.

Подобные онтологические метафоры столь естественны и столь

глубоко пронизывают наше мышление, что они воспринимаются как самоочевидные, как прямые описания явлений внутреннего мира. Тот факт, что они представляют собой метафорические выражения, никогда не приходит в голову большинству носителей языка. Мы воспринимаем высказывания типа He cracked under pressure 'Он свихнулся под напором обстоятельств' как непосредственно истинные или ложные. Это выражение реально использовалось многими журналистами для объяснения того, почему Дэн Уайт пронес револьвер в здание городского магистрата в Сан-Франциско и застрелил мэра Джорджа Москоуна. Объяснения подобного рода кажутся большинству из нас совершенно естественными и понятными. Причина такой естественности состоит в том, что метафоры типа ПСИХИКА — ЭТО ХРУПКИЙ ПРЕДМЕТ составляют неотъемлемую часть модели внутреннего мира, присущей нашей культуре; именно в терминах этой модели большинство из нас мыслит и действует.

Метафоры, связанные с вместилищами

Ограниченные пространства. Мы представляем собой физические существа, ограниченные в определенном пространстве и отделенные от остального мира поверхностью нашей кожи; воспринимаем остальной мир как находящийся вне нас. Каждый из нас есть вместилище, ограниченное поверхностью тела и наделенное способностью ориентации типа «внутри — вне». Эту нашу ориентацию мы мысленно переносим на другие физические объекты, ограниченные поверхностями. Тем самым мы также рассматриваем их как вместилища, обладающие внутренним пространством и отделенные от внешнего мира. К явным вместилищам относятся комнаты и дома. Переходить из комнаты в комнату — значит перемещаться из одного вместилища в другое, то есть переходить *из* одной комнаты *внутрь* другой. Эту модель мы придаем даже твердым сплошным предметам, например, тогда, когда мы разбиваем на части булыжник, чтобы увидеть, что находится внутри него. Мы налагаем эту ориентацию на окружающую нас естественную среду. Лесная поляна воспринимается нами как замкнутое пространство, и мы можем мыслить себя *внутри* поляны (на поляне) или *вне* поляны, *в* лесу или *вне* леса. Лесная поляна действительно имеет нечто, что мы можем воспринимать как естественную границу, а именно нечеткую область, в которой идут на убыль деревья и начинается открытое пространство. Но даже там, где нет естественной физической границы, которую можно было бы воспринимать как замыкающую пространство некоторого вместилища, мы налагаем свои искусственные границы, отделяя территорию с ее собственным внутренним пространством и ограничивающей поверхностью, будь то стена, забор или некоторая воображаемая линия или плоскость. Немногие человеческие инстинкты имеют более базисную природу, чем чувство пространства. Отграничение неко-

торой территории, наложение границы вокруг нее представляет собой акт количественной характеристики. Ограниченные объекты, будь то люди, камни или территории, обладают размерами. В силу этого их можно характеризовать по количеству образующей их или содержащейся в них субстанции. Например, Канзас есть ограниченная область, а значит — ВМЕСТИЛИЩЕ, и поэтому мы можем сказать: There's a lot of land *in* Kansas 'В Канзасе — обширная территория'.

Вещества (субстанции) тоже можно рассматривать как вместилища. Возьмем, например, ванну с водой. Садясь в ванну, вы погружаетесь в воду. И ванна и вода воспринимаются как вместилища, но вместилища разного рода. Ванна есть ОБЪЕКТ-ВМЕСТИЛИЩЕ, тогда как вода есть ВЕЩЕСТВО-ВМЕСТИЛИЩЕ.

Поле зрения. Мы осмысляем поле нашего зрения как вместилище, а видимое нами — как содержимое этого вместилища. Это вытекает даже из самого термина "visual *field* (поле зрения)". Это естественная метафора; она мотивирована тем, что, когда вы обозреваете некоторую территорию (земельное пространство, пространство пола и т. п.), поле вашего зрения очерчивает границу видимого. Исходя из того, что ограниченное физическое пространство есть вместилище и что поле нашего зрения соотносится с подобным ограниченным физическим пространством, мы естественным образом приходим к метафорическому понятию ПОЛЕ ЗРЕНИЯ — ЭТО ВМЕСТИЛИЩЕ. Так, мы можем сказать:

The ship is *coming into* view
'Корабль уже видно (букв.: *входит в поле зрения*)'.
I *have* him *in* sight
'Я *держу* его *в поле зрения*'.
I can't see him — the tree is *in* the way
'Я не могу его видеть — мешает (букв.: находится *на* пути) дерево'.
He's *out of* sight now
'Он *вне* поля зрения сейчас'.
That's *in* the *center of* my *field* of vision
'Это находится *в центре* моего *поля* зрения'.
There's *nothing in* sight
'*В* поле зрения *ничего* нет'.
I can't get *all* of the ships *in* sight at once
'Я не могу держать *все* корабли *в* поле зрения одновременно'.

События, действия, занятия и состояния. Мы используем онтологические метафоры и для постижения событий, действий, занятий (деятельностей) и состояний (events, actions, activities, and states). События и действия метафорически осмысляются как объекты, занятия (виды деятельности) — как вещества, состоя-

ния — как вместилища. Например, соревнование по бегу (race) представляет собой некоторое событие, которое воспринимается как дискретная сущность (объект). Соревнование по бегу проходит во времени и пространстве, имеет четко очерченные границы. Поэтому мы и рассматриваем соревнование по бегу как ОБЪЕКТ-ВМЕСТИЛИЩЕ, который содержит в себе участников (в свою очередь являющихся объектами), события типа старта или финиша (являющиеся метафорическими объектами) и деятельность, состоящую в беге (к которой приложима метафора вещества). Так, мы можем сказать о соревновании по бегу:

Are you *in* the race on Sunday?
'Вы участвуете *в* соревновании по бегу в воскресенье?' (соревнование как ОБЪЕКТ-ВМЕСТИЛИЩЕ).
Are you *going to* the race?
'Вы *идете на* соревнование по бегу?' (соревнование как ОБЪЕКТ).
Did you *see* the race?
'Вы *видели* соревнование по бегу?' (соревнование как ОБЪЕКТ).
The *finish* of the race was really exciting
'*Финиш* забега был поистине захватывающим' (финиш как ОБЪЕКТ-СОБЫТИЕ внутри ОБЪЕКТА-ВМЕСТИЛИЩА).
There was *a lot of good running in* the race
'На соревнованиях по бегу многие показали прекрасные результаты (букв.: *много хорошего бега*)' (бег как ВЕЩЕСТВО во ВМЕСТИЛИЩЕ).
I couldn't do *much sprinting* until the end
'Я не мог показать хороший спринт (букв.: не мог делать *много спринта*) до конца дистанции' (спринт как ВЕЩЕСТВО).
Halfway into the race, I ran out of energy
'На половине дистанции (букв.: *наполовину внутри забега*) я выдохся' (соревнование как ОБЪЕКТ-ВМЕСТИЛИЩЕ).
He's *out of* the race now
'Он не участвует в соревновании (букв.: *вне* соревнования) сейчас' (соревнование как ОБЪЕКТ-ВМЕСТИЛИЩЕ).

Занятие (деятельность) в общем плане осмысляется метафорически как ВЕЩЕСТВО и тем самым как ВМЕСТИЛИЩЕ:

In washing the window, I splashed water all over the floor
'Когда я мыл окно (букв.: *в* мытье окна), я расплескал воду'.
How did Jerry *get out of* washing the windows?
'Каким образом Джерри избежал (букв.: *вышел из*) мытья окон?'
Outside of washing the windows, what else did you do?
'Кроме мытья окон (букв.: *за пределами* мытья окон), что еще вы делали?'
How much window-washing did you do?

'Сколько окон вы вымыли?' (букв.: '*Сколь много* мытья окон вы сделали?').

How did you *get into* window-washing as a profession?

'Каким образом вы выбрали мытье (букв.: *вошли в* мытье) окон в качестве своей профессии?'

He's *immersed in* washing the windows right now

'Как раз сейчас он занят мытьем (букв.: *погружен в* мытье) окон'.

Таким образом, занятие (деятельность) рассматривается как вместилище для действий и других занятий, которые входят в его состав. Они также рассматриваются как вместилища для энергии и материалов, необходимых для их осуществления, и для их побочных продуктов, которые можно представить как находящиеся *в* них или *выходящие из* них:

I *put a lot of energy into* washing the windows

'Я *вложил много энергии* в мытье окон'.

I *get a lot of satisfaction out of* washing windows

'Я *получаю* большое удовлетворение от мытья (букв.: из мытья) окон'.

There is a lot of satisfaction in washing windows

'Мытье окон доставляет большое удовлетворение (букв.: *В* мытье окон *много удовлетворения*)'.

Различные типы состояний также могут быть осмыслены как вместилища. Так, мы располагаем следующими примерами:

He's *in* love

'Он влюблен (букв.: Он *в* любви)'.

We're *out of* trouble now

'У нас нет никаких неприятностей (букв.: Мы *вне* неприятностей) сейчас'.

He's *coming out of* the coma

'Он *выходит из комы*'.

I'm *slowly getting into* shape

'Я *медленно вхожу в форму*'.

He *entered* a state of euphoria

'Он впал в состояние эйфории'.

He *fell into* a depression

'Он *впал* в депрессию'.

He finally *emerged from* the catatonic state he had been *in* since the end of finals week

'Он наконец *вышел из* состояния ступора, *в* котором находился со времени выпускных экзаменов'.

ПОЛЬ РИКЁР

МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС КАК ПОЗНАНИЕ, ВООБРАЖЕНИЕ И ОЩУЩЕНИЕ

В работе будет рассмотрена особая проблема, лежащая в безграничной по сути области теории метафоры. Хотя эта проблема может представляться чисто психологической, поскольку она связана с такими терминами, как «образ» и «ощущение», я бы, скорее, охарактеризовал ее как проблему, возникающую на границе между семантической теорией метафоры и психологической теорией воображения и ощущения. Под семантической теорией я понимаю исследование способности метафоры к передаче непереводимой информации и соответственно исследование притязаний метафоры на достижение истинного проникновения в* реальность. Меня будет интересовать вопрос, можно ли провести такое исследование, не привлекая в качестве необходимого психологический компонент, обычно описываемый как «образ» или «ощущение».

На первый взгляд кажется, что так называемые образы или ощущения привлекаются в качестве субститутивных объяснительных факторов только в тех теориях, для которых метафорические фразы лишены информативной ценности и, следовательно, притязаний на истинность. Под субститутивным объяснением я понимаю попытку выведения объявленного значения метафорических фраз из их способности выделять потоки образов и обнаруживать ощущения, которые мы ошибочно принимаем за подлинную информацию и за нешаблонность проникновения в реальность. Мой тезис состоит в том, что и ощущения обладают конституирующей функцией отнюдь не только в теориях,

Paul Ricoeur. The Metaphorical Process as Cognition, Imagination, and Feeling. — "Critical Inquiry", 1978, vol. 5, N 1, p. 143—159.

* Английское слово insight переводится в настоящей статье то как *проникновение в*, то как *прозрение* или *провидение*, — в зависимости от того, какой оттенок значения подчеркивается контекстом: in (движение к сути) или sight (ви́дение сути). Ранее этот термин переводился на русский язык также словом *инсайт*. — *Прим. перев.*

отрицающих информативную ценность метафоры и ее истинностные притязания. Я хочу показать, что теория метафоры типа той, которую развивали А. А. Ричардс в книге «Философия риторики», М. Блэк в работе «Модели и метафоры», а также М. Бирдсли, Д. Берггрен и другие, не может достичь цели, не используя процессов воображения и ощущения, то есть не приписывая семантической функции тому, что кажется скорее психологическими характеристиками, и, таким образом, не касаясь некоторых сопутствующих факторов, внешних по отношению к информативному ядру метафоры. Это утверждение на первый взгляд противоречит общепринятой — по крайней мере со времен известных статей «Смысл и значение» Г. Фреге и «Логические исследования» Э. Гуссерля — дихотомии между смыслом (Sinn) и представлением (Vorstellung), если мы понимаем «смысл» как объективное содержание выражения, а «представление» — как его ментальную актуализацию в форме образа и ощущения. Вопрос, однако, заключается в том, совместимо ли функционирование метафорического смысла с этой дихотомией и даже не отменяет ли оно ее вообще.

Уже первое ясно сформулированное мнение о метафоре, принадлежащее Аристотелю, содержало некоторые соображения относительно того, что я буду называть семантической ролью воображения (и косвенным образом ощущения) в создании метафорического смысла. Аристотель говорит о λέξις вообще (то есть о дикции, элокуции и стиле, одной из фигур которого является метафора), что они определенным образом реализуют речь (λόγος). Он говорит также, что дар создания хороших метафор связан со способностью видеть сходства. Более того, яркость метафор заключается в их способности «показывать» смысл, который они выражают. Здесь предлагается своего рода изобразительное измерение, которое может быть названо изобразительной функцией метафорического значения.

Традиция риторики подтверждает это вне рамок какой-либо конкретной теории, касающейся семантического статуса метафоры. Уже само выражение «фигура речи» подразумевает, что в метафоре, как и в других тропах и оборотах речи, речь воссоздает природу тела, показывая формы и черты, которые обычно характеризуют человеческое лицо, «фигуру» человека; это происходит так, как если бы тропы обеспечивали речи квазителесное воплощение. Придавая сообщению своего рода форму, тропы реализуют речь.

Р. Якобсон предлагает сходную интерпретацию, когда он в своей общей модели коммуникации характеризует «поэтическую» функцию как установление значимости сообщения «ради него самого». Подобным образом Цв. Тодоров, болгарский теоретик неориторики, определяет «фигуру» как зримость речи. Ж. Женетт в «Фигурах-I» (Figures-I) характеризует отклонение от нормы как «внутреннее пространство языка». «Простые и употребительные

выражения, — говорит он, — не имеют формы, фигуры же [речи] имеют».

Я почти уверен, что эти соображения — единственное, что указывает скорее на проблему, нежели на установленный факт. Более того, я почти уверен, что сложность здесь усугубляется еще и тем, что разговор о метафорах тяготеет к метафоричности; таким образом, привносится своего рода цикличность, которая затрудняет получение результата. Но не является ли само слово «метафора» метафорой, а именно метафорой перемещения и тем самым переноса в некоем пространстве? Необходимость таких пространственных метафор о метафорах, включенных в наш разговор о «фигурах» речи, дискуссионна.

При данной постановке проблемы возникает вопрос, в каком направлении следует искать верную оценку семантической роли воображения и, в конечном счете, ощущения. Представляется, что именно в работе подобия заложен изобразительный, или иконический, аспект, как это и предполагал Аристотель, говоря, что создавать хорошие метафоры означает видеть сходства, или (следуя другим переводам) прозревать подобное.

Но чтобы правильно понять работу подобия в метафоре и верно оценить роль изобразительного, или иконического, аспекта, нужно вкратце припомнить, какие изменения претерпела теория метафоры на семантическом уровне по сравнению с традицией классической риторики. В этой традиции метафора была справедливо описана в терминах отклонения от нормы (deviance), но отклонение ошибочно приписывалось исключительно лишь называнию. Вместо того чтобы назвать вещь общепринятым для нее именем, ее обозначают посредством одолженного, или «чужого», имени в аристотелевской терминологии. Основной причиной такого переноса имени считалось объективное сходство между самими вещами или субъективное сходство элементов постижения этих вещей. Что касается цели этого переноса, то предполагалось, что он либо заполняет лексическую лакуну и таким образом служит принципу экономии, который контролирует присвоение имен новым вещам, новым идеям, новым впечатлениям, либо украшает речь и тем самым служит главной цели риторической речи, состоящей в том, чтобы убеждать и ублажать.

Проблема подобия получает новое осмысление в семантической теории, охарактеризованной М. Блэком, в противоположность субститутивной теории как теория взаимодействия. Носителем метафорического смысла оказывается теперь не слово, а предложение в целом. Процесс взаимодействия состоит не просто в замене слова на слово, имени на имя, — что, строго говоря, определяет только метонимию, — а во взаимодействии между логическим субъектом и предикатом. Если метафора состоит в некотором отклонении от нормы, — это свойство не отрицается, но

описывается и объясняется по-новому, — то такое отклонение касается самой предикативной структуры. Метафору, таким образом, предпочтительнее описывать как отклоняющуюся предикацию, нежели как отклоняющееся называние. Мы приблизимся к тому, что я назвал работой подобия, если зададимся вопросом, как происходит такое отклонение от нормы. Французский теоретик поэтики Ж. Коэн в своей работе «Структура поэтического языка» [4] говорит об этом отклонении в терминах семантической неуместности, понимая под этим нарушение кода уместности или релевантности, управляющего предикацией при нормальном употреблении. Метафорическое высказывание действует как редукция указанного синтагматического отклонения, осуществляемая посредством установления новой семантической уместности. Эта новая уместность, в свою очередь, поддерживается созданием лексического отклонения, которое, следовательно, является парадигматическим отклонением, то есть в точности тем типом отклонения, который был описан классическими риторами. Классическая риторика в этом отношении не была неверна, она лишь описывала «действие смысла» на уровне слова, проглядев создание семантического сдвига на уровне смысла. Хотя и верно, что действие смысла сосредоточивается на слове, но порождение смысла обусловливается всем высказыванием. Так оказывается, что теория метафоры зависит от семантики предложения.

Такова основная предпосылка последующего анализа. Первая задача состоит в том, чтобы понять, *каким образом* работает подобие при создании значения. Следующий же шаг состоит в том, чтобы правильно связать изобразительный, или иконический, аспект с этой работой подобия.

Что касается первого шага, то есть работы подобия как таковой, то мне кажется, что мы по-прежнему находимся всего лишь на полпути к полному пониманию семантической инновации, которая характеризует метафорические выражения или предложения, если мы подчеркиваем в метафоре только аспект отклонения от нормы, даже если при этом отличаем семантическую неуместность, которая нуждается в лексическом отклонении, от самого лексического отклонения от нормы, описанного Аристотелем и всеми классическими риторами. Решающей характеристикой является семантическая инновация, благодаря которой новая уместность, новое согласование установлены таким образом, что «творят смысл» высказывания как целое. *Творец* метафор — это тот мастер с даром слова, который из выражения, непригодного для буквальной интерпретации, создает высказывание, значимое с точки зрения новой интерпретации, которая вполне заслуживает названия метафорической, поскольку порождает метафору не только как нечто отклоняющееся от нормы, но и как нечто приемлемое. Иными словами, метафорическое значение состоит не только в семантическом конфликте, но и в

новом предикативном значении, которое возникает из руин буквального значения, то есть значения, возникающего при опоре только на обыденные или распространенные лексические значения наших слов. Метафора не загадка, а решение загадки.

Именно здесь, в изменении, характерной черте семантической инновации, играют свою роль сходство и соответственно воображение. Но какова эта роль? Я полагаю, что ее нельзя понять правильно до тех пор, пока мы опираемся на юмовскую теорию образа как неясного (faint) впечатления, то есть как перцептуального остатка. Не больше способствует пониманию и обращение к другой традиции, в соответствии с которой воображение может быть сведено к чередованию двух типов ассоциации: по смежности и по сходству. К сожалению, этот предрассудок разделялся таким видным теоретиком, как Якобсон, для которого метафорический процесс противопоставлен метонимическому так же, как замена одного знака на другой по сходству противопоставлена связи знаков по смежности. Прежде всего должен быть понят и выделен способ функционирования сходства и соответственно воображения, который имманентен, — то есть не чужд, — самому предикативному процессу. Иными словами, работа подобия должна быть присуща и гомогенна отклонению от нормы, «странности и свежести» самой семантической инновации.

Как же это возможно? Я полагаю, что главная проблема, которую метафорическая теория взаимодействия помогает очертить, хотя и не решить, состоит в переходе от буквальной несогласованности к метафорическому согласованию двух семантических полей. Здесь оказывается полезной пространственная метафора, в рамках которой изменение расстояния между значениями происходит как бы внутри логического пространства. Н о в а я уместность, или согласование, свойственная значимому метафорическому высказыванию, проистекает из типа семантической близости, неожиданно возникающей между словами, несмотря на расстояние между ними. Вещи или идеи, которые были отдалены, представляются теперь близкими. Подобие, в конечном счете, есть не что иное, как сближение, вскрывающее родовую близость разнородных идей. То, что Аристотель называл э п и ф о р о й метафоры, то есть переносом значения, и является таким перемещением или сдвигом логического расстояния от далекого к близкому. Неполнота некоторых последних теорий метафоры, включая теорию М. Блэка, как раз и касается инновации, присущей такому сдвигу[1].

Первоочередной задачей соответствующей теории воображения следует признать ликвидацию этого пробела. Но такая теория воображения должна сознательно порвать с Юмом и опереться на Канта, в особенности на кантовское понимание творческого воображения к а к с х е м а т и з и р о в а н и я о п е р а ц и и с и н т е з а. Это обеспечит нам первый шаг при попытке приспособить психологию воображения к семантике метафоры, или,

если угодно, усовершенствовать семантику метафоры посредством обращения к психологии воображения. Такая попытка приспосабливания и усовершенствования будет состоять из трех этапов.

На первом этапе воображение понимается как «ви́дение», все еще гомогенное самой речи, влияющее на сдвиг логического расстояния, собственно на сближение. Место и роль творческого воображения именно здесь, в прозрении, которое имел в виду Аристотель, когда говорил, что создавать хорошие метафоры означает видеть подобное — ϑεωρεῖν το ὁμοίον. Такое прови́дение подобного — это одновременно и мышление, и ви́дение. Оно является мышлением постольку, поскольку влияет на переструктурирование семантических полей; оно межкатегориально в силу своей категориальности. Это может быть показано на примере того типа метафоры, для которого логический аспект переструктурирования кажется особенно заметным, — метафоры, которую Аристотель назвал метафорой по аналогии, то есть пропорциональной метафоры: А относится к В так же, как С относится к D. Чаша для Диониса то же, что щит для Ареса. Поэтому мы можем сказать, поменяв термы местами: Дионисов щит или Аресова чаша. Но такое мышление и есть ви́дение постольку, поскольку прозрение состоит из мгновенного понимания комбинаторных возможностей, предоставленных пропорциональностью, и, следовательно, из установления пропорциональности посредством сближения двух отношений. Я предлагаю назвать такой творческий характер прозрения предикативной ассимиляцией. Но мы совершенно не отразим его семантическую роль, если будем интерпретировать его в терминах старой ассоциации по сходству. Разновидность механического притяжения между ментальными атомами заменяется тем самым на действие, гомогенное языку и его ядерному процессу, акту предикации. Ассимиляция заключается непосредственно в том, чтобы сделать сходными, то есть семантически близкими, термы, которые метафорическое высказывание сводит вместе.

Вероятно, против приписывания воображению предикативной ассимиляции могут возникнуть возражения. Не возвращаясь к высказанным мною ранее критическим замечаниям относительно предрассудков, касающихся самого воображения, которые способны помешать должной исследовательской оценке творческого воображения, я хочу подчеркнуть особенность предикативной ассимиляции, которая служит подтверждением моей точки зрения, согласно которой характерное для метафорического процесса сближение показывает его типическую близость кантовскому схематизму. Я имею в виду парадоксальный характер предикативной ассимиляции, который сравнивался некоторыми авторами с райловским понятием «категориальной ошибки», заключающейся в описании фактов, принадлежащих одной категории, в терминах, присущих другой. Всякое новое сближение нарушает предшествующую категоризацию, ко-

торая сопротивляется или, скорее, сопротивляясь, сдается, как говорит Н. Гудмен. Именно это и заключает в себе идея семантической неуместности, или несогласованности. Чтобы создать метафору, следует сохранять прежнюю несовместимость посредством новой совместимости. Предикативная ассимиляция, таким образом, включает в себя особый тип напряжения, не столько между субъектом и предикатом, сколько между семантическими согласованием и несогласованностью. Прозрение подобного есть осознание конфликта между прежней несогласованностью и новым согласованием. «Удаленность» сохраняется в рамках «близости». Видеть подобное — значит видеть одинаковое, несмотря на имеющиеся различия. Такое напряжение между одинаковостью и различием характеризует логическую структуру подобного. Воображение в соответствии с этим и есть способность создавать новые типы по ассимиляции и создавать их не над различиями, как в понятии, а несмотря на различия. Воображение является тем этапом в создании типов, когда родовое сходство не достигло уровня концептуального мира и покоя, но пребывает охваченным войной между расстоянием и близостью, между отдаленностью и сближением. В этом смысле мы вслед за Гадамером можем говорить о фундаментальной метафоричности мысли в той степени, в какой фигура речи, называемая метафорой, позволяет нам увидеть общую процедуру создания понятий. Вот почему в метафорическом процессе движение к типизации сдерживается сопротивлением различия и, как бы то ни было, прерывается фигурой риторики.

Такова первая функция воображения в процессе семантической инновации. Воображение еще не рассматривалось с точки зрения ощутимости, в сенсорном аспекте, но только в квазивербальном аспекте. Однако последний обусловливает первый. Сначала мы должны понять образ в соответствии с замечанием Г. Башляра в «Поэтике пространства» [1] как «сущность, принадлежащую языку». Прежде чем стать гаснущим восприятием, образ пребывает возникающим значением. Такова истинная традиция кантовского творческого воображения и схематизма. То, что мы описывали выше, есть не что иное, как схематизм метафорической атрибуции.

Следующим шагом будет введение в семантику метафоры второго аспекта воображения, его изобразительного измерения. Именно этот аспект поставлен на карту в образном (figurative) характере метафоры. И именно этот аспект подразумевал А. Ричардс, выделяя в метафоре содержание (tenor) и оболочку (vehicle), различие между которыми не полностью соответствует блэковскому различию между фреймом и фокусом. Фрейм и фокус обозначают лишь контекстуальное окружение, так сказать, предложение в целом, и терм, который является носителем сдвига значения, в то время как содержание и оболочка обозначают концептуальную сущность и ее изобразительную

оболочку. Первая функция воображения состояла в том, чтобы представить отчет о взаимодействии фрейма и фокуса. Второй же его функцией было дать отчет о различии уровней содержания и оболочки или, другими словами, о способе не только схематизации, но и изображения семантической инновации. П. Хенле заимствует у Ч. С. Пирса различие между знаком и иконическим знаком и говорит об и к о н и ч е с к о м аспекте метафоры [7]. Если в метафоре в одной мысли заключены две, то имеется в виду лишь одна из них, другая же — это конкретный угол зрения, *под* которым представляется первая. В стихотворении Китса: When by my solitary hearth I sit / And hateful thoughts enwrap my soul in gloom 'Когда у моего уединенного очага я сижу, / И полные ненависти мысли закутывают мою душу в уныние' — выражение enwrap 'закутать' метафорично, поскольку представляет горе таким образом, как если бы оно могло закутать душу в плащ. Хенле комментирует: «Мы подведены [образной речью] к тому, чтобы думать о чем-то посредством рассмотрения чего-то подобного, и это-то и образует иконический способ обозначения».

На это можно возразить, что нам грозит опасность возврата к устаревшей теории образа в юмовском смысле ослабленного сенсорного впечатления. Поэтому сейчас уместно вспомнить замечание Канта о том, что одна из функций схемы заключается в обеспечении понятия образами. В том же ключе Хенле пишет: «Если в метафоре есть иконический элемент, то равным образом очевидно, что иконический знак не присутствует, а просто описывается». И далее: «Присутствует формула создания иконических знаков». Таким образом, нам следует показать, что если новое расширение роли воображения не заключено в точности в предыдущем, то оно имеет смысл для семантической теории лишь постольку, поскольку ею контролируется, а развитие от схематизации к иконическому представлению остается дискуссионным.

Загадка иконического представления состоит в способе появления изображения в предикативной ассимиляции: возникает что-то, в чем мы прочитываем новую связь. Загадка остается неразрешенной до тех пор, пока мы рассматриваем образ как ментальную картинку, то есть точную копию отсутствующей вещи. Тогда образ должен оставаться чуждым процессу, внешним по отношению к предикативной ассимиляции.

Мы должны понять процесс, посредством которого постоянное производство образов направляет схематизацию предикативной ассимиляции. Проявляя потоки образов, речь начинает менять логическое расстояние, рождает сближение; таким образом, изображение и воображение представляют собой конкретную среду, в которой и сквозь которую мы видим сходства. Следовательно, воображать — это не значит обладать ментальным изображением чего-либо, но значит проявлять связи путем изображения. Касается ли это изображение не высказанных в речи и не воспринятых слухом подобий или соотносится с качествами,

структурами, локализациями, ситуациями, положениями или чувствами — всякий раз эта вновь предполагаемая связь понимается как то, что описывает или изображает иконический знак.

Я думаю, что именно этим способом можно в рамках семантической теории метафоры оценить витгенштейновское понятие «ви́дение как» (seeing as). Сам Витгенштейн не распространяет этот анализ за пределы области восприятия и за пределы процесса интерпретации, проведенной эксплицитно в случае неоднозначных гештальтов, таких, как знаменитый рисунок утка/кролик. М. Б. Хестер в своей работе «Значение поэтической метафоры» [8] предпринял попытку распространить понятие «ви́дение как» на функционирование поэтических образов. Описывая опыт чтения, он показывает, что тип образов, интересных для теории поэтического языка, совпадает с образами, мешающими чтению, искажающими его или уводящими в сторону. Это «дикие» образы, если так можно выразиться, которые просто чужды ткани смысла. Они побуждают читателя, который становится в большей степени мечтателем, чем читателем, тешить себя иллюзорной попыткой (описанной Сартром как зачарованность) магического овладения отсутствующей вещью, телом или личностью. В большей степени к типу образов, участвующих все же в порождении смысла, следует отнести те образы, которые Хестер называет «связанными», то есть конкретные представления, вызванные вербальным элементом и им контролируемые. Поэтический язык, говорит Хестер, — это язык, который сливает не только смысл и звук, как утверждают многие теоретики, но также смысл и чувства, если понимать под этим поток «связанных» образов, проявляемых смыслом. Мы не слишком далеки от того, что Башляр назвал отражением (retentissement). В чтении, по словам Башляра, вербальное значение порождает образы, так сказать, обновляющие следы сенсорного опыта и возвращающие им силу. И все же не процесс отражения расширяет схематизацию и, говоря словами Канта, придает понятию образ. В действительности, как показывает опыт чтения, подобное проявление образов колеблется в пределах от схематизации, где нет полноценных образов, до диких образов, которые в большей степени разрушают мысль, нежели обогащают ее. К типу образов, значимых для семантики поэтического языка, относятся те, которые занимают на шкале промежуточное положение; тем самым они и есть связанные образы теории Хестера. Эти образы приводят метафорический процесс к конкретному завершению. Значение тогда описывается в характеристиках эллипсиса. Следуя этому описанию, значение не только схематизируется, но и позволяет прочитать себя *на* образе, в который оно превращено; иначе говоря, метафорический смысл порожден в толще жизни воображения, проявленной вербальной структурой поэтической речи. Таково, по моему мнению, функционирование интуитивного понимания предикативной связи.

Я не стану отрицать, что этот второй этап нашей теории воображения привел нас к границе между чистой семантикой и психологией или, более точно, к границе между семантикой творческого воображения и психологией воссоздающего воображения. Но метафорическое воображение, как я уже отмечал во введении, представляет собой в точности тот тип значения, который отрицает хорошо установленное различие между смыслом и представлением. Затемняя это различие, метафорическое значение побуждает нас исследовать границу между вербальным и невербальным. Ход развития схематизации и ход развития связанных образов, вызванных и контролируемых схематизацией, существуют в точности на границе между семантикой метафорических высказываний и психологией воображения.

Третий и последний этап нашей попытки завершить создание семантической теории метафоры с должным учетом роли воображения касается того, что я назову приостановкой, или, если угодно, моментом отрицательности, который привнесен образом в метафорический процесс.

Для того чтобы оценить то новое, что образ вносит в этот процесс, нам следует вернуться к исходному представлению о значении применительно к метафорическому выражению. Под значением можно понимать, как мы это и делали, внутреннее функционирование пропозиции в качестве предикативной операции; например, в блэковской терминологии, «фильтровальное» или «экранное» влияние второстепенного субъекта на основной. Тем самым значение — это не что иное, как то, что Фреге называл смыслом в противоположность референции или денотации. Но вопрос, *о чем* метафорическое высказывание, есть нечто иное и нечто большее, чем вопрос, *что* оно сообщает.

Проблема референции в метафоре представляет собой частный случай более общей проблемы истинностных притязаний поэтического языка. Как говорит Гудмен в «Языках искусства» [6], все символические системы денотативны в том смысле, что они «создают» и «воссоздают» реальность. Поставить вопрос о референциальной значимости поэтического языка означает попытаться показать, как символические системы реорганизуют «мир в терминах действий и действия в терминах мира» [6, p. 241]. В этом отношении теория метафоры стремится к слиянию с теорией моделей настолько, что метафору можно считать моделью изменения нашего способа смотреть на вещи, способа восприятия мира. Слово «проникновение», очень часто используемое для когнитивного аспекта метафоры, весьма удачно передает движение от смысла к референции, которое не менее очевидно в поэтической речи, чем в так называемой описательной. Здесь мы также не ограничиваемся разговором об идеях и не «довольствуемся одним лишь смыслом», используя слова Фреге о собственных именах. «Мы предполагаем, кроме того, референцию», «стремление установить истину», что стимулирует

«наше намерение говорить или рассуждать» и «заставляет нас всегда двигаться вперед от смысла к референции»[2].

Но парадокс метафорической референции заключается в том, что ее функционирование так же странно, как и функционирование метафорического смысла. На первый взгляд, поэтический язык не имеет референции ни к чему, кроме самого себя. В классическом исследовании, озаглавленном «Слово и язык», где определяется поэтическая функция языка относительно других его функций, предполагаемых в любом коммуникативном взаимодействии, Якобсон решительно противопоставляет поэтическую функцию сообщения его референциальной функции. Напротив, референциальная функция превалирует в описательном языке, будь он обыденный или научный. Описательный язык — не о себе самом, он не внутренне ориентирован, а направлен вовне. Здесь язык, так сказать, забывает о себе ради того, что сказано о действительности. «Поэтическая функция, которая есть нечто большее, чем просто поэзия, придает особое значение осязаемой стороне знаков, подчеркивает сообщение ради него самого и углубляет фундаментальную дихотомию между знаками и объектами» [9, p. 356]. Поэтическая и референциальная функции представляются соответственно полярными противоположностями. Последняя ориентирует язык на нелингвистический контекст, первая ориентирует сообщение на себя самое.

Этот анализ, как кажется, усиливает и некоторые другие классические аргументы литературной критики, в особенности структуалистской, в соответствии с которыми изменение в употреблении языка подразумевает не только поэзия, но и литература в целом. Это́ переориентирует язык на самого себя в той мере, в которой о нем может быть сказано, пользуясь словами Ролана Барта, что он «воспевает себя» в большей степени, нежели воспевает мир.

Моя точка зрения такова, что эти аргументы не ложны, но дают неполную картину всего процесса референции в поэтической речи. Якобсон сам признавал, что то, что происходит в поэзии, не есть подавление референциальной функции, но ее глубокое изменение под влиянием неоднозначности самого сообщения. «Примат поэтической функции над референциальной, — говорит он, — не уничтожает референцию, но делает ее неоднозначной. Неоднозначное сообщение находит соответствие в расщеплении адресанта, в расщеплении адресата и, более того, в расщеплении референции, что убедительно показано в сказочных зачинах у различных народов, например, в зачине, обычном для сказочников Мальорки: Aixo era y no era... 'Это было и этого не было'[3].

Я предлагаю использовать как ориентир в нашей дискуссии о референциальной функции метафорического высказывания выражение «расщепленная референция». Это выражение, так же как и чудесное «это было и этого не было», содержит в з а р о д ы ш е все, что может быть сказано о метафорической референ-

ции. Подводя итог, можно сказать, что поэтический язык — это язык в не меньшей степени *о* реальности, чем любое другое употребление языка, но его референция к ней осуществляется посредством сложной стратегии, которая включает в качестве существенного компонента отмену и, по-видимому, упразднение обыденной референции, присущей описательному языку. Эта отмена, однако, — всего лишь отрицательное условие референции второго порядка, косвенной референции, построенной на руинах референции прямой. Референцией второго порядка она названа только в силу первенства референции обыденного языка, ибо в другом отношении она являет собой первоначальную референцию в той степени, в какой подсказывает, раскрывает, выявляет (как бы это ни было названо) глубинные структуры реальности, с которыми мы соотносимся, будучи смертными, рожденными в мир и пребывающими в нем определенное время.

Здесь неуместно ни обсуждать онтологические следствия этого утверждения, ни устанавливать его сходства и различия с гуссерлевским понятием мира жизни (Lebenswelt) или с хайдеггеровским понятием бытия в мире (In-der-Welt-Sein). В интересах нашего дальнейшего обсуждения я хочу подчеркнуть роль воображения при создании значения метафоры, промежуточную роль приостановки (ἐποχή) обыденной описательной референции в связи с онтологическими притязаниями поэтической речи. Эта промежуточная роль приостановки в функционировании референции в метафоре находится в полном согласии с интерпретацией, которую мы дали функционированию смысла. Смысл новообразованной метафоры, как мы сказали, заключается в возникновении нового семантического согласования, или уместности, из руин буквального смысла, разрушенного семантической несовместимостью или абсурдностью. Так же как самоуничтожение буквального смысла является отрицательным условием возникновения метафорического смысла, отмена референции, присущей обыденному описательному языку, есть отрицательное условие возникновения более радикального способа смотреть на вещи, независимо от того, родственна ли она выявлению того пласта реальности, который феноменология называет предобъектным и который, по Хайдеггеру, образует общее основание всех способов нашего существования в мире. Здесь для меня опять-таки интересен широко распространяющийся параллелизм между отменой буквального смысла и отменой обыденной описательной референции. В той же степени, в какой метафорический смысл не только упраздняет, но и поддерживает буквальный смысл, метафорическая референция сохраняет обыденное вúдение в напряженной связи с новым, которое она предлагает. Как пишет Берггрен в своей работе «Использование и искажение метафоры», «возможность метафорического истолкования требует, таким образом, особенной и более изощренной интеллектуальной способ-

ности, которую У. Биделл Стэнфорд метафорически называл «стереоскопическим ви́дением» — способностью иметь две различные точки зрения в одно и то же время. Иными словами, обе перспективы (до и после трансформации метафорического правила и вспомогательных субъектов) должны учитываться совместно» [2, p. 243].

Но то, что У. Б. Стэнфорд называл стереоскопическим ви́дением, есть не что иное, как то, что Якобсон называл расщепленной референцией: неоднозначность в референции.

Согласно моему следующему утверждению, одна из функций воображения заключается в том, чтобы задать приостановке, присущей расщепленной референции, конкретное измерение. Воображение не сводится ни к простой схематизации предикативной ассимиляции термов с помощью синтетического провидения сходств, ни к простому изображению смысла путем проявления образов, возникающих и контролируемых когнитивным процессом; скорее оно участвует непосредственно в приостановке обыденной референции и в планировании новых возможностей переописывания мира.

В некотором смысле любая приостановка представляет собой работу воображения. Воображение и есть приостановка. Как подчеркивал Сартр, воображать — значит адресоваться к чему-либо, чего нет, или, более радикально, — становиться отсутствующим по отношению к вещам в целом. И все же я, не разбирая далее в подробностях тезис об отрицательности, свойственной образу, хочу подчеркнуть общность между приостановкой и способностью планировать новые возможности. Образ как отсутствие есть отрицательный аспект образа как вымысла. Именно с этим аспектом образа связана способность символических систем «воссоздавать» реальность, если вернуться к гудменовской идиоме. Но такая творческая и планирующая функция вымысла может быть подтверждена только тогда, когда ее четко отделяют от воссоздающей роли так называемого ментального образа, который обеспечивает нам представление уже воспринятых вещей. Вымысел адресуется к глубоко укорененным потенциальным возможностям реальности в той мере, в какой они отлучены от подлинных обстоятельств, с которыми мы имеем дело в повседневной жизни, осуществляя эмпирический контроль и различные действия. В этом смысле вымысел при конкретных обстоятельствах представляет собой расщепленную структуру референции относительно метафорического высказывания. Он и отражает, и дополняет его; отражает в том смысле, в каком промежуточная роль приостановки, присущей образу, гомогенна парадоксальной структуре когнитивного процесса референции. «Это было и этого не было» мальоркских сказочников управляет и расщепленной референцией метафорического высказывания, и противоречивой структурой вымысла. Правда, мы точно так же можем сказать, что структура вымысла не только отражает, но

и дополняет логическую структуру расщепленной референции. Поэт и есть тот гений, который порождает расщепленные референции посредством создания вымысла. Именно в вымысле «отсутствие», свойственное приостановке того, что мы называем «реальностью» в обыденном языке, конкретно соединяется и сливается с позитивным прозрением потенциальных возможностей нашего бытия в мире, которые наше ежедневное общение с объектами нашей деятельности имеет тенденцию скрывать.

Как можно было заметить, я до сих пор ничего не сказал об ощущениях, несмотря на подразумеваемое заголовком настоящей статьи обязательство разобраться с проблемой связи между познанием, воображением и ощущением. Но я не намерен избегать этой проблемы.

Воображение и ощущение всегда были тесно связаны в классических теориях метафоры. Мы не можем забывать, что риторика всегда определялась как стратегия речи, цель которой — убеждать и ублажать; нам известна центральная роль, которую играет удовольствие в эстетике Канта. Тем самым теория метафоры неполна, если она не оговаривает место и роль ощущения в метафорическом процессе.

Я убежден, что ощущение занимает определенное место не только в теориях метафоры, отрицающих важность когнитивного аспекта. Эти теории приписывают субститутивную роль образу и ощущению вследствие отсутствия у метафоры информативной значимости. В дополнение я утверждаю, что ощущение, так же как и воображение, суть подлинные компоненты процесса, описанного в теории метафоры как взаимодействия. Они оба сказываются на семантическом аспекте метафоры.

Я уже пытался показать способ, каким следует включать в семантику метафоры психологию воображения, теперь попытаюсь распространить тот же способ описания на ощущение. Плоха та психологическая теория, в которой воображение понимается как остаток восприятия, что препятствует признанию конструктивной роли воображения. Плохая психологическая теория ощущения несет ответственность за аналогичное непонимание. В самом деле, наша естественная склонность состоит в том, чтобы говорить об ощущении в терминах, свойственных описанию эмоций, то есть чувств, рассматриваемых как (1) направленные вовнутрь состояния ума и (2) ментальные впечатления, тесно связанные с телесными раздражениями, как в случае испуга, гнева, удовольствия и боли. В действительности оба аспекта сходятся. В той степени, в какой мы подвержены эмоциям (так сказать, под влиянием нашего тела), мы отданы во власть ментальным состояниям с малой интенциональностью, как будто бы в эмоции именно наше тело «живет» более интенсивно.

Подлинные ощущения не являются эмоциями, как можно

показать на примере ощущений, которые правильно было бы назвать поэтическими ощущениями. Они, как и соответствующие образы, которые они отражают, обладают особым родством с языком. Они надлежащим образом проявляются стихом как его словесная ткань. Но как они связаны с его значением?

Я предлагаю осмысливать роль ощущения в соответствии с тремя сходными моментами, на которых базируется формулировка моей теории воображения.

Ощущения, во-первых, сопровождают и дополняют воображение в его функции схематизации нового предикативного согласования. Такая схематизация, как я говорил, представляет собой своего рода провидение того, как в сходстве смешиваются «похожее» и «непохожее». Теперь мы можем говорить о том, что такое мгновенное понимание нового согласования «ощущается» так же, как «видится». Говоря о том, что оно ощущается, мы подчеркиваем тот факт, что включаемся в процесс как знающие субъекты. Если процесс может быть назван так, как я его назвал, — предикативной ассимиляцией, то верно, что мы ассимилированы с тем (то есть сделаны похожими на то), что видится как похожее. Самоассимиляция оказывается одним из следствий, вытекающих из «иллокутивной» силы метафоры как речевого акта. Мы ощущаем похожим то, что видим похожим.

Если мы отчасти неохотно принимаем такой вклад ощущения в иллокутивный акт метафорических высказываний, то потому, что применяем к ощущению нашу обычную интерпретацию чувства как внутреннего и телесного положения. Мы теряем тогда особую структуру ощущения. Штефан Штрассер в работе «Нрав» [11] показывает, что ощущение — это интенциональная структура второго порядка. Оно представляет собой процесс интериоризации, осуществляющийся вслед за интенциональным переходом, направленным к некоторому объективному положению дел. Ощущать в эмоциональном смысле слова означает делать нашим то, что было помещено на расстоянии мыслью в ее объективирующей фазе. Ощущения тем самым обладают очень сложным типом интенциональности. Они суть не просто внутренние состояния, но интериоризованные мысли. Они так же сопровождают и дополняют работу воображения, как схематизация синтетической операции: они делают схематизированные мысли нашими. Чувство тогда является случаем самоаффектации в том смысле, в каком Кант использовал этот термин во втором издании «Критики». Самоаффектация, в свою очередь, оказывается частью того, что мы называем поэтическим чувством. Его функция заключается в устранении расстояния между знающим и его знанием без изменения когнитивной структуры мысли и подразумеваемого интенционального расстояния. Ощущение не противоречит мысли, оно — мысль, сделанная нашей. Это про-

чувствованное участие и определяет значение чувства для поэтической речи.

Более того, ощущения сопровождают и дополняют воображение как изобразительные отношения. Этот аспект ощущения был выделен Н. Фраем в «Анатомии критики» [5] под обозначением «настрой». Каждое стихотворение, говорит он, структурирует настрой, который является данным единственным настроем, порожденным данной единственной цепочкой слов. В этом смысле он обладает одинаковой протяженностью с самой вербальной структурой. Настрой есть не что иное, как способ, которым стих влияет на нас, будучи иконическим знаком. Фрай делает здесь сильное утверждение: «Единство поэтической речи есть единство настроя»; поэтические образы «выражают или проясняют этот настрой. Этот настрой есть поэтическая речь и ничто вне ее» [5]. В моих терминах я сказал бы, например, что настрой есть иконическое как прочувствованное. Возможно, мы могли бы прийти к тому же допущению, начав с гудменовского понятия компактных дискретных символов. Компактные символы и ощущаются как компактные. Повторяю, что это не означает, что ощущения совершенно неясны и невыразимы. «Компактность», так же как и дискретность, — это способы прояснения; говоря в терминах Паскаля, утонченность (esprit de finesse) — в не меньшей степени мысль, чем чувство геометрии (esprit géometrique). Однако я оставляю эти предположения открытыми для дальнейшего обсуждения.

Наконец, наиболее важная функция ощущений может быть объяснена в соответствии с третьей характеристикой воображения, то есть в соответствии с его вкладом в расщепленную референцию поэтической речи. Воображение вносит в нее свой вклад, как я уже говорил, благодаря своей собственной расщепленной структуре. С одной стороны, воображение влечет за собой приостановку прямой референции мысли к объектам нашей обыденной речи. С другой стороны, воображение обеспечивает модели для чтения реальности новым способом. Эта расщепленная структура — структура воображения как вымысла.

Что же способно стать точным соответствием и дополнением расщепленной структуры на уровне ощущений? Я убежден в том, что ощущения тоже выявляют расщепленную структуру, которая дополняет расщепленную структуру, относящуюся к когнитивному компоненту метафоры.

С одной стороны, ощущения — я имею в виду поэтические ощущения — включают в себя своего рода приостановку наших телесных эмоций. Относительно буквальных эмоций каждодневной жизни ощущения предстают как отрицательные отмененные переживания. Когда мы читаем, то не испытываем буквально испуга или гнева. Точно так же, как поэтический язык отрицает референцию первого порядка описательной речи, направленную

на интересующие нас обыденные объекты, ощущения отрицают ощущения первого порядка, которые связывают нас с этими референтами первого порядка.

Но это отрицание также является лишь обратной стороной операции ощущения, имеющей более глубокие корни, которая заключается в том, чтобы ввести нас в пределы мира необъективирующим способом. То, что ощущения представляют собой не просто отрицание эмоций, но их метаморфозу, было в явном виде высказано Аристотелем в его анализе катарсиса. Однако этот анализ остается тривиальным до тех пор, пока он не интерпретируется относительно расщепленной референции когнитивной и имагинативной функции поэтической речи. Именно само трагическое поэтическое произведение как мысль (διάνοια) выявляет особые чувства, которые суть поэтическая транспозиция (имеется в виду транспозиция посредством поэтического я з ы к а) испуга и сострадания, то есть ощущений первого порядка, эмоций. Трагический φόβος и трагический ἔλεος (ужас и жалость, по мнению некоторых переводчиков) представляют собой одновременно и отрицание, и преобразование буквальных ощущений страха и сострадания.

На основе такого анализа расщепленной структуры поэтического ощущения можно дать справедливую оценку хайдеггеровскому требованию аналитики бытия (Dasein, *букв.*: 'присутствие') для выявления о н т о л о г и и ощущений как способа «нахождения» нас в пределах мира, если сохранить семантику нем. Befindlichkeit ('нахождение', от sich befinden 'находиться'). Благодаря ощущениям мы «настроены» на аспекты реальности, не выражаемые в терминах объектов, относительно которых осуществляется референция в языке. Весь наш анализ расщепленной референции, языка и ощущения согласуется с этим требованием. Но следует подчеркнуть, что такой анализ понятия нахождения имеет смысл лишь постольку, поскольку он проведен вместе с анализом расщепленной референции одновременно в вербальной и имагинативной структурах. Если нам недостает фундаментальной связи, мы можем попытаться истолковать понятие нахождения как новый тип интуиционизма — причем наихудший тип! — в форме нового эмоционального реализма. В самом хайдеггеровском анализе бытия нам не хватает тесных связей между нахождением и пониманием, между ситуацией и планом, между возбуждением и интерпретацией. Онтологический аспект ощущения не может быть отделен от отрицательного процесса, свойственного эмоциям первого порядка, таким, как страх и симпатия (согласно аристотелевской парадигме катарсиса). Имея это в виду, мы можем принять хайдеггеровский тезис о том, что мы настроены на реальность в основном посредством ощущений. Но эта настроенность есть не что иное, как отражение в терминах ощущений расщепленной референции как вербальной, так и имагинативной структур.

В заключение я бы хотел подчеркнуть моменты, которые представляю на обсуждение:

1. Существуют три основные предпосылки, на которых базируется весь мой остальной анализ: (а) метафору следует считать скорее актом предикации, чем называния; (б) теории отклонения от нормы недостаточно для того, чтобы объяснить возникновение нового согласования на предикативном уровне; и (в) понятие метафорического смысла неполно без описания расщепленной референции, которая свойственна поэтической речи.

2. На этой тройственной основе я пытался показать, что воображение и ощущение не являются чем-то внешним по отношению к возникновению метафорического смысла и расщепленной референции. Они не могут заменить отсутствие информативного содержания в метафорических высказываниях, но дополняют их когнитивное намерение.

3. Однако ценой, которую приходится за это платить, оказывается теория воображения и ощущения, до сих пор находящаяся в зачаточном состоянии. Центр тяжести моей аргументации заключается в том, что понятия поэтического образа и поэтического ощущения следует толковать в соответствии с когнитивным компонентом, понимаемым как напряженная связь между согласованием и несогласованностью на уровне смысла, между приостановкой и обязательностью на уровне референции.

4. В моей работе предполагается, что имеет место структурная аналогия между когнитивным, имагинативным и эмоциональным компонентами полного метафорического акта и что метафорический процесс обретает свою конкретность и полноту, черпая их в такой структурной аналогии и в таком дополнительном функционировании.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Блэковское объяснение метафорического процесса через «систему ассоциированных общих мест» оставляет нерешенной проблему инновации, что видно из следующих рассуждений: «Метафоры могут быть поддержаны специально сконструированными системами импликации, а также признанными общими местами» [3, p. 43]. И далее: «Эти импликации обычно состоят из общих мест относительно вспомогательного предмета, но могут при случае состоять из отклоняющих импликаций, установленных писателем ad hoc» [3, p. 44]. Что же нам следует думать об этих импликациях, созданных прямо на месте?

[2] Работа Фреге цитируется по моей книге [10, p. 217—218].

[3] Цитируется по моей книге [10, p. 224].

ЛИТЕРАТУРА

[1] Bachelard G. The Poetics of Space. New York, 1964.

[2] Berggren D. The Use and Abuse of Metaphor. — "Review of Metaphysics", vol. 16, Dec. 1962.

[3] Black M. Models and Metaphors. Ithaca, New York, 1962.
[4] Cohen J. Structure du language poétique. Paris, 1966.
[5] Frye N. Anatomy of Criticism: Four Essays. Princeton, 1957.
[6] Goodman N. Languages of Art. Indianapolis, Ind., 1968.
[7] Henle P. Metaphor. — In: "Language, Thought, and Culture", ed. by P. Henle. Ann Arbor, Mich., 1958.
[8] Hester M. B. The Meaning of Poetic Metaphor. The Hague, 1967.
[9] Jakobson R. Word and Language. — In: Jakobson R. Selected Writings, vol. 2. The Hague, 1962.
[10] Ricoeur P. The Role of Metaphor: Multidisciplinary Studies of the Creation of Meaning in Language. Toronto, 1978.
[11] Strasser S. Das Gemut. Freiberg, 1956.

ПОЛЬ РИКЁР

ЖИВАЯ МЕТАФОРА

ФУНКЦИЯ СХОДСТВА

Суд над сходством. Несмотря на проницательные наблюдения П. Хенле [10], для последующего развития предикативной теории метафоры характерно угасание интереса к проблеме сходства и все возрастающее пристрастие к таким построениям, в которых это понятие не играет существенной роли. Обвинение против сходства состоит в следующем.

Основной протест вызывает устойчивая связь между сходством и замещением в истории изучения метафоры. Блестящее обобщение, принадлежащее Р. Якобсону, лишь подтверждает это суждение: любая замена одного терма другим не выходит за рамки сходства. Наоборот, понятие взаимодействия приложимо к любому типу отношений; если отношение «содержание (tenor) — оболочка (véhicle)» еще апеллирует к идее сходства между «тем, что имеется в виду», и «тем, с чем производится сравнение», то использование более широкого понятия «взаимодействия контекстов» позволяет обойтись без этой апелляции. Именно так поступает М. Блэк: резко противопоставляя теорию взаимодействия теории субституции и связывая с этой последней теорию сравнения, он подготавливает почву для следующего вывода: «Для того чтобы значение менялось в зависимости от контекста, основания могут быть какие угодно или их может вообще не быть» [6, р. 43]. Бирдсли [4] полностью отказывается от идеи сходства; в его концепции метафоры аналогия заменена логическим абсурдом. Именно логический абсурд заставляет при интерпретации метафоры отказаться от основного значения слова и искать в спектре его коннотаций ту, которая позволила бы осмысленно связать метафорический предикат с его субъектом.

Второе обвинение может быть сформулировано так: даже если метафорическое высказывание построено на аналогии, последняя

Paul R i c o e u r. La métaphore vive. Paris, Editions du Seuil, 1975: Ch. VI "Le travail de la ressemblance", p. 242—272, печатается с сокращениями.

ничего не объясняет, возникая скорее в результате высказывания, чем предшествуя ему в качестве причины или основания: между вещами, которые до тех пор никому не приходило в голову сближать или сравнивать, вдруг открывается сходство. Вот почему теория взаимодействия во избежание порочного круга стремится описать подобие само по себе, не включая его в объяснение метафоры. Применение метафорического предиката к некоторому терму (основному субъекту метафоры, по Блэку) сравнивается в рамках этой теории с экраном или фильтром, который производит отбор и, устраняя все «лишнее», реорганизует значения субъекта; аналогия в этом процессе не участвует.

Третье возражение состоит в том, что термины «сходство» и «аналогия» неоднозначны, и тем самым они вносят путаницу в дальнейший анализ. Употребление соответствующих терминов у Аристотеля подтверждает их логическую несостоятельность. Аристотель использует термин «сходство» в трех (или даже четырех) разных смыслах. Единственное строгое значение этого термина соответствует тому, что Аристотель называет аналогией, которую он понимает как отношение пропорциональности; в «Никомаховой этике» оно определяется как «равенство отношений, предполагающее по крайней мере четыре терма» (V, 6, 1131a, 31); но метафора, основанная на пропорции, — это лишь один из типов метафоры (а именно четвертый). Ближе всего к этому основному значению (аналогии) находится понятие сравнения (eïkôn); в «Риторике» (III, 10, 1411a) специально отмечается их близость — несмотря на то что сравнение предполагает одинарное, а не парное отношение. Но сравнение не есть основание метафоры; в «Поэтике» оно вообще отсутствует, в «Риторике» оно подчинено метафоре.

В заключительной части «Поэтики» Аристотель, вне какой-либо связи с логикой пропорции или сравнения, утверждает: «Всего важнее — быть искусным в метафорах. Только этого нельзя перенять от другого: это — признак таланта, потому что слагать хорошие метафоры—значит подмечать сходство» (22, 1459a)*. Это общее утверждение охватывает все четыре типа метафоры и тем самым распространяется на все поле эпифоры. Но что значит подметить сходство? В «Риторике» имеется косвенное указание на то, что «сходное» — это есть «то же самое», что означает родовое тождество: «Метафоры нужно заимствовать... из области предметов сродных, но не явно сходных, подобно тому как и в философии считается свойством меткого [ума] видеть сходство и в вещах, далеко отстоящих одни от других, как, например, Архит говорил, что судья и жертвенник — одно и то

* Здесь и далее — перевод В. Аппельрота; цитируется по изданию: Аристотель. Поэтика (Об искусстве поэзии). Под ред. Ф. А. Петровского.М., 1957; ср. перевод М. Л. Гаспарова в издании: Аристотель. Соч. в 4-х тт., т. IV. М., «Мысль», 1984. — *Прим. ред.*

же, потому что к тому и другому прибегают все, кто терпит несправедливость» (III, 11, 1412a, 11—14)*.

Как же согласовать эту универсальную роль сходства со специфической функцией аналогии и сравнения? И, на этом уровне универсального, как примирить между собой сходное и тождественное?

Наконец, четвертый довод указывает на то, что наиболее опасная двусмысленность кроется даже не в самом термине «сходство», а в наиболее устойчивых его ассоциациях. Действительно, «обладать сходством» может означать «быть созданным по образу чего-либо» — ведь мы с равным успехом можем сказать про портрет или фотографию, что они воспроизводят образ оригинала или что они сходны с оригиналом. Смешение понятий сходства и образа характерно для некоторых — правда, устаревших — концепций литературной критики, согласно которым понимание метафор того или другого автора требует выявления типичных для него зрительных, слуховых и других сенсорных образов. Отношение сходства устанавливается здесь от абстрактного к конкретному: идея обладает сходством с конкретным образом, который ее иллюстрирует. Сходство, таким образом, оказывается свойством самого изображения, то есть портрета в широком смысле слова.

Намек на эту последнюю двусмысленность мы также находим у Аристотеля, который говорит, что живая метафора «изображает вещь как бы находящейся перед нашими глазами». Это свойство метафоры упоминается там, где речь идет о метафоре, основанной на пропорции, хотя и без указания на существование между ними какой-либо связи: действительно, что может быть общего между рационально установленной тождественностью отношений и предстоянием перед взором, т. е. наглядностью? То же смешение понятий, как кажется, присутствует в анализе иконичности метафоры, предложенном П. Хенле. Представлять одну мысль при помощи другой — не значит ли это так или иначе показывать, делать зримой первую ради того, чтобы получить более живое представление о второй? Но не является ли упомянутая двойственность свойством самой риторической фигуры, состоящей в придании речи образности? А если так, то какова связь между двумя полюсами обозначенного таким способом диапазона, то есть между логикой пропорциональности и иконической образностью?

Все сказанное сводится к одной центральной проблеме: что обеспечивает метафоричность метафоры? Может ли единое понятие сходства охватить пропорцию, сравнение, улавливание (saisie) сходного (или тождественного), иконичность? Или же следует

---

* Здесь и далее — перевод Н. Платоновой; цитируется по изданию: Античные риторики. Сост. и ред. А. А. Тахо-Годи. М., Изд-во МГУ, 1978. — *Прим. ред.*

признать, что оно лишь маскирует изначальную порочность определений, способных объяснять метафору через все новые и только новые метафоры, ср.: метафору переноса у Аристотеля, метафору «оболочки» у Ричардса, метафору фильтра, метафору экрана или метафору линзы у М. Блэка. И все это разнообразие в конечном счете возвращает нас к исходной точке — к метафоре переноса.

В защиту сходства. Я намереваюсь показать:

1) что сходство есть понятие еще более необходимое в теории «напряжения», чем в теории субституции;

2) что оно не только создается метафорическим высказыванием, но и, наоборот, само участвует в его порождении;

3) что ему можно придать такой логический статус, при котором преодолевается обсуждавшаяся выше двусмысленность;

4) что иконический характер сходства должен быть описан заново — таким способом, при котором образность трактуется как семантический компонент, включенный в структуру метафорического высказывания.

1. Изначальная ошибка аргументации, направленной против включения сходства в логику метафоры, кроется в представлении о том, что использование понятий напряжения, взаимодействия и логического противоречия делает понятие сходства избыточным. Обратимся к языковой стратегии порождения такого простого метафорического выражения, как оскюморон (*живая смерть*, *ясная тьма* и т. п.), где буквальный смысл содержит загадку, а метафорический — ее решение. При этом понятия напряжения и противоречия ориентированы на формальную сторону загадки — на то, что можно было бы назвать «семантический вызов», или, пользуясь выражением Ж. Коэна, «семантическая дерзость». Метафорический смысл как таковой — это не сама семантическая коллизия, а некоторое новое согласование, возникающее в ответ на вызов. Говоря словами Бирдсли, метафора — это то, что превращает нежизнеспособное, внутренне противоречивое высказывание в высказывание внутренне противоречивое, но значимое, осмысленное. И именно в осуществлении этого перехода решающая роль принадлежит сходству. Но эта роль может быть выявлена только при условии, что мы откажемся от сближения — чисто семиотического по своей природе — понятий сходства и субституции и обратимся к собственно семантическому аспекту сходства (я имею в виду его роль в соединении основных компонентов высказывания или в создании оксюморона). Другими словами, сходство — если вообще допускать это понятие при описании метафоры — должно рассматриваться как способ предикации признака субъекту, а не как способ субституции имен.

Возникающая в метафоре новая семантическая согласованность оказывается возможной благодаря тому, что между неко-

торыми двумя термами устанавливается определенная смысловая «близость» — вопреки реальной «дистанции» между ними; вещи, которые до того были «удалены» друг от друга, вдруг оказываются «соседствующими»[1]. Аристотель отмечает этот чисто предикативный эффект аналогии, рассуждая о том, что нужно употреблять подходящие метафоры («Риторика», III, 1405а, 10). Предостерегая от метафор, сближающих слишком отдаленные вещи, Аристотель советует заимствовать метафоры от «одного и того же рода вещей» и переносить названия «не издалека, а от предметов родственных и однородных так, чтобы было ясно, что оба предмета родственны» (там же, 1405а, 37)[2].

Идея родственности понятий очень ценна. Неважно, что эта родственность выражена метафорически, ведь метафора как раз и призвана установить род. С близкого ли или с далекого расстояния, она все равно осуществляет «перенос», а переносить в этом случае — значит сближать, то есть преодолевать разделяющую рода дистанцию.

Мысль о родстве разных категорий подводит нас к идее «семейного сходства», относящегося к доконцептуальному уровню. Эта идея, по-видимому, имеет отношение к логическому статусу сходства в метафорическом процессе.

Ниже мы продолжим эту мысль. Пока можно сказать следующее. Во-первых, напряжение, противоречие и контроверза — это лишь оборотная сторона того сближения, благодаря которому метафора оказывается осмысленной. Во-вторых, сходство как таковое есть факт предикации, осуществляемой по отношению к тем же термам, противоречие между которыми создает напряжение[3].

2. Нам могут возразить, что сходство — плохой кандидат на роль обоснования или причины возникновения смыслового согласования, потому что оно порождается самим высказыванием, в котором содержится сближение. Опровержение этого тезиса заставляет нас прибегнуть к парадоксу, который поможет по-новому осветить теорию метафоры.

Ф. Уилрайт в своей книге «Метафора и действительность» [21] почти нащупал этот парадокс; он предлагает различать эпифору и диафору. Эпифора, как мы помним, — это термин Аристотеля, обозначающий транспозицию, перенос как таковой, то есть это процесс объединения, своего рода ассимиляция, происходящая между чуждыми понятиями, — чуждыми в силу удаленности. Акт соединения предполагает определенный тип восприятия, а именно прозрение (insight). Об этом типе восприятия Аристотель писал: «Слагать хорошие метафоры — значит подмечать сходство» («Поэтика», 1459а). Эпифора — это взгляд, брошенный гением; непредсказуемое и недоступное[4]. Но не существует эпифоры без диафоры, как не существует интуиции без конструкции. Действительно, интуитивный процесс, сближающий далекое, с неизбежностью предполагает и речевой момент; тот же Аристотель,

который отдавал дань способности «подмечать сходство», был одновременно теоретиком пропорциональной метафоры, когда сходство скорее конструируется, чем непосредственно воспринимается. [...] Тому же речевому моменту обязаны метафорические обозначения метафоры, используемые М. Блэком, — такие, как «экран» или «фильтр», — позволяющие представить процесс выбора предикатом определенных свойств основного субъекта. Поэтому нет никакого противоречия в том, чтобы описывать метафору в терминах восприятия (зрения) и в терминах расчета, конструкции. Метафора — это одновременно «дар гения» и мастерство геометра, превосходно владеющего «наукой пропорций».

Может показаться, что мы удаляемся от семантики в сторону психологии. Но, во-первых, нет ничего зазорного в том, чтобы чему-то поучиться у психологов, особенно если речь идет о психологии операций (а не элементов, над которыми они производятся). Это касается, в частности, гештальтпсихологии, которая, применительно к феномену изобретения, показывает, что любое изменение структуры включает момент внезапного озарения, когда возникает новая структура, разрушающая и преобразующая предшествующую конфигурацию. Во-вторых, этот, казалось бы, психологический парадокс соединения гениального озарения и расчета, интуиции и конструкции на самом деле есть парадокс чисто семантический: он связан со специфическим характером предицирования, происходящего в процессе речи. Н. Гудмен говорит об этом так (еще одна метафора о метафоре!): метафора — это «переклеивание этикеток», в результате которого рождается «гармония предиката, обремененного прошлым, и объекта, который смиряется, сопротивляясь» [9, p. 69]. Смиряется, сопротивляясь, — именно так, в метафорической форме, можно выразить суть обсуждаемого парадокса: сопротивление — это то, что осталось от прежнего союза (основанного на буквальном значении), который распадается под действием противоречия, смиренная уступка — то, что возникает в рамках уже новой близости. Диафора в эпифоре — это, в сущности, тот же самый парадокс, но представленный как прозрение, открывающее сходство уже после разрыва прежних отношений.

3. Описанный выше парадокс дает нам ключ для того, чтобы отвести возражение, касающееся логического статуса сходства. Ведь то, что является значимым для операции уподобления, может оказаться значимым и для отношения подобия — если, конечно, нам удастся показать, что отношение подобия — это лишь другое название для операции уподобления, о которой шла речь выше.

Вспомним мотивировку логической несостоятельности понятия сходства: любые две вещи имеют между собой нечто сходное, но... и нечто различное.

Остается единственная возможность: построить отношение по образцу операции и перенести парадоксальность, присущую

операции, на отношение. Тогда сходство предстает как имеющее такую концептуальную структуру, которая одновременно объединяет и противопоставляет тождество и различие. Когда Аристотель называет «похожее» «тождественным», это не небрежность выражения: видеть тождественное в разном — это и означает видеть сходное[5]. С другой стороны, именно метафора вскрывает логическую структуру «сходного», потому что в метафорическом высказывании «сходное» обнаруживается вопреки различию, несмотря на противоречие. Сходство, таким образом, предстает как логическая категория, соответствующая операции предикации, при которой «сближение» встречает сопротивление свойства «быть далеким». Другими словами, именно метафора выявляет функцию сходства — потому что в метафорическом высказывании различие удерживается противоречием на уровне буквального значения; «тождественное» и «различное» не смешиваются, а противоборствуют... Благодаря этому свойству метафоры ее загадка остается в самом ее сердце.

Указанная особенность метафоры отмечалась, в той или иной форме, разными авторами[6]; я же хочу развить эту мысль еще на один — или даже на два — шага дальше.

Если при описании метафоры сходство представить как точку столкновения тождественного и различного, то такая модель, возможно, позволила бы нам выявить источник многообразия видов метафоры, порождающего столько недоумений. Благодаря чему, спрашивается, переносы от рода к виду, от вида к роду, от вида к виду — все суть формы эпифоры, отражающие одно и то же противоречивое единство сходного?

Тербейн в своей работе «Миф о метафоре» [19, p. 12] близок к решению этой проблемы: явление, лежащее в основе метафорического высказывания, замечает он, сродни тому, что Г. Райл называет категориальной ошибкой (представление объектов одной категории в терминах другой категории [18, p. 8]). Действительно, определение метафоры как способа говорить об одной вещи в терминах другой, на нее похожей, не содержит ничего принципиально иного. Метафору можно было бы назвать намеренной категориальной ошибкой — тогда все четыре типа метафоры, которые различает Аристотель, могут быть снова объединены. Для первых трех типов это очевидно: приписывание роду названия вида и т. д. в точности означает намеренное нарушение концептуальных границ рассматриваемых термов. Но сюда же относится и четвертый тип — пропорциональная метафора, — поскольку, согласно Аристотелю, метафора данного типа есть не аналогия как таковая, а скорее перенос — на основании отношения пропорциональности — обозначения для второго терма на четвертый и наоборот. Таким образом, метафоры всех четырех аристотелевских классов являются намеренными категориальными ошибками.

Подобного же рода рассуждения позволяют, далее, объяснить

первичность метафоры по отношению к сравнению у Аристотеля. Метафора указывает прямо, что «это — то» («Риторика», III, 1410 b; 19). Такое предицирование признака — несмотря на всю его неуместность — и обеспечивает способность метафоры порождать новые смыслы. Сравнение — это уже нечто большее; это такая парафраза метафорического выражения, которая снимает присущий ему эффект предицирования необычного признака. Поэтому нападки на сравнение (со стороны М. Блэка и М. Бирдсли) не затрагивают метафору — так как она представляет собой не сокращенное сравнение, а, наоборот, его движущую силу[7].

Идея категориальной ошибки подводит нас близко к цели. Можно сказать, что действие порождающего речевого механизма в области метафоры заключается в размывании логических — или так или иначе установленных — границ, благодаря которому обнаруживаются новые сходства, невидимые в рамках прежней классификации. Другими словами, сила метафоры — в способности ломать существующую категоризацию, чтобы затем на развалинах старых логических границ строить новые.

Далее, можно выдвинуть гипотезу, что динамика мысли, прокладывающей себе путь сквозь чащу установленных категорий, имеет тот же источник, что и создание любой классификации. Здесь мы вынуждены ограничиться лишь гипотезой, так как у нас нет прямого доступа к возникновению родов и классов. Наблюдение и размышление везде начинаются слишком поздно. Однако, призвав на помощь своего рода философское воображение — позволяющее производить экстраполяцию, — мы можем допустить, что фигура речи, которую мы называем метафорой и которая на первый взгляд предстает как намеренное отклонение от нормы, — это явление той же природы, что и процесс возникновения «семантических полей» и, следовательно, создания той самой нормы, от которой «отклоняется» метафора, то есть одна и та же операция позволяет «видеть сходное» и «устанавливать род (enseigner le genre)»; эту мысль можно найти также у Аристотеля. При этом, если исходить из того, что узнать можно только нечто дотоле неизвестное, видеть сходное означает создавать новый род внутри различий, а не поверх этих различий — на уровне трансцендентных концептов. Аристотель применял здесь термин «родовая общность». Метафора позволяет увидеть этот подготовительный этап концептуализации — благодаря тому, что в метафорическом процессе движение к новому родовому понятию тормозится из-за сопротивления, создаваемого различиями, а кроме того, частично выявляется самой риторической фигурой. Таким образом, метафора вскрывает механизм формирования семантических полей — механизм, который Гадамер называет «изначальной метафоричностью языка» [8, p. 406 и сл.] и который часто смешивается с формированием концепта на основе подобия. Это своего рода сходство, объединяющее индивидов еще до того, как они подводятся под те или другие логические

категории. Метафора как фигура речи представляет явно, в виде конфликта между тождеством и различием, обычно скрытый процесс порождения семантических категорий путем слияния различий в тождество.

Этот последний вывод дает нам возможность возобновить прерванное обсуждение теории метафоры Р. Якобсона. Используемое нами понятие «метафорический процесс», по отношению к которому метафора как риторическая фигура выполняет роль «проявителя» (revelateur), близко к идеям Якобсона. Однако в отличие от Якобсона, в центре нашего внимания при анализе метафоры находится не субституция, а предикация. Если Якобсон рассматривал метафору как семиотическое явление (замещение одного терма другим), то мы анализируем явление семантическое (взаимное сближение двух семантических областей в результате предицирования субъекту необычного признака). Заметим при этом, что «метафорический полюс» языка, будучи по своей природе чисто предикативным (атрибутивным), не имеет противовеса в виде «метонимического полюса». Иными словами, никакой симметрии здесь нет. Метонимия — замена одного имени другим — остается процессом семиотическим, быть может даже, феноменом субституции par excellence в области знаков. Метафора — предицирование необычного признака — это процесс семантический (как понимал его Бенвенист), возможно даже, феномен генетический par excellence в области речи.

4. Тот же парадокс, сталкивающий зрительный образ и речевой поток (discursivité), на основе которого было построено понятие отношения сходства, может помочь нам отвести четвертое из приведенных выше возражений. Речь идет о возможности трактовать сходство как зрительный образ, представляющий абстрактные отношения. Проблема, как мы помним, возникла из замечания Аристотеля о способности метафоры «изображать вещь как бы находящейся перед нашими глазами»; она была, далее, детально разработана в иконической теории метафоры П. Хенле, а также отразилась в понятии «ассоциированного образа» М. Ле Герна. При этом, чем больше семантический анализ подпадал под влияние логической грамматики, тем сильнее становилась настороженность по отношению к понятию «образ», введение которого воспринималось как дурной психологизм.

Между тем вопрос именно в том, действительно ли иконический аспект метафоры вообще не поддается семантическому анализу и нельзя ли его объяснить, исходя из предложенной структуры сходства. Быть может, как раз в точке конфликта между тождеством и различием и должно быть локализовано воображение?

Для начала мы оставим в стороне сенсорный, «чувственный» аспект воображения — это невербальное ядро воображения, то есть воображаемое как квазивидимое, квазислышимое, квазиощущаемое и т. д. Единственно возможный способ рассмат-

ривать проблему воображения, оставаясь в рамках семантического анализа (т. е. анализа вербальных сущностей), состоит в том, чтобы начать с продуктивного воображения (по Канту) и по мере возможности заниматься только им, отвлекаясь от существования репродуктивного воображения, то есть воображаемого. Образ, рассматриваемый как «схема» (по Канту), приобретает вербальное измерение: прежде чем стать полем увядающих перцептов, он является лоном рождающихся значений. Подобно тому, как схема служит матрицей категорий, иконический образ (icône) — это матрица для нового семантического согласования, возникающего на обломках старых семантических категорий, разрушенных взрывной волной противоречия.

Вплетя эту новую нить в наше рассуждение, мы можем сделать вывод, что иконичность заключает вербальный аспект — в той мере, в какой она обеспечивает фиксацию тождественного внутри различий и вопреки им, но на доконцептуальном уровне. Таким образом, в свете кантовской «схемы», аристотелевское вйдение — «подмечание сходства» — как раз и совпадает с иконичностью: установить род, уловить родство отдаленных термов — это и значит «представить взору». Метафора тем самым предстает как механизм «схематизации», производящий метафорическую атрибуцию. На почве воображения выращиваются переносные смыслы как результат взаимодействия тождества и различия. Сама же метафора позволяет видеть все действие этого механизма, так как тождество и различие здесь не сливаются, а противостоят друг другу. [...]

Иконический знак и образ. Существует ли психолингвистика воображения? Если семантика, согласно анализу, проведенному выше, ограничивается вербальным аспектом воображения, то психолингвистика могла бы переступить эту грань, дополнив семантическую теорию метафоры анализом с е н с о р н о г о аспекта образа (этот аспект мы выше временно исключили из рассмотрения, чтобы сосредоточиться на той стороне образа, которая непосредственно соприкасается с вербальным планом и которую мы назвали, в кантовском духе, метафорической схематизацией).

При анализе данной проблемы я буду следовать идеям интересной работы М. Хестера [13]. Исследование Хестера, правда, задумано не как психолингвистическое; оно является лингвистическим — в витгенштейновском смысле — и психологическим — в смысле англо-американской традиции философии сознания. Однако проблема, которой оно посвящено, — связь между «говорить» и «видеть как» (voir comme, seeing as) — это проблема психолингвистическая.

На первый взгляд попытка такого анализа представляется идущей вразрез с семантической теорией, которая была изложена выше (в главе III). Согласно этой теории, не только метафора

не может быть сведена к зрительному образу, но, более того, образ, рассматриваемый как психологический фактор, вообще не должен фигурировать в семантической теории, построенной по образцу логической грамматики. Только такой ценой игру сходства можно удержать в рамках операции предикации и тем самым — речи. Но вопрос в том, действительно ли отрицание теоретического пути от образа осуществляемой в речи предикации означает также обреченность попыток пройти по обратному маршруту, а именно считать, что образ является *конечной станцией* той самой семантической теории, которая не признает его в качестве исходного пункта.

Такая постановка вопроса вытекает из предшествующего анализа, содержащего один фундаментальный изъян, который как раз и мог бы обеспечить место для образа. Обратимся теперь непосредственно к «сенсорному» аспекту метафоры. У Аристотеля он обозначен как свойство «живости», как наглядность, зримость; у Фонтанье он имплицитно включен в само определение метафоры как представляющей некоторую идею в терминах другой, более знакомой. Ричардс использует для описания сенсорного аспекта метафоры все то же противопоставление содержания (tenor) и оболочки (vehicle) образа; сходство между ними не такое, как между двумя идеями, а такое, как между образом и абстрактным значением. Образный аспект метафоры наиболее ясно представлен в теории П. Хенле в связи с идеей иконичности. Во франкоязычной литературе дальше всех в этом направлении продвинулся М. Ле Герн, разработав понятие «ассоциированного образа». Эта конкретная, «чувственная» сторона «оболочки», так же как и иконического образа, элиминируется в теории взаимодействия М. Блэка; из категорий, различаемых Ричардсом, здесь остается лишь предикативное отношение «фокус (foyer) — рамка (cadre)», которое само разлагается на «основной субъект» и «вспомогательный субъект». Наконец, и понятие «система ассоциированных общих мест» у Блэка, и понятие «гамма коннотаций» у Бирдсли обходятся без апелляции к идее развертывания образов; все они ориентированы на *вербальные* аспекты значения. И хотя верно, что моя речь в защиту сходства заканчивается своего рода реабилитацией иконического аспекта метафоры, эта реабилитация, однако, не выходит за пределы, с одной стороны, лишь вербального аспекта иконического образа и, с другой стороны, чисто логической концепции сходства, утверждающей единство тождества и различия. Верно также, что возврат к иконическому моменту означает принятие определенной концепции воображения, но эта концепция строго ограничивается творческим воображением (по Канту); в этом смысле понятие «схематизация метафорической предикации» не нарушает границ семантической теории, то есть теории *вербального* значения.

А что, если сделать следующий шаг, включив в семантическую теорию сенсорный компонент, без которого продуктивное вообра-

жение вообще не было бы воображением? Возражение против такого шага очевидно: это означало бы распахнуть ворота семантической овчарни волку психологизма. Соображение, конечно, серьезное, но ведь можно поставить вопрос и иначе: до каких пор будет существовать эта пропасть между семантикой и психологией? Ведь теория метафоры предоставляет нам уникальную возможность признать наличие у этих областей общей границы. На этой границе — специфическим способом, о котором пойдет речь ниже, — как раз и осуществляется связь логического аспекта с сенсорным (или, если угодно, вербального с невербальным). И именно этой связи обязана метафора той конкретностью, которая является одним из ее наиболее важных, сущностных свойств. Страх перед психологизмом не должен тем самым служить препятствием для поисков, в духе трансцендентальной критики Канта, точки проникновения психологии в семантику — той точки, где даже в самом языке смысл и чувство сливаются.

Моя рабочая гипотеза состоит в том, что изложенная выше идея схематизации метафорической атрибуции позволяет найти — на границе семантики и психологии — место для внедрения понятия образа в семантическую теорию метафоры. С этой гипотезой в мыслях я перехожу теперь к анализу теории М. Хестера.

Теория Хестера опирается на приемы анализа, характерные для литературной критики англо-саксонской традиции, — имея своим объектом скорее поэтический язык в целом, чем конкретно метафору. Указанная традиция выдвигает на первый план сенсорный, данный нам в ощущениях, чувственный аспект поэтического языка — то есть именно тот аспект, который логическая грамматика, наоборот, оставляет за пределами своего поля зрения. Можно назвать три положения, взятые М. Хестером из концепции упомянутой школы.

Первое состоит в том, что поэтический язык создает своего рода «слияние» смысла с ощущениями, чувственным восприятием (le sens et les sens), что отличает его от языка непоэтического, где смысл — в силу произвольности и конвенциональности знака — максимально «очищен» от сенсорного компонента. Это обстоятельство, по мнению Хестера, опровергает или по крайней мере существенно корректирует теорию значения Витгенштейна, изложенную в «Философских исследованиях» (где акцентируется дистанция между значением и его носителем и между значением и вещью). Витгенштейн, как считает Хестер, строит теорию обыденного языка, неприложимую к языку поэтическому.

Второе: в поэтическом языке союз смысла и ощущений порождает объекты, замкнутые на себе, — в отличие от обыденного языка, знаки которого имеют референтов, в поэтическом языке знак является о б ъ е к т о м, а не п о с р е д н и к о м — «тем, н а ч т о смотрят (looked at)», а не «тем, с к в о з ь ч т о смотрят (looked through)». Другими словами, язык, вместо того чтобы быть лишь чем-то н а п у т и к действительности, сам оказы-

вается материалом (stuff), как мрамор для скульптора. Заметим, что это второе положение близко к определению «поэтического» у Р. Якобсона, согласно которому поэтическая функция языка ставит акцент на самом сообщении — в ущерб его референтной функции.

И, наконец, третье: свойство поэтического языка быть самодовлеющим, замкнутым на себе позволяет ему строить вымышленный мир (articuler une experience fictive). По словам С. Лангер [15], поэтический язык «представляет нам пережитое в возможной жизни». Н. Фрай [7] называет «настроем (mood)» то ощущение, которому язык, ориентированный центростремительно, а не центробежно, придает форму и которое есть не что иное, как порождение самого этого языка.

Все эти три идеи — слияние смысла и ощущения; сгущение языка и его самодовлеющая значимость; способность этого языка, не направленного на референт, строить вымышленный мир — формируют понятие иконического образа, существенно отличное от предложенного П. Хенле и получившего широкую известность благодаря книге У. Уимсатта и М. Бирдсли «Вербальный иконический знак» [22]. Как и византийская икона, вербальный иконический знак — это слияние смысла и ощущения; это тоже жесткий объект, подобный скульптуре, — таковым становится язык, освобожденный от референтной функции и явившийся в своей замкнутости, представляя лишь имманентно присущий ему опыт.

Принимая эти положения в качестве исходных, М. Хестер вносит, однако, существенные изменения в понятие ощущаемого, чувственно воспринимаемого (sensible), сближая его с понятием воображаемого, — на основании чего он строит весьма оригинальную концепцию чтения, применимую как к стихотворному произведению в целом, так и к отдельной метафоре. При чтении, согласно М. Хестеру, происходит нечто подобное «эпохé» Гуссерля, то есть освобожденность сознания от естественной реальности, открывающая возможность непосредственного восприятия [чувственных] данных: чтение предполагает отвлечение от реальности, стимулирующее «активное открытие текста». В свете этой концепции чтения М. Хестер видоизменяет перечисленные выше положения.

Прежде всего, акт чтения выявляет то обстоятельство, что основным свойством поэтического языка является слияние не смысла со звуком, а смысла с потоком вызываемых или воскрешаемых в сознании образов; именно это слияние и обеспечивает подлинную «иконичность смысла». При этом образами Хестер называет вызываемые в памяти сенсорные впечатления или, по выражению Уэллека и Уоррена [20], «остаточные представления ощущений (vestigial representations of sensations)». Поэтический язык тем самым — это языковая игра (по Витгенштейну), в которой назначение слов — вызывать, возбуждать образы. Не

только смысл и звук иконичны по отношению друг к другу, но и сам смысл обладает иконичностью благодаря своей способности «прорастать образами». Эта иконичность заключает в себе два основных свойства акта чтения: выключенность из реальности (suspens) и открытие (ouverture). С одной стороны, образ — это результат нейтрализации действительности; с другой стороны, развертывание образа есть нечто, что «случается (occurs)» и для чего смысл всегда открывает двери в безграничное пространство возможных интерпретаций. Имея в виду этот поток образов, можно сказать, что чтение состоит в осуществлении изначального права на все [чувственные] данные; что касается поэзии, то здесь открытие текста означает открытие высвобождаемых смыслом образов.

Описанное видоизменение первого положения, сделанное в духе того, что можно было бы назвать сенсуалистской концепцией вербального иконического знака, естественно предполагает также аналогичные модификации двух других тезисов. Та обращенная на себя, нереферентная по своей природе сущность, о которой писали Уимсатт, Н. Фрай и другие, есть не что иное, как смысл в оболочке образов. Ибо нет ничего, столь отвлеченного от мира, как поток образов, порождаемых смыслом; при таком взгляде нереференциальная теория поэтического языка вынуждена отождествлять метафорическое с иконическим — если, конечно, под иконическим понимать вымышленное как таковое (ведь как мы помним, «эпохé», «чистое сознание», выключенность из привычных связей, свойственная воображаемому, лишает вербальный иконический знак референции к какой-либо эмпирической данности). Именно воображаемое, благодаря своей квазинаблюдаемости, создает квазипереживания, виртуальный опыт, короче говоря, иллюзии, пробуждаемые чтением поэтического произведения.

В дальнейшем обсуждении я уже не буду больше возвращаться к этим двум темам — нереферентности и виртуальному опыту. Обе они касаются проблем референции, реальности и истинности, от которых, как было решено, мы вообще отвлекаемся, проводя резкую грань между проблемой смысла и проблемой референции. Поэтому утверждение Хестера о нереферентном характере поэзии вовсе не столь очевидно, как это может показаться; понятие виртуального опыта косвенно снова вводит идею «соотнесенности (relatedness)» с действительностью, которая парадоксальным образом компенсирует несхожесть и удаленность от реальности, присущие вербальному иконическому знаку; кстати, Хестер апеллирует в своих рассуждениях к противопоставлению (принадлежащему Хосперсу [14]) между «истинностью о (truth about)» и «истинностью по отношению к (truth to)». Так, например, когда Шекспир уподобляет время нищему, он верен глубоко человеческой реальности времени; поэтому за метафорой следует сохранить не только право отменять (suspendre) естественное положение

вещей, но и способность, с одной стороны, оставлять смысл открытым в воображаемое, а с другой стороны, выводить его на действительность, которая отнюдь не совпадает с тем, что обычно понимается под естественным положением вещей в обыденном языке. Итак, мы ограничимся — следуя в этом мысли самого Хестера [13, р. 160—169] — проблемой значения, исключая отсюда проблему истинности. Такое ограничение возвращает нас обратно к первому положению теории — к идее слияния «смысла (sens)» и «чувственных данных, ощущений (sensa)», понимаемого теперь уже как иконическое развертывание смысла в образы.

Основная проблема, которая возникает в связи с введением понятия образа или воображаемого (сам Хестер употребляет как слово image, так и imagery) в теорию метафоры, касается статуса сенсорного, то есть невербального, фактора в семантической теории. Дело осложняется еще и тем, что образ, в отличие от восприятия, соотносим не с «общей» действительностью, а со своего рода «личным», ментальным опытом, относительно которого почитаемый Хестером Витгенштейн высказывается критически. Вопрос тем самым сводится к тому, чтобы выявить такую связь между «смыслом» и «ощущениями», которая может быть представлена в терминах семантической теории.

Первое свойство иконичности как будто облегчает эту задачу: вызываемые в памяти или порождаемые образы не являются «свободными» образами, которые сближаются со смыслами лишь по простой ассоциации идей; это, пользуясь выражением Ричардса из «Принципов литературной критики» [17; р. 118—119], «привязанные (tied)» образы, то есть образы, «ассоциируемые с поэтическим языком». Иконичность, в отличие от простой ассоциации, предполагает контроль над образом со стороны смысла; другими словами, иконичность — это образ, встроенный в сам язык; он ведет свою партию в языковой игре[8]. Понятие воображаемого, связанного смыслом, согласуется, как мпе кажется, с кантовской идеей о схеме как методе построения образов: вербальный иконический знак, согласно Хестеру, — это тоже метод построения образов. Действительно, ведь поэт — это не кто иной, как мастер, владеющий искусством вызывать к жизни воображаемое и придавать ему форму с помощью одной лишь языковой игры.

Позволяет ли понятие «привязанного» образа отклонить упреки в психологизме? По-видимому, все-таки нет. Так, Хестер в детальном описании слияния «смысла» и «ощущений» (понимаемых скорее как «привязанные» образы, чем как реальные звуки) оставляет чувственный момент сугубо внешним по отношению к вербальному; при объяснении понятия образной ауры слова [13, р. 143] автор упоминает имеющуюся в памяти ассоциацию между словами и образами их референтов и культурно-исторические конвенции, обеспечивающие то, что, например, христианский символ креста связан с той, а не иной цепочкой образов, —

а также и намеренно навязываемую автором стилизацию образа. Все это скорее психологические, чем семантические объяснения.

Наиболее удовлетворительное объяснение — которое по крайней мере вписывается в семантическую теорию — строится Хестером на основе понятия «видеть как», восходящего к Витгенштейну. В этом состоит самый существенный вклад Хестера в иконическую теорию метафоры. И это прежде всего благодаря той роли, которая отведена сходству.

Что значит «видеть как»?

«Видеть как» обнаруживается в акте чтения — в той мере, в какой оно представляет собой «способ реализации воображаемого». «Видеть как» обеспечивает реальную связь между vehicle (оболочкой, образом) и tenor (содержанием, смыслом, по Ричардсу): в поэтической метафоре ее о б о л о ч к а (о б р а з) есть *как* (то есть способ ее существования, ее содержание), но только с одной какой-нибудь точки зрения. Объяснить метафору — это значит перечислить значения, в рамках которых образ в и д и т с я к а к смысл. «Видеть как» — это интуитивное отношение, удерживающее вместе смысл и образ.

У Витгенштейна понятие «видеть как» не связывалось специально ни с метафорой, ни с воображением — по крайней мере в его отношении к языку; рассматривая неоднозначные рисунки (например, такой, который можно принять за изображение и кролика, и утки), Витгенштейн говорит о разнице между выражением «я вижу нечто» и «я вижу нечто как...», добавляя, что «видеть нечто как...» означает «иметь соответствующий образ». Связь между «видеть как »и «представлять себе» («воображать») проявляется еще более ярко в императиве; так, естественно сказать: «Представь себе нечто» — и, далее: «А теперь постарайся увидеть в этой фигуре это нечто» [см. 23, ч. 2, § 11]. Может показаться, что здесь речь идет об интерпретации. Витгенштейн на это возразил бы, что интерпретация есть построение гипотез, которые можно проверить, а здесь нет ни гипотезы, ни ее верификации; мы просто говорим: «Это кролик». «Видеть как», таким образом, — это наполовину мысль, наполовину чувственное восприятие (experience). А ведь это соединение той же природы, что и то, которое обеспечивает иконичность смысла[9].

Вслед за В. Олдричем [1], [2] Хестер считает, что понятие «видеть как» и образная функция языка поэзии взаимно проясняют друг друга: витгенштейновское «видеть как» позволяет подобное сближение благодаря своей апелляции к образам; с другой стороны, в поэтическом языке сама мысль образна; по выражению того же Олдрича, это «думание картинами (a picture thinking)»; кстати говоря, эта «живописная» потенция языка как раз и состоит в способности «видеть какой-то аспект». Что касается метафоры, то изображать время в виде нищего — это и значит видеть время как нищего; это именно и происходит, когда мы воспринимаем эту метафору, так как «воспринимать» означает

устанавливать отношение типа «X является таким же, как Y, — но не во всем, а в чем-то одном».

Конечно же, приложение идей Витгенштейна к анализу метафоры предполагает определенную их модификацию. Так, что касается проблемы неоднозначного образа, то здесь имеется гештальт (B), который позволяет видеть в нем как фигуру A, так и фигуру C; задача в том, чтобы на основании данного B построить A или C. В случае метафоры, наоборот, A и C заданы чтением; это tenor и vehicle; требуется построить некий общий элемент B — гештальт, иначе говоря, нужно найти ту точку зрения, с которой видно сходство между A и C.

Итак, понятие «видеть как» занимает место недостающего звена в цепи рассуждений; «видеть как» — это сенсорная, чувственно воспринимаемая сторона поэтического языка; полумысль, получувство, «видеть как» — благодаря своей селективной способности — обеспечивает интуитивную связь между смыслом и образом, удерживающую их вместе. «Видеть как» — это чувство-действие, интуитивное по своей природе, позволяющее нам выбрать из квазисенсорного потока воображаемого, возникающего при чтении, релевантные аспекты» [13, p. 180]. В этом определении содержится все главное. «Видеть как» — это одновременно и чувство (expérience) и действие, потому что, с одной стороны, поток образов не подвластен никакому контролю: образы возникают внезапно и спонтанно, и нет таких правил, которые бы регулировали их движение. Человек либо их видит, либо нет — искусство «видеть как» принадлежит сфере интуиции, и ему нельзя обучиться; максимум, что здесь можно сделать, — это помочь, например, увидеть глаз кролика на неоднозначном рисунке. С другой стороны, «видеть как» есть действие, потому что понять — уже значит нечто сделать. Поскольку образ, как говорилось выше, не свободен, а привязан к словам, «видеть как» направляет образный поток, регулирует его развертывание. Благодаря этому чувство-действие «видеть как» обеспечивает образность метафорического значения: «Образ, однажды возникнув, обязательно оказывается значимым» [13, p. 188].

Категория «видеть как», реализующая себя в процессе чтения, обеспечивает соединение вербального смысла с образностью во всей ее полноте. Это соединение не есть нечто внешнее по отношению к языку — поскольку оно само может быть осмыслено как отношение, а именно как отношение сходства; при этом речь идет не о сходстве между двумя идеями, а о том специфическом сходстве, которое устанавливается оператором «видеть как»: сходное, как утверждает Хестер, — это как раз и есть то, что возникает в результате действия-чувства «видеть как». Именно «видеть как» является определяющим для сходства, а не наоборот [13, p. 183]. Первичность категории «видеть как» по отношению к сходству наиболее ярко проявляется в языковой игре, в которой смысл выполняет иконическую функцию. Вот почему действие

«видеть как» может оказаться успешным или потерпеть неудачу; неудача — это судьба несостоятельных метафор — вымученных или случайных, либо, наоборот, слишком банальных и стертых; успех же ждет метафоры, способные вызвать удивление и ощущение открытия.

Таким образом, «видеть как» выполняет в точности роль схемы, объединяющей пустой концепт и слепое впечатление; будучи полумыслью, получувством, оно, это действие-чувство, соединяет ясность мысли с полнотой образа. Невербальное и вербальное, тем самым, тоже оказываются тесно связанными между собой — в рамках образной функции языка.

Помимо роли «моста» между вербальным и квазивизуальным, «видеть как» выполняет и другую связующую функцию: как мы помним, семантическая теория метафоры делает акцент на напряжении между некоторыми термами высказывания, которое поддерживается противоречием на уровне буквального значения. Лишь в банальной, и тем самым стертой, метафоре это напряжение исчезает (имеется в виду напряжение, вызываемое несоответствием нашим знаниям о мире, а, возможно, также несоответствием каким-то мифологическим структурам — если принять точку зрения Кассирера, что миф представляет собой уровень сознания, предшествующий тому, на котором появляются знания о мире). Что касается метафоры, то именно это напряжение и составляет ее суть. Когда поэт Дж. Хопкинс говорит о «холмах сознания» (O! The mind, mind has mountains), читатель все равно знает, что ум не имеет гор; буквальное «не есть» всегда сопровождает метафорическое «есть». Между тем теория слияния смысла и чувства (ощущения), взятая без изменений, предложенных Хестером, по-видимому, не согласуется с идеей напряжения между метафорическим и буквальным смыслом. В пересмотренном же виде, включающем понятие «видеть как», эта теория прекрасно согласуется как с теорией взаимодействия, так и с теорией напряжения. Выражение «видеть Y в X» предполагает, что X не является Y; «видеть во времени нищего» означает, в частности, что время не есть нищий; т. е. границы смысла нарушаются, но не отменяются вовсе. По удачному выражению О. Барфилда, приводимому Хестером [13, p. 27], метафора — это «намеренное соединение непохожего талантливым мастером» [3, p. 81]. Хестер тем самым имеет все основания говорить, что «видеть как» позволяет примирить между собой теорию напряжения и теорию слияния. Я со своей стороны могу добавить, что слияние смысла и образа, характерное для «иконизированного смысла (sens iconisé)», представляет собой необходимое дополнение к теории взаимодействия.

Итак, как можно было убедиться, метафорический смысл — это не сама загадка (семантическая коллизия), а ее решение, т. е. установление новой семантической правильности. С этой точки зрения понятие взаимодействия охватывает только диа-

фору; что касается эпифоры в чистом виде, то это нечто иное. Ибо она не может обойтись без слияния и интуитивного перехода; ее секрет заключается, по-видимому, в иконической природе этого интуитивного перехода. Метафорический смысл как таковой выращивается в толще образов, высвобождаемых поэтическим текстом.

Это значит, что «видеть как» является невербальным посредником между аспектами метафорического высказывания. Признавая это, семантика соблюдает свои границы, — что в свою очередь означает, что ее дело сделано. [...]

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] П. Валери в одной из своих статей упоминает «эти намеренные ошибки» — т. е. фигуры речи (цит. по [11, p. 8]). А. Анри приводит поразительное по своей точности замечание поэта Реверди: «Образ — это чистое порождение духа. Он возникает не из сравнения, а из сближения двух далеких вещей. И чем дальше отношения между ними, тем сильнее образ — тем больше его эмоциональный заряд и его поэтическая сила [11, p. 54]. Ср. также слова Клоделя: «Метафора, как и рассуждение, собирая воедино, преодолевает большее расстояние» [11, p. 69].

[2] Способность метафоры сокращать «расстояние» между логическими родами отмечается Аристотелем и в других контекстах; так, сближая метафору с загадкой, он пишет: «...Из хорошо составленных загадок можно заимствовать прекрасные метафоры; метафоры заключают в себе загадку, так как ясно, что [загадки] — хорошо составленные метафоры» («Риторика», III, 1405b, 4—5); Аристотель также сближает метафору и антитезу, подчеркивая, что противоположности, «если они стоят рядом», легко доступны пониманию (см. там же, III, 1410b, 35; 1411b, 2).

[3] Теория субституции вообще не знает этого механизма, так как она ограничивается чисто формальным восстановлением отсутствующего компонента (так, по мнению Хенле, при анализе строки из стихотворения Китса, где говорится о душе, «окутанной» грустью, должно быть восстановлено слово «плащ»). Но внутренняя динамика метафоры in absentia может быть выявлена при помощи метафоры in praesentia только в том случае, если восстановление недостающего компонента мотивируется взаимодействием между всеми элементами высказывания.

[4] Г. Эно видит в метафоре «интуитивное нахождение прямого пути к установлению конкретного тождества» (цит. по [11, p. 55—57]). Ниже мы отчасти воспользуемся этой мыслью и будем считать основным значением слова «образ» именно этот интуитивно осуществленный перенос. А. Анри так заключает изложение интуитивистской традиции: «Выросшая из чувственной реакции, метафора — это рождающаяся новая интуиция, которая вытекает из воображения и впадает в него. Счастливое созерцание чувственного образа создает плодотворную для нового синтеза почву, на которой осуществляется взаимодействие факторов» [11, p. 59].

[5] О тождественном и сходном ср. в «Метафизике» Аристотеля, Δ, гл. IX; «Сходным называется то, что испытывает совершенно одно и то же, а также то, что испытывает больше одинаковое, чем разное, равно и то, что имеет одинаковое качество. И то, что имеет большинство или важнейшие противоположные свойства другого, допускающие изменение, также сходно с этим другим» (1018a, 15—18). Второе значение слова *сходный* кажется особенно приложимым к метафоре.

[6] Так, Г. Херршбергер считает, что метафора «означает уподобление

вещей, вообще говоря, непохожих» [12, p. 434]. «Напряжение» возникает за счет того, что при восприятии метафоры необходимо осознавать одновременно как сходство, так и несходство между несколькими предметами. «Увидев сходство между предметами, вовлеченными в метафору, человек в своем стремлении к эстетическому переживанию делает усилие, чтобы найти как можно больше явных различий между ними» (там же). Примирение противоборствующих сторон и сохранение напряжения между ними равно необходимы для поэтического опыта. В том же духе высказывается Д. Берггрен, говоря, что метафора есть «необходимый для поэзии механизм, позволяющий соединять вместе различные явления, нисколько не жертвуя при этом их различиями» [5, с. 237].

[7] В этом вопросе я полностью присоединяюсь к точке зрения М. Ле Герна [16, с. 52—65]: сравнение-подобие основано на логическом понятии аналогии; т.е. это скрытое умозаключение; собственно метафора основана на чисто семантическом понятии аналогии: это прямой перенос, приписывание необычного признака, которое выражено в метафоре in praesentia. Единственная оговорка, которую я считаю нужным здесь сделать, касается употребления термина «аналогия» в столь различных смыслах. Я предпочитаю слово *сходство* — существительное, производное от *сходное*. Слово *аналогия* я предлагаю сохранить для аристотелевской аналогии, т. е. отношения пропорциональности, предполагающего четыре члена (на этом основании строится метафора по аналогии, т. е. перекрестный перенос между вторым и четвертым членами пропорции), а также для понятия средневековой метафизики analogia entis*.

[8] Ср. мысль М. Ле Герна о том, что «ассоциированный образ» — это несвободная, «вынужденная» коннотация [16, с. 21].

[9] Ср. разграничение между логическим сравнением и семантической аналогией, проводимое М. Ле Герном.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Aldrich V. C. Pictoral Meaning, Picture-Thinking and Wittgenstein's Theory of Aspect. — "Mind", 67, january 1958.

[2] Aldrich V. C. Image-Mongering and Image-Management. — "Philosophy and Phenomenological Research", 23, september 1962.

[3] Barfield O. Poetic Diction: A Study on Meaning. New York, McGraw Hill, 1928 (1964²).

[4] Beardsley M. Aesthetics. New York — Harcourt — Brace and World, 1958.

[5] Berggren D. The Use and Abuse of Metaphor. — "The Review of Metephysics", Vol. 16, N 2, 3, dec. 1962 — march 1963.

[6] Black M. Models and Metaphors. Ithaca, Cornell Univ. Press, 1962 (фрагмент см. в наст. сборнике).

[7] Frye N. Anatomy of Criticism. Princeton Univ. Press, 1957.

[8] Gadamer H. G. Wahrheit und Methode. Tübingen, J.C.B. Mohr, 1960 (русск. перевод: Гадамер Г. Г. Истина и метод. М., «Прогресс», 1989).

[9] Goodman N. Languages of Art, an Approach to a Theory of Symbols. Indianapolis, The Bobbs-Merill Co, 1968

[10] Henle P. Metaphor. — In: "Language, Thought and Culture", P. Henle (ed.). Ann Arbor, Univ. of Michigan Press, 1958.

[11] Henry A. Métonymie et Métaphore. Paris, Klincksieck, 1971.

[12] Herrschberger H. The Structure of Metaphor. — "Kenyon Review", 1943.

---

* Отношение между вечным бытием Бога и преходящим бытием всего, что он сотворил. — *Прим. перев.*

[13] Hester M. B. The Meaning of Poetic Metaphor. La Haye, Mouton, 1967.
[14] Hosper J. Meaning and Truth in the Arts. Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1948.
[15] Langer S. K. Philosophy in a New Key. New York, The New American Library, 1951 (Cambridge (Mass.), Harvard Univ. Press, 1957²).
[16] Le Guern M. Sémantique de la Métaphore et de la Métonymie. Paris, Larousse, 1973.
[17] Richards I. A. The Principles of Literary Criticism. London — Melbourne — Henley, Routledge and Kegan Paul, 1960.
[18] Ryle G. The Concept of Mind. London, Hutchinson and Co, 1949.
[19] Turbayne C. M. The Myth of Metaphor. Yale Univ. Press, 1962.
[20] Wellek R., Warren A. Theory of Literature. New York, Brace and World, 1949 (1956²) (русск. перевод: Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы. М., «Прогресс», 1978).
[21] Wheelwright Ph. Metaphor and Reality. Indiana Univ. Press. 1962 (фрагмент см. в наст. сборнике).
[22] Wimsatt W. K., Beardsley M. The Verbal Icon. Kentucky, Univ. of Kentucky Press, 1954.
[23] Wittgenstein L. Philosophical Investigations. New York, Macmillan, 1953 (русск. перевод в кн.: Витгенштейн Л. Философские труды. М., «Прогресс», 1990).

ТЕРЕЗА ДОБЖИНЬСКАЯ

МЕТАФОРИЧЕСКОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ В ПРЯМОЙ И КОСВЕННОЙ РЕЧИ

В теории текста особо важное место занимают проблемы межтекстовых соответствий. К их числу относятся различные вопросы, связанные с преобразованием одного текста в другой (ср. пересказ, пародия) или построением текстов из компонентов, каждый из которых сам по себе может функционировать как текст (проблема текста в тексте), и, наконец, разнообразные вопросы, связанные с цитированием или передачей одного высказывания в составе другого. Последняя проблематика издавна привлекала внимание грамматистов, о чем свидетельствует сформулированный ими для латинского языка набор правил согласования времен при замене прямой речи на косвенную.

Вопросы соотношения прямой и косвенной речи получили широкое развитие в трудах исследователей, принадлежащих к различным стилистическим школам XX века (это прежде всего Ш. Балли, ученые, группировавшиеся вокруг К. Фосслера, В. Н. Волошинов, а в Польше — это К. Вуйчицкий, М. Р. Майенова[1]. В работах этих ученых отразились многообразные идеологические и культурные представления, связанные с различным отношением к «чужому слову».

В последнее время тема прямой и косвенной речи стала обсуждаться на страницах работ по лингвистической прагматике. В них речь идет об интерференции двух точек контекста, двух мировоззренческих перспектив, которая всегда имеет место при цитировании или передаче одного высказывания внутри другого. Прежде всего я имею в виду работу Ч. Филлмора «Прагматика и анализ текста»[2].

В результате исследований прямой и косвенной речи были выявлены и терминологически закреплены некоторые важные противопоставления. Помимо прямой и косвенной речи, был выделен ряд смешанных явлений, среди которых наибольшую

Teresa D o b r z y ń s k a. Wypowiedź przenośna w oratio recta i oratio obliqua. Статья передана автором для публикации в виде машинописной рукописи.

определенность получила оппозиция «речи внешне косвенной»* и «речи внешне прямой», а также некоторые другие[3]. Современный литературный критик, знакомый с работами М. Бахтина, исключительно внимательно относится к полифонии текста, улавливает все голоса и отголоски «чужой речи», исследует стоящие за нею культурные импликации и стремится разработать функциональную типологию этих явлений.

Сознавая всю сложность проблемы соотношения прямой и косвенной речи, мы сосредоточимся лишь на одном ее аспекте — на переводе метафорического высказывания из прямой речи в косвенную. Все сопоставления при этом будут делаться с учетом функциональной перспективы высказываний, и потому будут выделены их тематические и рематические части. В ходе настоящего исследования мы продемонстрируем разные коммуникативные потенции разных видов текстов и одновременно укажем ряд семантических и прагматических особенностей метафоры. Для того чтобы лучше понять те процессы, которые тут могут происходить, стоит вначале кратко остановиться на самом понятии сложного текста в двух его крайних проявлениях — прямой речи (oratio recta) и косвенной (oratio obliqua)[4].

* * *

Мы будем рассматривать только эти две грамматикализованные языковые формы, то есть из нашего поля зрения выпадут все случаи проникновения в высказывание «чужого слова», «чужих интонаций», когда стирается логическая структура инкорпорированного высказывания. Таким образом, мы не будем здесь останавливаться на тех — весьма, впрочем, интересных со стилистической точки зрения — типах повествования, которые содержат слова и обороты, носящие характерные для того или иного персонажа или среды черты, приближающие речь рассказчика к языковой манере героя повествования. Займемся лишь теми случаями, когда приводимое дословно или пересказанное высказывание имеет форму предложения, для распознавания которого приходится опираться на двучленную грамматическую структуру. Одна часть этой структуры, названная В. Гурным «введение»[5], выполняет всецело метатекстовую (или, как сказали бы другие, метаязыковую) функцию по отношению к другой части — непосредственно цитируемому или косвенно передаваемому высказыванию, выражающему полное суждение. Введение входит в одно предложение вместе с цитатой или пересказом. При этом позиция вводящей и вводимой частей бывает различной. Наиболее частым (а может быть, только самым представительным) показателем метатекстовой функции служат глаголы говорения[6], хотя ту же роль введения могут выполнять и другие элементы, распо-

* То есть косвенной по своей форме. — *Прим. перев.*

лагающиеся до, после или внутри передаваемого высказывания. Ср.:

— *Это не для меня, — поморщился он.*
Янек махнул рукой: — Оставь меня в покое!
— *Она завтра там будет? — обрадовался он;*
Она вбежала в комнату: — Кто это сделал?

Для выявления связного характера всех таких высказываний необходимо восстановить в них соответствующие метатекстовые соотношения и глаголы говорения — там, где эти глаголы отсутствуют в поверхностной структуре[7]. Таким образом, приведенные выше фразы примут следующий вид:

— *Это не для меня, — сказал он, поморщившись.*
Янек махнул рукой, говоря: — Оставь меня в покое!
— *Она завтра там будет? — спросил он, обрадовавшись*[8].
Она вбежала в комнату, спрашивая (крича, говоря):
— Кто это сделал?

О необходимости включения в текст таких слов свидетельствует хотя бы тот факт, что «введения» во всех этих предложениях (*он поморщился, он махнул рукой, он обрадовался, она вбежала в комнату*) не сохраняются при «переводе» соответствующих прямых конструкций в косвенные, ср.:

* *Он поморщился, что это не для него;*
Он сказал, поморщившись, что это не для него.
* *Он обрадовался, будет ли она там на следующий день;*
Он спросил, обрадовавшись, будет ли она там на следующий день.
* *Она вбежала в комнату, кто это сделал;*
Она вбежала в комнату, спрашивая, кто это сделал.

В первом из этих примеров механическое введение косвенной речи приводит к изменению смысла. Предложение **Он поморщился, что это не для него* не передает «его» высказывания, а информирует о некотором мимическом знаке и его значении. Этот знак может выражать разочарование, недовольство, однако он вовсе не обязательно означает, что субъект речи отклоняет сделанное ему предложение, т. е. не передает смысла предложения с прямой речью и его правильного перевода в косвенную речь. Точно так же неадекватным, хотя и внешне правильным, было бы следующее преобразование:

* *Янек махнул рукой, чтобы (X) оставил его в покое.*

Исходя из высказанных соображений, мы выберем для дальнейшего анализа самую общую и самую основную конструкцию сложного текста: предложения с прямой речью будут представлены формулой «X говорит (сказал): ...», а предложения с косвенной речью — формулой «X говорит (сказал), что ...». Принятие этих формул совсем не означает, что мы не видим возмож-

ности модальных, синтаксических или лексических преобразований основной конструкции. Цитирование или пересказ вопроса, которые передаются основными формулами «Х спрашивает (спрашивал): ...», «Х спрашивает (спрашивал), ...», могут выглядеть, например, таким образом:

*Человек спросил: — Это собака или черт?**;
Человек спросил, собака это или черт?;
Вопрос «Это собака или черт?» неуместен;
Если кто-нибудь тебя спросит, собака это или черт, не отвечай ему;
Не спрашивай, собака это или черт, а только уноси ноги!
Спрашивая «Это собака или черт?», ты зря тратишь время

и т. п.

* * *

Те простейшие конструкции прямой и косвенной речи, которые были выбраны для нашего анализа в качестве основных, отражают общее свойство всякого сложного текста, а именно коммуникативную неравнозначность его частей. Дело в том, что передаваемое высказывание становится объектом в составе другого высказывания. В прямой речи опредмечивается сама форма языкового выражения, которая воспроизводится дословно или почти дословно. В косвенной же речи опредмечивается содержание воспроизводимого высказывания.

Своеобразная иерархия двух высказываний в пределах одного предложения находит свое отражение — в рассматриваемом типе текстов — в иерархии партнеров коммуникации. Один из участников коммуникации является «вышестоящей инстанцией», организующей основной текст; он задает коммуникативную цель текста, определяет содержащуюся в нем точку зрения и объем информации, необходимой для его интерпретации. Функция другого участника редуцирована: ему отводится роль автора высказывания, предмет сообщения. Эта роль в некоторых типах текстов, содержащих косвенную речь, бывает сугубо подчиненной.

Исследователи, занимающиеся теорией текста, указывают несколько способов проявления такого подчинения. Кратко перечислим их для того, чтобы в дальнейшем были понятны механизмы изменения интересующих нас метафорических высказываний.

Более всего подчиненный характер передаваемого высказывания маркируется окказиональными словами — шифтерами, по Якобсону[9], — указывающими на автора данного высказывания и речевую ситуацию. При преобразовании прямой речи в косвен-

---

* Цитируемое предложение заимствовано из стихотворения Ю. Словацкого «Не известно такое, или романтичность». — *Прим. перев.*

ную эти дейктические элементы должны быть модифицированы так, чтобы личностные, временные и локативные параметры, относящиеся к автору подчиненного высказывания, не нарушали перспективу, создаваемую автором подчиняющего высказывания. Эти дейктические элементы (местоимения, показатели времени и ситуации речи) переориентируются на «вышестоящее лицо» и его «я — здесь — сейчас». Они подчеркивают дистанцию между авторами главной и передаваемой речи в случае, если релятивные элементы (шифтеры) введены автором передаваемого высказывания. Это видно на любом примере преобразования прямой речи в косвенную:

Ян сказал: — Я буду там завтра. Ян сказал, что будет в указанном им месте на следующий день (по отношению к моменту его речи).

(Приведенное преобразование в максимальной степени отражает возможную временну́ю и пространственную релятивизацию высказывания по отношению к говорящему, чье высказывание передается; его hic et nunc иное, нежели hic et nunc «вышестоящего лица».)

Транспозиция прямой речи в косвенную требует изменения всех релятивных обозначений, с тем чтобы они были отнесены к автору прямой речи, ср.:

Ян сказал: — Мать пришла (= Моя мать пришла) → Ян сказал, что пришла его мать.

Ян сказал: — Бася невыносима. — Ян сказал, что его сестра (или *пани Петровска, моя невестка* и т. п. — в зависимости от того, кем приходится эта Бася «вышестоящему лицу» и как он ее называет при речевом общении) *невыносима.*

Анализируя семантические и прагматические свойства прямой и косвенной речи, Ч. Филлмор использует понятие «внутренней и внешней контекстуализации высказывания»[10].

Высказывание своим смыслом задает определенные ситуации, к которым могут относиться некоторые выражения в тексте; кроме того, само высказывание является частью речевого события, детерминированного ситуацией. Эта внешняя контекстуализация в случае косвенной речи проявляется в необходимости замены индексальных и референциальных выражений, а также замены одних временных форм (в английском, романских и ряде других языков) другими, отражающими «мир» лица, передающего сообщение. Эти выражения, говорит Филлмор, подбираются именно с точки зрения передающего, а не того, чья речь передается. Ч. Филлмор отмечает также, что «вышестоящее лицо», т. е. автор, может использовать собственные способы идентификации объектов, недопустимые с точки зрения того, чья речь передается. Например, он может от себя ввести в передаваемое им чуждое высказывание оценочную дескрипцию *Петр — гений*, ср:

Ян сказал, что Петр — гений (правильная передача высказывания).

Ян сказал, что этот идиот Петр — гений (передача высказывания, отражающая разницу во мнениях двух субъектов).

Многие исследователи отмечают аналитический характер косвенной речи. Преобразование прямой речи в косвенную вынуждает эксплицировать ее модальные и экспрессивные значения. «Аналитическая тенденция косвенной речи проявляется прежде всего в том, что все эмоционально-аффективные элементы речи, поскольку они выражаются не в содержании, а в формах высказывания, не переходят в том же виде в косвенную речь. Они переводятся из формы речи в ее содержание и лишь в таком виде вводятся в косвенную конструкцию...»[11] Так, предложение *Ой как страшно у меня болит зуб!* в косвенной речи могло бы быть адекватно передано предложением *Застонав, он с усилием сказал, что у него очень сильно болит зуб;* предложение *Пусть он сюда придет!* — предложением *Он велел, чтобы тот* (= лицо, известное из контекста) *пришел туда.*

Нам хотелось бы закончить краткую характеристику основных структурных особенностей прямой и косвенной речи одним общим замечанием, подчеркивающим текстовый аспект действующих здесь механизмов: подчиненность передаваемого высказывания и опредмечивание цитаты или ее содержания придают тексту целостность и делают его сложным; два не связанных между собой текста превращаются в один, порожденный одной «вышестоящей передающей инстанцией». Имеем ли мы дело с прямой, косвенной или внешне косвенной речью, в любом случае воспроизведение чужой речи основывается на соединении высказывания и высказывания о высказывании, то есть опирается на отношение «метатекст — текст»[12].

* * *

Перейдем теперь к передаче метафорических высказываний, то есть к включению метафоры в сложный текст в качестве подчиненной части. Бóльшая часть рассуждений будет касаться своеобразия косвенной речи, поскольку именно в пределах последней происходит наиболее сильное столкновение двух коммуникативных перспектив — речи передающей и передаваемой. Мы будем в основном приводить примеры простых и выразительных метафорических конструкций разговорной речи. Анализ материала позволяет сделать следующие наблюдения и выводы.

Метафорическое высказывание в зависимости от того, какую часть передающего предложения — тематическую или рематическую — оно заполняет, ведет себя по-разному и соответственно по-разному интерпретируется. Сравним, например, разные возможности передачи предложений *Ян — это хитрая лиса* и *Эту хитрую лису нельзя обмануть.* Конструкции с именной метафорой в позиции ремы легко преобразуются в косвенную речь:

Ян — это хитрая лиса → *Петр сказал, что Ян — ⟨это⟩ хитрая лиса.*

Трудности возникают лишь тогда, когда метафора переходит в тему предложения, ср.:

Эту хитрую лису нельзя обмануть → *Петр сказал, что эту хитрую лису нельзя обмануть.*

С грамматикой тут вроде бы все в порядке: метафора снабжена дейктическим элементом *эту* и может выполнять функцию идентификации объекта, о котором идет речь в высказывании (кого-то, кто охарактеризован как «хитрая лиса»)... Однако более глубокое знакомство с принципами, управляющими косвенной речью, позволяет принять такую форму передачи высказывания только в том случае, когда метафорическая дескрипция принадлежит передающему лицу («вышестоящей инстанции»), поскольку именно оно и его когнитивная установка определяют выбор номинации для оценочных суждений. Проще говоря, это именно для говорящего (в наших примерах — Петра) тот, о ком идет речь, является (или не является) *хитрой лисой;* для автора сообщения, содержащегося в косвенной речи, он может и не быть *хитрой лисой.* Следовательно, предложение *Эту хитрую лису нельзя обмануть* можно передать с помощью косвенной речи (правда, несколько обедняя его содержание) таким образом:

Петр сказал, что Ковальского (его соседа и т. п.) нельзя обмануть.

Полная передача всего содержания, учитывающая различное отношение говорящих к Яну, один из которых характеризует Яна как хитрую лису, а другой воздерживается от такой характеристики, потребовала бы разбить дескрипцию *эту хитрую лису* на элемент, идентифицирующий объект, и на предикат. При этом сам объект в передающем предложении был бы назван по желанию автора всего высказывания, а метафорический предикат имел бы характер определения, употребленного отправителем косвенно передаваемого предложения. Итак:

Эту хитрую лису нельзя обмануть → *Петр сказал, что X — это хитрая лиса и его нельзя обмануть.*

Переменная *X* открывает место для разного рода идентифицирующих выражений, которые согласуются с когнитивной установкой лица, передающего речь. Эти дескрипции могут противоречить содержанию исходного предложения, например:

Петр сказал, что этот дурак — хитрая лиса и что его нельзя обмануть. (Для автора этого сообщения *X* является дураком, для Петра — хитрой лисой.)

В приведенном примере метафорическая дескрипция подчиняется тем же языковым правилам и тем же правилам референции, которым в косвенной речи должны подчиняться все идентифицирующие выражения — все темы передаваемых предложений. Текст не просто обеспечивает идентификацию лица или объекта:

идентификация объекта—темы всегда осуществляется с определенной познавательной установкой, при этом меняются и способ классификации и оценка. Косвенная речь — это не грамматическая форма и не грамматическое преобразование. Это коммуникативная структура, зависящая от автора высказывания, его познавательных возможностей, языковых привычек и взглядов.

Посмотрим теперь — с интересующей нас точки зрения — на называющие метафорические выражения в гипокористической функции. (Аналогичные свойства проявляют также основанные на метафоре инвективы.) Мать говорит ребенку: «Цыпленочек ты мой!» Ее слова можно включить в «метаплан» формулы прямой речи с цитатой:

Мать сказала: — Цыпленочек ты мой!

Очевидно, что возможны и другие варианты этой фразы, называющие говорящее лицо иначе (так, как захочется лицу, произносящему данную фразу), ср.:

Анечка сказала: — Цыпленочек ты мой!

Моя жена сказала: — Цыпленочек ты мой!

и т. д.

Между тем перевод этого восклицательного предложения в косвенную речь требует перенесения экспрессивных элементов из плана выражения в план содержания и словесной категоризации речевого акта. Элемент экспрессии содержится в метафорическом ласкательном имени *цыпленочек*. Вслед за А. Вежбицкой мы отождествляем его с семантическим элементом «чувствую». Обращаясь ласково к ребенку, мать передает информацию о том, что она испытывает к нему такое чувство, какое люди испытывают к цыпленку[13]. Если мы захотим передать рассматриваемое здесь гипокористическое выражение в составе косвенной речи, то, выполнив вышеуказанные требования (относительно словесного определения акта речи и выраженной эмоции), получим:

Мать с нежностью обратилась к...

Чтобы закончить данную фразу, необходимо назвать адресата, к которому обратилась мать, — того самого «цыпленочка». Просто перенести это имя в нашу формулу косвенной речи нельзя: деметафоризация выражения повлекла бы за собой юмористический эффект, ср.:

* *Мать с нежностью обратилась к цыпленку.*

Название адресата было бы неоправданно. Когда мы вычитаем экспрессивный элемент, остается лишь элемент значения, идентифицирующий лицо—адресата речи. А это лицо в косвенной речи должно быть названо так, как сочтет нужным автор всего высказывания. Таким образом, здесь могут быть разные варианты идентифицирующих выражений в зависимости от установки отправителя сообщения:

Мать (Аня, моя жена, женщина и т. д.) обратилась с нежностью к сыну (Янеку, маленькому мальчику, моему племяннику и т. д.).

Что бы произошло, если б мы «точно» воспроизвели рассматриваемое выражение в косвенной речи? Это возможно, если придать ему форму цитаты:

Мать с нежностью обратилась к своему «цыпленку».

Оставим пока что в стороне вопрос о типе текста, содержащего цитату. Во всяком случае, он уже не будет чистой формой косвенной речи. Заметим, что цитация, которая при произнесении сопровождается «отстраняющей» интонацией, привносит в высказывание оттенок иронии. Говорящий дает понять, что это не он, а другое лицо (в данном примере мать) относится с такой нежностью к ребенку. Таким образом, мы здесь имеем дело с ситуацией, которую можно было бы выразить с помощью предложения

Мать с нежностью обратилась к своему — как она его назвала — «цыпленку» или

Мать назвала своего сына цыпленком;

Мать обратилась к ребенку, назвав его при этом цыпленком.

Ироничное употребление гипокористических имен — включая и метафору — часто выступает как стилистический прием, как средство высмеять аффектацию. Прием этот состоит в том, что ласковое обращение непосредственно к адресату в ситуации частной беседы переносится в высказывание о нем в другой коммуникативной ситуации, когда ласковая форма обращения неуместна либо из-за того, что сменился говорящий (а новый отправитель сообщения не находится в близких отношениях с адресатом), либо из-за официального характера высказывания. Например:

— *Котенок, не нервничай! — говорит директору его приятельница.*

— *«Котенок» сегодня что-то нервный, — заявляет секретарша, случайно подслушавшая тот разговор*[14].

Вот еще наблюдение. Метафорические конструкции, как нам кажется, легко могут быть преобразованы в прямую или косвенную речь даже тогда, когда автор внешнего акта речи не только не умеет найти смысловые мотивировки употребленной метафоры, но и вообще не понимает смысла данного метафорического выражения, так как оно взято из другого языка, архаично или поскольку оно принадлежит к другой функциональной разновидности языка или к другому стилистическому регистру. Ср.:

Янек — это сущий буян. → Петр сказал: — Янек — это сущий буян. → Петр сказал, что Янек — это сущий буян. Руки императрицы — это цветы лян. → Китайский поэт сказал: «Руки императрицы — это цветы лян». → Китайский поэт сказал, что руки императрицы — это цветы лян[15].

Эти преобразования, включая перевод в косвенную речь, представляются нам абсолютно правильными. Ведь среди множества актов передачи чужого высказывания существуют такие, когда передаются слова и предложения, непонятные передающему лицу. Такого рода изложения чужой речи встречают-

ся, например, в процессе судопроизводства при допросах свидетелей, которые либо вовсе не понимают, либо не до конца понимают смысл передаваемых высказываний. Метафоричность передаваемых слов, казалось бы, не сказывается на способе их воспроизведения.

Однако легкость грамматических преобразований не должна вводить нас в заблуждение. Если при ближайшем рассмотрении предложения, передаваемые в прямой речи, не вызывают возражений (непонятная метафора входит в высказывание в форме цитаты), то «перевод» этих предложений в косвенную речь нарушает ее основной структурный принцип. Мы уже говорили, что косвенная речь передает с о д е р ж а н и е, а не форму выражения высказывания. Здесь (в приведенных выше примерах) мы, по сути дела, не имеем доступа к содержанию, так что единственный способ включить такую непостоянную метафору в косвенную речь — как и в случае метафорических гипокористик — передать ее в форме цитаты. Поэтому представляется, что в наших примерах адекватной формой косвенной речи было бы употребление слов *буян* и *лян* в кавычках, что можно было бы выразить голосовым воспроизведением соответствующих предложений в косвенной речи. В этом случае говорящий сигнализирует, что формы «лян» и «буян» — это чужеродные определения, не входящие в его словарный запас, ср.:

Петр сказал, что Янек — это «буян».

Китайский поэт сказал, что руки императрицы — это «цветы лян».

О такого рода взятых в кавычки вкраплениях писал еще В. Волошинов, указывая на возможность выделения двух их разновидностей: «...Анализ косвенной конструкции может идти по двум направлениям или, точнее, может относиться к двум существенно различным объектам. Чужое высказывание может восприниматься как определенная с м ы с л о в а я п о з и ц и я говорящего, и в этом случае с помощью косвенной конструкции аналитически передается его точный предметный состав (что сказал говорящий)... Но можно воспринять и аналитически передать чужое высказывание как в ы р а ж е н и е, характеризующее не только предмет речи..., но и самого г о в о р я щ е г о: его речевую манеру, индивидуальную или личную (или и ту и другую), его душевное состояние, выраженное не в содержании, а в формах речи (например: прерывность, расстановка слов, экспрессивная интонация и пр.), его умение или неумение хорошо выражаться и т. п. Эти два объекта аналитической косвенной передачи глубоко и принципиально различны. В одном случае расчленяется смысл на составляющие его смысловые, предметные моменты, в другом — само высказывание как таковое разлагается на его словесно-стилистические пласты»[16].

Первый способ образования косвенной речи Волошинов назвал «предметно-аналитической модификацией», а второй — «словесно-

аналитической модификацией». Эту последнюю он далее характеризует следующим образом: «Она вводит в косвенную конструкцию слова и оборот чужой речи, характеризующие субъективную и стилистическую физиономию чужого высказывания как выражения. Эти слова и обороты вводятся так, что отчетливо ощущается их специфичность, субъективность, типичность, чаще же всего они прямо заключены в кавычки...»[17].

С такой ситуацией мы сталкиваемся тогда, когда непонятное метафорическое выражение воспроизводится в своем исходном облике, но заключается в кавычки, чтобы подчеркнуть дистанцию, отделяющую чужую речь от речи автора высказывания. В данном случае в высказывании выявляется метаязыковая функция. Сходным образом могут быть истолкованы и менее экзотические, менее непонятные метафорические конструкции в косвенной речи — лишь бы они отвечали одному условию: метафорическое выражение не должно принадлежать к словесным регистрам, активно используемым лицом, передающим его в составе косвенной речи, или относиться к тем выражениям, которые это лицо могло бы употребить без каких-либо затруднений в данной ситуации. Когда пан Заглоба говорит, что *Бася Володиевская — «марципан»*, мы, передавая его слова, заключим слово *марципан* в кавычки. Между тем человек, разделяющий языковую установку и точку зрения Заглобы, например пан Володиевский, не мог бы использовать здесь кавычки.

В связи с появлением в косвенной речи закавыченных выражений возникает одна теоретическая проблема: как отличить словесно-аналитическую модификацию косвенной речи от так называемой внешне косвенной речи? М. Р. Майенова в своей «Теоретической поэтике» иллюстрирует последнюю несколькими примерами, о которых пишет, что «все они омонимичны с точки зрения говорящего, а вернее, двусмысленны относительно способа введения в речь чужих слов». И далее, говоря о типах высказываний, описываемых терминами «несобственно-прямая речь (style indirect libre)», «мнимо косвенная речь» и «мнимо прямая речь», она пишет:

«Именно такие двусмысленные структуры... являются гибридными, в принципе не связанными, не сохраняющими ни общей направленности передаваемых слов, ни постоянной дистанции между двумя говорящими: тем, который вводит чужие слова в свою речь, и тем, которому эти слова принадлежат»[18].

Вот один из примеров, приводимых М. Р. Майеновой:

Потом он стал рассказывать о своей давней, несчастной для Евки любви. Нет жизни ему без этой девки! Любил он ее все эти годы разлуки.

Здесь рассказчик перевоплощается в своего героя, принимает его способ мышления и переживания. И как следствие этого, он рассказывает о его судьбе, перенимая интонацию и речь героя, стирая специфику своей собственной стилистической установки.

Эта ситуация диаметрально противоположна интонационному подчеркиванию особенностей передаваемой речи, когда за цитатами зачастую скрывается ирония и когда цитаты указывают на дистанцию между говорящим и автором чужой речи. Повторяя чужие слова буквально, говорящий вместе с тем показывает, что они ему чужды или по крайней мере не исходят от него самого. Иронические кавычки еще не раз появятся в наших примерах. В связи с этим нам бы хотелось указать на существование особых сигналов, позволяющих распознать в данной конструкции косвенной речи то, что В. Волошинов определил как словесно-аналитическую модификацию. Напомним, что он писал об этом типе речи: «Введенные в косвенную речь... чужие слова и выражения (особенно если они заключены в кавычки) «остраняются», говоря языком формалистов, и остраняются именно в том направлении, в каком это нужно автору; они овеществляются, их колоритность выступает ярче, а в то же время на них ложатся тона авторского отношения — иронии, юмора и пр. ... Словесно-аналитическая модификация косвенной конструкции создает своеобразные живописные эффекты передачи чужой речи. Эта модификация предполагает высокую степень индивидуальности чужого высказывания в языковом сознании, умение дифференцированно ощущать словесные оболочки высказывания и его предметный смысл. Это не свойственно ни авторитарному, ни рациональному восприятию чужого высказывания»[19].

Перейдем теперь к рассмотрению ряда других особенностей метафорических выражений в косвенной речи. Нас будет интересовать тот случай, когда автор сообщения прекрасно понимает метафору, когда между ним и автором передаваемого выражения или высказывания нет существенных различий в языковой или культурной компетенции. Поэтому чужую речь можно передать содержательно, то есть осуществить, как сказал бы Волошинов, «предметно-аналитическую модификацию косвенной речи». Оказывается, что в этом случае может появиться (вместо простого воспроизведения) более или менее исчерпывающая экспликация или перифраза метафоры[20].

В этом месте следует оговориться — речь идет не о придании сформулированной ad hoc перифразе статуса смыслового эквивалента метафоры, полностью исчерпывающего ее содержание. Значение живой метафоры нельзя передать при помощи какой бы то ни было замкнутой формулы-толкования, объясняющей ее значение. То, что имеется в виду, — явление совсем иного рода, ибо речь идет о передаче одного высказывания в составе другого. Такая передача может быть верной или неверной, адекватной или неадекватной, исчерпывающей или неисчерпывающей. Включение одного высказывания в другое — это факт из области речевой коммуникации. В этом смысле предложение *Янек — медведь* может быть в косвенной речи передано как:

Петр сказал, что Янек тяжел и неповоротлив.

В словесно-аналитической модификации преобразованное предложение звучало бы так: *Петр сказал, что Янек — «медведь»;* в предметно-аналитической модификации метафора — даже рассматриваемая с точки зрения одного лишь содержания — осталась бы не проинтерпретированной, ставя «задание на интерпретацию» адресату: *Петр сказал, что Янек — медведь.*

Благодаря возможности перефразирования метафор возникает еще один тип транспозиции прямой речи в косвенную, который можно было бы назвать «интерпретационной разновидностью» той предметно-аналитической модификации, которая была выделена В. Н. Волошиновым. Этот тип представлен в следующей цитируемой В. Гурным и приведенной М. Р. Майеновой последовательности предложений:

— *Ты теперь такая стройная, такая изящная.*

— *Так ты говоришь, что я похудела?*[21]

Женщина, отвечающая на обращенную к ней реплику, анализирует ее и осмысляет ее импликации, или, как сказал бы Грайс, импликатуры[22]. Она сомневается, будут ли эти импликации соответствовать действительным намерениям автора первой реплики; а может быть, она ждет только подтверждения желаемого для нее или нежелательного состояния (похудения) и задает вопрос в форме косвенной речи. Вопрос этот возник как результат глубокой интерпретации первого высказывания. В нем отражены и знание женщины, внешний вид которой оценивается, и знание антонимичных пар прилагательных *стройный/тонкий/худой — толстый/полный/тучный*, и учет стилистической оппозиции в группе синонимов *стройный/тонкий/худой*, и, наконец, умение ориентироваться в различных типах речевого поведения (ср. возможность эвфемистического словоупотребления или ожидания комплиментов со стороны собеседника). Короче говоря, здесь мы имеем дело с типичной ситуацией речевого общения (в грайсовском понимании термина «речевое общение»). Косвенная передача чужой речи сочетается здесь с извлечением из нее импликатур. Буквальное повторение содержания первой реплики диалога имело бы смысл только при определенных коммуникативных условиях, например, если бы первый собеседник забыл, что он только что сказал:

— *Теперь ты такая стройная, такая изящная.*

(...)

— *Что я сейчас сказал?*

— *Ты сказал, что я стройная.*

Рассмотренный пример позволяет сделать более общий вывод, отвечающий как духу новейшей лингвистической прагматики, так и замечательному анализу языкового взаимодействия, содержащемуся в работах М. М. Бахтина и В. Н. Волошинова. Необходимо осознать, что формы передачи чужой речи являются одними из самых важных приемов к о м м у н и к а т и в н о й т е х н и к и. Наука еще не до конца исследовала все их многообразие

и действующие здесь механизмы. Теперь, когда наше знание природы языковой коммуникации стало более богатым, следует при описании форм передачи чужой речи отбросить шаблонные представления, навязанные нам грамматикой с ее постоянным сопоставлением параллельных в смысловом и лексическом отношении пар высказываний в прямой и косвенной речи.

Если уже много сделано в плане фиксации, уточнения и дифференциации высказываний, вводящих цитаты (заслуга здесь принадлежит писателям, хотя и в стилистике такие формы также отмечались), если уже построена более адекватная модель цитации, в которую введено противопоставление предметного и метаязыкового употреблений — в кавычках и без кавычек (это заслуга Бахтина, Волошинова и их последователей), — то третий круг проблем, связанных с передачей чужой речи, а именно проблемы, относящиеся к интерпретации сообщений и способам дедукции, применяемым в живой естественноязыковой коммуникации, еще предстоит изучить более глубоко и полно. Речь идет о более глубоком использовании в стилистике текста идей, содержащихся в концепции Грайса и в современной теории языковой коммуникации. Огромную стимулирующую роль тут может сыграть анализ различных форм разговорного языка и нестандартных диалоговых установок, живительной струей вливающихся в литературу и вызывающих постоянно растущий интерес к ним со стороны языковедов.

* * *

Подводя итоги вышесказанного, ответим на вопрос: чего все-таки следует опасаться при передаче метафорического высказывания в форме косвенной речи? Я говорю здесь лишь о косвенной речи, поскольку, если метафорическое высказывание приводится в форме прямой речи, бояться того, что будет искажено его содержание, не следует, так как прямая речь передает всю информацию дословно. До сих пор все наши примеры были взяты в основном из разговорных диалогов. Сейчас мы обратимся к публицистике, где постоянно возникает необходимость непосредственно привести или передать в косвенной форме чье-либо высказывание. Аналитические особенности косвенной речи позволяют, с одной стороны, выделить и словесно передать отдельные элементы содержания излагаемого высказывания и даже его импликатуры. Это может привести к тому, что в публицистическом изложении данное высказывание будет казаться более ясным, более понятным. С другой стороны, вмешательство передающей инстанции, то есть второго говорящего, создает определенную опасность, связанную с присутствием иной познавательной и оценочной точки зрения. Трудности, возникающие из-за наличия второго говорящего лица, касаются как буквальных, так и метафорических высказываний, но при передаче последних они про-

являются весьма своеобразно, что вытекает из смыслового своеобразия метафоры и зависит от места метафорического выражения в тема-рематической структуре передаваемого высказывания. Так что тут допустимы разные манипуляции с содержанием, хотя определенный инвариант относительно исходной информации, бесспорно, сохраняется.

Рассмотрим следующий пример:

Политическая близорукость Амина — это болезнь, которая будет иметь много серьезных последствий.

Представим себе, что эту фразу произнес комментатор Би-би-си и что эта фраза была передана тремя разными лицами в трех разных коммуникативных ситуациях: (1) в обзоре новостей, обращенном к читателям серьезной политической газеты; (2) оратором во время митинга, организованного политическими противниками Амина; (3) в обзоре новостей, предназначенном для самого Амина и сделанном его секретарем-льстецом. Предметом наших наблюдений будут две содержащиеся в этой фразе метафоры: метафора тематическая — *близорукость;* и метафора рематическая — *⟨это⟩ болезнь.*

Ситуация 1 (обзор новостей в серьезной политической газете).

а) *Комментатор Би-би-си сказал, что политическая близорукость Амина — это болезнь, которая будет иметь много серьезных последствий.*

б) *Комментатор Би-би-си сказал, что деятельность Амина отличает «политическая близорукость» и что это будет иметь много серьезных последствий.*

в) *Комментатор Би-би-си сказал, что для деятельности Амина характерно, что тот не замечает существенных политических проблем и что это будет иметь много серьезных последствий.*

В варианте (а) сообщение отождествляется с осознанием политики Амина как разновидности политической близорукости, могущей иметь весьма серьезные последствия. Вариант (б) отражает дистанцию между его автором и комментатором Би-би-си и содержит оценку Амина: здесь точно указывается, что говорил комментатор и как он выразился, характеризуя деятельность Амина. Интересующие нас слова комментатора заключены в кавычки. Наконец, вариант (в) иллюстрирует нейтральный способ именования передачи содержания слов комментатора Би-би-си. Автор высказывания (в) перефразирует все метафорические выражения, употребленные комментатором. Из такого переложения нельзя узнать, как в точности выразился комментатор. Приведен только общий смысл его слов, лишенный экспрессивной окраски, каковую вносила метафора с отрицательными коннотациями.

С и т у а ц и я 2 (митинг, организованный противниками Амина).

а) *Комментатор Би-би-си сказал, что политическая близорукость этого подлеца Амина — это болезнь, которая будет иметь много серьезных последствий.*

Человек, передающий высказывание комментатора Би-би-си, не занимает отстраненной позиции по отношению к оценке политики Амина, он солидаризируется с ней и также определяет деятельность Амина как «политическая близорукость». Одновременно автор пользуется случаем, чтобы в развернутой тематической дескрипции передаваемого предложения усилить отрицательную оценку Амина, и вводит соответствующие «эпитеты». Знаменательно, что в такого типа пересказах избегают нейтрального определения темы высказывания, сделанного комментатором Би-би-си, и отстраненной передачи его слов с помощью кавычек. В противном случае постороннему слушателю было бы трудно отделить ту порцию информации, за которую несет ответственность сам комментатор Би-би-си, от той, которую прибавил от себя участник митинга.

С и т у а ц и я 3 (Амину докладывает его секретарь, неисправимый льстец).

а) *Комментатор Би-би-си сказал, что ясная политика господина Президента будет иметь много серьезных последствий.*

б) *Комментатор Би-би-си — эта журналистская бездарь! — посмел сказать, что деятельность господина Президента отличает «политическая близорукость» и что это «болезнь, которая будет иметь много серьезных последствий».*

Секретарь Амина, по крайней мере официально, не разделяет оценки, содержащейся в метафоре *политическая близорукость*. Пользуясь тем, что эта метафора составляла тему исходного предложения, он заменяет ее в варианте (а) на другую — с диаметрально противоположной установкой. Вместо сочетания *политическая близорукость Амина* появляется сочетание *ясная политика*. В последней дескрипции нейтрализовано отрицательное звучание метафор, употребленных в исходном предложении, но при такой передаче нельзя в действительности понять, что же именно сказал об Амине комментатор Би-би-си. В этом смысле вариант (б) более информативен, он сообщает ровно то, о чем и как было сказано. Поскольку оценки комментатора Би-би-си резко расходятся с позицией секретаря, тот при передаче слов комментатора подчеркивает дистанцию и свое ироническое отношение к этим оценкам, дискредитируя при этом личность самого комментатора Би-би-си (*журналистская бездарь*, *посмел сказать*). При передаче чужих слов сталкиваются две точки зрения, две разные коммуникативные установки, причем установка секретаря выступает здесь как главная по отношению к установке комментатора, высказывание которого дискредитируется.

Мы привели несколько возможных способов воспроизведения одного предложения в трех разных коммуникативных ситуациях. Их анализ показывает, что передача чужих слов подчинена интересам участников речевого общения, их системам оценок; она отражает различие в их мировоззренческих установках. Кроме того, на этих примерах можно увидеть, как ловко используются разные виды номинации объектов. При переводе в косвенную речь сообщение подвергается многочисленным преобразованиям и искажениям. Самым точным и самым нейтральным оказался пересказ в Ситуации 1. Он был нацелен на передачу всего информативного содержания высказывания. На страницах серьезных газет публицисты избегают добавления собственных оценочных элементов; иногда они допускают истолкование и перефразировку исходного сообщения. Ситуации 2 и 3 предоставляют возможность далеких перефразировок передаваемого высказывания. При этом в его тематическую часть могут быть введены различные оценочные элементы, усиливающие или совершенно меняющие первоначальную оценку предмета высказывания. В случае полного расхождения в оценках (последняя ситуация) предикативные элементы в теме и реме исходного высказывания берутся в кавычки и таким образом высказывание переносится с предметного уровня на метаязыковой, что меняет его информативное содержание. Следует отметить, что при всех наблюдаемых нами преобразованиях очень тонко используются сравнительно простые языковые механизмы. По-своему все пересказы соответствуют оригиналу и не являются явно неверными. Ведь меняется одна только дескрипция, называющая объекты высказывания, что является вполне естественным приемом актуализации объекта, который регулярно применяется при переводе прямой речи в косвенную. Кроме того, здесь — только! — переводится высказывание с предметного уровня на метаязыковой, что каким-то образом приближает к наиболее точной форме воспроизведения высказывания — к прямой речи. Достаточно, однако, сравнить следующие два предложения:

Комментатор Би-би-си сказал: «Политическая близорукость Амина — это болезнь, которая будет иметь много серьезных последствий»

и

Комментатор Би-би-си сказал, что деятельность господина Президента отличает политическая «близорукость» и что это «болезнь, которая будет иметь много серьезных последствий»,

чтобы понять, насколько прямая речь отличается от словесно-аналитической разновидности косвенной речи, которая может отдаляться от первоначальной оценки и которая, будучи произнесена с иронической интонацией, может даже полностью изменить эту оценку.

Вернемся теперь к вопросу, который был поставлен в начале

этих рассуждений: чего следует опасаться при передаче метафоры в косвенной речи? Очевидно, что в рассматриваемой нами ситуации Амин должен опасаться одного, а автор высказывания — комментатор Би-би-си — другого. Первый должен бояться, что получит от своего приспешника неадекватную информацию, лишенную тех оценочных характеристик, которые вносила в слова комментатора метафора: что этот льстец (секретарь) сознательно преуменьшает серьезную политическую угрозу, внушая ему, что сделанное высказывание — это всего лишь чьи-то слова. И еще Амину следует опасаться, что при передаче высказывания о нем (не говоря уже о других случаях) его политические противники воспользуются сполна предоставленной возможностью и введут в свои высказывания различные, в том числе и самые резкие инвективы в его адрес в форме идентифицирующих дескрипций (включая метафорические). Со своей стороны комментатору Би-би-си следует опасаться, что его сообщение будет искажено, что оно будет лишено оценочного смысла или суждения о действительности. И ему, естественно, следует опасаться мести Амина. Однако это уже совсем другая история.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Ср.: Bally Ch. Le style indirect libre en francais moderne (польск. перевод см. в кн.: Stylistyka Bally'ego. Wybór tekstów (red. M. R. Mayenowa). Warszawa, 1966; Kalepky Th. Zum "Style indirect libre" ("Verschleierte Rede"). — In: "Germanisch-Romanische Monatsschrift", V, 1913; Lerch E. Die stilistische Bedeutung des Imperfectums der Rede ("style indirect libre"). — In: "Germanisch-Romanische Monatsschrift", VI, 1914; Lerch G. Die uneigentlich direkte Rede. — In: Idealistische Neuphilologie. Festschrift für Karl Vossler. Heidelberg, 1922; Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. Основные проблемы социологического метода в науке и языке. Л., 1930; Wóycicki K. Z pogranicza gramatyki i stylistyki (Nowa zależna, niezależna i pozornie zależna). — In: Stylistyka teoretyczna w Polsce (red. K. Budzyk). Warszawa—Łódź, 1946; Mayenowa M. R. Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka. Wrocław, 1979, см. особенно гл. V: Struktura tekstu и в ней разд. 5: Tekst literacki pisany jako monolog a innorodne struktury.

Обзор исследований по структуре текста первой четверти XX в. (противопоставление позиции Балли, школы Фосслера и социологического подхода) можно найти в вышеуказанной работе В. Волошинова.

[2] Fillmore Ch. J. Pragmatics and Descriptin of Discourse. — In: Radical Pragmatics. P. Cole (ed.) New York, Academic Press, 1981; впервые опубликовано в: Pragmatik II. S. Schmidt (ed.). Wilhelm Fink Verlag, München, 1976.

[3] См.: Mayenowa M. R. Op. cit., s. 287 и сл.

[4] Термин «сложный текст (tekst złożony)» был предложен В. Гурным для определения прямой, косвенной и внешне косвенной речи; см.: Górny W. Składnia przytoczenia w języku polskim. Warszawa, 1966.

[5] Там же, с. 289.

[6] Полную гамму возможностей применительно к чешскому языку показал Отокар Шолтыс: Šoltys O. Verba dicendi a metajazyková informace. Praha, 1983; см. также: Perpník J. Reporting Phrases in English

Prose. — In: Brno Studien in English. Brno, 1969; D a n e š F. Verba dicendi a výpovědní funkce. — In: Studia slavica pragensia. Universita Karlova. Praha, 1973.

[7] См.: W i e r z b i c k a A. Metatekst w tekscie. — In: O spójności tekstu (red. M. R. Mayenowa). Wrocław, 1971 (русский перевод: В е ж б и ц к а А. Метатекст в тексте. — В сб.: Новое в зарубежной лингвистике, вып. VIII; Лингвистика текста. М., «Прогресс», 1978).

[8] Основной глагол из группы verba dicendi *говорю* содержится в *спрашиваю* на глубоком уровне семантического разложения. По толкованию А. Вежбицкой: *я спрашиваю* означает 'я хочу, чтобы ты себе представил, что я не знаю того, что ты знаешь и что ты хочешь мне сказать; говорю это, потому что хочу, чтобы ты мне это сказал'; см. W i e r z b i c k a A. Genry mowy. — In: Tekst i zdanie (red. T. Dobrzyńska i E. Janus). Wrocław, 1983, s. 129.

[9] См.: J a k o b s o n R. Shifters, Verbal Categories and Russian Verb. Harvard, 1957 (русский перевод: Я к о б с о н Р. О. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол. — В сб.: Принципы типологического анализа языков различного строя. М., «Наука», 1972, с. 95—113).

[10] См.: F i l l m o r e Ch. J. Op. cit.

[11] См.: В о л о ш и н о в В. Н. Соч., с. 151. На это ссылается М. Р. Майенова (M a y e n o w a M. R. Op. cit., s. 296 и сл.), демонстрируя разные стилистические возможности, вытекающие из неточной передачи эмоционального содержания прямой речи вводящей формулой.

[12] «"Чужая речь" — это р е ч ь в р е ч и, в ы с к а з ы в а н и е в в ы с к а з ы в а н и и, но в то же время это и р е ч ь о р е ч и, в ы с к а з ы в а н и е о в ы с к а з ы в а н и и», — говорит Волошинов (указ. соч., с. 136). Эту формулировку повторяет и далее расширяет Р. Якобсон, причисляя цитируемое высказывание (oratio) к категории сообщений, относящихся к сообщению, то есть к M/M (message about message) (см.: J a k o b s o n R. Op. cit.). Возможности изменения уровня высказывания с предметного на метауровень под углом зрения связности текста и семиотики речевого поведения рассматривает в своей работе М. Р. Майенова (M a y e n o w a M. R. Op. cit., s. 289 и сл.).

[13] См.: W i e r z b i c k a A. Lingua mentalis. Sidney. 1980, s. 59; см. также: J a n u s E. Z zagadnień ekspresywów przymiotnikowych (na materiale polskim i rosyjskim). — In: Teoria tekstu (red. T. Dobrzyńska). Wrocław, 1986.

Гипокористические обороты, использующие названия мелких животных (реже цветов), такие, как *собачка*, *кошечка* (*киска*), *рыбка*, *лягушонок*, *цветочек*, *розочка* и т. п., основаны на стереотипизации эмоционального отношения к ним людей. Эти стереотипы культурно обусловлены.

[14] Пример похожей стилистической игры в стихах К. И. Галчинского приводит А. Вежбицкая, рассматривая более широкую проблему употребления различных экспрессивных форм имени, кроме звательных:

Петр Калиновски-Дзиванович
нашел часы с цепочкой...
Жена нашедшего ходит в халате
и, кстати, наводит порядок:
— Что с тобой, Песик? Подойди-ка ближе.
— Я часы нашел с цепочкой.
И вытаскивает Песик луковку...

(см.: W i e r z b i c k a A. Dociekania semantyczne. Wrocław, 1969, s. 184—185).

[15] Цветы лян — это орхидеи. Метафорический оборот *руки твои — это два цветка лян* употребил китайский поэт XVII в. Шен Тудзян. См. парафраз его «Песни любви», выполненный Леопольдом Стаффом: S t a f f L. Fletnia chińska. Warszawa, 1982, s. 188.

[16] В о л о ш и н о в В. Н. Указ. соч., с. 152—152 (разрядка автора).

[17] Там же, с. 154.

[18] См.: Mayenowa M. R. Op. cit., s. 300—301.

[19] См.: Волошинов В. Н. Указ. соч., с. 155—156.

[20] Обоснованность применения в некоторых случаях перифразы метафоры отстаивает Дж. Серль (см. его статью в наст. сборнике).

[21] См.: Górny W. Op. cit., s. 291; Mayenowa M. R. Op. cit., s. 296 (пример взят из «Кануна весны» С. Жеромского).

[22] См.: Grice H. P. Logic and Conversation. — In: The Logic of Grammar, D. Davidson, G. Harman (eds.). Dickenson Publishing Co., 1975 (русск. перевод: Грайс Г. П. Логика и речевое общение. — В сб.: Новое в зарубежной лингвистике, вып. XXVI. М., «Прогресс», 1985).

ТЕРЕЗА ДОБЖИНЬСКАЯ

МЕТАФОРА В СКАЗКЕ

I

Обычно предполагается, что значение выражения и его статус (то есть дословно или метафорически употреблено данное выражение) определяются ближайшим контекстом этого выражения. Я хотела бы показать, что такое понимание метафоры не является исчерпывающим. При определении статуса данного выражения необходимо учитывать не только его ближайший контекст в пределах предложения, но и жанровую принадлежность текста, из которого взято рассматриваемое предложение.

Распространенное мнение о зависимости метафоры от контекста основывается на убеждении, что всегда возможно однозначно определить правила семантической сочетаемости слов данного языка и на основе этих правил установить, являются ли данные выражения нормальными или же они представляют собой отклонение от языковой нормы[1]. Однако можно показать, что эти правила нарушаются не только с целью создания метафоры и что их значения относительны и меняются в зависимости от жанровой принадлежности текста.

Чтобы проиллюстрировать это утверждение, мы рассмотрим семантические явления, характерные для текстов сказок и имеющие большое значение для изучения метафоры. Проблема формального сходства между сказочными выражениями и метафорами, а также их семантических различий была впервые сформулирована Ж. Коэном[2].

Проанализируем следующие пары предложений: в группе А — предложения из сказок, в группе Б — предложения из обычного текста. Эти пары предложений обладают в общем сходным значением.

Teresa Dobrzyńska. Metafora w baśni. — In: "Semiotyka i struktura tekstu". Studia poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów, Warszawa 1973. Pod red. M. R. Mayenowej. Wrocław, 1973, s. 171—188. Для настоящего издания статья была переработана и дополнена автором.

А	*Б*
1) *...Она п л ы л а мимо окон дворца и заглядывала внутрь*[3].	...[Русалочка] *подняла свои белые хорошенькие ручки, встала на цыпочки и п о п л ы л а в легком, воздушном танце; так не танцевал еще никто!* («Русалочка»)*
2) *Цветы т а н ц е в а л и всю ночь и повесили от усталости свои головки* («Цветы маленькой Иды»).	*Цветы т а н ц е в а л и на ветру.*
3) *...Вы дадите мне слово не говорить никому здесь в городе, что я был ... в а ш е й т е н ь ю* («Тень»).	*Я б ы л т в о е й т е н ь ю, а ты не ценил этого.*

Можно привести еще очень много таких пар предложений. Так, например, предложение, в котором упоминается сладкая река из сказки «Ореховый дедушка», сопоставимо с метафорическим выражением «молочные реки и кисельные берега» (Б); яства, которые превращаются в золото в сказке про царя Мидаса (А), напоминают о метафоре «серебро травы» (Б); предложение *Здание поднималось до небес* (Б) — о дворце, который переносился с места на место силою волшебства, в сказке про волшебную лампу Аладдина (А); предложение *Крайние домики поселка цеплялись за скалы* (Б) — о домике Бабы-Яги, ведущем себя как живое существо (А).

При рассмотрении примеров из группы Б можно заметить, что их значение не полностью определяется словарными значениями составляющих их слов. В новом, необычном контексте значения этих слов подвергаются новому истолкованию — в результате возникает метафора: *плыть* в этом случае значит ‘танцевать’, *танцевать* — ‘колыхаться’, *быть чьей-л. тенью* — ‘быть неразлучным спутником’. Такое представление значения этих выражений не полностью объясняет их метафоричность. До сих пор речь шла о глагольных метафорах вида: S_1 есть P_2[4]. Если мы сопоставим им следующую инвариантную двухкомпонентную формулу[5]:

1. S_1 есть P_1
2. S_1, которое есть P_1, таково, что (могло бы показаться, что) это не S_1, которое есть P_1, а S_2, которое есть P_2,

то мы сможем истолковать предложения из группы Б следующим образом:

Б 1) *...поплыла в танце* =

1. ...начала танцевать.

---

* Здесь и далее цитаты из различных сказок Андерсена даются по изданию: А н д е р с е н Г. Х. Сказки и истории в 2-х тт. Л., 1977. Расхождения в ряде случаев объясняются тем, что автор в своем анализе основывался на польском переводе сказок, лексика которого не всегда находит буквальное соответствие в литературном русском переводе. — *Прим. перев.*

2. (Она танцевала так (выглядела так[6]), что) могло показаться, что она не танцует, а плывет.

Б 2) *Цветы танцевали на ветру* =

1. Цветы колыхались на ветру.
2. (Колышущиеся на ветру цветы были таковы (выглядели так), что) могло показаться, что это не цветы колышутся, а кто-то танцует.

Применение такой экспликативной схемы к предложениям группы А, на поверхностном уровне сходным с предложениями группы Б, привело бы к неправильному их пониманию. Слова *плыть*, *танцевать*, выражение *я был твоей тенью*, которые в предложениях группы Б являются метафорическими, в предложениях группы А употреблены в своем буквальном значении, несмотря на внешнее сходство этих пар предложений. В данном случае влияние ближайшего контекста на возможность образования метафоры неожиданно нейтрализуется.

Возникают вопросы, почему вышеприведенные предложения могут, несмотря на внешнее сходство, истолковываться двумя различными способами и в чем причина того, что в одном случае мы прочитываем предложения буквально (группа А), а в другом случае ощущаем скрытые за ними сложные семантические структуры (группа Б). Ответ может быть лишь один: предложения группы А не допускают метафорического толкования, поскольку взяты из сказок; они не нарушают связности текста и не могут быть истолкованы метафорически, потому что относятся к другой модели мира, которую адекватным образом описывают: для этого мира, который не вполне укладывается в наш повседневный внеязыковой опыт, эти предложения являются вполне нормальными. Правила сочетания значений слов меняются от текста к тексту и определяются внеязыковым опытом. Так, в одних сказках описывается мир, в котором растения и неодушевленные предметы могут двигаться и говорить, в других — дома могут переноситься по воздуху с места на место, а предметы обладать необычными свойствами, например, птицы состоят из чистого золота, оставаясь при этом съедобными[7], или же еда превращается в золото, становясь несъедобной, и т. д. и т. п.

Эта изменчивость сказочного мира проявляется также в изменении правил сочетания значений слов, что в свою очередь оказывает на поведение метафоры в тексте большое влияние и, в частности, вызывает ее нейтрализацию.

Прежде чем мы определим степень этой нейтрализации, а также возможно ли вообще появление метафоры в сказке, необходимо сделать некоторые выводы из приведенных выше рассуждений:

1) Правила сочетаемости единиц данного языка, определенные для мира, известного из нашего повседневного опыта, относительны; сфера их действия ограничена определенным типом текстов.

Для некоторых текстов они требуют переформулировок, причем степень отличия их от нормы зависит от правил референции, действующих в данном возможном мире, и меняется от текста к тексту.

2) Метафора представляет собой контекстуальное явление в нескольких смыслах: она появляется при определенных операциях над контекстом преложения в соответствующем референтном контексте, а также в контексте определенного жанра. Контекст определяет не только конкретное семантическое толкование данного выражения, но и возможность вообще рассматривать его как метафору.

3) В свете вышесказанного особенное значение приобретают те признаки текста, которые определяют его жанровую принадлежность. При этом наиболее важную роль играют те его элементы, которые выполняют метатекстовую функцию (заглавия, включая и название сборника, буквицы в начале текста), образующие жанровую рамку текста[8]. Они содержат информацию о том, что интересующий нас текст — это текст сказки[9]. Они также выступают как указания о необходимости преобразовать действующие в данном языке правила сочетаемости слов и выражений, относящихся к обычному миропорядку, и руководствоваться этими новыми правилами при чтении текста[10].

При наличии сказочной жанровой рамки, те выражения, которые в любом другом тексте могли быть употреблены лишь в качестве метафор (при буквальном прочтении они были бы абсурдны, так как описывали бы невозможные в действительности ситуации), в сказке даже в буквальном прочтении воспринимаются как норма. Эти выражения не нарушают связности текста, соответственно нет необходимости восстанавливать эту связность путем реконструирования скрытого значения, как это происходит с метафорами.

Таким образом, благодаря метатекстовой информации в сказке допустимы некоторые не совсем привычные виды предикации, относящиеся к иной картине мира, поэтому то, что в другом жанре было бы метафорой, в сказке ею не является.

II

А как же ведет себя в сказке собственно метафора? Из вышесказанного следует, что в сказках вполне допустимо появление метафор, так как правила сочетаемости слов в этих текстах отличаются от общепринятых в языке правил лишь частично. С онтологической точки зрения можно сказать, что мир сказки в целом мало чем отличается от мира реального. Более того, текст сказки образует законченную картину фантастического мира, необычную, но вполне последовательную. В этом мире события, предметы и их свойства не являются произвольными, и, хотя они могут в большой степени изменяться по сравнению с реальным миром,

тем не менее границы этих изменений строго ограничены. Отсюда — возможность ориентироваться в этом фантастическом мире, а также определенные ограничения, налагаемые на предикацию, что создает условия для появления в тексте метафор. Среди приведенных выше предложений группы Б есть предложение о танцовщице, «плывущей» по залу (предложение 1): это предложение из сказки.

Метафорическое прочтение нейтрализуется или исключается только для тех выражений, элементы которых сочетаются по правилам, отличным от общепринятых. Эти выражения, необъяснимые исходя из повседневного языкового опыта, согласуются со сказочной картиной мира. Их особый статус не оговаривается и не комментируется, что очевидным образом затрудняет их прочтение. Читатель текста сказки, если говорить не о наивном читателе, а о читателе-исследователе, находится в трудном положении. Жанр сказки, на который указывает начало текста, предполагает, что при прочтении данного текста наш обычный опыт неприменим, однако пока нам неизвестно, какая ситуация в нашей сказке является нормальной (а в свете нашего вопроса — что является нормальным контекстом того или иного слова), а какая необычной (когда соответствующий ей контекст требует метафорической интерпретации во избежание появления абсурда). Читатель сказки должен в процессе чтения тщательно накапливать информацию об описываемом мире, чтобы, основываясь на ней, правильно определить статус конкретных выражений. Таким образом, прочтение сказки имеет сложный и нелинейный характер: каждое выражение, вступающее в противоречие с нашим языковым опытом, нужно соотнести с прочитанными или имплицитными сведениями о мире данной сказки и в свете этой информации считать его метафорическим или буквальным. Также возможен случай, когда значение выражения можно определить лишь при дальнейшем чтении текста; в этом случае мы имеем дело со своеобразной «подвешенностью» или неопределенностью смысла выражения. При этом можно говорить о метафороподобных[11] выражениях, то есть о таких выражениях, которые в любом другом тексте считались бы метафорой или же бессмыслицей. В контексте сказки значение этих выражений определяется на основании предшествующей или последующей информации. Окончательное решение о значении метафороподобного выражения принимается только после накопления необходимой информации и на основе сравнения двух совокупностей следствия[12], вытекающих из его метафорического и буквального смысла, с реальными предложениями из текста. В результате такого сравнения одна из совокупностей исключается, и значение выражения определяется однозначно. Если мы рассмотрим предложение *Я был вашей тенью* (одно из предложений группы А), взятое отдельно, оно породит две совокупности следствий, приведенных здесь в несистематическом порядке:

I	II
Я был и есть человек.	*Я человек, но раньше я был тенью.*
Я веду себя (или передвигаюсь) обычным для людей образом.	*Определенным образом я перестал быть тенью.*
	Я сейчас напоминаю тень своей невзрачностью, худобой и т. д.
	Как тень я мог двигаться по стене, если свет падал в нужном направлении.

В результате прочтения сказки Андерсена подтверждается II совокупность следствий и исключается I. Тем самым мы определяем, каким из значений руководствоваться при чтении сказки: выбор падает на неметафорическое значение. Принятие именно такого решения помогает сохранить кореферентность и повторяемость информации в тексте, что является одновременно показателем и гарантией связности текста (повторяемость информации может быть признана аргументом в пользу выбора того или иного значения, при условии, что мы имеем дело именно с текстом, то есть со связным целым). Надо сказать, что упомянутые следствия из совокупности II имплицированы текстом сказки еще до появления данного выражения, что позволяет однозначно его интерпретировать. Как мы заметили выше, это не единственно возможная ситуация. Некоторые следствия могут подтверждаться только ex post, что создает дальнейшие трудности при прочтении сказки, так как при неопределенности значения выражения читатель должен удерживать в памяти обе совокупности следствий, вплоть до появления в тексте решительного подтверждения одной из них.

Проведенный анализ показывает, что присутствие в тексте метафороподобных выражений в значительной степени усложняет его прочтение. Такие выражения являются критическими точками текста сказки, в которых возникает конфликт между пониманием текста, основанным на обычном внеязыковом опыте, и пониманием, связанным с особой моделью мира данной сказки. Очевидно, что в тексте должны содержаться данные, препятствующие нарушению связности текста со стороны таких выражений. Как организм, подвергшийся нападению микробов, выстраивает защитный барьер из лейкоцитов, так и текст, в котором возникает опасность многозначности или неправильного прочтения метафорического выражения, защищается от этой угрозы при помощи комментариев, которые появляются в тексте до или после метафороподобного выражения и либо исключают, либо имплицируют исключение одного из двух возможных толкований этого текста.

В теории возможны три способа интерпретации метафороподобного выражения:

1. Выражение понимается как метафора.

Вариант (а): Метафороподобное выражение понимается как метафора на основании информации, содержащейся в предшествующем тексте.

Вариант (б): Метафороподобное выражение считается метафорой ex post, принимая во внимание информацию, которая содержится в последующем тексте. В течение некоторого времени его статус остается неопределенным.

2. Выражение понимается буквально, как нормальное предложение из сказки.

Вариант (а): Метафороподобное выражение из данной сказки признается нормальным на основе имеющейся информации о том, что в данном тексте действуют особые правила сочетаемости слов, обусловленные особой моделью мира этой сказки.

Вариант (б): Сначала метафороподобному выражению не придается никакого статуса, а затем оно истолковывается буквально на основе последующей информации. В этом случае возникает тенденция к немедленному выяснению двусмысленностей или неясностей в тексте.

3. Метафороподобное выражение не получает однозначной интерпретации по причине отсутствия в тексте необходимых данных. В этом случае автор текста не предусматривает никакой дополнительной информации, которая помогла бы однозначно определить его смысл. Такие случаи встречаются довольно редко. При необходимости можно судить о значении данного выражения по аналогии с другими текстами, однако степень неопределенности останется все же высокой.

III

Рассмотрим несколько примеров, служащих иллюстрациями вышеприведенных типов.

Ia) Выражение такого типа уже встречалось выше в примере с «плывущей» по паркету танцовщицей. Приведем это предложение полностью.

Русалочка подняла свои белые хорошенькие ручки, встала на цыпочки и поплыла в легком, воздушном танце («Русалочка»).

Приготовление к «плаванию», последовательность действий Русалочки (которая в описываемый момент уже не была Русалочкой), дворец принца — обычный земной дворец, в котором происходят празднества в честь хозяина, — все указывает на тот факт, что мы имеем дело с метафорическим употреблением. Метафора обусловлена предыдущим контекстом. Возьмем другое предложение из той же сказки: ...*глаза ее говорили сердцу больше, чем пение всех рабынь.* Из предыдущего контекста понятно, что в данном случае глаза не являются самостоятельным существом, способным говорить, следовательно, и здесь мы имеем дело с метафорой.

Iб). В сказке Андерсена «Старый дом» мы встречаем такой диалог:

— У нас дома говорят, что ты ужасно одинок! — сказал мальчик.

— О! Меня постоянно н а в е щ а ю т в о с п о м и н а н и я... Они приводят с собой столько знакомых лиц и образов!...

Выражение *меня навещают воспоминания* можно понимать как в буквальном, так и в метафорическом смысле, так как предшествующий контекст допускает оба прочтения. Мальчик понимает его буквально. Это видно из его разговора с одиноким оловянным солдатиком:

— Ну, ну, полно! — сказал мальчик. — По-моему, здесь чудесно; сюда ведь заглядывают воспоминания и приводят с собою столько знакомых лиц! («Старый дом»)

Окончательное объяснение слов старика мы находим ниже в рассказе солдатика:

— ...Все, что я видел, слышал и пережил в вашей семье, так и всплывает у меня перед глазами! Вот каковы они, эти воспоминания, и вот что они приводят с собой! («Старый дом»)

Итак, солдатик (а вместе с ним и читатель) понял метафорический смысл слов старика. В данном случае это единственно возможный смысл, так как в тексте все время подчеркивается мотив пустоты и одиночества старого дома. Эта ситуация совсем не похожа на ту, в которой по коридорам дворца ходят материализованные сновидения (в сказке «Снежная королева»).

Iаб). Оба выделенных выше типа могут появляться одновременно, образуя комментарий к метафороподобному выражению и двояким образом влияя на его интерпретацию. Вот пример: *Одно ведро п р ы г а л о подле другого, а когда дул ветер, в е д р а т а н ц е в а л и так, что вода разбрызгивалась по всему двору* («Бронзовый кабан»).

Там, где мог бы появиться комментарий, подтверждающий сказочность образа, появляется выражение, описывающее следствие сотрясения полных ведер (*вода разбрызгивалась*), в результате чего выражение *ведра танцевали*, которому предшествует информация о том, что *одно ведро прыгало подле другого*, получает метафорическую, а не сказочную интерпретацию. Здесь я хотела бы обратить внимание на важность предложения, непосредственно следующего за метафороподобным выражением. Именно от него обычно читатель ожидает объяснения неясного или многозначного выражения. Это видно из следующей группы примеров.

Iх). Как правило, мы имеем дело с метафорическим значением и в том случае, когда ни предшествующий, ни последующий текст не содержат объяснения данного выражения. По этому нарушению связи с контекстом можно догадаться, что анализируемое выражение не имеет прямого отношения к событиям, происходящим в сказке, и употреблено исключительно ради красоты

слога. В этом случае метафоричность не так очевидна, как в предыдущих примерах, где она выводится на основе совокупности следствий, например:

— Пип! — сказали они и принялись мести пол хвостами...

IIа). К этому типу принадлежит уже упомянутое нами предложение про тень:

...вы дадите мне слово не говорить никому здесь, в городе..., что я был... вашей тенью[13].

IIб). Ящерица рассказывает о холме эльфов:

— На ночь они поднимают холм на четыре огненных столба, и он стоит так до первых петухов — видно, хотят проветрить его получше («Волшебный холм»).

Выражение *поднимают холм* дословно следует понимать так, будто речь идет о доме-куполе — лишь при таком понимании скрытое в выражении содержание соотносится с дальнейшей информацией: *поднимают на четыре огненных столба*, *проветрить его*. Холм выступает здесь в роли жилого помещения, обычного для страны эльфов, упырей, русалок, духов и чудищ. Другой пример из той же сказки:

Пол в огромной зале вымыли лунным светом, а стены протерли ведьминым салом, так что они сверкали, словно тюльпаны на солнце.

Из контекста видно, что свет месяца и впрямь используется для мытья полов, а ведьмино сало — вместо полировальной пасты.

IIаб). Как и в случае метафорического прочтения, здесь и предыдущий и последующий контекст взаимодействуют, окончательно определяя значение выражения. Так, в сказке о тени фразе *От его ног начала расти новая тень* предшествует история о том, как человек потерял свою тень; фраза сопровождается подробным рассказом, как у него появляется новая тень и какие чувства он при этом испытывает — такая фраза может быть истолкована только в буквальном смысле. Приведем полный текст этого примера:

...Досадно было, но в жарких странах солнце, как принято говорить, печет, и вот через неделю ученый, выйдя на солнце, заметил, что от его ног начинает расти новая тень, — видно, корни старой остались. Через три недели у него была уже довольно сносная тень, которая во время обратного путешествия ученого подросла еще и под конец стала уже такой большою и длинною, что хоть убавляй («Тень»).

Следующий пример взят из сказки Андерсена «Истории одной матери»: *...Это смерть была у тебя в избе.* Здесь

говорится о буквальном присутствии в доме смерти как личности, ибо ранее упоминалось, что старушка, которая постучала в дверь и попросила обогреться, «была самой смертью». Кроме того, в следующем предложении мы узнаем из слов соседки, что «...*смерть посетила твой дом, я видела, как она скрылась с твоим малюткой*». Выходит, речь идет о вполне реальном персонаже, уносящем людей на тот свет.

III. Ситуации, в которых статус выражения остается неясным, встречаются довольно редко. Они обычно возникают тогда, когда комментарии к метафороподобному выражению отсутствуют как в предшествующей, так и в последующей информации, что могло бы прояснить значение данного выражения (тип IIIx). Возможен и другой случай двузначности, когда мы не можем исключить ни одно из двух вероятных значений, так как оба находят себе подтверждение в последующем контексте (тип IIIxx). В последнем случае внимание читателя до такой степени занято поиском дополнительной информации, способной помочь объяснить данное выражение, что поиск ведется далеко за границами контекста, который, по замыслу автора, служит комментарием к этому выражению.

IIIxx). Вот еще один пример из сказки о Русалочке:

И Русалочка поплыла из своего садика к кипящему водовороту, за которым жила ведьма.

Что такое *кипящий водоворот* — метафора это или нет? Читаем дальше:

Кругом только голый серый песок; вода в водоворотах бурлила и шумела, как под мельничными колесами, и увлекала за собой все, что только встречала по пути.

Стало быть, это метафора, думает читатель. *Кипящий водоворот* —

1. Очень сильный водоворот.
2. Можно было подумать, что это не водоворот, а кипящая вода.

Но читаем ниже на той же странице:

...Путь к жилищу ведьмы лежал через пузырящийся ил.

Может быть, ил пузырится оттого, что вода в водовороте кипит? Ситуация остается неясной. Возможны оба значения рассматриваемого выражения.

Похожий пример мы встречаем в «Дюймовочке», где майский жук ... *слетел с нею* [Дюймовочкой] *с дерева и посадил на ромашку... Целое лето прожила Дюймовочка одна-одинешенька в лесу.*

По аналогии с обычными правилами и перифразами, служащими для установления связности текста[14], слово *лес* должно быть признано метафорическим эквивалентом упомянутого выше луга; то есть речь идет о метафоре, что и подтверждается ближайшим контекстом:

Она сплела себе колыбельку и повесила ее под большой лопушиный лист — там дождик не мог достать ее.

Однако четырьмя предложениями ниже читаем: «...*Листья с деревьев облетели*...», что напоминает нам о ситуации, значение которой мы недооценили: *в лесу*. Может быть, *лес* здесь действительно значит 'лес'? Это предполагается и дальше:

Возле леса, куда она попала, лежало большое поле.

Но через несколько страниц читаем вновь:

...*Одни голые, сухие стебельки торчали из мерзлой земли; для Дюймовочки это был целый лес.*

На одной из следующих страниц опять читаем:

...*Грустно смотрела вверх, где шумел целый лес золотых колосьев.*

Это опять наводит нас на мысль о метафорической природе этого выражения. Двузначность возможна благодаря двойственности принятого масштаба: все предметы кажутся Дюймовочке очень большими, но не все они таковы с точки зрения рассказчика. Поэтому остается неясным, где имеется в виду настоящий лес, а где лес трав. В первом случае используется оценка самого рассказчика, во втором — рассказчика, который пытается увидеть мир глазами маленькой Дюймовочки. Метафорическая запись выражения *лес* (*луга*) такова:

1. Луг.
2. С точки зрения Дюймовочки, это не луг, а целый лес.

IIIх). В другом случае метафороподобное выражение может иметь двойной смысл в силу того, что при нем нет никакого комментария, позволяющего истолковать его однозначно, единственно верным образом.

В качестве иллюстрации приведем один отрывок из «Винни-Пуха» Милна:

*Солнце еще нежилось в постели, но небо над Дремучим Лесом слегка светилось, как бы говоря, что солнышко уже просыпается и скоро вылезет из-под одеяла**.

Такое загадочное упоминание о солнце встречается только один раз, в дальнейшем развитии событий солнце уже никак не участвует. Цитированный отрывок можно истолковать как сообщение о восходе солнца, выраженное следующей совокупностью метафор:

1. Солнце еще не взошло.
2. Можно было подумать, что это не солнце, а ребенок, который еще нежится в постели.

---

* Цит. по изд.: Милн А. Винни-Пух и все-все-все. М., 1985, с. 515. — *Прим. перев.*

Возможна и другая интерпретация: признать солнце одним из персонажей книги, подобно антропоморфным образам солнца, ветра, месяца (ср. мотив солнца-повелителя, появляющийся во многих сказках), известным из фольклора. Сходство с ребенком выступает лишь как одна из отличительных черт этого образа в данном тексте. В мире, где действуют тигрята, медвежата и поросята, вполне может появиться и детеныш солнца.

Текст сказки не дает окончательного ответа на вопрос исследователя, о каком из двух значений идет речь.

IV

Из предыдущих рассуждений вытекает, что метафора в сказке может появляться лишь постольку, поскольку она подтверждается соответствующим комментарием, исключающим буквальное прочтение данного выражения. В рассмотренных примерах при всех предложениях, содержащих метафору, присутствует комментарий.

Если внимательнее приглядеться к различным формальным видам метафор, то можно заметить, что метафоричность — это не всегда контекстное явление, если иметь в виду широкое понимание контекста; часто на нее указывает форма выражения. Таковы генитивные метафоры типа *лес колосьев*, *ковер снега*. Такие метафоры образуют особую группу, которая характеризуется тем, что оба их значения — словарное (*лес*, *ковер*) и метафорическое (*колосья*, *снег*), — в отличие от других видов метафор, имеют свои лексические показатели. Встретив одну из таких метафор, читатель должен только актуализовать семантическую связь обеих составляющих этого выражения (связь, отмеченную на поверхностном уровне родительным падежом), используя при этом инвариантную экспликативную формулу метафоры.

Другой тип метафор, который вне зависимости от принадлежности текста к жанру сказочного получает немедленную и однозначную интерпретацию, — это клишированные выражения и фразеологизмы. В предложении *В жарких странах солнце, как принято говорить, печет* («Тень») выражение *солнце печет* воспринимается как метафора, хотя именно в таком смысле оно используется в разного рода текстах. В этом случае можно избежать утомительных поисков объяснительного контекста; однако всегда следует опасаться того, что автор может сознательно «оживить» стертый метафорический оборот и в «оживленном» виде использовать его в сказке. Примером этого служит выражение *Я был вашей тенью*.

V

Для исчерпывающего обсуждения проблемы использования метафор в сказке необходимо обратить внимание еще на один

тип выражений, которые хотя и напоминают метафоры, но все же отличаются от них своей семантической структурой. Возьмем слово *тюльпан* в следующем контексте:

Воробьиха посмотрела в одно [окно], *посмотрела в другое, и ей показалось, что она заглянула в чашечки тюльпанов: все стены так и пестрели разными рисунками и завитушками, а в середине каждого тюльпана стояли белые люди* («Соседи»).

В данном случае исключается буквальное понимание слова *тюльпан*, так как известно, что речь идет о комнате, а не об обитаемом цветке. Метафорическое значение также нельзя принять, так как тогда воробьи должны были бы понимать, что то, что они называют тюльпаном, на самом деле является комнатой. Лишь в этом случае можно было бы использовать нашу формулу:

1. Внутри комнаты стоят белые люди.
2. Может показаться, что это не комната, а тюльпан.

Однако воробьи не вполне отдают себе отчет, что это за странный предмет, не знают его названия, они даже не выделяют его в качестве отдельного «предмета», а просто называют его первым пришедшим в голову словом, основываясь на чисто поверхностном сходстве с тюльпаном. В этом случае мы имеем дело не с метафорой, а с явлением называния, с катахрезой inopiae causa[15]. Этот предмет является новым, никак не классифицированным еще в языке воробьев, поэтому они не могут вербализовать своих мыслей, не уподобив предварительно комнату одному из видов цветов. Метафора же есть не название данного явления, а скорее его переназвание. Подобным образом можно интерпретировать и следующие предложения:

[Воробьи]: — *Их* [елки] *посадили посредине комнаты и нарядили чудеснейшими вещами* («Ель»).

[Розы]: — *Днем греет солнце, а ночью небо светится еще ярче. Это видно сквозь дырочки в нем. Дырочки были звездами, но звезды об этом не знали* («Соседи»).

Таких примеров можно было бы привести еще очень много. Их характерная особенность в том, что они не являются частью авторского повествования, а присутствуют в речи персонажей.

За вычетом явлений этого типа настоящие метафоры в сказке достаточно редки. Это вполне объясняется результатами проведенного анализа: метафора легко смешивается с метафороподобными выражениями; во избежание такого смешения необходимо ввести в текст специальные средства, обеспечивающие правильное понимание выражения: поясняющий контекст или возможность выведения совокупности следствий. Эти средства значительно отягчают текст, но избежать их можно лишь при использовании генитивных метафор и клишированных выражений. При чтении Андерсена бросается в глаза обилие выражений вроде *казалось*,

сдавалось, было похоже и др.[16], которые хотя и сходны с метафорой, но влекут за собой связанные с метафорой ограничения[17].

Тот факт, что метафора достаточно редко встречается в сказках, объясним и с чисто литературной точки зрения: мир сказки настолько богат чудесными событиями, что его необязательно приукрашивать за счет тех средств, которые предлагает метафора, то есть взгляда на мир через призму других явлений или предметов.

VI

В начале статьи я уже отмечала, что отличие мира сказки от действительности проявляется в нестандартных правилах сочетания слов. Это нейтрализует метафороподобные выражения и препятствует появлению метафор. Сфера действия этого явления, однако, ограниченна и меняется от сказки к сказке, но во многих текстах сказок можно найти соответствующие примеры. В тех сказках, где оживают неодушевленные предметы, невозможны метафоры одушевления и персонификации. Это правило заметно влияет на текст в следующих двух отрывках из «Русалочки»:

I. *Тогда Русалочка подняла свои белые хорошенькие ручки, встала на цыпочки и п о п л ы л а в легком, воздушном танце; так не танцевал еще никто*!

II. *Посреди зала вода бежала широким потоком, и в нем т а н ц е в а л и водяные и русалки под свое чудное пение.*

В первом отрывке описаны развлечения принца в его обычном, земном дворце. Выражение *поплыла* вполне может быть употреблено в качестве метафоры, так как оно не нарушает связности текста, описывающего этот мир. Во втором отрывке речь идет о подводном дворце, где вместо паркета — шумящий поток. Наиболее естественно предположить, что по этому дворцу все передвигаются вплавь, поэтому глагол *поплыть* по отношению к танцу не годится в качестве метафоры.

Как ни парадоксально, но Русалочка не могла «поплыть», пока жила в воде, это оказалось возможным лишь тогда, когда она стала жить на суше и русалкой уже не была.

Эти наблюдения можно обобщить: при описании подводного мира нельзя употреблять какие-либо переносные выражения, в которых одни явления рассматриваются через призму других, так или иначе связанных с водой.

Подобные явления — это еще один важный фактор, ограничивающий возможность употребления метафор в сказке. Таким образом, метафора в сказках — явление редкое, ибо она всегда зависит от контекста и постоянно требует как от автора, так и от читателей принимать во внимание совокупности семантических следствий. Такое неустойчивое положение метафоры именно в сказке, по сравнению с другими жанрами, можно объяснить (если иметь в виду только семантико-коммуникативные усло-

вия и отвлечься от генетического своеобразия жанра) изменчивостью изображаемой модели мира и, как следствие этого, изменением правил сочетаемости слов. Опознавательным знаком этого онтологического преобразования и ослабления устойчивых лексических связей служит метатекстовая информация, определяющая данный текст как сказку. Количество такой информации может меняться в зависимости от конкретного текста; в литературных сказках она может ограничиваться подзаголовком «Сказки» или имплицитно подразумеваться в фамилии автора (так, в книге «Дитя Эльфов» Г. Х. Андерсена ничто в заглавии и в подзаголовке не указывает на принадлежность к жанру сказки, кроме «сказочной» фамилии автора и своеобразного графического оформления).

* * *

Как мне кажется, описанный выше способ интерпретации текстов сказок может быть использован также для анализа некоторых видов поэтических текстов. Так как в поэтическом тексте встречается много необычных словосочетаний без всяких поясняющих комментариев, он может быть истолкован либо как метафорическое описание реального мира, либо как реалистическое описание необычного, сказочно-поэтического мира. «Поэтичности» описания в первом случае соответствует «поэтичность» описываемого мира во втором.

Выбор того или иного способа описания обусловлен в основном различиями литературных школ и теорий поэтики.

Проблема факультативности метода интерпретации поэзии и соответственно факультативности ее содержания еще ждет теоретического и исторического исследования.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] С этой точки зрения, а также с утверждением сторонников генеративистской теории о том, что в языке действуют постоянные селективные правила, полемизирует в своей статье М. Редди: R e d d y M. A Semantic Approach to Metaphor. — In: Papers from the Fifth Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society, eds. by R. Binnick et al. Chicago, april 1969. Редди утверждает, что селективные правила являются логическим следствием гипотезы, что единственным возможным миром является тот мир, который известен нам из внеязыкового опыта. С точки зрения Редди, это утверждение неверно. Он показывает, как в зависимости от различных условий референции одно и то же предложение получает разный статус: иногда оно получает дословное истолкование, в другом случае считается метафорой или бессмыслицей.

[2] C o h e n J. Structure du language poétique. Paris, 1966. Ж. Коэн наиболее точно определяет полярность этих выражений так: «Стихотворение не является здесь правильным выражением анормального мира (как в случае сказки), но анормальным выражением обычного мира».

[3] Такое предложение могло бы появиться и в сказке «Русалочка» в описании того момента, когда Русалочка в последний раз плывет мимо подводного дворца.

[4] Формула "S_1 есть P_2", где S = субъект, а P=предикат, отражает необычность сочетания субъекта и предиката, которые принадлежат по сочетаемости к разным классам слов.

[5] Эта формула впервые приведена в моей работе «О семантическом представлении некоторых метафорических выражений» (D o b r z y ń s k a T. O Semantycznej reprezentacji niektórych wyrażeń metaforycznych. — In: Semantyka i słownik, red. A. Wierzbicka. Wrocław, 1972). Принятая здесь экспликативная формула также моделирует содержание метафоры вне зависимости от поверхностного представления метафорического выражения. Метафора представляет собой определенный тип предикации, где функцию предиката выполняет выражение, которое по своему буквальному значению не может быть осмысленным предикатом при данном подлежащем. В процессе истолкования метафоры адекватный предикат воссоздается из части значения и/или коннотаций метафорического выражения.

[6] Такое уточнение относится к метафорам, связанным со зрительным восприятием.

[7] См., напр., «Сказку о двух братьях» братьев Гримм.

[8] О «рамочных» элементах повествования см.: D a n e k D. Wypowiedzi w dziele o dziele (w formach narracyjnych). — "Pamiętnik Literacki", 1968, № 3; У с п е н с к и й Б. А. Поэтика композиции. Структура художественного текста и типология композиционной формы. — (Сер. «Семиотические исследования по теории искусства».) М., 1970; Л о т м а н Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970; D o b r z y ń s k a T. Delimitacja tekstu literackego. Wrocław, 1974.

[9] Помимо лексических указателей, о принадлежности текста к жанру сказки, т. е. к жанру, ориентированному в первую очередь на детского читателя, может свидетельствовать название издательства, графическое оформление и т. д.

[10] Описанный здесь способ восприятия текста сказки свойствен взрослому читателю, знающему правила сочетания лексических единиц данного языка и их семантические следствия, а также ученому, читающему текст с целью его исследования. Дети же и наивные читатели все в нем понимают дословно, не воспринимая метафорического смысла этих выражений.

[11] Примерами таких выражений могут служить предложения из группы А, в общих чертах сходные с предложениями из группы Б.

[12] О семантических следствиях см.: B e l l e r t I. O pewnym warunku spojności tekstu. — In: O spójności tekstu, red. M. Mayenowa. Wrocław, 1971 (русск. перевод см. в сб.: Новое в зарубежной лингвистике, вып. VIII. М., 1978).

[13] О том, что данное предложение не является метафорой, помимо поясняющего контекста, свидетельствует и присутствующее в нем отрицание. В отрицательных предложениях метафоры обычно не встречаются: **Я не был твоей тенью;* здесь отсутствует метафорическое значение 'я не был твоим неразлучным спутником; могло показаться, что это был не спутник, а тень'. В отрицательном предложении происходит деметафоризация переносного значения. Ср.: D o b r z y ń s k a T. O semantycznej reprezentacji...

[14] Об этом см.: П а д у ч е в а Е. В. О структуре абзаца. — В сб.: «Ученые записки Тартуского гос. университета. Школа по знаковым системам II». Тарту, 1965; B e l l e r t I. Op. cit.

[15] Об отличии метафор от явлений называния, напр. катахрезы, см.: Ч е р к а с о в а Е. Т. Опыт лингвистической интерпретации тропов. — «Вопросы языкознания», 1968, № 2. Древние риторы также выделяли перенос значения, необходимый для осуществления называния; они называли его к а т а х р е з о й (*лат.* abusio inopiae causa 'употребление по необходимости', ср. D o b r z y ń s k a T. Katachreza inopiae causa. — In: "Studia o tropach", 1, pod red. T. Dobrzynskiej. Wrocław, 1988).

[16] В поэтичной сказке «Русалочка» оборот типа *что-то выглядит, как*

употребляется 10 раз, *кажется* (*представляется*) — 13 раз. Частая повторяемость таких выражений заставляет задуматься.

[17] О сходстве на уровне семантической структуры между оборотами *кажется/представляется* и метафорой, гиперболой, сравнением см.: Wierzbicka A. Porownanie — gradacja — metafora. — "Pamietnik Literacki", 1971, № 4 (русск. перевод см. в наст. сборнике). Выражение *выглядит так, как если бы* является частью предложенной экспликативной формулы. Наличие таких выражений в тексте сказки при неразвитости метафорической системы оправдано большей степенью эксплицитности таких выражений. Имитация отгадки или хотя бы частичное раскрытие сокращенного сравнения в тексте сказки является более безопасным приемом, чем представление его в виде метафоры, по причине указанных жанровых ограничений. В жанровом поле сказки наблюдается частичный переход экспликативной формулы с глубинного на поверхностный уровень. В противном случае в тексте появилась бы многозначность, для разъяснения которой потребовались бы дополнительные комментарии.

КОММЕНТАРИИ

Э. Кассирер. Сила метафоры. Эрнст Кассирер (1874—1945) — немецкий философ, представитель марбургской школы неокантианства. В 1933 г. эмигрировал из Германии. С 1941 г. жил в США. В 20-х годах создал оригинальную философию культуры. По Кассиреру, существует единый мир культуры, однако составные части этого мира — символические формы (язык, миф, религия, искусство, наука, история) рассматриваются как самостоятельные, несводимые друг к другу образования. Работа, глава из которой опубликована в настоящем сборнике, по существу примыкает к главному труду Кассирера о философии культуры: Philosophie der symbolischen Formen, Bd. 1—3, Berlin, 1923—1929.

Стр. 34. *Противоположный путь избрала «сравнительная мифология», созданная во второй половине XIX в. прежде всего Адальбертом Куном и Максом Мюллером.* — А. Кун (1812—1881) — немецкий филолог, специалист в области индоевропеистики и мифологии, соиздатель журнала «Zeitschrift für vergleichende Schprachforschung»; М. Мюллер (1823—1900) — английский филолог-востоковед, специалист по общему языкознанию, индологии, мифологии.

Стр. 39. *Уже Квинтилиан указывал...* — Квинтилиан (ок. 35—ок. 96) — римский оратор и теоретик ораторского искусства. Его трактат «Об образовании оратора» — самый подробный из сохранившихся курс античной риторики.

Стр. 41. *...сила логоса.* — «Логос» — термин древнегреческой философии, означающий одновременно и 'слово', и 'смысл'. Иначе говоря, слово берется исключительно в смысловом плане, то есть можно говорить о слове-понятии. На этом и построено противопоставление Э. Кассирера.

А. А. Ричардс. Философия риторики. Айвор Армстронг Ричардс (1898—1979) — английский философ, литературовед, лингвист, поэт. Взгляды Ричардса, сформулированные в его работах «Принципы литературной критики» (1924) и «Наука и поэзия» (1926), стали одной из основных сил, формировавших новое литературоведческое течение: «Новую критику». Главную задачу литературоведения (калька с английского языка — термин «литературная критика» — является, безусловно, менее адекватным переводом на русский язык названия этой науки; аналогично, вместо уже укоренившегося названия «Новая критика» точнее было бы говорить о «Новом литературоведении») представители «Новой критики» видели в «глубоком прочтении» («тщательном прочтении») художественного произведения, то есть в выявлении множественности смысловых пластов текста и одновременно всеобщего смысла текста. Из этого проистекало и их особое внимание к многозначности (в том числе к неоднозначности, или амбивалентности), к образной системе художественного текста, прежде всего к метафорам и сравнениям. «Новая критика» явилась своего рода проводником объективности, использования научных методов в литературоведении. Не будучи строго очерченным и замкнутым течением, «Новая критика» объединяет по тому или иному прин-

ципу достаточно широкие круги современных литературоведов. Среди них и многочисленные авторы работ о метафоре, опубликованных или цитированных в настоящем сборнике: У. Эмпсон, К. Брукс, Дж. Рэнсом, К. Берк, Р. Блэкмер, А. Уинтерс, М. Бирдсли, У. Уимсатт, Н. Фрай и другие. Кроме того, были близки к «Новой критике» по своим теоретическим взглядам такие поэты, как Э. Паунд и Т. С. Элиот, чьи поэтические произведения насыщены метафорами и служат, в частности, предметом научного анализа в нескольких статьях настоящего сборника.

Стр. 45. *Только Иеремия Бентам...* — И. Бентам (1748—1832) — английский философ и юрист, родоначальник философии утилитаризма.

...Он оставил Кольриджу, Брэдли и Файхингеру... — Сэмюэль Тейлор Кольридж (1772—1834) — английский поэт и философ, известный в свое время трудами по философии и эстетике не меньше, чем поэтическими произведениями. После поездки в Германию в 1798—1799 годах он увлекся немецкой идеалистической философией и активно пропагандировал ее в Англии. Философские и теоретико-эстетические трактаты Кольриджа были подготовкой к «главной книге», которую он мечтал написать всю жизнь; однако теория Кольриджа так и не приобрела законченной формы. Одной из главных идей Кольриджа было преклонение перед природой как «гармонической системой движений». Для Кольриджа природа — это нечто, находящееся в беспрерывном движении, развивающееся, животворящее, создающее все новые и новые формы бытия; Фрэнсис Херберт Брэдли (1846—1924) — английский философ, крупнейший представитель абсолютного идеализма в Англии, писал о противоречивости понятий времени, пространства, причинности и выводил из этого их нереальность («видимость»); Ханс Файхингер (1852—1933) — немецкий философ, автор комментария к «Критике чистого разума» И. Канта и его последователь. Файхингер развивал субъективно-идеалистическую философию фикционализма. Считая научные и философские понятия «атом», «бесконечно малое», «абсолют» и другие фикциями, пришел к агностическим выводам о невозможности познания действительности такой, как она есть «на самом деле», и к признанию ощущений конечной доступной познанию данностью.

Стр. 46. *...писал доктор Джонсон...* — Сэмюэль Джонсон (1709—1784) — английский писатель и лексикограф, автор «Словаря английского языка» (1755) и литературно-критического произведения «Жизнеописание наиболее выдающихся английских поэтов» (1779—1781).

Стр. 49. *Лучший лектор из всех, кого я когда-либо слышал, Дж. Э. Мур...* — Джордж Эдуард Мур (1873—1958) — английский философ, давший обоснование философского течения — неореализма. Его идеи легли в основу лингвистической философии.

...предложение лорда Кеймса... — Лорд Кеймс, он же Генри Хоум (1696—1782), — шотландский юрист и философ, автор упоминающейся далее книги «Элементы критики».

...Печальным примером пагубности этого влияния служит трактат Лессинга о связях разных родов искусства. — Имеется в виду трактат Готхольда Эфраима Лессинга (1729—1781) «Лаокоон. О границах живописи и поэзии» (1766).

Стр. 52. *...анализирует Каули и Донна...* — Джон Донн (1572—1631) — английский поэт, крупнейший представитель «метафизической лирики» («метафизической школы»). Далее научному анализу подвергаются примеры из творчества других представителей этой школы: Г. Вогана, Э. Марвелла; Авраам Каули (1618—1667) — английский поэт, покинувший Англию после Английской буржуазной революции.

...У Монбоддо, Хэрриса, Уизерса и Кэмпбелла, то есть у всех крупных теоретиков риторики XVIII в. — Лорд Монбоддо, Джеймс Бернетт (1714—1799) — шотландский юрист и антрополог, идеи которого современники называли эксцентричными. Автор книги «Происхождение и развитие языка», в которой он определял в качестве причины как возникновения языка, так и развития цивилизации вообще, социальную необходимость; Дж. Хэррис

(1667—1719) — английский теолог; возможно, имеется в виду Джордж Уизер(с), живший, однако, в XVII в. (1588—1667), — английский поэт и памфлетист, арестованный за свои сатиры, позднее посвятивший себя религиозной поэзии; Джордж Кэмпбелл (1719—1796) — шотландский теолог, автор «Философии риторики» (1776).

Стр. 58. *Это — явление, которое Уильям Джемс назвал «заблуждением психолога»...* — Уильям Джемс (1842—1910) — американский философ и психолог, один из основателей прагматизма. Отвергая объективность истины, выдвинул прагматический критерий: истинно то, что отвечает практической успешности действия.

Стр. 59. *Как сказал Бриджес в «Завете красоты»...* — «Завет красоты» (1927—1929) — философская поэма английского поэта Роберта Сеймура Бриджеса (1844—1930).

Стр. 61. *...отзывается о стихотворных строках Денема...* — Джон Денем (1615—1669) — английский поэт.

Стр. 63. *Андре Бретон, лидер французских сюрреалистов...* — А. Бретон (1896—1966) — французский писатель, автор «Манифеста сюрреализма» (1924).

...Макс Истмен упорно утверждает... — М. Истмен (1883—1969) — американский писатель и литературовед, переводчик на английский язык Л. Троцкого, издатель произведений К. Маркса.

Стр. 65. *Один из наиболее крупных современных литературоведов, Т. Хьюм...* — Томас Эрнест Хьюм (1883—1917) — английский философ, литературовед, поэт (на стр. 85 цитируется его стихотворение). Автор книги «Размышления» (1924), в которой изложил основные принципы имажизма: точное изображение, основанное на предметности и конкретности, чистая образность и т. д.

Х. Ортега-и-Гассет. Две великие метафоры. Хосе Ортега-и-Гассет (1883—1955) — испанский философ, публицист и общественный деятель. Его философские взгляды складывались под влиянием марбургской школы неокантианства. Подлинную реальность, дающую смысл человеческому бытию, Ортега-и-Гассет усматривал в истории, которую понимал как духовный опыт непосредственного переживания. Этим объясняется и столь пристальное внимание к «двум великим метафорам», выражающим различие двух исторических эпох: Древнего мира и Нового времени.

Стр. 80. *Для Нового времени характерно отдавать предпочтение именно творческой способности человека...* — Начиная с этого абзаца и до конца статьи, Х. Ортега-и-Гассет, подтверждая свой тезис, формулирует сущность теорий сознания (иногда с помощью цитат, содержащих квинтэссенцию соответствующих теорий) наиболее значительных философов Нового времени.

Ф. Уилрайт. Метафора и реальность. Филипп Уилрайт (р. 1901) — американский литературовед, близкий по проблематике к «Новой критике». Уилрайт исследовал многозначность поэтического символа.

Стр. 82. *Чжуан-цзы* (ок. 369—286 гг. до н. э.) — древнекитайский философ, один из основоположников даосизма, автор значительной части трактата «Чжуан-цзы».

Стр. 83. *Уоллес Стивенс... говорит о «символическом языке метаморфозы»...* — У. Стивенс (1879—1955) — американский поэт, автор книги критических статей «Необходимый ангел» (1951). Утверждая идею «поэтического порядка», сводил в художественном тексте к минимуму выразительные средства. Примеры его поэтического творчества подвергаются критическому разбору на с. 92—93, 108 настоящего сборника.

Стр. 85—86. Ричард Уилбер (р. 1921) — американский поэт.

Стр. 103. *...в поэзии Генри Вогана ...* — Г. Воган, по прозвищу Силурист (1622—1695), — английский поэт, относящийся к «метафизической школе». Для его творчества характерна атмосфера мистицизма, религиозных

исканий, поэтического самоуглубления. Воган практиковал как врач в Южном Уэльсе.

Стр. 104. *...сохраненной для нас Порфирием* ... — Порфирий (234—между 301 и 305 гг.) — античный философ-неоплатоник, ученик Плотина.

Р. Якобсон. Два аспекта языка и два типа афатических нарушений. Роман Осипович Якобсон (1896—1982) — русский лингвист и литературовед, один из основоположников структурализма. С 1921 г. за границей. Якобсон участвовал в основании Московского, Пражского, Нью-Йоркского лингвистических кружков. В 1985 и 1987 годах в издательстве «Прогресс» в Москве изданы «Избранные работы» и «Работы по поэтике» Р. О. Якобсона.

Стр. 128. *Начиная с фильмов Д. У. Гриффита* ... — Дэвид Уорк Гриффит (1875—1948) — американский режиссер, новатор киноискусства. Обогатил киноязык такими средствами выразительности, как крупный план, параллельный монтаж, обширные панорамы и др. Использовал перекрестный монтаж, запатентовал оригинальный способ комбинированных съемок.

Стр. 129. *Свои собственные имя и отчество* Глеб Иванович *он расчленял на два независимых имени... Глеб был наделен всеми добродетелями*, а *Иванович стал воплощением всех пороков Успенского.* — Классическим художественным воплощением этой идеи является роман Р. Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» (1886).

А. Вежбицкая. Сравнение — градация — метафора. Анна Вежбицкая (р. 1937) — польский лингвист. В 70-х годах после замужества переезжает в Австралию. Профессор университета в Канберре. Автор оригинального метаязыка толкования значений слов, названного ею Lingua mentalis (см. ее книгу «Lingua mentalis», Sydney etc., 1980).

Стр. 143. *Кохановский сближает значения...* — Ян Кохановский (1530—1584) — польский поэт, основатель национального стихосложения.

Стр. 147. Ян *Морштын* (1620—1693) — польский поэт.

М. Блэк. Метафора. Макс Блэк (р. 1909) — американский философ и логик. Получил образование в Кембридже, Геттингене и Лондоне. С 1940 г. живет в США. С 1946 г. профессор философии Корнельского университета. Занимается разработкой проблем общего метода науки в духе неопозитивизма. Представитель лингвистической философии.

Стр. 154. Никола Себастьен Рош *Шамфор* (1741—1794) — французский писатель. Томас *Браун* (1605—1682) — английский врач и писатель. Уинстон Хью *Оден* (1907—1973) — англо-американский поэт. В 1939 году переехал в США. Оден владел различными поэтическими стилями, в особенности экспрессивным стихом.

Д. Дэвидсон. Что означают метафоры. Дональд Дэвидсон (р. 1917) — американский философ и логик, представитель аналитической философии. Дэвидсон занимается философскими и логическими вопросами естественного языка, а также проблемой описания и объяснения человеческих действий. Он переносит семантическую теорию истины для формализованных языков на естественный язык. Ему принадлежит оригинальная концепция метафоры как стандартного обозначающего выражения, имеющего истинностное значение.

Стр. 174. *...в работах литературно-критического направления, у таких авторов, как, например, Ричардс, Эмпсон и Уинтерс...* — Здесь перечисляются основоположники и яркие представители так называемой «Новой критики»: А. А. Ричардс — см. комм. на с. 493; Уильям Эмпсон (р. 1906) — английский поэт и литературовед; Айвор Уинтерс (1900—1968) — американский поэт и литературовед.

Стр. 178. *...сведется к теории неоднозначности...* — понятие неоднозначности было введено в 1930 г. У. Эмпсоном и стало одним из самых попу-

лярных и используемых в «Новой критике» и во всем современном литературоведении. Наиболее часто оно применялось при анализе поэзии Т. Элиота и поэтов «метафизической школы», часто цитируемых в настоящем сборнике.

Н. Гудмен. Метафора — работа по совместительству. Нельсон Гудмен (р. 1906) — американский философ и логик, представитель аналитической философии. Гудмен обосновывает логически непротиворечивый базис единой системы описания процесса приобретения знания. С этой целью он разрабатывает язык, на котором можно выразить как основные истины логики и математики, так и законы здравого смысла. Он предлагает отказаться от употребления общих понятий и универсалий типа «смысл», «класс», «свойство» и т. п. См. в этой связи примечание на стр. 200.

М. Бирдсли. Метафорическое сплетение. Монро Бирдсли (р. 1915) — американский литературовед. Занимался исследованием процесса чтения и понимания художественных текстов.

Стр. 202. *Джон К. Рэнсом* (р. 1898) — американский поэт и литературовед, один из «новых критиков».

Стр. 205. *Разбирая пример из книги Китса...* — этот же пример разбирается в статье П. Рикёра «Метафорический процесс как познание, воображение и ощущение» (стр. 423).

Стр. 211. *В одной из своих богословских работ Иеремия Тейлор пишет...* — И. Тейлор (1613—1667) — английский священник и писатель.

...а Эвелин в 1670 г. ... — Джон Эвелин (1620—1706) — английский роялист, публицист и философ, автор многочисленных трудов по нумизматике, архитектуре, садоводству, политике и т. д.

Э. Ортони. Роль сходства в уподоблении и метафоре. Эндрю Ортони — английский философ.

Стр. 221. *Чтобы пояснить нашу мысль, воспользуемся примером пропорциональной метафоры...* — классическим примером пропорциональной метафоры является метафора Аристотеля, разбираемая в статье М. Бирдсли «Метафорическое сплетение» (стр. 206) и в статье П. Рикёра «Метафорический процесс как познание, воображение и ощущение» (стр. 421).

Дж. А. Миллер. Образы и модели, уподобления и метафоры. Джордж Миллер — американский психолог, известен своими работами по применению теории информации в психологии, по анализу законов речевой коммуникации, по психолингвистике, профессор Гарвардского университета. На русском языке вышла книга Дж. Миллера, написанная в соавторстве с Ю. Галантером К. Прибрамом: «Планы и структура поведения». М., 1965.

Стр. 242. *Епископ Беркли как-то сказал, что абстрактных идей быть не может, так как идеи — это образы, а образы всегда конкретны...* — Джордж Беркли (1685—1753) — английский философ, представитель субъективного идеализма. Он отрицал реальность универсалий и саму возможность существования абстрактных понятий.

Стр. 243. *Весьма распространенным является мнение, что мы понимаем предложение, если знаем условия, при которых оно может быть истинно.* — Это мнение с афористической ясностью было выражено Л. Витгенштейном в его «Логико-философском трактате»: 4.024. Понять предложение — значит знать, что имеет место, когда оно истинно.

Стр. 271. *Рассмотрим следующие строки Драйдена...* — Джон Драйден (1631—1700) — английский писатель, один из основоположников английского классицизма, противник поэтов «метафизической школы».

Д. Бикертон. Введение в лингвистическую теорию метафоры. Дерек Бикертон — английский лингвист.

Стр. 289. *...относимых Уорфом к «стандартным средним европейцам»...*

— Бенджамин Ли Уорф (1897—1941) — американский антрополог, один из создателей знаменитой гипотезы Сепира—Уорфа о связи языка, культуры и мышления.

Стр. 302. *...в стихах Марвелла...* — Эндрю Марвелл (1621—1678) — английский поэт, ученик Дж. Мильтона, приверженец Английской республики.

...позднее в стихах Делла Хаймса... — Здесь имеется в виду Делл Хаймс (р. 1927) — американский лингвист, специалист по антропологии, этнографии, социолингвистике.

Стр. 305. *...включая работы Карнапа, Юинга, Шехтера, Гуссерля и т. д.* — Э. Юинг — английский философ; Соломон Шехтер (1850—1915) — румынский гебраист, талмудист, специалист по древнееврейской литературе.

Дж. Р. Серль. Метафора. Джон Серль — англо-американский философ один из основателей теории речевых актов. В 1959 году в Оксфорде защитил докторскую диссертацию по проблемам смысла и референции. Профессор философии Калифорнийского университета (Беркли).

Стр. 331. *Дизраэли мог бы сказать метафорически...* — Бенджамин Дизраэли, граф Биконсфилд (1804—1881) — премьер-министр Великобритании в 1868 и 1874—1880 годах, писатель.

С. Левин. Прагматическое отклонение высказывания. Сэмюэль Левин (р. 1917) — американский лингвист и литературовед, специалист по общему языкознанию. Доктор философии, получил ученую степень в Темпельском и Пенсильванском университетах. С 1962 года Левин преподает в университете Вестерн Резерв. Публикации последних десяти лет касаются вопросов лингвистической поэтики.

Стр. 350. *Другой способ трактовки индексов...* — Этот способ, по-видимому, отождествляет индексы с шифтерами в понимании Р. Якобсона: см. Якобсон Р. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол. — В кн.: Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972, с. 95—113.

Э. МакКормак. Когнитивная теория метафоры.

Стр. 366. *...чем-то вроде подвига, достойного Гудини...* — Гарри Гудини (1874—1926) — знаменитый американский фокусник, эскейпист, прославившийся своими «побегами» в самых сложных, искусственно создаваемых обстоятельствах: заточение, захоронение и т. п.

Стр. 368. *...поскольку Ламетри свое произведение «Человек — машина» опубликовал еще в 1748 г.* — Жюльен Офре де Ламетри (1709—1751) — французский философ-материалист. Был полковым врачом, заболев горячкой и наблюдая за ее течением, пришел к выводу, что духовная деятельность человека определяется его телесной организацией. Свое главное сочинение «Человек — машина», в котором рассматривал человеческий организм как самостоятельно заводящуюся машину, подобную часовому механизму, опубликовал анонимно в Голландии в 1747 г. (русский перевод появился в 1911 г.). Как и его первое философское сочинение, оно было публично сожжено.

Стр. 383. Американский философ Стивен Пеппер в упомянутой книге рассматривал четыре типа коренных метафор: «сходство», «организм», «машина», «историческое событие».

Дж. Лакофф, М. Джонсон. Метафоры, которыми мы живем. Джордж Лакофф (р. 1941) — американский лингвист, специалист по общему языкознанию, семантике и когитологии, профессор Калифорнийского университета (Беркли). Книга написана им в соавторстве с американским философом Марком Джонсоном из Стэнфордского университета. Главы 1, 13, 21, 23, 24 уже опубликованы в русском переводе в кн.: Язык и моделирование со-

циального взаимодействия. М., Прогресс, 1987. В этой же книге представлен развернутый комментарий, где указывается на содержательную связь между данной книгой и ранней работой Лакоффа «Лингвистические гештальты» (русский перевод отрывков из нее опубликован в кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X: Лингвистическая семантика. М., Прогресс, 1981).

Стр. 393. *...которое М. Редди назвал* «conduit metaphor»... — Имеется в виду работа Майкла Редди «The Conduit Metaphor». — In: «Metaphor and Thought», ed. by A. Ortony. Cambridge (England), 1979.

Стр. 396. *...тщательно изучены Уильямом Надем.* — Имеется в виду докторская диссертация У. Надя: «Figurative Patterns and Redundancy in the Lexicon», защищенная им в Калифорнийском университете (г. Сан-Диего).

П. Рикёр. Метафорический процесс как познание, воображение и ощущение. Поль Рикёр (р. 1913) — французский философ, один из главных представителей современной герменевтики. Переводчик и комментатор работ Э. Гуссерля. Идеи Рикёра легли в основу теории интерпретации, в которой любое проявление человеческой культуры и деятельности рассматривается как символический текст, характеризующийся интенциональной структурой двойного значения, где «понять» означает так истолковать текст, чтобы за одним смыслом увидеть другой, порождаемый уже в самом процессе интерпретации. Влияние Гуссерля и вообще связь с немецкой философией ощутимы и в публикуемых в настоящем сборнике статьях.

Стр. 423. *В стихотворении Китса...* — Этот же стихотворный отрывок, также со ссылкой на П. Хенле, разбирается в статье М. Бирдсли «Метафорическое сплетение» (стр. 205).

Стр. 424. *...знаменитый рисунок утка/кролик.* — См. об этом комментарий переводчика к статье Д. Дэвидсона на стр. 191.

П. Рикёр. Живая метафора. Эта глава из книги Рикёра по существу явилась основой для статьи «Метафорический процесс как познание, воображение и ощущение». Многие идеи и даже примеры повторяются в обоих текстах.

Стр. 445. Виктор *Фонтанье* (1795—?) — французский дипломат и путешественник.

Стр. 451. *...например, увидеть глаз кролика на неоднозначном рисунке...* — Имеется в виду пример, встречающийся и на стр. 424. См. об этом комментарий переводчика к статье Д. Дэвидсона на стр. 191.

Стр. 453. *...замечание поэта Реверди...* — Пьер Реверди (1889—1960) — французский поэт.

Т. Добжиньская. Метафорическое высказывание в прямой и косвенной речи. Тереза Добжиньская — научный сотрудник Института литературоведения Польской академии наук, специалист по поэтике и лингвистике.

Стр. 456. *...ученые, группировавшиеся вокруг К. Фосслера...* — Карл Фосслер (1872—1949) — немецкий филолог, литературовед.

Стр. 470. *Политическая близорукость Амина...* — В примере фигурирует Иди Амин — диктатор Уганды в 1971—1979 годах.

Т. Добжиньская. Метафора в сказке.

Стр. 490. *...так, в книге «Дитя Эльфов» Г. Х. Андерсена ничто в заглавии и подзаголовке не указывает на принадлежность к жанру сказки, кроме «сказочной» фамилии автора...* — Ср. аналогичную, но более общую мысль, высказанную Н. Я. Эйдельманом («Мы молоды и верим в рай». М., 1990): «К сожалению, известно немало случаев, когда в том или ином документе не менялось ничего — только имя автора! — и текст вдруг представлялся иным». Эта проблема поставлена и в работах по современной герменевтике (См., напр.: Гадамер Х. Г. Истина и метод. М., «Прогресс», 1989).

М. А. Кронгауз

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

В предметный указатель включены только наиболее важные упоминания тех терминов, которые так или иначе связаны с теорией метафоры.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕОРИЯ МЕТАФОРЫ

Редактор *Н. Н. Попов*

Младший редактор *Р. И. Алимова*

Художественный редактор *С. В. Красовский*

Технический редактор *Е. В. Антонова*

Корректор *И. В. Леонтьева*

ИБ № 16845

Сдано в набор 21.06.89. Подписано в печать 20.04.90.
Формат $60 \times 90^{1}/_{16}$. Бумага офсетная № 1
Гарнитура обыкн. новая. Печать офсетная
Условн.печ.л. 32,0.
Усл.кр.-отт. 32,25. Уч.-изд.л. 34,88.
Тираж 11440 экз. Заказ № 1688. Цена 3р. 20к.
Изд. № 44519.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Прогресс»
Государственного комитета СССР по печати
119847, ГСП, Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 17.

Ордена Трудового Красного Знамени
Московская типография № 7 «Искра революции»
В/О «Совэкспорткнига»
Государственного комитета СССР по печати
121019, Москва, пер. Аксакова, 13.



3 р. 20 к.